АКАДЕМИК
ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ
ТАРЛЕ



СОЧИНЕНИЯ
В
ДВЕНАДЦАТИ
ТОМАХ



1959

ИЗДАТЕЛЬСТВО
АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА

АКАДЕМИК

ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ ТАРЛЕ



СОЧИНЕНИЯ

ТОМ
VIII



1959

ИЗДАТЕЛЬСТВО
АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА

ОТ РЕДАКТОРА

Двухтомное исследование Е. В. Тарле о Крымской войне 1853—1856 гг. было задумано автором в 30-х годах, когда над Европой нависала опасность нападения со стороны фашистской Германии. Первый том монографии вышел в свет в 1941 г.— в это время гитлеровские войска, вторгшиеся на советскую землю, отчаянно рвались к Москве и Ленинграду. Вторая часть книги получила широкое распространение после битвы под Сталинградом, когда Советская Армия гнала фашистских захватчиков обратно к границе и готовилась нанести последние удары «третьей империи». Условия возникновения и создания «Крымской войны» определили политический тон этого крупного произведения Е. В. Тарле. И автор, и читатели книги воспринимали события 1853—1856 гг., сопоставляя их с дипломатической и военной борьбой против фашистской угрозы, осмысливая опыт далекого прошлого в свете новых, более глубоких и сложных явлений. В этой неразрывной связи описываемых событий с восприятиями переживаемой действительности коренились особенности нового труда Е. В. Тарле, причины его большого творческого успеха и его сильного влияния на последующую историографию вопроса.

О Крымской войне 1853—1856 гг. до появления монографии Е. В. Тарле уже имелась богатая литература. Однако, при всем обилии фактического материала, всем прежним исследованиям на эту тему были присущи определенные и очень существенные недостатки. Как правило, иностранным авторам, начиная с участников войны — Базанкура и Кинглека,— кончая историками последних десятилетий — Даниэльсом и Темперлеем,— остались недоступны документы наших архивов. Английские, французские, итальянские и другие ученые подходили к событиям с субъективистской точки зрения, не раскрывая глубоко ни движущих сил, ни закономерных последствий Крымской войны. Каждый иностранный буржуазный исследователь стремился оправдать дипломатию собственной страны и нередко приукрасить ее военное командование. Аналогичные недостатки

несла в себе русская военно-историческая литература дореволюционного времени. Авторы наиболее крупных работ, посвященных Крымской войне,— генералы М. И. Богданович, Н. Ф. Дубровин, А. М. Зайончковский — не могли воспользоваться многими материалами государственных архивов. Полное доверие к официальным источникам, апология «миролюбия и прямодушия» Николая I, подробное описание военных действий вне связи с внутренним положением страны и почти без всякой критики власти — характерные черты всех трех монографий.

В противовес этим официозно-монархическим сочинениям, уже в начале XX в., в обстановке революционной борьбы с самодержавием, сложилась противоположная концепция М. Н. Покровского. Давая правильную характеристику захватнической политике царизма, М. Н. Покровский не раскрыл агрессивной политики Англии и Франции. Увлеченный контрастным изображением передовых буржуазных государств и отсталой крепостнической России, он преувеличил превосходство западноевропейской техники и военного искусства, преувеличил и внутреннее единство в рядах наступавших союзников. Оставаясь чуждым диалектическому методу, М. Н. Покровский не сумел отличить патриотизм народный от патриотизма официального и поэтому не мог оценить героическую борьбу за родину, проявленную в ходе обороны Севастополя, дальневосточных портов, Грузии, Армении, Азербайджана. Преодоление односторонней концепции М. Н. Покровского было начато в 30-х годах в связи с критикой всей совокупности методологических взглядов и конкретных выводов этого историка: уже тогда появились статьи и брошюры, в которых авторы старались дать новое освещение Крымской войны, исходя из взглядов Маркса, Энгельса, Ленина. Однако первым крупным трудом, открывшим новый этап в историографии по вопросу о Крымской войне, явилось именно двухтомное исследование Е. В. Тарле.

Созданию публикуемой книги помогло сочетание трех благоприятных условий. Советские органы широко раскрыли перед исследователем государственные архивы, и он мог полностью использовать дипломатические документы, военные донесения, личную переписку и другие источники. Осложнившаяся международная обстановка заострила внимание советского общества на проблемах дипломатии и войны, заставляя глубже анализировать внешнюю политику более ранних периодов. Наконец — что особенно важно,— за разработку большой и трудной темы принялся опытный мастер исторического исследования, знаток западноевропейской истории, отточивший свое научное оружие в предшествовавших крупных работах, посвященных внешней политике XIX—XX вв.

Главную задачу своего труда Е. В. Тарле видел в анализе дипломатических конфликтов, которые непосредственно привели к войне, и тех дипломатических комбинаций, которые влияли на развертывание военных событий и заключение мира. На большом конкретном материале он ярко показал неразрывную связь между дипломатией и войной, постоянное взаимодействие обеих сторон внешнеполитической деятельности. Он не щадил красок, чтобы раскрыть разительное несоответствие между захватническими планами Николая I и его близорукой оценкой международного положения, поддерживаемой раболепными дипломатами. С неменьшей остротой Е. В. Тарле разоблачил агрессивную политику Наполеона III и английского кабинета Эбердина, искусно провоцировавших войну, но до известного момента скрывавших свои цели под маской лицемерного миролюбия. Так же обстоятельно и тонко были освещены в книге колебания Австрии и Пруссии, постепенно втягивавшихся в орбиту враждебной России политики, и полная зависимость Турции от своекорыстных действий колониальных держав. Е. В. Тарле подробно анализировал внутренние противоречия в рядах наступавших союзников, особенно ярко проявившиеся после падения Севастополя и при обсуждении условий Парижского мира.

Чем дальше развертывалось изложение событий, тем больше внимание автора привлекали к себе военные действия — Дунайская кампания, экспедиции английского и французского флота, столкновения на Кавказе и особенно героическая оборона Севастополя. И здесь тонкое критическое чутье помогло Е. В. Тарле уловить глубокие противоречия в рядах обеих борющихся сторон. Подчеркивая хозяйственную, военную и политическую отсталость крепостной России, недостаток оружия, снаряжения и боеприпасов у русской армии, автор вместе с тем ярко изобразил выдержку и стойкость солдат и матросов, инициативу и энергию лучших командиров, отвагу и смелость защитников Севастополя, Петропавловска-на-Камчатке и других пунктов, подвергшихся нападению противника. И здесь, на конкретном материале, в живом увлекательном повествовании автор показал огромное значение внутреннего единства сражающейся армии не только на полях сражений, но и в отношениях между фронтом и тылом. Крепостная Россия, жившая под властью Николая I, не знала и не могла знать такого единства: на полях сражений и в осажденной крепости талантливым распорядительным офицерам противостояли бездарные царские креатуры, равнодушные к общему делу, ограниченные в своих знаниях, но наделенные всемогущей властью.

Однако и тут Е. В. Тарле избежал односторонне-примитивного изображения сложившейся обстановки: не будучи воен-

ным специалистом, он внес серьезные коррективы в описание отдельных сражений — на Альме, при Балаклаве, Инкермане и особенно во время штурма Севастополя 6 июня 1855 г.; используя новые источники и давая объективный анализ их содержания, автор развеял привычное представление о неоспоримом превосходстве военного искусства англичан и французов. Само командование противника, его стратегические планы и тактическое руководство подверглись со стороны Е. В. Тарле обоснованной и острой критике. Если прибавить, что изложение военных событий сопровождалось блестящими характеристиками участников крымской эпопеи,— иногда вдохновенными (например, Нахимова и Корнилова), иногда исполненными сарказма и презрения (Меншикова, Горчакова и др.),— то станет понятно сильное впечатление, которое произвела вышедшая книга на широкие круги советских читателей.

Монография Е. В. Тарле читалась с одинаковым интересом в тылу и на фронте. Примерами героической борьбы за родину она вдохновляла бойцов Великой Отечественной войны. О ней много писали в журналах и газетах. За первую часть исследования автор был удостоен Сталинской премии 1-й степени. В течение короткого периода книга выдержала три издания и была переведена и выпущена в свет в Англии и США.

Конечно, двухтомное сочинение Е. В. Тарле не исчерпывало всей темы и потребовало некоторых дополнений и уточняющих формулировок. Авторы рецензий указывали на недостаточное освещение внутреннего состояния страны, на не вполне ясные и правильные выводы о последствиях войны, на отдельные неточности и ошибки в военных вопросах и пр. Е. В. Тарле пошел навстречу замечаниям критики и внес целый ряд дополнений и поправок при подготовке третьего издания, в 1950 г.; в частности, он предпослал своему изложению специальное введение, в котором подчеркнул захватнический характер войны со стороны царской империи и ее противников, подробнее осветил общественные течения времени войны, остановился на позиции Маркса и Энгельса и т. д.

Если концепция М. Н. Покровского нанесла сокрушительный удар официозно-дворянской историографии, то «Крымская война» Е. В. Тарле оставила позади и сочинения царских генералов, и одностороннюю концепцию М. Н. Покровского. Книга Е. В. Тарле дала толчок не только к дискуссиям по спорным вопросам Крымской войны, но также к появлению ряда книг и статей, развивавших и дополнявших его общие точки зрения. Сохраняя историографическое значение, этот труд остается образцом доступного и яркого изложения, основанного на огромном печатном и архивном материале.

Н. Дружинин

Крымская война

I

ВВЕДЕНИЕ

1

Крымская война является одним из переломных моментов в истории международных отношений и в особенности в истории внутренней и внешней политики России.

В настоящей работе я пытаюсь осветить — на основании как архивных неопубликованных и опубликованных источников, так и существующей литературы — некоторые стороны дипломатической и общей истории войны 1853—1856 гг., которые мне кажутся сравнительно слабо разработанными.

Раньше чем приступить к последовательному рассказу о начале, ходе и о конце этой войны, я счел уместным предпослать изложению несколько слов о том, при какой дипломатической обстановке возник этот кровавый конфликт; как смотрели на эту войну представители различных общественно-политических течений в Западной Европе и России; каким рисовалось современникам внутреннее положение России в рассматриваемый момент. В этом введении лишь намечены вкратце некоторые проблемы, о которых обстоятельнее придется говорить в дальнейшем.

Целеустремленные старания новейшей английской (Темперлей, Гендерсон, Виллами и др.), американской (Пурьир), отчасти французской и немецкой историографии исказить самую постановку вопроса о «виновниках» Крымской войны вынуждают нас тут же, в этом сжатом введении, коснуться и этой проблемы.

В том, что Николай I был непосредственным инициатором дипломатических заявлений и действий, поведших к возникновению войны с Турцией, не может быть, конечно, сомнений. Царизм начал и он же проиграл эту войну, обнаружив свою несостоятельность и в дипломатической области и в организации военной обороны государства, страдавшего от технической

отсталости и от общих последствий господства дворянско-феодального крепостнического строя. Однако война была агрессивной не только со стороны царской России. Турецкое правительство охотно пошло на развязывание войны, преследуя определенные агрессивные реваншистские цели — возвращение северного побережья Черного моря, Кубани, Крыма. Позднейшие деятели — и откровенный Энвер-паша и тонкий лукавец Ататюрк — могли бы в некотором отношении назвать кое-кого из турецких дипломатов 1853—1856 гг. своими духовными предками. Война оказалась грабительской с обеих сторон, если судить по мотивам, руководившим «политикой далекого прицела» обоих противников.

Но были ли дипломатические, а потом и военные выступления Англии и Франции продиктованы, как упорно до сих пор пишут публицисты и историки этих стран, одним лишь желанием защитить Турцию от нападения со стороны России? На это должен быть дан категорически отрицательный ответ. Обе западные державы имели в виду отстоять Турцию (и притом поддерживали ее реваншистские мечтания) исключительно затем, чтобы с предельной щедростью вознаградить себя (за турецкий счет) за эту услугу и прежде всего не допустить Россию к Средиземному морю, к участию в будущем дележе добычи и к приближению к южноазиатским пределам. Обе западные державы стремились захватить в свои руки и экономику и государственные финансы Турции, что им полностью и удалось в результате войны; обе деятельно между собой конкурировали и враждовали после Крымской войны (а отчасти даже и во время самой войны), взапуски стараясь обогнать друг друга на путях систематического обирания турецкой державы. У обеих западных держав были еще и другие разнохарактерные, большие цели, и па жестокий промах русской дипломатии и Пальмерстон и Наполеон III посмотрели как на счастливый, неповторимый случай выступить вместе против общего врага. «Не выпускать Россию из войны»; изо всех сил бороться против всяких запоздалых попыток русского правительства,— когда оно уже осознало опасность начатого дела,— отказаться от своих первоначальных планов; непременно продолжать и продолжать войну, расширяя ее географический театр,— вот что стало лозунгом западной коалиции. И именно тогда, когда русские ушли из Молдавии и Валахии и уже речи не могло быть об угрозе существованию или целостности Турции, союзники напали на Одессу, Севастополь, Свеаборг и Кронштадт, на Колу, Соловки, на Петропавловск-на-Камчатке, а турки вторглись в Грузию. Британский кабинет уже строил и подробно разрабатывал планы отторжения от России Крыма, Бессарабии, Кавказа, Финляндии, Польши, Литвы, Эстонии, Курляндии, Лифляндии. Вдохнови-

тель всех этих планов, «воевода Пальмерстон», иронически воспетый в русской песенке, «в воинственном азарте... поражает Русь на карте указательным перстом», а его французские союзники уже начинают сильно беспокоиться, наблюдая рост аппетита увлекающегося милорда.

Такова картина настроений союзников во всю вторую половину войны. Тем-то и дорог Пальмерстон новейшему историку Крымской войны Гендерсону, что «Пальмерстон был хорошим англичанином, работающим для национальных целей... Его национализм был не принципом, а страстью, со всем тем хорошим и дурным, что происходит от страсти» [1].

Иностранные историки предпочитают скромно умалчивать об этих безудержно захватнических планах Пальмерстона, Наполеона III, подоспевшего к дележу добычи австрийского министра Буоля, уже направлявшегося на Тифлис Омер-паши.

Тяжкая война покрыла новой славой русское имя благодаря воинскому искусству, беззаветной храбрости и горячей любви к родине Нахимова, Корнилова, Истомина, Васильчикова, Хрулева, Тотлебена, 16 тысяч нахимовских матросов, из которых было перебито 15 200 человек, десятков тысяч солдат, легших костьми в Севастополе и вокруг Севастополя.

За тяжкие перед народом преступления и политику царизма пришлось расплачиваться потоками крови самоотверженных русских героев на Малаховом кургане, у Камчатского люнета, на Федюхиных высотах. Все сказанное выше об истинном характере «бескорыстия» неприятельской коалиции ничуть, конечно, не смягчает губительной роли Николая и николаевщины в трагической истории Крымской войны.

Если бы пришлось в немногословной формуле определить роль русского правительства, русской дипломатии, русского политического и военного правящего механизма в истории Крымской войны, то вполне законно было бы сказать: царизм, как уже мы отметили выше, начал и проиграл эту войну. Инициативная роль Николая I во внезапном обострении восточного вопроса в 1853 г. после январских разговоров царя с сэром Гамильтоном Сеймуром не подлежит никакому сомнению, так же как не подлежит оспариванию несправедливый, захватнический характер войны против Турции, которую начал царь, отдав приказ о занятии русскими войсками Молдавии и Валахии в июне 1853 г. Конечно, Николай и во внешнеполитических своих действиях никогда не забывал, что он, помимо всего прочего, «первый петербургский помещик», как он с удовлетворением хвалился. Заинтересованность крупных землевладельцев крепостнической империи в расширении и обеспечении экспортной торговли на южных и юго-восточных границах России, на Балканском полуострове, на всем турецком Леванте была фактом

очевидным и совершенно неоспоримым. Предприятие, казалось при этом, облегчалось некоторыми счастливо складывавшимися обстоятельствами. С одной стороны, безмерно преувеличивалось значение религиозного фактора: православное вероисповедание болгар, сербов, греков, сирийцев, молдаван и валахов, т. е. большинства населения тогдашней Турецкой империи, порождало и крепило в этом населении мысль о помощи и защите против возможных турецких насилий и притеснений. С другой стороны, общность славянского происхождения сербов и болгар с русским народом, казалось, обещала России деятельную поддержку в предстоявшей борьбе. Правда, вплоть до революции 1848 г. все эти расчеты на православных славян сильно осложнялись и спутывались существенными соображениями: Австрия, столь необходимая Николаю для успешной борьбы против революционных движений и даже просто прогрессивных стремлений во всей Европе, враждебным оком смотрела на какие бы то ни было русские поползновения установить хотя бы даже только культурную связь с балканскими славянами, боясь глубокого проникновения России, грозившего целости Габсбургской державы. Но после 1848—1849 гг. Николаю уже представлялось, что с Австрией и ее настроениями и противодействием особенно считаться не приходится. И увлекавшийся поэт Тютчев уже стал восклицать, что русский царь падет ниц, молясь богу в храме св. Софии, и встанет «как всеславянский царь».

Мы увидим дальше, какую решающую роль в действиях царской дипломатии сыграло это крепко засевшее в голове Николая представление о том, что революционные события, потрясавшие Европу в 1848—1849 гг. и окончившиеся в очень значительной степени, как он воображал, только благодаря его вмешательству, надолго обессилили все европейские державы, кроме Англии. Итак, нужно лишь сговориться с Англией, дать ей отступного, чтобы не мешала. Путь свободен!

Расчеты Николая оказались с самого начала глубоко ошибочными. Основная ошибка заключалась прежде всего в недооценке сил и возможностей тех западноевропейских стран, которые могли оказаться в союзе с Турцией, что на самом деле и случилось.

Опасность грозила с трех сторон, от трех держав, которые непременно должны были встать на пути русской дипломатии, как только окончательно выяснится характер намерений царя относительно Турции,— со стороны Англии, Франции и Австрии. Но Николай, проявлявший известную осторожность в течение всего своего царствования в делах Ближнего Востока и считавшийся с прямым или скрытым противодействием этих трех держав, к моменту, когда в январе 1853 г. он внезапно решил открыть свои карты перед Гамильтоном Сеймуром, совер-

шенно сознательно перестал принимать в расчет Францию и Австрию и убедил себя в том, что для достижения своих целей ему следует лишь полюбовно сговориться с Англией, согласиться на компенсацию в ее пользу за счет владений той же Турции, и тогда ни Франция, ни Австрия и никто вообще в Европе и голоса не посмеет подать против соглашения самой могучей сухопутной державы с самой сильной державой морской.

В этом расчете были три непоправимые ошибки: относительно Англии, относительно Франции и относительно Австрии.

Англия не пошла на царские предложения не вследствие бескорыстного желания «спасти» Турцию, как об этом лгали в 1853—1856 гг. ее дипломаты и продолжают лгать ее историки. Предложения царя показались кабинету Эбердина, в котором наибольший вес имел голос Пальмерстона, явно невыгодными и опасными. Утверждение влияния России в Молдавии, Валахии, Сербии, Болгарии, Греции, переход в ее руки проливов и Константинополя слишком мало компенсировались приобретением Египта и Крита и даже всего Архипелага, хотя о нем пока и речь еще не заходила. А кроме того, разложение Турецкой империи влекло за собой рано или поздно переход части или всей Малой Азии, сопредельной с Кавказом, в русские руки.

Решительный отказ Англии последовал немедленно.

Вторая ошибка в расчетах Николая, не менее губительная, касалась предполагавшейся позиции Франции в предстоящей борьбе.

Николай, как и правящие круги России, привык к мысли, что после падения наполеоновской империи ни одно французское правительство не хотело бы вести агрессивной политики против России и не могло бы это сделать, если бы даже и пожелало. В особенности царь удостоверился в слабости французских военных сил за время царствования Луи-Филиппа. Еще в первые недели после внезапного июльского государственного переворота 1830 г. Николай носился с мыслью о вооруженной интервенции, посылал Орлова в Вену, Дибича в Берлин, наводил справки при дворах, но очень уж скоро (даже еще до начала ноябрьского восстания в Польше) отказался от мысли о восстановлении династии Бурбонов. Но когда Луи-Филипп утвердился на престоле и когда он, мнимый «король баррикад», стал всячески угождать царю и доказывать своим поведением, что очень хотел бы, подобно прочим европейским малым и большим державцам, опереться на николаевскую Россию в борьбе против республиканцев и социалистов, то Николай совсем перестал с Францией считаться. Февральская революция, низвергшая ненавистного царя Луи-Филиппа, тем не менее испугала его, и только после поражения рабочих в страшные июньские дни 1848 г. царь окончательно успокоился. Хребет революции

сломлен, но, конечно, и Кавеньяк и избранный 10 декабря 1848 г. президентом принц Луи-Наполеон Бонапарт и не подумают бороться с ним, всемогущим борцом против революции, бдительным стражем порядка! Пришло и 2 декабря 1851 г., встреченное с восхищением в Зимнем дворце. Ночной налет, покончивший со Второй республикой, молодецкий расстрел генералом Сент-Арно безоружной толпы зрителей на больших бульварах — все это очень понравилось царю. И хотя дальше последовали некоторые неприятности, и принц-президент предпочел переехать из Елисейского дворца в Тюильри и принять, к неудовольствию царя, императорский титул, но это не причиняло особого беспокойства. Ясно, что новый император озабочен внутренними делами, что у него забот по горло и что этих забот об укреплении престола хватит на много лет. Где уж тут пускаться во внешние войны из-за далекого Константинополя. Военные силы нового императора после всех этих потрясений, пожалуй, еще меньше заслуживают серьезного учета, чем силы Луи-Филиппа.

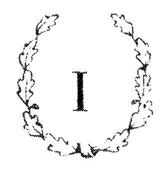
Николай не принял в расчет ни больших торговых и финансовых интересов крупной французской буржуазии в Турции, ни выгодности для Наполеона III, в династических интересах, отвлечь внимание французских широких народных слоев от внутренних дел к внешней политике, ни стремления его, предпринимая войну, выполнить одно из основных своих намерений, так хорошо сформулированное Чернышевским (по поводу создания Наполеоном III императорской гвардии): вся армия должна была уподобиться гвардии, которая предназначалась «служить корпусом преторианцев, верность которых упрочивал он себе привилегиями и наградами». Закалить армию в далекой, победоносной войне, окончательно сделать ее исправным и беспощадно действующим орудием деспотической власти, одурманить ее фимиамом шовинистической похвальбы — все это отвечало в точности прямым целям удачливого узурпатора. И если Англия считала успех обеспеченным, если в нападении на русскую территорию на ее стороне будет Франция, то и Наполеон III и его министры Морни, Персиньи, Друэн де Люис тоже убеждены были в конечной победе, если с ними будет Англия.

Николай и его канцлер Нессельроде успокаивали себя надеждой, что «никогда Наполеон III не вступит в союз с англичанами», смертельными врагами его дяди, Наполеона I. На всю фантастичность подобных надежд глаза царской дипломатии раскрылись слишком поздно. В том-то и дело, что после торжества реакции во Франции Луи-Наполеон гораздо меньше нуждался в поддержке северного «жандарма Европы», чем король Луи-Филипп, а после окончательного поражения чартизма и при улучшившейся торгово-промышленной конъюнктуре Ни-

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ АКАДЕМИИ НАУК СССР

АКАДЕМИК
Е. В. ТАРЛЕ

КРЫМСКАЯ ВОЙНА



ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ВОЕННО-МОРСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО НКВМФ СОЮЗА ССР
Москва 1941 Ленинград

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ КНИГИ «КРЫМСКАЯ ВОЙНА»

колай I в 1853—1854 гг. стал гораздо менее нужен Эбердину, чем в 1844 г., когда он с распростертыми объятиями и умильными комплиментами был принят в Виндзоре Викторией и тем же лордом Эбердином.

Наиболее неожиданным и поэтому крайне болезненно переживавшимся оказался провал расчетов и надежд царя и Нессельроде на Австрию. Давно ли австрийский фельдмаршал Кабога валялся в ногах у князя Паскевича, умоляя его спасти Австрию от полной гибели? Давно ли юный император Франц-Иосиф публично, на торжественном приеме в Варшаве, изогнувшись в три погибели, целовал руку царя, вымаливая помощь против венгерской революции?

Николай открыто заявлял (например, английскому послу Гамильтону Сеймуру), что он Австрию даже и во внимание не принимает при обсуждении вопроса о Турции. Осмелится ли она перечить своему благодетелю, своему «бескорыстному» другу и спасителю? Нессельроде уверял, что не посмеет. Нессельроде сорок лет подряд уверял сначала Александра I, а потом Николая I, что истинный монархический дух крепок только в Австрии и России и никогда эти две державы не могут идти розно, потому что это было бы только на руку «субверсивным элементам», революционерам всех национальностей и прежде всего полякам. Но и помимо всего, ведь Николай помнил, что в 1849 г. немногочисленные венгерские инсургенты жестоко колотили австрийскую армию почти всюду, где они ее встречали. Значит, говорить о возможности для Австрии выступить против России не приходится, даже если бы у австрийского императора хватило коварства и неблагодарности подписать такой приказ. Значит, со стороны Австрии никаких осложнений ожидать нельзя, и все обстоит благополучно.

И, однако, тут все обстояло именно совершенно неблагополучно. Царь и тут игнорировал факты, имевшие решающее значение. Уже отторжение от Турции Бессарабии в 1812 г. и усилившееся влияние России в Молдавии и Валахии в 1829 г., после Адрианопольского мира, тревожили Австрию. Эти события наносили немалый ущерб ее торговым интересам на Дунае, лишали ее дешевого и всегда обильного резерва хлеба и сельскохозяйственных продуктов и сокращали восточный рынок сбыта товаров. А помимо этих серьезных экономических причин, существовали политические соображения, поселявшие в правящих сферах венского двора и кабинета большую тревогу. Присоединение в том или ином виде к Российской империи Сербии, Болгарии, Молдавии, Валахии, Галлиполи с Константинополем грозило Австрии обхватом русскими силами с востока, с севера, с юго-востока и с юга и потерей политической самостоятельности. Мало того, славянские народы самой Австрии —

чехи, словаки, хорваты, русины, поляки — не могли бы остаться покорными верноподданными Габсбургского дома при таких переменах, и Австрийской империи грозил бы распад. Меттерних всегда этого боялся, его преемник Шварценберг — также, преемник Шварценберга по управлению министерством иностранных дел — тоже.

Тут снова повторилось то же, что было отмечено нами, когда мы говорили об Англии и Франции: в 1853—1854 гг. Николай был несравненно менее нужен Австрийской империи, чем в 1849 г., когда фельдмаршал Кабога орошал слезами ботфорты князя Паскевича. И все по той же причине: революционное движение было уже подавлено, новых вспышек не ждали, руки у Франца-Иосифа были развязаны. Мало того. Если бы даже и могло иметь хоть какое-нибудь значение «чувство благодарности» за спасение, то отдаться таким нереальным сентиментальностям нельзя было бы. Наполеон III, пока намеками и обиняком, уже давал понять Вене, что сохранить нейтралитет Австрия не сможет и что в случае какой-либо «двуличной» политики она рискует быть жестоко наказанной, ибо ему, Наполеону III, крайне легко натравить на Австрию Сардинское королевство и помочь сардинскому королю Виктору-Эммануилу выгнать вон австрийские войска из Ломбардии и Венеции. Все это в конце концов и заставило Австрию стать на сторону союзников. И всего этого совершенно не предвидел Николай.

Эта внезапная (для него) «измена» Австрии, заметим кстати, была так опасна, что царь сделал все, что мог, пошел на жертвы, о которых вовсе никогда раньше и не помышлял, лишь бы оградить себя от флангового удара со стороны австрийской армии.

В то самое время, когда славянофилы выражали радостные надежды и предчувствия грядущего освобождения славян от турок, от австрийцев и уже наперед восхищались торжеством православия над католицизмом в вековой борьбе за «славянскую душу», Николай I писал Францу-Иосифу 30 мая 1853 г.: «Я бы желал, чтобы, когда я займу княжества (Молдавию и Валахию — *Е. Т.*), ты сделал бы то же самое с Герцеговиной и Сербией» [2].

Но ничего из этого не вышло. Было уже слишком поздно. Франц-Иосиф, взвесив выгоды и невыгоды подобной комбинации, за которой последовали бы репрессалии со стороны Наполеона III, отказался от подарка и не стал на сторону царя.

Царское правительство начало и вело эту войну, находясь во власти самых губительных заблуждений и теша себя иллюзиями, обманываясь и относительно своей силы, и относительно силы врагов, и относительно надежности и преданности «друзей».

Напомним теперь вкратце, как смотрели на это великое столкновение представители главных течений политической мысли на Западе и в России.

Общественное мнение в Западной Европе в своем отношении к завязавшейся кровавой борьбе резко разделилось на два лагеря.

Николаю и официальной России сочувствовало небольшое меньшинство — консерваторы всех мастей: аристократия Австрии, Пруссии, Швеции, Дании, Голландии, Испании, всех государств Италии, кроме, конечно, Сардинского королевства. В Англии и Франции реакционеры, можно сказать, скорбели душой, что их странам приходится воевать против слишком зарвавшегося жандарма Европы, но, конечно, желали все-таки полной победы своим правительствам.

Подавляющее большинство буржуазного класса, представленное конституционно-либеральными течениями и партиями, определенно ненавидело Николая и в Австрии, и в Германии, и во всех других странах как главу и самый могущественный оплот всеевропейской реакции, как решительный тормоз всякого прогресса. О либеральной буржуазии Англии и Франции нечего, конечно, и говорить.

Наконец, представители только что побежденных революционных партий, республиканцев и социалистов, повсеместно твердо верили в будущее поражение николаевской России, заранее горячо его приветствуя.

Революционер Барбес восторженно писал из тюрьмы о войне Франции против северного деспота. Его письмо, перехваченное тюремной администрацией, дало Наполеону III повод амнистировать Барбеса (что очень того оскорбило). Даже узурпатора Бонапарта, задушившего 2 декабря 1851 г. французскую республику, революционеры Франции и всей Европы меньше боялись и не так яростно ненавидели, как Николая. Подавление венгерской революции войсками Паскевича в 1849 г. еще стояло у всех перед глазами и взывало к отмщению. То, что самый грозный враг освобождения народов от абсолютизма и от феодальных пережитков сидит в Петербурге, являлось в годы, предшествовавшие взрыву Крымской войны, повсеместно признанной аксиомой.

Горячо желали поражения реакционного царизма основоположники марксизма.

Маркс и Энгельс страстно интересовались Крымской войной и следили за военными событиями, хотя им приходилось пользоваться скудными и часто лживыми корреспонденциями

английских газет с театра военных действий, потому что никаких иных источников фактической информации о войне в 1853—1856 гг. у них долгое время не было. Удивительно, как им часто удавалось тогда же, сразу, прекрасно разбираться в клубке противоречий, вымыслов, сознательных и бессознательных извращений и фактических ошибок, которые в этом «патриотическом» газетном материале были таким характерным явлением. Французская пресса, либо бонапартистская в подавляющем большинстве, либо задавленная свирепой цензурой, прочно утвердившейся после переворота 2 декабря 1851 г., была еще несравненно хуже английской, и ею Маркс и Энгельс пользовались лишь в очень редких случаях.

Но для нас важнее всего, конечно, общие воззрения, историко-философский анализ основоположников марксизма, на глазах которых развертывалась крымская трагедия.

Ограничимся здесь лишь характеристикой основных умозаключений, к которым они пришли.

Следует начать с того, что самое столкновение великих держав именно из-за восточного вопроса вовсе не было для Маркса и Энгельса неожиданностью. Они давно уже установили, во-первых, что всякий раз, когда Николай сколько-нибудь успокаивается касательно революционных движений в Европе, он стремится в том или ином виде поднять вопрос о наследии «больного человека», т. е. о разделе Турции. Во-вторых, Маркс и Энгельс были убеждены, что ни Англия, ни Австрия не могут равнодушно смотреть на тот экономический ущерб и те политические опасности, которые грозят их интересам, если «петербургский деспот» станет султаном в Константинополе и присоединит к своим владениям Балканский полуостров и Малую Азию.

В-третьих, Маркс и Энгельс, давшие такой глубокий, исчерпывающий анализ 2 декабря 1851 г., никогда не испытывали отчаяния после гибели французской республики, какое пережили многие другие представители европейской революционной общественности (например, Герцен). Почему? Потому что они уже очень скоро, в 1852 и начале 1853 г., почувствовали, что оба самодержца — петербургский и парижский, старый «жандарм Европы» и новый жандарм Франции — непременно столкнутся и что речь идет вовсе не о ключах от Вифлеемского храма и не о том, какая должна быть в этом храме водружена звезда — католическая или православная. Речь идет об экономических интересах французской буржуазии на Леванте, требовавших спасти Турцию от гибели, и о династических выгодах самого Наполеона III, о возможности покрыть «военными лаврами» новую империю, взять реванш за 1812 год и, главное, воевать в союзе с Англией и, может

быть, также в союзе с Австрией, т. е., значит, с максимальными шансами на победу.

А с точки зрения интересов европейской революции для Маркса и Энгельса раньше, чем для других, было вполне ясно, что кто бы из этих двух самодержцев ни пал, революция от этого только выиграет. Поэтому они приветствовали надвигавшийся конфликт. Но так как они считали самодержавие Николая I более сильным и, главное, более прочным оплотом реакции, чем скоропалительно созданный только что авантюристический режим нового французского императора, то они всей душой, прежде всего, желали поражения именно николаевской, крепостнической России. В сокрушении николаевщины революционная общественность того времени усматривала окончательный, бесповоротный провал всего того, что еще удержалось от обветшавших идеологических и политических традиций Священного союза.

Но не у всех представителей европейской революционной мысли хватало прозорливости и последовательности, чтобы, подобно Марксу и Энгельсу, в течение всей войны с удовлетворением отмечавших дипломатические и военные неудачи царизма, в то же время правильно оценивать по достоинству и таких «друзей прогресса», как Пальмерстон, активнейший представитель наиболее алчных и воинствующих слоев крупной английской буржуазии, или как Наполеон III, ставленник реакционных кругов города и деревни, и т. п. То, что речь идет не о «защите» Турции, но о споре из-за добычи между хищниками, которым не удалось договориться о «полюбовном» разделе этой страны и которые опасаются главным образом лишь того, как бы кому-либо не перепало при разделе больше, чем другим,— Марксу и Энгельсу также было вполне ясно. Их замечательный публицистический талант необыкновенно ярко проявлялся, когда им приходилось язвительно обличать все лицемерие этих мнимых благородных защитников Турции и борцов за Европу вроде Наполеона III, или Пальмерстона с Викторией, или генерала Сент-Арно, прославившегося тем, что он удушал дымом загнанных в пещеры несчастных арабов при завоевании Алжира французами. Очень характерно, что Маркс и Энгельс сквозь густую мглу шовинистических выдумок англичан и французов распознавали и отдавали должное упорству и храбрости русских войск, так блестяще и так долго отражавших яростные атаки прекрасно вооруженного и многочисленного неприятеля. Конечную неудачу царской России в этой тяжелой войне Маркс и Энгельс, в согласии со своей основной точкой зрения, приветствовали как явление, при данных обстоятельствах благоприятствующее политическому и социальному прогрессу, несмотря на такие побочные последствия,

как упрочение бонапартовского трона и усиление капиталистической реакции в Англии. Основоположники марксизма понимали, конечно, и выражали, не обинуясь, что и Пальмерстон и Наполеон III дерутся против ставшей, с их точки зрения, опасной для их экономических и политических интересов внешней политики Николая I, но вовсе не против царизма как системы, не против николаевщины, не против жандармских функций русского самодержавия. И Маркс даже иной раз прислушивался к словам публициста Дэвида Уркуорта, обвинявшего Пальмерстона в нечистой игре, в дипломатическом двурушничестве, в каком-то тайном потворстве интересам царской дипломатии. Хотя Маркс не поддержал в конце концов Уркуорта, но никогда все-таки он не верил искренности Пальмерстона, когда тот либеральничал, разглагольствуя о пороках русского политического строя.

Изучение статей и корреспонденций Маркса и Энгельса показывает замечательную остроту и тонкость аналитического ума обоих мыслителей. Их анализ сплошь и рядом отметает прочь густой слой лжи английских корреспондентов и умеет подводить поближе к правде. Особенно ярко это проявлялось, когда Марксу и Энгельсу приходилось сталкиваться с систематическим замалчиванием русских военных подвигов.

Достаточно вспомнить, например, как правильно они оценили русскую победу 6(18) июня 1855 г., когда осажденные блестяще отбили неприятельский общий штурм. Изучая эти статьи и корреспонденции, можно оценить по достоинству гениальность обоих авторов. При самых невыгодных условиях, имея крайне мало независимого фактического материала для проверки и корректирования всего того, что ежедневно преподносилось по телеграфу и почтой читателям большой британской прессы, они в ряде случаев отказывались принимать не только освещение сообщаемых фактов, но даже и допускать их точность и реальность.

Обращаясь от корифеев марксизма к представителям русской политической мысли, мы должны отметить, что больше всех волновались по поводу событий начала войны славянофилы. Одни из них искренно восторгались демагогически пущенной в оборот правительством идеей «освобождения славян», другие бредили завоеванием Царьграда, третьи все же считали (*особенно с середины* 1854 г.), что николаевщина не может не проиграть войны. Конечно, никто из них никогда и не думал, что Англия и Франция в самом деле «защищают» Турцию. И в этом они были совершенно правы.

По существу дела к вопросу об «освобождении» славян Николаем I, как и к вопросу о «защите независимости Турции» Пальмерстоном и Наполеоном III, применима формула Ленина,

высказанная им по поводу разговоров об освобождении и защите «малых наций» при взрыве войны 1914 г.: «Самым распространенным обманом народа буржуазией в данной войне является прикрытие ее грабительских целей „национально-освободительной“ идеологией. Англичане сулят свободу Бельгии, немцы — Польше и т. д. На деле... это есть война угнетателей большинства наций мира за укрепление и расширение такого угнетения» [3]. И буржуазия Англии и Франции и дворянско-феодальная русская монархия в 1853—1854 гг. стремились лишь прикрыть обманными фразами своекорыстные цели.

Нелогичность славянофилов заключалась лишь в том, что они долго не желали признать, что Николай Павлович столь же «искренно» печется о свободе славян, как Наполеон III и Пальмерстон о независимости Турции.

Многие из славянофилов тогда считали все-таки николаевщину злом, совершенно непереносимым.

Славянофил А. И. Кошелев пишет в своих изданных за границей воспоминаниях: «Высадка союзников в Крыму в 1854 году, последовавшие затем сражения при Альме и Инкермане и обложение Севастополя нас не слишком огорчили, ибо мы были убеждены, что даже поражение России сноснее для нее и полезнее того положения, в котором она находилась в последнее время. Общественное и даже народное настроение, хотя отчасти бессознательное, было в том же роде» [4].

Вера Сергеевна Аксакова была настроена глубоко пессимистично к концу войны: «Положение наше — совершенно отчаянное,— писала она и признавала николаевщину более страшным врагом России, чем внешнего неприятеля.— Не внешние враги страшны нам, но внутренние, наше правительство, действующее враждебно против народа, парализующее силы духовные». И по поводу смерти Николая эта умнейшая из всех детей Сергея Аксакова находит строки, почти совпадающие с герценовскими. Герцен радовался, что это «бельмо снято с глаз человечества», а Вера Сергеевна пишет: «Все невольно чувствуют, что какой-то камень, какой-то пресс снят с каждого, как-то легко стало дышать...»

«Либерализм» славянофилов был, впрочем, таким легоньким и слабо державшимся, что его уже через полгода после смерти Николая начало сдувать, и Хомяков, таким грозным Иеремией выступавший в начале войны, уже начал беспокоиться и писал другому «либеральному» славянофилу, Константину Аксакову, что «дела принимают новый оборот, но оборот также небезопасный», так как западники («запад») могут «встрепенуться» и «что же тогда?»

Иван Киреевский скорбел искреннее и глубже, чем всегда

несколько актерствовавший Хомяков, и прямо заявлял Погодину, что если бы не крымское поражение, то Россия «загнила бы и задохлась». Да и сам Погодин, поклонник самодержавия, перестал мечтать о Константинополе и заговорил в своих «Записках» и речах в тоне либерального негодования на николаевщину, потерпевшую поражение.

К концу войны славянофильская «оппозиция», однако, уже решительно переставала удовлетворять даже самых умеренных, самых аполитичных людей, бывших до той поры довольно близкими к ней. «Давно уже добирался я до этого вонючего, стоячего болота славянофильского. Чем скорее напечатаете мою критику, тем лучше; чтоб не дать много времени существовать такой дряни безнаказанно, надо скорее стереть ее с лица земли»,— в таком тоне писал о книге К. С. Аксакова известный ученый, филолог Буслаев 10 июня 1855 г. издателю «Отечественных записок» А. А. Краевскому. А спустя некоторое время он, разгромив также Хомякова, пишет: «Нынешнее лето... мне посчастливилось поохотиться за славянофильской дичью. Думаю, что мои две критики, одна за другой, несколько всколышат это вонючее болото, которое считали глубоким только потому, что в стоячей тине не видать дна» [5].

Официальная пропаганда идеи «освобождения» балканских славян и близкая к ней в некоторых отношениях славянофильская программа вызывала в представителях тогдашнего западничества еще большее раздражение, чем в людях типа Буслаева.

Начинавшего тогда, известного впоследствии историка С. М. Соловьева в литературных и ученых кругах Москвы и Петербурга в конце 40-х годов причисляли к западническому лагерю, хотя он был одинаково близок и с Грановским, и с Кавелиным, и с Хомяковым. На самом деле он не принадлежал ни к тому, ни к другому лагерю, но Крымская война сильно заострила его критическое и вполне отрицательное отношение к режиму. «Надвигалась страшная туча над Николаем и его делом, туча восточной войны. Приходилось расплатиться за тридцатилетнюю ложь, тридцатилетнее давление всего живого, духовного, подавление народных сил, превращение русских людей в палки... Некоторые утешали себя так: тяжко! всем жертвуется для материальной, военной силы; но по крайней мере мы сильны, Россия занимает важное место, нас уважают и боятся. И это утешение было отнято...» При таком настроении люди, подобные Соловьеву, переживали довольно мучительную душевную драму: «В то самое время, как стал грохотать гром над головою нового Навуходоносора, когда Россия стала терпеть непривычный позор военных неудач, когда враги явились под Севастополем, мы находились в тяжком положении: с одной

стороны, наше патриотическое чувство было страшно оскорблено унижением России, с другой, мы были убеждены, что только бедствие, и именно несчастная война, могло произвести спасительный переворот, остановить дальнейшее гниение; мы были убеждены, что успех войны затянул бы еще крепче наши узы, окончательно утвердил бы казарменную систему; мы терзались известиями о неудачах, зная, что известия противоположные приводили бы нас в трепет» [6].

Живший в Лондоне Герцен, страстно ненавидевший николаевский режим, конечно, знал, что военный провал царизма может стать началом какого-то большого сдвига в русском обществе, и это несколько смягчало живо ощущавшуюся им скорбь по поводу страданий русского крестьянина, матроса, солдата, которые являлись первыми жертвами военных поражений. И с душевной болью он думал о войне. Революционер Герцен верил в народную Россию и страдал от бессильного гнева, думая о бедствиях и унижениях, которые терпит русский народ от последствий бесконтрольного хозяйничанья царя и его слуг в области внешней и внутренней политики. Вера в могучие силы и беспредельные возможности, таящиеся в русских народных массах и ждущие, когда настанет час освобождения, никогда не покидала его.

Герцен глядел на войну издалека, из Лондона. Его любимый друг Грановский многое наблюдал совсем вблизи и переживал Крымскую войну болезненно тяжело. Можно смело сказать, что эти переживания надломили его жизненную силу, жестоко отозвались на сопротивляемости его и без того некрепкого организма и ускорили смерть сорокадвухлетнего человека. Грановский очень мрачно смотрел на начало и на возможные перспективы разгоревшегося пожара.

В рукописной записке Т. Н. Грановского, писанной в январе 1855 г., автор решительно отвергает якобы религиозный и освободительный характер Крымской войны: «...ужели мы пойдем на освобождение угнетенных в Турции, когда у нас у самих все общественное устройство основано на том же начале, тогда как наша же Польша страдает под бременем ненавистного ига?»

Цель войны «чисто политическая — расширение русского владычества на востоке». Грановский дальше говорит, что в один год Россия потеряла в Европе всех своих союзников и лишилась надолго возможности восстановить свое влияние на Востоке. Чтобы привлечь славян на свою сторону, «Россия должна поднять революционное знамя, а для этого нужно носить революционное начало в самом себе, для этого нужно нам обновиться с головы до ног, преобразовать все общественные учреждения, освободить Польшу, отказаться от своего

прошедшего и пойти по совершенно новой дороге». Но этого автор не ждет, конечно, от правительства: «Грустно взглянуть на настоящее положение России. Эта великая страна, еще недавно стоявшая на верху славы и могущества, в два года приведена в самое печальное состояние. Она окружена врагами, во главе ее стоит тупое, самовластное и невежественное правительство; народ приуныл, веры и патриотического энтузиазма в нем нет, да и может ли он быть, когда приходится даже бояться успехов русского оружия из опасения, чтоб это не придало правительству еще более силы и самоуверенности». Всюду беспорядок, воровство, ужасающие злоупотребления, нелепости в дипломатии, ошибки в ведении военных действий. «Двадцатидевятилетний гнет совершенно убил прежнюю любовь и доверие народа к своему правительству. Но всего более к этому способствовала настоящая война. Она окончательно разорвала союз царя с народом, она опозорила это царствование... Будем надеяться, что тяжелое испытание не пройдет даром, что урок послужит нам на пользу; будем надеяться, что Россия, обновленная несчастьями, почувствует в себе новые силы и сумеет выйти из того печального и унизительного состояния, в котором находится теперь» [7].

За несколько недель до смерти Грановский написал Кавелину письмо, в котором с гневом и раздражением говорил об отсутствии патриотизма, о своекорыстии многих и многих дворян и о безропотном, самоотверженном поведении крестьянской массы: «Был свидетелем выборов в ополчение. Трудно себе представить что-нибудь более отвратительное и печальное. Я не признавал большого патриотизма и благородства в русском дворянстве, но то, что я видел в Воронеже, далеко превзошло мои предположения. Богатые или достаточные дворяне без зазрения совести откупались от выборов... и притом, такая тупость, такое отсутствие понятий о чести и о правде. Крестьяне же идут в ратники безропотно». Правда, кое-где и в дворянстве, например среди бывших воспитанников Московского университета, пишет Грановский, проявились лучшие чувства. Русские неудачи тяжко волновали его: «Весть о падении Севастополя заставила меня плакать. А какие новые утраты и позоры готовит нам будущее. Будь я здоров, я ушел бы в милицию без желания победы России, но с желанием умереть за нее. Душа наболела за это время. Здесь все порядочные люди, каковы бы ни были их мнения, поникли головами» [8].

То, что пишет Т. Н. Грановский о «высшем обществе», в частности о славянофильствующем дворянстве, невольно заставляет читателя вспомнить то, что мы дальше будем говорить о Чернышевском. Неспроста Чернышевский с такой горячностью утверждал, что не только николаевское правитель-

ство, но и «общество» виновно в ужасах крымского поражения. Вот каковы впечатления Грановского в последние месяцы войны и его угасавшей жизни: «Вообще здешнее высшее общество боится, чтобы новый царь не был слишком добр и не распустил нас. Общество притеснительнее правительства». За несколько дней до смерти, 2 октября 1855 г., Грановский пишет: «Вообще наша публика более боится гласности, нежели третье отделение...» И особенно противна ему была в эти тяжкие для России дни праздная славянофильская болтовня: «Самарин, поступивший в ополчение, доказывает всю важность теперешних событий тем, что по окончании войны офицерам, служившим в ополчении, можно будет носить бороду, следовательно, кровь севастопольских защитников не даром пролилась и послужила к украшению лиц Аксаковых, Самариных и братии. Эти люди противны мне, как гробы. От них пахнет мертвечиною. Ни одной светлой мысли, ни одного благородного взгляда. Оппозиция их бесплодна, потому что основана на одном отрицании всего, что сделано у нас в полтора столетия новейшей истории. Я до смерти рад, что они затеяли журнал... Я рад потому, что этому воззрению надо высказаться до конца, выступить наружу во всей красоте своей. Придется поневоле снять с себя либеральные украшения, которыми морочили они детей, таких, как ты» [9]. Так писал он Кавелину, который, впрочем, уже и тогда был дальше от Грановского, чем от «либерализма» славянофилов (по своему политическому «нутру»), а вовсе не был наивным «ребенком».

Ответственность удушающего, растлевающего, преступного режима Николая I во всех бедствиях затеянной и проигранной царизмом войны в той или иной степени чувствовали самые непохожие друг на друга люди: Герцен, Хомяков, Тургенев, Аксаковы, Сергей Соловьев, Кошелев. Но все они, и славянофилы и западники, возлагали надежды (опять-таки в той или иной степени) на нового царя, на грядущие реформы сверху, вызванные сознанием необходимости больших перемен, и даже Герцен увлекался в первые годы и (очень недолго, впрочем) приветствовал Александра II словами, которые предание обращает к Христу: «Ты победил, Галилеянин!» Но ни девятнадцатилетний Добролюбов, ни Чернышевский, ни Шелгунов, ни те, кто за ними пошел, уже не надеялись ни на что, кроме будущей революционной борьбы, к которой должно готовить народную массу. Новая, разночинная революционная интеллигенция сделала из событий Крымской войны не тот вывод, какой сделали люди старшего, дворянского поколения. И когда Чернышевский, признававший громадные общественные заслуги Герцена, все же говорил после личного свидания с Герценом в Лондоне, что тот остался московским барином,

который как бы воображает, что он все еще спорит в московских гостиных с Хомяковым, то в этом отзыве замечательного революционного мыслителя косвенно характеризовалось отличие в тех выводах, какие были извлечены из событий Крымской войны *революционными демократами*, с одной стороны, и людьми 40-х годов, близкими к Герцену,— с другой. Для Герцена Хомяков был противником, а для Чернышевского или Добролюбова — врагом.

Если Соловьев и Грановский, Иван Аксаков и Хомяков порой *боялись* победы николаевской России, то среди людей молодого поколения эти настроения прорывались еще чаще. «Когда в Петербурге сделалось известным, что нас разбили под Черной, я встретил Пекарского. Тогда он еще не был академиком. Пекарский шел, опустив голову, выглядывая исподлобья и с подавленным и с худо скрытым довольством; вообще он имел вид заговорщика, уверенного в успехе, но в глазах его светилась худо скрытая радость. Заметив меня, Пекарский зашагал крупнее, пожал мне руку и шепнул таинственно в самое ухо: „нас разбили!“» [10]. Пекарский был тогда хорошо знаком с Чернышевским.

Конечно, ненависть к самодержавному гнету не мешала врагам николаевщины болеть душой при вестях о тяжких ударах, падавших на Россию, о страданиях и потерях героических русских войск на поле брани.

С каким горячим патриотическим участием и неослабным интересом, например, ссыльные декабристы Пущин, Штейнгель, Батеньков, Сергей Волконский, Евгений Оболенский следили за беспримерно геройской (и победоносной!) защитой Камчатки... Как жадно слушали они приехавшего в Ялуторовск Максутова, одного из героев камчатской обороны! Мало того: они, разбросанные по Сибири, переписывались и совещались о наиболее целесообразных мерах к ее обороне, и их мнения и советы становились известными и учитывались генерал-губернатором Муравьевым-Амурским через состоявших на службе молодых их друзей Свербеева, инженерного офицера Райна. В доме Пущина в Ялуторовске Матвей Муравьев-Апостол и Иван Якушкин образовали своего рода «стратегический пункт», куда стекались вести о подвигах кучки русских героев, заставивших английскую эскадру уйти прочь после истребления высаженного ею десанта [11]. Истинные революционеры-патриоты, они дожили до войны, когда пришла расплата за тридцатилетнее царствование душителя России, сославшего их на каторгу.

Революционные демократы, разночинные публицисты-просветители, деятели первого поколения, выступившего после Крымской войны, начинали свое поприще, когда только что умолкли севастопольские пушки.

Прежде всего тут следует назвать славное имя Чернышевского.

Бесспорно лучшее по глубине анализа из всего, когда-либо написанного о Наполеоне III, о принципах его правления и о причинах его воцарения, принадлежит двум авторам: Марксу (в его «Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта») и Чернышевскому (в его не пропущенной цензурой замечательной, к сожалению, почти вовсе у нас неизвестной статье «Франция при Людовике-Наполеоне»). Обе эти работы безусловно обязательны для всякого, желающего понять историческое значение Второй империи. Маркс и Энгельс посвятили затем длинный ряд статей внешней политике, международным отношениям этого периода. Чернышевскому же, поглощенному вопросами русской действительности и занятому революционизировавшей русское общество широкой публицистической пропагандой, а с середины 1862 г. заточенному в крепость и затем сосланному на каторгу, не пришлось посвятить много внимания международной политике России и Европы. Однако случилось так, что именно перед тем, как он окончательно был вырван из жизни гнусным каторжным приговором, как раз перед этим подлейшим из судебных убийств, совершенных тогда царизмом, Чернышевскому, уже сидевшему в Петропавловской крепости, удалось высказать несколько мыслей о начале Крымской войны.

Чернышевский не писал ничего или (осторожнее будет сказать) до нас не дошло ничего написанного им о Крымской войне в те годы, когда шли военные действия. Но зато он довольно обстоятельно высказался о ее начале через семь лет после ее окончания. Случилось это так. Чернышевский уже одиннадцать месяцев сидел в Петропавловской крепости, опутанный сетями провокаторов, агентов и шпионов III отделения, когда его двоюродный брат Ал. Ник. Пыпин сообщил ему о выходе в свет многотомного труда английского историка Кинглэка о Крымской войне [12]. Как известно, тогдашний петербургский генерал-губернатор А. А. Суворов (внук знаменитого фельдмаршала) дал Чернышевскому возможность заниматься литературным трудом в крепости, и, например, роман «Что делать?» был именно там и написан. Подавно оказалось возможным начать переводить Кинглэка, и Чернышевский немедленно начал это делать. Он успел перевести лишь несколько листов, но снабдил этот сокращенный перевод обширными дополнениями и примечаниями. Лишь в советское время мы получили полный текст этой работы [13] Чернышевского над Кинглэком и по поводу Кинглэка. Конечно, то, что пишет тут Чернышевский, гораздо интереснее, ярче и глубже, чем все томы самого Кинглэка, откуда делал свои извлечения и которые комментировал наш замечательный ученый, революционный демократ-просветитель. Правда,

Кинглэк оказался не только первым по времени, но едва ли и не наименее лгущим из всех английских историков, писавших о Крымской войне. У него оказался громадный материал, дающий немало интересных фактов, касающихся участия Англии и Франции в войне 1853—1855 гг. (о России он не знал почти ничего). Конечно, его основные взгляды — те самые, которые отличали тогдашнюю английскую консервативную буржуазию; его общий кругозор по своей широте едва ли сколько-нибудь заметно отличался от кругозора его друга и начальника — лорда Раглана. Но понятно, что Кинглэк понравился Чернышевскому и своей содержательностью, и даже некоторыми политическими воззрениями, например беспощадной оценкой личности императора Наполеона III, и, помимо всего,— важностью и политическим значением темы, дававшей возможность высказать в форме дополнений и примечаний некоторые собственные заветные мысли.

Светлый аналитический ум Чернышевского сказался во многих местах этой работы, хотя и не всегда автор имел возможность полностью, не боясь двойной цензуры (общей и тюремной), высказать свою мысль в полном виде и в ясной форме. Вынужденная некоторая идеализация мотивов поведения царя в начале войны или, точнее, объяснение агрессивных целей царской дипломатии больше всего шовинизмом русского общества и тому подобные черты изложения ничуть не помешали Чернышевскому совершенно правильно указать на грубейшую, одну из наиболее роковых ошибок Николая — на недооценку сил Франции и полной готовности Наполеона III ухватиться за любой предлог, чтобы затеять войну против России. Говорит он осторожно, обиняками, но все-таки вполне ясно по существу и о другой губительной ошибке царя — о непонимании Австрии, ее интересов и будущего ее поведения в начинающейся войне. И перевод Кинглэка и работа Чернышевского над этим переводом были резко оборваны гнусным приговором, осуждавшим Чернышевского на четырнадцать лет каторжных работ и последующую ссылку. Иначе, конечно, мы дождались бы решительной и систематической критики явных попыток английского историка обелить дипломатов и государственных людей его страны и преуменьшить роковую роль коварнейшей политики кабинета Эбердина — Пальмерстона, извилистыми путями ведшей дело к войне. Несомненно, что круто изменил бы Чернышевский и свое снисходительное отношение к Стрэтфорду, если бы в его распоряжении были те документы, о которых тогда никто и не подозревал. Ядовитой иронией проникнуты строки Чернышевского, которые больше всего относятся к славянофилам типа Погодина, Антонины Блудовой и к шовинистическим увлечениям широких слоев дворянства и бюрократии вообще в 1853 г.:

конечная формулировка объясняется в известной (и немалой) степени отмеченными выше цензурными условиями. «Кто же пролил реки крови? Кто разорил весь юг России, истощил силы всех остальных частей России? Кто? — О, если бы совесть и факты позволяли думать: „покойный государь", как это было бы хорошо для России! Покойный государь уже давно умер, и мы могли бы не опасаться за будущее... Но, читатель, плохо, очень плохо то, что ни покойный государь, ни правительство не виноваты в севастопольской войне... Большинство публики — ведь это персона бессмертная, не удаляющаяся в отставку; нет никакой надежды, чтобы эта персона, устроившая Крымскую войну, перестала быть представительницей русской нации и иметь громадное влияние на ее судьбу» [14].

Но и помимо цензурных условий следует принять во внимание еще одно обстоятельство. В этом как бы нарочно подчеркнутом преувеличении политической роли общественного мнения громко звучит такая нота горечи и раздражения, что всякий невольно вспомнит время, когда Чернышевский писал эти строки. Это ведь был 1863 год, когда и дворянство, и купечество, и люди так называемых свободных профессий (в том числе очень многие представители буржуазной интеллигенции) отвернулись от освободительных лозунгов, когда на авансцене русской истории Муравьев-вешатель и восторженный хвалитель муравьевских виселиц Катков сменили, казалось, Герцена, когда шовинистические страсти, обуявшие всю многомиллионную обывательщину под влиянием польского восстания, стали выражаться в сотнях и сотнях «всеподданнейших» адресов, когда вчерашний «освободитель славян», славянофил Кошелев, так либеральничавший во время Крымской войны, с восторгом писал: «А Муравьев хват! Вешает да расстреливает, дай ему бог здоровья!»

В 1863 г. Герцен и Чернышевский и другие революционно настроенные люди ясно видели, что это внезапное торжество крутой реакции деятельно, очень оперативно поддерживается «персоной» (по выражению Чернышевского), являющейся «большинством публики». Под влиянием этого горького чувства раздражения Чернышевский, размышляя о Крымской войне, захотел отметить, что и в 1853 г. Николай действовал вовсе не в одиночку и что в тогдашней России поддержка шовинистической части общественного мнения была за ним обеспечена, хоть и не в такой яркой форме, как впоследствии за Александром II в 1863 г., когда Чернышевский переводил книгу Кинглэка. И в этом Николай Гаврилович был совершенно прав.

Еще не знакомый тогда с Чернышевским юный студент Добролюбов в 1855 г. в рукописном журнале «Слухи», в полном виде появившемся в печати лишь в советское время, в

IV томе Полного собрания сочинений Добролюбова (М., 1937), посвящает событиям Крымской войны несколько беглых строк, дающих, однако, отчетливое представление о его настроениях в тот момент. Добролюбов был полон негодования и сарказма по отношению к царизму и его служителям, доведшим Россию до поражения: «Севастополь взят, эта весть никого почти не поразила, потому что давно была ожидана. Все как будто перевели дух после долгого ожидания и сказали: ну, наконец-то... Взяли же таки! И это выразили даже те, которые прежде с голоса газет кричали о невозможности взятия Севастополя! Записные патриоты утешаются, впрочем, тем, что союзники 11 месяцев брали 11 кв. миль», и т. д. Останавливается Добролюбов и на слухах о небрежности и воровстве интендантов и генералов: «Нужно сломать все гнилое здание нынешней администрации, и здесь, чтобы уронить верхнюю массу, нужно только растрясти основание». Добролюбов рекомендует революционную пропаганду: «Если основание составляет низший класс народа, нужно действовать на него, раскрывать ему глаза на настоящее положение дел... И только лишь проснется да повернется русский человек,— стремглав полетит в бездну усевшаяся на нем немецкая аристократия, как бы ни скрывалась она под русскими фамилиями» (там же, стр. 432—434). Ряд заметок посвящен крайне нелестной характеристике режима и личности Николая вообще, независимо от событий Крымской войны, обличению неслыханного, повсеместного воровства, официальной лжи и т. п. (там же, стр. 438—452). О том большом влиянии, которым пользовался Николай перед Крымской войной, молодой Добролюбов пишет с недоумением: «Но как могла Европа сносить подобного нахала, который всеми силами заслонял ей дорогу к совершенствованию и старался погрузить ее... в мракобесие?»

В молодом студенте Крымская война пробудила и укрепила то непоколебимо революционное настроение, с которым Добролюбов прожил всю свою короткую жизнь.

Основоположники марксизма, носители европейской революционной мысли, безошибочным чутьем оценили громадное прогрессивное значение результатов Крымской войны, несмотря на то, что самодержавие еще уцелело в 1856 г. Энгельс считал, что правительство Александра II заключило «мир на очень сносных условиях». Но последствия крымского поражения для внутренней политики России он считает «тем значительнее»: «Чтобы самодержавно властвовать внутри страны, царизм во внешних сношениях должен был не только быть непобедимым, но и непрерывно одерживать победы, он должен был уметь вознаграждать безусловную покорность своих подданных шовинистическим угаром побед, все новыми и новыми завоеваниями. А тут царизм потерпел жалкое крушение, и притом в лице своего

внешне наиболее импозантного представителя; он скомпрометировал Россию перед всем миром и вместе с тем самого себя — перед Россией. Наступило небывалое отрезвление... К тому же Россия постепенно развивалась и в экономическом и в умственном отношении; рядом с дворянством появились уже зачатки второго просвещенного класса, буржуазии» [15].

Вызванная рядом сложных и разнообразных исторических условий отсталость старой России была тем роковым обстоятельством, которое неоднократно вызывало жестокую расплату.

И в Крымскую войну, как напомнил И. В. Сталин, «англо-французские капиталисты» одержали верх так же, как, например, до того временно одерживали верх в XVII и в начале XVIII в. (в годы до Полтавы) шведы и как после того одержали верх в 1904—1905 гг. японцы.

С этой отсталостью сумела покончить только Великая Октябрьская социалистическая революция, не пожелавшая «снижать темпы» в широчайше развернувшейся в советское время борьбе за социальный и технический прогресс и добившаяся на этом пути таких поразительных результатов. «Нельзя снижать темпы!.. Задержать темпы — это значит отстать. А отсталых бьют. Но мы не хотим оказаться битыми. Нет, не хотим! История старой России состояла, между прочим, в том, что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны. Били все — за отсталость» [16].

Как известно, В. И. Ленин считал политическое состояние России, определившееся в годы между окончанием Крымской войны и 19 февраля 1861 г., историческим примером революционной ситуации, правда не окончившейся, по разным причинам, революционным взрывом. Ту же мысль в несколько иных выражениях высказал за четыре года до своей смерти Энгельс, заявивший, что в России уже после Крымской войны начинается «огромная социальная революция», иными словами, намечается и начинает выявляться громадный переворот всех социальных и — неминуемо — впоследствии, рано или поздно, всех политических отношений. Чернышевский, от сочинений которого «веяло духом классовой борьбы», почувствовал это революционным инстинктом и понял разумом. Люди типа С. М. Соловьева увидели, что со своим умеренным либерализмом и умеренным отрицанием они уже сейчас же после конца Крымской войны остаются позади,что жизнь быстро их обгоняет, но не поняли громадного смысла того, что начинает совершаться вокруг них: «...раздался свисток судьбы, декорации переменены, и я из либерала, нисколько не меняясь, стал консерватором» [17]. Этот «свисток судьбы», знаменовавший приближение крушения всего дво-

рянско-феодального уклада жизни, не только услышали, но и прекрасно поняли и приветствовали Чернышевский, Добролюбов и шедшие за ними люди нового, революционно настроенного поколения.

Начиналась в истории России новая эпоха, уже выходящая из хронологических рамок нашего исследования.

2

Предлагаемая работа, которая вообще только и стала возможной исключительно вследствие отзывчивости и готовности соответствующих органов советской власти предоставлять мне нужные архивные материалы, посвящена одному из центральных событий мировой истории — Крымской войне, и прежде всего истории дипломатической подготовки этой войны и дипломатической борьбы, не прекращавшейся во время войны и при ее окончании. *Основная* тема этой монографии строго ограничена, но, по сути дела, эта главная тема не могла, конечно, остаться *единственной* в такой работе, как та, которую я предлагаю вниманию читателя.

Эта война называется в исторической литературе на Западе и у нас то «Крымской», то «Восточной войной». «Восточной» ее стали называть сначала на Западе, и уж оттуда это название с течением времени пришло к нам. Для нас ни Балтийское море, ни Дунай — вовсе не «восток», а запад; Таврический полуостров не «восток», а юг. Белое море не восток, а север. Поэтому под углом зрения русской географии название «Восточная война» — очень неточное название.

Но и «Крымская война» — термин тоже неточный, потому что военные действия происходили не только в Крыму,— и если это название у нас укоренилось, то лишь потому, что главные, в подавляющей степени наиболее важные военные действия разыгрывались именно в Крыму.

В этом смысле характерно, что, например, Энгельс, сравнивая русско-турецкую войну 1877 г. (и именно Дунайский театр войны) с Дунайским походом 1853—1854 гг., называет этот Дунайский поход 1853—1854 гг. «Крымской войной» [18]. И как современник и как историк Энгельс применяет вполне уместно и естественно термин «Крымская война» ко *всему* комплексу военных событий 1853—1856 гг., хотя бы эти события разыгрывались не в Крыму, а на Дунае.

Моя работа не ставит, конечно, и не может ставить себе задачей изображение внутреннего состояния стран, принимавших участие сначала в дипломатической, а потом в вооруженной борьбе в 1853—1856 гг. Я хотел дать не популярную книгу, а научное, специальное исследование, и поэтому предполагаю, что подготовленный читатель, которого я имел в виду, хорошо

осведомлен в общей истории рассматриваемого периода. Но возможно ли забыть о внутренней истории, когда анализируешь этот великий международный конфликт? Дыхание только что пронесшейся грозной революционной бури 1848—1849 гг. еще веет над Европой. Вот люди, управляющие Британской империей. Одни, консерваторы — лорд Дерби, лорд Эбердин, еще полны воспоминаний о чартизме, который не умер, а лишь замер, и для них Николай I — противник, поскольку он хочет овладеть проливами, но желанный друг и союзник, поскольку он — оплот общества, спаситель социальных устоев и т. д. И их верный представитель сэр Гамильтон Сеймур, британский посол в Петербурге, выбивается из сил, доказывая в 1853 г. в петербургских великосветских салонах, в каком он, Сеймур, отчаянии, что Николай Павлович избрал такой опасный путь в своей внешней политике, потому, что царь нужен всей Европе, нужен Англии, и беда всем, если что-нибудь с ним случится. Вот лорд Джон Россель и лорд Мэмсбери, колеблющиеся между направлением Эбердина и направлением Пальмерстона, и вот сам Пальмерстон, вождь богатеющей, быстро идущей в гору экономически, смелой, агрессивной английской буржуазии, уже начинающей успокаиваться от чартистских бурь и полагающей, что за гибелью Турции последует конец Индии и что война против Николая успокоит, а не обострит дремлющие революционные страсти, так как эта война всегда будет самой популярной из всех возможных.

Вот новая, «вторая» Французская империя, возглавляемая крепко сплоченной группой умных, отважных, абсолютно бессовестных авантюристов, удачно исполнивших исторический социальный заказ буржуазии и консервативного собственнического крестьянства и овладевших 2 декабря 1851 г. диктаторской властью.

Эта группа ищет и хочет войны, умело подготовляет ее дипломатически. Сначала (приблизительно в первые восемь месяцев 1852 г.) некоторые члены этой группы ведут газетную кампанию против Англии, не думая, конечно, воевать с ней, но отвлекая умы общества от внутренних вопросов бряцанием оружия. Затем трения из-за «святых мест» и из-за титула Наполеона III ориентируют правящую кучку во главе с императором в сторону войны с Россией, той войны, в которой поддержка Англии обеспечена за Французской империей. Французская буржуазия, в общем несравненно менее заинтересованная в восточном вопросе, чем буржуазия английская, гораздо сдержаннее и холоднее относится к далекой, дорогой и трудной экспедиции. Но и сил, препятствующих этой первой по времени из грандиозных военных авантюр Наполеона III, во Франции не находится. Рабочий класс, революционная интеллигенция, республиканское крыло мелкой

3*

буржуазии слишком разгромлены, дезорганизованы страшным декабрьским поражением, они почти безгласны, если не считать эмигрантов, укрывшихся в Англии, и недвижимы. Да и война, ведущаяся против Николая, представляется им фактом прогрессивным, и многие ей определенно сочувствуют (вроде Барбеса).

Вот Австрия, Габсбургская держава, спасенная от распада летом 1849 г. интервенцией Николая и подавлением венгерской революции. Крутая реакция победила, казалось бы, окончательно и в Вене и в разноплеменной провинции. Но так только кажется. Послушаем внимательнейшего наблюдателя, русского посла в Вене — Петра Мейендорфа. Ознакомимся с картиной, которую он дает в секретном своем донесении канцлеру Нессельроде в середине июля 1853 г.: «Внутреннее состояние этой страны не улучшается, и революция *бродит повсюду* с тех пор, как возможность войны на востоке пробудила надежды красной демократии». Только что на Франца-Иосифа совершено покушение, от которого он едва уцелел. Венское население «снова стало таким же плохим, как когда-то было. Кемпен, начальник имперской полиции, говорил мне вчера, что число преступлений об оскорблении величества увеличивается со дня на день и что двадцать лет пройдет еще раньше, чем исчезнет посев, посеянный в 1848 году». Венгрия мечтает даже о турках как об освободителях от Австрии. В городе Ишле — «коммунистические заговоры, сопровождаемые обязательными массовыми убийствами» (что тут имеет в виду Мейендорф — не вполне ясно). В Праге арестуют «эмиссаров», неспокойно и в Инсбруке и в итальянском Тироле [19]. Австрийское правительство чувствует себя под двумя грозными ударами: Николай стремится овладеть Молдавией, Валахией, интригует в Сербии, в Греции, в Черногории, угрожает Австрии охватить ее владения с двух флангов; Наполеон III поощряет Пьемонт к антиавстрийской политике, неопределенно грозит при случае помочь Пьемонту и изгнать совокупными усилиями австрийцев из Ломбардии и Венеции. Нужно выбирать. И Франц-Иосиф, только что (31 декабря 1851 г.) уничтоживший даже ту жалкую уступку буржуазии, которая называлась австрийской конституцией 1848 г., чувствует явно, до какой степени трон его непрочен, и что он непременно должен решить, на кого из двух грозных соседей ему опереться и с кем менее опасно вступить во враждебные отношения.

И, наконец,— Пруссия, тоже вовсе не забывшая еще 1848 г., Пруссия, в которой буржуазия вся почти сплошь враждебна Николаю, не только как к носителю идей интегрального абсолютизма, но и как к покровителю Австрии, упорно противящейся всякой попытке объединения Германии. В Пруссии король и ближайшее его окружение (но далеко не все) согласны простить

Николаю все, лишь бы по-прежнему он оставался несокрушимым страшилищем для революции. Но и тут следует считаться и с опасностью со стороны запада, т. е. Франции и Англии, и с юга, со стороны Австрии, если бы она окончательно выступила против России и ультимативно потребовала того же от Пруссии. Все было так шатко, так неверно, так еще тревожно, так не устоялось после революционного потрясения 1848—1849 гг. Аристократия, придворная верхушка и в Англии, и в Австрии, и в Пруссии, и в Швеции, и в Дании — всецело почти на стороне Николая, по вполне откровенным, ничуть не скрываемым соображениям классового эгоизма и чувства самосохранения. Это говорят нам в один голос все источники, и притом вовсе не намеками, а самым недвусмысленным образом. Даже там, где, как, например, в Швеции, у государства есть свои старые счеты с Россией и где возникает порой заметное течение в пользу войны против Николая,— аристократический класс этому не сочувствует. Нечего и говорить о Дании, где не только аристократия сочувствовала Николаю, но где очень запомнили, что в 1850 г. царь своим резким вмешательством воспрепятствовал отнятию у Дании, войсками Пруссии и Германского союза, двух областей: Шлезвига и Голштинии.

Была только одна держава — Пьемонт (королевство Сардинское), где даже аристократическая верхушка оказалась против царя. Точнее, не против царя, а на стороне Наполеона III. Ловкость дипломатии Наполеона III в 1853—1855 гг. в том главным образом и заключалась, что он оказывал давление и на Австрию, требуя с ее стороны выступления против России и грозя в случае отказа выгнать ее вон из Ломбардии и Венеции и отдать эти две провинции Пьемонту; и *в то же время* он оказывал давление на Пьемонт, требуя и от него выступления против России и неопределенно обещая в награду дать ему ту же Ломбардию и ту же Венецию. То, что министр Сардинского королевства, граф Камилло Бензо Кавур, должен был покорно исполнить волю повелителя, сидевшего в Тюильрийском дворце в Париже, и послать на смерть 15 тысяч человек под Малахов курган, было так же неизбежно, как и то, что спустя несколько лет Кавур отдал тому же парижскому повелителю Савойю и Ниццу. И это поведение Кавура во время Крымской войны и после нее тоже явилось прямым логическим последствием как поражения революционных сил Италии в 1848—1849 гг., так и сознательного нежелания Кавура в предстоящем деле воссоединения Италии опираться на силы революционной общественности и народных масс.

Об этих внутренних делах и настроениях в Европе как воевавшей, так и нейтральной, конечно, необходимо помнить, когда приходится следить за событиями Крымской войны.

Конечно, в таком специальном исследовании, каким является настоящая работа, совершенно немыслимо и неуместно было бы пытаться дать внутреннюю историю России в рассматриваемый период, касаться обстоятельно влияния войны на внутреннюю историю России во время и после военного периода, анализировать связь между концом войны и крестьянской реформой и т. д.

О состоянии России перед войной можно и должно писать большую специальную работу, о внутреннем положении ее во время войны и после войны — другую большую работу, о крестьянском деле в первые годы после войны — третью, да и не одну, а несколько.

Автор настоящей работы еще с бо́льшим основанием, чем относительно внутренней истории стран Западной Европы, имеет право предположить, что его читателю хорошо известна внутренняя история России в середине XIX столетия,— история социально-экономическая, политическая и культурная, хотя бы в основных ее чертах и в характерных явлениях. Замечу только, что исследователь истории Крымской войны, даже если бы и хотел, не мог бы забыть о том внутреннем строе, при котором Россия должна была выдержать натиск коалиции четырех держав. Вы читаете дневник генерала П. Х. Граббе — и там и сям мелькают известия по две-три строчки: убит Ливен своими людьми; убит еще такой-то у себя в деревне. Вы берете документы и воспоминания по истории ополчения в 1854 г. и особенно в 1855 г. и постоянно наталкиваетесь на известия о слухах, носившихся среди крестьян, будто все ополченцы и их семьи освобождаются навеки от крепостной неволи. Хотите изучить вопрос о доставлении продовольствия в действующую армию из южных и юго-западных губерний — и перед вами вырастает картина обширного крестьянского движения, вспыхивающего перелетающим пламенем чуть ли не во всех уездах Киевской губернии весной 1855 г., и т. д. Замечательно, что и в 1855 г., как и в 1812 г., среди крестьян и среди ратников ополчения бродила мысль, что, освободив русскую землю от вторгнувшегося неприятеля, участники этого великого дела ни в коем случае уже не вернутся под крепостное ярмо.

У нас теперь есть ценные работы Н. М. Дружинина, А. С. Нифонтова по крестьянскому вопросу в интересующий нас период, есть и научно-популярные работы Игнатович, Повалишина, Горна, Линкова и др., есть интереснейшие публикации вроде записок протоиерея Лебединцева о Козащине и т. д. Необходимы исследования крестьянских волнений в России за последние хотя бы пять-шесть лет царствования Николая с приблизительно полным подсчетом таких крестьянских волнений и частичных вос-

станий в 1855—1856 гг. Архивные данные по истории крестьянства вообще, а крестьянского движения в частности, в интересующую нас эпоху только начинают разрабатываться.

Крестьянское движение, когда оно будет подробно изучено во всероссийском масштабе, даст (это ясно по многим признакам) более внушительную картину идущего непрерывно и вширь и вглубь и все ускоряющегося с каждым годом распада и загнивания крепостных отношений и всего крепостного уклада деревенской жизни, чем то изображение, которое дается теперь на основании все еще слишком ограниченного материала. Разумеется, в такой работе, как эта, которая посвящена прежде всего дипломатической борьбе в 1853—1856 гг. и военным событиям, поскольку они неразрывно связаны с дипломатическими отношениями, не может быть предпринято систематическое изучение еще и истории крестьянства в рассматриваемые годы. Но никакой исследователь, каких бы вопросов этого периода он ни касался, не имеет права забывать, на каком институте держался весь социальный строй николаевской России в момент великого международного столкновения. Если он это забудет, то прежде всего и сам не поймет и читателю не объяснит многих фактов: например, что огромная русская армия оказывалась все время так мала в Севастополе не только вследствие колоссальной границы, которую приходилось охранять от Улеаборга до Евпатории и до Кутаиса, но и потому, что существовал незримый на географической карте, но весьма реальный внутренний фронт, с которым также нужно было считаться и куда тоже ездили постоянно флигель-адъютанты доверительно осведомляться у местных жандармских штаб-офицеров, все ли у них спокойно и достаточно ли у них под руками вооруженных сил. Этот киевско-рязанско-тамбовский и херсонско-полтавско-воронежско-уральский фронт тоже требовал и неусыпного внимания и готовых вооруженных сил.

Многое еще не сделано и по учету волнений на горных уральских и иных заводах, а они были, и мимолетные упоминания о них есть. Нет точно так же «правовой статистики», как выражаются об аналогичном явлении историки аграрных отношений в Ирландии, т. е. подсчета случаев деревенского террора, убийства помещиков, их управляющих, приказчиков и т. д., хотя, повторяю, известия об этих случаях постоянно мелькают в документах, вовсе даже не трактующих о социально-экономическом положении России в середине XIX в. Что эти случаи множились из года в год в угрожающей прогрессии в описываемое время,— это ясно и без статистических подсчетов. Техническая отсталость России, особенно убийственно сказывавшаяся на вооружении, неумелость и невежественность среднего и высшего командного состава, отсутствие настоящей боевой подготовки,

развал в суде, в управлении, отсутствие контроля, беззаконие и произвол, возведенные в норму,— все это было тесно связано с крепостной структурой социального строя. И при этом-то строе, подрывавшем живые силы государства и вместе с тем уже подтачиваемом в самой основе своей все растущими, пока еще неорганизованными и разъединенными, но уже значительными силами народного протеста, правительство Николая I и ввергло Россию в тяжкую и долгую войну.

Об этом общем историческом фоне читатель не должен забывать, конечно, никогда. Особенно трудно о нем забыть при анализе событий такого рода, как, например, призывы ополчения в 1854—1855 гг.

Во многих случаях автору приходилось даже делать над собой некоторые усилия, чтобы не слишком отвлечься от непосредственной своей темы. Как взволновались крестьяне и как растерялись помещики при появлении манифеста об ополчении!

Даже такой пламенный патриот и неустанный радетель об освобождении славян и «православных братьев» от магометанского ига, как Иван Сергеевич Аксаков, забеспокоился и написал отцу любопытнейшее письмо, без ознакомления с которым нельзя обойтись ни историку славянофильства, ни историку крестьянства. Первому — потому что слащавая либеральная оценка славянофилов извратила или затушевала, или просто не знала слишком многих нужных документальных материалов; второму — потому что письмо Аксакова — необычно живая иллюстрация к факту влияния указа об ополчении на обострение заветных стремлений крестьян уйти от рабства.

Вот что писал Иван Сергеевич Аксаков Сергею Тимофеевичу 21 августа 1854 г.: «Призыв к мирскому ополчению переполошил много помещичьих сел в Воронежской и Тамбовской губерниях: крестьяне бежали и потом были возвращаемы насильно. Тут большею частью в ходу две причины: или крестьянам плохое житье у помещика, или же крестьянин — мошенник и вор, как и случилось у нас в Вишенках, где эти двое бежали, обокрав контору. По случаю настоящей войны народные умы легко тревожатся и готовы поверить всякой небылице, всякому ложному толкованию указа. „Царь зовет на службу, лучше служить царю, чем господину“ — эти рассуждения мне уже приводилось слышать. И потому, милый отесенька, ваше послание миру с угрозой прислать управляющего в настоящее время едва ли достигнет своей цели: разнеслись слухи о высадке в Крым неприятеля, вишенские мужики отправятся, пожалуй, защищать Крым по наущению какого-нибудь отставного солдата... Словом сказать, отношения помещика к крестьянам с каждым годом расстраиваются, и надо спешить приводить дело в такое положение, чтобы событие не застало врасплох и не лишило помещика на-

сущного куска хлеба. Надобно будет кому-нибудь из нас двоих (Ивану или Григорию Аксаковым — *Е. Т.*) заняться, если не исполнением вот этого моего предположения, то во всяком случае лучшим устройством имения. Необходимо будет посвятить себя год или два этой скучной работе там, на месте. „Так" оставлять нельзя; прежние способы управления становятся теперь невозможными, и прежние отношения расклеиваются. Теперь ни Куроедов, ни Степан Михайлович не навели бы страха на крестьян» [20].

Напомню, что Куролесов («Куроедов») — тип гнуснейшего злодея-помещика, истязателя крестьян, художественно изображенный в знаменитой «Семейной хронике» Сергеем Тимофеевичем Аксаковым, а Степан Михайлович — крутой патриархальный хозяйственный крепостник-помещик, выведенный в той же «Хронике». И вот что отвечает Сергей Аксаков своему сыну, которого он признает опасным радикалом: «Ты опаснее даже Константина, что и доказывается твоими же словами, что Степан Михайлович теперь бы не годился. Он бы отлично годился, *да между нами он невозможен теперь»*. Это показание для нас драгоценно: крестьянская революция, прорывавшаяся огненными языками из-под земли то там, то сям, уже явно сделала невозможным сохранение крепостного быта и строя. И Сергей Тимофеевич только вздыхает о том, что уже нельзя в деревне так распоряжаться, как его покойный дедушка Степан Михайлович. А вот и финал дела: «Вишенские беглецы явились, но объявили, что не хотят работать на господина; староста отдал их в руки полиции, и я приказал отдать их в рекруты в зачет или без зачету» [21].

Иван Сергеевич Аксаков, конечно, чувствовал, что не очень благополучен этот внутренний фронт и что «славяне» тульские, серпуховские, тамбовские, которых гонят освобождать «славян турецких», прежде всего потребуют собственного своего освобождения. Но ничего, кроме растерянного: «Что прикажете с ними делать!» он придумать не мог: «Напишите, как поступили вы относительно ратниц, дома ли они или с мужьями, если дома, несут ли какой бабий оброк или нет; отнята ли у них земля, кто их кормит и пр. и пр. Здесь нам беспрестанно подают жалобы ратники на то, что помещики обижают их семейства и жен их, и я хочу написать бумагу Капнисту о необходимости обеспечения семейств ратников. *Последние решительно не верят, что остаются крепостными, и находят, что это было бы в высшей степени несправедливо. Что прикажете с ними делать!»* [22]

И подобные факты, такие документы попадаются постоянно, где их и не ждешь и не их вовсе ищешь.

Наиболее проницательные приближенные Николая очень опасались войны и не скрывали иной раз от царя, что боятся революционных вспышек.

Наместник Кавказа М. С. Воронцов с беспокойством предвидел трудности и опасности наступающей войны. «Одна надежда на бога и на вас, всемилостивейший государь, что до такого явного разрыва между нами и западными морскими державами вы не допустите, как я осмелился и прежде один раз написать, *хоть бы с некоторыми маловажными изменениями в переговорах для замирения* (подчеркнуто царем — *Е. Т.*). Больно мне, как русскому... совершенно преданному вам, всемилостивейший государь, говорить о некоторых уступках в справедливых требованиях, прежде объявленных, но по верноподданническому долгу я должен сказать, что потеря — и варварская потеря — с истреблением гарнизонов укреплений наших на восточном берегу вполне заслуживает некоторых пожертвований»,— писал Воронцов царю 18 (30) января 1854 г. из Тифлиса: «необходимо, ежели только возможно, не допустить до разрыва с западными... державами, которые, не рискуя ничего, могут сделать нам здесь ужасный вред, пагубным последствиям которого нельзя предвидеть ни пределов, ни конца. Смею также думать, что морская победа под Синопом и блистательные дела около Ахалциха и за Арпачаем могут покрыть нашу честь и показать Европе и самим туркам, что не страх их оружия заставляет вас, всемилостивейший государь, согласиться на некоторые неважные уступки (эти последние пять слов подчеркнуты царем, и на полях им же поставлены три больших вопросительных знака — *Е. Т.*), а одно только желание прекратить войну, столь вредную для обеих сторон и столь опасную для всей Европы по сильному возбуждению от оной революционного духа, ожидающего от этой войны столько пользы, столько общего беспокойствия, столько общих несчастий» [23].

Воронцов, явственно, вовсе не только о Западной Европе беспокоится, предвидя «возбуждение революционного духа». Он, как и Алексей Орлов, учитывал весьма неспокойное, раздраженное настроение русской крепостной массы и ничуть не преуменьшал возможных обострений опасного положения внутри страны в случае войны. Николай имел основание написать на полях этого письма: «неутешительно».

Эта работа писалась, повторяю, для читателя подготовленного, осведомленного во внутренней истории России.

Об отсталости России в области обрабатывающей и добывающей промышленности, о порочной системе (а точнее — об отсутствии всякой системы) в области технического обучения, о роковом бездорожье, о роли, которую все эти обстоятельства сыграли во время Крымской войны,— подготовленному читателю известно наиболее важное. Это — тоже неотъемлемая часть того общего исторического фона, без которого многое было бы

непонятно в Крымской войне. Замечу, что и здесь тоже историческая наука у нас не сделала той исследовательской работы, для которой наши архивы и в Москве и в особенности в Ленинграде представляют поистине неисчерпаемый кладезь сведений (и именно о второй половине XIX в.). И тут тоже пришлось, чтобы не разбрасываться и не уходить совсем в сторону от главной темы исследования, отказаться от использования документов, прямо напрашивающихся на внимание, если можно так выразиться.

Приведу лишь один образчик, исключительно только для иллюстрации. Колоссальная держава, имеющая самую большую в свете сухопутную армию и не очень малый флот, должна, конечно, подумать о развитии металлургии и прежде всего механических (оружейных и т. п.) и литейных промышленных предприятий. Это аксиома. Но не меньшая аксиома, что, развивая промышленность, самодержавное государство увеличивает тем самым число рабочих, т. е. крайне сомнительного с полицейской точки зрения элемента. Следовательно, должно не развивать, но сокращать промышленное производство. На это и было обращено внимание заблаговременно, как раз года за три до войны. Московский генерал-губернатор Закревский подал императору Николаю доклад, который не мог не возбудить, конечно, в полной мере высочайшего сочувствия и одобрения.

Вот что докладывал московский генерал-губернатор: «Имея в виду неусыпно всеми мерами охранять тишину и благоденствие, коими в наше время под державою вашего величества наслаждается одна Россия, в пример другим державам, я счел необходимым отстранить всякое скопление в столице бездомных и большей частью безнравственных людей, которые легко пристают к каждому движению, нарушающему общественное и частное спокойствие. Руководствуемый этой мыслью, сообразной с настоящим временем, я осмелился повергнуть на высочайшее воззрение вашего величества всеподданнейшее мое ходатайство о недозволении открывать в Москве новые заводы и фабрики, число коих в последнее время значительно усилилось, занимая более 36 000 фабричных, которые состоят в знакомстве, приязни и даже часто в родстве с 37 000 временно-цеховых, вольноотпущенников и дворовых людей, не отличающихся особенно своей нравственностью». Но как же все-таки быть без фабрик? «Чтобы этим воспрещением не остановить развития русской нашей индустрии, я предположил дозволить открытие фабрик и заводов в 40 или 60 верстах от столицы, но не ближе» [24].

В Москве и Петербурге новых заводов поэтому не заводили, но и в «40 или 60 верстах» от этих столиц тоже новых предприятий не открывали. Дело шло с такой последовательностью, что к концу Крымской войны во всей России «механических и

литейных заведений (нас тут интересующих) было всего 38, а общее число рабочих на этих 38 предприятиях было 4803 человека, сумма же годовых оборотов для всех этих 38 предприятий была равна 2 520 462 рублям». И это было в годы, когда привоз машин и нужных металлических товаров из-за границы *прекратился*[25], потому что шла война.

Но и эти заводы нуждаются в сырье и в топливе. Однако и с тем и с другим дело обстояло так: «В России теперь нет недостатка в чугуне, но открытые и разрабатываемые ныне для добычи оного руды расположены в значительном расстоянии от механических заведений и оттого доставка его часто обходится довольно дорого. Впрочем ни малейшего нет сомнения, что в России железной руды находится весьма много и не в дальнем расстоянии от механических заведений, но разведки и разработки оной не *производятся* по разным причинам, которые постепенно слабеют и *со временем* устранятся». Так поставлено дело с сырьем для металлургии. А вот как обеспечиваются эти заводы и паровой флот топливом. Об этом мы узнаем уже не из документов министерства финансов, а из рукописных интимных записок князя Д. А. Оболенского, и его показание дает больше, чем какие угодно официальные доклады, для понимания того, как николаевская Россия готовилась к войне и осуществляла свои хозяйственные задачи.

13 января 1854 г. великому князю Константину Николаевичу, генерал-адмиралу русского флота, пришла в голову необычайно оригинальная мысль: говорят, что в Донецком районе есть антрацит, так вот, не может ли он пригодиться? «У нас нет каменного угля в достаточном количестве для навигации в будущем году, и ежели последует разрыв с Англией, то и достать его неоткуда,— сказал великий князь служившему при нем Оболенскому.— Я намерен сделать опыт заготовления донецкого антрацита, возьмите на себя труд заняться этим делом и сообразите, какие бы следовало принять теперь меры и во что может антрацит обойтись». Оболенский тотчас взялся за дело. Но оказалось, что никто об этом до сих пор как-то просто не думал: «Вчера и сегодня,— читаем дальше в дневнике Оболенского,— я бегал, как угорелый, чтобы собрать все сведения по предмету заготовления донского антрацита; оказывается, что это дело — возможно, и хотя оно обойдется очень дорого, но необходимость должна заставить прибегнуть к этому средству»[26]. Едет затем Оболенский в Новочеркасск, чтобы разузнать что-нибудь на месте об этом любопытном антраците, который, «оказывается», может сейчас как раз пригодиться. Тут он обращается к атаману войска Донского, высшему начальнику в крае, генералу Хомутову: «Он не ожидал моего приезда и не знал причины его... узнав, в чем дело, он сказал мне, что писал, настаивал, из кожи

лез, чтобы доказать необходимость устроить правильное сообщение и упрочить снабжение России антрацитом, но что все его предположения лежат в Петербурге...» Хомутов обещал взяться за дело, но Оболенский не очень верит в успех: «Препятствий к успешному окончанию этого дела — пропасть, и не знаю, удастся ли нам победить их» [27]. Но уже в следующей записи дневника он выражает надежду на «божью помощь» в добыче антрацита...

Вот пример того, как были использованы неисчерпаемые ресурсы России для организации той отрасли промышленности, которая так гнетуще нужна была для обороны страны. Заводов бы поменьше, ибо они плодят неблагонадежных рабочих; руда всюду, правда, есть, но ее не ищут и не собираются искать; антрацит, поговаривают, бывает будто бы очень полезен, но его еще надо добыть и доставить...

Так готовилось правительство Николая к тяжкой войне, к обороне империи от могущественной коалиции.

Таких примеров подбиралось у меня в процессе работы немало, факты сами повелительно о себе напоминали на каждом шагу. Когда историки народов СССР воссоздадут сколько-нибудь полную картину внутреннего состояния и экономической жизни России в середине XIX столетия, тогда общая схема о крепостном укладе, о технической отсталости, об упадке промышленности в России наполнится живым конкретным содержанием, и глухой, отдаленный, но уже различимый гул зреющей крестьянской революции станет понятен, и неимоверные трудности, которые должны были превозмочь солдаты и матросы, чтобы оказать вторгнувшемуся врагу такое упорное и долгое сопротивление, предстанут перед исследователем в полной ясности. Это — тема многочисленных и обстоятельных новых монографий, которых ждет советская историческая наука в будущем.

4

Основной целью автора является анализ тех дипломатических конфликтов, которые непосредственно привели к войне, и тех дипломатических комбинаций, которые так влияли на развертывание событий во время самой войны и особенно в конце ее, перед Парижским миром и в дни парижских конференций. Первоначально я хотел только этой стороной дела и ограничиться. Но по мере того как углублялась работа, мне становилось ясно, что придется касаться чисто военных событий не так кратко, как я предполагал сначала. Все более и более выяснялось, что довольствоваться имеющимися общими работами о Крымской войне даже для самого сжатого изложения событий сплошь

и рядом нет возможности. Военные писатели, писавшие о Крымской войне (кроме лучших из них: генерала Петрова, давшего историю Дунайской кампании, отчасти Зайончковского, доведшего изложение лишь до конца 1853 г., генерала Модеста Богдановича и немногих других), основывают свой рассказ прежде всего на официальных реляциях, правда, часто довольно критически к ним относясь, и интересуются при этом по преимуществу рассмотрением стратегических планов, тактических движений и т. д. Литературу воспоминаний, частной переписки, свидетельств отдельных второстепенных участников того или иного похода или сражения они почти сплошь оставляют в стороне и делают это систематически. А между тем в такой работе, как предлагаемая, где дипломатические документы не могут быть вполне поняты без параллельного и синхронистического ознакомления с военными событиями, читателю должно быть дано нечто иное, чем пересказ реляций и критика военных планов с перечислением полков и указанием, где кто стоял. Пришлось поэтому даже и для сжатого рассказа о военных событиях предпринять поиски таких материалов, которые отчасти еще не изданы и хранятся в архивах, а отчасти давным давно изданы и покоятся мирным сном, никогда не тревожимые и почти никем даже не цитируемые, в мало «посещаемых водах» никем не читавшихся старых сборников и давно прекратившихся специальных изданий. А сколько драгоценных, ничем не заменимых перлов там можно найти!

Их незаменимость именно для такой работы как предлагаемая, стала для меня ясна с первого момента, как только я приступил к работе. Чтобы пояснить свою мысль, приведу конкретный, первый попавшийся пример. Паскевич опасался в 1854 г. выступления Австрии еще больше, чем опасался этого в 1853 г. Его колебания, его внутренний постоянный (хотя и скрываемый) протест против оккупации Дунайских княжеств парализовали трепетавшего перед ним М. Д. Горчакова, который то хотел всерьез вести военные операции, то, желая угодить фельдмаршалу, мешал этим операциям. Все это можно было написать, поставить точку и на этом успокоиться. Но когда рукописное отделение Казахстанской публичной библиотеки прислало для меня (за что я ему бесконечно обязан) в Академию наук хранящийся в г. Алма-Ата архив Хрулева и когда я там вычитал в ряде документов, как Горчаков *в один и тот же день* велит Хрулеву принять участие в предвидимом столкновении с турками и тут же велит не принимать в этом никакого участия, велит помогать русскому генералу, которому грозит опасность нападения с фронта и с тыла, и *в тот же день* велит не помогать ему, то для меня отвлеченное утверждение о влиянии австрийской дипломатии на Паскевича и на русские военные дела окончательно оде-

лось в плоть и кровь. И снова настаиваю: сплошь и рядом подобные военные факты незачем даже искать в далеких рукописных фондах. Многие из них давно опубликованы в воспоминаниях, письмах, дневниках и так прочно забыты, как будто их вовсе никогда и не было. Приведу и другой пример. Документы дипломатической истории убеждают, что между Англией и Францией во все время войны и особенно при переговорах о мире происходили трения и тщательно скрываемые несогласия. Известно также, что во Франции, в обществе, были недовольны стремлением англичан воевать больше французскими, чем английскими, руками. Но нужно было непременно изучить бесценный сборник документов, опубликованный тотчас после войны адмиралом Чарльзом Непиром, чтобы убедиться, так сказать, воочию на конкретных фактах, как эти трения отразились на Балтийской кампании 1854 г. и на истории взятия Бомарзунда. Самый сборник этот только потому и увидел свет, что Непир, разъяренный против своего правительства и адмиралтейства, решил выдать их с головой и этим спасти свою честь. А между тем этот сборник, изданный в очень ограниченном количестве экземпляров и давно исчезнувший из обихода (ходили слухи, что в Англии его старались поскорее скупить), мало кому из писавших о Балтийской кампании был известен, и, например, экземпляр, имеющийся в таком мировом хранилище, как наша Публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина, мирно пролежал неразрезанным от 1857 г. вплоть до того дня, когда я впервые разрезал его страницы. Только у Бородкина я нашел две беглые ссылки на эту книгу: очевидно, у Бородкина в руках был другой экземпляр, посланный Непиром великому князю Константину Николаевичу. А между тем историку, пишущему о военных операциях на Балтийском море, просто нельзя шагу ступить без этой публикации Непира (выполненной им через подставного издателя Ирпа) и без двух томов дополнительной публикации родственника адмирала — Эллерса Непира. И подавно без этих документов нельзя обойтись в работе, посвященной международным отношениям и дипломатической борьбе в 1854 г. Самое удивительное то, что когда эта книга была, наконец, издана Главным морским штабом в русском переводе в годы первой империалистической войны (правда, не совсем в полном виде), то и после этого ее у нас совсем мало знали и редко цитировали.

Подобных примеров — десятки.

Таким образом, первоначальная программа автора все более и более осложнялась. Не получая нужных сведений и должной помощи от имеющейся литературы, мне приходилось и для анализа военных событий производить особые, не очень легкие поиски, хотя интересовали меня факты военной истории *исключительно* с точки зрения моей главной темы, т. е. поскольку на

эти события влияла дипломатия и поскольку эти события влияли на дипломатию; касаясь же военных событий, я старался быть по возможности кратким.

В России числилось в 1854 г. населения 62 000 000 чел.; во Франции — 35 400 000; в Великобритании и Ирландии — 27 452 000; в Европейской Турции — 15 500 000 чел. Относительно Азиатской Турции даже и приблизительных цифр для того времени нет. Что касается численности армий, которые эти страны имели в своем распоряжении, то в реальность русских официальных цифр (около 1 000 000 и даже 1 200 000 чел.) в Англии и Франции никогда не верили и считали, что вся армия, стоящая в Европейской России, была в 1854 г. равна приблизительно 625 000 чел. В русских материалах приводится иногда цифра 702 000 чел. Франция располагала приблизительно армией в 570 000 чел., Англия — в 162 000 чел., в том числе 29 000 чел., состоявших на жалованье у Ост-Индской компании [28]. Что касается турецкой армии, то диван (совет министров и высших сановников) давал явно фантастическую цифру — 540 000 чел. Англичане, имевшие из всех европейцев наиболее точные и надежные сведения о Турции, полагали, что султан в 1854 г. располагал в лучшем для него случае войском в 250 000 чел. Эти цифры, на которых чаще всего останавливались современники, конечно, тоже не могут претендовать на особенную точность, но все же есть основания считать их хотя бы несколько более близкими к действительности, чем те цифры, которые давались тогда всеми правительствами и благополучно попали в качестве непререкаемой истины в историческую литературу и в учебники. Лгала не только русская и турецкая официальная статистика, но и английская и французская. В этом они все состязались очень ревностно. И, конечно, эти цифры постоянно варьировались: новые призывы, потери на войне меняли их довольно значительно. Один из наиболее осведомленных людей, начальник генерального штаба австрийской армии генерал Гесс, заявлял на основании своих данных осенью 1854 г., что Россия располагает армией (на всем своем протяжении) в 820 000 чел. и артиллерией в 2300 орудий, Австрия же только 350 000 чел. и 1100 орудиями. Тогда же Гесс считал, что Пруссия может выставить 200 000 чел., а государства Германского союза (без Австрии и Пруссии) — 100 000 чел. [29]

О вооружении русской армии нам придется еще говорить неоднократно в других частях предлагаемого исследования. Здесь коснемся лишь немногих фактов, бросившихся в глаза участникам войны, как только она началась на Дунае в 1853 г.

Прежде всего понимающих людей сильно беспокоило отсутствие усовершенствованных ружей в нашей армии.

В среднем на полк приходилось перед Крымской войной все-

го 72 «штуцерника». Остальные люди полка были вооружены гладкоствольными ружьями, доказавшими свою негодность уже в венгерскую войну 1849 г. «Чем объяснить такое странное явление?» — спрашивает генерал Имеретинский и отвечает сам: «В Венгерской войне мы были победителями, а победитель сам себя не судит! Как бы ни было, а по приходе в Петербург... преображенцы... опять принялись за свои гладкостволки, расстрелянные, разбитые, снаружи зачищенные кирпичом и внутри совершенно ржавые и негодные. С этими-то пародиями стрелкового дела начали мы, как ни в чем не бывало, опять ходить в караулы и на ученья... а иностранные военные агенты особенно прилежно и неупустительно посещали смотры „практической стрельбы“. Много памятных книжек исписано было на разных языках, и везде, во всех реляциях, подробно описывалось, курсивом, что в русской гвардии при стрельбе в цель, на двести шагов, из 200 выпущенных пуль лишь *десятая часть* попадает в мишень в одну сажень ширины и такой же высоты! Эти результаты, так же как и состояние помянутых гладкостволок, были известны, во всех подробностях, английскому и французскому военному министерству по крайней мере лет за пять до Крымской войны. Наполеон III, бывший артиллерист, отлично понял, взвесил и оценил всю важность таких данных, как описанная выше система обучения, боевая подготовка и состояние оружия в русских войсках» [30].

Но там, где русским солдатам давали сколько-нибудь годные ружья или орудия, они удивляли противников меткостью стрельбы.

Артиллерия тоже успела сильно отстать за долгое царствование Николая, и это было общепризнанным фактом: «Странно и поучительно, что в общих мерах покойного государя, обращенных наиболее на военную часть, были упущены две такие важности, каковы введение принятых уже во всех западных армиях усовершенствований в артиллерии и в ружье; в особенности огромный недостаток пороха, что я узнал из уст самого государя и что впрочем везде и оказалось. Этому пособить было трудно» [31].

Об интендантских порядках в Крымскую войну тоже еще будет речь впереди. Здесь ограничимся лишь несколькими словами.

Замечу, что история «подвигов» российского интендантства во время Дунайской кампании и затем Крымской войны еще даже и не начала разрабатываться. Я не считаю «историей» благонамеренное переложение своими словами официальных записок, отписок и переписок, которыми прикрывалось чудовищное воровство, губившее русскую армию, а к таким переложениям пока сводились работы, посвященные этому предмету. Взять хотя бы в качестве типичного образчика книгу А. Поливанова

«Очерки устройства продовольствования русской армии на придунайском театре», изданную Академией генерального штаба в 1894 г., когда уже стало возможно не лгать так отъявленно о том, что творилось на Дунае и в Крыму в 1853—1854 гг. И все же эта книга ровно ничего не дает, кроме никому не нужного изложения официальных документов. А ведь автор лично был честный человек, за что его впоследствии так и возненавидел Николай II. Чего же требовать от других, которые не довольствовались и подобным методом, а еще добавляли славословия? О самооправдательных записках главного ответственного лица — генерала Затлера (вроде брошюры «Несколько слов о продовольствии войск в Придунайских княжествах», СПб., 1863) и тому подобной литературе я и не говорю. От души жалею о времени, потраченном на ознакомление с этими литературными упражнениями.

Солдата худо кормили, худо одевали, худо лечили, а часто и вовсе никак не лечили, и на Дунае это стало сказываться с первых же дней кампании.

Русские солдаты, нисколько не боявшиеся самых кровопролитных сражений, боялись госпиталей, и они были совершенно правы. Нужно было так случиться, чтобы сам командующий войсками, князь Горчаков, оказался осенью 1854 г. временным жителем города Кишинева, и только поэтому он узнал о невероятных порядках в местном госпитале, где за пятнадцать дней (с 1 по 16 сентября) умерло 188 человек, а когда спустя две недели князь снова заинтересовался этими госпитальными делами, то узнал, что с 16 сентября по 4 октября умерло еще 231 человек. Госпиталь был не очень большой, процент смертности показался в самом деле чувствительным, тем более, что никаких сражений уже несколько месяцев не происходило, да и лежали в кишиневском госпитале не столько раненые, сколько просто больные солдаты.

Горчаков велел Хрулеву произвести расследование. Оказалось, что пища и скудная и неудобоваримая; борща больные не едят, ибо от него происходят всегда рези в животе и тяжкие боли. На мясо отпускается столько денег, что мог бы быть куплен самый лучший сорт, а покупают самый худший и т. п. Мрут не только больные, но и служители госпиталя: за короткое время умерло из них *двадцать пять человек*, потому что при тяжелой своей службе они голодают: на них отпускается $3^1/_2$ фунта мяса в месяц. Самое важное для нас это то, что Хрулев, представивший доклад Горчакову, вовсе не обвиняет никого в каких-либо из рук вон выходящих злоупотреблениях: в Кишиневе было как везде, и только, повторяю, случай, приведший Горчакова в этот город, послужил причиной производства расследования, правдивого, но совершенно бесполезного [32]. Больные помещались «в

подвальном этаже, где очень сыро и в окнах нет ни форточек, ни вентиляторов». А в тех редких случаях, когда вентиляторы имеются, они никуда не годятся, потому что не очищают воздуха (показание д-ра Быкова генералу Хрулеву). Белье грязное, лекарства либо не выдаются там, где они нужны (например, хинин), либо выдаются, но там, где они не нужны и даже вредны.

А вот и другое показание:

«В госпитале даже раненым офицерам подавали суп с тараканами... Командир отпускал на котел припасы в *десятичных дробях,* предоставляя солдатам заботиться самим о своих желудках, и те по ночам бандами отправлялись в поля копать картофель...» Доходы, получаемые от этой систематической кражи солдатского довольствия, имели свое общепризнанное, правильно исчисленное финансовое значение в русском быту. Например, в 1855 г. один командир пехотной бригады выдал свою дочь замуж, дав *в приданое половину того, что он будет отныне красть* из сумм, отпускаемых на продовольствие солдат. Но хотя солдат не кормили, больных в ведомостях часто вовсе не оказывалось. Майор резервного батальона Нарвского полка хвастался публично, что у него больных солдат не бывает. «Дам 25 розог, да и спрошу о здоровье; кто отзовется больным, еще накипу!» [33]. Все это в 1853—1855 гг. делалось особенно усердно. «Многие спешили воспользоваться временем и ковали железо, пока оно было горячо» [34]. «Заведовавший двумя батальонами Л. кормил солдат скверно», и эти батальоны по дороге оставляли множество больных. Л. не унывал, услыша о доносах, и самодовольно поглаживал свои карманы, как бы говоря: «Защита у меня здесь».

В этом кратком введении незачем много останавливаться еще на таком основном зле, губившем русскую армию во время этой войны, как отсутствие подготовленного и сколько-нибудь талантливого командного состава. Это бросалось в глаза даже людям невоенным и пребывавшим в тылу.

«Сколько раз, например, гвардия получала приказание выступить из Петербурга, сколько раз была останавливаема, сколько раз выступала, потом опять возвращалась назад, и все это без всякой цели, без всякой нужды, по минутным соображениям, которые тотчас же уступали место другим... Несчастных солдат... форсированными маршами гнали взад и вперед с одного конца России на другой, не давая им отдыха, часто не заготовляя для них ни квартир, ни провианта» [35]. Конечно, еще более резко нелепость, бесцельность, растерянность, ненужная суетливость, внезапные припадки апатии бросались в глаза участникам сражений, которые за эти качества командного состава расплачивались своей кровью. Чем выше по чину и по положению начальник, тем он часто бездарнее и вреднее — этот вывод много раз в различных выражениях и исходящий из самых разнообразных

4*

источников встречался мне в документах. Но о технической неподготовленности армии, о совершенно неудовлетворительном руководстве, сводившем к нулю почти все военные предприятия, даже сулившие успех, мне придется говорить неоднократно в дальнейшем изложении, при характеристике отдельных генералов и при анализе их действий. В кратких вводных замечаниях к работе, которая посвящена непосредственно дипломатической истории 1853—1856 гг., распространяться детально об этом предмете совершенно незачем.

О том, как плачевно сказались на практике вопиюще-бессмысленные приемы обучения русского солдата, читатель неоднократно вспомнит при чтении и первой и особенно второй части моего исследования. Он вспомнит и о словах замечательной газетной передовицы от 16 ноября 1855 г., где Энгельс *совершенно точно* делает вывод из одного приказа генерала Лидерса: «Таким образом, русский генерал, при прямом одобрении императора, осуждает две трети всего русского строевого устава как бесполезную глупость, способную внушить солдату лишь отвращение к его обязанностям; а этот устав был как раз тем достижением, которым покойный император Николай особенно гордился!» [36]

И о русской армии, и об английской, и о французской, и о турецкой придется говорить попутно не один раз. Мы увидим, что в организации сухопутных армий и у неприятеля далеко не все обстояло благополучно.

Русскому флоту после Синопа не суждено было играть активной роли в морской войне, но, как увидим, самый факт его наличия имел свое значение в обеих балтийских кампаниях как 1854, так и 1855 г.

Здесь приведу лишь некоторые цифровые данные для уяснения вопроса об относительной силе флотов.

Вот каковы были, по французским официальным сведениям, относительные размеры морского флота Европы и Соединенных Штатов в 1852 г. Привожу лишь те цифры, которые относятся к уже спущенным на воду судам, не приводя цифр, относящихся к еще строящимся судам.

	Корабли	Фрегаты	Паровые суда
Англия	70	63	150
Франция	25	38	108
Россия	43	48	24
Соед. Штаты	11	15	10
Швеция	10	8	2
Голландия	7	17	26
Дания	7	8	Не показано
Испания	3	6	14
Сардинское королевство	1	8	3

Отдельно, как видим, подсчитаны паровые суда.

Это не только *военный* флот в точном смысле слова: тут подсчитаны также и вообще крупные суда как парусные, так и паровые, которые во время войны легко превратить из торговых или пассажирских в военные, вооружив их.

Что касается военных линейных кораблей, числящихся в морском ведомстве в точном смысле слова, то на 1 января 1852 г. их было: в Англии трехдечных кораблей — 7, во Франции — 2; двухдечных в Англии — 14, во Франции — 4. Фрегатов, вооруженных 50—60 орудиями, в Англии — 6, во Франции — 4. Корветов первого класса в Англии — 11, во Франции — 9. «Смешанных» вооруженных фрегатов в Англии — 4, во Франции — 1. Это парусный военный флот. Что касается парового военного флота, то в Англии было 10 паровых фрегатов, а во Франции — 8; в Англии — 47 паровых корветов или авизо, а во Франции — 37. Для России тут цифр не находим. В своем месте читатель найдет подробные указания о русском флоте.

Таковы цифры, которые дает один из командиров французских эскадр, бывший губернатор Сенегала, граф Буэ-Вильомэ. Он очень большое значение придает именно этой *первой* таблице. В те времена превратить торговый грузовой или пассажирский корабль в военный можно было с поразительной легкостью и быстротой, имея в запасе достаточное количество артиллерии: ведь броненосные суда еще не были изобретены. Поэтому количество невоенных судов имело тоже огромное значение. Любопытный вывод делает граф Буэ-Вильомэ для будущей войны Франции с Россией: «Если разразится война с Россией, то с помощью нашего флота мы можем уничтожить ее торговлю на Черном море, опустошить там ее берега, проникнуть через Балтику и Неву даже в Петербург» [37].

Тот же автор в другой своей работе («О французских колониях в 1852 году») настаивает на такой аксиоме: «Наше морское могущество — это здание, краеугольный камень которого — военный флот, а *фундамент — торговый флот»*. В этом-то отношении и была слаба Россия сравнительно с Англией и Францией. О том, как могучая моральная сила русских моряков компенсировала во многих и многих случаях численную и техническую слабость флота, читатель также вспомнит не раз, читая соответствующие страницы предлагаемой работы.

5

Было бы слишком узким стараться объяснить возникновение Крымской войны исключительно непосредственно хозяйственными интересами, т. е. исключительно борьбой за турецкий рынок между воевавшими державами. Маркс и Энгельс, например,

Баланс Российской торговли с показанием

Годы	Англия		Франция		Сар
	Вывоз из России	Привоз в Россию	Вывоз из России	Привоз в Россию	Вывоз из России
1851	39 103 804	26 559 401	2 610 778	8 477 103	1 470 096
1852	42 883 819	24 642 372	6 941 015	8 638 393	2 750 842
1853	65 956 202	27 888 458	15 160 995	7 789 856	3 632 324
1854	12 345 841	8 760 701	3 327 823	4 034 066	801 474
1855	118 637	935 999	44 952	988 329	—
1856	64 172 308	22 284 596	16 870 871	6 210 351	1 933 909

столько написавшие об этой войне, никогда к такого рода исключительным объяснениям и не думали прибегать. Мы в дальнейшем изложении увидим, чем руководствовались царь, британский кабинет, император французов, решаясь на вооруженную борьбу за турецкую добычу, и не только за турецкую добычу, но и за все, что было связано с вопросом об овладении Турцией. Конечно, самый вопрос о завоевании или о сохранении Турции со всеми вытекающими отсюда последствиями был тоже прежде всего вопросом экономической эксплуатации Турции, а также в дальнейшем и стран, вроде Персии и Индии, участь которых и в политическом и в экономическом отношениях казалась тогда тесно связанной с вопросом о Турции. С *этой,* широко-исторической точки зрения, в *таком* понимании экономических интересов, разумеется, экономика сыграла и в данном случае, как и всегда, не только главенствующую, но в конечном счете — решающую роль. Но ни в каком случае нельзя суживать и вульгаризировать марксистское понимание исторической связи причин и следствий, сводя возникновение Крымской войны единственно только к непосредственной экономической борьбе России с Англией и Францией за турецкий рынок сбыта, за турецкий ввоз и вывоз.

Однако эта крайне важная сторона дела тоже никак не может остаться вне поля зрения историка. Напомним в этих кратких вводных замечаниях в главных чертах некоторые данные, характеризующие экономические отношения между державами, принявшими участие в войне.

Рассмотрим прежде всего показания о торговле России с теми державами, с которыми ей пришлось воевать.

Мы даем в таблице на стр. 54—55 следующие цифры: во-первых, цифру общего вывоза из России во все вообще страны, с которыми Россия торговала, и общего ввоза («привоза») из всех вообще стран в Россию; во-вторых, цифры вывоза из России в Англию и ввоза из Англии в Россию; в-третьих, такие же цифры

государств, с коими торговля производилась

диния	Турция		Всего по торговле со всеми странами мира	
Привоз в Россию	Вывоз из России	Привоз в Россию	Вывоз из России	Привоз в Россию
284 864	6 102 441	3 805 106	97 394 000	103 738 000
325 359	7 255 454	4 587 984	114 774 000	100 864 000
331 382	5 820 409	4 661 135	147 663 000	102 287 000
87 556	1 496 570	2 700 044	65 338 000	70 359 000
9 520	351 248	2 064 799	39 517 000	72 700 000
387 189	6 977 931	6 549 079	160 250 000	122 562 000

для Франции; в-четвертых — для Сардинии; в-пятых — для Турции. (Взяты четыре страны, вступившие в войну против России.) Выведены цифры, относящиеся не только к военным, но и к двум предшествующим войне годам, для сравнения. Цифры даны в серебряных рублях [38].

Накануне Крымской войны (в 1852 г.) в Англию было ввезено из России зерновых продуктов 957 000 четвертей, а из Турции, считая в числе владений султана Египет и Дунайские княжества, в Англию было ввезено 1 875 000 четвертей. Нужно отметить, что наилучшая пшеница самых высоких сортов шла в Англию исключительно почти из России и из 957 000 четвертей хлебных злаков в зерне, полученных Англией из России в 1852 г., 706 000 четвертей было именно пшеницы. После России больше всего получила Англия пшеницы из Пруссии — 400 000 четвертей, из Соединенных Штатов — 400 000 и из Дунайских княжеств — 200 000 четвертей, а меньше всего из Канады — 35 000 четвертей. Даже когда уже обе державы готовились постепенно к разрыву сношений, т. е. в 1853 г., по английским официальным данным, Англия получила, считая с 1 января по 1 октября, русского хлеба 1 028 000 четвертей, в том числе около 750 000 четвертей пшеницы, а из владений султана (опять-таки считая с Египтом, Молдавией и Валахией — 1 857 000 четвертей.

И нужно заметить, что экономическое значение Турции для Англии вовсе не ограничивалось быстрым ростом хлебных закупок во владениях султана, но сказывалось почти таким же относительным ростом значения Турции как рынка сбыта английской обрабатывающей промышленности. Если, как мы видели, в Средней Азии и в Персии Россия стойко и успешно выдерживала экономическую борьбу с Англией, то в Турции английская торговля с каждым годом за последнее пятнадцатилетие перед Крымской войной усиливала и усиливала свои позиции. Турция

в 1851 и в 1852 гг. ежегодно покупала *больше* английских товаров, чем Россия, несмотря на то, что Россия была гораздо населеннее и богаче Турции. Между многими другими обстоятельствами это объясняется и тем, что фактически турецкие таможенные ставки на английские провенансы были ничтожны, а Россия все более и более склонялась в 30-х и 40-х годах к запретительной или, по меньшей мере, резко покровительственной таможенной политике.

В газете «Таймс» широко популяризовались осенью 1853 г. официальные подсчеты, сделанные британским правительством и доказывавшие преимущественное значение Турции перед Россией с точки зрения интересов английской торговли. Лондонское Сити совершенно разделяло воззрение публициста Уркуорта, английского посла в Турции полковника Роза (предшественника Стрэтфорда-Рэдклифа) и других экспертов и знатоков Леванта, которые утверждали, что разгром Турции, особенно же захват ее Россией, равносилен разгрому и тяжкому поражению английской торговли. При этом подчеркивалось, что с уничтожением самостоятельности Турции исчезнет и единственный не зависящий от России транзитный путь для торговли Англии с Персией, особенно с северной, наиболее богатой и населенной частью Персии, потому что если бы остался лишь морской путь, то от побережья Персидского залива пришлось бы переправлять английские товары через огромные солончаковые и безводные пустыни на север, к Тегерану и другим городам.

Чем больше стеснений налагала на английский сбыт в России русская покровительственная таможенная политика, тем более настойчивым делалось стремление английского торгового мира избавиться от необходимости платить ежегодно «золотую дань» российской императорской казне, русскому помещичьему классу и русскому экспортирующему купечеству за хлеб, и, естественно, все с большей охотой английские негоцианты расширяли свои операции в двух хлебороднейших провинциях, еще числившихся владениями султана,— в Молдавии и Валахии.

При относительной скудности сколько-нибудь полных и удовлетворительных архивных исследований по истории русской внешней торговли в XIX в. значительный интерес представляет знакомство с теми наблюдениями, которые делали наиболее заинтересованные вопросом о русской конкуренции иностранцы в годы перед Крымской войной.

Мы увидим прежде всего, что англичане с некоторым беспокойством следили за успехами русского сбыта в Средней Азии и беспокоились не столько за настоящее, сколько за близкое будущее.

Вот что писал 2 октября 1841 г. британский посол в Петербурге Блумфильд в Лондон статс-секретарю по иностранным де-

лам лорду Эбердину: «В Европе нет спроса на грубую продукцию русского мануфактуриста. Единственное направление, следовательно, в котором может быть найден сбыт для нее, это Азия, а главная цель запретительной системы в России и покровительства, которое оказывается отечественному мануфактуристу, заключается в том, чтобы вытеснить более дешевыми товарами (to undersell) британскую продукцию на Востоке. До сих пор это им, может быть, не удавалось, и мне неизвестно, произошел ли какой-нибудь вред для наших интересов от этого соперничества, но русские — упорный народ (a persevering people) и (русская — *Е. Т.*) империя идет вперед в цивилизации, и так как средства транспорта улучшаются,— каковому предмету уделяется большое внимание,— то близость России к этим странам может иметь губительное влияние на английскую торговлю» [39].

Опасения Блумфильда постепенно оказывались все более и более основательными — и не только для стран Средней Азии, но и для Персии. Торговля на берегах Каспийского моря (шерстяными и хлопчатобумажными изделиями, скобяными товарами и т. п.) велась англичанами в условиях очень тяжелой борьбы с русскими купцами. С этой русской конкуренцией англичанам приходилось встречаться и в Персии и в азиатских владениях Турции, особенно в восточных вилайетах. Трапезундский и эрзерумский консулы не переставали об этом сообщать в Лондон. И эти дипломатические представители и английские негоцианты, непосредственно дававшие сведения соответствующим официальным местам в Лондоне, утверждали, что именно с 1845 до 1846 и следующих годов русские стали определенно отбивать у англичан первое место по торговле с Персией.

После Адрианопольского мира и освобождения Молдавии и Валахии от прежних стеснений (прежде всего от запрета вывозить зерновые продукты куда бы то ни было, кроме Константинополя) вывоз русской пшеницы из новоприобретенных дунайских портов Измаила и Рени пал почти втрое уже с 1837 до 1839 г.

Еще более «неимоверной», по выражению официального русского органа, сделалась для русского хлеба конкуренция тех стран, которые еще в середине 40-х годов XIX в. почти не участвовали в мировой хлебной торговле. После окончательного торжества в Англии принципа свободной торговли и уничтожения хлебных законов в 1846 г. решительно обратились к земледелию Египет, Румелия, Соединенные Штаты, не говоря уже о Дунайских княжествах, и очень усилили свой хлебный экспорт; торговле русских черноморских и азовских портов стала грозить некоторая опасность. «При таких обстоятельствах,— пишет чув-

ствительный „Журнал министерства внутренних дел“,— сердце русского человека невольно сжималось от опасений насчет будущей участи как здешних портов, так вместе с тем и самого благосостояния южной и западной России, преимущественно земледельческих» [40].

Приводимая статистика в самом деле очень характерна; при всей своей тогдашней небрежности и неточности она дает все-таки известный материал для сравнений.

Оказывается, за двадцатипятилетие, начинающееся в 1826 г., накануне Наварина, и кончающееся в 1851 г., накануне пресловутого «спора о святых местах», через все русские балтийские и беломорские порты в *общей сложности* было вывезено хлебных продуктов 30 536 070 четвертей, а из черноморских портов за это же двадцатипятилетие было вывезено за границу 56 415 036 четвертей. Если же мы приглядимся к наиболее существенным в коммерческом смысле составным цифрам этой статистики, то узнаем, что из 30½ миллионов с лишним четвертей, вывезенных через Белое и Балтийское моря, пшеницы, т. е. самого ценного сорта хлебных злаков, было вывезено в совокупности всего 4 051 479 четвертей, а из черноморских и азовских портов из 56½ миллионов без малого четвертей — пшеницы было вывезено 52 047 710 четвертей.

Огромная важность для России южной морской торговли сравнительно с северным экспортом не подлежит сомнению.

На первом месте среди южнорусских портов стояла, конечно, Одесса, на долю которой приходилось из показанной выше для всех портов Черного и Азовского морей общей цифры в 56½ миллионов четвертей (за 25 лет) 31 810 196 четвертей, т. е. больше половины. Для быстрого роста одесского экспорта характерны также цифры: в 1824—1831 гг. из Одессы вывозилось в среднем всего 865 921 четверть зерновых продуктов в год, в 1832—1840 гг.— в среднем 1 029 706 четвертей в год, в 1841—1846 гг.—1 371 024 четверти в год, а перед самой войной, в 1847—1852 гг.— в среднем 2 034 696 четвертей в год. Вывоз из других черноморских и азовских портов (Евпатории, Феодосии, Керчи — этого «аванпоста для азовской торговли», Бердянска, Мариуполя, Таганрога, Ростова-на-Дону), конечно, значительно уступая одесскому, все же обнаруживал из года в год тенденцию скорее к росту.

Английские статистики признавали, что, например, в 1852 г., накануне войны, Англия получила из русских черноморских и азовских портов 59% всей ввезенной в нее в этом году пшеницы. Вообще без русского сырья Англии обойтись было не очень легко. Во время войны она, получая русское сырье обходным путем, платила втридорога, но не прекращала покупок.

Маркс и Энгельс, вынужденные часто пользоваться сообще-

ниями английской печати, которые потом, после проверки, оказывались неправильными, сумели, однако, в целом ряде случаев в эти же годы горячей работы для двух газет давать то там, то сям исключительно важные по существу факты и цифры, на которые ни тогда, кроме них, никто не обращал внимания, ни впоследствии не удосуживались обратить внимание ученые-историки. Маркс и Энгельс находили эти жемчужные зерна даже в таком материале, как газетная куча «Морнинг пост». Вот скромная таблица, все убедительнейшее красноречие которой — в цифрах [41]. Из Пруссии в Англию и Ирландию было вывезено:

	1853 г.	1854 г.
	(в центнерах)	
Сало	54	253 955
Конопля	3 447	366 220
Лен	242 383	667 879
Льняное семя .	57 848	116 267

Другими словами, Англия продолжала деятельную торговлю с Россией, несмотря на войну, и покупала у нее через посредство Пруссии то сырье, которое так дешево и в таких количествах, а кое-что (лен) такого высокого качества, не могла найти в другом месте.

Большое значение для Англии приобрел к концу 40-х годов XIX столетия не только вопрос о борьбе за турецкий рынок сбыта, но также и вопрос о борьбе за условия беспрепятственного и экономически выгодного вывоза хлебных злаков из владений Турции.

Вопрос ставился так: главная (и огромная) масса русского хлеба шла в Англию через одесский порт. Но, кроме русского хлеба, английские экспортеры, начиная особенно с 1841—1844 гг., т. е. с момента заметного улучшения русско-английских дипломатических отношений на Ближнем Востоке, все более и более ориентировались на параллельные обширнейшие закупочные организации в Браилове и Галаце. Хотя по своим качествам молдаво-валахская пшеница и не могла конкурировать с высокими русскими сортами, но она считалась лучше той, которую Англия получала *тогда* из Канады, из Соединенных Штатов, из Пруссии.

Между тем после Адрианопольского мира 1829 г. Молдавия и Валахия фактически не выходили из-под влияния Николая. Это, по существу, был настоящий протекторат, какими бы внешними формами он ни прикрывался. Городок Сулина на островке в дельте Дуная принадлежал России, и Россия владела фактически контролем над всей торговлей, шедшей через устье Дуная. Словом, политическое положение было таково, что русские власти не только имели полную возможность направлять часть

хлебных грузов из Браилова и Галаца в Одессу, но и пользоваться этой возможностью, оказывая, где нужно, изестное давление. Это приносило доходы не только соответствующим русским властям на местах, но и одесскому купечеству и, тем самым, южнорусским землевладельцам, так как значительно уменьшало невыгодные последствия конкуренции молдаво-валахского хлеба. Цены, «строившиеся» в Одессе, «строились» тем увереннее, чем меньше сделок заключалось в Браилове и Галаце непосредственно между английскими экспортерами и местными купцами. Но этим не исчерпывались очень чувствительные для Англии последствия русского влияния в Молдавии и Валахии и русского владычества в Дунайском устье. Английские экспортеры и английские, греческие, австрийские, турецкие судовладельцы (точнее, судовладельцы, суда которых плавали под турецким флагом) очень жаловались на то, что русские власти всячески мешают свободному сообщению между Черным морем и Дунаем и делают это, прибегая то к искусственной приостановке землечерпательных работ в мелких и загрязненных частях дельты, то иными способами. Австрийские купцы уже добрых лет десять перед Крымской войной не переставали жаловаться своим консулам на все эти затруднения. Но до 1848 г. Меттерних мог лишь деликатно намекать Николаю, что хорошо бы ему вспомнить о суверенитете Порты, все-таки еще существующем в Дунайских княжествах: слишком могуществен был царь, и слишком он нужен был меттерниховской Австрии как щит и меч против революции. А после 1848 г., особенно после 1849 г., когда Николай победил восставшую Венгрию, подавно не могло быть и речи хотя бы о дипломатической борьбе в защиту австрийских торговых интересов. Пальмерстон всегда считал, что английские и австрийские экономические стремления в Дунайских княжествах совершенно совпадают, точно так же, как совершенно одинаково и Англия и Австрия жизненно заинтересованы в сохранении Турецкой империи и в преграждении России доступа на Балканы. И вовсе не потому маститый британский «либерал» так вдруг яростно возненавидел и Меттерниха и затем Шварценберга, меттерниховского преемника, что эти австрийские канцлеры были реакционны: еще Маркс, так рано и так тонко понявший истинную подоплеку политики Пальмерстона, как никто из современников, превосходно выяснил, что трудно найти более упорного и закоренелого реакционера, чем был сам этот «демократический» милорд. Ненависть Пальмерстона в конце 40-х годов XIX в. к австрийским государственным людям объясняется именно тем, что, при полном совпадении внешнеполитических и экономических интересов Англии и Австрии на Ближнем Востоке, австрийская монархия долго не соглашалась идти по опасному пути разрыва с Россией, куда ее по мере сил всегда любез-

но приглашал и подталкивал Пальмерстон. Но об этом речь будет идти дальше. А пока отметим, что экономическое проникновение Австрии во владения султана, бесспорно, очень затруднялось русским влиянием на низовьях Дуная, и это влияло на настроения венского кабинета и до и во время Крымской войны.

Торговля Франции с Россией выражается, согласно данным французской статистики, в следующих цифрах.

В десятилетие 1827—1836 гг. Франция ежегодно в среднем ввозила из России товаров на 20 млн. фр. золотом, а вывозила в Россию своих товаров на 8 млн. фр.; в десятилетие 1837—1846 гг. ежегодный ввоз из России был равен 35 млн. фр., а вывоз в Россию — 13 млн. фр.; в десятилетие 1847—1856 гг. в среднем Франция ввозила из России на 45 млн. фр., а вывозила в Россию на 17 млн. фр. в год. Правда, кроме этих цифр, относящихся к товарам специально для внутреннего потребления во Франции, французские таможни дают гораздо большие цифры для ценности русского ввоза (больше всего зерновых продуктов), идущего через Францию транзитом в Англию, но эти цифры, конечно, не так показательны и существенны. Нечего и говорить, что в 1854—1855 гг. и ввоз и вывоз были равны нулю, но тем показательнее относительно высокая цифра для «среднего» года десятилетия 1847—1856 гг.[42] Эти цифры для ввоза очень близко подходят к тем, которые даются для торговли Франции с Испанией, но зато в Испанию Франция вывозила товаров гораздо больше, чем в Россию (для десятилетия 1847—1856 гг.); в среднем для ценности французского вывоза в Испанию дается цифра 62 млн. фр. золотом. Что касается торговли Франции с Турцией, то общий оборот выражается в таких цифрах: перед Крымской войной Франция в среднем ввозила турецких товаров на 52 млн. фр. в год, а вывозила на 29 млн. фр.

Есть также несколько расходящиеся с официальными цифровые показания, претендующие на точность и дающие колоссальное увеличение французского ввоза в Турцию и особенно вывоза из Турции сейчас же *после* войны.

Ввоз из Франции в турецкие владения, оценивавшийся еще в 1836 г. в 17 с небольшим млн. фр., увеличился ко времени окончания Крымской войны до 90 млн. фр. В еще большей степени увеличился за эти двадцать лет (с 1836 до 1856 г.) вывоз из Турции во Францию: с 19½ млн. фр. до 132 без малого миллионов. Констатируется, таким образом, что война необычайно усилила торговлю Франции со странами турецкого Леванта. А до войны вовсе не русские, а англичане постепенно вытесняли французов с торговых рынков Леванта. В среднем (например, в 1846 г., относительно которого есть более или менее полная статистика) французы ввозили в Турцию товаров на 24 989 000 фр., а вывезли из Турции товаров на 52 867 000 фр. Англичане же

ввозили в Турцию своих товаров в среднем перед Крымской войной на 58 млн. фр. и еще транзитом через владения султана ввозили в Персию товаров на 50 млн. фр., а вывозили из Турции на 30 млн. фр. Торговля Австрии с Турцией стояла на первом месте после Англии и Франции: австрийцы ввозили в Турцию в среднем на 26 млн. фр. в год, а вывозили из Турции на $42^1/_2$ млн. фр. Россия ввозила в Турцию на 22 360 000 фр., а вывозила из Турции на 17 млн. фр. Конечно, эти цифры, приводимые обыкновенно новейшими историками Турции, вовсе не заслуживают того безоговорочного доверия, которое им почему-то обыкновенно оказывается [43]. Статистика в Турции еще долго после Крымской войны была в младенческом состоянии. Но все же эти цифры дают до известной степени понятие об относительной важности и о размерах торговых сношений Турции с главными европейскими державами перед Крымской войной.

В Турции (Европейской) числилось в начале 50-х годов XIX в. $15^1/_2$ млн. жителей. По вероисповеданию эти $15^1/_2$ млн. жителей, живущих на европейской части территории Турции, делились так: кроме 4 млн. мусульман (турок и арнаутов по преимуществу), все остальные (за вычетом 260 000 католиков и 70 000 евреев) — православные. Такие цифры дает знаток Турции Убичини в своих «Lettres sur la Turquie», вышедших в 1851 г. Он дает и цифры, касающиеся внешней торговли Турции (делая мудрую оговорку, что точность этих цифр недорого стоит) [44]. Считалось, что общая ценность ввозной и вывозной торговли Турции с Англией равна 188 млн., с Францией — 78 млн., с Австрией — 68 млн., с Россией — 39 млн. При этом в цифру торговли с Англией входит также вся торговля Турции с Пруссией, совершаемая транзитом через Англию, т. е. морем на английских судах. Убичини почему-то весь этот транзит относит к Пруссии, тогда как нужно было бы упомянуть и весь север Германского союза.

Оттоманская империя была в неоплатных долгах у французов, англичан, в гораздо меньшей степени у австрийских финансистов. Особенно усердно (и с богатейшими результатами) давались ссуды именно «защитниками» Турции и как раз в годы, когда они готовились обнажить меч для обороны ее неприкосновенности. Заем, заключенный Намик-пашой в Лондоне и Париже на очень тяжелых условиях в 1853 г., был далеко не первым и уж никак не последним в серии этих оборотов. Турецкое земледелие было даже в самых плодородных частях империи в примитивном состоянии, даже не было и тени знакомства с агрономией и ее техническими успехами; промышленная же деятельность и торговля, поскольку они существовали, были в руках иностранцев. Державы, имевшие наибольшие интересы в Турции, делали, вполне сознательно, все, от них зависящее, чтобы

не приобщить Турцию к техническому прогрессу и не дать ей сделаться экономически независимой страной. А так как реальная политическая независимость могла стать могущественным оружием в руках турок для приобретения независимости экономической, то и речи, разумеется, не могло быть о том, будто Англия, Франция, Австрия в самом деле собираются эту турецкую независимость отстаивать. Захватнические агрессивные планы Николая враждебно столкнулись с обширнейшей и уже давно проводимой программой экономического захвата Турции со стороны капиталистических держав Запада. Великодушная «защита» Оттоманской империи была лишь ловко надетой и умело использованной маской. Дело шло не о спасении Турции, а о борьбе между захватчиками.

Руководители самых влиятельных органов крупнобуржуазной печати Англии в данном случае нисколько не расходились с британскими дипломатами. Но и те и другие высказывались с осторожностью.

Редактор «Таймса» Делэн полагал в начале войны, что война будет длиться 6 или 7 лет, что Англия и Франция в процессе войны захватят в свои руки управление Турцией и в конце концов посадят на турецкий трон какого-нибудь европейского принца. Такова была та «независимость Турции», бороться за которую Пальмерстон призывал английский народ. Замечу, что «Таймс» в это время, т. е. в апреле 1854 г. был еще самым сдержанным, самым умеренным из политических органов английской печати, и свои задушевные мысли главный редактор и вдохновитель газеты высказывал не на ее столбцах, но за дружеским обедом и поверял их такому решительному противнику начавшейся войны, как Джону Брайту, другу и соратнику Кобдена [45].

Умело проведенная британской и французской дипломатией в 1853—1854 гг. политика увенчалась в своей первой стадии блестящим успехом. Николай оказался в полнейшем политическом одиночестве и в положении агрессора, от которого две «благороднейшие и бескорыстнейшие» западные державы «спасают беззащитную» Турцию.

Упорный и ярый враг русского влияния в Турции лорд Стрэтфорд-Рэдклиф, британский посол в Константинополе, неспроста был на ножах с французским послом в Константинополе — генералом Барагэ д'Илье в 1854 г., в разгаре войны за «независимость» Турции. Вовсе не для того лондонское Сити «спасало» Турцию от Николая, чтобы отдать ее французам. И еще меньше имелось в виду отдать ее самим туркам.

Очень характерная фраза вырвалась у Стрэтфорда-Рэдклифа, когда Садык-паша (М. Чайковский), всерьез принявший неусыпные заботы милорда о Турции, однажды представил проект допущения христиан на турецкую военную службу. «Таким об-

разом,— воскликнул лорд Рэдклиф,— христианские подданные будут иметь в своем распоряжении через несколько лет целую армию, вполне обмундированную и обученную, способную сражаться; этого не должно быть, *мы вовсе не для того заботимся о неприкосновенности Турецкой империи и не для того старались обеспечить ее трактатами»* (курсив мой — *Е. Т.*) [46].

Но решительное выступление Николая объединило временно и Англию с Францией и даже (если не в военном, то в дипломатическом плане) Австрию с Англией и Францией, хотя, как увидим в дальнейшем изложении австрийский посол в Турции Брук, ученик экономиста Фридриха Листа, вполне сознательно стремился, правда, безуспешно, сохранить Турцию и от Англии и от России во имя германо-австрийских интересов.

Таким образом, экономические интересы прежде всего Англии и Австрии, затем в гораздо меньшей мере Франции, решительно расходились на всем Ближнем Востоке с интересами русской вывозной торговли и с устремлениями политики русского правительства в Турции. Но пока дело шло лишь о борьбе на почве признания неприкосновенности Турецкой империи, русская дипломатия могла надеяться (и эта надежда оправдывалась иногда, например в 1840 г.) с выгодой использовать те противоречия, какие существовали между интересами французской и английской торговой и промышленной буржуазии во владениях султана. Но как только Николай I серьезно поставил вопрос о политическом разрушении или хотя бы о «первом разделе Турции», сейчас же выяснилось, что и Англия, и Франция, и Австрия выступают против царя единым фронтом, хоть и не с одинаковой решительностью.

Глава I

НАКАНУНЕ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ

1

Инициативная роль, которую сыграл Николай при возникновении Крымской войны, была не случайным явлением, но строго обусловленным обстоятельствами и почти неизбежным историческим фактом.

Припомним хотя бы вкратце основные черты дипломатической деятельности и настроений Николая перед началом конечной катастрофы и прежде всего постараемся уяснить себе, каковы были сильные и слабые стороны его как дипломата. Сильной стороной являлись: некоторая способность к дипломатической деятельности, уменье вести переговоры в соответствующем случаю тоне, уменье (утраченное им впоследствии) вовремя понять ошибку и свернуть с опасного пути, уменье (тоже потерянное в последние годы царствования) терпеливо ждать, не теряя из виду поставленной цели, но и не форсируя событий, наконец, стремленье до последней возможности стараться достигнуть желаемого результата чисто дипломатическим путем, не прибегая к войне. Что касается слабых его сторон как руководителя внешней политики империи, то одной из главных — была его глубокая, поистине непроходимая, всесторонняя, если можно так выразиться, невежественность.

Гнусная, истинно варварская жестокость, с которой он расправлялся со всеми, в ком подозревал наличие сколько-нибудь самостоятельной мысли, палочная дисциплина в армии и вне армии, режим истинно жандармского удушения литературы и науки — вот чем характеризовался его режим. Ни русской истории, ни России вообще он не знал. Царь понятия не имел об истинном состоянии великой державы, которой обладал, и хотя знал о многих царивших в России вопиющих безобразиях и злоупотреблениях, но даже и не начал догадываться, до какой степени внутренний строй, который он считал своим долгом поддерживать самыми жестокими мерами, понижает боеспособ-

ность и внешнюю силу империи. Лишь к концу жизни его стало прямо удручать — моментами — неистовое казнокрадство, с которым он ровно ничего не мог поделать. Еще гораздо более невежествен был Николай во всем, что касалось западноевропейских государств, их устройства, их политического быта. Его неосведомленность вредила ему неоднократно. Он вступил в жизнь, почти ничего не зная, и упрямо не хотел признавать самой необходимости ученья. «Мне нужны не умники, а верноподданные»,— этот афоризм он повторял неоднократно.

Младшие сыновья Павла отличались оба полной свободой от каких бы то ни было приобретаемых из книг познаний. Грубый и невежественный солдат Матвей Иванович Ламздорф мог научить Николая и Михаила, к которым был приставлен, только тому, что он сам знал. А сам он ничего не знал. «Ламздорф бесчеловечно бил великих князей линейками, ружейными шомполами и пр. Не раз случалось, что в своей ярости он хватал великого князя за грудь или воротник и ударял его об стену так, что тот почти лишался чувств. Розги были в большом употреблении, и сечение великих князей не только ни от кого не скрывалось, но и заносилось в ежедневные журналы».

Николай впоследствии говорил: «Ламздорф... не умел ни руководить нашими уроками, ни внушать нам любовь к литературе и к наукам... Бог ему судья за бедное образование, нами полученное» [1]. Однако чем увереннее с каждым годом Николай чувствовал себя на престоле и чем более возрастало его влияние в Европе, тем более он начинал признавать науки вообще делом не только совершенно излишним, но даже определенно вредным. Об этом нам говорят вполне точно самые разнообразные свидетели. «Мне не нужно ученых голов, мне нужно верноподданных»,— заявил Николай, когда пред ним ходатайствовали за провинившихся воспитанников Гатчинского сиротского института на том основании, что они — лучшие ученики института [2]. «Мне не нужно умных, а нужно послушных»,— в различных выражениях повторял он.

С этим вполне согласуется показание правдивое, нелицеприятное и исходящее от человека, далекого от какой-либо «оппозиции»: мы говорим об известном историке России С. М. Соловьеве. Вот сцена с натуры, зарисованная Соловьевым: «Посещает император одно военное училище; директор представляет ему воспитанника, оказывающего необыкновенные способности, следящего за современной войной, по своим соображениям верно предсказывающего исход событий. Что же отвечает император? Радуется, осыпает ласками даровитого молодого человека, будущего слугу отечества? Нисколько. Нахмурившись, отвечает Николай: „Мне таких не нужно, без него есть кому думать и заниматься этим; мне нужны вот какие!“

С этими словами он берет за руку и выдвигает из толпы дюжего малого, огромный кус мяса, без всякой жизни и мысли на лице и последнего по успехам» [3].

Павел Лукьянович Яковлев, деятельный сотрудник журнала 20-х годов XIX в. «Благонамеренный» (поминаемого Пушкиным в «Евгении Онегине»), приписывает Пушкину слова: «Поэты — сверхкомплектные жители света!» [4]

При Николае Павловиче «сверхкомплектными» оказались очень скоро не только Пушкин и Лермонтов, но столь же «сверхкомплектным» было и все, что отдаленно напоминало о свободном полете мысли, о научном добросовестном исследовании. В особенности в армии наука, даже чисто военная, была почти объявлена официально предметом решительно «сверхкомплектным». Если еще для конца александровского царствования и самых первых лет Николая была возможна шутливая жалоба Дениса Давыдова на молодых гусар («Послушаешь любого — Жомини да Жомини, а об водке ни полслова»), то с течением времени водка одержала окончательную победу над «Жомини». Основанная в Петербурге, при Главном штабе, усилиями и по инициативе этого самого Жомини, Военная академия влачила к концу царствования Николая поистине жалкое существование.

Подозрительное и более чем холодное отношение царя к науке, к печатному слову, ко всему книжному было хорошо известно. У великого князя Михаила Павловича, любимого младшего брата и друга Николая, стоял в кабинете книжный шкап красного дерева, обращавший на себя внимание странной деталью: он был не только заперт на ключ, но и забит большим гвоздем, как бы в доказательство, что его владелец отныне обязывается книг более никогда в руках не держать. Вбит был этот гвоздь Михаилом Павловичем — человеком, не лишенным своего рода юмора,— в день его производства в полковники: это было им сделано как бы в знак любезности и благодарности по отношению к старшему брату. Гвоздь тут имел значение символическое. Если ученый вообще был несколько подозрителен, то ученый офицер был уже совсем явлением беспокоящим и подлежащим пристальному наблюдению. При этих условиях существование Военной академии казалось несколько парадоксальным. Да это заведение и было при Николае I каким-то посторонним наростом, вне органической связи с русской армией. Ни малейшим вниманием и расположением самодержца академия не пользовалась и была отдана под строгий надзор полуграмотного генерала Сухозанета, *принципиально* отрицавшего пользу науки для военного человека.

Вот классическая по законченности мысли и отчетливости ее выражения речь президента Военной академии Ивана

5*

Онуфриевича Сухозанета, произнесенная им 14 ноября 1846 г. на экстренном собрании всех учащихся в академии офицеров и всего профессорского и административного состава: «Я, господа, собрал вас, чтобы говорить с вами о самом неприятном случае. Я замечаю, в вас нисколько нет военной дисциплины. *Наука в военном деле не более, как пуговица к мундиру;* мундир без пуговицы нельзя надеть, но пуговица не составляет всего мундира». Сухозанет всеми мерами старался отвратить офицеров академии от ошибочной мысли, будто наука военному человеку на что-либо нужна, и в приказе его по Военной академии от 14 февраля 1847 г. мы читаем: «Не лишним считаю здесь повторить еще то, что я говорил уже несколько раз при сборе офицеров в Академии, *без науки побеждать возможно,* но без дисциплины — никогда».

Николай хорошо понимал и недостаточность природных своих талантов, и убогую скудость своего образования, и полнейшую свою неподготовленность к грандиозным функциям, выпавшим на его долю. И несмотря на это, а точнее, как это ни странно сказать, именно поэтому царь был болен самой безнадежной, наиболее ослепляющей и отупляющей формой самоуверенности: ему всегда везло, всегда, до последних двух лет жизни, все удавалось, и он не только ощущал, но и выражал точными словами, что если при ограниченности личных своих способностей он достигает всех главных своих целей и выходит, в конечном счете, без повреждений из самых трудных обстоятельств, то значит само провидение бдит над ним и вдохновляет его.

«Никто не чувствует больше, чем я, потребность быть судимым со снисходительностью, но пусть же те, кто меня судят, имеют справедливость принять в соображение необычайный способ, каким я оказался перенесенным с недавно полученного поста дивизионного генерала на тот пост, который я теперь занимаю... Но я имею твердую уверенность, что божественное покровительство, которое проявляется по отношению ко мне слишком осязательным образом (d'une manière trop palpable), чтобы я мог не заметить его во всем, что со мной случается,— вот моя сила, мое утешение, мое руководство во всем» [5]. Так писал Николай в поучение своему сыну и наследнику еще в начале своего царствования. А сколько лести окружало его с тех пор! Сколько раз он чувствовал себя, вплоть до 1853 г., царем не только в границах половины Европы и половины Азии, которые дала ему судьба, но и кое-где за этими необъятными пределами... Николаю Павловичу тем легче было успокоиться в сознании этой прочной гарантии и помощи со стороны сверхъестественных сил и примириться с ясно сознаваемой своей полной необразованностью, что самые сложные вопросы представ-

лялись ему крайне ясными и простыми. Что такое Россия? Как она создавалась? Прочна ли его держава, и если прочна, то почему? На все это у Николая были точные, определенные, хотя и несколько лаконичные ответы. Никаких иллюзий относительно того, чем держится целостность его колоссальной империи, Николай себе не создавал. Российская империя, согласно воззрениям Николая, создавалась завоеваниями и будет держаться, пока будет в состоянии охранять старые завоевания и предпринимать новые, и физическая сила одна только подчиняет неограниченной власти русского царя весь пестрый конгломерат его подданных. В бумагах Михаила Максимовича Попова сохранился, а оттуда попал в архив Шильдера, следующий рассказ, который тут должно привести уж потому, что он не нуждается ни в малейших комментариях.

«К. И. Арсеньев преподавал наследнику статистику. Раз читал он о народах, из которых составлена Россия. Показался император Николай, проходивший через классную комнату. Услышав предмет чтения, он остановился и начал прислушиваться. Когда Арсеньев объяснял, что поляки, литовцы, прибалтийские немцы, финляндцы и другие племена по вере, языку, историческим преданиям, характеру и обычаям совершенно различествуют друг от друга и от русского народа,— государь стал... приближаться. Но,— продолжал Арсеньев,— все эти народы под мудрым правлением наших государей так связаны между собою, что составляют одно целое. „А чем все это держится?" — спросил государь сына своего, быстро подойдя к нему. Наследник дал заученный ответ: „Самодержавием и законами".— „Законами,— сказал государь,— нет, самодержавием — и *вот чем, вот чем, вот чем!*" — и при каждом повторении этих слов махал сжатым кулаком. Так понимал он управление подвластными ему народами» [6].

Точно так, добавим, понимал он и «покровительство» православным подданным султана, если бы эти православные перешли окончательно под его руку. Сомнений в этом никаких быть не может. Эта упрощенность взглядов, проистекавшая из отмеченного всестороннего невежества, особенно сказывалась в его усилиях по борьбе с революцией в Западной Европе, прежде всего в приемах этой борьбы. О том, что с освободительным движением западноевропейской буржуазии, с ее борьбой против феодальных пережитков и абсолютизма дворянских монархий победоносно справиться в конечном счете невозможно, о том, что его, Николая Павловича, позиция в данном случае очень походит на борьбу Дон-Кихота с ветряными мельницами,— об этом царь никогда даже и не начинал догадываться. Но он совершенно лишен был вообще исторического инстинкта, ощущения перемен, которые происходят и которые делают

в данном поколении абсолютно невозможным то, что очень хорошо удавалось предшествующему поколению.

Все революции происходят от слабости и снисходительности правителей, всякая уступка гибельна, идеи и идеалы Священного союза должны быть единственной умственной пищей человечества и единственным содержанием политической жизни Европы. Все ничтожнейшие не только по реальным результатам, но даже и по первоначальным намерениям поползновения Николая подойти к вопросу о «смягчении» крепостного права показывали только, что царь считает не весьма нормальным крепостное рабство для большинства своих подданных.

А жалкая участь всех этих «секретных комитетов» была результатом сознания Николая, что шевелить вопрос о крепостном праве слишком опасно и что лучше мириться с чем угодно, но не трогать основ существующего порядка вещей. Напротив, необходимо жесточайшими мерами эти основы ограждать. Собственно, Николая серьезно волновала, раздражала и тревожила лишь одна особенность возглавляемого им строя: то неслыханное по своим размерам и своей широчайшей распространенности казнокрадство, которое его окружало и в борьбе с которым, как упомянуто, он оказывался вполне бессилен. А что это явление серьезно и уж непосредственно подрывает силы правительства, это он хорошо понимал.

Ведь дело доходило до появления *эпидемий голодного тифа*, истреблявших полки, что было вызвано исключительно безудержным грабежом. Ни в одной абсолютистской державе в Европе того времени все-таки подобных явлений в таких фантастических размерах не было: нигде не было такой безысходно тяжелой обстановки солдатской службы, как в России.

В русской армии, стоявшей в 1854—1855 гг. в Эстляндии и не бывшей в соприкосновении с неприятелем, большие опустошения производил объявившийся среди солдат *голодный тиф, так как командующий состав* (die kommandieren Offiziere) *воровал и оставлял рядовых на голодную смерть,* говорит правдивый современник [7].

В мою работу о Крымской войне я не могу вставить, как хотелось бы, подробное большое исследование вопроса о том, как питался, одевался, работал, жил, служил русский солдат в последние годы Николая. Скажу лишь вполне категорически: все общие намеки и указания о притеснениях, истязаниях, голоде, непрерывных побоях, доходивших иногда до садистского издевательства, о нищенском существовании целых полков, обворовываемых своими командирами, целых дивизий, обкрадываемых генералами,— все это не дает даже и приблизительного понятия об истинном ужасающем положении вещей. Ни старая дворянская и буржуазная русская историография, так

мало вообще сделавшая для серьезного изучения России в XIX в., ни новая историография, не дала до сих пор строго исследовательского типа работ о русском солдате и русском матросе на протяжении последнего столетия существования монархии. *Этот* долг былым мученикам и героям, отстаивавшим своей кровью жестокую к ним родину, еще совсем не оплачен нашей наукой.

Человек с большими административными способностями, впоследствии лучший военный министр, какого когда-либо имела императорская Россия, Дмитрий Алексеевач Милютин пишет в своих записках: «Говоря совершенно откровенно, и я, как большая часть современного молодого поколения, не сочувствовал тогдашнему режиму, в основании которого лежали административный произвол, полицейский гнет, строгий формализм. В большой части государственных мер, принимавшихся в царствование императора Николая, преобладала полицейская точка зрения, т. е. забота об охранении порядка и дисциплины. Отсюда проистекали и подавление личности и крайнее стеснение свободы во всех проявлениях жизни, в науке, искусстве, слове, печати. Даже в деле военном, которым император занимался с таким страстным увлечением, преобладала та же забота о порядке, о дисциплине, гонялись не за существенным благоустройством войска, не за приспособлением его к боевому назначению, а за внешней только стройностью, за блестящим видом на парадах, педантичным соблюдением бесчисленных мелочных формальностей, притупляющих человеческий рассудок и убивающих истинный воинский дух» [8].

Солдата истязали, учили совсем ненужным и нелепым приемам и готовили к парадам и смотрам, а не к войне. А, кроме того, армию систематически обворовывали, и это обстоятельство стояло в теснейшей связи с общим для всех ведомств в России неслыханным разгулом хищничества, принимавшего постепенно совсем уж сказочные размеры. Еще Александру I упорно приписывали афоризм, сказанный им, как утверждали, в конце его жизни об окружавших его сановниках, и эти слова особенно часто повторялись в западноевропейской памфлетной литературе именно в 1854—1855 гг., во время Крымской войны: «Они украли бы мои военные линейные суда, если бы знали, куда их спрятать, и они бы похитили у меня зубы во время моего сна, если бы они могли вытащить их у меня изо рта, не разбудив меня при этом» [9].

И прежде всего во враждебной Николаю европейской прессе останавливались именно на хищениях во флоте и в военном ведомстве. Знаменитое расхищение миллионного капитала инвалидного фонда Политковским поразило Западную Европу. Николай ничуть не скрывал ни от себя ни от других, что он

окружен хищниками, взяточниками и казнокрадами. Но дело Политковского все-таки совсем вывело его из равновесия, потому что ни за что не соглашался он поверить, будто подобное, годами длившееся преступление могло быть совершено без покровительства и сочувствия самых высших лиц военного министерства. Может быть, дело Политковского так потрясло царя потому, что оно разразилось непосредственно после потушенного им самим дела Клейнмихеля.

Любимец Николая, главноуправляющий путями сообщения, один из гнуснейших негодяев, палач, истязавший розгами и солдат, и военных поселенцев, и рабочих, и воспитанников Главного инженерного училища, главный казнокрад путейского ведомства по положению, вор и мздоимец по определившемуся с юности призванию, граф Петр Андреевич Клейнмихель как раз в 1852 г. попал в неприятную и хлопотливейшую историю, тоже очень взволновавшую царя. Клейнмихель имел неосторожность в свое время украсть почти полностью суммы, ассигнованные на обмеблирование большого Зимнего дворца, который был выстроен после пожара 17 декабря 1837 г., истребившего старый дворец. Правда, Клейнмихель и его помощники уворовали тогда же, еще в 1838 г., очень много казенных денег именно при самой постройке нового дворца, так что уже в августе 1841 г. внезапно обрушилась в только что отстроенном дворце целиком вся крыша и потолок над огромным Георгиевским залом, да и потом дворцовые потолки и печи не обнаруживали долговечности,— но чисто бухгалтерским путем доказать эти хищения было очень трудно. Во-первых, подрядчики и поставщики, которым недоплачивал Клейнмихель, отыгрывались зато уж сами при расчете с рабочими, а во-вторых, окончательное сведение счетов значительно упрощалось и облегчалось тем, что рабочие мерли сотнями и сотнями при этой постройке, так как им велено было спать в строящемся здании, чтобы высушивать, обживать и обогревать своим дыханием и своими телами сырые еще апартаменты. Этот клейнмихелевский способ осушки дворца вызвал немало комментариев в свое время и в России и за границей. Но неосторожность увлечения графа Петра Андреевича на сей раз заключалась не в этом (потому что рабочие и при жизни так же мало могли жаловаться, как и после смерти), а в том, что он счел целесообразным присвоить себе, сверх строительных ассигновок, также и суммы, отпущенные на покупку и изготовление дворцовой мебели. Четырнадцать лет подряд поставщики не могли добиться уплаты следуемых им денег. В 1852 г. долготерпение их лопнуло, и каким-то способом дело дошло до царя. Николай, несомненно, знал, что подвиг Клейнмихеля не только коллективен, но и индивидуален и что фаворит его нагло лжет, сваливая все на своих

подчиненных. В первый момент царь был прямо потрясен этой историей с дворцовой мебелью и кричал, что он теперь уже не знает, принадлежит ли ему тот стул, на котором он сидит. Несколько недель подряд Николай не допускал к себе Клейнмихеля и не разговаривал с ним. А затем все уладилось и пошло по-прежнему. Царь закрыл на все глаза и прикинулся убежденным, будто Клейнмихеля обманули его чиновники, а сам Петр Андреевич виновен лишь в излишней доверчивости, что составляет трогательный недостаток, свойственный вообще чистым душам и неисправимым идеалистам.

Николай со своим бесспорным, хоть и узким, неглубоким, односторонним умом, своей подозрительностью, наконец, со своим богатейшим (к концу царствования) опытом твердо знал, что он окружен ворами, взяточниками, казнокрадами, предателями, лживыми и своекорыстными людьми, но всякий раз, когда это очень уже эффектно обнаруживалось воочию, его явно угнетало сознание, что и на самом верху, ближайшее его окружение ничуть не лучше, что некого даже послать для контроля, для правильного расследования, для наложения кары на кого нужно.

Когда внезапно 1 февраля 1853 г. открылось, что директор канцелярии инвалидного фонда Политковский похитил около 1 200 000 рублей серебром, Николай был потрясен не суммой кражи, а тем, что она совершалась много лет подряд, что на роскошных кутежах Политковского присутствовал весь сановный Петербург во главе с Леонтием Дубельтом, фактическим начальником III отделения, что казнокраду явно попустительствовал аристократ старого рода, взысканный милостями Ушаков, личный доверенный генерал-адъютант царя, правда, юридически вывернувшийся из беды. Современники передают нам, что кража Политковского поразила государя, как громовой удар. «Когда военный министр привел председателя Комитета, генерал-адъютанта Ушакова, государь весь изменился, и даже похолодели его руки. „Возьми мою руку,— сказал он Ушакову,— чувствуешь, как холодна она? Так будет холодно к тебе мое сердце!“ [10].

Все члены Комитета о раненых были преданы военному суду. «Сам комендант Петропавловской крепости Мандерштерн считался под арестом. Государь Николай Павлович занемог от огорчения и воскликнул: „Конечно, Рылеев и его сообщники со мной не сделали бы этого“ [11]. Это в первый раз Николай в феврале 1853 г. вспомнил о повешенных им 13 июля 1826 г. декабристах. В его словах не было, конечно, настоящего раскаяния, и сам царь едва ли мог точно определить, какое именно чувство вырвало у него из уст эту гневную и горькую фразу раньше, чем он спохватился и совладал с собой. Может быть,

ему пришлось засадить скомпрометированного по воровскому делу коменданта Петропавловской крепости в ту самую камеру тюрьмы, где некогда сидел в ожидании виселицы Рылеев. Но во всяком случае до очень большой растерянности и до слишком уж острого раздражения был доведен этот самолюбивый человек, если решился на такое признание.

Но власть, блеск, лесть, величие положения быстро изгоняли беспокойство и гнев, возникавшие в душе царя всякий раз, когда он наглядно убеждался, какой систематический обман его окружает со всех сторон. И если, с одной стороны, к концу царствования нервы Николая явно сдавали и он все болезненнее переносил «громовые удары» в духе истории Политковского, то, с другой стороны, никогда его внешняя политика не казалась ему такой удачной, никогда влияние царя не являлось таким устрашающим для Европы, никогда, наконец, он не представлялся и друзьям и врагам за рубежом до такой степени могущественнейшим человеком на всем земном шаре, как именно после 1849 г. Этот блеск (так представлялось не только царю, но и многим ненавидевшим его людям) вознаграждал за все, оправдывал все и гарантировал прочность всего. И чем больше становилась явной Николаю полнейшая для него невозможность, сохраняя крепостное право и другие основы строя России, что-либо поправить или улучшить внутри страны, тем более безраздельно отдавался он интересам упрочения и дальнейшего увеличения внешнего могущества своей империи.

Когда в присутствии князя Долгорукова, русского посланника в Копенгагене, выразили надежду тотчас после смерти Николая, что Александр II положит предел злоупотреблениям, которые терпел его отец,— Долгоруков воскликнул: «Боже его от этого упаси, беспорядок и замешательство — это стихия, в которой мы живем (le désordre et la confusion, c'est l'élément, dans lequel nous existons)»[12].

И Николай фактически действовал именно так, как должен был действовать человек, вполне разделяющий это мнение Долгорукова. «Разбитый, обкраденный, обманутый, одураченный шеф Павловского полка отошел в вечность»,— писал о Николае впоследствии Герцен. Все эти эпитеты, кроме первого, в точности были применимы к нему, «шефу Павловского полка», уже и тогда, когда он вовсе еще не был разбит, и когда один свинцовый взгляд его холодных, подозрительных, всегда поражавших странным беспокойством суровых глаз смущал, а иногда и пугал представителей первостепенных европейских держав. Разложение в окружении царя было велико, но и речи не могло быть о какой бы то ни было борьбе с этим явлением. Следовательно, нужно было поменьше приглядываться и не воро-

шить гниющую массу, а поскорее закрыть глаза и обратиться туда, где все было так лучезарно, так светло, так благополучно,— к внешней политике, хозяйничанью в европейской вотчине, о чем верный приказчик канцлер Нессельроде писал такие успокоительные и лестные для царя доклады в форме своих ежегодных обозрений международной политики.

И не только сам император видел в долгих успехах своей внешней политики главное доказательство, что, значит, и внутри государства все идет как следует, несмотря на ежегодные все учащавшиеся убийства помещиков и волнения крестьян, несмотря на больших и маленьких Политковских, несмотря на голодный тиф в полках, несмотря на совсем безудержный грабеж и развал в администрации и суде и несмотря на прочие тому подобные неприятности. Даже очень критически настроенные посторонние наблюдатели сплошь и рядом успокаивали свое возмущенное сердце, когда обращались от внутреннего состояния николаевской России к ее положению в области международной политики и дипломатии. Сенатор Н. К. Лебедев, обер-прокурор сената в 1848—1850 гг., человек, много видевший, много знавший, на каждой странице своих интимных, не для печати предназначавшихся записок говорит о неслыханных безобразиях, царящих во всех ведомствах, о чудовищных хищениях, о полном отсутствии правосудия и порядка, о ничтожествах, которым дана на поток и разграбление вся Россия, о бездарных и невежественных генералах, которым за удачный *смотр* дают высшую награду, какая есть в государстве — звезду Андрея Первозванного. Нет числа, меры и предела гнусностям и злоупотреблениям, которые сохранило для потомства это правдивое перо. Но — все прощено Лебедевым, и во всем утешен Лебедев: «Приятно русскому сердцу, когда услышишь, как чествуют государя в Вене и Берлине. Наш великий государь — глава Европы в полном смысле слова. С 1830 года можно признать в истории век Николая I»[13]. Это писалось в 1852 г., накапуне катастрофы.

И люди совсем других кругов общества часто разделяли настроения Лебедева. «Некоторые утешали себя так: Тяжко! Всем жертвуется для материальной, военной силы; но по крайней мере мы сильны, Россия занимает важное место, нас уважают и боятся»,[14]— вспоминал С. М. Соловьев — молодой, но уже широко известный историк — о настроениях России накануне Крымской войны.

2

В самом деле: и обстоятельства в Европе так складывались, и Николай долгое время так умел ими пользоваться, что за его продолжительное царствование выдавались периоды, когда

русский царь занимал безусловно первенствующее положение в тогдашнем мире. Иллюстраций этого факта можно было бы представить сколько угодно. Для примера приведу мнение человека совершенно независимого, очень умного, очень осведомленного, весь век прожившего в высшем кругу английского двора, и притом человека, недоброжелательно к Николаю относившегося: «Когда я был молод, то над континентом Европы владычествовал Наполеон. Теперь дело выглядит так, что место Наполеона заступил русский император и что по крайней мере в течение нескольких лет он, с другими намерениями и другими средствами, будет тоже диктовать законы континенту»,— так писал в 1851 г. барон Штокмар, друг и воспитатель принца Альберта, мужа королевы Виктории [15]. И это было мнением, господствовавшим в тот момент в Европе.

Правда, разница в положении и степени могущества между обоими императорами все-таки была огромная, и, например, тот же Штокмар хорошо это понимал: «Во всяком случае Николай в 1851 году много слабее, чем был Наполеон в 1810 году, и должно признать, что Россия вообще страшна для континента, только если она имеет союзников на обоих своих флангах». Но сила Николая именно в том, по мнению Штокмара, что царь в самом деле имеет этих союзников (Австрию, Пруссию, почти все прочие немецкие династии), а сверх того, его союзниками являются все консерваторы в Англии и Франции, видящие в Николае оплот порядка и охрану от социализма, коммунизма и крайнего демократизма. Единственная страна на континенте Европы, которая могла бы оказать царю вооруженное сопротивление,— Франция, сверх всего прочего, опасается поражения в случае войны [16].

Точь-в-точь как Штокмар, рассуждал и сам Николай, и точно так же, вслед за царем, если не рассуждал (он не любил вообще этим много заниматься), то подобные же рассуждения повторял с царского голоса канцлер Российской империи Нессельроде. Такие проницательные наблюдатели, как Штокмар, давно уже определили и еще одно различие в положении Николая I и положении Наполеона I: Наполеон поддерживал свое владычество непрерывными большими войнами, а Николай действовал дипломатическими обходными движениями, обещаниями, угрозами и запугиваниями, предпочитая не истреблять свою армию, а сохранять ее в качестве могучего средства непрерывного политического давления. Николай это делал совершенно сознательно и планомерно. Он был человеком военным, но не воинственным, генералом от плац-парада, но не полководцем, за дипломатический стол он любил усаживаться не после войны, а до войны и предпочитал получать кое-что без войны, чем рисковать войной для получения многого. Так было в течение

почти всего его царствования. Но инстинкт осторожности уже с 1849 г. стал покидать его.

Лесть, всю жизнь окружавшая Николая, к концу его царствования, т. е. как раз пред погубившей его финальной катастрофой, дошла поистине до совсем неслыханных размеров. О том, как ему льстили и как пресмыкались перед ним в самой России, я уже не говорю,— но Европа в общем тоже давала образцы в своем роде удивительные. Вот русский академик Якоби беседует в 1851 г. с фон дер Пфордтеном, который является не более и не менее как министром-президентом Баварского королевства, третьего после Австрии и Пруссии государства Германского союза. И вот как изощряется министр-президент: «При остром кризисе, который мы переживаем, мы обращаем наши взоры на Север, где нашим глазам представляется единственный во всей истории пример неизмеримой материальной силы, поддерживаемой еще более великой моральной силой, восхитительным разумом и истинно христианской умеренностью. Провиденциальная миссия вашего великодушного императора стала для нас более ясной, чем когда-либо (и я не исключаю при этом даже наиболее неверующих): в нем лежит будущее всего света (en lui git l'avenir du monde entier)» [17]. Фон Пфордтен — немец, и путешествующий Якоби — немец, а разговор записан по-французски. Ясно, что имелось в виду представить запись на благовоззрение государя-императора, который в немецком языке хромал очень сильно.

И такого рода неистовые славословия и почти акафисты сыпались на царя со всех сторон и от путешественников и от домоседов. Николаю из-за границы сообщал баварский первый министр о том, как царь сверхчеловечески велик и не по-земному, а по-небесному свят. А дома царь читал о рекрутских наборах: «Братцы, мы должны, святую волю исполняя *земного бога Николая,* детей на службу призывать» [18]. Это писалось, печаталось, говорилось, пелось. Никогда его так непрерывно не одурманивали лестью, как в годы от Венгерской кампании до начала Крымской войны.

В Прибалтике в дворянских кругах распространялось в начале 1854 г. в многочисленных экземплярах стихотворение на немецком языке, в первой строфе которого автор обращался к царю со словами: «Ты, у которого ни один смертный не оспаривает права называться величайшим человеком, которого только видела земля. Тщеславный француз, гордый британец склоняются пред тобой, пылая завистью,— весь свет лежит в преклонении у твоих ног (und huldigend liegt dir die Welt zu Füssen!)».

Это стихотворение и подобные произведения в стихах и в прозе распространялись из Прибалтийского края по всем странам немецкого языка. Во Франции при Луи-Филиппе, потом

при Второй республике, в Англии и при Грее, и при Дерби, и при Роберте Пиле, и при лорде Росселе пресса была враждебна к Николаю, но сомнений в его могуществе вплоть до 1853 г. почти никогда не выражалось. А в Англии временами, при Пиле и Эбердине, даже и с обычно враждебными органами общественного мнения случались мимолетные припадки самой царедворческой лести. Не говорю уже об английской аристократии, усматривавшей в Николае оплот против разрушительных стремлений мятежного революционного века.

Ненависть, которую питали к Николаю буквально на всем земном шаре не только представители революционной общественности, но и все сколько-нибудь прогрессивно настроенные элементы, ничуть не смущала царя и только усиливала в нем и в его ближайшем окружении лестную с их точки зрения мысль, что престол Романовых — гранитная скала, о которую разбиваются все революционные волны. Эта атмосфера лести, обожания, царедворческой лжи, постоянных пышных и шумных демонстраций военной силы систематически ослабляла в Николае былую сдержанность своих порывов и своего нетерпения при сношениях с иностранными дипломатами. А те люди, на которых была возложена дипломатическая деятельность самим царем, меньше всего могли его предостеречь от неосторожного шага.

Карл Васильевич Нессельроде был настолько похож на Меттерниха (сознательно стараясь походить на него), насколько бездарный и ограниченный человек может походить на умного и даровитого. Основной его целью было сохранить свое место министра иностранных дел. И он сорок лет с лишком просидел на этом месте. Николай застал его, всходя на престол, и оставил его на этом же месте, сходя в могилу. Угождать и лгать царю, угадывать, куда склоняется воля Николая, и стараться спешно забежать вперед в требуемом направлении, стилизовать свои доклады царю так, чтобы Николай вычитывал в них только приятное,— вот какова была движущая пружина всей долгой деятельности российского канцлера. Если бы Николай его спрашивал о том, какого направления держаться, то Нессельроде посоветовал бы держаться поближе к Меттерниху. Но царь обыкновенно его ни о чем не спрашивал, и, входя в кабинет для доклада, Карл Васильевич никогда не знал в точности, с какими политическими убеждениями сам он отсюда сегодня выйдет. Послы, делавшие при нем карьеру и действовавшие в самых важных пунктах,— Николай Дмитриевич Киселев в Париже, барон Бруннов в Лондоне, Мейендорф в Вене, даже Будберг в Берлине, были люди умные и средне способные,— во всяком случае несравненно умнее и даровитее, чем Нессельроде, но они следовали указаниям своего шефа-канцлера и своим карьеристским соображениям и писали иной раз вовсе не то, что

видели их глаза и слышали их уши, а то, что, по их мнению, будет приятно прочесть властелину в Зимнем дворце, т. е. нередко льстили и лгали ему почти так же, как и сам Нессельроде. А когда и писали в Петербург правду, то Нессельроде старался подать ее царю так, чтобы она не вызвала его неудовольствия.

Хотя сам Нессельроде был человеком склонным к миру, но перо его всегда было готово по приказу монарха строчить без малейших затруднений бумаги, прямо ведшие к войне, которую сам он никогда не одобрял,— так отзывается о нем очень тонкий наблюдатель, саксонский представитель при петербургском дворе граф Карл Фитцтум фон Экштедт. «Пред императором Николаем Нессельроде дрожал»[19]. Николай иногда просто забывал, по-видимому, о самом факте существования своего канцлера, о котором говорили, что его миниатюрная фигурка окончательно закрывалась несоразмерно огромными очками, которые он носил. По крайней мере Фитцтум фон Экштедт с удивлением передает о таких порядках при русском дворе: если Николаю Павловичу желательно о чем-нибудь внешнеполитическом секретно поговорить, то он зовет лично ему очень приятного прусского посла генерала фон Рохова и по душе с ним беседует. А если фон Рохову покажется, что не худо было бы сообщить и маленькому Нессельроде кое о чем из царских желаний и намерений, то фон Рохов просит у Николая позволения поговорить с канцлером Российской империи и если получает на это позволение, то сообщает канцлеру, что найдет нужным «Только при подобном министре и можно было вообразить себе такое положение, как то, которое занимал фон Рохов»,— справедливо замечает граф Фитцтум фон Экштедт.

Представитель Наполеона III, французский посол в Петербурге генерал маркиз Кастельбажак, любимец Николая, доносил в Париж: «Император Николай I — государь чрезвычайно эксцентричный. Его трудно вполне разгадать, так велико расстояние между его хорошими качествами и его недостатками... Его прямодушие и здравомыслие иногда помрачались лестью царедворцев и союзных государей... он обижается, если ему не доверяют, очень чувствителен, не скажу к лести, но к одобрению его действий». Кастельбажак тут же делает Николаю и еще целый ряд совсем незаслуженных комплиментов. Но Николай I, почти как брат его Александр, умел прельщать и очаровывать нужных ему людей, когда находил это полезным, и он осыпал Кастельбажака милостями и любезностями. Царь умудрился даже при получении французской ноты о разрыве сношений и о войне еще наградить отъезжавшего в 1854 г. из Петербурга Кастельбажака лентой Александра Невского, т. е. одним из самых высоких орденов Российской

империи, как еще раньше, в 1837 г., он наградил орденом Андрея Первозванного английского посла Дэрема. Кастельбажак взвел на Николая напраслину, приписав ему «прямодушие». Но никогда не бывший прямодушным царь в первые годы царствования по крайней мере умел настойчиво требовать прямодушия от других и гневался, уличая приближенных во лжи. А к концу жизни все более и более стал ценить тех, кто оберегал безмятежную ясность его духа даже путем некоторого, так сказать, приспособления правды к приличному ее проявлению при высочайшем дворе. По одному поводу Андрей Розен как-то настаивал, чтобы князь Ливен, каждый день видевший царя, открыл ему, наконец, глаза. Но Ливен отвечал: «Чтобы я сказал это императору? Да ведь я не дурак! Если бы я захотел говорить ему правду, он бы меня вышвырнул за дверь, а больше ничего бы из этого не вышло» [20].

Таковы были условия в которых протекала дипломатическая работа при Николае. Вся вредность этих условий выявилась лишь к концу, когда темные тучи со всех сторон обложили горизонт России: она не была так заметна, когда царь шел еще от успеха к успеху и когда казалось, что нет на земле силы, которая бы могла внезапно встать пред ним неодолимым препятствием.

3

Пышный фасад и громадный военный престиж колоссальной империи, которая, правда, была слабее в действительности, чем тогда казалась даже недоброжелательному оку соперников и врагов, но тем не менее все-таки была сильна в нападении и почти совсем непреоборима в обороне,— вот что помогло Николаю в первых его дипломатических действиях. Слава великого двенадцатого года, слава освобождения Европы, победы над непобедимым Наполеоном еще действовала. Победы русской дипломатии в первые годы царствования Николая — это его личные победы. Помощников у него не было. Нессельроде был, по существу дела, ловко округлявшим французские фразы писарем, а не дипломатом, и русскую внешнюю политику делал только царь. Сила дипломатии Николая заключалась в том, что он имел с первых же своих шагов одну вполне определенную цель, которая до такой степени прочно овладела его умом, что даже его упорная, почти маниакальная ненависть ко всему, что напоминало революцию, не могла никогда надолго вытеснить эту цель из его соображений. И после дипломатических, а иногда (в 1849 г.) и военных выступлений для поддержки всеевропейской реакции Николай всегда, неизменно, как стрелка компаса обращается к северу, обращался к этой своей центральной идее.

Эта была мысль, которая с екатерининских времен не переставала играть огромную роль в русской военно-дипломатической истории и которая в разное время принимала неодинаковые обличья, но по существу оставалась единой. Иметь контроль над проливами, избавиться от серьезной опасности со стороны Англии, не пускать угрожающий чужой флот в Черное море, обезопасить все русское побережье Черного моря от обстрела кораблями любой державы, которая, в согласии с Турцией, пожелает громить русские приморские города,— таково было с давних пор одно из основных заданий, какие ставила себе русская дипломатия. Кроме того, вопрос о свободе экономических сношений в Средиземном море, о свободе русского экспорта, независимости всей южнорусской морской торговли тоже ставился при Екатерине, при Павле, при Александре. При Екатерине и Александре дело доходило до войн, при Павле все ограничилось мечтаньями царя над ростопчинским проектом присоединения балканских владений Турции и «подведения» их под скипетр всероссийский. Когда Наполеон с Александром I во время ночных своих совещаний в Тильзите делили Европу, то о политических авантюрах думал не Александр, а Наполеон. Александр, говоря о Турции, затрагивал вопрос о Константинополе, выдвигал задачу, решение которой считал насущно-необходимым для России. А Наполеон, расширяя необъятную свою империю, домогался для себя именно того положения, когда он мог бы невозбранно совершать новые и новые безудержные захваты. Это положение Наполеон I и сформулировал после Тильзита в разговоре со своим братом Люсьеном: «Я теперь все могу». Но и Александру не удалось осуществить свою трудную задачу ни в Тильзите, ни после Тильзита.

Николай неожиданно для жестоко этим встревоженного Меттерниха круто переменил в 1826 г. фронт в вопросе об освобождении Греции и вошел в дружбу с ненавистным Меттерниху разрушителем и врагом Священного союза английским премьером Джорджем Каннингом. Он послал в 1827 г. свой флот помогать английскому и французскому флоту при Наварине освобождать «бунтовщиков»-греков от законного их монарха Махмуда II, ловко обеспечив себе английский и французский дружественный нейтралитет во время войны с Турцией в 1828—1829 гг. И все-таки и после этой удачной по результатам, но очень тяжелой войны он не получил контроля над проливами, хотя и приобрел много других выгод и преимуществ. И тут-то, вскоре после Адрианопольского мира 1829 г., царю в первый раз пришлось натолкнуться на упорное противодействие английской дипломатии.

Все дело заключалось в том, что Адрианопольский мир хотя и приблизил Россию к разрешению вопроса о проливах, не дал

все-таки того, что царь считал главным. И, отвлекаемый сначала июльской революцией и проектами нелепого и невозможного вмешательства во французские дела, потом польским восстанием, потом делом о создании Бельгии,— царь мог лишь с 1832 г. опять вплотную заняться турецким вопросом. Ему тут «повезло», т. е. обстоятельства сложились для него благоприятно. Изнемогая в борьбе с сильным египетским вассалом, султан Махмуд II стал все больше склоняться к мысли о необходимости просить помощи у Европы. Но у кого? Пальмерстон больше ободрял султана словами и сердечно написанными нотами, а царь, напротив, дал знать, что он может немедленно прийти на помощь. Махмуд II знал, что недешево обойдется ему эта военная помощь, но, как выразился растерявшийся повелитель правоверных, «когда человек тонет, то он и за змею хватается руками».

Английские дипломаты с большой тревогой и подозрительностью следили за прогрессирующей «дружбой» султана с царем. Лучший агент Пальмерстона, Стрэтфорд-Каннинг, двоюродный брат умершего в 1827 г. премьера Джорджа Каннинга, был откомандирован в 1831 г. в Турцию и очень умело организовал целую шпионскую сеть вокруг русского посольства в Константинополе.

Вернувшись из Константинополя в 1832 г., Стрэтфорд-Каннинг настолько вошел в милость у Пальмерстона, что тот дал ему одно из самых важных назначений, какие только могли увенчать тогда карьеру дипломата: Стрэтфорд был назначен великобританским послом в Петербург. Об этом оповестили все газеты. И вдруг — император Николай отказался принять Стрэтфорда в качестве посла.

Этот отказ возбудил большую и повсеместную сенсацию. В России об этом странном инциденте, конечно, ничего не печатали, но зато много говорили. Случился этот дипломатический скандал в октябре 1832 г., а поздние отголоски его мы находим, например, в записи Пушкина, в его «Дневнике», под 2 июня 1834 г.: «Государь не хотел принять Каннинга...[21] потому, что, будучи великим князем, имел с ним какую-то неприятность». Запись Пушкина правильно передает и слух и самый факт. Об этой же «неприятности» писал сам Нессельроде в Лондон жене русского посла княгине Ливен, чтобы она помешала назначению Стрэтфорда в Петербург. Но что это была за неприятность, мы в точности и от Нессельроде не узнаём. Так этот вопрос не выяснен вполне и до настоящего времени [22]. Впрочем, это и не имеет существенного значения. Несомненно, что, помимо личных причин, в демонстративном поступке Николая немалую роль сыграли и обильные сведения о деятельности и умно проводимых антирусских интригах талантливого англий-

ского дипломата в Константинополе и Греции. Ведь для этого он и был послан Пальмерстоном в Константинополь в 1831—1832 гг.

Пальмерстон далеко не сразу примирился с афронтом, который учинил ему Николай Павлович. Княгиня Ливен показала ему письмо Нессельроде, но Пальмерстон решил все-таки идти напролом и назначение Стрэтфорда представил для подписи королю Вильгельму IV. Однако Пальмерстон мог убедиться, что нахрапом и решительностью ничего тут взять нельзя. «Коса нашла на камень». Николай решительно отказался принять Стрэтфорда. Тогда Пальмерстон не пожелал никого другого назначить послом в Петербург, а велел советнику посольства Блаю исполнять временно должность, в качестве поверенного в делах. В ответ на это Николай отозвал из Лондона русского посла князя Ливена и назначил тоже поверенного в делах, причем выбрал для этой должности совсем уж ничтожную по своему положению и значению чиновничью фигуру, некоего Медема, который к тому же был непозволительно молод, «*молокосос*» (un blanc bec), как назвал его Блай в разговоре с Пушкиным. Блай был всем этим решительно обижен.

Пальмерстон пробовал через этого же Блая переубедить Нессельроде, т. е., точнее, царя. «Дайте ему (Нессельроде — *Е. Т.*) вежливо понять,— писал Пальмерстон Блаю,— что английский король — самый лучший судья насчет того, кто больше всего пригоден к его службе на военных или гражданских постах, и что мы не можем позволить иностранной власти диктовать нам свою волю в таких делах или накладывать свое *табу* на самых лучших наших людей только потому, что они самые лучшие» [23]. Блай, получив эту инструкцию, снова объяснялся с Нессельроде и снова получил категорический отказ. И в третий раз Пальмерстон написал Блаю, и в третий раз Блай обращался к Нессельроде с просьбой принять назначение Стрэтфорда или хотя бы точно сообщить о причинах отклонения. Но царь и в третий раз отказал и говорить о причинах тоже не согласился.

Пальмерстон был в таком раздражении, что пустился на курьезнейшую выходку: он послал Стрэтфорда в Мадрид со специальной миссией по делам Испании и Португалии, но в официальных верительных грамотах, которые Стрэтфорд должен был представить испанскому двору он был назван так: «Посол при императоре всероссийском». Почти одновременно, еще до того как Стрэтфорд отправился в Мадрид, Пальмерстон снова навел справку в Петербурге, не согласится ли царь принять Стрэтфорда хотя бы так: Стрэтфорд только приедет, представится и сейчас же, мгновенно, уедет из Петербурга безвозвратно. Николай на это не без юмора ответил, что он обещает

6*

дать Стрэтфорду один из самых высоких русских орденов, лишь бы он только вовсе не приезжал в Петербург. Пришлось в конце концов покориться. Только 28 июля 1833 г. «посол при императоре всероссийском», проживающий в Мадриде, Стрэтфорд-Каннинг получил уведомление от Пальмерстона, что английский король всемилостивейше освобождает его от возложенных на него обязанностей британского посла в Петербурге (куда Стрэтфорд так и не заглядывал).

Временно дипломатическая карьера Стрэтфорда была оборвана. Весь этот эпизод имеет историческое значение не потому, что будто бы именно с этих пор Стрэтфорд воспылал неукротимой русофобией и поставил себе целью мстить Николаю «до гробовой доски» и т. д. Подобный романтизм совсем не в духе дипломатической борьбы в XIX в., и не «мщение» Стрэтфорда Николаю, а обострившийся антагонизм интересов правящих социальных слоев Великобритании и русского самодержавия на Востоке привел к кровавому конфликту, да и то лишь в тесной связи с общеполитической обстановкой, сложившейся в начале 50-х годов в Европе. Рассказанный дипломатический скандал имеет исторический интерес лишь потому, что он явственно показывает, до какой степени уже тогда, за двадцать лет до Крымской войны, зорко следили на Востоке не только английские агенты за русскими, но и русские за английскими, и до какой степени конкретно русское правительство знало о роли каждого из этих английских официальных и неофициальных представителей. Дело было как раз накануне большого нового выступления русской дипломатии на Востоке, и иметь у себя в Петербурге умного, дельного, обладающего огромными связями в Турции и не менее огромной осведомленностью английского дипломата Николаю было решительно нежелательно.

Николай тем более энергично старался избавиться от соглядатая и умного врага в самом Петербурге, что в это время он снова стал пристально присматриваться к турецким делам, и снова у него явилась серьезная надежда доделать то, чего не удалось свершить при заключении Адрианопольского мира. Дело в том, что во второй половине 1832 и в течение первых месяцев 1833 г. непокорный вассал Махмуда II Мехмет-Али, паша Египта, продолжал и продолжал успешную борьбу против султана. Его сын Ибрагим бил одну султанскую армию за другой, и султан окончательно удостоверился в двух фактах: Франция явно поддерживает Мехмета-Али, надеясь через его посредство получить влияние в Египте; английский статс-секретарь по иностранным делам Пальмерстон очень сочувствует султану, обещает,— впрочем, как-то неопределенно при этом выговаривая нужные слова в устных беседах по-английски и направляя Порте столь же неопределенные ноты, написанные

по-французски,— и ровно никакой помощи турки от него не видят и ни из его английских слов, ни из его французских нот не могут даже уловить, чего ему, в сущности, хочется.

Султан обратился тогда к Николаю,— и царь (сам очень искусно вызвавший это обращение) сейчас же деятельно взялся за дело. Он отказался от опасного соблазна ударить на Константинополь с моря, воспользовавшись беспомощным в тот момент положением турецкой столицы. Он решил, что время еще не пришло, и не хотел рисковать войной с Англией, а быть может, и с Францией. Николай остановился на мысли — ничем не рискуя, чисто дипломатическим путем использовать положение и дополнить и улучшить недоделанный в 1829 г. Адрианопольский трактат. Сначала царь послал генерала Николая Николаевича Муравьева в Константинополь и велел ему запастись разрешением ехать дальше, в Египет, к непокорному и победоносному паше Мехмету-Али, которому Муравьев должен был от имени Николая предложить прекратить войну против султана.

Николай твердо знал, что из этой миссии ничего не выйдет, потому что и Франция и Англия не допустят такого успеха и такого усиления авторитета России на Востоке. Но царю ведь и не нужно было, чтобы в самом деле Мехмет-Али перестал воевать против султана. Напротив. Поэтому, когда Англия и Франция в самом деле поспешили внушить Мехмету-Али мысль отказаться от обещания, которое он, смутившись в первый момент, дал Муравьеву, и когда приостановившемуся было главнокомандующему египетской армией Ибрагиму было разрешено Мехметом-Али продолжать движение на север,— Николай с полной уверенностью стал поджидать нового обращения султана. Что Ибрагим наголову разобьет всякую турецкую армию, против него посланную, это было ясно. И в самом деле Мехмет-Али послал в помощь сухопутной своей армии, победоносно двигавшейся на север и наголову разбившей турок у Конии 21 декабря 1832 г., еще и довольно сильный египетский флот, после чего султан Махмуд II впал в полную панику. Его министры бросались от английского посла к французскому, от французского к английскому, но, кроме подбадриваний, утешений и соболезнований, ничего там не находили. И вдруг в середине января 1833 г. Константинополь потрясен был известием, что египетский флот загнал турецкую эскадру в Мраморное море, а сам стоит у Дарданелльского пролива и не сегодня-завтра войдет в Мраморное море и заберет в плен или потопит турок. Пришел момент, на который Николай правильно и поставил свою ставку в этой игре.

27 января (8 февраля) царя внезапно вызвали от князя Кочубея, у которого он находился в гостях: известия были

такого рода, что и часу нельзя было терять. Султан Махмуд II слезно молил о немедленной помощи от непосредственно угрожавшей ему с моря и с суши гибели. Немедленно же Николай отдал нужные распоряжения тому же генералу Муравьеву — и 8 (20) февраля 1833 г. русская эскадра под начальством контр-адмирала Лазарева уже подошла к Золотому Рогу и высадила на берег Босфора два пехотных полка, казачью конницу и несколько артиллерийских батарей. Эскадра Лазарева состояла из внушительной силы: четырех линейных кораблей и пяти фрегатов. Известие о плывущей в Босфор русской эскадре вызвало страшный переполох как в английском, так и во французском посольствах. Французский посол Руссэн даже убедил султана не допускать русских к высадке, уверив его, что французы категорически потребуют от Ибрагима прекращения военных действий. И султан Махмуд II обещал и даже передал русскому послу Бутеневу просьбу, чтобы тот выслал навстречу Лазареву катер с предложением не подходить к берегу. Но Бутенев постарался запоздать, а Лазарев постарался поспешить,— и из англо-французских усилий ничего не вышло.

Русский отряд и эскадра Лазарева расположились на Босфоре. Французская и английская дипломатия теперь уже в самом деле старалась всерьез заступиться за султана пред Мехметом-Али, чтобы поскорее султан мог просить царя убрать русские войска. Но так как Пальмерстон по-прежнему выжидал, чтобы помощь султану войсками оказали французы, а от себя продолжал лишь выражать посланнику султана горячее сочувствие на чистом английском языке, французы же подозревали Пальмерстона в подготовке им западни,— поэтому никакой помощи ни от англичан, ни от французов султан не дождался. Ибрагим, сообразив, как обстоит дело, пообождав, двинулся дальше,— и город Смирна отложился от Турции и передался египетскому военачальнику. Тут уж Махмуд обратился к царю с самой униженной мольбой. Тотчас же Николай у которого уже давно было все готово, приказал послать к Муравьеву на Босфор новые подкрепления.

В начале апреля на Босфоре находилось уже двадцать русских линейных кораблей и фрегатов и больше 10 тысяч человек стояло на азиатском берегу Босфора, в местечке Ункиар-Искелесси и его окрестностях. Вскоре, 24 апреля (6 мая), в Константинополь прибыл в качестве чрезвычайного посла Алексей Федорович Орлов, которому Николай доверил очень важную миссию: удалить Ибрагима из Малой Азии и за это потребовать от султана подписания нового договора с Россией.

Оба дела были проведены Орловым быстро и ловко. Путем угроз и нажима, чисто дипломатическим методом, без пролития капли русской крови, Орлов заставил Ибрагима удалиться

обратно за хребет Тавра, и под наблюдением русского штабного офицера Ибрагим действительно увел свои войска. 24 июня султан был уведомлен, что египетские войска в полном составе ушли за Тавр, а 16 июня (8 июля) 1833 г. в местечке Ункиар-Искелесси был подписан Орловым и турецкими представителями новый русско-турецкий договор. Тотчас же после его подписания Орлов приказал русскому флоту и войскам покинуть Босфор и возвратиться к русским берегам. Орлов так быстро и ловко вел дело, так умеючи давал огромные взятки, кому было наиболее целесообразно их давать, такой невинный и чистосердечный вид напускал на себя при встречах и беседах с французским и английским послами и так секретно готовил свое дело, что о заключении договора и Пальмерстон и король французский Луи-Филипп узнали в порядке полного сюрприза и никак помешать — по крайней мере немедленно — уже не могли. И султан и его министр иностранных дел могли только все повторять свою любимую пословицу, что когда человек тонет, то он даже и за змею хватается, а не то что за Николая Павловича.

Ункиар-искелессийский договор обязывал Россию и Турцию оказывать друг другу помощь всеми сухопутными и морскими силами в случае войны с третьей державой. А так как Орлов заявил, что царь, признавая и сохраняя за собой это обязательство, великодушно освобождает Турцию от обязанности посылать России военную помощь в случае войны России с какой-либо державой, то в возмещение за это турецкое правительство обязуется закрыть Дарданеллы для прохода каких бы то ни было иностранных военных судов, оставляя, конечно, это право за Россией, если бы она пожелала послать свои суда в Средиземное море.

Таким образом, первый и значительный шаг к обеспечению русских берегов был сделан. Черное и Мраморное моря отныне были закрыты. Договор был заключен сроком на восемь лет. Газета «Таймс», узнав о нем, назвала его «бесстыжим» (impudent). Пальмерстон послал султану резкий протест. Раздражение в Париже было тоже весьма значительно: Россия оказывалась теперь в самом деле недоступной для флотов западных держав, и исчезало единственное слабое место в русской государственной обороне. Другие пункты договора, очень благоприятные для русской торговли в Турции, еще более усиливали значение случившегося.

Меттерних старался сделать вид, что Австрия очень довольна достигнутым русской дипломатией крупнейшим успехом. Но на самом деле, как теперь может быть вполне установлено, австрийский канцлер не был ни доволен, ни спокоен.

Конечно, он боялся худшего, когда контр-адмирал Лазарев

со своим флотом плыл к Босфору. Дело могло кончиться захватом Константинополя. Но и то, что случилось, слишком усиливало русские позиции.

Николай смотрел на достигнутый успех лишь как на первый и очень серьезный шаг. Что представляют собой преждевременно одряхлевший тиран Махмуд II и его министры, сегодня берущие взятки от Орлова, а завтра от Пальмерстона, это царь знал очень хорошо. Мысль о настоящем, прочном военном контроле над проливами не оставляла его. Что без соглашения с Австрией и Англией, или с одной Австрией или с одной Англией, дело не обойдется, это было его давнишним убеждением. Но говорить с Пальмерстоном о дальнейших своих планах касательно турецких владений царь тогда не мог. Он решил позондировать почву в Австрии.

Нужно припомнить, что и австрийская дипломатия и австрийские военные сферы с величайшей тревогой смотрели вообще на активность русской политики в Турции. Австрийский фельдмаршал Радецкий был в отчаянии от Адрианопольского мира 1829 г. Он утверждал, что отныне не только Молдавия и Валахия, но и Сербия могут считаться странами, стоящими в прямой зависимости от России. Кто владеет устьями Дуная, от того зависит вся австрийская экономика, а этими устьями овладела Россия. С точки зрения не только Радецкого, но и самого Меттерниха, слабый, полуразрушенный фундамент, на котором еще держится независимость Австрийской империи,— это самостоятельность Турции. В тот момент, когда Россия овладеет Константинополем, Австрия превратится, по мнению Меттерниха, в русскую провинцию. Когда в 1830 г. Николай категорически отказался принять участие в затеянной Меттернихом особой «декларации», гарантирующей независимость Турции,— австрийский канцлер окончательно удостоверился, что вопрос о разрушении Турецкой империи отодвинут в весьма недалекое будущее. А русско-турецкий договор 1833 г. в Ункиар-Искелесси явился лишь ярким подтверждением справедливости австрийских опасений. Но что же было делать? У меттерниховской Австрии было два врага: революция и николаевская Россия. Бороться разом на два фронта нельзя было. И австрийская дипломатия официально безмолвствовала в восточном вопросе, деятельно интригуя в дипломатическом подполье вплоть до 1849 г., потому что именно на помощь царя и возлагала все упования и расчеты в схватке с революционными силами, минировавшими в стольких пунктах Габсбургскую монархию. И теперь, в 1833 г., нужно было обнаружить полное согласие с восточной политикой царя.

10 сентября 1833 г., через два месяца после подписания Ункиар-искелессийского договора и через две недели после

отсылки в Турцию резкого протеста Пальмерстона против этого договора, Николай прибыл в Мюнхенгрец (в Австрии) для свидания с австрийским императором Францем и для подготовленного разговора с Меттернихом. Меттерниху нужно было после неспокойных лет снова заручиться поддержкой Николая против революционных потрясений, эра которых, казалось, вновь открылась июльской революцией 1830 г., а Николаю нужно было получить поддержку Австрии в турецком вопросе. В первый же день переговоров Меттерних желал подыграться к предполагаемой им солдатской прямоте Николая, у которого была действительно фронтовая, отчетливая поступь, военная выправка и прямая осанка, но ни малейшей душевной прямоты никогда и в помине не было. Поэтому Меттерних, готовясь обмануть царя во всем, что касается турецких дел, начал не по-придворному, а по душам: «Государь, прошу мне верить, что я не хитрю с вами!» По другой версии, он прибавил: «Ведь вы меня знаете, ваше величество!» — «Я ему совсем просто отвечал: да, князь, я вас знаю»,— выразительно сообщает царь об этом своем язвительном ответе в письме к своей жене Александре Федоровне 11 сентября 1833 г. из Мюнхенгреца. Этот дебют не мог не смутить Меттерниха, который тогда, впрочем, еще не знал, что Николай уже несколько раз, и в 1827 г. и позже, имел много случаев назвать его «канальей» и охотно этим пользовался.

Николай поспешил прежде всего все-таки успокоить Меттерниха и усыпить его подозрительность: царь заявил, что, по его мнению, только две державы должны, по соглашению между собой, решать турецкие дела — это Россия и Австрия, потому что только они обе из всех великих держав граничат с Турцией. С этим Меттерних вполне согласился. Но для царя это его заявление было только вступлением к переговорам, а не их окончанием. Дальше разыгралась сцена, о которой много лет спустя, уже после Крымской войны, старый князь Меттерних, разговаривая с Гамильтоном Сеймуром, рассказал английскому дипломату, напомнив, что еще с ним, Меттернихом, тоже царь пробовал заговаривать о разделе Турции. «Это было в Мюнхенгреце, за обедом. Я сидел напротив его величества. Наклонившись над столом, царь спросил меня: „Князь Меттерних, что вы думаете о турке? Это больной человек, не так ли? (Prince Metternich, que pensez vous du Turc? C'est un homme malade, n'est-ce pas?)“. Я притворился, что не услышал вопроса, и сделал вид, что оглох, когда он обратился ко мне снова. Но когда он повторил вопрос в третий раз, то я был принужден ответить. Я сделал это косвенным образом, спросив в свою очередь: „Обращаетесь ли ваше величество ко мне как к доктору или как к наследнику? (Est-ce au médecion ou à l'héritier

que Votre Majesté adresse cette question?)". Император не ответил и никогда со мной вновь уже не заговаривал о *больном человеке*»[24]. Николай понял после этого, что Австрия не пойдет на дележ, потому что, по сути дела, львиная доля достанется России, а сама Габсбургская империя, вкрапленная между русскими владениями, быстро превратится в русский протекторат. Это первое зондирование почвы оказалось не последним. Только царь решил обратиться тогда уже к другому возможному партнеру. Но приходилось запастись терпением и долго ждать благоприятных обстоятельств, чтобы это сделать.

4

Этим другим партнером могла быть только Англия. Николай начал исправлять постепенно отношения с британским правительством, очень испорченные и неприятной историей с отказом в допущении Стрэтфорда-Каннинга в 1832 г. и, конечно, удачей русской дипломатии в Турции в 1833 г. В 1835 г. Пальмерстон, после скандала со Стрэтфордом долго не назначавший посла в Петербург, наконец, предложил царю лорда Дэрема, нарочно выбрав снова человека, о котором было известно, что он враждебен России и особенно Николаю. Впоследствии Николай сказал сэру Роберту Пилю, вспоминая об этом: «Несколько лет тому назад ко мне послали лорда Дэрема, человека, преисполненного предубеждений против меня. Но едва он сблизился со мной, как все его предубеждения совсем исчезли». Дэрем, в самом деле, оказался очень скоро под обаянием царской ласки и тонкой лести, потому что Николай, когда хотел, умел очень льстить и симулировать простодушную сердечность в отношениях с людьми, которых в данный момент находил целесообразным очаровать. Помогло делу и то, что Николай держался в эти годы относительно Англии очень примирительно вообще и всячески стремился доказать англичанам, что всегда готов помочь им в любом дипломатическом ходе против Франции. Николай вместе с тем был и с лордом Дэремом всегда настороже. В европейских дипломатических кругах с любопытством узнали о передававшемся в нескольких версиях разговоре между царем и лордом Дэремом, которого Николай возил в Кронштадт, чтобы показать ему строящийся флот. «Зачем вам строить такой большой флот, ваше величество?» — «А вот именно затем, чтобы вы уже больше не осмеливались задавать мне подобные вопросы»,— ответил Николай. При лорде Дэреме, бывшем в Петербурге с 1835 по 1837 г., отношения между Англией и Россией медленно налаживались, насколько это было возможно при таком руководителе британской политики, как Пальмерстон.

Английский министр иностранных дел не мог успокоиться и примириться с договором в Ункиар-Искелесси. Но ему мешали натянутые отношения Англии с Францией, препятствовавшие обеим морским державам дружно выступить против России. Правда, 28 октября 1833 г. Пальмерстону удалось заставить правительство Луи-Филиппа послать одновременно с Англией протестующую ноту в Петербург, но из этого ничего не вышло. Франция и Англия заявили, что если Россия вздумает ввести в Турцию вооруженные силы, то эти две державы будут действовать так, как если бы Ункиар-искелессийский договор *«не существовал»*. Но Николай велел ответить Франции, что если Турция для своей защиты призовет на основании Ункиар-искелессийского договора русские войска, то он, царь, будет действовать так, как если бы эта протестующая французская нота *«не существовала»*. Англии ответили в таком же духе, но несколько вежливее. Затем, при двухлетнем пребывании Дэрема в Петербурге, отношения с Англией, как сказано, улучшились. Пальмерстон мог понять по целому ряду фактов, что для систематической борьбы против России даже дипломатических союзников, не говоря уже о военных, ему так легко не найти. В Австрии Меттерних всей душой, конечно, приветствовал бы провал русского влияния в Турции, но участвовать в подготовке этого провала никак не мог и не хотел. Слишком это было для Австрии рискованно. Что такое английская помощь на суше,— это Меттерних очень хорошо видел на примере Турции, которую Пальмерстон усердно подбадривал и подстрекал к борьбе против египетского паши Мехмета-Али, но когда дошло до дела, он ни одного солдата на помощь не послал. Замечательная черта была в психике Пальмерстона: он *искренне* негодовал, яростно сердился, с горечью тяжкой обиды нападал на тех, кого ему не удавалось обмануть. Этого он никогда не прощал. Он возненавидел, например, Меттерниха и всячески его поносил и преследовал враждой именно тогда, когда окончательно убедился, что тот боится Николая и не желает во имя английских интересов на Востоке подставлять Австрию под опаснейшие русские удары. Некоторое время, казалось, Пальмерстону можно было рассчитывать на другого мыслимого союзника — на Францию. Но после героического жеста 28 октября 1833 г., после отсылки протестующей ноты против Ункиар-искелессийского договора и ответа Николая, оказалось, что Луи-Филипп истощил весь запас храбрости. Французский король, принужденный упорно бороться и с республиканцами, и с социалистами, и с возникавшим рабочим движением, сам всей душой был бы рад опереться на Николая. Чтобы заслужить царскую милость и загладить провинности французского правительства, терпевшего в 1830—1831 гг. манифестации в

пользу поляков, Луи-Филипп, «король баррикад», как его называли реакционеры, захотел доказать, что он вполне исправился. По секретному поручению французского короля в Петербург явилась графиня Сент-Альдегонд и уведомила Николая о новом обширном польском заговоре, сообщив при этом имена руководителей, во главе которых стоял эмигрант Симон Конарский. В Польше было арестовано после этого до двухсот человек и между ними Конарский, который и был расстрелян в Вильне. Но и помимо этой любезности, Луи-Филипп и вообще как до, так и после посылки графини Сент-Альдегонд был неистощим в знаках внимания к царю. Пальмерстон мог учесть, что на Францию как на союзницу рассчитывать мудрено.

А выступать без союзников Пальмерстон все-таки не решался. Случай с бригом «Уиксен» показал ему, что и Николай учитывает отсутствие у Англии нужных союзников. Случай этот произошел, когда еще британским послом в Петербурге был лорд Дэрем.

Нужно сказать, что в Константинополе, в английском посольстве, образовался сплоченный круг людей, основную задачу свою видевших в борьбе против русского влияния и, в частности, в подрыве всеми мерами основ Ункиар-искелессийского договора. Во главе их стоял Дэвид Уркуорт, впоследствии стяжавший себе известность в качестве публициста, с яростью боровшегося в лондонской прессе против России и дошедший до маниакальных заподозреваний всех и каждого в подкупе. Он, между прочим, обвинял в этом впоследствии и Пальмерстона, и вождя «Молодой Италии» Джузеппе Маццини, и других. По-видимому, именно его стараниями сначала пред английским посольством в Константинополе, а потом и пред самим Пальмерстоном был выдвинут вопрос: кому принадлежит черноморский берег еще не замиренного Кавказа? Имеет ли право английский купец торговать в «Черкесии» и признавать ли в этой «Черкесии» суверенитет России? Был снаряжен в Лондоне бриг «Уиксен», и с грузом пороха, скромно названного в корабельном журнале «солью», бриг отправился к черкесским берегам. Русский бриг «Аякс» в конце декабря 1835 г. арестовал «Уиксена» и привел его в Севастополь. Разгорелось целое дело. Русский призовый суд признал арест правильным и конфисковал бриг. Пальмерстон протестовал, его пресса начала очень сильно раздувать дело, и Пальмерстон заявил русскому послу в Лондоне Поццо ди Борго (перемещенному сюда из Парижа Николаем), что он не признает русского суверенитета над Черкесией и передает этот вопрос на обсуждение английских «юристов короны». Поццо ди Борго решительно протестовал. Дело тянулось больше года и дошло до очень бурных объяснений, так что Поццо ди Борго в январе 1837 г. даже сообщил в

Петербург, что «возможно объявление войны». Николай не уступил. Он лишь возместил убытки владельцев. Посол Дэрем всецело стал на русскую точку зрения, и когда Пальмерстон его сместил, то Николай, при прощании, пожаловал Дэрему высший из всех русских орденов — звезду Андрея Первозванного.

На войну из-за «Уиксена» Пальмерстон не решился, да Николай ничуть и не сомневался, что тот не решится воевать без союзников. Вообще натуру Пальмерстона, очень агрессивного при уступчивости противной стороны, но быстро снижающего тон при серьезном отпоре, царь понял хорошо. Чего он никогда не понимал — это той могучей поддержки, которую оказывает неизменно Пальмерстону в подавляющей своей массе английская крупная буржуазия. Николаю все казалось, что он ведет длительный поединок со злокозненным лордом и что нужно только подождать появления лордов подоброкачественнее, например Эбердина,— и дело пойдет более или менее на лад. Да и королева Виктория, кстати, лично ненавидит Пальмерстона. Никогда Николай не понимал, и просто не хотел понять, что против его восточной политики идет сомкнутым строем могущественная экономическая сила самой передовой в те времена промышленной державы земного шара и что уход Пальмерстона или приход Эбердина существа борьбы не изменит, и что личные вкусы королевы Виктории ни малейшего тут значения не имеют.

А между тем Пальмерстон успел уже высказаться весьма недвусмысленно *по существу* англо-русских противоречий. Еще при переговорах по поводу конфискации судна «Уиксен» между Пальмерстоном и русским послом в Лондоне Поццо ди Борго произошла 30 апреля 1837 г. бурная сцена, во время которой Пальмерстон настолько потерял всякое самообладание, что самым откровенным образом высказал, по какой именно причине он так придирчиво и враждебно относится к России: он боится ее величины, силы и завоевательных возможностей не только в Турции, но и в Афганистане, в Средней Азии, вообще всюду.

Началось с того, что Пальмерстон объявил для Англии вовсе не обязательным и не имеющим никакого значения отказ Турции от ее прав на Кавказское побережье. Поццо ди Борго ответил, что этот отказ Турции закреплен Адрианопольским миром и Россия не признает права Англии вмешиваться в договор между двумя независимыми державами. Спор принимал все более и более резкий характер, и, наконец, Пальмерстон воскликнул: «Да, Европа слишком долго спала. Она, наконец, пробуждается, чтобы положить конец этой системе захватов, которые император желает предпринять на всех границах своей обширной империи. В Польше он укрепляется и угрожает Пруссии и Австрии; он вывел войска из (Дунайских — *Е. Т.*)

княжеств и сеет там смуту, чтобы получить предлог туда возвратиться. Он строит большие крепости в Финляндии с целью устрашить Швецию. В Персии ваш посланник подстрекает шаха к бессмысленным экспедициям, которые его разоряют, и сам предлагает ему, чтобы тот лично участвовал в этих разорительных войнах, чтобы ослабить и погубить его. Теперь вы желаете присвоить Черкесию, но больше сорока лет пройдет раньше, чем вам удастся совладать с этим храбрым и независимым народом»[25].

Поццо ди Борго, выслушав эти необычайные по откровенной грубости речи, заявил, что ему странно, почему он (Пальмерстон) так беспокоится о судьбе Пруссии и Австрии, «держав, живущих в согласии и самой искренней дружбе с Россией».— «Вы правы в этом,— прервал Пальмерстон,— они (Австрия и Пруссия — *Е. Т.*) ошибаются. Но Англия должна играть роль защитницы независимости наций, и если бараны безмолвствуют,— говорить за них обязан пастух». Поццо ди Борго возразил: «Пастуху будет много работы, если он хочет взять на себя обязанность ограждать тех, которых он называет баранами, но которые вовсе не бараны и не ищут его покровительства». Но Пальмерстон ярился все больше и больше и заявил, что султан, подбиваемый Николаем, укрепляет Дарданеллы, в чем ему помогают *прусские* инженеры, посланные по желанию царя, «чтобы избежать скандала (который был бы вызван — *Е. Т.*) посылкой русских офицеров». А укрепляются Дарданеллы именно против Англии, «потому что нет другой державы, которая могла бы пытаться форсировать этот пролив». Так и выложил это вполне открыто взволнованный Пальмерстон.

Эта беседа, которую Поццо ди Борго квалифицирует как «необыкновенную и почти невероятную» (extraordinaire et presque incroyable), привела посла «к твердому убеждению, что английский министр желает разрыва и что он достигнет своей цели, если долго останется у дел»[26].

Николай, прочтя донесение об этом разговоре, приказал Нессельроде дать знать британскому послу в Петербурге лорду Дэрему: «Я ни в чем не изменю своего образа действий и останусь спокойным, но я, невзирая ни на что, буду защищать свои права».

Пальмерстона раздражала и тревожила русская политика не только в Турции, но и в Персии. Неспроста он с таким возмущением говорил о походах шаха персидского. Пальмерстон приписывал предпринятое шахом в 1838 г. завоевание Герата исключительно проискам русского царя. И Пальмерстон не постеснялся прямо заговорить об этом в начале октября 1838 г. с Поццо ди Борго и заявил русскому послу, что Николай «делает рекогносцировки» пред завоеванием Индии, когда по-

сылает своих вассалов-персов отнимать Герат у афганского эмира. Беспокоила англичан и поездка как бы с целями подготовки торгового трактата русского агента Виткевича в Афганистан. Такой же «рекогносцировкой» в Лондоне показалась было неудачная экспедиция генерала Перовского из Оренбурга в Среднюю Азию, предпринятая осенью 1839 г. и окончившаяся после тяжкого и малоуспешного похода по скудной пустыне весной 1840 г. возвращением экспедиции в Оренбург. В Англии писали о «походе русских» по направлению к Индии, и Пальмерстон, оставаясь в тени, несомненно, старался разжечь эту кампанию прессы. Но все же степи, где пробродил полгода этот маленький экспедиционный отряд со своими верблюдами, слишком уже далеко находились от Гималаев. Гораздо больше английская дипломатия была встревожена персидскими делами. Пальмерстон, возбуждаемый донесением Мак-Нейля, британского посланника в Тегеране, послал эскадру в Персидский залив. Эскадра захватила персидский остров Карак. Николай I потребовал, чтобы эскадра ушла из залива и чтобы остров Карак был возвращен Персии. Пальмерстон долго не хотел исполнить этого требования, добиваясь сначала снятия осады с Герата и увода прочь персидских войск от Герата в Персию. Когда же персы это исполнили, Пальмерстон все-таки не очистил остров Карак. Николай в это время замышлял большую дипломатическую комбинацию; для конечного овладения проливами ему необходимо было во что бы то ни стало не ссориться с Англией, и он готов был на всякие уступки в Персии. Так же, как из-за пролива, царь отступил от своего пресловутого «принципа борьбы против бунтовщиков» и пошел, к ужасу и возмущению Меттерниха, в 1827, 1828, 1829 гг. на войну с Турцией, одним из непременных результатов которой должно было заведомо для него стать освобождение «бунтовщиков»-греков; из-за проливов и Константинополя впоследствии, в 1853—1854 гг., он пустился на пропаганду через консулов и на разбрасывание революционных прокламаций в Сербии, в Болгарии, в Черногории, в Молдавии, в Валахии; из-за тех же проливов и Константинополя он в 1839—1840 гг. подавил в себе чувство, которое было, быть может, наиболее сильным из всех доступных ему чувств,— свою непомерную надменность, свое почти беспредельное неукротимое высокомерие.

Не довольствуясь тем, что он бросил персов на произвол судьбы, Николай велел своему послу в Лондоне Поццо ди Борго известить Пальмерстона, что не только поручик Виткевич, посылка которого в Кабул раздражила и обеспокоила английского министра, уже отозван из Кабула, но что император Николай «не утвердил уже заключенного графом Симоничем договора России с Афганистаном» [27].

Граф Поццо ди Борго написал Пальмерстону, прося немедленно о свидании (la demande de lui fixer sans retard une entrevue). Пальмерстон не соблаговолил ответить. Тогда Поццо ди Борго, ввиду категорического повеления царя, не дождавшись ответа, поехал в министерство иностранных дел. Пальмерстона там не оказалось, и посол поехал к нему на дом. Но Пальмерстон заставил посла ждать *два часа, прежде чем вышел к нему.* При этом он и не подумал извиниться. Выслушав Поццо ди Борго, Пальмерстон снова заявил, что остров Карак освободить он все-таки еще не намерен и что желает помочь афганцам против персов,— и на этом свидание окончилось. Поццо ди Борго затем просил другого свидания, уже с премьером лордом Мельборном, который, как и все премьеры до и после него, обнаружил необычайную любезность и миролюбие,— но «почти в отчаянии» (presque avec désespoir) воскликнул, что всему виной Пальмерстон, действия которого «мы (т. е. кабинет и премьер — *Е. Т.*) не вполне одобряем», но эти действия «трудно всегда предупредить и устранить». Эту комедию с дипломатической двойной бухгалтерией (противопоставление своевольного Пальмерстона и огорченного его русофобией, но никак не могущего с ним справиться кабинета) наиболее артистически разыгрывал впоследствии Эбердин, который даже и тогда, когда считал возможным обойтись без войны, очень слабо противился Пальмерстону, а после Синопа уже без малейших возражений ему подчинился. Персидский шах, внезапно оставленный без поддержки из Петербурга, поспешил полностью удовлетворить требования Пальмерстона.

Эта гибкость и уступчивость царя в персидском деле в 1838—1839 гг. предвещала, даже если бы не было других симптомов, что царь во что бы ни стало хочет добиться от Англии чего-то очень серьезного в более для него важном месте. Другим симптомом была внезапная отставка оскорбленного Пальмерстоном русского посла Поццо ди Борго. Николаю показалось, что после безобразного поведения Пальмерстона относительно Поццо ди Борго нужно, чтобы поскорее, так или иначе, убрался со сцены либо Пальмерстон, либо Поццо ди Борго, чтобы никакие персонального характера детали не мешали желаемому соглашению с Англией. А так как удалить Пальмерстона не было во власти царя, то пришлось убрать из Лондона Поццо ди Борго, осыпав при этом самолюбивого корсиканца всякими богатыми наградами и высшими знаками монаршей ласки и милости. С августа 1839 г. русским послом в Англии на долгие годы стал барон Бруннов, на которого сразу же было возложено осуществление нового капитального дела: надлежало вбить клин между Англией и Францией, расколоть, уничтожить именно в восточном вопросе солидарность, существовавшую между

этими двумя державами, в руках которых сосредоточивалась, в сущности, почти вся тогдашняя военно-морская сила на земном шаре. Первым актом замышляемой царем комбинации должна была быть организация резкой и длительной ссоры между Англией и Францией. Вторым актом — полное дипломатическое соглашение России с Англией по вопросу о дележе турецких владений.

Уже с конца 1839 г. Николай приступил к намеченному дипломатическому предприятию.

———

Приближался и должен был в 1841 г. наступить срок окончания заключенного на восемь лет Ункиар-искелессийского договора. Пред Николаем было два пути: он мог или домогаться у султана заключения договора на новое восьмилетие, или отказаться от договора, ненавистного Англии, и за это получить серьезную дипломатическую компенсацию. Царь предпочел не добиваться продолжения договора. Новый султан Абдул-Меджид, вступивший на престол в 1839 г. после смерти Махмуда II, неврастеник и совершенно ничтожный и по уму и по характеру юноша, был игрушкой в руках Пальмерстона и британского посла в Константинополе сэра Фредерика Понсонби, и на его слово еще меньше можно было полагаться, чем на слова и обещания его предшественника. Ведь и Ункиар-искелессийский договор был выгоден Николаю главным образом лишь потому, что давал юридическую и дипломатическую возможность в подходящий момент послать войска в Константинополь и уже не уйти оттуда. Но это в 1839—1840 гг. было менее возможно, чем в 1833 г. Опять Мехмет-Али шел против Порты, но тут уже и Англия и Франция зорко следили за Босфором.

Тогда Николай измыслил ход, настолько неожиданный и ловкий, что ни Пальмерстон, ни французы не успели его отразить вовремя соответствующим маневром. Он заявил Англии, что *отказывается* от продолжения Ункиар-искелессийского договора, если состоится общее соглашение держав о том, что Дарданеллы и Босфор должны быть закрыты для военных судов всех наций, и если состоится соглашение, ограничивающее захваты Мехмета-Али. Николай знал, что французская дипломатия — и Тьер, министр иностранных дел, и Гизо, в 1839—1840 гг. посол в Лондоне, а с 1840 г. министр, и стоящий за ними Луи-Филипп очень покровительствуют и даже помогают Мехмету-Али в надежде заполучить при помощи его завоеваний влияние в Сирии и Египте. Царь ясно видел и то, что Пальмерстону это давно не нравится. Вот почему его отказ от Ункиар-искелессийского договора окончательно привлек Пальмерстона

к затеянной царем комбинации. После довольно сложных переговоров, когда выяснилось, что раздраженные французы вовсе не намерены оказывать давление на своего будущего вассала Мехмета-Али, произошло то, чего и добивался Николай: 15 июля 1840 г. Россия, Англия, Австрия и Пруссия заключили между собой договор, гарантировавший целостность турецкой территории, а Мехмету-Али гарантировалось только наследственное владение Египтом и временное (до конца его жизни, но не наследственное) владение Анконским пашалыком. Россия получала гарантию держав о запрете прохода военных судов через Босфор и Дарданеллы. Самое главное было достигнуто Николаем: раздраженнейшие протесты французской дипломатии, возмущение в парижской прессе, укоры французского кабинета Пальмерстону в предательстве и в том, что он стал слугой царя,— все это показывало, что отныне Николаю уже не придется в восточных делах встречаться с согласованными действиями обеих морских держав. Разрыв между Францией и Англией казался ему теперь окончательным. В этом он ошибался, но что отныне на довольно длительный срок Франция оказалась изолированной,— это было верно. Некоторое время (в середине 1840 г.) поговаривали даже о войне между Англией и Францией. Только когда Тьер ушел в отставку и 29 октября 1840 г. иностранная политика Франции попала в руки Гизо,— тон французской дипломатии стал более спокойным, но пресса продолжала еще долго бушевать.

Николай ликовал. Клин между обеими морскими державами казался вбитым очень прочно. Это было самое для него существенное. Что же касается гарантии держав насчет Дарданелльского пролива, то это интересовало царя меньше: так же, как при подписании Ункиар-искелессийского договора, он не очень полагался на пункт о закрытии проливов, а смотрел на договор как на удобный дипломатический инструмент для дальнейших шагов русской политики,— так и теперь договор с державами 15 июля 1840 г. радовал его не строчкой о Дарданеллах, а тем, что отныне можно было разговаривать о Турции и ее будущей судьбе не с Англией и Францией, а только с одной Англией. Лишь в 1841 г. Франция нехотя примкнула к договору четырех держав о проливах.

И тут еще снова обстоятельства сложились благоприятно для царя: в сентябре 1841 г. пало либеральное (вигистское) министерство лорда Мельборна и главой нового британского консервативного (торийского) правительства стал Роберт Пиль, а министром иностранных дел вместо Пальмерстона, ушедшего со всем кабинетом Мельборна, Роберт Пиль назначил Эбердина.

Известно было, что и Пиль и Эбердин решительно не одобряли, будучи в оппозиции, слишком агрессивной политики

Пальмерстона против России и что поворот, происшедший в 1840 г. и сблизивший Россию с Англией в восточных делах, встречает полное одобрение новых министров. Эбердин считался в свое время горячим сторонником Джорджа Каннинга, подготовившего совместное выступление Англии и России против Турции (в деле освобождения Греции). Известно было, что в 1828—1829 гг. Эбердин вполне сочувствовал русской армии, воевавшей против турок. Теперь этот человек занял место, находясь на котором его предшественник Пальмерстон так долго вредил России. Николай на основании всего этого задумал совершить поездку в Лондон и вступить с Англией в прямое соглашение относительно раздела Оттоманской империи в более или менее близком будущем.

Но прошло немало времени, пока царю удалось выполнить план этого путешествия.

5

Только в 1844 г. обстоятельства так сложились, что и русскому гостю захотелось поехать с визитом и английским хозяевам показалось полезным принять его получше. Сэр Роберт Пиль желал создать некоторый противовес проискам французской дипломатии в Северной Африке, где французы, завоевывавшие Алжир, уже подбирались к Марокко. Николай хотел произвести первые зондирования почвы для возможного соглашения с Англией на случай полюбовного раздела турецких владений. 23 января (н. ст.) 1844 г. Пиль заговорил о желательности царского визита в Англию,— и в те же дни Николай сказал английскому послу в Петербурге Блумфильду, что он с удовольствием посетил бы королеву Викторию. Уже в начале марта последовало официальное приглашение [28].

Не весьма понимая английскую парламентскую систему и во всяком случае нисколько ей не сочувствуя, Николай Павлович тем не менее молчаливо с ней мирился, как мирятся люди со злом извечным и неизбывным, которое не при нас началось и не нами кончится. Иоанн Грозный в известном своем раздраженном письме, писанном в октябре 1570 г. к английской королеве Елизавете Тюдор, говорил ей: «И мы чаяли того, что ты на своем государстве государыня и сама владеешь... А ты пребываешь в своем девическом чину как есть пошлая девица...» Иоанн Грозный обижался, что в Англии к обсуждению *«государских дел»* допущены *«торговые мужики»*, и даже не желал разговаривать поэтому с Елизаветой: «И коли ж так,— и мы те дела оставим на сторону». Но Николаю волей-неволей давно пришлось махнуть рукой на эти английские «непорядки»: ему нельзя было «оставлять на сторону» дела, из-за которых он в

7*

Англию приехал. Непримиримая принципиальность царя Ивана Васильевича в его свободных от всякой дипломатической скрытности отзывах об английской королеве и ограничении ее власти была другому русскому царю, к его явному прискорбию, в мятежном XIX веке уже не под силу. С 31 мая 1844 г., когда он высадился в Вульвиче, и вплоть до 9 июня, когда он покинул английский берег, русский император проявлял, напротив, самую утонченную любезность и к королеве Виктории, и к ее мужу принцу Альберту, и к лорду Эбердину, и к сэру Роберту Пилю, и к «торговым мужикам» из Сити, и даже ко всем англичанам и англичанкам попроще, которых ему в эти дни представляли или которые сами попадались ему при дворе в Виндзоре, куда он из русского посольства переехал по приглашению королевы спустя два дня после своего прибытия.

Официальный прием был великолепен. Было, правда, маленькое облачко на английском горизонте Николая, но и оно быстро рассеялось. Польская эмиграция и в 1844 г. и много позже не переставала восторгаться демонстративным поступком двух представительниц самой высшей аристократии — герцогини Соммерсет и герцогини Сутерлэнд, устроивших благотворительный бал в пользу поляков, как раз когда Николай гостил у королевы Виктории. Но на самом деле это был не первый (и не последний) случай излишней доверчивости поляков. Вот что писал Николай своей жене 7 июня 1844 г. из Виндзора: «Тут происходят по поводу поляков очень комичные вещи. В настоящий момент происходит подписка на бал, даваемый мошенниками: во главе (подписного — *Е. Т.*) листа фигурируют имя герцогини Соммерсет, которая даже предложила (для бала — *Е. Т.*) свой дом, и имя герцогини Сутерлэнд. Все это делалось до моего прибытия; с тех пор, как я здесь, ветер переменился; все эти дамы испугались, что обесславят себя (ont pris peur de se diffamer) перед большинством публики, которая так хорошо меня принимает. И что же они придумали: герцогиня Соммерсет пишет Бруннову (русскому послу — *Е. Т.*), что она не может утешиться, что позволила так себя обойти, что имя ее фигурирует в списке, и что она просила, чтобы ее имя вычеркнули. Многие поступили так же. Я велел ответить, что я прошу ее ничего такого не делать, и даже если подписка не покрыла расходов на это предприятие, то я готов пополнить (сумму — *Е. Т.*). Суди об эффекте и об их конфузе» [29].

Герцен, живший тогда еще в Москве, тоже был введен в заблуждение в данном случае. В его дневнике под 17 (29) июня 1844 г. читаем: «Государь был в Лондоне, видел свободный народ и свободное God save the queen (начало английского гимна: „Боже, спаси королеву“ — *Е. Т.*), шумное и не из-под палки. Пишут, что общество попечительное о поляках хотело дать бал

10 июня, пока (государь — *Е. Т.*) в Лондоне; он послал им какую-то вспомогательную сумму, но леди Соммерсет возвратила ее с благодарностью»[30]. На самом деле царь никакой суммы не посылал, а леди Соммерсет, как мы видели, не выдержала характера в деле с польским балом. Зато не лишено оснований сведение, которое тоже попало в дневник Герцена: «Островский был арестован во время пребывания государя. Вот и habeas corpus».

Польский деятель в самом деле подвергся в эти июньские лондонские дни каким-то полицейским утеснениям.

Принимая русского императора, королева, аристократия, двор, высшая буржуазия соперничали в любезностях и в лести. Глава кабинета Роберт Пиль и статс-секретарь лорд Эбердин источали мед из уст своих.

Царь, оплот и вождь мировой реакции, мог воочию убедиться, как высоко стоят его фонды в консервативных и аристократических кругах Англии, смущенных и обеспокоенных как раз в это время все более и более разгоравшимся чартистским движением. А с другой стороны, и вождь оппозиционной буржуазии Ричард Кобден, имя которого, как корифея пропаганды против хлебных законов, гремело в 1844 г. по всей Европе, всегда считался сторонником миролюбивой позиции по отношению к России и в печати неоднократно выступал вполне решительно *против* пальмерстоновской политики защиты Турции. Не забудем при этом, что и сам глава консервативного правительства Роберт Пиль уже постепенно склонялся к сближению с Ричардом Кобденом, основные требования которого относительно отмены хлебных законов, как известно, Пиль и осуществил в 1846 г. Словом, ситуация создалась к моменту царского приезда вполне благоприятная, и приехавший гость тотчас же взялся за осуществление задачи, для решения которой он и приплыл к английским берегам.

Николая очень окрыляло присутствие в кабинете, в качестве статс-секретаря по иностранным делам, лорда Эбердина, считавшегося со времени русско-турецкой войны 1828—1829 гг. «другом» России, так как тогда он громко говорил, что сочувствует России, победа которой окончательно освободит Грецию от «варварской власти» турок. Не менее важно было и то, что Пальмерстон был в отставке, не у дел. А Пальмерстон всегда признавался наиболее упорным и непримиримым врагом России. Еще в 1841 г. по поводу долгих и тщетных переговоров с Пальмерстоном, не желавшим возвратить Персии захваченный англичанами остров Карак, русский посол в Лондоне Бруннов писал графу Нессельроде: «Предложите ему (Пальмерстону — *Е. Т.*) оставить за Англиею Карак,— его первым движением будет возвратить его. Предложите ему возвратить его,— он

пожелает его сохранить. Таков уж этот человек, созданный богом за наши грехи»[31].

Но очевидно, что зато лорда Эбердина барон Бруннов считал созданным богом за русские добродетели, и его наивная вера в Эбердина пошатнулась только тогда, когда уже было поздно,— в 1854 г. И царь долго разделял мнение Бруннова.

Дело в том, что Николаю нужен был в 1844 г. если не союз с Англией, то необходимым казалось тесное с ней сближение. Удастся заключить союз —тем лучше, это будет союз против Франции и Турции. Придется ограничиться *соглашением* — тоже не плохо: это будет соглашение против Турции и для раздела Турции. И вместе с тем это соглашение будет для ненавистного правительства узурпатора Луи-Филиппа еще бо́льшим ударом, чем тот «дипломатический инструмент», который удалось создать в 1840 г. При этих условиях начать разговор о Турции с лордом Эбердином представлялось царю почти беспроигрышным ходом в начинавшейся или, точнее, продолжавшейся опасной игре.

Эбердин не был ни учеником, ни даже просто приверженцем воззрений Кобдена, в чем его впоследствии укоряла пальмерстоновская пресса по явному наущению самого Пальмерстона, и вовсе он не желал «предать Турцию царю» и никогда не повторял вслед за Кобденом, что для Англии все равно, какая будет в Константинополе полиция — русская или турецкая. Идея вооруженной борьбы с Россией из-за Турции, правда, всегда казалась ему парадоксальной, но Николай не учел одного: что поэтому Эбердин тем более упорно будет настаивать на необходимости дать внутренним силам Турции время и возможность окрепнуть. «Кажется, в Турции существует жизненное начало, скрытая сила (a principle of vitality, an occult force), которая совсем уничтожает все расчеты, основанные на аналогиях с другими государствами»,— писал Эбердин всего за каких-нибудь пять месяцев (9 января 1844 г.) до разговора с Николаем,— и кому писал? — главному врагу русской дипломатии на востоке — Стрэтфорду-Каннингу, британскому послу в Константинополе[32].

В один из первых же дней своего пребывания в Англии Николай начал продолжительный разговор с лордом Эбердином, статс-секретарем иностранных дел в кабинете Роберта Пиля. Вот как излагает эту речь царя барон Штокмар, друг и доверенный советник принца Альберта и королевы Виктории. Штокмар записал эти слова Николая в том виде, как их ему сообщил сам Эбердин после разговора с царем.

«Турция — умирающий человек. Мы можем стремиться сохранить ей жизнь, но это нам не удастся. Она должна умереть,

и она умрет. Это будет моментом критическим. Я предвижу, что мне придется заставить маршировать мои армии. Тогда и Австрия должна будет это сделать. Я никого при этом не боюсь, кроме Франции. Чего она захочет? Боюсь, что многого в Африке, на Средиземном море, на самом Востоке. Вспоминаете вы экспедицию в Анкону? Почему Франция не устроит подобную же экспедицию в Кандию, в Смирну? Не должна ли в подобных случаях Англия быть на месте действий со всеми своими людскими силами! Итак, русская армия, австрийская армия, большой английский флот в тех странах! Так много бочек с порохом поблизости от огня! Кто убережет от того, чтобы искры не зажгли?» Не довольствуясь этим, Николай заговорил и с самим премьером Робертом Пилем. «Турция должна пасть,— так начал царь.— Нессельроде не согласен с этим, но я в этом убежден. Султан— не гений, он человек. Представьте себе, что с ним случится несчастье, что тогда? Дитя — и регентство. Я не хочу и вершка Турции, но и не позволю тоже, чтобы другой получил хоть вершок ее». Роберт Пиль на это ответил фразой, которую напрасно мы стали бы искать в официальных документах, напечатанных впоследствии английским правительством: «Англия относительно Востока находится в таком же положении. В одном лишь пункте английская политика несколько изменилась: относительно Египта. Существования *слишком могущественного там правительства, такого правительства, которое могло бы закрыть пред Англией торговые пути, отказать в пропуске английским транспортам,*— Англия не могла бы допустить». Другими словами, Роберт Пиль не только выслушивал, но и сам излагал проекты раздела турецких владений и даже наперед называл облюбованный кусок. Царь продолжал: «Теперь нельзя обусловливать, что должно сделать с Турцией, когда она умрет. Такие обусловливания ускорят ее смерть. Поэтому я все пущу в ход, чтобы сохранить status quo. *Но нужно возможный случай честно и разумно иметь в виду, нужно прийти к разумным соображениям, к правильному честному соглашению*» [33].

Мы видим, что англичане не только терпимо и ласково *выслушивали* Николая, но даже скромно намечали желательную для Англии добычу: Египет.

Николай был очень доволен своим первым разговором с лордом Эбердином и Робертом Пилем и даже выразил свое удовлетворение в письме к жене, с которой обыкновенно вовсе не делился своими политическими интересами. «Я вернулся домой, чтобы снова повидаться с лордом Эбердином, министром иностранных дел, с которым я имел очень хороший и очень долгий разговор»,— пишет он ей вечером 4 июня [34].

Кстати, укажу, что Мартенс в своем «Собрании трактатов и конвенций» (т. XII, стр. 232, № 453) ошибается, говоря, будто

Николай беседовал о Турции не только с Альбертом, Эбердином и Пилем, но и с Пальмерстоном. Этого не только не было, но и быть не могло, хотя мимолетная встреча обоих вечных противников произошла, и царь был очень милостив, а Пальмерстон обнаруживал «сердечность», доходившую по наружным проявлениям до влюбленности. Оба они всегда от души ненавидели друг друга (а особенно после вышеизложенной истории с несогласием Николая I принять назначение Стрэтфорда послом в Петербург) и готовы были утопить один другого в ложке воды. Но царь с беспокойством учитывал будущее почти неминуемое возвращение Пальмерстона к власти, а Пальмерстону нужно было опровергнуть усердно распространяемый его политическими противниками при дворе и в парламенте слух, что Николай посмотрит на новое появление его в правительстве как на личное оскорбление. При тогдашнем могущественном положении Николая в Европе этот слух мог сильно повредить дальнейшей карьере Пальмерстона.

В следующие дни в разговорах царя с английскими министрами эти темы о Турции несколько варьировались по форме, но оставались теми же по содержанию. Николай был настолько ободрен видимым вниманием и даже как бы некоторым сочувствием англичан, что, едва вернувшись в Петербург, велел Нессельроде изготовить особый меморандум, где была дана сводка этих виндзорских бесед, которым царь очень желал придать характер не разговоров, а *переговоров*. Меморандум был составлен и переслан в Англию. Очень нескоро последовал ответ Эбердина. Ни малейших обязательств от имени Англии он не давал, а просто, в стиле расписки в получении этого меморандума, сообщил, что ему, Эбердину, кажется, что меморандум точно излагает царские беседы, и что он, Эбердин, надеется, что Англия и Россия солидарны в восточном вопросе. Ничего более определенного выжать Николаю из дружественного лорда не удалось.

Уже после того как царь покинул Англию, русский посол в Лондоне Бруннов в донесении царю пускается в оптимистические комментарии о ссоре Англии и Франции и о том, что Англия ищет «первостепенной важной» для нее в известном случае русской помощи. Николай тут же накладывает карандашом резолюцию на этом письме Бруннова к Орлову, представленном, конечно, царю: «Да, важное дело, я готов буду, ежели Англии угрожать будет опасность; но и сам не начну, а буду сидеть у моря и ждать погоды. Вот плоды четырнадцатилетней подлости. Кончится тем, что предсказывал, и *меня же* (подчеркнуто в подлиннике — *Е. Т.*) будут просить о *помощи* (подчеркнуто в подлиннике — *Е. Т.*). Вот слава России, *как я ее понимаю*, и тогда с нами бог» [35].

Четырнадцатилетняя «подлость» — это длящееся уже четырнадцать лет правление Луи-Филиппа во Франции. Царь, введенный в заблуждение Брунновым, всерьез поверил, будто англичане вскоре обратятся к нему за спасением от нападения со стороны французов. И Николай и Бруннов поверили тому, — и когда? — после успешной и упорной борьбы английской политики против договора в Ункиар-Искелесси, после английской тревоги из-за хивинской экспедиции Перовского, после сложных, настойчивых антирусских интриг Стрэтфорда-Каннинга, а затем сэра Фредерика Понсонби в Константинополе... Это была постоянная игра консерваторов (ториев), старавшихся пугать Гизо и Луи-Филиппа фантомом англо-русского союза, впрочем довольно безуспешно, потому что французы совсем в это не верили. Ни царь, ни Бруннов, ни представивший царю письмо Бруннова Алексей Федорович Орлов не разглядели этих дипломатических манипуляций; чего же можно было требовать от Нессельроде, которому природа отпустила умственных способностей гораздо скупее, чем любому из этих трех человек в отдельности?

Как сказано, 31 мая 1844 г. Николай высадился в Вульвиче, а 9 июня покинул Англию. Его основной целью в продолжение всего этого взволновавшего Европу визита было, как мы это твердо теперь знаем на основании бесспорных источников, позондировать почву по вопросу, как отнесется английское правительство к возможному в более или менее близком будущем проекту частичного или общего раздела турецких владений. Англию царь считал неизбежной участницей дела, и он интересовался выяснением размера английских аппетитов при заключении подобной сделки, хотя он предвидел, что предприятие не обойдется без вмешательства Австрии и Франции.

Захватнический характер этих планов Николая нелепо было бы отрицать. Но не менее нелепо настаивать, как это принято в английской литературе, на «благороднейшем» поведении британского правительства в 1844 г., не пожелавшего, по свойственному ему общеизвестному «бескорыстию», отказаться от традиционной «защиты» Турции.

На самом деле в эти июньские дни в Виндзоре происходило следующее. Николай говорил с тремя руководящими деятелями Англии того времени: первым министром Робертом Пилем, министром иностранных дел лордом Эбердином и главнокомандующим армией герцогом Веллингтоном. И формально и фактически центральной фигурой, единственным ответственным лицом являлся Роберт Пиль. Но мы совершенно напрасно стали бы искать у Темперлея, у Гендерсона или в изданиях документов (вроде новейшего «Foundations of British foreign policy», 1938, издатели — Темперлей и Пенсон) [36] хотя бы малейшего указания

именно на переговоры между Николаем и Робертом Пилем. Этот пропуск нисколько не загадочен: мы знаем из свидетельства друга и воспитателя Альберта («принц-супруг» королевы Виктории) барона Штокмара, тогда же говорившего непосредственно со всеми действующими лицами, что Роберт Пиль не только выслушал с большим участием и интересом царские проекты насчет Турции, но и поспешил ввернуть необычайно существенное замечание, прикрывая свои намерения обычным дипломатическим фиговым листом.

При переводе с дипломатического языка на общечеловеческий эти слова имеют вполне точный смысл. Пиль как бы говорит Николаю: мы с вами одинаково ревностно, разумеется, оба печемся о неприкосновенности Турции, но если уж так случится, что сам аллах отступится от правоверных и придется Оттоманскую империю делить, то имейте в виду, что Египет должен достаться Англии и никому другому, это уж как там хотите!

Конечно, и новейшие и более старые английские историки очень тщательно пропускают слова Пиля, указывающие, что британский премьер вполне по-деловому обсуждал с царем вопрос о разделе турецкой добычи. Но и беседы Николая с Эбердином, министром иностранных дел, не оставляют сомнения в том, что соблазнительные предложения царя выслушивались англичанами в тот момент без всякого признака добродетельного негодования. Тут уж у нас имеются такие бесспорные документальные доказательства, которые, пожалуй, можно замалчивать, но нельзя и пытаться опровергать.

Но тут с английской стороны пускается в ход другой прием. Оказывается, что хотя разговоры царя с Эбердином были изложены в особом меморандуме, пересланном затем графом Нессельроде в английское министерство иностранных дел официальным дипломатическим путем, и хотя Эбердин принужден был в ответной, очень не скоро посланной ноте признать «точность изложения» (the acuracy of statement) этих переговоров о Турции, но все это ничего не значит! Почему? Потому, что, оказывается, у царя с англичанами были просто «частные беседы», и меморандум об этих беседах тоже является документом «совершенно персональным», как выражается Гендерсон. Мало того: хотя первый министр Пиль и министр иностранных дел Эбердин долго советовались с царем и русским канцлером Нессельроде и беседы затем протоколировались, но (цитируем эту невероятную фразу Гендерсона в точности) «британский кабинет ничего не знал об этом», а посему все, что было сделано в эти чреватые далекими последствиями июньские дни 1844 г., «не имело значения» (it had no validity).

Этот прием юридического крючкотворства со стороны ан-

глийского автора нельзя даже назвать иезуитством: до такой степени тут все вполне откровенно основано лишь на игре слов. Премьер и его министр ведут переговоры, но «кабинет» (т. е. они же!) «ничего не знает об этом», абсолютно «ничего» не слыхивал: Роберт Пиль и Эбердин коварно все утаили от... Роберта Пиля и Эбердина!

Итак, по утверждению английских историков, английское правительство в 1844 г. было, значит, совершенно чуждо предосудительных намерений царя? Оно якобы заботилось лишь об одном: о процветании, благе и неприкосновенности Турции. Правда, и у Темперлея, и у Гендерсона, и у более старых историков, их предшественников, получается некоторая неувязка: английское правительство было до такой степени невинно, что оно не только отказалось делить Турцию и отстаивало ее от Николая, а даже «ничего не знало» о его намерениях. Но от каких же покушений царя оно могло отстаивать турок, если оно ничего и не знало об этих покушениях? Вот что выходит иногда от избыточного изобилия аргументов: они начинают опровергать друг друга!

Мы говорим тут лишь о явных умолчаниях и извращениях, имеющих целью представить дело об июньских переговорах не так, как оно было в действительности, а в совершенно ложном свете. В Виндзоре в 1844 г. беседа шла не между хищником, готовым броситься на Турцию, и ее бескорыстными защитниками, но между двумя державами, которые хотели бы сговориться о разделе будущей добычи, однако они нисколько друг другу не доверяли и только поэтому еще колебались. Но, с точки зрения общей критики научного произведения, разве можно так писать о переговорах 1844 г., как пишут Темперлей и Гендерсон? Разве можно не упомянуть ни единым звуком о том, в каком положении были внутренние дела Англии в момент приезда Николая? У обоих этих новейших историков не сказано ни слова о жестоком обострении борьбы торгово-промышленной буржуазии против землевладельцев за отмену хлебных законов и ни слова о чартизме, о том, как Веллингтон, Эбердин, Пиль были встревожены и чартистским движением и раздором среди владельческих классов, все усиливавшимися под влиянием фритредерской агитации Кобдена.

Мало того: если неспокойное положение внутри государства заставляло не только таких закоренелых реакционеров, живших идеями и традициями Священного союза, как герцог Веллингтон, приветствовать сближение и дружбу буржуазной Англии с могущественным «жандармом Европы», то приезд Николая был необычайно кстати также ввиду внешнеполитической ситуации Англии. Английскому правительству, под покровом либерализма проводившему не менее реакционную жандармскую политику

в международных политических взаимоотношениях со слабыми народами, необходимо было основательно прощупать смысл внешней политики Николая I на Ближнем Востоке. Общеизвестно, что английские экспансионистские планы в Турции шли гораздо дальше тогдашних политических устремлений царской России, но об этом английские историки предпочитают умалчивать, а если и говорят, то далеко не ясным языком. Темперлей передает (так, между прочим, в трех строках) разговор Эбердина с русским послом Бруновым, когда Эбердин «в тоне шутки» сказал, что он ждет со стороны Нессельроде предложения оборонительного и наступательного союза с Россией, и спустя некоторое время прибавил: «Нет, нет, не думайте, что я шучу. Это может стать серьезным делом. Ей-богу, это не шутка». Темперлей приводит (правда, отважно перевирая в своем английском переводе) эту сказанную по-французски фразу Эбердина и думает, что достаточно дать в примечании (стр. 254) одну строку в пояснение заявления Эбердина, что Англии может понадобиться русская армия: «Намек на тогдашние натянутые отношения с Францией». Неискушенному читателю никак по этим бессодержательным словам не догадаться, что французы тогда бомбардировали Танжер, что английская пресса раздраженно говорила о французской угрозе Гибралтару, что французы укрепляли свои антианглийские позиции в Египте и в Сирии и т. д. Вся эта реальная внутриполитическая и внешнеполитическая обстановка, при которой велись русско-английские переговоры в 1844 г., обойдена глубоким молчанием. Она не нужна английским историкам потому именно, что она очень существенно объясняет и подтверждает готовность английского правительства в 1844 г. идти навстречу царю в его предположениях и предложениях касательно Турции. Русская дружба казалась Эбердину и Пилю очень полезной, чтобы дать Франции нужную острастку. И англичане поэтому вовсе не удерживали, а скорее поощряли царя к продолжению опасного пути, на который он вступил.

Эти разговоры 1844 г. настолько важны для выяснения истинной роли Англии в дальнейшем, что новейшая английская историография употребляет немало усилий, чтобы по мере сил извратить их истинный смысл и приписать агрессивные намерения по отношению к Турции исключительно русской, но никак не британской дипломатии. Поэтому стоит несколько остановиться на анализе этих секретных переговоров и на извращениях исторической истины, допускаемых английскими историками.

Когда в 1846 г. пало министерство Роберта Пиля и его заменил кабинет лорда Росселя, снова с Пальмерстоном в качестве статс-секретаря по иностранным делам,— то эфемерный,

неделовой, совсем ни в каком отношении ни для кого не обязательный характер этого мнимого англо-русского «соглашения» стал вполне очевиден для обеих сторон.

Это и не могло быть иначе. Пальмерстон должен был прежде всего найти в бумагах министерства иностранных дел ряд документов: и донесение британского посла в Петербурге Блумфильда (Эбердину, от 2 октября 1841 г.) о том, что русские запретительные тарифы затрудняют сбыт английских товаров не только в самой России, но и в Азии, и донесения консулов из Константинополя, из Трапезунда, из Одессы — о больших успехах русской внешней торговли на всем турецком Черноморском побережье и т. д. Пальмерстон мог выдвинуть все эти факты в опровержение теории Кобдена о том, что если бы даже Николай завоевал Турцию, то британская торговля от этого не пострадала бы. Еще ярче было сопоставление двух фактов: русское правительство непоколебимо проводит резко покровительственную таможенную политику, затрудняющую английский сбыт в империи, а султан Махмуд II издает (в 1838 г.) либеральный, основанный на принципе свободы торговли тариф, очень выгодный для английской промышленности и сбыта английских товаров Турции. Россия становилась для англичан нелегким экономическим конкурентом в Турции и Персии, чего еще до Адрианопольского мира не наблюдалось. Что же касается чисто политической стороны предлагаемого соглашения с Россией, то здесь и подавно для Пальмерстона колебания были теперь менее возможны, чем когда бы то ни было. Не веря ни одному слову Николая, как мог Пальмерстон отнестись к тексту меморандума Нессельроде, который он нашел в делах, вступая в должность в 1846 г.? Могло ли от него укрыться, что Николай внес в первоначальный текст меморандума (уже после того как бумага была сообщена Эбердину) очень многозначительную поправку? В первоначальном тексте говорилось, что Англия и Россия приступят к совместному обсуждению вопроса о Турции (т. е. о дележе Турции), *если Турецкая империя разрушится*, а Николай, подумав на досуге, велел Нессельроде исправить (и Бруннов в Лондоне явился к Эбердину и сделал это) и вместо этой фразы написать другую: «*если мы будем предвидеть, что она должна разрушиться* (si nous prevoyons qu'il doit crouler)» («il» — l'Empire Ottoman).

Выходило, что в каждый данный момент Николай может объявить, что он *предвидит*, что Турция «должна» рухнуть, и поэтому требует дележа. А самый дележ представлялся Пальмерстону всегда, и особенно теперь, при появлении и усилении экономической конкуренции со стороны России, уж совершенно недопустимым: Россия настолько ближе к Турции географически и в Европе и в Азии, что начало «дележа» будет, по его мне-

нию, началом полного захвата Россией всех европейских и азиатских турецких владений.

Правда, в этом отношении между воззрениями Эбердина и воззрениями Пальмерстона ни малейшей не было даже и разницы. Да и на меморандум Нессельроде, и с поправкой Николая и до этой поправки, Эбердин ведь тоже смотрел вполне как Пальмерстон, т. е. как на размышления вслух Николая Павловича, императора всероссийского — и только.

Царь понял, что и на этот раз вопрос о Турции вообще и о проливах в частности приходится отложить в долгий ящик. И он решил отложить.

Но близилась великая историческая буря 1848 г., близились события, когда Николай перестал считаться с препятствиями и разучился откладывать исполнение своих желаний.

6

«Меня называют сумасшедшим за то, что я восемнадцать лет предсказывал случившееся теперь. Комедия сыграна и окончена, и мошенник пал (la comédie jouée et finie et le coquin à bas)»,— так отозвался Николай I, узнав о низвержении и бегстве ненавистного ему «узурпатора», «короля баррикад», Луи-Филиппа, которого посадила на престол июльская революция 1830 г., а низвергла февральская 1848 г.

Можно подметить, на основании переписки царя с Паскевичем, что мартовская революция в Австрии, Пруссии, государствах Германского союза смутила царя гораздо больше, чем февральская в Париже. «Стоглавая революционная гидра» подбиралась уже к русским границам. Священный союз, давно уже существовавший больше в воображении Николая, чем в действительности, лежал во прахе. Бегство Меттерниха из Вены, король Фридрих-Вильгельм IV, по гневному приказу революционной толпы снимающий шляпу пред гробами павших бойцов берлинского восстания, самочинный франкфуртский парламент, явочным порядком собирающийся, чтобы объединить Германию, итальянские государства, Венгрия, Прага в огне революции — все это заставило Николая положительно растеряться. Он мечтал (в письмах к Паскевичу), что, может быть, всемогущий бог смилуется над человечеством и пошлет новый «бич божий», вроде Наполеона I, который один только мог бы «унять» революцию. Но вот царю, до сих пор ощущавшему себя вечным любимцем счастья, показалось, что лучи скрывшегося было за налетевшей тучей солнца снова начинают пробиваться: из Парижа пришли вести о страшном четырехдневном побоище 23—26 июня 1848 г., о десяти тысячах застреленных и расстрелянных рабочих, о полной победе Евге-

ния Кавеньяка над инсургентами. Николай был вне себя от восторга и велел передать генералу Кавеньяку свои горячие приветствия и поздравления.

Хребет всемирной революции перебит в июне 1848 г. в Париже: теперь она постепенно будет умирать всюду,— к этому общему тогда убеждению не только европейских реакционеров, но и многих далеко от них стоявших людей склонился и Николай. Прошла его временная подавленность, растерянность, гораздо медленнее проходил испуг, сказавшийся в варварской расправе с петрашевцами, в создании топтавшего и уничтожавшего печать Бутурлинского комитета, в гонении на университеты. Более чем когда-либо царь почувствовал себя арбитром континента, вершителем мировых судеб. Континентальная Европа лежала во прахе, сочились кровью раны, нанесенные реакцией, не заживали страшные рубцы от едва утихшей отчаянной схватки, еще дымились пожарища,— а рядом стояла Россия, уцелевшая от революционных бурь. И когда австрийский император обратился к Николаю с униженнейшей мольбой о помощи против Венгрии, то одной завоевательной компанией русская армия смела венгерскую революцию с лица земли, несмотря на весь героизм венгерских повстанцев. После этой быстрой и сокрушительной победы Николая обуяла такая гордыня, которой до тех пор он в подобной мере не обнаруживал. Это стало бросаться в глаза в 1849—1852 гг. прежде всего дипломатическому корпусу. Это ясно и всякому историку, пробующему внимательно проследить действия и волеизъявления царя с конца 1849 г. до начала Крымской войны, когда, по выражению Сергея Соловьева, грянул, наконец, гром над новым Навуходоносором. Слова Наполеона, сказанные через несколько месяцев после Тильзита: «я все могу», не были произнесены Николаем после возвращения его армии из венгерского похода, *но его действия* стали все чаще и чаще обнаруживать, что он также расценивает свои собственные возможности. Для Наполеона I «эра великих ошибок», как выражались прежние историки Первой империи, началась именно тогда, когда завоеватель произнес эти слова, в начале 1808 г. Для Николая его «эра великих ошибок» тоже началась тогда, когда он проникся, явственно, таким же убеждением, что он «может все». Это не значит, что Наполеон не совершал ошибок и до 1808 г. и что Николай не совершал ошибок и до 1849 г. Но оба эти человека, так неодинаково одаренные от природы умом и талантами, в начале своего поприща еще умели останавливаться и отступать, умели сдерживаться и терпеливо ждать, умели, наконец, иногда признавать свои ошибки; и оба они утратили это уменье тогда, когда достигли вершины доступной им удачи и могущества. Правда, сознаваться в содеянных ошибках они оба снова на-

учились в самом конце жизни,— но тогда уже было поздно эти ошибки исправить. Для Николая это время наступило лишь тогда, когда, гонимый мучительным стыдом и плохо скрывая постепенно овладевавшее им отчаяние, придавленный внезапной жестокостью всегда до той поры баловавшей его судьбы, он шел к уже близкой, разверзшейся перед ним могиле.

Австрийская империя спасена была Николаем летом 1849 г. от распадения и гибели: так полагали не только Николай и Нессельроде, но и Франц-Иосиф, и австрийский канцлер Шварценберг, и вся Европа. Австрийский генерал, который весной 1849 г. прибыл в Варшаву умолять Паскевича о помощи против венгерской революции, в припадке сильного чувства даже стал на колени пред русским фельдмаршалом. И в тот момент этот жест очень точно символизировал отношение австрийской дипломатии к Николаю Павловичу. Разгром Венгрии царской интервенцией был, по существу, заключительным актом поражения европейского революционного движения 1848—1849 гг. Для Николая, помимо торжества достижения непосредственной цели — подавления венгерского восстания, происходившего поблизости от Польши, помимо упрочения абсолютизма в Габсбургской монархии,— победа над венгерскими повстанцами казалась также прочным обеспечением за Россией союза с Австрийской империей в случае осложнений на Востоке. Отныне «девятнадцатилетний мальчик», спасенный Николаем Франц-Иосиф, не может не быть верным, робким, послушным вассалом и оруженосцем русского повелителя. Та помеха на пути к проливам, которой была Австрия еще при Меттернихе, отныне устранялась совершенно. Так казалось Николаю и в 1850, и в 1851, и в 1852 гг., и даже в 1853 г. Но так перестало ему казаться уже в начале 1854 г., и приближенные знали, в каком духе царь начал тогда вспоминать о своей интервенции 1849 г.

«Месяца полтора после того, когда из действий Венского кабинета можно было заметить, что немцы примут сторону скорее врагов России, нежели нашу, государь, разговаривая с генерал-адъютантом графом Ржевусским, польским уроженцем, спросил его: „Кто из польских королей, по твоему мнению, был самым глупым?“ — Ржевусский, озадаченный этим вопросом, не знал, что отвечать. „Я тебе скажу,— продолжал государь,— что самый глупый польский король был Ян Собесский, потому что он освободил Вену от турок. А самый глупый из русских государей,— прибавил его величество,— я, потому что я помог австрийцам подавить венгерский мятеж“» [37].

Этот разговор передается в нескольких различных вариантах, но основной смысл его всегда один и тот же. Николай приписывал своему вмешательству в венгерскую войну в 1849 г. значение спасения Австрии от полной гибели и сопоставлял

свой поступок по его историческому значению со спасением габсбургской столицы Яном Собесским от осадивших ее турецких полчищ в 1683 г.

Но это самопорицание появилось лишь впоследствии. А в 1849—1852 гг. все обстояло превосходно: Франц-Иосиф и его ментор Шварценберг повиновались рабски, беспрекословно, заглядывая в глаза, спеша предупредить царские желания. Шварценбергу историческая легенда приписала слова, которых он, вероятно, никогда не произносил, что «Австрия удивит мир своей неблагодарностью». Шварценберг умер 5 апреля 1852 г. и не имел еще ни случая, ни мотива произносить подобные глубокомысленные изречения. За умным и циничным реакционером Шварценбергом числились такие злодеяния, как расстрел в Вене делегированного туда от франкфуртского парламента Роберта Блюма (которого генерал Виндишгрец вначале *не хотел* расстреливать). Шварценберг смотрел на Николая не только как на спасителя Габсбургской монархии в прошлом, но и как на возможного ее спасителя и в будущем. Словом, Николай снимал облагодетельствованную Австрию со счетов уже задолго до своего рокового разговора с Гамильтоном Сеймуром в январе 1853 г. Привычка говорить от имени не только России, но и Австрии так, как если бы Франц-Иосиф был лишь русским генерал-губернатором, проживающим для удобства службы в городе Вене, выработалась у Николая лишь после подавления венгерского восстания. Ничего подобного до той поры, во времена Меттерниха, царь все-таки себе не позволял. А когда поощренные французским переворотом 2 декабря Франц-Иосиф и Шварценберг в том же месяце, 31 декабря 1851 г., отменили конституцию, а Австрия стала уже и формально вновь самодержавной монархией, то Николай был сверх меры доволен и своим понятливым юным покровительствуемым учеником и его благоразумным, так охотно расстреливающим революционеров министром. Словом, за одного союзника Николай, казалось, мог быть спокоен, юго-западный фланг был, очевидно, вполне обеспечен. И даже осторожный Паскевич, знавший лучше других, что Николай готовится снова поставить вопрос о проливах, вполне надеялся на Австрию.

Осенью 1850 г. Паскевич предвидит «большую войну», но при этом утешает Николая: «Слава богу, что можно надеяться на австрийского императора, но надобно опасаться за его жизнь» [38].

Неплохо обстояло дело и с другим союзником, обеспечивавшим фланг северо-западный, т. е. с королем прусским. С Фридрихом-Вильгельмом IV у Николая были другого рода отношения, чем с Францем-Иосифом. Он прусского короля поучал, опекал и распекал и занимался этим уже давно, собственно

почти с самого вступления Фридриха-Вильгельма в 1840 г. на престол. Фридрих-Вильгельм был человеком не глупым, хотя часто совершенно бестолково действовавшим. Ум у него был живой, быстро схватывающий. Он был довольно широко образован и в этом отношении далеко превосходил своего петербургского зятя, у которого, кроме среднепоручичьего багажа сведений, ничего за душой не водилось в смысле эрудиции. Впечатлительный прусский король был характера неуравновешенного, капризного, взбалмошного, увлекающегося и не сильного. Одолевшая его к концу жизни душевная болезнь редкими, но грозными зарницами проявлялась в нем и смолоду. Гейне както юмористически написал, что он любит короля, и именно за то, что Фридрих-Вильгельм IV похож на него самого, поэта Гейне («талант, блестящий ум, и уж наверно я государством управлял бы так же скверно»). Короля иногда называли романтиком на троне, и искреннее увлечение романтической, декоративной стороной средневековья в нем, бесспорно, было. То, что спустя пятьдесят лет являлось в его внучатом племяннике императоре Вильгельме II наигранной, актерской ложью, рассчитанной в интересах монархической пропаганды фанфаронадой, нарочитым наглым вызовом здравому смыслу, позой и фразой,— во Фридрихе-Вильгельме IV было в самом деле убеждением и искренним увлечением. Когда Вильгельм II «отдавал в приказе» по флоту, что он выходит завтра в море, чтобы наедине побеседовать с господом богом о германских государственных делах,— это было предумышленным, сознательным, демонстративным юродством. А когда Фридрих-Вильгельм IV пускался разглагольствовать в подобном же стиле, то, как это ни дико, он в самом деле был, по крайней мере временами, искренен. Революцию, которой он так испугался в марте 1848 г., он ненавидел всей душой, и, конечно, лишь боязнь помешала ему взять целиком назад все конституционные уступки, которые он сделал. Как и все реакционеры того времени, не только в германских странах, но и во всей Европе, прусский король взирал на Николая как на главный оплот, на русскую империю — как на ковчег спасения от революционного потопа.

До 1847 г. Фридрих-Вильгельм не выходил из повиновения у Николая, и можно сказать, что он повиновался своему грозному петербургскому зятю не только за страх, но и за совесть. Николай олицетворял собой для короля и охрану от революции и защиту от Франции. В Берлине, в Кенигсберге, в Магдебурге буржуазия ненавидела Николая именно за то, что, по представлению, широко распространенному в интеллигентных слоях, Николай являлся главной помехой к либеральной реформе государственного строя. Легенда о скрытом либерализме романтического короля, который будто бы только из боязни

перед гневом Петербурга воздерживается от дарования конституции, была широчайше распространена в Пруссии. Эта легенда не рассеялась даже в 1874 г., когда Фридрих-Вильгельм произнес свою знаменитую фразу о нежелании, чтобы лист бумаги стал между ним и его народом.

Настал 1848 год. «Слабость» и «уступчивость» Фридриха-Вильгельма в мартовские берлинские дни возмутили Николая. И с тех пор король, который по своим политическим убеждениям ровно ни в чем не отличался от царя, утратил явственно во всех своих сношениях и политических разговорах с царем то внутреннее чувство правоты, которое его не покидало, пока он еще не совершил «измены» принципу интегрального абсолютизма. А Николай с тех пор (и в особенности после парижских июньских дней 1848 г. и победы реакции во Франции и во всей Европе) усвоил себе в письменных и устных сношениях с прусским королем тон мягкой (а иногда и не очень мягкой) укоризны и предостерегающих поучений в стиле любящего, но огорченного отца или наставника, журящего неосторожного и легкомысленного юношу, который по незнанию людей и необдуманному великодушию попал в руки опасной шайки мошенников. Фридрих-Вильгельм, которому уже давно шел пятый десяток, и раздражался, и трусил, и обижался, и унывал, и снова трусил; и то собирался требовать объяснений и извинений, то готов был сам о чем-то объясняться и в чем-то извиняться.

В октябре-ноябре 1850 г. Николай решительно вмешался в конфликт между Австрией и Пруссией и без колебаний стал на сторону Австрии. Конфликт, по существу, заключался в том, что прусское правительство (графа Бранденбурга) сделало некоторые шаги в деле реорганизации Германского союза, клонившейся к усилению влияния Пруссии в Северной и отчасти Центральной Германии. Одновременно Пруссия явно не желала считать поконченным дело освобождения Голштинии и Шлезвига от датского владычества. Другими словами, Фридрих-Вильгельм IV не отказывался окончательно от мысли о частичном удовлетворении требований буржуазной революции, подавленной еще в конце 1848 г. Уже по этому одному Николай был решительно непримиримо настроен против прусских планов и своим могущественным вмешательством помог Австрии одержать полную дипломатическую победу. Переговоры между Австрией и Пруссией в Ольмюце закончились решительным поражением Пруссии. Ярость против Николая царила в буржуазных кругах Пруссии непомерная. Но и значительная часть дворянских и особенно военных кругов была смущена и раздражена этим бесцеремонным вмешательством царя. Фридрих-Вильгельм IV тоже, в особенности на первых порах,

8*

был обижен слишком уже хозяйскими распоряжениями Николая в Германии.

Но когда Николай пригласил короля в мае 1851 г. приехать к нему в Скерневицы (близ Варшавы), то Фридрих-Вильгельм IV поспешил последовать этому приглашению и тотчас явился (18 мая). А явившись, король немедленно принялся извиняться пред царем за «дарование» прусской конституции и убедительно доказывал царю, что он, Фридрих-Вильгельм, не виновен в этом предосудительном поступке, а во всем виноваты министры, которые его подвели, обманули, ослушались, не поддержали. Но и Фридрих-Вильгельм не предвидел тогда грядущих событий, и царь слишком понадеялся на короткую память короля и его окружения. Ольмюц забыт не был, несмотря на все поцелуи и даже слезы, будто бы струившиеся в Скерневицах из мало чувствительных глаз Николая при встрече с провинившимся, но раскаявшимся шурином, если верить весьма, впрочем, сомнительному свидетельству прусского генерала Леопольда фон Герлаха, бывшего в свите короля. Все это проделывалось, конечно, до налетевшей на Николая грозы.

7

Итак, весь огромный и юго-западный и северо-западный фланг русской империи был прикрыт послушными и верными союзниками — Австрией и Пруссией.

Это давало возможность императору Николаю дозволить себе роскошь занять строжайшую «принципиальную» позицию при воцарении во Франции Наполеона III, тем более, что, как увидим, до последней минуты он был убежден, что эта позиция окончательно скрепит и объединит союз России с Австрией и Пруссией. Рассмотрим в хронологической последовательности вопрос об отношениях между Николаем и Луи-Наполеоном с момента государственного переворота 2 декабря 1851 г. Мы увидим, насколько ложна шаблонная версия, приписывающая Николаю инициативу и полную, безраздельную ответственность в совершении им крупной дипломатической ошибки, связанной с историей возникновения Второй империи во Франции.

11 декабря 1851 г. в Петербург пришли первые официальные вести о государственном перевороте 2 декабря. Николай не скрывал своей радости. Графу Нессельроде, который давно уже терпеть не мог Луи-Наполеона и многократно и в устной и письменной форме это выражал, было велено безотлагательно полюбить президента. Нессельроде склонен был считать совершенно излишней страшную бойню над безоружной толпой, которую ни с того ни с сего учинили французские военные власти на парижских бульварах на третий день переворо-

та, 4 декабря; ему велено было без потери времени переменить свое суждение. «Конечно, можно было бы многое сказать о приемах, при помощи которых был совершен государственный переворот, и можно было бы пожалеть об актах насилия, которые на расстоянии могут показаться ненужными. К сожалению, нельзя сделать яичницу, не разбив яиц. Что касается спешной необходимости этого сурового удара, то она бросается в глаза всем друзьям порядка в Европе и должна быть ими принята с такой же большой радостью, как и с благодарностью. Одним ударом Луи Бонапарт убил и красных и конституционных доктринеров. Никогда бы им и не воскресать»,— так изъяснялся Нессельроде уже 21 декабря в письме к Мейендорфу в Вену. Русскому послу в Париже, Киселеву, велено было сообщить принцу-президенту вербальную ноту, в которой говорилось, между прочим: «Император Николай очень сочувственно принял известие о событиях 2 декабря; он смотрел на ожидание событий, которые могли наступить в 1852 г., как на обстоятельства, вредные для упрочения спокойствия во всей Европе. Воззвания господина президента республики к армии и нации укрепили высокое понятие, которое имел император о честности и храбрости (de la loyauté et du courage) принца. Восстановление порядка, так энергично защищаемое в Париже, присоединение департаментов — подают надежду, что Франции и Европе нечего больше опасаться в 1852 году».

И как бы в знак доверия к честному и храброму президенту, так лихо расстрелявшему парижан на бульварах, Николай не только не грозил войной, но даже предоставил отпуск части кавалеристов петербургского гарнизона, о чем, именно так истолковывая эти действия царя, с удовольствием поспешил известить французский посол в Петербурге генерал Кастельбажак своего министра иностранных дел маркиза Тюрго[39].

Русский посол в Вене барон Мейендорф уже 29 декабря, через каких-нибудь четыре недели после переворота 2 декабря 1851 г. имел очень важный разговор с князем Шварценбергом, австрийским канцлером. Как поступит Австрия, если Луи-Наполеон вдруг примет теперь же императорский титул? Шварценберг полагал, что нужно будет его и признать императором, особенно если принц-президент пообещает вести мирную политику. Другими словами, было ясно, что Австрия не намерена бесполезно раздражать нового властелина. Нессельроде докладывает об этом разговоре царю, который кладет следующую резолюцию: «Я вовсе не так понимаю: с той поры, как Луи-Наполеон, выборный глава нации, хочет стать государем,— он становится узурпатором, потому что божественного права ему не хватает (parce que le droit divin lui manque). Будет ли он завоевателем или нет, это совершенно безразлично, поскольку

речь идет о принципе. Он будет государем фактически, но никогда не государем по праву, одним словом, он будет вторым Луи-Филиппом, только без гнусного характера этого негодяя (l'odieux caractère de ce gredin)» [40].

Конечно, в глазах Николая разница между Луи-Наполеоном и Луи-Филиппом была огромная: Луи-Филипп «узурпировал» престол у «легитимной» династии Бурбонов и принял корону из рук революции в 1830 г., а Луи-Наполеон «подавил анархию» и установил 2 декабря 1851 г. военно-полицейскую диктатуру на месте растоптанной им республики. Поэтому Луи-Филипп был «негодяй», а Луи-Наполеон всем был бы хорош, лучше и желать не надо, если бы только не вздумал оскорбить память Венского конгресса и Священного союза принятием императорского титула. Целый год Луи-Наполеон приготовлялся увенчать и завершить дело, совершенное им 2 декабря, целый год примерял императорскую корону,— и целый год Николай Павлович все надеялся, что он так и не решится надеть ее на голову. Но Луи-Наполеон решился и ровно через год после переворота стал 2 декабря 1852 г. наследственным императором французов, Наполеоном III. И хотя державы очень давно к этому готовились, все-таки это событие застало их врасплох.

Зловещая для Николая I расстановка сил в грядущей борьбе обозначилась по существу дела вполне определенно в этом памятном инциденте борьбы вокруг императорского титула Наполеона III. Дело это разыгралось так. В марте 1852 г. граф Шварценберг, австрийский канцлер, не довольствуясь упомянутым разговором с русским послом в Вене, незадолго до своей смерти написал графу Нессельроде личное, доверительное письмо, в котором обращал внимание русского правительства на то, что еще и года не пройдет, как принц-президент, ставший после переворота 2 декабря 1851 г. диктатором Франции, примет императорский титул. Как же быть? Если Россия и Пруссия, основываясь на решении Венского конгресса 1815 г., лишившем династию Бонапартов права на французский престол, намерены воевать по этому поводу с Францией, то Австрия согласна с своей стороны действовать вместе с ними. Но если они не намерены воевать, тогда нужно без всяких лишних разговоров и недружелюбных выходок признать императорский титул нового владыки Франции. Сам Шварценберг без колебаний склонялся к этому второму, мирному решению. И Нессельроде лично тоже был согласен с разумностью этого решения. Но позднее, когда уже Шварценберг умер (это случилось 5 апреля 1852 г.), выступил прусский посол в Петербурге фон Рохов, который, ссылаясь именно на принципиальнейшую непримиримость нового австрийского министра Буоля, окончательно убедил все-таки еще колебавшегося Николая отказать Наполео-

ну III в наименовании «брата», твердо его уверив, что и Пруссия и Австрия безусловно сделают то же самое. Мигом и Нессельроде изменил свое мнение. Николай тогда решился на этот, правда, как будто не имевший особо важного значения, но тоже сыгравший в будущем свою фатальную роль поступок. А когда уже непоправимые заявления были сделаны, оказалось, что фон Рохов грубо ошибся и что Пруссия и Австрия вовсе и не думали отказать Наполеону III в «братском» словообращении, и Николай I оказался в изолированном и крайне нелепом положении. На рождественском военном параде в декабре 1852 г. царь, прекрасно понявший, как его коварно предали и оставили одного, прямо обратился в присутствии многочисленной свиты к прусскому послу фон Рохову и австрийскому — фон Менсдорфу с резкими упреками, говоря, что его союзники (т. е. Австрия и Пруссия) его «обманули и дезертировали». Но было уже поздно, упреки ничего поправить не могли. Фитцтум фон Экштедт, на глазах которого разыгрывалась эта прелюдия к уже постепенно близившейся грозной трагедии, говорит по поводу позорной роли Нессельроде: «Как же ограничена после всего должна быть сфера авторитета, принадлежащего так называемому руководящему министру, если граф Нессельроде в деле, жизненно затрагивающем интересы России, и несмотря на то, что логика была на его стороне, принужден был уступить внушениям представителя иностранной державы» [41]. В самом деле, остановимся на кое-каких деталях этого дела.

Карлу Васильевичу Нессельроде сначала казалось, как и Шварценбергу и Францу-Иосифу в Вене, как и Бисмарку во Франкфурте, как и Фридриху-Вильгельму IV в Берлине, что совершенно бесмысленно раздражать французского диктатора нелепыми формальными канцелярско-бумажными придирками и булавочными уколами. Хочет быть «дорогим братом» — пусть будет «дорогим братом». Так сначала полагал граф Нессельроде.

Но вот фон Рохов, окончательно убедивший царя в правильности непримиримой позиции, выходит из кабинета Николая Павловича и с торжеством говорит Нессельроде, что Наполеон III отныне будет царю не «дорогой брат», а только «добрый друг». Карл Васильевич и против этого тоже ровно ничего не имеет: добрый друг — так добрый друг. С непривычки дико все это казалось Фитцтуму, который знал, что прусскому генералу фон Рохову такие шутки шутить в самой Пруссии нельзя было и думать, а вот портить основательно отношения России с Францией оказалось для него же вполне возможно. Еще более загадочной была моментальная трансформация всех взглядов Нессельроде. Но, пожив в Петербурге, Фитцтум вообще довольно быстро отвык от способности удивляться. Больше уже Николай не повторял слов, которые некогда произнес, когда гневался

на конституционные уступки прусского короля Фридриха-Вильгельма IV: «Только мы с Роховым и остались двумя настоящими старыми пруссаками». Теперь «старый пруссак» жестоко подвел царя в этом, казалось бы, неважном, но на самом деле беспокойном и зловещем вопросе с титулованием парижского «доброго друга», так внезапно в последнюю минуту оказавшегося для Австрии и Пруссии «дорогим братом». Николай Павлович был гораздо умнее и проницательнее, чем Нессельроде. И он стал как будто соображать, что полагаться на Пруссию и Австрию как на опору в намечавшейся на Востоке «дуэли Петербурга с Парижем» нельзя будет. Он только не знал еще, что «дуэль» так близка, во-вторых, что она будет у него далеко не только с одним Парижем и, в-третьих, что все случившееся в досадном деле с титулованием Наполеона III все-таки даже и отдаленно еще не дает понятия об истинной роли, которую готовятся сыграть обе германские державы в будущем грандиозном столкновении.

Еще 2 декабря 1852 г., когда Австрия признала решительно все, чего желало французское правительство, граф Буоль, австрийский министр иностранных дел, заменивший умершего Шварценберга, продолжал излагать австрийскому послу в Петербурге Менсдорфу на нескольких страницах очень большого формата подробнейшие и благороднейшие, непримиримо принципиальные соображения, почему никак нельзя монархам божьей милостью признавать Наполеона, во-первых, «дорогим братом» и, во-вторых, «третьим» по счету. Письмо это было, по желанию Буоля, сообщено царю через Нессельроде. И только когда уже непоправимый поступок был совершен русской дипломатией и Киселев выполнил в Париже то, что ему было велено,— тот же граф Буоль написал в Петербург 24 декабря новое письмо Менсдорфу (снова для сообщения Николаю), причем совершенно спокойно, как будто говоря о несущественной мелочи, без малейшего чувства неловкости, совсем неожиданно сообщал, что Австрия все-таки передумала и решила признать Луи-Наполеона и Наполеоном III и «дорогим братом». Царь надписал на этом письме, доложенном ему: «Это жалкое дело, я останусь все-таки непоколебим в моем решении. Но со стороны графа Буоля — непростительно» [42]. Для полноты картины замечу тут же, что Буоль явно лжет, утверждая, будто Австрия покорилась необходимости обращения «cher frère» только потому, что Пруссия на это решилась первая. В мемуарах генерала фон Герлаха определенно приводится свидетельство прусского первого министра Мантейфеля, что Австрия на это пошла даже вовсе и *не зная еще* решения Пруссии [43]. Некоторые наблюдатели приписывали все поразительное по цинизму поведение Буоля в этом деле сознательной провокации с его стороны.

имевшей целью рассорить Наполеона III с Николаем, потому что ничего так не боялись и Буоль и Франц-Иосиф, как опасного для Австрии соглашения этих обоих монархов.

Первым (и непоправимым) шагом было сообщение русского посла в Лондоне барона Бруннова Пальмерстону от 21 октября (2 ноября) 1852 г., в котором заявлялось, что «император (Николай — *Е. Т.*) имеет определенное намерение признать за Луи-Наполеоном исключительно *лично им приобретенную пожизненную власть»*. Последние слова подчеркнуты в подлиннике, а справа на полях Николай написал: «Именно так» (c'est cela).

Австрия и Пруссия делали все зависящее, чтобы провоцировать Николая на дальнейшее, и 20 ноября (2 декабря) того же 1852 г. русское посольство в Вене уведомило Нессельроде, что граф Буоль полагает, что державы не должны признать нового императора «Наполеоном третьим», а в словообращении не должны называть его «братом», а должны только говорить ему: «государь». Николай спешит согласиться с таким принципиальным решением и пишет на полях: «Для нас не может быть вопроса о „N III", потому что эта цифра — абсурдна. Адресовать должно: „Императору французов" — и только,— а подписать не „брат", а коротко: Франц-Иосиф, Фридрих-Вильгельм и Николай и, если возможно, Виктория». Царь слишком поздно убедился, что его дурачат и что все его «братья» уже в эти самые дни решили принять в свое «братство» в качестве «дорогого брата» нового французского императора и что его подбивают на дерзкую выходку именно затем, чтобы испортить отношения между Францией и Россией [44].

И, наконец, последовало полное разочарование в собственном шурине. Русский посол в Берлине барон Будберг сообщил графу Нессельроде 11(23) декабря 1852 г. следующее: «Прусский король считает невозможным отказать императору французов в титуле: „Государь, мой брат". Царь гневно пишет на полях: „Трусость короля одержала верх"». А когда очень трусивший в это время и вилявший Фридрих-Вильгельм спустя несколько дней, 18(30) декабря, дал знать, что прусский представитель явится в Париже со своими верительными грамотами лишь после того, как Наполеон III согласится принять Киселева, то раздраженный Николай начертал: «Это — после ужина горчица».

Николай оказался кругом обманутым своими «дорогими братьями», но продолжал храбриться, продолжая повторять: «Мое мнение состоит в том, чтобы называть его „Луи-Наполеон, император французов",— и только. Если он рассердится, тем хуже для него. Если он станет груб, Киселев покинет Париж».

Киселеву и пришлось покинуть Париж, но не в 1852 г., а в марте 1854 г., при нависших над Россией черных тучах...

Самое любопытное во всем этом финале дипломатической борьбы это — письмо Буоля русскому послу в Вене Мейендорфу от 31 декабря 1852 г. Дело уже сделано, Буоль втравил Николая в эту опасную историю, а сам его предал, но ему хочется удостовериться, что Николай не сделает еще в последний момент попытки исправить положение, и вот австрийский дипломат пишет русскому послу: «Император Николай не такой человек, чтобы отрекаться (se rétracter) от слова, которое он произнес,— и ваш кабинет, впрочем, очень может упорствовать, не боясь серьезных последствий». Восхищаясь уже наперед царем, не отказывающимся от своих слов, Буоль поясняет, что для Австрии было опасно проявлять такую верность своему слову. Стоит ли давать Луи-Наполеону предлог возбуждать воинственные наклонности Франции? [45]

Барон Мейендорф говорил о Буоле, с которым он был в родстве, будучи женат на его сестре, но к поведению которого относился с большим негодованием: «Мой шурин Буоль — величайший политический собачий отброс, который когда-либо я встречал и который вообще существует на свете» [46]. Эту вполне законченную квалификацию и аналогичные эпитеты Мейендорф расточал своему шурину, по-видимому, направо и налево, так что, например, известие об этом чуждом неясностей определении личности Буоля попало даже в письма, которые генерал Герлах осенью 1854 г. писал из Берлина во Франкфурт Бисмарку.

Николай был явно возмущен поведением двух германских держав, ловко втравивших его в крайне неприятную и чреватую опасностями нелепую историю и коварно покинувших его и спрятавшихся в последний момент. «К сожалению, Пруссия, а за нею и Австрия не сдержали своего обещания действовать заодно с Россиею по отношению к Франции. Они признали Louis-Napoléon братом, чем вновь доказали, как мало можно полагаться на них, а равно и надеяться на их уверения. Просто тошно!» [47]. Так писал царь Паскевичу в декабре 1852 г. Английский «друг» Николая, лорд Эбердин, сбивал его с толку в эти ноябрьские и декабрьские дни 1852 г. ничуть не меньше, чем прусский граф фон Рохов и австрийские «друзья» Буоль и Менсдорф. Эбердин делал вид, будто Англия главным образом из страха должна признать Наполеона III «дорогим братом», а что на самом-то деле она хочет, напротив, выступить в союзе с Россией против Франции. Вот что докладывал 17(29) ноября 1852 г. на основании донесения русского посла в Лондоне Бруннова канцлер Нессельроде императору Николаю: «Эбердин, ввиду возможного со стороны Луи-Напо-

леона нашествия на Англию, признался Бруннову, что он находит необходимым, чтобы лондонский кабинет скрепил свои связи со своими континентальными союзниками, чтобы быть в состоянии выдержать на суше борьбу против французской армии». Николай, прочтя это, пишет резолюцию: «Признание в конце депеши служит объяснением трусости правительства. Вот до чего дошла Англия».

Проходит несколько дней, и 25 ноября (7 декабря) 1852 г. Николаю снова докладывается, что не только Англия признала полностью за Наполеоном III его императорский титул со всеми подробностями, но что в парламенте решено даже и не пускаться в обсуждение этого вопроса «который мог бы стать затруднительным для (внешних — *Е. Т.*) отношений Англии». И Николай кладет новую резолюцию: «Все это, мне кажется, говорит то самое, что говорят дети, когда они боятся: *дядюшка, боюсь!* Это мне вполне подтверждает доклад, который я сегодня вечером получил от Горчакова. Любопытно, насколько признание в страхе наивно со стороны английских военных. Это печально». Вся резолюция Николая писана по-французски, но слова «дядюшка, боюсь!» — по-русски [48].

Провокационный смысл эбердиновских слов о том, что он боится французского нашествия на Англию и просит Николая о союзе и помощи, совершенно бесспорен. Более чем вероятно, что именно Пальмерстон и изобрел это, чтобы окончательно сбить царя с толку и подвинуть его на дальнейшие пререкания и конечную ссору с Парижем. Такой метод действий был всецело в духе Пальмерстона, который хотя и числился в 1852 г. «статс-секретарем внутренних дел», но и во внешних делах без него в кабинете Эбердина ничего не делалось.

И Николай поверил, что Англия боится Наполеона III, а тот ненавидит Англию,— и никогда между ними союзу не бывать. Между тем уже с 1849 г. Николай должен был предвидеть, что Франция и Англия снова будут на Востоке всегда действовать вместе, если речь будет идти о борьбе против русского влияния. Напомним в двух словах об инциденте 1849 г., который слишком скоро был забыт Николаем.

Около 1100 венгерских и польских участников венгерского восстания укрылись летом 1849 г. в Турции, в том числе Бем, Дембинский, Замойский и Высоцкий, деятели также и польского восстания 1830—1831 гг. Николай велел Нессельроде немедленно написать грозную ноту Порте с требованием выдачи их и одновременно (24 августа 1849 г.) послал султану личное письмо, повторяя то же требование. Для передачи письма он избрал князя Льва Радзивилла, генерала своей свиты, поляка по происхождению. К этому требованию примкнула и Австрия. Абдул-Меджид обратился за советом к британскому послу

Стрэтфорду-Каннингу и французскому — Опику, и оба решительно посоветовали отказать. Мало того, английская и французская эскадры приблизились к Дарданеллам. Это было лишь демонстрацией. В тот момент ни царь ни, подавно, шедшая за ним Австрия не собирались вовсе воевать. Бежавших в Турцию революционеров Турция не выдала. Как раз в это время (в сентябре 1849 г.) Николай узнал, что хотя он лично просил Франца-Иосифа помиловать сдавшихся венгерских генералов и офицеров,— многие из них были повешены австрийцами. «Это — подлость и оскорбление, нанесенное нам»,— написал Николай на докладе о повешении в Австрии венгерских революционеров. Он не любил, когда кого-либо вешали без его разрешения. После этого он сразу поостыл в своих требованиях к Турции, и дело о выдаче кончилось ничем.

Но, разумеется, самая затея была тогда со стороны Николая грубой политической ошибкой, и в Турции дело об отказе в выдаче венгерцев и поляков было учтено как большая турецкая победа. Этот старый инцидент 1849 г. именно теперь, в 1852, 1853 гг., очень усердно и часто стал вспоминаться и в Константинополе, и в Париже, и в Лондоне.

«Причины ослепления императора Николая»,— такое название носит глава в анонимном трактате, явно исходящем от очень осведомленного дипломата, где говорится о наиболее убийственной из всех ошибок, погубивших царя: о его убеждении, будто союз Англии и Франции совершенно немыслим [49].

У автора в распоряжении были и неизданные документы и устная доверительная информация,— но какое поверхностное объяснение он дает этой ошибке царя! Он все дело сводит к каким-то придворным сплетням (tous ces commérages), к получавшимся в Петербурге ложным сведениям о нерасположении королевы Виктории к Наполеону III, о каких-то натянутых отношениях между царедворцами императора французов и английской аристократией и т. п. Все эти нелепые объяснения решительно никуда не годятся. Дело было гораздо глубже и серьезнее! Николая обманули не какие-то придворные сплетни, а официальные доверительные заявления английского премьера в 1852 г. о том, что Англия боится французского нашествия и только поэтому не идет с царем нога в ногу в его выступлении против Наполеона III. Тут именно и сказался отмеченный выше роковой порок посольских донесений времен Николая. Так как у царя почему-то сложилось убеждение, что никогда не будет и не может быть союза между Англией и племянником ненавистника Англии Наполеона I, то и Бруннов, русский посол в Англии, и Киселев, русский посол в Париже, закрывали глаза на факты, а твердили то, что приятно было царю узнать и что подтверждало предвзятую мысль Николая.

Салон стареющей, но все еще поглощенной светскими слухами и дипломатическими интригами, княгини Дарьи Христофоровны Ливен, проживавшей в Париже вплоть до начала Крымской войны, был той, так сказать, питательный средой, в которой Киселев в 1852, 1853, 1854 гг. черпал свои сведения о политических настроениях Франции, о тайнах тюильрийского двора и т. д. Но часто изображение всей этой парижской картины оказывалось у Киселева кривым. Люди, постоянно бывавшие у княгини Ливен и внимательно все у нее наблюдавшие, вроде австрийского посла в Париже барона, впоследствии графа Гюбнера, убеждены были, что Киселев часто сбивал просто с толку Николая именно вследствие усердных посещений этого салона. Замечу, что Дарья Христофоровна и сама находилась в постоянной переписке с императрицей Александрой Федоровной, женой Николая. «Я не думаю, что княгиня Ливен много помогала тому, чтобы объяснить императору Николаю положение. Именно в ее салоне Киселев искал и черпал свои сведения, совершенно ошибочные, о природе отношений между Францией и Англией. Именно он находился под влиянием атмосферы, которой он дышал, в среде, где еще жили воспоминания о наполеоновских войнах начала века и о 1840 годе, когда Киселев писал свои донесения, доказывающие, что никогда не будет союза между Францией и Англией. Именно так, конечно, не желая этого, он обманывал своего государя и много способствовал разрыву сношений»[50]. И однако княгиня Ливен была все-таки проницательнее, чем думал о ней барон Гюбнер. Это доказывает не так давно (1925 г.) опубликованная в Лондоне часть ее бумаг.

До какой степени Наполеон III старательно искал любого предлога для войны с Россией, явствует из того, что хотя он все-таки не решился только из-за этой пустейшей возни с вопросом о словообращении объявить Николаю войну, но внимательные и опытные наблюдатели, вроде именно этой поседевшей в дипломатических интригах княгини Ливен, определенно боялись уже тогда вооруженного конфликта Франции с Россией. Эта Дарья Христофоровна Ливен, некогда жена русского посла в Лондоне, теперь, в 1852 г., как сказано, очень следила за всеми парижскими настроениями, и она уже по поводу спора о словообращении («добрый друг» или «дорогой брат») со страхом предвидела близкую войну[51].

Когда уже все было позади, кровопролитнейшая война кончилась, Севастополь лежал в развалинах,— новый русский посол в Париже, бывший министр государственных имуществ граф Павел Дмитриевич Киселев (родной брат Николая Дмитриевича, бывшего там же послом вплоть до начала войны) на одном придворном балу в 1857 г. в Тюильрийском дворце услы-

шал взволновавшие его слова императрицы Евгении, жены Наполеона III. Евгения знала, что ее муж вообще не любит, когда она разговаривает с послами, но все-таки успела наскоро украдкой рассказать П. Д. Киселеву о впечатлении, произведенном на Наполеона III в 1852 г. письмом царя с урезанным словообращением. Вот что сообщила Евгения, очень правдивая женщина: «„Я хотела вам сказать о письме, которое император (Наполеон III — *Е. Т.*) получил от императора Николая и громко читал у меня. Он сунул письмо в карман и сказал: *„Оно холодно“*. Он вышел, а я осталась под тягостным впечатлением, которое оно во мне оставило. Когда император вернулся, я ему сказала: „Письмо императора Николая *более чем холодно, оно сурово* (sévère)“. При этом императрица наклонилась ко мне (П. Д. Киселеву — *Е. Т.*) и сказала мне на ухо: „Я употребила другое выражение: „Это письмо *грубо*“ (grossière), — сказала я. „В чем?“ — спросил меня император. „Перечтите еще раз и увидите сами“. Он прочитал письмо и был поражен справедливостью моего замечания. *„Это правда,*— сказал он,— *и я этим займусь“*,— война была решена»[52].

Опасность была в том именно, что Наполеон III искал войны в 1852 г. и хватался за все поводы к ссоре, даже за самые ничтожные и искусственно создаваемые.

И Николай смутно об этом уже тогда догадывался. Дипломатическое чутье, хотя и ослабевшее, но не вполне покинувшее Николая и в эти последние годы, подсказало ему, что нельзя так легко и беспечно, как Нессельроде, относиться ко всей этой передряге с титулом Наполеона III и к возможному отказу русскому послу в приеме, чем некоторое время грозил Друэн де Люис.

Николай был очень обрадован, что тяжелого дипломатического скандала благополучно удалось в конце концов избежать. Едва получив телеграмму Киселева из Парижа о состоявшемся приеме посла в Тюильри, царь пригласил к себе французского посла маркиза Кастельбажака, вышел к нему навстречу, «горячо обнял» французского генерала. «Я счастлив, что наши дела так хорошо окончились. Благодарю императора Наполеона... Никто более моего не одобрял и не содействовал одобрению другими государями смелого дела 2 декабря и вообще всей политики принца»,— так начал Николай и дальше старался в самых примирительных тонах объяснить свое поведение[53].

Что инициатива во всей этой истории с титулом и наименованием Наполеона III исходила не от Николая, утверждает и долголетний посол Австрии в Париже барон, впоследствии граф фон Гюбнер, бывший в курсе всех перипетий дела. «Буоль взял на себя инициативу этой кампании, предложив в Петербурге и Берлине отказать выскочке (un parvenu) в обращении

„господин, брат мой“... Русский император и прусский король вошли в этот строй мыслей и понемногу обязались действовать в этом смысле. Но в последний момент, устрашенный донесениями, впрочем очень разумными, от Гатцфельда и высокомерным тоном французского посла в Берлине, прусский двор отступил. Раз так случилось, мы не могли поступить иначе, как последовать этому примеру. Россия, которая не граничит с Францией на Рейне, как Германия, и которой не приходится обороняться в Ломбардии, как Австрии, осталась тверда, и ее обращение к Луи-Наполеону такое: „Государь и дорогой друг“. Вот вкратце история этого инцидента»[54]. Гюбнер, опытный и умный дипломат, чуял недоброе во всей этой кампании и «внутренно проклинал ее»,— как он пишет. «Мой инстинкт говорит мне, что мы провели дурную кампанию... Она кончилась хорошо — в том, конечно, смысле, что не привела к разрыву дипломатических отношений и к войне». Гюбнер не открывает в своем дневнике, как он смотрит на поведение Буоля, по мере сил втравившего русскую дипломатию в эту ненужную и нелепую авантюру, внезапно укрывшегося в кусты, вместе с королем прусским, и отказавшего Николаю в солидарном выступлении. Сознательная ли это была провокация или внезапно одолевшая Австрию робость? Правда, австрийский и прусский послы в Париже представили свои верительные грамоты новому императору, только когда он согласился, наконец (после нескольких очень неприятных и тревожных для Киселева дней колебаний), принять русского посла. Но невелика была цена этой поддержке: все-таки Николай оказался в полном одиночестве, которое ничего особенно хорошего не предвещало ему в ближайшем будущем.

Нессельроде, разумеется, остался всем происшедшим крайне доволен. Он вообще всегда и всем был доволен,— и прежде всего императором Николаем и самим собой. В своем обычном годовом отчете за 1852 г. он, конечно, говорит с мягкой и ласковой укоризной о «неожиданном» поступке Австрии и Пруссии, совершенно не понимая, как жестоко и коварно они подвели царя; он умиляется при этом, что, не имея возможности исправить текст верительных грамот, отосланных Киселеву в Париж, царь пребыл тверд. Это удивительная в своем роде фраза: ведь Нессельроде, с одной стороны, лучше других знал, как злится царь по поводу предательского поведения своих «союзников» и как у него неспокойно на душе по поводу своего нелепого и не очень безопасного полного одиночества, в котором он против своей воли совсем неожиданно для себя очутился; а с другой стороны,— раз уж так случилось и никак уж не догнать было верительных грамот и не исправить содеянного, то Николай Павлович счел за благо порисоваться своей героической прин-

ципиальностью, похвалиться тем, что он не побоялся Наполеона III, как струсили Австрия, Пруссия, Англия, не говоря уже о всех прочих державах. Значит, в *одной фразе* графу Нессельроде приходилось одновременно и пожалеть, что не удалось исправить дипломатической ошибки, и восхищаться царем, который эту ошибку сделал: «Но наши верительные грамоты, составленные согласно формуле, с которой сначала согласились оба двора (Австрия и Пруссия — *Е. Т.*), уже были подписаны и отправлены нашему послу, и, оставшись одиноким на почве этой формулы, ваше величество пожелали на ней удержаться, какие бы ни были от этого последствия» [55]. Словом, все обстоит крайне блестяще. И, следуя обычной своей тактике затушевывания всего неприятного в своих «всеподданнейших» докладах, канцлер все-таки вполне уповает на «единство» трех самодержавших монархий — России, Австрии и Пруссии и на их грядущее «согласие».

А между тем уже был налицо один зловещий симптом, который показывал ясно, что история с титулом, как будто бы мирно и благополучно закончившаяся горячими объятиями царя с маркизом Кастельбажаком, еще будет иметь большое продолжение. В конце декабря внезапно обострилось одно давнее и, казалось, уже законченное дипломатическое пререкание между Францией и Россией: так называемый «спор о святых местах» неожиданно стал принимать очень острый характер. «Это он мстит»,— сказал Николай о Наполеоне III, узнав о новой резко враждебной позиции, которую заняло французское посольство в Константинополе относительно России.

8

Наполеон III переживал тогда критический период своей карьеры. Переворот 2 декабря удался блестяще, но полной уверенности в завтрашнем дне не было. Следует сказать, что суждения об этом человеке, сформировавшиеся в тот момент, не во всем вполне точно отвечали действительности, все равно — исходили ли они от представителей французской и международной революционной общественности или от публицистов и государственных деятелей консервативных партий. Что он — упорный честолюбец и властолюбец, абсолютно лишенный каких-либо моральных сдержек в стремлении к основным целям, в конечном счете всегда эгоистическим, что он без малейшего труда и раздумья пойдет на любой самый бессовестный обман, на самое обильное кровопролитие, на самую явную и наглую демагогию, если она в данный момент полезна для него, и что он не задумается пустить в ход все средства полицейского террора и военной репрессии,— в этом ни тогда ни позднее

ни у кого не было сомнения. Расхождение в оценке личности принца-президента, ставшего 2 декабря 1851 г. фактическим диктатором, а спустя год императором Франции, начиналось тогда, когда заходила речь не о моральных, но об умственных качествах этого политика. Ему в данном случае вредили его одноименность и близкое родство с Наполеоном I — сравнение с гениальным дядей слишком уж принижало племянника, в котором ничего даже отдаленно похожего на гениальность не было.

В жару полемики и пламенной ненависти к виновнику кровавого государственного переворота, так долго и коварно подготовлявшегося и так моментально совершившегося, его желали считать не только бессовестным, что было совершенно бесспорно, но и совсем неумным, ничтожным человеком. А это было неправильно. И многие, в пылу гнева, впадали тогда в те преувеличения, в которых впоследствии признавался Герцен, продолжавший, тем не менее, его горячо ненавидеть до конца дней своих. «В 49, в 50 годах я не угадал Наполеона III. Увлекаемый демократической риторикой, я дурно его оценил». Герцен его не терпит и тогда, когда пишет это, но он признает за императором, что тот воплотил в себе французскую буржуазию, объединил и положил отпечаток своей индивидуальности на всю правительственную машину: «„...революция и реакция“, порядок и беспорядок, *вперед* и *назад* воплотились в одном человеке, и этот человек, в свою очередь, перевоплотился во всю администрацию, от министров до сельских сторожей, от сенаторов до деревенских мэров... рассыпался пехотой, поплыл флотом. Человек этот не поэт, не пророк, не победитель, не эксцентричность, не гений, не талант, а холодный, молчаливый, угрюмый, некрасивый, расчетливый, настойчивый, прозаический господин „средних лет, ни толстый, ни худой“ [56]. Le bourgeois буржуазной Франции, l'homme du destin (человек предназначения — *Е. Т.*), le neveu du grand homme (племянник великого человека — *Е. Т.*)...»

Так определяет Луи-Наполеона Герцен. О том, почему оказалась такой на редкость благоприятной для его замыслов социально-экономическая действительность, давно написаны Марксом бессмертные страницы «Восемнадцатого брюмера Луи Бонапарта» и тут не место говорить об этом. Что же касается характеристики, данной Герценом, то он, как видим, пишет о Наполеоне III — «не победитель». Вот именно, Наполеон III и захотел быть «победителем» также и во внешней политике, зная наперед, что если он таковым станет, то буржуазия и собственническая деревня окончательно простят ему все отрицательные качества и все темные дела, какие за ним числятся, а если он окажется к тому же победителем

именно над Николаем, то это может несколько ослабить даже ту вражду, с которой к нему относятся уцелевшие революционеры в эмиграции и в подполье.

Наполеон III имел и ум и волю и порой (особенно в первое десятилетие царствования) проявлял бесспорную проницательность и уменье целесообразно и последовательно подходить к очень нелегким задачам, которые он себе ставил, и рационально и вполне успешно, со своей точки зрения, решать эти задачи. Замечу, что и Н. Г. Чернышевский, с неизменным отрицанием и непримиримой враждой всегда относившийся к режиму Второй империи и к моральным качествам Наполеона III, перевел для «Современника» английскую статью и без всяких оговорок и возражений оставил суждения автора, признавшего за французским императором «суровую волю», «храбрость», «сочетание страсти и осторожности», «дальновидность и природные дарования дипломата» наряду с отрицательными сторонами ума и характера[57].

Слабой стороной ума французского властелина была склонность к политическому фантазерству и, как о нем говорили, неспособность думать не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне. А слабой стороной его воли была, к концу жизни только, порой некоторая нерешительность как раз тогда, когда от половинчатых решений он мог только проиграть. Обе эти слабые стороны ума и воли стали заметно сказываться в императоре по мере того как он старел, по мере того как с годами осложнялись и запутывались внутренние и внешние дела Франции, т. е. примерно со второй половины 60-х годов XIX столетия. Мучительная и неизлечимая каменная болезнь, от которой он стал тяжело страдать в последние годы царствования (и от которой впоследствии умер), только ускорила процесс ослабления его воли, замечавшийся в нем лишь изредка, еще когда недуг не начал совсем одолевать его. Но в тот период, которым мы тут занимаемся, он был физически вполне здоров и находился в обладании всеми своими душевными силами. Его власть во Франции была тверда, его влияние на европейскую политику — огромно. Его помощники, сторонники, клевреты, группа смелых, энергичных, способных, абсолютно бессовестных политических авантюристов, окружавшая его, все эти люди, только что помогшие ему внезапным нападением уничтожить республику и захватить бесконтрольную власть над Францией, составляли его, так сказать, главный политический штаб и были тогда непосредственной его опорой. Но нельзя ни в коем случае сказать, что они держали его в руках, что он был марионеткой, которой будто бы распоряжался Морни или Персиньи, или Эспинас, или кто бы то ни было другой. Своих сообщни-

ков и клевретов он умел поставить на место гораздо быстрее и легче, чем, скажем, сделала это Екатерина II с Алексеем и Григорием Орловыми после переворота 28 июня 1762 г. и после убийства императора Петра Федоровича. Наполеон III этих соратников и дельцов нисколько не боялся: ведь они хорошо знали, что личная их карьера навеки с ним связана и только на нем и держится, и он тоже очень хорошо знал, что они это помнят. И уже в 1852 г. они с такой же царедворческой льстивостью домогались его милости и так же боялись опалы и отставки, как и в годы после Крымской войны, когда Вторая империя окрепла внутри страны и заняла первенствующее положение в Европе.

За возможность войны с Россией Наполеон III ухватился прежде всего потому, что в течение нескольких месяцев, протекших между переворотом 2 декабря и искусственным обострением вопроса о «ключах от гроба господня», многим, даже и не панически настроенным людям, в окружении Луи-Наполеона казалось, что загнанная в подполье «революционная партия», как тогда принято было называть всех возмущенных государственным переворотом, непременно в ближайшем будущем еще даст сражение новому режиму. Война и только война могла бы не только длительно охладить революционные настроения, но и окончательно привязать командный (как высший, так и низший, вплоть до унтер-офицеров) состав армии, покрыть блеском новую империю и надолго упрочить династию. Конечно, для этого война должна быть удачной, а в какой же войне у императора французов больше шансов на выигрыш, как не в такой, где в тесном союзе с ним выступит Англия? Так ему казалось. Но такой войной, где Англия непременно примет участие, могла быть только война против России. А таким вопросом, на котором можно было привлечь на свою сторону против Николая не только Англию, но и Австрию, мог быть *только* восточный вопрос.

Был, как уже мельком упомянуто выше, и еще один немаловажный момент, безусловно влиявший на Наполеона III в 1852—1853 гг. Если существовал на земле властитель, еще более ненавистный не только революционерам всех оттенков во Франции и в Европе, но и большинству буржуазных либералов, чем Наполеон III, то это, конечно, был Николай Павлович. Тут сходились почти все; говорю «почти», так как исключения все же были (взять хотя бы польских мессианистов, учеников Андрея Товянского).

Ненависть и страх к Николаю во всей не только революционной, но и либеральной Европе проявились в полной своей силе не сейчас после вступления его на престол. Четырнадцатое декабря было мало известно и еще меньше было понято

на Западе. Созыв польского сейма в 1829 г. произвел даже довольно благоприятное для Николая впечатление. Но свирепое усмирение военных поселений в 1831 г., репрессии в Польше и в 1831 г. и позже, безобразия и насилия всякого рода при «возвращении униатов в лоно православия», а особенно упорные дипломатические вмешательства царя в европейские дела, всегда с целью усиления реакции, все это сделало имя Николая наиболее ненавистным для всей прогрессивной Европы еще задолго до 1849 г. Когда летом 1849 г. русские войска подавили венгерское восстание, то Николалй I предстал перед Европой в ореоле такого мрачного, но огромного могущества, что с тех пор тревожные опасения уже не покидали не только либеральную, но отчасти и умеренно-консервативную буржуазию в германских государствах, во Франции и в Англии. Будущее «русского нашествия» представлялось напуганному воображению как нечто в виде нового переселения народов, с пожарами, «гибелью старой цивилизации» с уничтожением всех материальных ценностей под копытами казацких лошадей. Немудрено, что и Пальмерстон в Лондоне, и Наполеон III в Париже, и Стрэтфорд-Рэдклиф в Константинополе, сами вовсе не поддававшиеся этим обывательским страхам и преувеличениям, очень хорошо учитывали, насколько для их дипломатической игры благоприятна подобная атмосфера. В частности, Наполеон III вполне мог ждать, что единственный его поступок, который всегда вызовет одобрение со стороны его политических врагов слева, это война против Николая.

Но вначале, т. е. когда только поднимался вопрос о «ключах», о «святых местах», французское императорское правительство в подавляющем своем большинстве не спешило следовать за владыкой. Слишком уже искусственным, притянутым за волосы казался предлог и слишком серьезным — риск. В самом деле. Еще в 1850 г., в разгаре своей последовательно проводимой подрывной работы, направленной против Национального собрания, принц-президент Луи-Наполеон, желая привлечь на свою сторону окончательно католическое духовенство (это был первоначальный мотив), решил домогаться восстановления Франции в роли покровительницы католической церкви в Турецкой империи. И тогда же, 28 мая 1850 г., посол Луи-Наполеона в Константинополе генерал Опик потребовал от султана Абдул-Меджида гарантированных старыми трактатами преимущественных прав католиков на храмы как в Иерусалиме, так и в Вифлееме. Турецкое правительство натолкнулось на противодействие русского посла Титова, отстаивавшего исключительные права православных. Вопрос стал быстро приобретать значение борьбы французской и рус-

ской дипломатии за влияние в Турецкой империи. Спор шел не из-за права молиться в этих храмах: этого ни католикам, ни православным никто не запрещал, а дело заключалось в пустых, мелочных по существу, казуистических и сутяжнических по форме стародавних распрях греческих монахов с католическими о том, кому чинить проваливишийся купол в Иерусалиме, кому владеть ключами от Вифлеемского храма (который, кстати, этими ключами вовсе и не запирался), какую звезду водворить в Вифлеемской пещере: католическую или православную и т. д. Полная вздорность и искусственность этих споров даже с чисто церковной точки зрения была настолько очевидна, что наиболее авторитетные в этих вопросах высшие иерархи обеих церквей довольно равнодушно относились к этой внезапно возникшей дипломатической возне вокруг «святых мест». Знаменитый митрополит московский и коломенский Филарет Дроздов решительно ничем не проявил сколько-нибудь страстного интереса к этому делу. То же самое нужно сказать и о главе католической церкви папе Пии IX. Во второй половине апреля 1851 г. вновь назначенный (вместо Опика) французским послом в Константинополь маркиз Лавалетт по дороге к месту новой службы побывал в Риме и, естественно, явился к папе Пию IX представиться. Ведь ехал же он в качестве, так сказать, паладина единоспасающей католической церкви вырывать храм господень из рук восточных еретиков. И тут вдруг оказалось, к великому удивлению Лавалетта («à ma grande surprise»,— пишет он из Рима своему министру иностранных дел), что римский папа гораздо менее пылкий католик, чем Луи-Наполеон: он вовсе не так гонится за всеми этими иерусалимскими куполами и вифлеемскими ключами. Вся придуманность, лживость, курьезная искусственность этой мнимоделигиозной борьбы двух императоров из-за каких-то предметов евангельской археологии очень рельефно оттеняется этим римским эпизодом путешествия человека, едущего в Константинополь с прямой миссией раздуть уже потухающие искры в большой пожар.

Только спустя два года, когда прибыл в Константинополь Стрэтфорд-Рэдклиф, французский посол убедился, что вся шумиха со «святыми местами», со всеми церковными ключами и рождественскими звездами волхвов уже успела быстро устареть, выйти из моды и сделаться для дипломатических целей ненужной. И Меншиков и Стрэтфорд-Рэдклиф, не сговариваясь, почти в одно и то же время пришли к заключению, что желательную им обоим войну России с Турцией возможно разжечь и не прибегая к церковно-археологическим дискуссиям. Но это случилось лишь весной 1853 г. Целые два года, от мая 1851 до мая 1853 г., Лавалетту и сменившему

его в феврале 1853 г. Лакуру суждено было занимать Европу этой фантастической по своей нелепости борьбой, которая приводила в недоумение даже такого изувера, как святейший Пий IX. Уже 18 мая 1851 г., едва прибыв в Константинополь, Лавалетт был принят султаном Абдул-Меджидом. Он вручил султану письмо президента, в котором Луи-Наполеон категорически настаивал на соблюдении всех прав и преимуществ католической церкви в Иерусалиме. Письмо было в явно враждебных тонах направлено против православной церкви. Принц-президент настаивал, что права католиков на обладание «Гробом господним» в Иерусалиме основываются на том, что крестоносцы завоевали Иерусалим еще в конце XI в. На это русский посол Титов возразил в особом меморандуме, поданном великому визирю, что еще задолго до крестовых походов Иерусалимом владела православная греческая церковь (в годы Византийской империи). Титов выдвигал еще и другой аргумент: в 1808 г. церковь «Гроба господня» почти целиком сгорела, а отстроена была на деньги, собранные исключительно среди православных (как в России, так и во владениях Турции). Николай ухватился за этот выдуманный Луи-Наполеоном конфликт и велел Нессельроде действовать энергично. Нессельроде написал соответствующую бумагу Титову, который усилил настойчивость. Лавалетт тогда подсказал султану, что необходимо признать справедливость французских притязаний хотя бы уже потому, что претензии русских гораздо более опасны для Турции. 5 июля 1851 г. турецкий диван сообщил официально Лавалетту, что султан согласен подтвердить все права, которые Франция имеет в «святых местах» на основании прежних трактатов.

Немедленно Лавалетт снова откопал старые франко-турецкие соглашения. И из них наиболее выгодным для французов был трактат 1740 г., на который ссылался уже и предшественник Лавалетта посол Опик. Но из Петербурга тотчас же дали знать Титову, что у России есть тоже в руках трактат, да еще неоднократно подтвержденный впоследствии Оттоманской Портой, это именно Кучук-Кайнарджийский мирный договор 1774 г., закончивший победоносную для России войну с Турцией. По этому договору привилегии православной церкви в «святых местах» были неоспоримы.

Николай ни за что не хотел упускать благодарного и популярного лозунга, пользуясь которым можно было, как он рассчитывал, удобнее всего начать коренной пересмотр русско-турецких отношений. Титов уже писал в Петербург, что Лавалетт соглашается не настаивать на интегральном выполнении всех статей договора 1740 г., следовательно, открывалась возможность «полюбовного» размежевания между католиками и

православными. Но, быть может, именно поэтому Николай поспешил послать в Константинополь князя Гагарина с собственноручным посланием царя к султану. Абдул-Меджид был в смятении, потому что весь этот вопрос внезапно получил крайне беспокойный оттенок.

В Европе сразу заговорили уже не о «святых местах», а о намечающейся пробе сил, о единоборстве между французским президентом и русским царем. «Что означает эта ссора, которую мы подняли в Константинополе по поводу „святых мест“? Надеюсь, что она не так серьезна, как изображают ее германские газеты! Я знаю Восток, и я могу вас уверить, что Россия не уступит. Для нее это вопрос жизни и смерти, и нужно желать, чтобы это хорошо знали в Париже, если хотят вести дело до конца» [58],— так писал 9 декабря 1851 г. в Париж выдающийся французский дипломат Тувнель, бывший тогда послом в Мюнхене при баварском дворе.

Это очень характерное письмо. Во-первых, мы видим, до какой степени для французского дипломата ясно, что провокация ссоры первоначально пошла из Парижа. Во-вторых, очевидно, уже в этой стадии спора Николаю удалось широко распространить в Европе воззрение, будто весь русский народ глубоко взволнован вопросом о преимуществах православной или католической церкви в «святых местах» и будто царь находится под могучим давлением русского народного религиозного чувства, под таким давлением, что просто ему, Николаю Павловичу, никак нельзя уступить нечестивым «латинянам» ни ремонта купола в Иерусалиме, ни ключей от Вифлеемского храма. И Тувнель и люди, не менее умные и опытные, чем он, серьезно верили, что для России вопрос о иерусалимском куполе и вифлеемских ключах — «дело жизни и смерти» и что русский народ, остающийся в крепостном состоянии, неотступно и повелительно заставляет царя писать в Константинополь резкие ноты о «святых местах»...

Ратоборцем за права православной церкви выступал Карл Вильгельмович (с течением времени ставший «Васильевичем») Нессельроде. О русском языке он имел понятие приблизительное и сбивчивое; с русской грамматикой и синтаксисом находился в течение всей жизни в отношениях, чуждых какой-либо с ними близости и граничивших даже с полным прекращением знакомства. Поднявшуюся и усердно осложняемую обоими императорами — русским и французским — суматоху вокруг святых мест Нессельроде, если бы от него что-либо зависело, конечно, прекратил бы без всяких затруднений. Но в этом вопросе, как и во всех других вопросах международного значения, проходивших за время его сорокалетнего «управления» министерством, от Карла Васильевича ровно ничего не зависело. Мы зна-

ем из позднейших свидетельств, что он понимал зловещий смысл искусственного раздувания со стороны Наполеона III этого выдуманного «вопроса» и догадывался об опасности системы ответных провокаций со стороны Николая. О позднейшей посылке Меншикова в Константинополь его так же мало спрашивали, как любого писаря, прозябавшего на задворках его канцелярии. Теперь, в 1852 г., Карлу Васильевичу опять наскоро приходилось писать и писать бумаги о приснобдаженной деве Марии, о ее храме, о том, кому поправлять купол в церкви «св. Гроба», и почему будет так неутолимо прискорбно для истинно-православного сердца, если этот ремонт попадет в руки католиков. А парижский жуир, авантюрист и карьерист, министр Наполеона III Друэн де Люис упорно утверждал, что никак невозможно французской империи уступить православным монахам заботу о поправке этого иерусалимского купола без тяжкого ущерба для блага католицизма и для чести Франции. И все это оба они проделывали, сохраняя самый деловой и серьезный вид. Оба они, и Нессельроде и Друэн де Люис, исполняли волю своих повелителей, и оба знали, что дело вовсе не в вифлеемской звезде, не в ключах от храма и не в иерусалимском куполе. Вот что говорил тот же Друэн де Люис спустя всего несколько месяцев после начала осады Севастополя, правда, говорил не для печати, а близкому человеку: «Вопрос о святых местах и все, что к нему относится, не имеет никакого действительного значения для Франции; весь этот восточный вопрос, возбуждающий столько шума, послужил императорскому (французскому — *Е. Т.*) правительству лишь средством расстроить континентальный союз, который в течение почти полувека парализовал Францию. Наконец, представилась возможность посеять раздор в могущественной коалиции, и император Наполеон схватился за это обеими руками» [59]. Под могущественной коалицией тут понимались Россия, Англия, Австрия и Пруссия. Наполеон III всегда страшился возможности воскрешения этого четверного союза, победившего в 1814—1815 гг. его дядю, основателя династии Бонапартов.

В Англии еще в самом конце 1852 г. несколько недоумевали по поводу внезапного обострения вопроса о «святых местах». И министр иностранных дел уходящего в отставку кабинета лорда Дерби, лорд Мэмсбери, давал последнюю инструкцию британскому послу во Франции лорду Каули, чтобы тот убедил Друэн де Люиса в полной будто бы невозможности для Николая I уступить по этому вопросу. В Англии в тот момент (в конце декабря 1852 г.) еще не предвидели ни январских и февральских разговоров царя с Сеймуром, ни того крутого оборота, который Наполеон III умышленно желает придать восточным делам вообще, а франко-русским контроверзам в частности.

Поэтому так наивно звучат глубокомысленные размышления лорда Мэмсбери о том, что скорее царь отрешится от своего «деспотического принципа» и заведет у себя «русскую палату общин», чем уступит хоть что-нибудь по вопросу о «святых местах» [60]. Но в одном лорд Мэмсбери совершенно прав: он не очень верит, что Наполеон III продолжает и теперь эту дипломатическую борьбу *только*, чтобы угодить клерикальной партии, для которой он уже и без того сделал достаточно [61].

Задним числом русская дипломатия впоследствии признала (устами барона А. Г. Жомини), что мнимая сдержанность английского кабинета «держала нас в обманчивом сознании безопасности» в начале конфликта [62]. Но даже и этот официальный экспонент точки зрения царской дипломатии на Крымскую войну, пишущий, когда, казалось бы, все карты, которыми кабинет Эбердина вел игру, были выявлены, продолжает повторять сказку о дружеских чувствах английского премьера и о своевольном, не признающем своего начальства, злобном враге России Стрэтфорде, который совсем забрал в плен благожелательного, но мало энергичного премьера.

А между тем могущественные социально-политические и экономические интересы английской буржуазии решительно были на стороне политики Пальмерстона, т. е. на стороне союза с Наполеоном III против Николая I. Вскоре после провозглашения империи во Франции, когда уже восточный вопрос начинал волновать европейскую дипломатию, в Париж прибыл лондонский лорд-мэр в сопровождении именитых представителей лондонского Сити. Лорд-мэр вручил Наполеону III в самых теплых и почтительных выражениях составленный адрес с благодарностью за «восстановление порядка» во Франции и с пожеланиями всяких успехов. Адрес был подписан представителями *четырех тысяч* наиболее значительных банков, промышленных, торговых, транспортных и т. п. фирм и предприятий Великобритании. Эта внушительная демонстрация английской крупной буржуазии, как утверждает министр внутренних дел французской империи Персиньи, укрепила в Наполеоне III окончательную уверенность, что Англия не оставит его на полдороге в разгорающейся постепенно схватке с Николаем [63].

Николай всего этого не предвидел и не понимал. Да его послы: и Бруннов в Лондоне, и Киселев в Париже, и его канцлер Нессельроде, дипломаты старого типа, и сами не учитывали всего значения активного влияния, которое крупная буржуазия уже давно начала оказывать на британскую внешнюю политику.

9

Самоуверенность царя возрастала, в особенности после венгерской кампании, с каждым годом все более и более. В 1852 г.

обычные красносельские маневры прошли безукоризненно, конечно, с точки зрения внешнего блеска, исправнейшей шагистики «печатанья носком», церемониальных маршей и т. д. Царь жил снова в чаду силы, славы, успеха. «„Чужестранцы“ (присутствовавшие на маневрах генералы и офицеры иностранных армий — *Е. Т.*) просто осовели, они даже остолбенели,— им это здорово. Смотрами и учениями гвардии я отменно доволен, пехота и артиллерия стреляли в цель очень хорошо, страшно!!» Так делился Николай своим восторгом с Паскевичем [64]. Да и сам трезвый и осторожный Паскевич изредка вторил ему тогда точь-в-точь такими же словами, и Некрасов правдиво передает его мысли и настроения и даже его точные слова после одного из таких смотров: «Сам фельдмаршал воскликнул в экстазе: Подавайте Европу сюда!»

Вплоть до начала войны 1853 г. и особенно после подавления венгерского восстания в Европе считалось аксиомой, что Россия обладает *«подавляющей военной силой»*, а ее дипломатия — *«несравненной ловкостью»*. Это признал именно в таких выражениях и английский министр иностранных дел лорд Кларендон, тут же и утешивший слушавшую его палату лордов именно тем, что начавшаяся война этот престиж разрушила [65]. Но это утешение относилось к 1854 г., а в 1852 г. авторитет и сила Николая I признавались официальной Англией даже не в полной мере, а свыше всякой меры.

А фимиам лести и обмана сгущался вокруг царя все более и более, и то подведение итогов 1852 г., которое было преподнесено царю его канцлером, могло лишь укрепить в Николае давно им владевшее и с годами все укреплявшееся убеждение в собственной дипломатической непогрешимости.

Если бы кто хотел отдать себе отчет в том, до каких пределов доходили умственное ничтожество, царедворческая угодливость, самое низменное подслуживание канцлера Российской империи Нессельроде как раз за несколько недель до первого акта Крымской войны, т. е. до вторжения русских войск в Дунайские княжества, тому следовало бы только внимательно прочесть «Всеподданнейший отчет государственного канцлера за 1852 г.» Этот отчет составлялся весной 1853 г., когда Меншиков уже бушевал в Константинополе, когда Николаем уже был совершен ряд гибельных ошибок, но когда все-таки еще было время приостановиться. И тут-то сказались (как и дальше продолжали сказываться) результаты тридцатилетнего подбора подобострастных лакеев, камердинеров, воров, шутов, льстецов и систематического отстранения сколько-нибудь честно мыслящих и самостоятельно ведущих себя людей. Все обстоит прекрасно. Нелепая возня из-за титула Наполеона III — верх мудрости со стороны российского самодержца. Обострение вопроса

о «святых местах» тоже ничего опасного и симптоматического в себе не заключает: это все происки и проявления беспокойного характера французского посла в Константинополе Лавалетта. Но вот теперь назначен новый посол, нрава кроткого и миролюбивого, г. де Лакур, и дело пойдет на лад [66]. Что касается Австрии, то и тут все очень удовлетворительно, и интересы наши и австрийские «идентичны». И Англия ведет себя тоже прямо так, что не нахвалишься ею. Вовсе Англия не сочувствует Наполеону III и не намерена ему помогать в Константинополе, и лорд Эбердин, кроме отрадных чувств, ничего в российском канцлере не возбуждает, а если английский представитель в Константинополе действительно иной раз заслуживает порицания, то ведь это он, очевидно, поддается своему собственному наитию (livré jusqu'à présent à ses seules inspirations). Но вот теперь он, того и гляди, получит от Эбердина «инструкции, составленные в лучшем смысле (nouvelles instructions conçues dans le meilleur sens)», все придет в полный порядок. Ложь и лесть, притворный, беспредельный оптимизм, умышленное закрывание глаз на все неприятное и опасное, бессовестное одурачивание царя, который за прискорбную правду может разгневаться, а на приятную ложь никогда не гневается,— вот что характеризует этот последний «благополучный» отчет за последний «благополучный» год николаевского царствования. Когда Николай Павлович читал эту французскую прозу своего канцлера, кончавшуюся выводом о мировом, державном первенстве русского царя, французский флот уже подошел к Саламинской бухте, Стрэтфорд-Рэдклиф уже овладел окончательно Абдул-Меджидом и всем диваном Порты, а в Вене как дипломатическое, так и военное окружение Франца-Иосифа ежедневно твердило молодому австрийскому императору, что русское нападение на Турцию повлечет за собой русское же нападение на Австрию и что необходимо занять немедленно враждебную России позицию, так как в противном случае Наполеон III может лишить Австрийскую империю ее владений в Северной Италии — Ломбардо-Венецианской области. Это глубоко лживое по существу и роковое по сказывающемуся в нем полному ослеплению затушевывание истины пронизывает весь доклад Нессельроде. Канцлер не перестает умиляться *интимности* трех истинно монархических дворов: России, Австрии, Пруссии. Конечно, Австрия в качестве католической державы не могла «нам» оказать особенно открытого содействия в споре с Наполеоном III о «святых местах», но это ничего, она «с нами». В Пруссии тоже все обстоит отлично, а главное, обе эти германские державы благоговейно внимают мудрым словам императора всероссийского и его советам не ссориться и помнить об общем враге — «Франции («La France est là! Prenez garde!»).

Откуда Нессельроде это взял? В самом ли деле он до такой уж степени ровно ничего не понимал в происходящих событиях, в наступающих крутых переменах? Себя ли самого убаюкивал лживый и льстивый раб своими умильными речами или сознательно обманывал властелина и деспота, избалованного долгим счастьем, беспредельной властью, безмерным низкопоклонством? Никто уже не даст ответа на этот вопрос, да он и не имеет исторического значения.

Непрерывные смотры, разводы, военные торжества по малейшему поводу и вовсе без повода, маневры в Красном Селе — все эти настойчивые демонстрации русской военной силы в 1852 г. не только обращали на себя внимание британского посла Гамильтона Сеймура, но, как он определенно признавался, прямо беспокоили его. И тем более беспокоили, что их не военный, а чисто политический смысл был ему, по его словам, вполне ясен. Столь же несомненным являлось для Сеймура, по его словам, и политическое значение присутствия в Петербурге и близости к Николаю (terms of close intimacy) австрийских и прусских генералов, в которых Николай усматривал своих «товарищей» (comrades). Любопытно и то, что царь *сам* счел целесообразным довести до сведения Сеймура, что он в тесной дружбе с этими австрийскими и прусскими «товарищами». Сеймур хочет надеяться, что это царь готовится на случай агрессивной политики со стороны Франции, но посол не скрывает от своего начальства своих опасений, не обратится ли русская воинская сила в опасность «для конституционных свобод Европы». Так как в 1852 г. никаких «конституционных свобод» на континенте Европы уже не существовало, то, очевидно, Сеймур имеет в виду именно Англию [67].

Но оружием в Петербурге начинали бряцать, имея в виду пока прежде всего не Англию, а Турцию, хотя речь уже заходила и об Англии. В русских военных сферах в декабре 1852 г., размышляя о шансах к благополучному занятию Константинополя, приходили к заключению, что это мыслимо осуществить лишь при условии полной внезапности нападения. Если начать спешно и специально вооружать для этой цели Черноморский флот, то из этого ничего не выйдет хорошего: английский адмирал, крейсирующий в Архипелаге, всегда узнает об этих экстренных вооружениях раньше, чем русские отплывут для захвата Босфора... «Из Одессы известия в двое суток доходят до Константинополя, а из сего порта в три или четыре дня в Мальту», и русские, явившиеся к Босфору, встретят отпор со стороны турок и со стороны англичан, *«а может быть»*, и со стороны французов [68]. Единственное средство — вооружить флот «в обыкновенное время» поэскадренно, не возбуждая подозрений, и внезапно явиться к Босфору.

С мыслью о внезапном нападении, заметим кстати, носились не только в 1852, но и в 1853 г. В июне 1853 г. в Севастополе готовился «десантный отряд», силой в 15 652 рядовых, 2032 унтер-офицера, 262 обер-офицера, 26 штаб-офицеров, при пяти генералах [69]. Отряд имел 16 батарейных и 16 легких орудий.

Десант на Босфоре из Одессы и Севастополя! Поход через Балканы! Эти вопросы при всей их колоссальной важности стояли на второй пока очереди. Прежде всего следовало решить основную дипломатическую проблему: как обезвредить единственную (как казалось Николаю) возможную противодействующую силу, которая одна только может защитить разлагающуюся Турцию? Австрия и Пруссия — покорные союзники. Наполеон III поостережется всерьез начать борьбу с русским царем и рисковать своим и без того еще шатким троном. Остается Англия. Если сговориться с ней насчет раздела добычи, то проливы и Балканы достанутся России. То, что не удалось ни Екатерине, ни Александру, ни ему самому, Николаю, в 1828—1829 гг. при помощи оружия, то, чего царь хотел достигнуть дипломатическим путем в 1833 г. в Ункиар-Искелесси, должно быть достигнуто теперь, в наступающем 1853 г. Обстоятельства как нельзя более благоприятны: в декабре 1852 г. пало как раз министерство лорда Дерби и главой правительства стал «друг» царя, лорд Эбердин, который так ласково выслушивал уже в 1844 г. в Виндзоре царские проекты о наследстве турецкого «больного человека». Правда, есть и темные пятна. Враг Пальмерстон вошел в кабинет Эбердина. Но он занимает место министра внутренних дел, значит, не с ним придется иметь дело, а с министром иностранных дел, лордом Джоном Росселем, который не пойдет против Эбердина. Не скоро еще могут совпасть такие благоприятные условия для решительного шага, для исторического дерзания. Николай решился.

Турция — больной человек. Нужно все предвидеть, даже распадение Оттоманской империи. Англии и России следует заблаговременно сговориться, чтобы события не застали их врасплох. Царь говорил, еще не очень пока уточняя своих предложений.

Вот наиболее важное место в этом разговоре царя с Сеймуром, прямо относящееся к проливам и Константинополю: «Теперь я хочу говорить с вами как друг и как джентльмен. Если нам удастся прийти к соглашению — мне и Англии,— остальное мне не важно (pour le reste peu m'importe), мне безразлично то, что делают или сделают другие. Итак, говоря откровенно (usant donc de franchise), я вам прямо говорю, что если Англия думает в близком будущем (un de ces jours) водвориться в Константинополе, то я этого не позволю. Я не приписываю вам этих намерений, но в подобных случаях предпочтительнее говорить

ясно. Со своей стороны я равным образом расположен принять обязательство не водворяться там, разумеется, в качестве собственника; в качестве временного охранителя — дело другое (en dépositaire je ne dis pas). Может случиться, что обстоятельства принудят меня занять Константинополь, если ничего не окажется предусмотренным, если нужно будет все предоставить случаю». Царь развил свою мысль. Ни русские, ни англичане, ни французы не завладеют Константинополем. Точно так же не получит его и Греция. «Я никогда не допущу этого». «Еще меньше я допущу распадение Турции на маленькие республики».

Вместо этого Николай предложил Сеймуру и британскому правительству такой план: Дунайские княжества (Молдавия и Валахия) образуют *уже и теперь* фактически самостоятельное государство *«под моим протекторатом»*, это положение будет продолжаться. То же самое будет с Сербией; то же самое с Болгарией. «Что касается Египта, то я вполне понимаю важное значение этой территории для Англии. Тут я могу только сказать, что если при распределении оттоманского наследства после падения империи вы овладеете Египтом, у меня не будет возражений против этого. То же самое я скажу и о Кандии (острове Крите — *Е. Т.*). Этот остров, может быть, подходит вам, и я не вижу, почему ему не стать английским владением». Прощаясь с Гамильтоном Сеймуром, Николай сказал: «Хорошо,— так побудите ваше правительство написать об этом предмете, написать более полно, и пусть оно сделает это без колебаний. Я доверяю английскому правительству. Я прошу у них не обязательства, не соглашения; это свободный обмен мнений и, в случае необходимости, слово джентльмена. Для нас это достаточно».

Жребий был брошен. Сэр Гамильтон Сеймур слушал, почти не подавая реплик. Он казался взволнованным и, несомненно, говорил правду, когда впоследствии утверждал, что был в самом деле потрясен и неожиданной откровенностью русского императора и многозначительным содержанием его слов.

С этого вечера и начинается непрерывная смена все более и более ускоренным темпом тех событий, которые привели Европу и Россию к кровавой катастрофе.

Глава II

ПОСОЛЬСТВО МЕНШИКОВА И РАЗРЫВ СНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ТУРЦИЕЙ 1853

1

Предложение Николая о полюбовном разделе Турции, высказанное им впервые 9 января 1853 г. в разговоре с сэром Гамильтоном Сеймуром и повторенное и развитое при нескольких последующих встречах посла с царем в январе (особенно 14 января) и феврале, встретило в Лондоне сразу же решительно враждебный прием. Чтобы понять это, необходимо напомнить о некоторых общих принципах британской восточной политики в тот момент и мнениях, царивших в Лондоне.

Захват Россией проливов означал, с точки зрения английских дипломатов типа Пальмерстона, во-первых, наступление эры полной неуязвимости русского государства со стороны Англии; во-вторых, этот захват не мог не явиться прелюдией к полному завоеванию Турции; в третьих, это завоевание Турции, конечно, должно было сопровождаться несравненно более легким для Николая подчинением также и Персии, которая уже и в конце 30-х годов, по прямому подстрекательству со стороны русского посланника графа Симонича, пошла на Герат, чтобы расчистить для русских дорогу в Индию. Следовательно, отдать царю Турцию значит отдать ему Индию. А потерять Индию для Англии значит превратиться во второстепенную державу. Поддаться на соблазнительное предложение царя — поделить Турцию между Англией и Россией — значит, по мнению британского кабинета, пойти на коварнейший и опаснейший для Англии обман. Царь предлагает Англии Египет и Крит. Но если бы даже поторговаться и получить еще при этом дележе Сирию, которую Николай охотно отдаст, чтобы надолго поселить и укрепить вражду между Англией и Францией, если даже, кроме Сирии, Англия получит еще и Месопотамию, которую царь вовсе пока не предлагает англичанам, какова же будет цена всем этим английским приобретениям? Захватив Малую Азию от

Кавказа до азиатского берега Босфора, обеспечив за собой прочный тыл как на Кавказе, так и на Балканском полуострове, где Сербия, Болгария, Черногория, Молдавия, Валахия «превратятся в русские губернии», царь может спокойно послать затем несколько дивизий к югу от Малой Азии, эти войска без особых усилий выметут англичан прочь из Месопотамии, а если царю будет угодно, то и из Египта, и Сирии, и Палестины. Словом, этот предлагаемый Николаем дележ Турции есть лишь дипломатический маневр, прикрывающий грядущее полное поглощение Турции Россией. Слишком неодинаковы будут условия *после* дележа для России и Англии, слишком сильна Россия своей географической близостью и связанностью с турецкими владениями и своей огромной сухопутной армией. «Если садишься ужинать с чертом, запасайся очень длинной ложкой, иначе на твою долю ничего не останется»,— эту старинную английскую поговорку привел впоследствии один публицист-русофоб по поводу предложения Николая о дележе. Из двух соперников один опасался, что ему меньше достанется и что другой отнимет у него потом еще и его долю добычи.

Такова была истинная почва для отказа и его мотивировка в недрах английского правительства. В лондонском Сити уже давно жаловались на препятствия, которые Россия чинила английской торговле и в Средней Азии и даже в Персии, и боялись также, что в случае захвата Россией Дунайских княжеств, Англия лишится крупного хлебного импорта и будет слишком зависеть от цен на русский хлеб. Сомневались также, чтобы прекраснодушные ожидания Ричарда Кобдена оправдались и чтобы русская власть либерально допустила англичан сбывать товары в завоеванной Турции. Маркс, когда война уже была в разгаре (2 января 1855 г. в «Neue Oder-Zeitung»), высказал еще одно предположение, почему промышленная буржуазия особенно горячо стояла за войну: ей хотелось отнять у аристократии еще одну позицию, которую аристократы пока удерживали за собой, именно армию, заполнить собой командный состав, что во время войны сделать было гораздо легче.

Одним словом, в кабинете Эбердина, отражавшем разные оттенки настроений и интересов правящих, владельческих, шире говоря, имущих классов, боролись два течения: одно было представлено главой кабинета — лордом Эбердином, другое — министром внутренних дел Пальмерстоном и примыкавшими к нему двумя министрами, последовательно стоявшими во главе министерства иностранных дел: сначала лордом Джоном Росселем, потом, с 23 февраля 1853 г., лордом Кларендоном. Представители обоих течений твердо стояли на том, что предложение Николая о дележе неприемлемо и что ни прямо, ни косвенно нельзя соглашаться на отдачу Турции и прежде всего про-

ливов в русские руки. Но Эбердин продолжал надеяться, что возможно будет обойтись без войны и что Николай вовремя поймет неисполнимость своих желаний и отступит. Эбердин, старый консерватор, страшившийся чартистов гораздо больше, чем Николая, вообще очень хотел бы, чтобы Николай не впутывался в это опасное для самого царя завоевательное предприятие: английской аристократической реакции царь был необходим как щит против революции и возможная в будущем охрана. Князь В. П. Мещерский в своих воспоминаниях говорит, что Гамильтон Сеймур был опечален именно по тем мотивам, что Николай ставит себя в опасное положение. Эти настроения у Эбердина были налицо уже в 1844 г. при посещении царем Англии и первых его разговорах о Турции. Но Пальмерстон и руководимый им лорд Джон Россел стояли за решительный тон в переговорах с царем, вдруг так откровенно выразившим свои завоевательные намерения. Чартизм, еще пугавший их в 1840-х годах, теперь, в 1853 г., казался им уже полумертвым, и дружба с царем поэтому менее нужной.

Россел остановился на мысли ответить царю разом: и на предложение о дележе и на домогательства русской дипломатии, чтобы Англия стала на сторону Николая в обострившемся, как сказано, именно в январе 1853 г. споре с Наполеоном III о «святых местах». Уже 9 февраля (1853 г.) последовала «секретная и конфиденциальная депеша» английского статс-секретаря по иностранным делам лорда Джона Россела сэру Гамильтону Сеймуру в ответ на сообщение посла о разговоре с Николаем.

Ответ Англии был категорически отрицательный. Джон Россел прежде всего отвергал, будто Турции угрожает серьезный кризис и будто она близка к разрушению. Затем, переходя к спору о «святых местах», английский министр выражал мысль, что этот спор вовсе не касается Турции, а касается только России и Франции. В этом месте царь сделал пометки: «Эти споры могут привести к войне; эта война легко может окончиться падением Оттоманской империи, особенно, если она последует вследствие творящихся в Черногории ужасов, к которым христианское население не может остаться равнодушным, предвидя, что его ожидает та же участь». Россел пишет далее, что когда английский король Вильгельм III и французский — Людовик XIV заключили соглашение по поводу испанского наследства, то они могли предвидеть близкое наступление момента, к которому это соглашение должно было относиться: смерть безнадежно больного испанского короля Карла II. Но можно ли с такой же уверенностью считать, что скоро наступит распад Турции? Нет, нельзя. А если так, то стоит ли Англии и Николаю уже сейчас заключать какие-то соглашения о Турции? Нет, не стоит. Дальше, по всем пунктам Россел выражает пол-

ное несогласие с Николаем, в частности, насчет даже временного перехода Константинополя в руки царя. Характерно, что на том месте письма Россела, где говорится, что не только Франция, но и Австрия отнесется с подозрительностью к подобному соглашению между Англией и Россией, Николай сделал пометку: «Что касается Австрии, то я в ней уверен, так как наши договоры определяют наши взаимные отношения» [1].

На основании этих и аналогичных пометок царя граф Нессельроде имел с Сеймуром новое собеседование 21 февраля 1853 г. Нессельроде прежде всего успокаивает лорда Россела: разговор Николая с Сеймуром носил «интимный», как бы частный характер (en s'entretenant familièrement). Вообще же речь идет не о том, чтобы угрожать Турции, но, напротив, о том, чтобы защитить сообща . Турцию от французских угроз. Вся эта устная нота имеет характер некоторого отступления от первоначальной, откровенно-захватнической позиции, занятой царем в первом разговоре с Гамильтоном Сеймуром [2]. Важно было выяснить, как относится Англия к Наполеону III.

Еще 2 января 1853 г. Нессельроде написал русскому послу в Лондоне письмо, которое должно было удивить осторожного барона Бруннова и своим содержанием и даже оригинальной формой изложения. Начинает канцлер так: «Мне нужно поделиться с вами мыслью, которая нас озабочивает и на которую вы могли бы, может быть, в той форме, которую найдете подходящей, обратить конфиденциально внимание английского министерства. Эта мысль, я соглашусь с вами, покоится на чистейшей (pure et simple) гипотезе, но на такой важной гипотезе, что я не считаю ее вовсе недостойной, по крайней мере, хоть рассмотрения; эта мысль, мой дорогой барон, заключается в том, что как бы примирительно мы ни поступали и ни говорили, следует бояться, что рано или поздно нам не удастся избежать войны, потому что, принимая во внимание интересы особого честолюбия нового императора французов, ему нужны осложнения во что бы то ни стало и что для него нет лучшего театра войны, как на востоке, потому что падение Оттоманской империи, которого не хотим ни мы, ни Англия, для него совершенно безразлично, но как средство увеличить свою империю, как повод переделать нынешнее распределение территорий (падение Турции — *Е. Т.*) входит в его тайные расчеты и стремления». Такова увертюра.

Дальше Нессельроде открывает в своем письме кавычки, и уже от имени Наполеона III ведет речь, которая занимает полторы страницы из двух страниц большого формата, составляющих это письмо [3]. Говоря все время в первом лице от имени Наполеона III, Нессельроде приписывает императору хитроумный план: провоцировать войну и раздел Турции, а

потом выменять на части турецкой территории, отобранные у султана, те земли, которые Наполеон III и присоединит к Франции: Бельгию, Савойю, рейнские земли. «Согласитесь, мой дорогой барон,— кончает Нессельроде,— что если этот план не реален, то по крайней мере он очень вероятен». Но что же делать, чтобы воспрепятствовать честолюбивому новому Бонапарту? Россия одна ничего тут не может поделать: как бы твердо она ни говорила в Париже, ничего из этого не выйдет, потому что Наполеон III сам хочет войны. Единственно, что его может удержать, это если Англия остановит его. А сделать это Англия может, став в Константинополе на сторону России и заставив турок уступить требованиям России. В Париже пусть Англия сильно возвысит голос и покажет французскому императору, что он не может слишком предаваться иллюзиям о союзе с Англией. Нессельроде, как видим, все еще хлопочет о «святых местах» и только поручает Бруннову искать английской помощи в этом вопросе. Но не успел Бруннов ознакомиться с этим посланием, как в Петербурге произошло событие, о котором «маленький канцлер», как его ласково называли в дипломатическом корпусе, очевидно, и не думал и о возможности которого не подозревал, когда так красноречиво излагал Бруннову тайные мысли Наполеона III о разрушении Турции. Об этом предмете заговорил, как мы видели, в том же январе 1853 г. другой император, но не в Париже, а в Петербурге, и не от имени Наполеона III, а от своего собственного имени. Письмо Нессельроде к Бруннову устарело прямо до курьеза уже спустя несколько дней после того, как оно дошло до адресата.

Нессельроде знал, что уже с 1839—1840 гг., а в особенности теперь, в конце 1852 г. и начале 1853, все расчеты Николая зиждутся на предложении, что никакого настоящего, прочного сближения между Англией и Францией нет и не будет никогда и что уж во всяком случае никогда племянник Наполеона I не простит англичанам пленения его дяди на острове св. Елены.

А в то же самое время, почти в те же февральские дни 1853 г., когда в Петербурге Николай откровенно разговаривал, а Сеймур внимательно слушал, Наполеон III писал собственноручное письмо лорду Мэмсбери: «Мое самое ревностное желание поддерживать с вашей страной, которую я всегда так любил, самые дружеские и самые интимные отношения», и Мэмсбери ему отвечал, что пока будет существовать союз Англии и Франции, «обе эти страны будут *всемогущи* (both allpowerful)» [4].

В Англии знали об этом ошибочном мнении царя касательно невозможности сближения Англии с Францией, и предста-

10*

вители того течения, которое в кабинете Эбердина было возглавляемо лордами Пальмерстоном и Кларендоном, а в британской дипломатии лордами Стрэтфордом-Рэдклифом и Каули, очень хорошо понимали, до какой степени опасна для царя эта ошибка, и делали все от них зависящее, чтобы не в официальных нотах, конечно, а более тонкими способами и окольными путями утвердить Николая в этом заблуждении и провоцировать его на самые рискованные действия. С этой точки зрения очень любопытен и показателен один поступок лорда Каули, британского посла в Париже, поступок, который был бы крайне загадочным, если бы не существовало некоторого весьма приемлемого объяснения.

Лорд Каули, крайне замкнутый, молчаливый, искушенный в интригах, подозрительный и необычайно осторожный, обдумывавший каждое свое слово дипломат, прибыл на несколько дней в 1853 г. в отпуск в Лондон и здесь в беседе с бароном Брунновым, с которым не имел ни до, ни после этого случая ни малейшей близости, высказал с абсолютно исключительной и изумительной откровенностью и даже болтливостью свое мнение о новом императоре французов, при котором он, Каули, и был аккредитован: «Никто не имеет на него (Наполеона III — *Е. Т.*) влияния. Его министры — ничтожны. Это делает в Париже отношения очень затруднительными. Наполеон поддерживает частную корреспонденцию со своими главными агентами за границей. Он пересылает к ним прямо инструкции, остающиеся неизвестными его министру иностранных дел. Друэн де Люис не имеет влияния, он робеет пред Наполеоном и неспособен выдержать серьезный спор с ним... У меня нет большого доверия и к г. Морни...»

Лорд Каули поспешно, с самой беспечной, нисколько ему не свойственной ветреностью в выборе выражений и с неправдоподобным легкомыслием, если это не делалось со специальной целью сбить Бруннова с толку, утверждал, что все окружение Наполеона III, да и сам он отчасти в своих политических расчетах интересуются больше всего личной наживой и что их политика зависит от спекуляций на бирже. А так как война неблагоприятна для промышленных и финансовых спекуляций, то лорд Каули надеется на мирные наклонности нового императора [5]. Вообще же Каули считает престол Наполеона III непрочным. Бруннов, а за ним Нессельроде и Николай немедленно должны были от таких речей почувствовать большое облегчение: ведь дело было как раз тогда, когда в Петербурге уже начинали снаряжать посольство Меншикова в Константинополь... Им показалось почему-то вполне естественным, что лорд Каули, для которого, как и для всякого тогдашнего английского дипломата, пост посла в Париже был самой заманчивой мечтой

и венцом карьеры, с такой истинно мальчишеской болтливостью ни с того, ни с сего ставит на карту свое блестящее служебное положение. Лорд Каули не удовольствовался этими откровенностями, но еще «доверчиво» присоединил к ним по секрету сообщение, что лорд Эбердин не верит Наполеону III, опасается французского нашествия на Англию и что в Англии хотят усиления вооружений против Франции. Мало того: Каули «*спешит сказать*» его превосходительству (т. е. Бруннову), что усилия Кобдена ослабить воинственные против Франции настроения, существующие в Англии, «остаются без малейшего эффекта». Его превосходительство мог быть в полном восхищении от такого положения вещей и, главное, от этой совсем неожиданной неукротимой «враждебности» к Наполеону III со стороны официально при нем же аккредитованного английского посла. Замечу, кстати, что лорд Каули пробыл в общем *шестнадцать лет* при Наполеоне III английским послом и всегда был врагом России и дружески расположенным к Наполеону дипломатом.

Один за другим в этот критический миг до Николая из Англии доносились, спеша, соперничая друг с другом в откровенности, превосходя друг друга в дружелюбии, советы, мнения, заявления, излияния английских министров, послов, ответственнейших людей. И все они как бы говорили царю: «дерзай».

Посторонний и очень умный наблюдатель, бывший саксонским представителем и в Петербурге и (с 1853 г.) в Лондоне, граф Фитцтум фон Экштедт пишет в своих воспоминаниях: «Чтобы понять происхождение Крымской войны, недостаточно приписывать ее несвоевременному честолюбию императора Николая. Это честолюбие старательно воспламеняли и искусственно поддерживали (studiedly inflamed and artfully fomented). Луи-Наполеон или его советники с самого начала рассчитывали на восточный вопрос совершенно так, как торреадор (the bull fighter) рассчитывает на красный платок, когда он хочет разъярить животное до высочайшей степени».

И именно с соответствующими заданиями — провоцировать конфликт — и был послан в свое время в Константинополь Лавалетт. Английский министр иностранных дел Кларендон прямо так впоследствии и заявил, что в свое время Лавалетта отправили из Парижа французским послом в Константинополь именно «в качестве agent provocateur», агента-провокатора [6]. А уж кому и было это знать, как не лорду Кларендону, который уже в феврале 1853 г., сейчас же после получения донесений Сеймура о разговорах с царем, заключил секретное вербальное соглашение с французским послом в Лондоне графом Валевским о том, что обе державы не должны отныне ничего ни говорить, ни делать в области восточного вопроса без предварительного соглашения. «Мы заключили наш союз

как для переговоров, так и имея в виду возможность войны»,— поясняет граф Валевский, излагая все это Фитцтуму фон Экштедту [7]. Валевский при этом явно старался избавиться от упрека в сознательном провоцировании Николая, и, говоря с саксонским дипломатом, он утверждал, что никакой тайны от России французская дипломатия не делала из факта англо-французского сближения, так что Николаю давалась возможность дипломатического отступления, без войны. В марте 1853 г. на одном официальном обеде Бруннов, французский посол граф Валевский и министр иностранных дел Кларендон оказались соседями по столу. «Мы (Валевский и Кларендон — *Е. Т.*) ничего не сделали, чтобы скрыть от него (Бруннова — *Е. Т.*) наше соглашение; если он ничего не знал, так это потому, что он не хотел ничего знать... в продолжение всего этого обеда мы говорили о восточных делах очень громко, так, чтобы быть услышанными Брунновым, как если бы мы хотели нарочно сообщить ему секрет нашего сближения»,— так утверждал граф Валевский спустя год, рассказывая об этом характерном эпизоде Фитцтуму фон Экштедту [8].

Могло быть, что Валевский (не Кларендон) действительно хотел быть «услышанным» за этим обедом; могло даже быть, что и в самом деле Бруннов этот разговор услышал. Не могло случиться только одно: чтобы Бруннов, например, забил тревогу, написал немедленно Нессельроде о всем услышанном; и уже совсем было немыслимо, чтобы российский канцлер поспешил к Николаю и предостерег его, указав на роковое ослепление царя, на возможность грозной антирусской коалиции. Слишком опытными были оба они царедворцами, чтобы начать доказывать царю, что он давно и очень грубо ошибается и что его, а с ним Россию подстерегает большая и неожиданная опасность.

2

После отказа Англии Николай решил действовать напролом, т. е. ухватиться за последовательные провокации со стороны Наполеона III по вопросу о «святых местах», затеять на этой почве уже непосредственное сначала дипломатическое, потом, если понадобится, военное нападение на султана и добиться такого положения, когда фактически Турция признала бы в той или иной мере русский протекторат. Это сделать казалось тем легче, что Наполеон III в это самое время всячески усиливал свои провокации по адресу царя.

В январе 1853 г. уполномоченный посланец султана Афиффбей сообщил в Иерусалиме католическому и православному духовенству, какие реликвии поступают отныне в ведение католиков, а какие в ведение православных.

Католическая серебряная звезда (с отчеканенным французским гербом) с большой и нарочитой торжественностью была водружена в Вифлееме в пещере, у входа в нишу, где, по легенде, были ясли новорожденного Христа. Вместе с тем и столь же торжественно ключ от главных ворот церкви «св. Гроба» в Иерусалиме и ключ от восточных и северных ворот Вифлеемской церкви также были переданы католическому епископу. Все это было устроено с намеренно-вызывающей шумихой [9]. Раздражение среди православного духовенства и православных паломников было очень большое, а французское посольство, консулы и служебный штат при консульствах сделали все от них зависящее, чтобы придать этому событию характер полного торжества Франции над Россией. Николай, который на эти монашеские пререкания смотрел тоже (как и Наполеон III) прежде всего с политической точки зрения, как на один из способов добиться утверждения своего протектората над значительной частью турецких подданных, тотчас же принял вызов.

На провокацию со стороны Наполеона III в Петербурге решено было ответить гораздо более значительной провокацией. Дело явно шло уже о пробе сил, и Николай решил не отступать ни в коем случае. Морской министр князь Александр Сергеевич Меншиков был позван к царю и получил приказ отправиться в Константинополь с категорическими требованиями к султану Абдул-Меджиду.

Конечно, как и в целом ряде других случаев, внутренняя политика николаевской России на каждом шагу мешала предпринятой дипломатической борьбе.

В самом деле, защитницей свободы веры в Турции выступала царская власть. Об угнетении веры в Турции осмеливался говорить митрополит московский и коломенский Филарет Дроздов, православный Торквемада, отличавшийся от испанского своего прототипа главным образом лишь отсутствием страстной убежденности и наличием смиренномудрого, чиновничьего, правда, глубоко неискреннего, как мы теперь знаем, преклонения перед монархом, которого он всю свою жизнь терпеть не мог. О защите христианских братьев, притесняемых нечестивыми агарянами, и о свободе веры в Турции хлопотала и придворная славянофилка Антонина Дмитриевна Блудова, озабоченно справлявшаяся *в это самое время* у своих московских корреспондентов о том, правда ли, что на Рогожском кладбище в самом деле вполне исправно запечатаны старообрядческие молельни. Фрейлину это очень беспокоило вследствие ее опасения, что только зазевайся московская полиция, того и гляди, старообрядцы как-нибудь вдруг заберутся к своим запечатанным и запрещенным иконам. Преследуя русских старообрядцев, она осмеливалась разглагольствовать о защите свободы веры!

Когда уже после крымских поражений, накануне падения Севастополя, языки несколько развязались, А. М. Горчакову была подана одним из немногих тогда знатоков турецких дел, находившихся в Турции в 1852—1853 гг., обширная записка. В ней разоблачается (задним числом, правда) много официальной лжи, имевшей хождение именно тогда, когда Николаю требовалось снабдить готовившееся нападение на Турцию приличествующим идеологическим основанием. Автор записки Михаил Волков останавливается, между прочим, на двух моментах. Во-первых, никто православную религию в Турции не гнал в эти годы, и, во-вторых, православные иерархи в Турции не только не просили царя о защите, но больше всего боялись такого защитника. Приведем только два относящихся сюда места записки. «Вражда, питаемая нашими беглыми диссидентами к русскому правительству и в особенности к духовным властям, не есть чувство, скрываемое ими в глубине сердец. Бежавшие в Турцию раскольники проповедуют везде и всем, что правительство русское не щадит никого и гонит людей не только за их деяния, но и за верования, хотя бы их деяния согласовались во всем с гражданским порядком. Пропаганда раскольничья приводит всех христиан, живущих в Турции, в изумление, ибо восточные христиане хотя и имеют поводы жаловаться на различные притеснения со стороны турецкого правительства в отношении политическом, хозяйственном и гражданском, но они должны сознаться, что касательно веротерпимости турецкое начальство неукоризненно...» Точно так же лживо утверждение о православных иерархах, будто бы просящих царя о покровительстве: «Обладая вполне греческим языком, нам случалось говорить с епископами константинопольского синода о русской церкви и слышать их рассуждения о неудобствах, могущих произойти для Вселенского престола из официального протектората русской державы...»

Дальше приводятся слова этих епископов: «Этот... Николай, теперь столь усердный к благу православия, в прошедшем 1852 году лишил грузинскую церковь ее самостоятельности... Вы сделаете то же самое и с нами. Мы теперь богаты и сильны. Девять миллионов душ в руках патриарха, его синода и семидесяти епархиальных епископов. Вы, с правом протектората в руке, лишите нас всего, уничтожите наше значение и пустите нас с сумою» [10].

А в это время Хомяков, Погодин, Шевырев, Константин Аксаков не переставали печаловаться о томящейся в мусульманском плену православной церкви, которая ждет не дождется царя-избавителя.

Ложь, состоявшая в том, что Николай делал вид, будто защищает права православной церкви, а вовсе не думает о завое-

вании турецких владений, вызывала обильнейшую ответную ложь со стороны всех русских дипломатических представителей как на западе, так в особенности на востоке. Русский поверенный в делах Озеров писал из Константинополя именно то, что могло понравиться царю, а Нессельроде собирал эти лживые сообщения воедино и подносил Николаю, который все более и более укреплялся после каждого доклада в своем раз обозначившемся намерении. Уезжающему в Турцию князю Меншикову дается инструкция, в которой говорится: «Судя по всем последним донесениям нашего поверенного в делах, большая часть членов дивана и, в частности, великий визирь Мехмет-Али-паша выражают раскаяние и опасения по поводу уступок, которые они сделали Франции, и раскаиваются в своей недобросовестности относительно нас». Вывод: Меншиков не должен удовлетворяться уступками, которые турки уже сделали и еще сделают России. «В другие времена и при других обстоятельствах несомненно было бы легче добиться разрешения вопроса, но теперь Турция для нас — враг, в гораздо большей степени *мешающий* (embarassant), чем опасный. Распадение Оттоманской империи стало бы неизбежным при первом же серьезном столкновении с нашим оружием» [11]. И дальше обычный, заключительный припев: конечно, царь не хочет разрушать Турцию, но что же делать — нужно не быть застигнутым врасплох, а то, чего доброго, православная церковь в Турции может пострадать.

Эта конечная присказка так же лжива, как все содержание инструкции, как и все донесения, на которые инструкция ссылается. Никакого «раскаяния» ни диван, ни великий визирь не обнаруживали, и никакого распадения от «первого столкновения» с русской армией они в этот момент не боялись. Об этом (с большим опозданием, только в 1855 г.) узнал уже преемник Николая из той же большой докладной записки Михаила Волкова: «В Петербурге думали, что прибытие русского посла с военною свитою произведет страшный эффект и покорит немедленно турок воле государя. Непростительно было так ошибаться, ибо турки уже доказали нам в 1849 году, что они неуступчивы. Сверх того, мусульмане нашего оружия более не боялись... К тому же Омер-паша, который во всю Венгерскую войну нещадно хулил наших военачальников, называя их глупцами, уверял турок, что он не даст русским завоевать Оттоманской империи и не пропустит их через Дунай» [12].

Меншиков, живший сам в мире иллюзий, даже не нуждался в таких царских инструкциях. Он и без того понимал, что если царь добьется даже полностью удовлетворения всех своих домогательств по части церкви путем переговоров, то им, Меншиковым, в Петербурге будут довольны наполовину. Но если он привезет с собой из Константинополя достаточный предлог

для занятия княжеств, то им будут уже вполне удовлетворены.

Пока эти события — разговоры Николая с Сеймуром, вызов Меншикова к царю — происходили в Петербурге, Бруннов в Лондоне, Киселев в Париже продолжали заниматься «святыми местами» и вифлеемскими звездами, не зная, как все это с каждым днем быстро стареет.

22 января 1853 г. Бруннов побывал у лорда Эбердина, и, как всегда, тот произвел на него отраднейшее впечатление. Эбердин всецело верит в миролюбие «августейшего повелителя» (так Бруннов именует Николая) и посвятит отныне «все свои заботы» улаживанию недоразумений между Францией и Россией. Мало того: Эбердин дает в Париже советы, «полные энергии», требуя, чтобы Друэн де Люис, французский министр иностранных дел, воздержался от резкого поведения. И вот — плоды благожелательных советов уже налицо: дерзновенного посла Лавалетта, по слухам, Наполеон III удаляет из Константинополя, и Эбердин в этом видит «предвестие дружеского соглашения между Россией и Францией» [13]. Вообще Бруннов всем очень доволен. Правда, английский посол в Турции полковник Роз, конечно, не желая того, совершил маленькую, но досадную неосторожность, именно, стал поддерживать перед султаном домогательства Лавалетта. Но это больше «ошибка в суждении», а не что-либо злонамеренное. И тут барон Бруннов пустился доказывать Эбердину, что права греко-православной церкви в святых местах древнее, чем права, гарантированные султаном в 1740 г. по требованию Франции для католиков, и т. д. Расстались друзьями.

Но почти сейчас же Бруннов принужден несколько разочароваться в Эбердине. Ничего тот в Париж не послал, никаких энергичных советов Наполеону III не давал и давать не собирается. И вообще до Эбердина дошли смутившие его слухи, что французский император сердится еще по поводу истории с титулом и по поводу того меморандума, который намерены были ему послать еще 3 декабря, сейчас же после провозглашения империи, и который должен был подчеркнуть, что «четыре державы» — Россия, Англия, Австрия и Пруссия — надеются на миролюбивую политику нового императора французов. Правда, этот меморандум так и не был представлен Наполеону III, но тот все-таки узнал о нем. А теперь, в конце января 1853 г., Эбердин и заявил Бруннову, что не стоит уже передавать вовсе этот меморандум. Очень уж сердится Наполеон. Бруннов тогда резонно спросил: кто же довел преждевременно до сведения Наполеона об этом меморандуме? Уж не англичане ли? Не лорд ли Мэмсбери, предшественник Эбердина? Эбердин на этот совсем недвусмысленный вопрос уклонился от ответа. А это старый премьер умел делать артистически.

Казалось бы, эти странности должны были навести Бруннова на мысль, что с ним разыгрывают какую-то очень сложную пьесу и что между Англией и Францией отношения гораздо теснее и ближе, чем он думает и чем Николаю хотелось бы надеяться. 26 января Бруннов — у лорда Россела. Тот обещает посодействовать через лорда Каули (посла в Париже), чтобы Лавалетта удалили, наконец, из Константинополя. Вообще же и лорд Россел заявил насчет «святых мест»: «Франция была неправа, некстати поднимая этот вопрос, а русский император — прав» [14].

И вдруг 5 февраля 1853 г., после всех этих взаимных любезностей, крайне неприятное известие: британский кабинет отозвал из Константинополя полковника Роза и назначил послом лорда Стрэтфорда-Рэдклифа (до той поры именовавшегося Стрэтфордом-Каннингом), т. е. личного врага Николая, которого царь тяжко оскорбил в 1832 г., не пожелав допустить его в Петербург. Кажется, дело совершенно очевидное: за спиной Эбердина и Россела стоит Пальмерстон, человек, не имеющий сейчас по должности — так как он министр *внутренних дел* — никакого служебного отношения к назначению нового посла. Но, разумеется, ясно, что это именно Пальмерстон, затевая решительную борьбу против царя, посылает лучшего из своих былых дипломатических служак, который не за страх, а за совесть будет бороться против того, против кого Пальмерстон боролся уже так давно и упорно. Бруннов не скрывает досады. Конечно, испытанный друг Эбердин, как всегда, утешает, но на этот раз Бруннов мало внемлет успокоениям: «Хотя мои объяснения с лордом Эбердином были удовлетворительными, но я не могу воздержаться от сожалений по поводу возвращения лорда Рэдклифа в Константинополь». Правда, Эбердин уверяет, что даст Рэдклифу желательные с русской точки зрения инструкции. Но, во-первых, Бруннов понимает, что настоящие-то, неофициальные, но единственно важные инструкции Рэдклиф получит не от Эбердина, а от Пальмерстона. А во-вторых, что поделаешь с «дурным характером» (le mauvais naturel) Рэдклифа, который пренебрегает всевозможными хорошими инструкциями! [15]

С тем же дипломатическим курьером Бруннов отправил в Петербург большое письмо, явно предназначенное для царя. Это ответ на то письмо, которое, как выше указано, Нессельроде послал в начале января (еще до разговора царя с Сеймуром) в Лондон с целью возбудить в лорде Эбердине подозрения относительно воинственных замыслов Луи-Наполеона против Англии. Бруннов прочел вслух это письмо Эбердину, который выразил мнение, что до сих пор новый французский император еще не имеет определенного плана действий. И тут Бруннов дает от себя интересную характеристику Наполеона III и пере-

числяет возможные мотивы и мечтания, которые, по его мнению, уживаются рядом в голове нового повелителя Франции. И замечательно, что в этой бумаге, помеченной и написанной 3 февраля 1853 г., мы находим правильно уловленными в самом деле главные моменты грядущей внешней политики почти всего царствования Наполеона III: «...до сих пор у него смешение в голове. Он разом мечтает о нескольких авантюрах. Немного о Бельгии; рейнские границы; маленький кусочек Савойского пирога; много католицизма с примесью некоторых воспоминаний об итальянском карбонаризме; распространение завоеваний в Алжире; египетские пирамиды; иерусалимский храм; восточный вопрос; колонизация в центре Америки; наконец, словечко от Ватерлоо, перенесенное на берега Англии, вот, в их быстрой смене, мечтания, которые проходят через этот странно организованный мозг...» [16] Мы видим, что Бруннов верно предсказывает тут и завоевание Савойи в 1859 г., и мексиканскую экспедицию 1862—1866 гг., и прорытие Суэцкого канала, переговоры Наполеона III с Бисмарком в 1865—1866 гг. о Бельгии и о Люксембурге. Что касается «иерусалимского храма» и «восточного вопроса», то здесь и предсказывать не приходилось: ведь именно в конце февраля 1853 г. и наступило время опаснейшего заострения распри будто бы из-за «святых мест». Меншиков уже отплыл со своей свитой в Константинополь.

Когда Николай I решил окончательно послать в Константинополь чрезвычайного посла, Нессельроде, разумеется, знал, что не следует посылать Меншикова, и предложил царю графа Алексея Федоровича Орлова и графа Павла Дмитриевича Киселева (брата парижского посла). Николай объявил, что пошлет Меншикова. Нессельроде даже и попытки не сделал помешать роковому выбору. Меншиков — так Меншиков. Нессельроде соображал, конечно, что Меншиков ни в малейшей степени не будет считаться ни с кем, кроме царя, и уж, во всяком случае, никакого внимания не обратит на нессельродовские «инструкции» [17]. Но канцлер давно разучился обижаться.

Сэр Гамильтон Сеймур явился к Нессельроде с настойчивой просьбой ответить на прямой вопрос: только ли о «святых местах» будет говорить Меншиков в Константинополе и кончатся ли все недоразумения, ныне возникшие между Россией и Турцией, если будет достигнуто полное соглашение между ними о «святых местах», или же Меншиков поехал с целью предъявить еще какие-нибудь новые претензии? Нессельроде объявил, что ему ничего об этом неизвестно. «Может быть, остаются еще какие-нибудь частные претензии, но я не знаю о других домогательствах»,— заявил русский канцлер.

Но Сеймуру хотелось уточнения. «Одним словом, нет других дел,— снова спросил я с настойчивостью и с целью предупре-

дить всякое недоразумение,— нет никаких дел, кроме тех, которые могут существовать между двумя дружественными правительствами? — Именно так,— ответил его превосходительство,— предложения, которые являются текущими делами всякой канцелярии. Это заявление мне кажется очень удовлетворительным»,— заключил беседу Сеймур.

Дело в том, что «его превосходительство» едва ли и в самом деле имел точное представление о всем значении снаряженного Николаем чрезвычайного посольства в Турцию: о таких делах Николай его мнения не спрашивал. А Александр Сергеевич Меншиков даже и вовсе не интересовался ни маленьким Нессельроде, ни его мнениями.

3

Князь Меншиков пользовался давнишним и прочным фавором у Николая, и не было той почетнейшей и самой ответственной должности, требующей сложной и долгой подготовки, которую царь задумался бы предложить Меншикову, абсолютно лишенному какой бы то ни было специальной подготовки к чему бы то ни было. И тоже не существовало такой должности, лишь бы она была по чину не ниже третьего иерархического класса, которую бы самоуверенный и тщеславный Меншиков затруднился на себя взять. Да при дворе Николая и не принято было отказываться. Добродушного малограмотного солдата Назимова, подвернувшегося ему на глаза, когда никто не приходил на память, царь вдруг ни с того, ни с сего сделал попечителем Московского учебного округа. Вронченко, о котором упорно говорили, что за всю свою жизнь он осилил арифметику только до дробей, Николай сделал министром финансов. Гусара Протасова, гуляку и наездника, превосходного танцора на балах, он назначил оберпрокурором святейшего синода. Квартального надзирателя — профессором философии в Харьковском университете. «Прикажет государь мне быть акушером,— сейчас же стану акушером»,— похвалялся драматург Нестор Кукольник, получив от Николая перстень за пьесу «Рука всевышнего отечество спасла».

На протяжении более двадцати лет Меншиков побывал и начальником морского ведомства, удивляя моряков полным незнанием дела, и одновременно он был финляндским генерал-губернатором, не интересуясь Финляндией даже в качестве туриста. И теперь, в 1853 г., столь же бестрепетно, без всяких колебаний, согласился ехать чрезвычайным послом в Турцию. От природы он был, бесспорно, умен; был очень образован. Николаю Меншиков нравился одной редчайшей чертой: будучи

очень богат, князь Александр Сергеевич никогда не воровал казенных денег. Это при николаевском дворе так бросалось в глаза, что об этой странности тогда много говорили в петербургском высшем свете, о ней даже иностранные представители писали в своих донесениях, и вообще так все к этой черте относились, как относятся люди к диковинной игре природы, вольной в своих прихотях. Меншиков никого не ставил ни в грош, над всеми издевался, но было известно, что его величество изволит смеяться, слушая своего фаворита. Поэтому принято было не обижаться на Меншикова, а, напротив, одобрять иногда довольно плоские его выходки. Усталый циник и сибарит, знавший и презиравший поголовно все окружение царя, не дававший себе труда поразмыслить, можно ли стране при подобных внутренних порядках рисковать тяжкой войной, Меншиков понял, что царь рассчитывает воевать только с Турцией, а вовсе не с Европой, и он очень охотно, с легким сердцем, решил поспособствовать скорейшему исполнению царских тайных чаяний. Что Турция в этой дуэли один-на-один с Россией будет разгромлена, в этом князь ничуть не сомневался. За дипломатическими переговорами он до сих пор не следил, потому что ему было неинтересно. Перед отъездом он только осведомился, кто из турецких министров стоит на стороне французов, чтобы знать, кого немедленно прогнать с должности. С султаном Абдул-Меджидом князь решил не церемониться. С Нессельроде поговорить подробно князь не нашел времени.

Меншиков не только не стеснялся признаваться в абсолютной своей неспособности к переговорам, которые взялся вести в Константинополе, но кокетничал и рисовался этим. «Я тут должен заниматься ремеслом, к которому у меня очень мало способностей, именно: ремеслом человека, ведущего с неверными переговоры о церковных материях»,— шутил он в письме к начальнику австрийского штаба Гессу и прибавлял тут же насквозь лживые выражения надежды, что это последняя его услуга на пользу отечеству: «Я питаю надежду, что это для меня будет последним актом деятельности в моей очень полной впечатлениями жизни, требующей покоя» [18].

Инструкции, которые увез с собой Меншиков, были даны царем и только изложены по-французски канцлером. Они были, в сущности, излишни, так как Николай устно отдал Меншикову все нужные распоряжения. Но, конечно, Меншикову были при этом предоставлены почти беспредельные полномочия. Он уже лично должен был сообразовать свое поведение в Константинополе с постоянно меняющейся общей политической обстановкой. В европейской прессе того времени я встретил беглое указание на то, что Нессельроде будто бы, кроме официальных инструкций, шедших от царя, украдкой «всунул» отъезжающему Мен-

шикову еще какую-то бумажку от себя с самыми миролюбивыми советами. Если эта бумажка не газетный миф, то все равно — вышло так, как если бы канцлер ее Меншикову и не «всовывал». В неизданных рукописных документах нашего архива внешней политики, в мартенсовском «Собрании трактатов и конвенций», в капитальных томах документов, напечатанных Зайончковским («Восточная война», тт. I и II), и нигде в мемуарной литературе я подтверждений подобного известия не нашел.

Ближайшие решения вопроса о войне или мире зависели отныне от слов и поступков желчного, капризного царского фаворита, высокомерного вельможи, внезапно оказавшегося в центре внимания всего цивилизованного человечества.

В Англии, в Турции, во Франции уже с середины февраля следили за снаряжаемым в Петербурге чрезвычайным посольством. И теперь, после откровенных разговоров Николая с Сеймуром, уже наперед знали, что дело идет не только о «святых местах». В недрах английского кабинета с момента вступления туда лорда Кларендона 23 февраля 1853 г. в качестве министра иностранных дел (вместо лорда Джона Россела) яснее, чем прежде, обозначилась борьба двух течений: представляемого министром внутренних дел Пальмерстоном и представляемого главой министерства лордом Эбердином. Появление в кабинете лорда Кларендона усилило группу Пальмерстона против группы Эбердина. Оттого-то Кларендон к ней и примкнул. Пальмерстон полагал с момента появления Меншикова в Константинополе, что война неизбежна. Эбердин с этим был не согласен и до последней минуты надеялся, что Николай отступит. Но и Пальмерстон и Эбердин сходились на том, что нужно пока попридержать угрозы и действовать дипломатическими убеждениями и «мягкой манерой», как выражаются на своем техническом языке дипломаты, противопоставляя ее «сильной манере» (la manière forte). Но Эбердин надеялся, что этим путем можно будет утихомирить подпимающуюся бурю, а Пальмерстон и руководимый им Кларендон полагали, что Николаю с каждым шагом будет все труднее сойти с опаснейшего пути, на который он вступил, и что задача английской дипломатии заключается в том, чтобы подталкивать царя все дальше и дальше, доведя его, наконец, до тупика, откуда выхода ему не будет. Пальмерстон знал, что нет более подходящего исполнителя этого плана, чем константинопольский посол лорд Стрэтфорд-Рэдклиф, т. е. старый враг Николая. Стрэтфорд-Каннинг, получивший лордство в 1853 г., всей душой стремясь к войне, именно и будет держать себя так, что Меншиков очень быстро и крайне наглядно выявит чисто завоевательные намерения русского правительства. А это вернее всего обеспечит за Англией для предстоящей войны союз с Францией и с Австрией.

Эбердин потом уже, когда все свершилось, говорил, что «бесчестность» Стрэтфорда-Рэдклифа была одной из причин войны. Но разгадать игру Пальмерстона и Стрэтфорда не удалось вовремя ни Меншикову, ни царю. Справедливость требует признать, что глаза Меншикова раскрылись еще там, в Константинополе, перед выездом. Что касается лорда Кларендона, то он стал, главным образом по занимаемому им официальному посту, лишь передаточным пунктом, посредством которого политика Пальмерстона осуществлялась в Турции Стрэтфордом-Рэдклифом.

Миссия Стрэтфорда-Рэдклифа, как раз собиравшегося в феврале 1853 г. отбыть в Константинополь в качестве посла, но еще пребывавшего в Лондоне, именно в том и заключалась, чтобы провоцировать царя на дальнейшую агрессию. А для этого английским дипломатам нужно было: во-первых, притвориться оробевшими, более всего боящимися войны; во-вторых (с этой мыслью и отправлялся в Константинополь Стрэтфорд), убедить турок уступить Меншикову по всем пунктам во всем, что касается «святых мест»; в-третьих, когда окажется (в этом английский кабинет, кроме, может быть, Эбердина, был наперед уверен), что царь этим не удовлетворится, и когда будет выявлено перед всем светом, что он стремится вовсе не к уступкам в «святых местах», а к нападению на Турцию и захвату ее земель, то Англия этим вызовет сначала русско-турецкую войну, а потом вступит в эту войну, имея на своей стороне и Францию и Австрию. Самодовольный Бруннов передает, ликуя, что сам Эбердин ему сказал: «Правы ли они или виноваты, мы советуем туркам уступить (Whether right or wrong, we advise the turks to yield)». А бедного Стрэтфорда грозный Бруннов так запугал, что тот по поводу посольства Меншикова сказал: «Я предпочитаю видеть в Константинополе скорее вашего адмирала, чем ваш флот». Мало того, Стрэтфорд признался в своей *любви* к Николаю и сказал Бруннову: «Его величество меня не знает. Если бы я мог поговорить с ним, он бы удостоил меня хорошего мнения». Словом, все разыгрывалось как по нотам. А барон Бруннов все это слушает, испугу Эбердина и кротости Стрэтфорда верит, потому что проницательного (по собственной оценке) барона не проведешь, он знает, чем на англичан воздействовать. «Короче сказать, слова хороши, подождем поступков»,— пишет 21 февраля 1853 г. Бруннов. Но и поступки противников он так же мало понимал в дальнейшем, как и их слова, хотя, вообще говоря, Бруннов был в других случаях очень неглуп.

Мы увидим дальше, какое огромное впечатление произвела на министров Наполеона III внушительнейшая дружественная манифестация крупной английской буржуазии по адресу французской империи как раз в тревожные дни меншиковского по-

сольства в середине марта 1853 г. А вот как пишет Бруннов для доклада царю об этом «приеме в Тюильри депутации английских негоциантов, представивших адрес, покрытый четырьмя тысячами подписей и выражающий желание, чтобы удержались отношения дружбы и доброго согласия между Францией и Англией». Бруннов спешит успокоить царя: ничего тут важного нет, просто английские негоцианты хотели успокоить тревогу англичан перед возможностью разрыва между Англией и Францией. «Британское правительство, нисколько не поощряя этой необычайной манифестации, держалось совершенно в стороне». Правда, среди подписавшихся есть представители всех наиболее значительных фирм. Но есть и не известные Бруннову. Правда, лондонский лорд-мэр стал во главе этой делегации. Но он человек тщеславный и желающий играть роль, так что, «каков бы ни был эффект этой демонстрации в Париже, о ней судят неблагосклонно в Англии» [19]. Так старательно затушевывал и искажал правду и закрывал глаза на серьезнейшие симптомы русский посол.

А между тем в Константинополе все более и более убеждались, что Англия и Франция одинаково желают поддержать султана. Туркам в это время было дано из Лондона и Парижа знать, что их без поддержки не оставят и что Англия и Франция, если понадобится, пустят в ход оружие. Помощь пришла в такой форме и так быстро, что султан Абдул-Меджид и его диван даже встревожились столь горячим участием, выраженным до такой степени непосредственно и притом без специальной просьбы.

Дело в том, что Блистательная Порта, теснимая восточными гяурами, не очень верила и гяурам западным. Уже столько раз отверженные аллахом православные урусы столковывались в конце концов за спиной правоверных оттоманов с отверженными тем же аллахом католическими и англиканскими «франками». И на этот раз тоже как в непосредственном окружении Абдул-Меджида, так и в высшем военном аппарате империи боролись два течения. Одни, во главе с Решид-пашой и великим визирем Мехметом-Али, считали наиболее выгодным и безопасным для Турции разрешение возникших вопросов чисто дипломатическим путем, без войны. Другие, во главе с Омер-пашой и Фуад-эфенди, решительно полагали, что настала пора взять реванш за Адрианопольский мир и Ункиар-Искелесси и что, при настроении Наполеона III и наличии в английском кабинете Пальмерстона, а в Константинополе — Стрэтфорда-Рэдклифа, лучшей комбинации для подготовки войны с Россией не сыщешь уже никогда больше, если пропустить этот случай.

О состоявшемся вновь назначении Стрэтфорда-Рэдклифа британским послом уже знали в Порте в феврале. Но нужно было подождать его появления в Турции. Прибытия Меншикова

ждали в Константинополе с большим беспокойством даже те — пока очень немногие — турецкие сановники, которые разделяли мнение Омер-паши.

4

11 февраля 1853 г. Меншиков простился с императором Николаем и выехал к месту своего назначения. И даже его маршрут был составлен так, что должен был внушить Турции неминуемо живейшие опасения. Меншиков сначала держал путь на Бессарабию и в Кишиневе произвел смотр пятому армейскому корпусу. Новые и новые военные части подходили и вливались в Бессарабию после его отъезда. Из Бессарабии князь отправился в Севастополь и здесь произвел большой смотр всему Черноморскому флоту. С громадной своей свитой Меншиков сел на военный пароход «Громоносец» и выехал в Константинополь. Он демонстративно присоединил при этом к своей свите двух людей, через которых мог поддерживать постоянную живую связь как с сухопутными, так и с морскими силами России, предназначенными действовать против Турции в случае разрыва дипломатических отношений: генерала Непокойчицкого, начальника штаба 5-го армейского корпуса (в Бессарабии), и вице-адмирала Корнилова, начальника штаба Черноморского флота.

28 февраля 1853 г. «Громоносец» причалил к берегу Босфора и остановился у Топ-Хане. Громадная толпа греков и отчасти славян (болгар и сербов), живших в Константинополе, с демонстративно выражаемой радостью встретила русского чрезвычайного посла, когда он сошел на берег.

Началась дипломатическая игра, которая при сложившейся расстановке сил могла окончиться кровавой развязкой. Понадобилось меньше трех месяцев, чтобы из *возможной* война стала *неизбежной*.

Первый визит Меншикова был к великому визирю. Второй по церемониалу должен был быть сделан министру иностранных дел Фуад-эфенди, известному противнику России и стороннику Франции. Апартаменты министерства иностранных дел были пышно разукрашены, царского посла готовились принять торжественно, как вдруг узнали в последний момент, что Меншиков и визита Фуад-эфенди не сделает и вообще иметь с ним дела не желает. Меншиков объявил об этом великому визирю вполне категорически. Самый визит к визирю был обставлен так: Меншиков известил турок, что он желает, чтобы великий визирь Мехмет-Али встретил его лично у подъезда. Мехмет-Али заявил, что не имеет права это делать. Тогда Меншиков 2 марта, на третий день после своего прибытия, явился к великому

визирю в пальто и мягкой шляпе, подчеркивая, что не удостаивает надеть официальный костюм. После визита к великому визирю Меншиков прошел через зал, где его ждали специально назначенные чины, чтобы торжественно ввести в уже настежь открытые двери кабинета министра иностранных дел Фуад-эфенди. Меншиков, не останавливаясь и не обращая ни на кого внимания, вышел вон и уехал в посольство. Султан, подавленный жестоким беспокойством, устрашенный слухом о сосредоточении двух русских корпусов (5-го и 4-го) в Бессарабии, тотчас же уволил Фуад-эфенди и назначил министром иностранных дел Рифаат-пашу.

Как только телеграф и почта известили Европу об этих первых шагах Меншикова, всюду и среди противников и среди державшихся пока нейтрально дипломатов заговорили о том, что восточный вопрос вступает в новый и очень острый фазис. Поведение Меншикова изображалось в Европе как сплошной ряд умышленных провокаций и запугиваний. Особенно много писали о том, что Меншиков сделал визит великому визирю в пальто, которое не потрудился снять; утверждали, что с султаном Абдул-Меджидом он вел себя умышленно дерзко.

В первые дни пребывания Меншикова в Константинополе английским поверенным в делах был полковник Роз. Вновь назначенный посол лорд Стрэтфорд-Рэдклиф явился в Константинополь уже после того, как Меншиков сделал свои первые шаги.

С этого момента уже не один, а два дипломата в Константинополе изо всех сил гнали к разрыву отношений и к войне между Россией и Турцией: князь Меншиков и лорд Стрэтфорд. Но делали они это по-разному: Меншиков совершенно открыто, лорд Стрэтфорд осторожно, исподволь, наперед намечая последовательные этапы затеянного предприятия. Еще до появления Стрэтфорда в столице Турции произошло огромной важности событие, очень облегчившее Стрэтфорду его дело: французский военный флот внезапно получил приказ отплыть из Тулона в турецкие воды.

Чтобы понять обстановку, в которой это произошло, нужно коснуться предварительно еще двух дипломатических шагов Меншикова, совершенных им после только что описанного первого «визита» князя к великому визирю.

Меншиков должен был ознакомить султана непосредственно с волей Николая. Явившись к султану, Меншиков прежде всего вручил ему письмо Николая, помеченное царем 24 января 1853 г. Письмо было вежливое, но содержало угрозу. Царь приглашал султана соблюдать «освященные веками права православной церкви» и поразмыслить над последствиями отказа князю Меншикову в требованиях, которые он представит. Вина

11*

возлагалась на «неопытных и зложелательных министров», которые скрыли от султана последствия отказа от уже данного турецким правительством фирмана. Другая мысль царского послания заключалась в том, что если какая-либо держава будет настаивать на неисполнении султаном его обещания и будет угрожать Турции, то «царь сделает еще более тесными» узы «союза», уже существующего между ним и султаном,— и это русско-турецкое соглашение положит конец «претензиям и домогательствам, не совместимым с независимостью» султана и «внутренним спокойствием» его империи.

Другими словами: султану предлагалось заключить союз с Россией, направленный непосредственно против Франции.

В полной логической связи с основными пунктами царского письма были и представленные Меншиковым две бумаги: 1) проект желательной царю конвенции с Турцией и 2) проект секретного соглашения на случай, если бы «какая-либо европейская держава» вздумала препятствовать султану выполнить свои обещания, данные царю. В этом случае Россия обязывалась прийти на помощь Турции морскими и сухопутными силами.

Таким образом, мысль Николая при посылке Меншикова выясняется в самом точном виде, если мы сопоставим эту бумагу, с которой князь поехал в Константинополь, с письмом к австрийскому императору: царь хочет воевать либо «в союзе» с Турцией против Наполеона III, либо в союзе с Австрией против Турции. Как он представлял себе в случае этого последнего варианта роль Англии и роль Наполеона III — это неясно. Во всяком случае первый вариант, совершенно очевидно, был гораздо более желательным, чем второй, тем более, что при войне России «в союзе» с Турцией против Франции Николай мог рассчитывать на своих «верных союзников», на Австрию и на Пруссию, которых такими теплыми красками живописал его канцлер Нессельроде в своем годовом отчете за 1852 г.

А главное — при любой войне, в союзе ли с Турцией или против Турции — Оттоманская держава должна была подвергнуться разгрому и разделу, причем львиная доля могла достаться России. Этот документ, скромно названный «проектом особого и секретного акта» [20], ясно сказал и дивану и султану, что опасность грозит им неминуемая.

Абдул-Меджид был в панике.

Нота, врученная Меншиковым после этих первых его визитов «Высокой Порте» (la Sublime Porte), как официально называлось турецкое правительство в дипломатических бумагах, занимает десять страниц убористого шрифта, если ее переписать на пишущей машинке, и все десять страниц написаны только для того, чтобы довести до сведения министров султана: 1) что

Николай желает обеспечить не только права православной церкви в Палестине, но и «успокоить недовольство греков», для каковой цели царь уже не желает удовольствоваться «бесплодными и неполными уверениями, которые могли бы быть отменены в будущем», а желает закрепить эти права «торжественным обязательством», заключенным между русским и турецким правительствами; 2) что до сих пор турецкие министры «не признавали и извращали наилучшие намерения его величества императора (Николая — *Е. Т.*) и искали в них задних мыслей, не совместимых с его могуществом и с великодушными предрасположениями, которые он всегда обнаруживал относительно Оттоманской империи».

А кончалась бумага прямой угрозой: дальнейшее противодействие со стороны турецких министров может повлечь «самые серьезные последствия как для благосостояния Турции, так и для мира всей Европы».

Только это и было существенно, только для этих строк и писалась вся длиннейшая нота, потому что остальное ее содержание, т. е. почти все десять страниц большого формата, это все те же никому уже не нужные пререкания о поправке купола на иерусалимском храме и о том, что Порта вела за спиной русского посольства «официальную корреспонденцию с французским посольством, которая оставалась нам совершенно неизвестной, а между тем (таким путем католической церкви — *Е. Т.*) могли быть даны преимущества и уступки вопреки обязательствам (Порты — *Е. Т.*) относительно (русского — *Е. Т.*) императорского правительства» [21].

Сверх того, в этой врученной 4 (16) марта новому министру иностраных дел Рифаат-паше большой вербальной ноте Меншиков требовал весьма категорически, чтобы султан взял обратно некоторые сделанные им уступки «латинянам» (католикам). Дело касалось ключа от большой двери Вифлеемской церкви. Меншиков жаловался на дозволение поместить «латинскую» звезду в Вифлеемском храме и на демонстративно выраженное торжество католических монахов по этому поводу и т. д. Нота вообще в очень энергичных выражениях жаловалась на «недоверие и недобросовестность» турецких министров, на то, что они доверяют «интригам и инсинуациям» [22], и т. п. Не успела и неделя пройти, как Меншиков уже снова обратился к туркам с угрожающей нотой, и притом с новыми ультимативно изложенными требованиями. Вот что прочел он вслух Рифаат-паше 10 (22) марта 1853 г.: «Требования императорского (русского — *Е. Т.*) правительства — категоричны». А еще через два дня последовала третья нота, еще более резкая и угрожающая. Меншиков жаловался на оскорбление, чинимое российскому императору, на «систематическую и злостную оппозицию в совете

султана против действий нашего государя» и требовал «быстрой и решительной сатисфакции и исправления всех обид (une réparation prompte et éclatante)». И вот Меншиков представил в виде приложения к этой вербальной ноте от 12 (24) марта проект конвенции. «Лицо Рифаат-паши омрачилось», по словам князя Меншикова, когда князь прочел ему проект [23]. Так сообщал Меншиков канцлеру Нессельроде.

Проект испугал и раздражил султана и его министров не только конкретным содержанием требовавшихся со стороны Порты уступок — по линии ли святых мест и тамошних привилегий православной церкви, или по линии защиты интересов православного духовенства и православного населения в Молдавии, Валахии, Сербии «и в различных других провинциях» Турции, но прежде всего и больше всего тем, что эта конвенция должна была иметь характер *договора* между обеими сторонами. Если бы турецкое правительство на это пошло, то не только Николай получал немедленно право постоянного контроля и вмешательства по самым разнообразным поводам в турецкие внутренние дела, но это его право отныне обеспечивалось бы трактатом, имеющим значение международных договоров.

С момента предъявления этого проекта конвенции султану до отъезда Меншикова и разрыва дипломатических отношений между Россией и Турцией прошло два месяца, и эти два месяца были заполнены беспокойной дипломатической сутолокой вокруг основного вопроса: согласится ли султан в той или иной форме на подписание и оглашение требуемого договора или не согласится. Проект конвенции был сочинен самим Николаем, и еще 28 января царь подписал на нем свое: «Быть по сему». Меншиков уже поэтому не мог ничего уступить, если б даже хотел. А он вовсе и не хотел уступать.

Что касается турок, то они держали постоянную связь с английским и французским посольствами и с каждым днем все более убеждались в том, что на этот раз их не оставят без поддержки.

1 (13) апреля Меншиков получил от Нессельроде копию документа, показавшего ему, что в Лондоне внимательно следят за его путешествием в Константинополь. Это была депеша английского министра иностранных дел лорда Кларендона английскому послу в Петербурге Гамильтону Сеймуру, сообщенная Сеймуром канцлеру Нессельроде для сведения. В депеше, отосланной из Лондона в Петербург еще 23 (н. ст.) марта, выражались и опасения и раздражение английского кабинета по поводу отправления посольства Меншикова вообще и поведения русского посла в частности.

Но тогда-то, пока путешествовала нота Кларендона из Лондона в Петербург, а затем из Петербурга в Константинополь,

и последовало уже упомянутое событие, о котором с различными чувствами, но почти с одинаковым волнением узнали и в Лондоне, и в Петербурге, и особенно в Константинополе: Наполеон III отправил свой Средиземный флот в Архипелаг.

5

Когда требования Николая к Турции стали известны в Париже, Наполеон III созвал в Тюильрийском дворце совет министров, чтобы обсудить вопрос о дальнейшем поведении. Подавляющее большинство министров было против немедленного активного реагирования, т. е., другими словами, против отправления французской эскадры в Архипелаг, в непосредственную близость к Турции. Министр иностранных дел Друэн де Люис сделал на заседании доклад, в котором признавал, правда, серьезность положения, указывал на грозящую самому существованию Турции опасность со стороны русской агрессии, объявлял недопустимыми такие условия, когда царь получал бы протекторат над половиной всего народонаселения Турции, но при этом не советовал спешить с решительными мероприятиями, так как для Франции выгоднее дать Николаю время самому разоблачить истинную свою цель, состоящую в том, чтобы захватить Турецкую империю, а вовсе не в том, чтобы отстаивать права иерусалимских православных монахов. Если же французское правительство выступит немедленно, то подвергнется нареканиям, и Англия может не поддержать Францию в этой войне из-за монашеских ссор в Иерусалиме. Следовательно, должно держаться выжидательной тактики.

Друэн де Люис принадлежал к тому типу министров Второй империи, который наиболее полное и яркое свое выражение нашел в графе (впоследствии герцоге) Морни. Это были люди, либо только что в качестве деятельных соучастников пережившие переворот 2 декабря, либо присоединившиеся к победителю тотчас же после указанного события и вовсе не расположенные рисковать своим положением, ввергать новую империю в опасные авантюры и ставить на карту свою голову. Среди них были и смелые, решительные кондотьеры (их враги употребляли иногда термин: бандиты) вроде того же Морни или генерала Сент-Арно, были и карьеристы-бюрократы не такого отважного и приключенческого склада, умеренные и аккуратные царедворцы вроде Бароша, биржевики и приобретатели в стиле барона Фульда. Но и те и другие вовсе не желали без крайней нужды начинать долгую и опасную борьбу с Россией. И все они были склонны не спешить и последовать осторожному совету Друэн де Люиса. Совет министров вполне одобрительно выслушал его доклад и соответственно высказался. Тогда председа-

тельствовавший император дал слово до тех пор молчавшему министру внутренних дел Персиньи.

Этот человек не походил ни на кого из своих коллег. По-видимому, Персиньи руководствовался в своей деятельности двумя основными правилами: во-первых, режим, созданный кровавой авантюрой 2 декабря, должен и может держаться только новыми авантюрами; при этом одна, две, три карты могут быть биты, а четвертая и выиграет, если не терять присутствия духа при неудачах, продолжать игру и идти напролом, подобно тому, как, например, ему самому вместе с его повелителем пришлось сначала претерпеть тяжкую неудачу в Страсбурге в 1836 г. при первой попытке Луи-Наполеона внезапно захватить престол, еще более убийственную неудачу в Булони в 1840 г. при второй такой же попытке,— и все разом наверстать и все выиграть в ночь на 2 декабря 1851 г. Во-вторых, ничуть не претендуя на ранг политического теоретика, Персиньи на практике осуществлял программу, которая вполне следовала принципу, выдвинутому в качестве эмпирического наблюдения Токвилем и научно объясненному впоследствии датским психологом Гефдингом: наиболее опасный момент для плохого режима есть именно тот, когда он делает попытки стать лучше. Персиньи всегда стоял за самые крутые меры во внутренней политике и за безоглядочное разжигание шовинистических страстей в политике внешней, потому что и в том и в другом видел главных два средства, которыми только возможно упрочить бонапартистский режим. На мнимоконституционные формы абсолютной власти Наполеона III Персиньи смотрел как на ненужную комедию, в чем он был, впрочем, по сути дела совершенно прав. Это был умный, энергичный, жестокий, раздражительный и циничный авантюрист. Ему-то император и предоставил слово в конце совещания министров.

«Слушая то, о чем тут в совете говорится, у меня является искушение спросить себя: в какой стране и при каком правительстве мы живем?» — так грозно по адресу своих миролюбивых коллег, предшествующих ораторов, начал свою речь Персиньи. Он вполне откровенно обосновывал необходимость войны с Россией и не курьезно-нелепым спором о «святых местах» и не необходимостью спасать Турцию, а прежде всего соображениями внутренней французской политики: «Если Франция, поддерживать уважение к которой составляет миссию французской армии, будет унижена в глазах света, если по слабости, которой имени нет, мы позволим России простереть руку над Константинополем, и это в то время, когда государь, носящий имя Наполеона, царствует в Париже, тогда нам нужно дрожать за Францию, нам нужно дрожать за императора и за нас самих, потому что никогда ни армия, ни Франция не согласятся с

оружием в руках присутствовать при этом позорном зрелище!» Он пугал императора Наполеона III перспективой, которая его ждет, если он уступит Николаю: «Знаете ли, государь, что произойдет? В первый же раз, как вы будете производить смотр войскам, вы увидите опечаленные лица, молчаливые ряды, и вы почувствуете, что почва колеблется у вас под ногами!» В дальнейшей речи Персиньи настаивает, во-первых, на том, что вся Европа будет сочувствовать борьбе против русской попытки захватить Турцию, и, во-вторых, что Англия непременно поддержит активно Наполеона III, что бы там ни говорил пока Эбердин, человек устарелых традиций 1815 г.: «Когда речь идет об Англии, какое значение может иметь мнение какого-либо министра, даже мнение первого министра, даже мнение королевы?.. Большая социальная революция совершилась в Англии. Аристократия уже не в состоянии вести страну согласно своим страстям или своим предрассудкам. Аристократия там является еще как бы заглавным листом книги, но самая книга — это великое индустриальное развитие, это лондонское Сити, это буржуазия, во сто раз более многочисленная и богатая, чем аристократия!» А буржуазия английская единодушно противится русскому захвату: «В тот день, как она узнает, что мы готовы остановить поход русских на Константинополь, она испустит радостное восклицание и станет рядом с нами!» На этом месте речь Персиньи вдруг была прервана неожиданно самим императором, до тех пор молчавшим: «Решительно, Персиньи прав. Если мы пошлем наш флот в Саламин, то Англия сделает то же самое, соединенное действие обоих флотов повлечет соединение также обоих народов против России». Совет министров остолбенел от неожиданности, по показанию Персиньи (au milieu de la stupéfaction du conseil), а Наполеон III вдруг обратился к морскому министру и произнес: «Господин Дюко, сейчас же пошлите в Тулон телеграфный приказ флоту отправиться в Саламин» [24].

Первый реальный шаг к войне был сделан. Флот отплыл из Тулона 23 марта 1853 г.

Появление французского флота в турецких водах с логической неуклонностью влекло за собой аналогичное действие со стороны Англии. А следующим неизбежным последствием прибытия к берегам Турции соединенной эскадры двух величайших морских держав был провал всех надежд на мирное разрешение русско-турецкого конфликта. Но не сразу еще британский флот двинулся вслед за французским.

Утром 19 марта 1853 г. в Лондоне были получены первые известия о прибытии Меншикова в Константинополь, о его аудиенции у султана, об отставке Фуад-эфенди, а также о том, что временный (впредь до приезда Стрэтфорда) английский представитель в Константинополе полковник Роз предложил

адмиралу Дондасу, начальнику британской эскадры в Средиземном море, плыть немедленно в Архипелаг. Вечером того же дня состоялась встреча Бруннова и министра иностранных дел лорда Кларендона. «Хорошие дела вы наделали в Константинополе!» — начал Кларендон.— «Какие дела?» — «Вы низвергли турецкое правительство!» — «Не правительство, но одного министра, да!» Таков был дебют. Бруннов в дальнейшей беседе старался объяснить удаление Фуад-эфенди именно желанием Меншикова избавить султана от человека, который мог своими действиями поссорить Абдул-Меджида с Николаем. Из дальнейшего разговора выяснилось, что хотя на этот раз английская эскадра и не приблизится к Архипелагу, но что Кларендон полагает, что в будущем это может при известных условиях произойти [25].

Спустя четыре дня в Лондоне были получены известия о решении Наполеона III послать французскую эскадру из Тулона в Архипелаг (в Саламинскую бухту), и в долгой беседе Эбердина с Брунновым выяснилось окончательно, что британский кабинет не только одобрил поведение адмирала Дондаса, отказавшегося повести эскадру из Мальты в Архипелаг, но в ближайшем будущем не намерен еще посылать эскадру. Лорд Кларендон, однако, прибавил несколько многозначительных «извинений» по поводу излишней поспешности действий полковника Роза, пожелавшего призвать эскадру: слишком уж шумное и торжественное прибытие Меншикова, удаление Фуада и т. п.— все это могло взволновать английского представителя...

Бруннов во всем этом усмотрел благорасположение Англии к Николаю, и, наслушавшись новых ласковых слов со стороны Эбердина, он поспешил послать донесение, самое фантастическое и способное сбить с толку дипломата даже более проницательного и опытного, чем дилетант Меншиков. Бруннов поверил всему, что ему рассказывали, даже нелепому «предположению», что французская эскадра по дороге сконфузится и не дойдет до Архипелага. Этот документ так характерен, что я приведу копию рукописи целиком.

«До получения сего отношения, ваша светлость, конечно, изволили узнать непосредственно из Мальты об отказе адмирала Дундаса (sic! — *Е. Т.*), объявленном им поверенному в делах полковнику Розе в ответ на требование его касательно отправления английского флота в Архипелаг. Благоразумное расположение адмирала Дундаса вполне одобрено великобританским правительством, и вчера, с нарочным курьером, предписано ему, чтобы он ни под каким видом не направлялся к Востоку, невзирая на движение французской эскадры, вышедшей из Тулона. По зрелому обсуждению возникших доселе об-

стоятельств великобританский кабинет решил воздержаться от всякого участия в предполагаемых действиях французского правительства, в надежде, что сие последнее, оставленное таким образом в положении совершенно отдельном от Англии, не приступит единосторонне к решительным мерам. Напротив... должно предполагать, что Тулонская эскадра остановится на пути. Сегодня предписывается английскому послу в Париже употребить все возможное старание, дабы склонить французское правительство к умеренности, присовокупляя к тому, что великобританское министерство остается в полной уверенности в мирных намерениях государя императора. В таковом убеждении лондонский кабинет надеется на успешное окончание переговоров вашей светлости с Оттоманской Портой. Я уже имел честь донести вам, милостивый государь, что последние инструкции, данные английскому поверенному в делах, составлены были в сем смысле. Остается мне присовокупить, что поспешность полковника Роза, обнаруженная до получения оных инструкций, равно как неосновательное опасение, побудившее его призвать эскадру, отнюдь не заслужили одобрения великобританского министерства. С совершенным и пр.» [26].

Как мы уже в своем месте видели, с первого же момента, когда Европа узнала о готовящемся посольстве Меншикова, между английской и французской дипломатией существовал тесный контакт и было заключено соглашение, по которому обе стороны осведомляли друг друга о всех своих шагах, касающихся восточных дел.

Продолжая не видеть и не признавать этого тревожного факта, который, однако, с каждым днем утрачивал характер дипломатического секрета, барон Бруннов по-прежнему убаюкивал и себя самого и царя надеждами на неисчерпаемое благородство и русофильство лорда Эбердина и его всемогущество. 20 апреля Бруннов виделся с главой английского правительства, и Эбердин наговорил ему много утешительного,— как всегда. Оказывается, лорд Каули, британский посол в Париже, будто бы «употребил все средства, бывшие в его распоряжении, чтобы воспрепятствовать отплытию французской эскадры. Но ему не удалось. Несомненно, французское правительство, настаивая на этой морской экспедиции, несмотря на сопротивление Англии, имело в виду принудить Англию последовать этому примеру... требовалась большая твердость духа (une grande fermeté d'esprit) со стороны лорда Эбердина», чтобы воздержаться от следования этому дурному примеру. Бруннов полон благодарности к Эбердину: «Мы должны ему отдать должное за благоразумное поведение», так как «нужно сказать, отсутствие активности с его стороны непопулярно в глазах английского общественного мнения».

Брунков знает, откуда идет зло: письма коммерсантов с Востока, консульские донесения и доклады Стрэтфорда-Рэдклифа из Константинополя — вот что поселяет подозрительность и вражду в британском правительстве и обществе. Бруннов даже сообщил Эбердину инструкции, данные Меншикову при его отъезде из Петербурга, и английский премьер был вполне (якобы) успокоен. Но вот беда: Эбердин одинок в своем благородстве и своем доверии к бескорыстным целям защитника православной веры Николая! «Единственный человек в Англии, который был бы способен в настоящий момент высказаться за нас в этом деле,— это лорд Эбердин». Вот, например, этот вопрос о *сенеде*, о «формальном договоре между Россией и Портой: лорд Джон Россел и лорд Пальмерстон в кабинете, лорд Стрэтфорд-Рэдклиф в Константинополе и большинство государственных людей в обществе и в обеих палатах посмотрят на такую сделку, как на новый симптом упадка Оттоманской империи и как на новое торжество русской политики»[27]. Словом, если не повредят (как это уже с беспокойством предвидит Бруннов) злонамеренные донесения Стрэтфорда, то Эбердин восторжествует в кабинете против Пальмерстона и Россела.

Правда, премьер в этой дружеской беседе вставил такие слова: «Лишь бы только вы (русская дипломатия — *Е. Т.*) замкнулись в рамки урегулирования вопроса о святых местах, и все уладится». Эти слова можно было понимать и как угрозу и как «дружелюбное» предостережение, но ни в коем случае не как поощрение к захвату части турецкой территории. А Бруннов, хорошо знающий, о чем идет речь в Петербурге и к чему служат все эти умышленные дерзости Меншикова в Константинополе, делает такой вывод из своей долгой беседы с Эбердином, причем этот вывод Нессельроде немедленно сообщил царю: «В настоящий момент мне достаточно уведомить ваше превосходительство о шагах, которые я предпринял, чтобы удостовериться в образе мыслей первого министра. Этот образ мыслей заслуживает столько доверия, что я позволяю себе надеяться, что не будут бесплодными мои старания *открыть пути к результату, согласному с августейшими намерениями императора»*. А так как основное августейшее намерение Николая заключалось в разделе Турции и так как Эбердин об этом точно *знал* уже из давних донесений Сеймура о разговорах с царем, то как должен был истолковать царь подчеркнутые выше слова Бруннова? Конечно, как приглашение дерзать и дальше, не обращая внимания на предосудительное поведение Наполеона III и на огорчающую благородного Эбердина внезапную экскурсию французского военного флота на Восток. Иначе говоря, это длиннейшее донесение крайне довольного собой Бруннова, объективно, именно и делало то дело, которое было так

желательно Наполеону III в Париже, Пальмерстону в Лондоне, Стрэтфорду-Рэдклифу в Константинополе.

В те дни, когда Эбердин в Лондоне производил такое отрадное впечатление на Бруннова, в Константинополе дело подготовки разрыва между Турцией и Россией взял на себя явившийся, наконец, к месту своего служения Стрэтфорд-Рэдклиф. Ехал он из Лондона долго и успел основательно поговорить с кем нужно на двух своих путевых остановках: в Париже и в Вене. В Париже Наполеон III и императрица Евгения осыпали его демонстративно всяческими любезностями, так что это бросалось в глаза представителям дипломатического корпуса [28]. В Вене повторилось то же самое. В обеих столицах радовались появлению на константинопольской сцене этого энергичнейшего и умнейшего из дипломатических врагов Николая.

В Вене в эти дни очень старались опровергнуть усиленно распространяемое русскими представителями мнение, будто посольство Меншикова совершенно аналогично по существу посылке (в январе 1853 г.) австрийского агента графа Лейнингена в Константинополь с требованием воздержаться от затевавшейся турецким правительством карательной экспедиции в Черногорию. И в Англии и во Франции согласны были с графом Буолем, что ничего общего между миссией Лейнингена и посольством Меншикова нет и быть не может уже потому, что Австрия не затевает раздела Турции.

6

5 апреля 1853 г. лорд Стрэтфорд-Рэдклиф прибыл в Константинополь и немедленно начал свою дипломатическую игру. Прежде всего необходимо было отставить великого визиря Мехмета-Али. Это дело несколько затянулось, но, впрочем, в последние пять-шесть недель своего пребывания у власти Мехмет-Али старался идти в ногу и не сбиваться с пути, держа равнение по Стрэтфорду. Стрэтфорд не только делал вид, будто он в эти первые времена после своего прибытия нисколько не интригует против России и всячески хочет уладить конфликт мирным путем,— но он в таком духе посылал и донесения в Лондон, зная, как не любит излишней поспешности глава кабинета лорд Эбердин, и понимая, насколько выгоднее держаться за кулисами, в строжайшей тайне наставляя турок в желательном Пальмерстону духе. Он прикидывался, будто вовсе и не знает о точном содержании русской ноты и проекта конвенции, хотя на самом деле не только превосходно знал об этом проекте, но очень ловко совершил нужный ему крайне важный подлог при пересылке в Лондон копии текста русской ноты. Именно: в статье 1 говорится, что русское правительство получает право, как и в прошлом,

делать представления (турецкому правительству) в пользу церкви и духовенства, а Стрэтфорд-Рэдклиф вместо *делать представления* (faire des représentations) ввернул от себя: *давать приказы* (donner les ordres). Это сообщало всей русской ноте дерзкий, повелительный, вызывающий характер. Подлог был рассчитан лордом Стрэтфордом-Рэдклифом очень тонко и вполне удался.

Очень интересовало Меншикова, с чем приехал в Константинополь Стрэтфорд-Рэдклиф и о чем он так долго разговаривал при первом же свидании с великим визирем и рейс-эфенди (министром иностранных дел) Рифаатом. Меншиков наводил справки у обоих этих лиц и уловил «чрезвычайное смущение вышеупомянутых двух сановников»; он старался выведать кое-что у самого Стрэтфорда. Но не тут-то было. И турецкие сановники и Стрэтфорд рассказывали ему все, что угодно, но только не то, что было в действительности: «Великобританский посол при первом свидании своем с верховным визирем и рейс-эфендием предложил им заняться мерами улучшения внутреннего быта Турции, устройством путей сообщения, поощрением хлебопашества, справедливым управлением христианскими поколениями (Меншиков хочет, очевидно, сказать: племенами, народностями — *Е. Т.*) и, наконец, введением в провинциях представительного начала, дарованием права выбора депутатов мусульманскими и христианскими общинами для обсуждения местных треб (потребностей — *Е. Т.*) и избрания частных правительственных лиц». Что именно хочет сказать Меншиков этими тремя последними словами — неизвестно. Князь Александр Сергеевич свободно читал разнообразные книги на трех иностранных языках и прекрасно писал по-французски, но писать грамотно на русском языке не удостаивал. Почему ему пришло в голову написать именно на русском языке это письмо к барону Бруннову, который по-русски читал почти с таким же трудом, с каким Меншиков писал на этом языке, понять невозможно [29]. Бруннов переслал эту неясную бумагу Нессельроде. Конечно, Меншиков понимал, что все эти благие реформаторские советы Стрэтфорда были придуманы, чтобы не сказать о реальной теме и первого и всех последующих разговоров великобританского посла с турками.

Тема же была одна; Стрэтфорд советовал уступать Меншикову по всем пунктам, касающимся «святых мест», кроме двух: 1) не соглашаться на то, чтобы эти уступки были выражены в форме *сенеда,* соглашения султана с Николаем, т. е. документа, имеющего международно-правовое значение, и 2) чтобы формулировка этих уступок не заключала в себе права царя вмешиваться в отношения между султаном и его православными подданными. Стрэтфорд тут вел совершенно беспроиг-

рышную игру: он твердо знал, что не за тем послан Меншиков, чтобы уехать только с фирманом султана о православной церкви и «святых местах», и что именно, получив всевозможные уступки по этому вопросу, царский посол принужден будет так или иначе выявить чисто завоевательные намерения своего повелителя.

Меншикову на месте многое было виднее, чем Бруннову из Лондона.

Пересылая это письмо Меншикова из Лондона в Петербург, Бруннов сообщил Нессельроде о своих беседах по этому поводу с Эбердином, лордом Росселем и Кларендоном. Все трое отозвались полным незнанием, о каких это реформах беседовал Стрэтфорд-Рэдклиф с турками. Инструкции Стрэтфорду в Лондоне вырабатывались, когда еще министром иностранных дел был лорд Россел, и ничего похожего на то, о чем сообщает со слов турок Меншиков, Россел Стрэтфорду не говорил и не писал. Поэтому Бруннов делится с Нессельроде своим убеждением, что это сами турецкие министры выдумывают, чтобы как-нибудь поселить недоверие между Стрэтфордом и Меншиковым. «Эту двойную игру, привычную для оттоманского дипломата, следовало бы разоблачить на месте, чтобы ей не удалось испортить отношения представителей России и Англии», потому что, как известно барону Бруннову, «наши кабинеты желают привести переговоры к быстрому и удовлетворительному решению» [30].

Словом, на горизонте Бруннова по-прежнему не наблюдается даже и маленькой тучки. Лишь бы только турецким интриганам не удалось нарушить возникающих сердечных чувств между Стрэтфордом-Рэдклифом и Меншиковым!

Между тем хотя посольство Меншикова возбуждало с первого же дня своего появления в турецкой столице большое волнение и интерес и в Сербии, и в Болгарии, и в других областях Оттоманской империи с православным населением, но русскому послу было ясно, что единственным элементом на Балканском полуострове, от которого Россия может ждать не только платонического сочувствия, но и реальной помощи, являются греки. Однако он не только не вступил с Грецией в сколько-нибудь целесообразные сношения, но самым непозволительным образом скомпрометировал этого возможного в будущем союзника.

Характерная для Меншикова манера совсем несерьезно относиться к своим важнейшим обязанностям и даже явно бравировать, рисоваться своим вельможным пренебрежением к делу, которое он соблаговолил на себя взять, как нельзя лучше сказывается на этом инциденте. Багаж Меншикова и его свиты занял целый военный корабль. Но, отправляясь в свое посольство,

Александр Сергеевич забыл захватить с собой... географическую карту Турции, так что ему пришлось выпрашивать ее по личному знакомству у австрийского генерала барона Гесса. А почта из Константинополя в Вену шла (через специального курьера) не меньше десяти дней, так что карту князь мог получить не раньше трех недель после отправления своей просьбы. «В случае нужды прибегают к тем, кто имеет,— и с откровенностью старого солдата я обращаюсь к вам, г. барон, со следующей просьбой. Лишенный карты, которую, по собственной непредусмотрительности, я не распорядился, чтобы прислали мне в Константинополь, я не имею генеральной карты Турции и я прошу у вас эту карту с указанием границ греческого королевства» [31]. Все это так невероятно, что я именно поэтому и привожу точную выдержку из подлинного документа. Меншиков, знающий, что единственным стремлением Греции, этого единственного возможного союзника России, является расширение границ королевства за счет Турции, забывает захватить с собой карту и выпрашивает ее по дружбе у любезных и услужливых австрийцев, прямо заинтересованных, как и сама Турция, именно в том, чтобы границы Греции не расширялись! Что он этим выдает туркам Грецию головой и в то же время окончательно разоблачает перед Англией и Францией чисто завоевательные цели и воинственные намерения, с которыми приехал, Меншиков и не подумал.

Почти весь апрель прошел в довольно мирных переговорах Меншикова с турками и в обмене проектами соглашений по вопросу о «святых местах». Этот «мирный» характер переговоров обусловливался двумя обстоятельствами: во-первых, Меншиков ждал, чтобы русские военные приготовления на бессарабско-молдавской границе были вполне закончены, а он знал через Непокойчицкого, что этого раньше конца мая не будет; во-вторых, лорд Стрэтфорд-Рэдклиф, с момента своего прибытия в Константинополь, взял в свои руки верховное руководство турецкой внешней политикой и, проводя указанный выше свой план, советовал туркам идти в вопросе о «святых местах» до крайних пределов уступчивости. Он знал, что бьет без промаха, что Меншиков не может не выдать настоящей цели своего приезда, именно когда получит полное удовлетворение по этому теперь уже всем ненужному, выдуманному вопросу о «святых местах». Случилось именно так, как Стрэтфорд рассчитал. 23 апреля (5 мая) Рифаат-паша послал Меншикову подписанные султаном два фирмана, дававшие полнейшее удовлетворение всем домогательствам Николая касательно «святых мест».

И в тот же день последовал протест Меншикова. В своей ноте от 23 апреля (5 мая) Меншиков указывал прежде всего

на то, что его основные требования ничуть не удовлетворены: не даны «гарантии на будущее время», а это «составляет главный предмет забот его величества императора» (Николая). А поэтому Меншиков снова заявляет, что новый фирман о «святых местах» должен иметь «значение формального обязательства (султана — *Е. Т.*) относительно императорского (русского — *Е. Т.*) правительства». Затем — требовалось подтверждение всех старинных и новых прав, привилегий и преимуществ православной церкви и духовенства, греческого патриарха и епископов, причем подчеркивалось, что отныне Порта должна все эти права и преимущества признавать и соблюдать во имя уважения «к совести и религиозным убеждениям исповедующих этот (православный — *Е. Т.*) культ». Меншиков сопроводил эту ноту уже наперед составленным проектом требуемого им *сенеда*, договора между царем и султаном. В этом проекте — шесть пунктов, но наиболее неприемлемыми для турок были два: форма международно-правового обязательства султана пред царем и фактическое право вмешательства царя в дела «исповедующих православный культ», т. е. приблизительно половины населения Турции, не говоря уже о делах греческого патриархата. Отправляя Рифаат-паше 5 мая эту протестующую ноту и проект *сенеда*, Меншиков ставил срок для ответа: 10 мая. «Посол мог бы рассматривать более долгий срок только как неуважение (un manque de procédés) относительно его правительства, что возложило бы на него (посла — *Е. Т.*) самые тягостные обязанности». Другими словами, Меншиков ставил ультиматум и грозил разрывом сношений и отъездом из Константинополя.

Получив от Меншикова этот ответ на фирманы Абдул-Меджида, турки бросились к Стрэтфорду-Рэдклифу.

Лорд Стрэтфорд просил в тот же день (5 мая) личного свидания с Меншиковым. Но Меншиков уклонился под предлогом нездоровья, и Стрэтфорд говорил с поверенным в делах Озеровым. «Посол (Стрэтфорд — *Е. Т.*) снова с большим волнением говорил о беспокойстве, которое мы внушаем Европе... Он привел, в подтверждение своих опасений, факт наших вооружений, которые приняли обширные размеры и приближались к границам (Турции — *Е. Т.*), он старался извинить недоверие и опасения Турции тем впечатлением, которое осталось от нашего поспешного предложения Австрии выступить вместе против Турции». Но общее впечатление, которое осталось у Озерова и о котором Меншиков поспешил сейчас же (6 мая) написать Нессельроде,— было самое удовлетворительное. Да и не могло быть иначе: затем ведь Стрэтфорд-Рэдклиф и пожелал экстренно видеться с Меншиковым или уполномоченным Меншикова, чтобы внушить русскому правительству мысль, что Англия

не вмешается в войну России с Турцией, *не* окажет материальной и военной помощи туркам. Только это убеждение могло спровоцировать Меншикова на новые, быстрые, непоправимые решения. Лорд Стрэтфорд-Рэдклиф даже увлекся (по словам Озерова) и заявил, что по свойственной ему лично гуманности он всецело сочувствует нуждам и пользе турецких христиан. «Мои мнения по этому вопросу,— сказал он,— до такой степени укрепились во мне, что если бы даже они встретили неодобрение со стороны моего правительства, я предпочел бы покинуть свою карьеру скорее, чем отказаться от моих мнений». Озеров (доносит Меншиков канцлеру) «поблагодарил лорда Стрэтфорда за дружеский тон, в котором тот говорил с ним», но отстаивал непримиримую позицию России и подчеркнул, что «император (Николай — *Е. Т.*) желает сохранить полную свободу действий на Востоке». Озеров выразил даже надежду после такого дружественного и откровенного разговора (après les preuves de franchise et de bonne entente), что лорд Стрэтфорд-Рэдклиф будет помогать русской дипломатии в ее усилиях образумить турок. «Тогда посол намекнул, что раньше чем дойти до применения крайних мер, мы могли бы согласиться на кое-какие изменения в деталях акта, которого мы требуем. Озеров нашел его (Стрэтфорда — *Е. Т.*) на этот раз более готовым к тому, чтобы примириться с сильной настойчивостью с нашей стороны (plus préparé à une insistance forte de notre part),— и я расположен думать, что, при моей нынешней позиции, лорд Стрэтфорд не будет так нам противиться перед лицом турок, особенно если мы немножко польстим его самолюбию».

Словом, Меншиков, пишущий это царю (через Нессельроде), и сам царь должны были окончательно успокоиться: никакой опасности выступления Англии нет и быть не может. Французский флот останется в полном одиночестве в Архипелаге. Турки — одиноки, так как без Англии Наполеон III не выступит. Чтобы окончательно направить Меншикова по ложной дороге, лорд Стрэтфорд, не довольствуясь этой «дружеской» беседой с Озеровым, написал Меншикову 8 мая письмо, ласково увещевая его быть снисходительным к туркам и не уезжать из Константинополя. Коротенький ответ Меншикова от 9 мая 1853 г. отклонил просьбу и подтвердил, что князь ждет от турок положительного ответа.

Лорд Стрэтфорд, зная, что в Лондоне ни лорд Эбердин, ни даже Кларендон сейчас не желают ускорить русско-турецкую войну, должен был в эти решающие майские дни вести многотрудную тройную политику: 1) внушать Меншикову, что Англия вовсе не собирается помогать туркам в случае войны; 2) внушать Абдул-Меджиду и его министрам — Рифаат-паше, а с 13 мая — Решид-паше, что Англия и Франция их не оставят

и что уступить Меншикову это означает для Турции отказ от своего государственного суверенитета; 3) внушать Эбердину, что он, Стрэтфорд, делает будто бы все от него зависящее, чтобы предотвратить разрыв между Россией и Турцией, но что же делать, если царь явно стремится к военному нападению на Турцию? Нельзя при этом без малейшей критики принимать все «миролюбивые», специально для Эбердина написанные заявления британского посланника. Даже по новейшей книге Темперлея, опубликовавшего выдержки из корреспонденции Стрэтфорда, которую никто до Темперлея не видел, даже по этим старательно отобранным для оправдания английской политики обрывкам можно проследить и без того вполне ясную нам по русским и даже французским свидетельствам талантливо проведенную игру лорда Стрэтфорда. Помощи туркам он будто бы не обещал вовсе, кроме «моральной», и это, мол, было даже ударом для турецких министров. Но вот 9 мая Стрэтфорд побывал у султана Абдул-Меджида. И тут он нашел падишаха настолько угнетенным и обескураженным, что (повинуясь, очевидно, все тому же своему чувству гуманности, с которым великодушный Стрэтфорд никогда не мог совладать) английский посланник, по собственному показанию, совершил нижеследующее: «Я в заключение сообщил его величеству то, что я приберег только для него лично (what I had reserved for his private ear),— что, в случае неминуемо грозящей опасности, я имею инструкцию потребовать от командира морских сил ее величества в Средиземном море держать эскадру в готовности». Впоследствии и сам Стрэтфорд и британский кабинет решительно отрицали, что в этих словах заключалось прямое провоцирование турок к неуступчивости и к разрыву с Россией. Турки, оказывается, не так поняли слова гуманного лорда Стрэтфорда-Рэдклифа, увлекшегося только жалостью к павшему духом султану [32]. Словом, установка со стороны Стрэтфорда была дана твердая: последняя слабая надежда на мир с этого момента, конечно, исчезла.

Меншиков не уехал 10-го и согласился присутствовать на специально созываемом 13 мая заседании дивана. Он решил произвести новые изменения в составе турецкого правительства. Стесняться было нечего: ведь после разговора лорда Стрэтфорда с Озеровым Александр Сергеевич, как мы видели, удостоверился, что Англия никакой помощи туркам не подаст. Игра Стрэтфорда быстро подвигалась и на турецком и русском «фронтах» к желаемому конечному результату.

На 13 мая было назначено торжественное заседание во дворце великого визиря: князь Меншиков должен был тут говорить с турецкими министрами о новых русских требованиях. В назначенный час во дворце великого визиря в Куру-Чесме

12*

собрались: великий визирь, министр иностранных дел Рифаат-паша, сераскир (должность, соответствующая военному министру) и представитель улемов (духовенства). Долго ждали Меншикова. Наконец, показались его экипажи. Вместе со свитой он, к изумлению собравшихся, проехал, не останавливаясь, под окнами дворца, где его ждали, и проследовал во дворец к султану Абдул-Меджиду, который его вовсе не ждал, хотя Меншиков и утверждал, будто он предупредил султана и будто тот его сам после этого пригласил и «благожелательно» отнесся к его домогательствам. После этого визита султан немедленно пригласил к себе министров. Турецкие министры, естественно, были раздражены и обижены этой нарочито дерзкой и по отношению к ним и по отношению к султану выходкой. Абдул-Меджид прямо поставил вопрос: что теперь делать? Что отвечать Меншикову на предъявленное им непосредственно султану требование?

Министры склонялись к отказу. Решено было устроить новое заседание. Абдул-Меджид согласился, но немедленно при этом объявил об отрешении от должности министра иностранных дел Рифаат-паши и о назначении великим визирем Мустафа-паши (вместо Мехмета-Али), так как теперь стало ясно, что назначение Рифаат-паши не умилостивило и нисколько не смягчило Меншикова, как на это султан надеялся, удаляя в свое время (тотчас после первых же «дерзостей» Меншикова) Фуад-эфенди. Вместо Рифаат-паши министром иностранных дел был теперь назначен Решид-паша. Опять-таки: и о смене Рифаат-паши и о назначении Решида 13 мая Меншиков говорил с султаном как о желательном для него изменении в составе дивана,— по крайней мере константинопольский дипломатический корпус был в этом вполне убежден.

Меншиков допустил, как вскоре оказалось, грубую ошибку, дав понять султану, что он увидел бы с удовольствием Решид-пашу на посту министра иностранных дел вместо Рифаата, которого, впрочем, сам же Меншиков, как мы видели, и посадил в марте, вынудив отставить Фуад-эфенди. Решид вел очень ловкую и долгую интригу в течение всего марта, апреля и первой половины мая,— и вполне обманул Меншикова. На самом же деле он был и оставался все время преданным агентом и клевретом Стрэтфорда-Рэдклифа, а вовсе не «только» 14 мая столковался с английским послом, как хотят почему-то внушить читателю английские историки во главе с Темперлеем, построившим все изложение событий, снова повторяю, с целью обнаружить мнимое, не признанное никем из не-английских историков «миролюбие» и чистосердечие этого верховного маэстро и главного дирижера всех константинопольских интриг — Стрэтфорда-Рэдклифа [33]. Этого Решид-пашу враждебная России европейская

пресса очень хвалила за его культурность и европеизм, в частности за то, что он уже, когда обедает, «сидит не на корточках, а по-европейски на стуле и пользуется при еде вилкой и ножом», хвалила особенно и за то, что он отказался от многоженства и имеет всего-навсего одну жену. Правда, с огорчением при этом иногда приводился установленный факт, что эта единственная жена стоит нескольких: она занималась, с полного одобрения мужа, скупкой молодых рабынь, воспитывала их для гаремов и продавала их затем по высоким ценам [34]. Не довольствовавшийся этим очень значительным прибавлением к своему семейному бюджету, Решид-паша был известен как взяточник, выдающийся своей пронырливостью и алчностью. Пальмерстоновская пресса в Лондоне игнорировала эти стороны деятельности как Решида, так и его единственной супруги и горячо восхваляла его, как истинного друга Англии, паладина и защитника европейской цивилизации и гуманности против грядущего из Петербурга варварства. Французы также с жаром отзывались о Решиде, и сам Гизо выразился о нем так: «Решид — великий человек, единственный, которым обладает Восток» [35]. До такой степени восхищения довел маститого историка и государственного деятеля его собственный французский патриотизм!

В ночь с 13 на 14 мая произошло заседание дивана. После заседания Решид-паша поспешил повидаться с Меншиковым и уведомил его, будто он, Решид, произнес длинную речь, горячо советуя товарищам подчиниться всем требованиям России. Тотчас же после свидания с Меншиковым Решид-паша повидался с лордом Стрэтфордом-Рэдклифом и сообщил ему правду, т. е. что в длинной речи, которую действительно произнес, он решительно советовал султану отклонить русские требования.

Вечером 14 мая Решид-паша со Стрэтфордом вдвоем составили ответ Меншикову, который должен был быть вручен русскому послу от имени султана. Писал, конечно, Стрэтфорд, потому что турецкие дипломаты были больше искушены в устных, чем в письменных переговорах и норовили всегда устраиваться так, чтобы антирусские ноты им писали англичане, а антианглийские ноты — писали бы русские: турецкие министры вполне полагались при этом на искусство и ехидство гяурских перьев. 15 мая утром Решид-паша снова виделся с Меншиковым, но не решился сразу уведомить его об отказе, а к вечеру Меншиков получил от Решида бумагу, в которой турецкий министр просил об отсрочке на шесть дней для окончательного ответа. Меншиков все еще верил Решиду, который лгал до курьеза беззастенчиво: достаточно почитать в собственном докладе Меншикова графу Нессельроде выдержки из горячей и убедительной речи Решид-паши в пользу уступок России, — из той речи, которую Решид никогда не произносил, а выдумал ее тут же на месте

в разговоре с Меншиковым[36]. Трудно себе представить более наглую подделку под все то, что Меншикову желательно было бы услышать из уст турецкого министра. Это Решид перестраховывался на случай русской конечной победы. В тот момент Меншиков еще ему отчасти верил.

15 мая вечером Меншиков отправил Решид-паше ноту, в которой уведомлял его, что он принужден разорвать дипломатические отношения с Высокой Портой. Но, принимая во внимание, что Решид-паша лишь совсем недавно вступил в должность, и в надежде на благое «просвещающее» действие, которое окажет Решид-паша (dans l'espèrance que les lumières que vous y apporterez...), князь Меншиков согласен еще поотложить свой отъезд. Он просит Решида взвесить «неисчислимые последствия и великие несчастья», которые падут на голову министров султана, если они будут продолжать упорствовать. Это было повторением той устной «строгой речи», с которой Меншиков уже 15-го утром обратился, по своему собственному показанию, к Решид-паше.

Уже в тот же день, 15 мая, князь Меншиков с частью посольского персонала переехал на привезший его в Константинополь военный пароход «Громоносец», стоявший у Буюк-дере. Волнение охватило все константинопольское население. Лорд Стрэтфорд-Рэдклиф и французский посол Лакур ежедневно — и 13, и 14, и 15, и 16 мая — доводили до сведения султана и его министра и повторяли на все лады, что Турция будет поддержана Англией и Францией.

Австрийское посольство следило с напряженнейшим вниманием за этими последними действиями двух противников: Меншикова, равнодушно взирающего на исчезновение всякой надежды на мир, и Стрэтфорда-Рэдклифа, определенно агитирующего султана за войну, но скорбно печалующегося перед всеми европейскими представителями о неуступчивости Меншикова и об упрямстве турок. Австрийское правительство в самом деле не желало войны,— и не желало именно потому, почему ничего против нее не имел тогда Меншиков: граф Буоль и его агенты боялись разгрома Турции.

Уже на выезде, сидя в Буюк-дере, Меншиков получил 18 мая письмо, отправленное из Вены начальником австрийского штаба Гессом еще 9 мая. Гесс с ударением хвалит мнимый «примирительный дух» (cetesprit conciliateur) князя и желает ему успеха «для вас, как и для нас» (т. е. австрийцев)[37]. Чем объясняются миролюбивые настроения Австрии, Меншиков, конечно, понимал и знал также, несомненно, что и Стрэтфорд-Рэдклиф и французский посол в Константинополе Лакур очень стараются завербовать австрийцев. Уже разорвав дипломатические сношения с турками, накануне отъезда, Меншиков уведомил Гесса,

что Сардиния предлагает Турции оборонительный союз, посылку войск и «может быть, эмигрантского легиона» (une légion des réfugiés). По мнению русского посла, это должно было прекратить всякие попытки союзников завербовать Австрию. А на самом деле подобные слухи, пугая австрийского императора перспективой конечной потери Ломбардии и Венеции, напротив, все более и более заставляли его искать расположения Наполеона III, от которого вполне зависело удержать либо толкнуть Сардинское королевство к войне против Австрии [38].

Но, конечно, не в эти дни и не в константинопольском посольстве, которое до июня 1853 г. возглавлялось даже не посланником, а временным поверенным в делах, должен был решиться вопрос о позиции Австрии, а только в Вене и позже.

Остается в заключение отметить, как усердно фальсифицирует новейшая английская историография историю посольства Меншикова.

Что касается событий, связанных с роковым разговором 9 января 1853 г., то здесь инициатива царя в дипломатических действиях, которые были направлены к разделу турецкой территории, не может быть оспариваема. Но, конечно, вовсе не эта аксиома, против которой никто и не спорит, является грубой, недопустимой исторической фальсификацией, вопиющим насилием над очевидными фактами, извращением исторической правды.

Безобразной ложью является утверждение, будто провал миссии Меншикова был обусловлен только неуступчивостью Меншикова, которая сделала бесплодными все усилия искреннего «миролюбца» и неутомимого «миротворца» лорда Стрэтфорда-Рэдклифа, стремившегося якобы урезонить турок и побудить их к уступкам русским требованиям. Кричащая правда, которую даже целые вороха фальсификации не могут заглушить и подавить, заключается в том, что именно английский посол изо всех сил и очень оперативно боролся против мирного исхода переговоров Меншикова с турками, именно он последовательно и успешно срывал все попытки и визиря и Меншикова прийти к какому бы то ни было приемлемому соглашению, и этим он вполне последовательно и естественно увенчал здание всей своей личной долгой карьеры, всегда без исключения еще с конца 20-х годов XIX в. строившейся на разжигании вражды к России в английском правительстве и обществе, а также в турецких правящих кругах.

Говорить то, что с особенным чувством и азартом утверждает Темперлей (который идет по пути извращения истины гораздо

дальше всех своих предшественников в данном случае), доказывать, что Стрэтфорд-Рэдклиф не только не разжигал пожар, а тушил его,— значит, в самом деле называть черное белым, а белое черным и глядеть на вещи через какую-то камер-обскуру, показывающую наблюдаемые предметы в перевернутом виде.

Прежде всего следует признать крайне стилизованными даже те (количественно очень немногие) документы, которые как Темперлей, так и другие историки, писавшие об этом прежде, вроде американца Порьира Вернона («New lights on the origins of the Crimean War» в «Journal of Modern History», 1931), кладут в основу изложения. Очень многие английские послы часто — а Стрэтфорд-Рэдклиф почти всегда — писали свои официальные служебные донесения лондонскому начальству именно так, чтобы их можно было в любой момент опубликовать в виде «Белой книги», белоснежная невинность которой и должна убедить всех и каждого в вечном, нерушимом миролюбии и голубиной кротости и чистоте намерений британской политики. Непорочное зачатие этих невинных «Белых книг» именно и происходит в укромных помещениях английских посольств. А уж как давать настоящий отчет о своих действиях, как всерьез осведомлять свое правительство и через какие каналы пересылать в Лондон то, что нужно,— об этом никаким Темперлеям никогда никто в форейн-оффисе не рассказывал и ничего не показывал.

Помнится, что покойный, очень «засекреченный» дипломатический агент форейн-оффиса Лауренс, уже в отставке, разговорившись как-то на досуге с корреспондентами, отозвался с большим юмором об этой дипломатической кухне, на которой сам считался одним из искусных тонких поваров.

Можно перебрать все «Белые книги», изданные испокон века английским правительством, и не встретить там ни нечистых помыслов, ни каких-либо низменных стремлений или алчных вожделений,— одно сплошное джентльменство и в мыслях, и в чувствах, и в целях, и в методе действия.

От всех этих извращений и ухищрений, имеющих целью доказать чистоту помыслов и «миролюбие» британской дипломатии, решительно ничего не остается при свете реальных и совершенно неопровержимых документальных показаний.

В эти роковые апрельские и майские дни 1853 г. британское посольство в Константинополе прямо выбивалось из сил, чтобы добиться разрыва сношений между Турцией и Россией.

Понять все, что творил в Константинополе Стрэтфорд-Рэдклиф, этот энергичный давнишний помощник Пальмерстона в деле разжигания ненависти турок против России, можно только пользуясь русскими, французскими, позднейшими (скудными) турецкими, даже, пожалуй, австрийскими документами, но ни-

как не ограничиваясь служебными донесениями Стрэтфорда, рассчитанными на дезориентацию европейского общественного мнения.

Когда пробил урочный час, летом 1853 г., министр иностранных дел Кларендон и опубликовал эти донесения для доказательства поразительного по миролюбию поведения Стрэтфорда в Константинополе. И ведь все современники прекрасно знали роль этого злостного, неутомимого поджигателя войны, но кембриджские профессора истории не желают в середине XX в. видеть то, что с отчаянием наблюдали и прекрасно понимали в 1853 г. турки, которых британский посол ловко втравливал в войну!

Извращение Гарольдом Темперлеем[39] фактов, касающихся роковой агитации Стрэтфорда-Рэдклифа весной 1853 г., начинается с того, что кембриджский историк даже не желает признать весьма знаменательного непритворного «ужаса», с которым отнеслось население турецкой столицы к прибытию Стрэтфорда. Этот «ужас» (the awe) турецкого народа признавал уже первый по времени старый историк Крымской войны Кинглэк и объяснял его весьма натурально и правдиво: турки знали, что прибытие Стрэтфорда, этого давнишнего ярого антирусского агитатора и поджигателя войны, означает исчезновение всякой надежды на мирное улаживание дела. Нет! Темперлей полагает, что, напротив, Стрэтфорд хотел мира. Конечно, читателю ни слова не говорится о том, что Стрэтфорд был послан именно по настоянию Пальмерстона, который хоть и был в кабинете Эбердина министром внутренних дел, но заправлял всеми иностранными делами. Кларендон был лишь пешкой в его руках.

Но главная ложь, от первой строки до последней отравляющая и обесценивающая все, что говорит Темперлей о событиях 1853 г., заключается в старательном умолчании о той «двойной бухгалтерии», которая так исправно и успешно действовала в 1853 г. в английской правительственной машине: премьер Эбердин «миролюбив», но что же делать, если он не может никак справиться с воинственным Пальмерстоном. Темперлею, впрочем, и незачем было бы много на этом останавливаться: ведь у него и Пальмерстон тоже очень «миролюбив» и Стрэтфорд-Рэдклиф — ангел, принесший в Константинополь оливковую ветвь мира. Если и был воинственный человек в Константинополе,— это лишь один Меншиков.

Нужно сказать, что хотя безответственный, лишенный дипломатического чутья Меншиков, подобно своему повелителю, совсем не понимал, в какое опасное положение попала Россия ввиду явной вражды к ней двух морских западных держав, и преувеличивал русские шансы на дипломатическую победу, уверив себя, что Англия и Франция не выступят, и хотя он поэтому

делал одну грубую ошибку за другой, но были моменты, когда, казалось, в самом деле решительно открывался путь к миру. И вот тут-то всегда вмешивался очень оперативно Стрэтфорд. Зная, что его патрон лорд Пальмерстон еще не сломил сопротивления кое-кого из членов кабинета, не желавших ускоренного приближения войны, Стрэтфорд-Рэдклиф пускал в ход буквально все, вплоть до преднамеренного преступного искажения документов, исходивших от России.

Ко всему сказанному прибавлю только один необычайно характерный штрих из документа, который был еще мною не найден, когда я писал впервые о посольстве Меншикова и о роли Стрэтфорда-Рэдклифа в развязывании войны.

Готовясь к занятию Дунайских княжеств, едва лишь прибыв в Одессу из Константинополя, Меншиков получил сведения, что Стрэтфорд-Рэдклиф советовал туркам не оказывать русским вооруженного сопротивления, так как все равно Европа вступится за Турцию и турецкое дело будет выиграно: «... в сем предвидении лордом Рэдклифом им (туркам — *Е. Т.*) сказано: останьтесь в оборонительном положении, усильте его, но не нарушайте, не подавая никакого случая к столкновению оружием; будьте терпеливы. Европа вступится, и выигрыш останется на нашей стороне» [40].

Другими словами: если бы еще у султана Абдул-Меджида или у Решид-паши могли быть какие-либо колебания и опасения, то Стрэтфорд-Рэдклиф снимал всякие заботы с сердца своих турецких друзей. Отныне они смело могли не обращать никакого внимания на русские требования и не бояться главной угрозы — занятия Дунайских княжеств. Всемогущий английский покровитель ручался, что «Европа вступится» и что турецкое конечное торжество обеспечено. А туркам даже и воевать не придется! Беспокоиться нечего...

Таким образом, если первый шаг к войне был сделан Николаем, начавшим с Англией 9 января 1853 г. переговоры о разделе Турции, то второй крупный шаг к войне был сделан при переговорах Решид-паши с царским посланцем Меншиковым, при самом деятельном соучастии и подстрекательстве британского посла Стрэтфорда-Рэдклифа, всецело забравшего в свои руки султана и Решида. В этом не имеет никакого основания усомниться ни один добросовестный историк, считающийся с бесспорными документами. Однако Темперлей не только не желает это признать, но все время как бы демонстративно стремится доказать, будто верит в благородные усилия поджигателя войны Стрэтфорда «спасти» мир. Историк Темперлей до такой степени надеется на то, что его умолчания и искажения скроют от читателя истинную роль Стрэтфорда, что имеет наивность (или цинизм) приводить слова Стрэтфорда, этого богобоязненного про-

вокатора кровопролития, из письма к жене его от 23 января 1853 г., писанного Стрэтфордом, следовательно, через две с половиной недели после входа соединенных эскадр западных держав в Черное море: «Я благодарю бога, что мне выпало на долю передать последнее мирное предложение такого содержания, чтобы оно удовлетворяло и наше правительство и было бы приемлемо для Европы». Набожный Стрэтфорд, сделав все решительно от него зависящее, чтобы ускорить военный взрыв, благодарит своего создателя за то, что так хорошо ему удалось поработать на пользу... мира. И кембриджский профессор Темперлей, не уступающий в благочестии и любви к правде своему герою, пресерьезно заключает этой молитвенной концовкой свое повествование о благородстве и миролюбии английских министров и послов, обнаруженных ими (всеми без исключения) в роковой год, когда предрешалось долгое кровопролитие...

Что именно Стрэтфорд-Рэдклиф был одним из самых главных подстрекателей, сознательно и вполне целеустремленно зажегших пожар Крымской войны,— это, конечно, правящие круги Англии понимали вполне отчетливо с самого начала его деятельности в Стамбуле. Это понимал и премьер Эбердин, называвший Стрэтфорда-Рэдклифа двуличным лицемером (a double faced hypocrite). Это понимала и королева Виктория, сознававшаяся в том, что просмотр депеш лорда Стрэтфорда производил на нее впечатление, что Стрэтфорд *желает* возбудить войну. Прямой начальник Стрэтфорда, министр иностранных дел Кларендон, называет его донесения «страшными». И, приведя эти свидетельства (и утаив с десяток других), новейший биограф Стрэтфорда-Рэдклифа, всерьез считающий себя «историком», Малькольм-Смит тут же стремится опровергнуть все бесспорнейшие факты, уличающие поистине преступную роль этого человека, и свалить все на «фатум» и на неисповедимые пути провидения [41]. Нечего и говорить, что и Эбердин, и Виктория, и Кларендон всецело с начала до конца поддерживали Стрэтфорда-Рэдклифа.

18 мая Решид-паша побывал у Меншикова, предлагая ему снова гарантии насчет «святых мест», издание фирмана, гарантирующего греческому патриарху все, что желает царь для православной церкви, и даже специальный *договор* с Россией («сенед»), уступающий России место для построения русской церкви и странноприимного заведения в Иерусалиме. На это, по собственным словам Меншикова, последовал со стороны его «сухой и категорический отказ, сильно выраженный (un refus sec et net d'acceptation, fortement exprimé)». Обстановка, в которой проходили эти последние переговоры, была такова (речь идет именно об этом визите Решид-паши к Меншикову 18 мая): «Во время этого свидания лорд Рэдклиф, который уже побывал

у Решида утром, ожидал его (Решида — *Е. Т.*) в каике посредине Босфора,— и затем снова с ним увиделся в третий раз после заседания совета (министров — *Е. Т.*), на котором английский драгоман *поблизости оказавшийся,* следил за прениями». Так писал Меншиков графу Нессельроде уже 21 мая, все еще находясь на борту «Громоносца» в Буюк-дере. Уезжающий посол, приказавший уже перевезти на пароход весь архив посольства, узнал, что Стрэтфорд-Рэдклиф побывал у султана Абдул-Меджида и заключил с ним какое-то секретное соглашение, «связывающее Турцию с Англией». 21 мая 1853 г. Меншиков приказал капитану «Громоносца» отчаливать. К вечеру пароход покинул Босфор и вышел в море, направляясь к Одессе.

Глава III

ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ И РОССИЯ ПЕРЕД ВСТУПЛЕНИЕМ РУССКИХ ВОЙСК В МОЛДАВИЮ И ВАЛАХИЮ

1

С момента, когда Европа узнала о том, что князь Меншиков 21 мая покинул Константинополь, и до 20 июня, когда последовало окончательное решение о занятии княжеств, а особенно в начале июля того же 1853 г., когда русская армия перешла через реку Прут и начала оккупацию территории Молдавии и Валахии, английская и французская дипломатия, с одной стороны, и русская, с другой, не переставали вести между собой упорную полемику. Эта полемика шла в двух направлениях: сначала обе стороны старались свалить друг на друга вину в подготовке и организации провала миссии Меншикова; потом вопрос об оккупации русскими войсками Молдавии и Валахии породил большое раздражение,— притом все усиливавшееся в зловещих размерах с каждой неделей. Конечно, обе эти темы были логически тесно между собой связаны: после отказа Турции принять ультимативные условия, предъявленные Меншиковым, вторжение русской армии в Молдавию и Валахию представлялось канцлером Нессельроде как способ побудить султана согласиться на требуемое. Но ни царь, ни Нессельроде, ни Англия, ни Франция, ни Турция и вообще никто в Европе не верил в правдивость такого истолкования оккупации Дунайских княжеств; напротив, в этой оккупации усматривали начало разрушения Оттоманской империи.

Как, прежде всего, смотрели в Турции на происходившее единоборство между Меншиковым и Стрэтфордом-Рэдклифом в эту, навеки для турок памятную, весну?

Барон Александр Генрихович Жомини, сын известного военного теоретика, участника и историка наполеоновских войн, уже по окончании Крымской войны служил с успехом в русском министерстве иностранных дел. Особенной глубиной мышления он не отличался, но своим природным французским языком владел в совершенстве. Он получил еще в начале 60-х годов поручение от А. М. Горчакова, министра иностранных дел, написать

историю дипломатических отношений, приведших к Крымской войне. Жомини это и исполнил, правда, нескоро, но со всей старательностью усердного департаментского деятеля,— и его два тома, написанные изящной, хоть и слишком уж манерной и прилизанной французской прозой, были готовы в 1875 г. и тогда же напечатаны в Париже. Но министерство иностранных дел задержало выход в свет этой книги и выпустило ее лишь в 1878 г., без имени автора и не для продажи в пределах России, хотя книга помечена была: «St.-Pétersbourg».

Не весьма понятно, зачем было принимать столько предосторожностей. Жомини излагает с чиновничьей аккуратностью точку зрения Александра II на дипломатические действия его отца. На этих 970 страницах двух томов большого формата рассеяно там и сям немало интересных фактических документальных деталей, но напрасно мы стали бы искать тут чего-либо похожего на свободное, научное, критическое отношение к содеянным в 1852—1854 гг. дипломатическим ошибкам, погубившим Николая. Оказывается, царь ни в чем не был виноват. Просто все дело заключалось в различии между возвышенным самодержцем, для которого его слово свято, и низменными конституционными правительствами, вроде английского, которое не оценило чистосердечных разговоров царя с Гамильтоном Сеймуром [1]. С этой точки зрения и в провале миссии Меншикова или, иначе говоря, в том, что результатом этой миссии оказалась война России сначала с Турцией, а потом с западными державами, виновато было исключительно это предвзятое английское недоверие. При всей тенденциозной абсурдности этого воззрения, нужно сказать, что существует документальное свидетельство, о котором ничего не знал Жомини, говорящее о том, что в самой Турции некоторые близко стоявшие к делу наблюдатели, давая сравнительную оценку Меншикову и лорду Стрэтфорду-Рэдклифу, определенно считали Стрэтфорда более виновным в последующих событиях, чем Меншикова, хотя вовсе не обеляют и русского чрезвычайного посла и ничуть не считают царских стремлений «чистосердечными» и заслуживающими доверия.

Вот как рисуется дело в позднейшем показании визиря Мехмета-Али, напечатанном впервые в переписке директора политического департамента, а потом министра Наполеона III М. Тувнеля. Переписка издана была в 1891 г. его сыном Луи Тувнелем под названием: «Nicolas I et Napoléon III». Мехмет-Али дает это свидетельство уже будучи в отставке, в 1855 г. Он изображает ход событий в таком виде: «Меншиков в первых совещаниях, которые у него были со мной, пускал в ход угрозы против Турции и говорил о Франции и об Англии с ненавистью и презрением. Таким способом он пробовал заставить меня согласиться на *сенед* (т. е. двухсторонний договор между султаном и

царем — *Е. Т.*). Встретив с моей стороны упорное сопротивление, он оставил проект сенеда и предложил оборонительный и наступательный союз. Однако, так как этот проект отдавал Турцию, связанную по рукам и по ногам, во власть России и в то же время неминуемо вел к разрыву с Францией и Англией, я попробовал вернуться к первому предложению князя, к *сенеду*. Я в самом деле заметил, что князь Меншиков не имел намерения искать разрыва, но хотел избежать его, если это возможно. Что касается Решид-паши, то он мешал мирному исходу». Мехмет-Али очень распространяется о роковой роли и интригах других второстепенных лиц, но утверждает, что Меншиков уже шел на уступки, уже соглашался удовольствоваться *нотой*, а не *сенедом*. «Я действовал относительно него (Меншикова — *Е. Т.*) с самой полной откровенностью. В особенности я ему доказывал, что Россия своими требованиями заставляет нас оставаться душой и телом преданными морским державам и что настанет момент, когда мы будем только орудием в их руках,— как этот момент, действительно, и наступил... Я давно уже видел, что князь Меншиков хотел выйти из тупика, в который он попал, следуя советам, которые ему давали гг. Озеров и Балабин под влиянием тщеславия и желания не портить своей карьеры. Я видел, что Россия не желает разрыва». Дальше события развернулись так. Решид-паша, интриговавший с целью сместить великого визиря и стать самому по крайней мере министром иностранных дел, дал знать Меншикову, через греческого логофета Николая Аристархи, что он, Решид, если бы получил должность министра, склонил бы султана подписать не то что ноту, а даже сенед, от которого Меншиков уже соглашался отказаться. «Меншиков попался в эту ловушку (Le prince Menchikoff donna dans le panneau)»,— пишет Мехмет-Али во французском документе, напечатанном среди бумаг Тувнеля. Не понимая, что Решид — орудие в руках Стрэтфорда-Рэдклифа, прямо толкающего Турцию и Россию к войне, Меншиков на аудиенции у султана добился немедленного назначения Решида министром. Но, став министром, Решид «нагло отрицал» (nia effrontement), что брал на себя это обязательство, и даже прибавил, что «скорее дал бы себе отрезать руки, чем подписал бы *сенед*». По определению Мехмета-Али, Решид был «великий лжец»,— и, судя по дальнейшим словам цитируемого документа, Мехмет-Али считал, что солгал тут Решид Николаю Аристархи, а вовсе не Николай Аристархи — Меншикову, когда передавал князю обещание Решида подписать сенед [2]. Меншиков очень скоро понял, как жестоко и издевательски он одурачен, и раздражение князя в эту последнюю неделю его посольства, после 13 мая, было уже в самом деле искренним, а не притворным, каким оно являлось до сих пор, когда князь больше играл роль гневающегося, чем в самом деле гневался.

Отдыхая на одесском рейде после своего константинопольского посольства, князь Меншиков собирал сведения о том, что делается в Турции, и делился этой информацией с Паскевичем, человеком большой военной опытности, серьезным, вдумчивым и решительно не уважавшим Меншикова. Паскевич был невесел, его озабоченность возрастала с каждым днем. А Меншиков пытался его утешить такими, например, известиями: «У Порты нет ни денег, ни хорошо организованных войск, ее солдаты, особенно редифы (запасные — *Е. Т.)*, дезертируют целыми бандами, ее вооружения истощаются, и если это положение еще немного продлится, она будет доведена до печальной крайности. Как бы то ни было, лица, вообще хорошо осведомленные, предполагают, что количество войск, которые Порта могла бы выставить в поле, считая тут и гарнизоны крепостей, не превысит цифры в 84 тысячи человек». А кроме того, «мусульманское население, сначала фанатизированное, мало-помалу падает духом»... Словом, все обстоит благополучно. Все это могло бы сбить с толку Паскевича, если бы он доверял этому придворному острослову и его разведке.

Лишь одно сведение Меншикова было совершенно правильно, потому что подтверждается целым рядом разнообразных свидетельств: в Константинополе население «скорее раздражено, чем удовлетворено присутствием англо-французской эскадры поблизости от Дарданелл» [3].

Но, конечно, важность капитальную имело не то, как смотрят на провал миссии Меншикова турки, а как смотрят Лондон, Париж и Вена.

Игра британского кабинета в течение всего пребывания Меншикова в Константинополе была очень сложная. С одной стороны, нужно было всячески поддерживать сопротивление Турции, обещая ей помощь и покровительство, и вести — и в английской прессе и в европейских дипломатических кругах — деятельную агитацию. А с другой стороны, необходимо было сбивать Бруннова в Лондоне с пути верного понимания действительности, внушая ему разными способами мысль, что на самом-то деле английский кабинет ни за что из-за Турции не возьмется за оружие. Первую функцию взяли на себя министр иностранных дел Кларендон, ставший орудием министра внутренних дел Пальмерстона, и лорд Стрэтфорд-Рэдклиф. Вторую функцию невольно выполнял прежде всего, конечно, премьер лорд Эбердин, который сначала, правда, хотел достигнуть дипломатического поражения Николая без войны, а уж потом перестал противиться Пальмерстону. Во всяком случае объективно Эбердин делал в 1853 г. дело, нужное Пальмерстону: он внушал царю уверенность, что Англия не выступит на защиту Турции, и это толкало Николая на новые и новые непоправимые шаги. Но иногда не-

посредственно из пальмерстоновской группы делались попытки внушить Николаю, что в Лондоне все для него обстоит благополучно. В начале мая Кларендон объясняется с Брунновым, обнаруживает, «до какой степени беспокойство кабинета возбуждено серьезностью положения вещей в Турции»,— а кончает, вдруг передавая, до какой степени ее величество королева Виктория радуется, прямо «поздравляет себя» (se félicite) с тем, что дружеские ее отношения с русским двором «становятся все теснее и теснее». И тут же Кларендон (ведущий пальмерстоновскую непримиримо-враждебную антирусскую линию) сообщает Бруннову, что все донесения Гамильтона Сеймура из Петербурга проникнуты «наилучшим духом» [4]. Это говорилось и в апреле и в мае 1853 г., в дни наступающего финального кризиса меншиковской миссии в Константинополе.

Сношения между Брунновым и петербургским кабинетом были в те времена крайне громоздки и медлительны. Например, Бруннов отмечает, что между 11 (23) марта, когда он отправил свои донесения Нессельроде, и получением ответа от канцлера прошло четыре недели и он только 8 (20) апреля может, таким образом, сообразоваться с тем, что получил с новым курьером.

А за эти четыре недели в такое тревожное время, как весна 1853 г., очень многое изменилось и в позиции Меншикова, и в положении Турции, и в поведении Наполеона III, и в политике британского кабинета. Фактически Бруннов в Лондоне был еще в большей мере предоставлен самому себе, без точных инструкций из Петербурга, чем Киселев в Париже, которому все же было ближе и легче отправлять и принимать курьеров.

Бруннов задним числом дает Нессельроде отчет об этих четырех неделях. Зловещий факт — отправление французского флота в Саламин. Но англичане этому «противились» и не одобряют, хотя, вообще говоря, «понадобилась большая твердость духа со стороны лорда Эбердина», чтобы не поддаться советам тех, которые желали, чтобы и Англия последовала примеру Наполеона III. Второе неприятное дело — раздражение в Англии, вызываемое слухами о русских военных приготовлениях на Черном море. Третье — неожиданное известие, что требования Меншикова вовсе не ограничиваются только вопросом о «святых местах», но и идут гораздо дальше.

Бруннов по мере сил старался успокоить английское правительство, и с этой целью, а также чтобы доказать лично Эбердину глубочайшее доверие, Бруннов дал ему прочесть инструкции, полученные Меншиковым при отъезде из Петербурга. Эбердин (будто бы) остался доволен, не спорил, и вообще Бруннов очень хвалит себя за этот поступок: он, Бруннов, этим снабдил Эбердина аргументацией для предстоящих споров с его коллегами по кабинету. Нужно было поддержать старика! «В каждом

серьезном положении, господин канцлер, наступает момент, когда не следует слишком переоценивать силы человеческие»,— разглагольствует Бруннов, объясняя графу Нессельроде, почему следует оказывать особое доверие и внимание лорду Эбердину: «не следует забывать, что лорд Эбердин находится вдвойне в ответственном положении»,— так как в глазах Англии он виновен, что в 1828—1829 гг. еще не поддержал Турцию [5].

Эта глубокая вера в Эбердина продолжалась, как увидим, не только у Бруннова вплоть до того момента, когда Эбердин объявил России войну. Но до этого было еще далеко.

Еще 3 (15) апреля 1853 г. Нессельроде по приказу Николая уведомил Сеймура, что царь очень благодарит британский кабинет за выраженное лордом Кларендоном полное доверие к прямодушию Николая (une pleine confiance dans la droiture de ses sentiments). Вместе с тем Нессельроде уведомляет английское правительство, что царь не согласен признавать обращение турок с христианами гуманным и терпимым: так, в Боснии христиане подверглись таким жестоким гонениям, что принуждены были бежать в Австрию. Не очень согласен царь и по вопросу о жизнеспособности Турецкой державы, но он тоже намерен, как это советуют англичане, не подвергать Турцию никаким унижениям и не предъявлять ей никаких чрезмерных требований [6].

Вообще весной 1853 г., когда главная работа Стрэтфорда-Рэдклифа по организации провала миссии Меншикова была по существу закончена и до окончательного результата оставалось несколько дней,— в Лондоне продолжали так искусно водить и обманывать Бруннова, что он пресерьезно верит, будто «лорд Стрэтфорд взялся за облегчение дружеского соглашения между послами России, Франции и турецкими министрами», и вот только несколько не понимает, почему доброжелательный лорд, сидящий в Константинополе, просто не посоветует туркам подписать формальный акт [7]. Это он пишет 14 мая 1853 г., под впечатлением разговора с лордом Кларендоном, уверившим его, что «правительство ее британского величества полагается на старания лорда Рэдклифа облегчить дружеское соглашение».

Английское правительство медлило с посылкой своего флота вслед за французским,— и так как в это время уже существовало тайное англо-французское соглашение о координации действий в восточном вопросе, вызванное именно действиями Меншикова, то ни Наполеон III, ни Эбердин нисколько по этому поводу друг на друга не обижались. Но Николаю доносили из Лондона, будто бы оба кабинета по этому поводу в натянутых отношениях, будто бы вообще Эбердин недоволен французской политикой и т. д. [8] Приводятся соответствующие слова Эбердина в разговоре с Брунновым. Но даже из этих слов нельзя делать таких решительных выводов, какие делает из них Бруннов.

Английский премьер делает оговорки на всякий случай, прикидываясь, будто он винит в разных грехах не самого Наполеона III, а его министра, и будто между императором и Друэн де Люисом существует противоречие [9].

В обильной дипломатической почте, отправленной из Лондона к Нессельроде с курьером 8 (20) апреля 1853 г., есть между прочим довольно необычный для корреспонденции русского посла документ: краткое изложение основ бюджетного плана, представленного в парламент в апреле 1853 г. министром финансов Гладстоном. Вчитываясь в это изложение, мы находим там многозначительные строки: «при помощи этих национальных ресурсов (подоходного налога — *Е. Т.)* г. Гладстон утверждает, что Англия, если понадобится, будет в состоянии вооружить 300 тысяч солдат и 100 тысяч матросов, чтобы выдержать борьбу против целого света». Конечно, Бруннов снабжает эти строки успокоительной оговоркой: «Это место его (Гладстона — *Е. Т.*) речи показалось мне бьющим на эффект преувеличением риторики» [10].

В течение всего апреля и мая 1853 г. Бруннов явно не знает толком, ни зачем (и с чем) послан Меншиков, ни о чем ему с английским кабинетом следует разговаривать. В длинных беседах с Эбердином он продолжает толковать о православных патриархах, о Палестине,— когда все это уже давно устарело.

3 мая Эбердин не скрывает от Бруннова, что дело в Константинополе идет неладно. Конечно, сам премьер лоялен, благороден, искренен, дружелюбен,— и только жаль (пишет Бруннов), что «моральная энергия лорда Эбердина не на высоте его политической честности». Всех-то он боится, и все его притесняют: Пальмерстон и весь кабинет в Лондоне, неукротимый Стрэтфорд-Рэдклиф в Константинополе. Бруннов об Эбердине пишет в тонах теплого участия и сострадания, как если бы речь шла не о главе великобританского правительства, а о некоем сиротливом и бесприютном скитальце, гонимом недобрыми силами. Эбердину так тяжело огорчить Николая, что он скорее в отставку уйдет! Бруннов взволнован до глубины души: «Если бы это слово вырвалось у всякого другого министра, я бы его даже не принял всерьез. Но лояльность характера лорда Эбердина заслуживает такого почтения, что я ничуть не сомневаюсь в искренности чувства, которое он мне открыл. Я его вполне понимаю. Основа его мысли такова». И тут, читая в сердце благороднейшего из лордов, Бруннов от его имени говорит: «Если я ошибся, советуя моему кабинету оставаться бесстрастным свидетелем осложнения, которое я обязан был предвидеть, то все-таки не могу я изменить своего отношения к русскому императору. Пусть другие, но не я, это делают. Но что касается меня, то я предпочитаю уйти в отставку и оставить власть». То есть:

он, Эбердин, уповает, что Николай не займет княжеств, даже если Меншиков не добьется от турок удовлетворительного ответа,— и поэтому британский флот не подойдет к Дарданеллам. А если Николай займет княжества, английский флот, может быть, и должен будет войти в проливы, и если война России с Турцией возгорится, то, пожалуй, английские суда войдут и в Черное море. Но не подымется рука лорда Эбердина отдавать такие приказы! Пусть другие это делают, а он с растерзанной душой скроется под сень уединения. Замечательно, что лорд Эбердин не один раз, а по крайней мере четыре раза пугал Бруннова своей отставкой, и хотя исправнейшим образом с мая 1853 г. по март 1854 г. отдавал последовательно все нужные приказы и подводил флот к Дарданеллам, и вводил его в Дарданеллы, и вводил его в Босфор, и вводил его в Черное море, и объявил России войну,— но Бруннов вплоть до выезда своего из Лондона склонен был писать о маститом премьере, как о некоем чистом душою Гамлете, страдающем от нерешительности.

Зная, что творит в Константинополе Стрэтфорд-Рэдклиф, которого именно Эбердин туда и послал, и уже получив точные известия об успешной борьбе Стрэтфорда-Рэдклифа против князя Меншикова, Эбердин испускает лишь вздох сожаления: «Господь да ниспошлет, чтобы исход этого кризиса оказался скорым. При дальнейшем продлении дела наши два посла мирно не уживутся. У меня есть такое предчувствие» [11]. Почему он, томимый этим «предчувствием», не уберет Стрэтфорда из Константинополя, что было всецело в его власти,— Бруннов не спросил, хотя Эбердин выражал в присутствии Бруннова полное свое неодобрение политике Стрэтфорда. И когда несколько дней спустя Эбердин уже предварил Бруннова, что английский флот все-таки подойдет к Дарданеллам, то русский посол с огорчением пишет о благожелательном премьере: «Истинная его ошибка заключалась в том, что он предоставил лорду Стрэтфорду произвольно широкую свободу действий, которой тот и злоупотребил и испортил ход константинопольских переговоров, осложнив их до такой степени, до какой теперь дошло дело. Это — крайний результат, и я уже давно обращал на это внимание первого министра, но он не воспользовался моими предупреждениями» [12].

Слепота Бруннова, в других случаях не самого плохого из русских дипломатов, в суждениях о политике Эбердина поистине удивительна.

Быстро прогрессировавшего сближения обеих западных держав Бруннов долго не хотел замечать, а между тем оно было очевидно.

Общая борьба против Меншикова необычайно сблизила Англию с Наполеоном III и с его министрами. Еще когда Меншиков

только собирался в путь-дорогу, либеральные министры коалиционного правительства позволяли себе предаваться вольномыслию, когда говорили о бонапартовском режиме. «Посмотрите на нашу ближайшую соседку (Францию — *Е. Т.*), — сказал на банкете в городе Галифаксе в феврале 1853 г. канцлер казначейства, — никогда она не была подчинена такому деспотизму, даже во времена Наполеона I. Пресса придушена, свобода уничтожена, никому не позволяется высказать свое мнение» [13].

Но этот либерализм крайне быстро соскочил с Гладстона: уже к маю 1853 г., а в июле, после вступления русских войск в княжества, и следа от него не осталось.

Как раз во время доверительных собеседований миролюбивого и русофильского лорда Эбердина с послом Брунновым в руки Николая попадает перехваченный и скопированный в Петербурге, куда он был переслан из Парижа послу Кастельбажаку для сведения, крайне важный документ: донесение французского посла графа Валевского министру Друэн де Люису о разговоре Валевского с лордом Кларендоном, британским министром иностранных дел, в кабинете этого самого лорда Эбердина, испытанного друга Николая и приятнейшего из собеседников барона Бруннова.

Вот что доносит Валевский своему министру о разговоре, который он имел с лордом Кларендоном 12 мая 1853 г., т. е. когда уже отъезд Меншикова из Константинополя был несомненен. «Лорд Кларендон сначала повторил мне относительно советов, какие следует дать оттоманскому правительству, что он не сомневается, что лорд Стрэтфорд уже сделал это в таком духе, чтобы заставить это правительство упорствовать в сопротивлении требованиям русского посла». Кларендон предвидит отъезд Меншикова. Он пока еще не думает, что русский кабинет вызовет конфликт, «в котором против него окажутся соединенными Франция и Англия, а может быть, даже Пруссия и Австрия».

Дальше Кларендон, все время говоря от имени британского правительства, заявил, что совершенно согласен с французами, что «если князь Меншиков добьется того, чего он требует, то отсюда появится право императора Николая вмешиваться в дела Турции. Это сделает его истинным государем всех греческих (православных — *Е. Т.)* подданных султана... таково наше воззрение на дело... В Турции было бы два государя, и наиболее могущественный из обоих уж, конечно, сидел бы не в Константинополе». Граф Валевский еще спросил в заключение Кларендона: «Итак, лорд Стрэтфорд вполне точно (bien nettement) сговорится с г. де Лакуром, чтобы оказать Порте всю помощь, в которой она будет нуждаться в столь трудных обстоятельствах, если дело зайдет далеко?» И на этот решительный вопрос лорд Кларендон дал послу Наполеона III столь же решительный

ответ: «Будьте уверены, что согласие между нашими обоими послами — полное и что лорд Стрэтфорд уже высказался вполне ясно. Если дело пойдет дальше, наша традиционная политика обязывает нас принять последствия этого. Мы не можем допустить безнаказанного покушения на независимость Оттоманской империи» [14].

Тут все ясно, и все дышит урозой. Не доложить царю этого огромной важности документа Нессельроде, конечно, не посмел бы, и Николай прочел это — и продолжал верить, что Эбердин не выдаст...

Любопытно, что через несколько дней после того как ответственный и непосредственный руководитель английской политики Кларендон совершенно ручался графу Валевскому, что предложения Меншикова Портой приняты не будут, а Великобритания непременно вместе с Францией ее поддержат, — барон Бруннов, как всегда, избегая Кларендона, явился к Эбердину потолковать с ним именно об этой ноте Меншикова [15]. И опять Бруннов не нахвалится премьером. «Я должен отдать справедливость первому министру, он произнес беспристрастное и корректное суждение о наших требованиях». Вот только жаль одно, «он не скрыл от меня тем не менее, что его личное мнение по этому поводу не разделяется его коллегами, которые все предубеждены в большей или меньшей степени очень резкими заявлениями лорда (Стрэтфорда — *Е. Т.*) Рэдклифа». Пожалуй, еще хуже этой оговорки было то, что Эбердин вдруг порекомендовал Бруннову побеседовать об этом предмете с Кларендоном. Беседа состоялась в тот же день.

Кларендон, по сути дела, повторил Бруннову именно то, о чем они с Валевским окончательно сговорились еще 13 мая: требования Меншикова недопустимы, потому что нарушают суверенные права султана, изымая из его юрисдикции все православное население Оттоманской империи, отдавая эту юрисдикцию в руки царя.

Бруннов отстаивал меншиковскую точку зрения, но Кларендон не уступил. «Этот спор, который велся с обеих сторон с большой живостью, доказал мне, как правильно лорд Эбердин оценил размеры оппозиции, которую мы должны ожидать среди кабинета, когда он соберется для обсуждения решения, какое необходимо принять ввиду сложившегося положения»,— доносит Бруннов.

Итак, из этого собеседования с Кларендоном ровно ничего хорошего не получилось. Тогда, все еще цепляясь за фикцию доброжелательного и могущественного Эбердина, Бруннов, вернувшись в посольство, садится за стол и пишет длинное письмо тому же другу-премьеру, который только что уклонился от беседы и отправил Бруннова к лорду Кларендону.

В этом письме снова и снова повторяется о полной невинности русских требований и правах православной церкви, о том, что ничего нового царь не требует от султана, и т. д. Получив это письмо, Эбердин прочел его в заседании совета министров, которое происходило под его председательством 21 мая. Результат был посредственный. «Нужно им дать время. Мое положение трудно. Я одновременно и адвокат русского дела, и адвокат английского дела». Так сказал Эбердин Бруннову. Он указал на основную трудность. Зачем к вопросу о «святых местах» понадобилось присоединять требование о протекторате над православными? Конечно, жаль, что Стрэтфорд не согласился там же, на месте, с Меншиковым о редакции ноты к султану. «Со своей стороны я сделаю все, что могу. Конечно, я не могу изменить мнение моих коллег, которое вам неблагоприятно. Но и они в свою очередь не могут действовать *без меня* (подчеркнуто в рукописи — *Е. Т.*). Вот хорошая сторона положения, которое, в противном случае, было бы очень плохо». Свое благородство и русофильство лорд Эбердин довел до того, что тут же «поразил и огорчил» своего друга Бруннова, заявив, что если дело дойдет до разрыва Англии с Россией, то он, Эбердин, уйдет в отставку. Кстати Эбердин даже привел свои слова, сказанные им, когда он отправлял Стрэтфорда в Константинополь в качестве полномочного посла: «смотрите, не ссорьтесь с Россией (mind do not quarrel with Russia)». Очевидно, Эбердин, давая это наставление, как-то упустил из виду, что не только Англия, но и вся Европа давно (и единодушно) считала Стрэтфорда заклятым врагом русского влияния на Востоке, превосходившим своей непримиримой ненавистью к России даже Пальмерстона и всегда по мере сил обострявшим все англо-русские контроверзы. Казалось бы, проще было отправить в Константинополь в такой опасный момент кого-либо другого. Но Бруннову эта мысль (при всей ее естественности) не пришла в голову. Напротив: «Это откровенное и лояльное объяснение, которое я старался тут привести дословно, обеспечит, смею думать, за первым министром новые права на уважение и одобрение со стороны нашего августейшего повелителя»,— так горячо рекомендует Бруннов лорда Эбердина Николаю.

В середине двадцатых чисел мая 1853 г. Европу облетели телеграммы о разрыве сношений между Меншиковым и Оттоманской Портой и о переезде Меншикова из посольства на корабль. Лондонское Сити, парижская биржа — в страшном возбуждении. Телеграммы поступают через Париж ежечасно. Прибыло известие, что по требованию французского посла в Константинополе де Лакура французский флот, стоявший до сих пор в Саламине, идет к Дарданеллам. В Лондоне и Париже крепнут слухи о готовящемся вторжении русских войск в Молдавию,

о приготовлениях к переходу через Прут, о скоплении новых дивизий в Бессарабии. Английской эскадре, стоявшей в Ла-Манше, велено идти в Средиземное море («к Гибралтару»,— осторожно сообщает Бруннов) [16].

27 мая 1853 г. разом последовали в английском парламенте два запроса правительству о положении дел в Константинополе. В палате общин выступил консерватор Дизраэли, в палате лордов — лорд Мэмсбери. Оба запроса клонились к приглашению правительству быть более энергичным и действовать в согласии с французским кабинетом. В палате лордов отвечавший от имени правительства лорд Кларендон отделался заявлением, что переговоры еще ведутся и он не может входить в детали. В палате общин отвечал Джон Россел, выразивший надежду, что русский император не потребует «ничего несовместимого с суверенитетом султана и с сохранением европейского мира». Вообще же милорд не считает «согласным с пользой службы» сообщать парламенту, какие инструкции были даны Стрэтфорду-Рэдклифу при отправлении его в Константинополь: «Эти инструкции дают большой простор его усмотрению, рекомендуя ему не упускать из виду всегдашней политики британского величества, охранения силы договоров и поддержки независимости и целостности Оттоманской империи». Выражая устами Россела полное доверие Стрэтфорду и хваля тут же его «авторитет и опытность в делах», кабинет Эбердина в день запроса (27 мая) уже имел сведения о неминуемом провале миссии Меншикова и о роли Стрэтфорда в этом провале. Но никаких выводов из этого кричащего факта Бруннов не сделал [17].

1 июня Нессельроде отправил Бруннову для сообщения британскому кабинету длинный меморандум, сообщающий о неудаче миссии Меншикова и о мерах, которые намерено предпринять русское правительство. Снова излагая всю историю посольства Меншикова и утверждая, что никто в России на Турцию не покушался, что дело покровительства 12 миллионам подданных султана, исповедующим православие, вполне естественно и по праву должно принадлежать царю, у которого 50 миллионов православных подданных, Нессельроде определенно жалуется на интриги именно лорда Стрэтфорда как на главную причину, помешавшую соглашению. А теперь российский император, не ищущий отнюдь увеличения русской территории, принужден обратиться к Порте в последний раз с требованием принять ноту, предложенную отъезжавшим Меншиковым. Если эта нота не будет принята в семидневный срок, то «с живым и глубоким сожалением» его величество вынужден будет ввести свои войска в Дунайские княжества, о чем он и спешит без обиняков (sans détour) известить правительство английской королевы.

Меморандум перед отправлением в Англию был представлен Николаю, который и подписал сверху собственноручно: *быть по сему*[18]. В этом меморандуме, разосланном по дворам всех великих держав, Нессельроде говорил следующее в объяснение происшедшего разрыва дипломатических сношений между Россией и Турцией: «В последний момент, когда князь Меншиков согласился отказаться от требования видоизмененного сенеда и удовольствоваться нотой, когда сам Решид-паша, пораженный мыслью об опасностях, которым мог бы подвергнуть Порту отъезд нашего посольства, настойчиво заклинал (conjurait) британского посла не противиться принятию ноты, формулированной князем Меншиковым,— лорд Рэдклиф помешал ему в этом, объявив, что эта нота имеет значение трактата и что она неприемлема».

Прочтя это, Стрэтфорд-Рэдклиф, твердо зная, что документально доказать этот (бесспорнейший) факт ни Нессельроде и никто вообще не может, немедленно принял позу оскорбленной невинности и обратился к единственному человеку, который так же, как и он сам, знал, что Нессельроде говорит правду, но что доказать эту правду документально не в состоянии. Это был Решид-паша. Лорд Рэдклиф получил, однако, от Решид-паши ответ несколько двусмысленный. Правда, Решид-паша с жаром распространяется о том, что ему самому требования Меншикова казались абсолютно неприемлемыми и что он, Решид, целую неделю «истощался в усилиях» добиться соглашения с Меншиковым и мирного исхода. Но насчет роли Рэдклифа Решид-паша пишет нижеследующее: «Что касается утверждения, согласно которому я заклинал ваше превосходительство не противиться принятию ноты, сформулированной князем Меншиковым, то мне только остается апеллировать к совести вашего превосходительства, чтобы констатировать, что подобного выступления с моей стороны не было»[19]. Другими словами: Решид-паша отвергает лишь свою *инициативу* в испрашивании совета у лорда Рэдклифа, но вовсе не опровергает, что Рэдклиф настойчиво убеждал его и советовал ему отвергнуть требование Меншикова. Апелляция к такой спорной инстанции, как «совесть его превосходительства», и все это намеренно неясное и нерешительное «оправдание» Рэдклифа Решид-пашой было, конечно, вовсе не то, что Рэдклифу было желательно получить. Но тут уж совести английского превосходительства пришлось волей-неволей подчиниться велениям совести превосходительства турецкого: Решид-паша и в этом документе, как и в других своих заявлениях, оставлял себе на всякий случай лазейку и обеспечивал для себя возможность, если впоследствии дело обернется нехорошо, оправдаться перед Николаем именно тем, что во всем виноват один только Стрэтфорд-Рэдклиф.

Еще менее убедительно (в смысле оправдания Стрэтфорда-Рэдклифа) звучит показание советника британского посольства Элисона о том, что, мол, Решид-паша составил свой ответ Меншикову еще до того, как узнал мнение Рэдклифа [20]. Как будто они не успели десять раз об этом переговорить еще до того, как последовал официальный ответ!

Мимоходом заметим, что для деятельности Стрэтфорда-Рэдклифа в Константинополе довольно характерно следующее позднейшее показание постороннего и очень осведомленного деятеля.

«Пребывание князя Меншикова в Стамбуле обнаружило, что в Турции нет никакой политической полиции, ни тайной, ни явной. Правительству поставил это на вид сэр Стрэтфорд-Каннинг (Рэдклиф — *Е. Т.*) вследствие того, что ни он, ни Порта не знали, что делается там, где жил князь... Лорд Редклиф очень заботился и докучал туркам, чтобы они завели тайную полицию и приискали для нее способного директора. Искали мусульманина-турка на должность директора и мусульман-турок на места агентов, но в миллионном населении не нашли ни одного человека для этих обязанностей: все отказывались, словно сговорились»,— читаем у Михаила Чайковского (Садык-паши) [21].

Возбуждение в Лондоне росло с каждым днем. 1 июня Бруннов уже сообщает в Петербург, что Эбердин ответит на занятие княжеств призывом британскому флоту подойти к Дарданеллам и предупреждает русского посла, что и Австрия тревожится и предлагает конференцию пяти держав для улажения русско-турецкого конфликта. Проходит несколько дней,— и волнение уже серьезно охватывает обе палаты парламента: дело в том, что из Берлина (где Наполеон III основал тогда как бы центр шпионского наблюдения за Россией) пришли в Париж известия, что четвертый русский армейский корпус форсированным маршем идет к границе Молдавии. Тотчас же британское адмиралтейство послало приказ адмиралу Дондасу, командиру средиземноморской эскадры, стоявшей у Мальты, идти в Архипелаг, но не входить еще в Дарданеллы. Другой приказ повелевал Дондасу отныне находиться в распоряжении британского посла в Константинополе лорда Стрэтфорда-Рэдклифа, на случай нападения русских на турецкую столицу.

Вооружившись двумя документами: сообщением Нессельроде из Петербурга о решающей роли интриг Стрэтфорда в деле провала миссии Меншикова и письмом непосредственно от Меншикова к барону Бруннову, где этот факт разъяснялся и уточнялся, Бруннов 5 июня поехал объясняться. Это письмо ему накануне привез прямо из Константинополя, непосредственно от уезжавшего уже оттуда Меншикова, молодой граф Дмитрий Карлович Нессельроде, сын канцлера: невзирая на абсолютную общепризнанную его бездарность, чадолюбивый отец поместил его в свое

время в свиту Меншикова, который никакой пользы от него не извлек. Но письмо Меншикова и устные (ничего особенно ценного не прибавившие) рассказы молодого Нессельроде дали Бруннову большой материал для жалоб Эбердину на козни и коварство Стрэтфорда-Рэдклифа [22]. Эбердин, как всегда, выразил горестное удивление по поводу злонравного поведения и дурного характера своего константинопольского посла. Он вполне признал, что «вина на стороне Турции»,— и как всегда, пресса и правительство Эбердина продолжали деятельно готовить Англию к решительному противодействию домогательствам Николая. Но в утешение Бруннову Эбердин сказал, что он сам и кабинет склоняются к мысли отправить в Петербург особую делегацию с личным письмом королевы Виктории, в котором будет содержаться просьба окончить миром конфликт с Турцией. А по поводу указания Бруннова, что невозможно же отдавать теперь эскадру Дондаса в полное распоряжение того самого Стрэтфорда, который и обострил конфликт своими интригами, Эбердин признал необходимым «переместить» переговоры по восточному вопросу из Константинополя куда-нибудь в другое место, специально затем, чтобы «изъять дело из рук» Стрэтфорда (to take it out of his hands) [23]. То есть Стрэтфорд представлялся настолько вросшим в почву Константинополя, что легче было «переместить» восточный вопрос (!) из турецкой столицы, чем убрать оттуда «своевольного» посла. Все это очень походило на издевательство. Никуда, разумеется, восточный вопрос «перемещен» не был, Стрэтфорд более чем когда-либо пользовался полнейшим доверием кабинета, никакого письма Виктория не написала и никакой делегации в Петербург не посылалось. А Дондас привел свой флот в бухту Безика у входа в Дарданеллы и известил Стрэтфорда, что, согласно приказу адмиралтейства, находится в его распоряжении.

Бруннов хвалился, как необычайным своим успехом, что ему удалось убедить английское правительство отказаться от немедленного реагирования путем морской демонстрации на взволновавшее всю Европу известие об отъезде Меншикова. «Это было и для меня дурной четвертью часа»,— пишет Бруннов канцлеру и предвидит еще «много дурных дней» [24]. Посол явно очень сильно все-таки побаивается ближайших шагов царя, которые «Англия ждет с почтительностью и с доверием». Беря на себя изъявить от имени Англии эти отрадные чувства государю императору, барон Бруннов очень неспокоен душой, зная, что в этой Англии или даже — конкретнее и теснее — в английском правительстве водятся и Пальмерстон и Кларендон, а в оппозиции — и Дизраэли и лорд Гардвик, которые еще находят Кларендона слишком слабым и уступчивым. «Это великий момент, когда наш августейший повелитель выскажет свою волю среди

этого кризиса. Будьте добры, известите меня (о волеизъявлении царя — *Е. Т.*), чтобы я мог ответить лорду Эбердину, с тревогой этого ожидающему»,— просит Бруннов.

А пока Эбердин «не считает войну неизбежной». Если русские войдут в Дунайские княжества, Эбердин «с большим сожалением» велит английской эскадре подойти к Дарданеллам. Но ведь и Николай тоже с *большим сожалением* посылает войска для оккупации Молдавии и Валахии. Это место рукописи отчеркнуто царем. Сам Эбердин при этом прибавил, что он вообще считал бы очень печальным, если бы христианским народам пришлось проливать кровь во имя Магомета. Но все это ничуть не решало вопроса. А что если турки посмотрят на занятие Молдавии и Валахии как на объявление войны и обратятся с формальной просьбой о помощи к Англии и Франции? «Наряду с турецкой глупостью не следует забывать французской ярости. Кто может предвидеть, куда она нас заведет? Если Луи-Наполеон хочет запутать дела, конечно, для него представится удачный случай. А если французская эскадра *войдет* в проливы, то останется ли английская *вне* проливов?»

Бруннов метался в эти дни во все стороны, писал ноты, письма, меморандумы. «Я бы наполнил томы,— пишет он,— если бы я хотел отдать вам отчет в том, что я делал все эти дни, чтобы повлиять на английское министерство». Уже в этот первый момент, не зная точно, но предвидя оккупацию княжеств, Бруннов пишет: «Без Австрии английское правительство не зайдет слишком далеко. Оно боится остаться вдвоем с Францией. Будут стараться обработать венский и берлинский дворы (on travaillera les cours de Vienne et de Berlin)».

Тут, мимолетно, Бруннов начинает даже разочаровываться в Эбердине, имевшем «глупость» (quelle pauvreté d'esprit!) доверить столь важные дела такому человеку, как Стрэтфорд! В благорасположении Эбердина Бруннов продолжает все-таки не сомневаться.

14 (26) июня Николай издал манифест о вступлении русских войск в Дунайские княжества, а 1 июня 1853 г. лорд Кларендон виделся с французским послом в Лондоне графом Валевским и уведомил его, что британский кабинет приказал своему флоту идти в Безикскую бухту, у входа в Дарданеллы. Немедленно извещенный об этом Наполеон III приказал французскому флоту, стоявшему с начала апреля в греческих водах, идти туда же, и уже 13 и 14 июня обе эскадры бросили якорь в Безикской бухте, а 22 июня (4 июля) русская армия вступила в Молдавию. Но о намерении царя занять Молдавию и Валахию Нессельроде заявил британскому послу Гамильтону Сеймуру еще в конце мая.

Сопоставление этих дат дало впоследствии возможность каж-

дой стороне утверждать, что инициатива враждебных действий исходила не от нее. Спор — излишний, потому что агрессивные стремления и провокационные приемы обеих сторон не подлежат сомнению. Теперь и английские историки уже не спорят, что приказ английскому флоту идти в Безику был отдан еще до того, как Кларендон узнал о царском повелении занять Дунайские княжества [25].

Телеграмма из Варшавы известила 7 июня лорда Кларендона, что в Петербург вызван князь Михаил Дмитриевич Горчаков ввиду его назначения начальником штаба действующей армии. Об английской миссии в Петербург Кларендон уже «хранил молчание». Вообще же Бруннову кажется, что английский кабинет в нерешимости и что между его членами нет согласия, что они страшатся войны, но и боятся запросов в парламенте, воинственных настроений в общественном мнении и т. д. Кларендон предостерегает Бруннова, а Бруннов, боящийся войны в душе и сам,— с готовностью передает точные слова Кларендона по адресу Николая: «Я подавлен, когда я думаю о страстях, которые военный крик подымает всюду в Европе. Это — надежда революционной партии. Вот почему все установленные правительства должны соединить свои усилия, чтобы не дойти до этой крайности» [26].

В эти дни, приглядываясь к английским настроениям, Бруннов утверждает, что Англия быстро примирилась бы даже с завоеванием Турции русскими, «если бы она не боялась русского тарифа», т. е. изгнания английских товаров с левантийских рынков. Англия боится, однако, раздела Турции, так как Россия получит при этом наибольшую часть. Отмечая совершенно правильно эти факты, барон Бруннов не придумывает для борьбы с английскими настроениями ничего более хитрого, чем перемену названия: «Я прошу вас принять в соображение одну мысль, которая с некоторых пор представилась моему уму. Дайте восточным делам новое название. Назовите так: „восстановление христианства в Турции". Это важно ввиду религиозных чувств, сильных в Англии». Николай отметил карандашом это место двойной чертой. И Бруннов снова настаивает, что Англия «боится не наших солдат, а наших таможенных чиновников». «Все это мелко, меркантильно более, нежели политично, но это чистейшая истина» [27].

Невольно тут вспоминаешь то, что еще, начиная с 1835 г., твердил Ричард Кобден, который именно потому и советовал своим землякам относиться хладнокровно к возможному внедрению русских в Турцию, что английская торговля от этого не пострадает. Русская протекционистская экономическая политика круто изменила эти воззрения даже в той части торговой и промышленной буржуазии Англии, которая шла за Кобденом.

В середине июня Николаю было сообщено во французской копии письмо статс-секретаря по иностранным делам Кларэдона послу Сеймуру. Письмо, конечно, и писано было специально для доведения его содержания неофициальным путем до сведения Николая. Кларендон «с сожалением» констатировал полное расхождение во взглядах между Англией и Николаем, подчеркивал, что считает поведение Стрэтфорда-Рэдклифа совершенно правильным, указывал, что и для британского кабинета явились полнейшей неожиданностью требования, представленные Меншиковым после того, как все желания царя касательно «святых мест» были выполнены. Кларендон пресерьезно доказывает Николаю, что так как царь всегда утверждал, будто он имеет «твердое намерение» не нарушать независимости Турции, то лорд Рэдклиф именно и считал, что Меншиков нарушает эту волю царя своими новыми и новыми требованиями, и, борясь против Меншикова, думал, что этим самым он, британский посол в Константинополе, способствует исполнению царских желаний [28]. Все эти курьезные объяснения, в которые сам он, конечно, не верил, Кларендон сообщает царю с явной иронией через посредство того самого Гамильтона Сеймура, которому Николай еще 9 января 1853 г. на рауте у Елены Павловны предлагал поделить Турецкую империю между Россией и Англией.

7 июня Кларендон пишет Сеймуру еще одну бумагу уже в форме личного письма. Он снова говорит о «тягостном недоразумении», вследствие которого вопрос о «святых местах» превратился в вопрос о войне России с Турцией. «Никогда потомство не поверит и не сможет оправдать, так же как и нынешнее поколение, бедствия войны, возникшей из-за подобной причины»,— так кончает Кларендон [29].

Снова и снова Кларендон возвращается к вопросу о поведении Рэдклифа в Константинополе, настаивая на полнейшей будто бы его корректности. И снова английский министр стремится выдвинуть эту фикцию, установить разногласие, будто бы существующее между царем, желавшим лишь оградить права православной церкви в Палестине, и Меншиковым, который произвольно видоизменил содержание первоначальных русских требований в сторону нарушения турецкого суверенитета. Если бы русские предложения остались прежними, пишет Кларендон, то «во всяком случае достоверно, что лорд Рэдклиф, будучи запрошен Портой, никогда бы не дал совета, противного принятию этих предложений». Николай пишет на полях, прочтя эти слова: «Однако он это *делал и снова сделал»* (il l'a fait et refait cependant — подчеркнуто царем) [30].

В Лондоне явно еще не теряли надежды, что дело обойдется без занятия русскими войсками Дунайских княжеств. Написав 7 и 8 июня два послания Сеймуру, Кларендон пишет опять и все

о том же. И подчеркивая в этом представленном документе слова, что англичане думали, будто миссия Меншикова касается только «святых мест» и обеспечения прав России от нарушений со стороны турецкого правительства, царь пишет на полях: «конечно, только это — и ничего более (rien assurément que cela et rien de plus)» [31].

Циркулярная нота Нессельроде от 30 мая (11 июня) 1853 г., возвещавшая о неминуемости вступления русской армии в Молдавию и Валахию, вызвала решительное усиление в Англии воинственных настроений. Бруннов продолжает успокаивать государя императора с обычным своим в этом деле усердием: «Я ожидаю яростных атак, которые со всех сторон будут направлены против нашей политики. Этот взрыв дурных страстей не будет иметь ничего для меня нового. Я снова готов противопоставить этой парламентской буре спокойствие и пренебрежение (le calme et le dédain), которые император повелевает своим слугам с твердостью обнаруживать во всех тех случаях, когда на Россию нападают при помощи бессильных слов, которые никто не имеет храбрости поддержать против нее с оружием в руках» [32].

Пальмерстон повел в этот момент нападение на Эбердина и в недрах кабинета и в особенности в прессе, разумеется, не самолично, а через посредство Дизраэли, Клэнрикарда и других парламентских и внепарламентских деятелей и публицистов. Эбердина эти нападки тревожили, по существу, очень мало, потому что он вовсе и не думал принципиально расходиться с нападающими. Дело шло лишь о разногласиях касательно темпов английских выступлений в пользу Турции и против России. А в глазах Николая Эбердин оставался олицетворенным ручательством, что до войны с Англией дело не дойдет. Роковая роль, которую во всем этом подталкивании России к войне непроизвольно играл Бруннов, становилась все пагубнее и пагубнее с каждым днем, потому что с каждым его донесением крепла ложная уверенность Николая, что идея захвата части турецких владений и конечного раздела Турции все-таки не встретит сопротивления со стороны британского кабинета.

В течение всего июня и июля 1853 г. Пальмерстон всеми мерами толкал Англию к войне. В кабинете его поддерживали всецело министр иностранных дел лорд Кларендон, в палате лордов — лорд Россел. Пальмерстон возмущался медлительностью Эбердина. «С русским правительством ничего нельзя достигнуть, обнаруживая сомнения, колебания или страх, в то время как смелый, твердый курс, основанный на праве и поддержанный силой, является надежнейшим путем к достижению удовлетворительных и мирных результатов»,— так поощрял Пальмерстон Кларендона 28 июня 1853 г., уже получив изве-

стия, что русские войска подходят к реке Прут. Пальмерстон считал, что появление английского и французского флотов в Безике ни к чему не поведет и вовсе не испугает царя, впечатление на него может произвести только прохождение обеих эскадр через Дарданеллы и их появление в Босфоре.

Но кабинет еще медлил,— и самое характерное, что и Стрэтфорд-Рэдклиф в Константинополе тоже медлил, хотя он всегда, еще гораздо более страстно, чем Пальмерстон, стремился разжечь войну против России. При свете того, что предшествовало и что последовало, это поведение Стрэтфорда вполне понятно, так как понятно, почему Пальмерстон подчинился в июне и июле 1853 г. «мирному» образу действий своих товарищей по кабинету с таким «добродушием», которое вовсе ему не было свойственно и за которое его похваливает даже в наши дни верящий в пальмерстоновскую и стрэтфордовскую невинность историк Гарольд Темперлей [33].

Это «добродушие» (good grace) Пальмерстона и эта сдержанность Стрэтфорда объясняются тем, чем объясняется и политика всего кабинета, за вычетом только лорда Эбердина: желанием втравить Николая в войну с Турцией настолько, чтобы уже не было ни отступления для царя, ни другого выхода для Англии, Франции и, может быть, Австрии, кроме открытия военных действий против России. Эбердин вполне разделял мнение руководящих членов своего кабинета о том, что Англия должна непременно отстоять Турцию от покушений царя на целостность Оттоманской державы, но он боялся не только России, а страшился также «союзника» и новоявленного «друга» Англии — Наполеона III и хотел бы, по возможности, избежать войны с императором петербургским, чтобы не усиливать сверх меры императора парижского. Но не Эбердину было справиться с Пальмерстоном, и не барону Бруннову было разгадать соотношение сил в британском правительстве и всю условность и скоротечность «расположения» Эбердина к России. И чем более оптимистические донесения после каждого разговора с Эбердином посылал Бруннов графу Нессельроде, тем смелее делались шаги Николая,— а чем решительнее поступал Николай, тем легче проводилась в Константинополе работа Стрэтфорда-Рэдклифа по натравливанию султана и турецкого дивана на Россию,— и тем быстрее падало и сводилось уже совсем к нулю и без того весьма слабое и нерешительное противодействие Эбердина воинственному курсу, взятому лордом Пальмерстоном.

8 июня лорд Кларендон весьма официально предложил Бруннову пояснить ему: с какими целями был послан Меншиков. Теперь, когда Меншиков уже уехал, и после многократных предшествовавших объяснений по этому поводу такой вопрос демонстративно обнаруживал полнейшее недоверие, Бруннов

снова и снова доказывал отсутствие завоевательных намерений, утверждая, что это чисто религиозные интересы Николая, и закончил так: «Если вы желаете столь же искренне, как мы, дальнейшего существования Турции, необходимо, чтобы настоящее разногласие кончилось как можно скорее и чтобы ваш посол в Константинополе отказался от ребяческого соревнования (une rivalité puérile) с нашим посольством». Непосредственно после этого Бруннов говорил с Эбердином. Тот, по обыкновению, был мягок и дружествен, и, тоже по обыкновению, ровно ничего существенного Бруннов от него не добился.

«Он (Эбердин — *Е. Т.*) меня спросил, думаю ли я, что султан примет наши последние предложения, а я ему ответил, что боюсь, что решения Порты подчинены капризам британского посла». На это Эбердин (дозволивший Стрэтфорду-Рэдклифу призвать к Дарданеллам британский флот) ответил нижеследующее: «Следует бояться... что появление нашего флота поощрит турок к сопротивлению против вас». И на этом беседа кончилась. А вывод Бруннова таков: «Из моего свидания с лордом Кларендоном и лордом Эбердином я вынес впечатление, что оба эти министра сожалеют, что лорд Рэдклиф не обнаружил более примирительного духа, что они желают, чтобы Порта предложила императору (Николаю — *Е. Т.*) удовлетворение, которого он требует, и что в то же время они не будут в состоянии ничего сделать, чтобы подвинуть султана к политике, более соответственной его собственным интересам и способной рассеять опасности, угрожающие существованию его империи».

8-го же июня на совете министров был одобрен в принципе проект Эбердина послать специальную делегацию к царю.

Яркий свет на это внезапное решение английского правительства послать подобную делегацию в Петербург с письмом королевы к Николаю бросает интереснейшая беседа Эбердина с Брунновым, происшедшая неделю спустя после заседания совета министров.

Конечно, подозрительным могло показаться уже то, что на заседании 8 июня, где присутствовали и Пальмерстон и Кларендон, единодушно было принято столь миролюбивое предложение.

Но все уточнения сделал сам Эбердин, который спустя несколько дней счел необходимым отложить посылку делегации. И вот почему. Истекает срок ультиматума, поставленного Турции царем. Если Турция примет требование Николая,— тогда, значит, мир обеспечен, и не о чем больше беспокоиться. Если не примет, тогда русские войска вступят в княжества, а британская и французская эскадры станут у Дарданелл. Он, Эбердин, этим бы и удовольствовался, но вот беда: что, если неукротимый и известный своим своеволием Стрэдфорд-Рэдклиф вдруг прикажет Дондасу, не имея на то даже достаточных оснований,

войти в Дарданеллы и в Босфор? «Первый министр, существовавшее до сих пор доверие которого к рассудительности лорда Рэдклифа ныне поколебалось, допускает возможность, что этот посол, злоупотребляя данными ему полномочиями, воспользовавшись приглашением Порты, прикажет английской эскадре войти в пролив». Конечно, «если бы это случилось, лорд Эбердин мог бы лишь порицать поведение своего посла, как переступившего за пределы своих полномочий. И вот тогда-то, при столь печальном случае предосудительных действий лорда Рэдклифа придется послать в Петербург специальную делегацию к царю, чтобы предупредить опасность разрыва и конфликта между Россией и Англией» [34]. То есть, другими словами: англичане займут проливы, станут у самого входа в Черное море, а затем предъявят Николаю в самой ласковой и почтительной форме, путем посылки письма Виктории с целой делегацией, нечто вроде контрультиматума. Конечно, Бруннов немедленно заявил, что при подобных условиях посылать делегацию нельзя: «...всякая попытка улажения дела представляется мне бесплодной, пока хоть один английский корабль будет стоять на якоре перед Константинополем». Видя, что дело не вышло, Эбердин «после нескольких мгновений молчания» перешел к тем излияниям, без которых не обходилась ни одна его попытка, все равно удачная или неудачная, провести барона Бруннова. «Мне скажут, что я трус (coward), но не я ввергну Европу в общую войну. Нет, не сделаю я этого! Другие, но не я, могут это сделать. Но меня не заставят!»

Бруннов, по-прежнему веря вполне в искренние усилия Эбердина ликвидировать в дружественном России духе возникающий конфликт, тем не менее на этот раз не скрывает, что опасность налицо. Даже Эбердин ввернул в свои дружеские речи фразу: «С нашей стороны, пока мы не вошли в пролив, мы не даем России повода жаловаться (на этом месте рукописи Бруннова Николай I поставил карандашом вопросительный знак — *Е. Т.*). Мы совершаем политическую ошибку. Но мы не выходим из границ общего права, тогда как ваши войска, переходя границу, становятся на турецкой территории».

Одновременно английская дипломатия уже начинает впервые прибегать к прямой, хотя еще и отдаленной угрозе. Впервые кабинет Эбердина напоминает, что наступит время, когда придется опубликовать и представить на суд общественного мнения все документы о посольстве Меншикова. «Так как все это дело, вероятно, должно будет стать предметом публичной огласки, то я убежден, что будет воздана справедливость дипломату, усилия которого имели целью примирить противоположные интересы»,— так пишет 10 июня Сеймур графу Нессельроде, пересылая ему некоторые депеши Стрэтфорда-Рэдклифа [35].

В том-то и дело, что Стрэтфорд-Рэдклиф вел себя в Константинополе с неподражаемой ловкостью, так артистически заметая следы, что, конечно, никакими исходящими от него официальными депешами его никак было нельзя уличить. А устных его переговоров с Абдул-Меджидом, с Решид-пашой, с Рифаат-пашой, так же как раньше, по пути в Турцию, с Наполеоном III в Париже и с графом Буолем в Вене, никто в точности не записывал и уж подавно никто Николаю не показывал. Свои официальные донесения он писал всегда именно затем, чтобы их можно было со временем опубликовать.

Снаряжая 14 июня в 6 часов вечера курьера в Петербург, Бруннов передает самые последние известия графу Нессельроде: Кларендон хочет мира, «абсолютное отсутствие всякого враждебного расположения против нас»,— и вообще: «язык Кларендона удовлетворил меня во всех отношениях». Бруннов, однако, чует, что это — некоторая его собственная «стилизация» слов Кларендона и что Кларендон, может быть, несколько иначе напишет о своих словах Гамильтону Сеймуру в Петербург,— и осторожно прибавляет: «Я не знаю, достаточно ли искусен Гамильтон Сеймур, чтобы суметь извлечь пользу из настоящих обстоятельств, и поймет ли он стиль Кларендона, как интерпретирую я его язык. Но мне кажется, я не ошибаюсь. Английское министерство ищет исхода из этого лабиринта, в который нас всех вверг, против нашей воли, лорд Стрэтфорд» [36].

25 июня 1853 г. произошло новое заседание британского кабинета, на котором было решено предложить Николаю (через посредство специальной делегации) принять чрезвычайного турецкого посла, который явится в Петербург и даст царю полное удовлетворение, даже большее, чем простое принятие ультимативной ноты Меншикова: будет подписана двусторонняя конвенция между Турцией и Россией, т. е. именно то, чего с самого начала желал царь. И вместе с тем «будет избегнуто унижение для султана», которое было бы налицо, если бы он должен был просто принять ультимативную ноту, уже раз им отвергнутую.

Эбердин сообщил также Бруннову мнение кабинета, что султан согласится на это предложение, которое сделает ему Англия, потому что настоящее положение не может продолжаться: «Невыгодные стороны этого положения будут давить на Турцию в бесконечно большей степени, чем на Россию. России достаточно будет только выждать, чтобы увидеть неизбежное разрушение Оттоманской империи». На этом месте рукописи Николай сделал пометку карандашом: «Вот!» (Voilà!) [37].

Но британский кабинет воздержался от того, чтобы взять на себя инициативу, и ограничился лишь устным сообщением барону Бруннову. Сочтено было более подходящим, чтобы официальное обращение пошло через Вену, от австрийского двора.

28 июня Бруннов *«очень секретно»* предупреждает Нессельроде, что весьма опасной была бы всякая русская морская демонстрация. Она немедленно могла бы вызвать появление английской и французской эскадр уже в самих проливах. Но при угрожающей демонстрации севастопольской эскадры против турецкой столицы Наполеон III уполномочил французского посла призвать стоящий у входа в Дарданеллы французский флот в Босфор [38].

Бруннов продолжает уповать на проект Эбердина.

Под «проектом» Эбердина понимались все те же слова английского премьера, что хорошо бы, если бы царь и султан заключили «конвенцию», куда de facto вошло бы все содержание ноты Меншикова. Твердо зная, что, конечно, ни в Константинополе, ни в Париже подобный проект не пройдет, Эбердин ничуть на нем и не настаивал, но тем симпатичнее отзывался о Николае и тем сочувственнее относился к его пожеланиям: «Комбинация, которая, по его (т. е. Николая — *Е. Т.*) мнению, наиболее удовлетворительным и наиболее быстрым способом выполнит эту задачу (удовлетворит требования царя — *Е. Т.*) будет наилучшей». Так заявил Эбердин 12 июля Бруннову. И тронутый Бруннов с восторгом пишет тут же, что язык премьера «самый откровенный, самый мудрый, самый правдивый», какой только можно себе представить. Николай на полях пишет от себя: «конечно» (certes) [39].

Словом, мирное окончание восточного конфликта «уже близко», если только дело «не будет осложнено новыми инцидентами, именно, восстаниями среди христианского населения Турции, которые могут быть вызваны актами мусульманского варварства».

На этих будущих восстаниях были сосредоточены в то время больные надежды Николая, и он знал, что «смут» в Сербии, Черногории, Болгарии, Молдавии, Валахии боится не только Турция, но и Австрия. И, подчеркнув карандашом это место в донесении Бруннова о возможных восстаниях христиан, царь пишет на полях: «Вот где опасность, на которую я указываю австрийскому императору: тут я ничем не могу воспрепятствовать (là je ne puis rien pour l'empêcher)» [40].

Самый проект этой конвенции должен был обсуждаться еще в Петербурге между русским правительством и чрезвычайным турецким посольством, которое, предполагалось, будет допущено в Петербург. Но царь никаких подобных переговоров с турками не желал и ни о каких чрезвычайных турецких послах не допускал и мысли. «Мое мнение вам известно»,— написал царь своей рукой на докладе об этом проекте конвенции. Проект был похоронен по первому разряду этой резолюцией, еще до того как он был признан неприемлемым в Константинополе. В Па-

риже этот проект Эбердина серьезно и не рассматривали, ссылаясь на то, что Друэн де Люис будто бы готовится представить свой проект (т. е. переделку проекта Буркнэ).

И точно так же как Эбердин не перестает грустить (перед Брунновым) по поводу интриг Стрэтфорда-Рэдклифа,— он жалуется теперь на «обогнавшего» его Друэн де Люиса, и благорасположенный Бруннов все надеется помочь горемычному премьеру побороть француза. Эбердин «живо сожалеет, что (проект конвенции — *Е. Т.*) был в Париже задушен в самом первом своем зародыше...» Бруннов полон сочувствия к милорду: «Мои старания будут направлены к тому, чтобы обойти эту трудность так, чтобы помочь лорду Эбердину занять позиции, откуда его высадил (s'est laissé déloger) г-н Друэн де Люис с ловкостью, которой, *как мне показалось,* английский премьер был совсем смущен». Бруннову не только «показалось» это; ему показалось и такое, что Эбердину никогда, конечно, и в голову не приходило. «Эта досада заставила первого министра почувствовать неудобство, которое для Англии является результатом ее нынешнего соглашения с Францией». Но ведь Эбердин все зависящее от себя делал и продолжал делать, чтобы *укрепить* это соглашение, и никогда и не помышлял ссориться или даже хоть сколько-нибудь настойчиво спорить о чем бы то ни было с Друэн де Люисом. Все это «смущение» Эбердина — один из фантомов, созданных услужливым воображением и царедворческим пером русского посла. Как и Киселев, Бруннов стоял на вышке, откуда яснее всего виден был опасный водоворот, куда уже давно увлекало русский корабль,— и подобно Киселеву, вместо того чтобы сигнализировать опасность, он не переставал ее всячески затушевывать.

20 июня (2 июля) появился циркуляр графа Нессельроде, протестовавший против присутствия английской и французской эскадр в бухте Безика (у входа в Дарданеллы) и указывавший, что занятие русскими войсками княжеств явится лишь ответом на этот поступок западных держав. Характерно, что Буоль поспешил телеграфом передать содержание циркуляра Нессельроде из Вены, и австрийский посол Коллоредо тотчас же довел об этом до сведения Кларендона и первый же выслушал решительный протест Кларендона против русской точки зрения. Во-первых, эскадры ничуть не нарушили ничьих прав, войдя в бухту. Во-вторых, они сделали это по прямому приглашению турецкого правительства, тогда как русские войска враждебно нарушили неприкосновенность турецкой территории. В-третьих, приход эскадр в Безику не предшествовал, а явился последствием русского вторжения в Молдавию. Бруннов, выслушав Коллоредо, уже махнул рукой на дальнейшие пререкания. Он ясно увидел, что в Петербурге решили идти напролом и что диплома-

тические тонкости отступают на задний план: «С обеих сторон эта тема уже истощена до такой степени, что мы избавлены от всякого дальнейшего спора. Присутствие английской эскадры в Тенедосе не помешало военной оккупации нашими войсками Ясс и Бухареста. Этот факт кладет конец пререканиям, в которых Россия решительно одержала верх, несмотря на парламент, на английский кабинет и газеты. Мне нечего прибавлять к этому аргументу, наилучшему и наиболее сильному из всех». Так писал Бруннов в Петербург под первым впечатлением циркуляра.

Бруннов во всех своих последних донесениях перед 11 июля не переставал уже наперед настойчиво хвалить Николая за его миролюбие и будущее великодушие. Он с восхищением предсказывал, как будут в недалеком будущем посрамлены все, кто с недоверием относится к политике петербургского двора.

Но, сообразив окончательно, в чем дело, он определенно дает понять Нессельроде, что отныне сила и только сила может спасти положение. Заняли Яссы и Бухарест. Это очень хорошо, но уже теперь нужно идти и дальше — и, главное, поскорее. Дело уже не в дипломатах, а в генералах.

Таково же было в основном и настроение Киселева в Париже в первый момент. Мы увидим в дальнейшем, как вся картина стала меняться в зависимости от неожиданного хода Дунайской кампании.

Николаю представлялось все-таки, что как ни хорош проект конвенции, выработанный Эбердином, но война с обеспеченной победой над Турцией лучше. 22 июня (4 июля) Нессельроде докладывает ему с удовольствием об этом английском проекте, а Николай пишет сверху резолюцию: «Очень правильно; пока что (en attendant) я опасаюсь столкновения с турками, если верно, что они хотят перейти через Дунай: тогда — это война» [41]. Но все-таки царь решил ждать, во-первых, полного текста предполагаемой конвенции, а затем текста другого проекта соглашения между Россией и Турцией, вырабатываемого в Вене [42].

Предстояло большое и бурное заседание обеих палат парламента. Особенно опасались в русском посольстве выступления лорда Дерби, который давно уже утверждал, что кабинет недостаточно резко и определенно выступает против России.

С той же огромной почтой, которую Бруннов отправил с курьером, выехавшим из Лондона 6 июля и вручившим эту почту графу Нессельроде уже 12 июля в Петербурге, Бруннов старается наперед ослабить впечатление от предстоящих резкостей лорда Дерби, указывая, будто Дерби так раздражен больше по личному поводу: он желает низвергнуть кабинет Эбердина, составленный смешанно из вигов и отколовшейся от лорда

Дерби группы консерваторов «пилитов» (последователей политики уже покойного тогда Роберта Пиля) [43].

Дебаты были отсрочены на неопределенный срок: Эбердин дал нужные заверения и о полнейшем согласии кабинета с французской политикой и о бдительной охране принципа целостности Турецкой империи.

16 (28) июля 1853 г. Нессельроде представил на утверждение Николая две бумаги: в одной с самыми ласковыми и преисполненными миролюбивым духом словесными оговорками неопределенно указывалось на трудность для русского правительства немедленно принять в интегральном виде предложение Эбердина о конвенции. В другой, предназначенной для глаз только барона Бруннова, а не для предъявления Эбердину, Нессельроде давал понять русскому послу, что желательно провалить как-нибудь этот английский проект. Николай остался очень доволен: «Это очень хорошо,— пишет он на сопроводительном письме Нессельроде,— к несчастью, депеша, которую я только что получил от Мейендорфа, внушает мне опасение, что все это бесполезно и что войны избежать нельзя. Английское правительство должно будет поздравить себя (devra s'applaudir) с выбором своего посла и с результатом, которого он достиг» [44].

После вступления русской армии в княжества «проект Эбердина» терял окончательно всякий смысл.

Конечно, Нессельроде обставил со всей учтивостью отрицательный ответ Эбердину. Начал он с того, что конвенция, которую предлагает Эбердин, вполне приемлема. Но «пункты и детали этой конвенции, в том виде, как он вам (Бруннову — *Е. Т.*) их набросал конфиденциально, существовали в виде проекта еще только в голове лорда Эбердина; но, судя по тому, что он вам говорил, сам он смотрел так, что в принципе подобная комбинация уже окончательно принята в совете». Явно Нессельроде, тоже веря в личную искренность Эбердина, прозревает, что вся эта затея с конвенцией не очень серьезна и «не очень реальна». Нужно подождать, что на это скажут в Константинополе. Конечно, конвенция Эбердина — наиболее приемлемая из всех предлагаемых комбинаций для улажения дела. «К несчастью, мы сомневаемся, как и вы, что лорд Эбердин достаточно силен, чтобы полностью провести свой проект и в самом Лондоне, и в Париже, и в Константинополе. В особенности в Константинополе нам кажется трудным, чтобы лорд Рэдклиф употребил хотя сколько-нибудь доброй воли, чтобы посоветовать принять эту форму соглашения, против которой он сам так сильно восставал» [45].

Выдающийся дипломат, английский посол в Берлине лорд Лофтус, прямо утверждает по поводу перехода русскими войсками 4 июля 1853 г. реки Прут и вступления их в Дунайские

княжества: «Если бы четыре державы коллективно объявили императору Николаю, что они посмотрят на переход через Прут как на casus belli, то, наверно (very certain), император не перешел бы через Прут и, по всей вероятности, война была бы предотвращена». Лорд Лофтус перечисляет при этом тех, кто сбивал Николая с толку. «Император был введен в заблуждение донесениями, которые он получал от барона Бруннова из Лондона и от графа Киселева из Парижа, которые оба выражали мнение, что союз между Англией и Францией не состоится. Княгиня Ливен, которая была в переписке с лордом Эбердином, также писала царю, утверждая, что Англия не ввяжется в войну. И эти донесения, подкрепленные делегацией английских квакеров, которые представляли собой „Манчестерское общество мира" и были приняты царем в Петербурге перед его поездкой в Германию, оказали большое влияние на императора и таким образом поощрили его к тому, чтобы прибегнуть к ultima ratio regum (последнему доводу царей — *Е. Т.*), т. е. к пушкам»[46]. Лорд Лофтус был бы совершенно точен, если бы еще прибавил, что не только Эбердин, но и сам Пальмерстон в течение всего этого подготовительного периода к войне умышленно и очень искусно усыплял беспокойство Николая и притуплял его бдительность. Ни у Бруннова, ни у княгини Ливен не хватило тонкости и дипломатической ловкости разгадать эту игру.

2

Обратимся теперь к тому, как был воспринят отъезд Меншикова из Константинополя Наполеоном III.

Здесь, еще когда Меншиков находился в Константинополе, установка была взята вполне определенная: император Наполеон очень последовательно держал курс на войну. Но действовал он, как всегда, пуская в ход самые разнообразные средства, чтобы дать окончательно созреть еще не вполне созревшему плоду. Нужно было поддерживать в Англии Пальмерстона против Эбердина, в Австрии министра иностранных дел против Франца-Иосифа и в то же время вводить в заблуждение своим мнимым миролюбием императора Николая, чтобы вызвать его на дальнейшие неосторожности. Вместе с тем эти миролюбивые заявления и намеки нужно было варьировать время от времени с резкостями и угрозами, чтобы этим раздражать самолюбие царя и окончательно сбивать его с толку. Для ласковых слов служил Морни, служили и собственные выступления императора Наполеона; для резкостей и оскорбительных выходок пригоден бывал министр иностранных дел Друэн де Люис.

Посол Николай Дмитриевич Киселев, человек умный, светский, весь век живший то при русском, то при французском

дворе, был царедворцем с ног до головы, еще больше, чем лондонский посол Бруннов, который являлся трудолюбивым бюрократом и при дворе робел. Киселев в сильнейшей степени был наделен губительным, опаснейшим для России пороком всех николаевских дипломатов: он систематически стилизовал свои донесения так, чтобы жадно и внимательно читавший и испещрявший их замечаниями царь был вполне удовлетворен.

По очереди сменявшиеся ласки и угрозы французской дипломатии летом 1853 г. совсем дезориентировали Киселева.

Началось с угроз.

Почти одновременно с отплытием французского флота в греческие воды Наполеон III сделал и другой угрожающий жест не совсем обычным, но все же далеко не новым в истории дипломатии способом. Друэн де Люис написал в очень резких выражениях протестующую против миссии Меншикова ноту и отправил ее в Петербург для передачи устно ее содержания русскому правительству. Но отправлена эта нота была не в зашифрованном виде, как всегда в таких случаях водится, а открыто, en clair, и по почте с явным расчетом, что она будет, конечно, перехвачена на русской почте и скопирована. А послу Кастельбажаку уже было предоставлено этой ноте официального хода не давать. Таким путем резкая протестующая позиция Наполеона III доводилась до сведения Николая I и вместе с тем можно было избежать неприятных официальных объяснений.

В Архиве внешней политики России эта перехваченная и скопированная нота не сохранилась, но мы знаем ее содержание и даже наиболее характерные ее выражения из обширного письма Нессельроде к Киселеву. Письмо это писано в ответ на перехваченную ноту, и этот ответ Киселев должен был, конечно, без прямых ссылок на беззаконно перехваченный документ довести до сведения французского правительства.

Конечно, полемика направлена не против Наполеона, а только против Друэн де Люиса. Нессельроде говорит, что Друэн де Люис введен в заблуждение пустыми слухами о миссии Меншикова. Никаких ультиматумов Меншиков не ставит, никаких враждебных демонстраций Россия против Турции не предпринимает, никакой войны против Турции не затевает. А если кто делает воинственные демонстрации, то именно Франция, уже пославшая свой флот на Восток.

Друэн де Люис жалуется на тайные инструкции, данные Меншикову. Но русское правительство и не обязано сообщать французскому министру об инструкциях, которые оно дает своим представителям.

Приведя точные слова из перехваченной ноты, что Россия действовала, посылая Меншикова, «внезапно, причем Европа не могла даже хотя бы предвидеть угрожающую ей опасность»,

Нессельроде решительно протестует против этого, так же как против обвинения в нарушении суверенных прав Турции. Напротив, Франция, а не Россия сплошь и рядом заставляла Турцию подчиняться своей воле. Приведя снова в точности фразу Друэн де Люиса, что «Россия желает стать единоличною распорядительницей судеб Турции», Нессельроде отрицает это и, желая доказать, что, кроме Франции, никто так на русские действия не смотрит, русский канцлер говорит слова, которые показывают всю глубину его заблуждения и все размеры его неосведомленности: «Не только Великобритания отказалась присоединить свой флот к французскому, но она адресует (французскому правительству — *Е. Т.*) ежедневно *спасительные предостережения* (des avertissements salutaires)». Вообще же существует наилучшая из всех возможных гарантия неприкосновенности Турции: «Она существует в политических взглядах императора (Николая — *Е. Т.*), в его убеждениях, в его хорошо понятых интересах, которые заставляют его желать отдалять насколько возможно всякие поводы к нарушению нынешнего status quo на Востоке». Нессельроде совсем забыл, что ведь Друэн де Люис уже обстоятельнейшим образом осведомлен о январских и февральских разговорах царя с Гамильтоном Сеймуром в Петербурге и что вся Европа твердо знает, как именно относится Николай к неприкосновенности турецкой территории. Но даже эта забывчивость должна была удивить Друэн де Люиса в меньшей степени, чем наивная вера Нессельроде в «спасительные предостережения» французам со стороны Англии, которая была представлена в Константинополе сначала полковником Розом, а потом Стрэтфордом-Рэдклифом [47].

Перед отсылкой Киселеву письмо было показано Николаю и одобрено им. Царская пометка гласит: «быть по сему». Николай тоже забыл обо всем и тоже держал себя так, как если бы разговора с Сеймуром у Елены Павловны никогда и не бывало в действительности.

Не желая понять очевидного смысла этой бумаги, писанной без шифра и нарочно отправленной по почте в Петербург к Кастельбажаку с явной целью, чтобы ее перехватили,— Киселев выдумывает следующее объяснение всему этому взволновавшему Нессельроде случаю. Ведь надо было еще объяснить, почему же Друэн де Люис не настоял, чтобы Кастельбажак официально довел до сведения Нессельроде о содержании этого документа. Потому что ведь французский посол в Петербурге все-таки получил же эту бумагу, после того как с нее была снята на петербургской почте копия для Нессельроде.

Вот как упрощенно Киселев объясняет дело. Друэн де Люис очень боится потерять портфель, если Наполеон III заподозрит его в недостаточной энергии и смелости. И вот, чтобы угодить

императору, «не невозможно, что он иногда пишет депеши, которые должны только послужить затем, чтобы доказать его усердие». А на самом деле он вовсе и не хотел, чтобы Кастельбажак всерьез принял эту бумагу [48].

Это абсолютно негодное и наивнейшее объяснение только должно было лишний раз успокоить графа Нессельроде.

5 мая Киселев, уже знающий о решительных заявлениях и резких отзывах Друэн де Люиса по поводу поведения Меншикова в Константинополе, тем не менее считает долгом своим послать в Петербург очередное успокоение для его величества. Все это — ничего не значащие пустяки, французское правительство вовсе не собирается воевать ни из-за «святых мест», ни вообще из-за Турции. Киселев виделся с графом Флао, с которым он давно уже близко связан дружбой, и упомянутый граф сообщил ему, что «истинная мысль» Наполеона III и самого Друэн де Люиса заключается в том, чтобы «не компрометировать мир». Вообще же французское правительство «вместо того, чтобы быть мягким и уступчивым по форме, предпочитает совсем другие замашки,— но оно решило по существу дела уступить». Киселев слушает и верит и предлагает Нессельроде верить в то, что граф Флао, старый рантье не у дел, лучше знает истинные намерения Наполеона III, чем Друэн де Люис. Единственный «факт», которым Флао подтверждает свое мнение, заключается в том, что будто бы император недоволен бывшим французским послом в Константинополе Лавалеттом и всего раз его принял,— и недоволен будто бы за его слишком резкие выступления по поводу «святых мест» [49]. Все это — сплошная фантастика, нелепая и нелогичная, потому что Лавалетт был, как и его преемник Лакур, простым орудием в руках Наполеона III.

Мало того. Чтобы уж не возвращаться к этому предмету, тут же напомним, что Лакуру уже тогда грозила отставка, и именно за «слабость». Наполеон III был недоволен Лакуром давно. Он полагал, что его посол в Константинополе и слишком вяло борется против русских и слишком легко уступает главную роль Стрэтфорду-Рэдклифу. Наполеон III не мог простить Лакуру, что он не исполнил императорского желания и, при отъезде Меншикова, не ввел французский флот в Босфор, а ограничился его призывом лишь в Безикскую бухту. Участь Лакура была решена уже тогда.

В Тюильрийский дворец был позван генерал Барагэ д'Илье. «Генерал, поехали бы вы в Константинополь?» — спросил император у Барагэ д'Илье. «Государь, если ваше величество меня пошлете, я буду повиноваться. Но посольство — это не мое дело я бы предпочел командование в армии». «Но, любезный генерал, *есть такие посольства, которые являются армейским коман-*

дованием... Может быть, вы привезете себе оттуда маршальский жезл»[50]. Барагэ д'Илье отправился в Турцию. Этот разговор ясно показывал, что Наполеон III посылал *генерала* точь-в-точь с такими же целями, как перед этим Николай I посылал *адмирала:* с целью ускорить войну. И Барагэ д'Илье деятельно принялся за работу дипломатической подготовки войны, так успешно начатую Меншиковым и продолженную Стрэтфордом-Рэдклифом. Назначение Барагэ д'Илье состоялось официально лишь 30 октября 1853 г., но знали о нем еще в конце лета.

27 мая Киселев, испросивший аудиенцию, был принят Наполеоном III. Сначала обменялись любезностями по поводу деликатного внимания императора Николая к недомоганию императрицы Евгении: Николай в эту весну усиленно старался изгладить из памяти историю с титулом французского императора и не знал пределов в изъявлении теплых чувств.

А затем перешли к отъезду Меншикова. В долгой беседе Киселев старался доказать императору всю неосновательность и непростительность действий турок, не принявших ультимативной ноты Меншикова. Он прочел вслух проект *сенеда* и настаивал на том, что если турецкое правительство упорствует, то прежде всего под влиянием двух послов: Стрэтфорда-Рэдклифа и Лакура. Наполеон III пропустил это как-то мимо ушей, так же как он не расслышал и полувопроса, полусообщения Киселева о частных телеграммах касательно приказа французскому флоту идти к Дарданеллам. И Киселев покинул дворец в полном недоумении.

Из его длиннейшего донесения Николай I мог только прийти к одному из двух заключений: или Киселева кругом обманывают, или угрозы со стороны Франции, по крайней мере в этот момент, нет. Мы теперь положительно знаем, что Киселев плачевно заблуждался в самом главном. Правда, он был настолько умен и настолько понимал внутреннее положение и строй Второй империи, что два факта определяет правильно: во-первых, ресурсы Франции огромны и с ее потенциальной силой следует очень считаться; во-вторых, Наполеон III всемогущ во Франции и от единого его слова зависит мир или война: «Как бы не были могущественны элементы, клонящиеся к сохранению мира, при настоящем положении этой страны они подчинены авантюристскому духу того, кого судьба так странно поставила во главе (Франции — *Е. Т.*)». Но чего этот человек хочет и чтó он собой представляет? Тут Киселев дает Николаю неверные сведения: будто бы Наполеон III «после свой женитьбы» мало занимается делами, будто ему подсказывают решения Друэн де Люис, Персиньи и другие, будто он даже очень плохо следил за разными фазисами деятельности Меншикова в Турции[51] и т. д. И тут же Киселев называет

Сент-Арно одним из приверженцев мира. Говоря о французской армии, он прибавляет, что не усматривает особых мер к ее увеличению. Говоря о громадном подъеме (l'immense essor) французской промышленности и финансовых дел, он именно в этом видит известную гарантию мира.

В частности, все, что он говорит о Наполеоне III, неверно: тот зорко следил за всеми перипетиями борьбы. Друэн де Люис был его простым орудием. Сент-Арно уже тогда намечался в главнокомандующие в будущей войне.

6 июня Киселев явился к Друэн де Люису с объяснениями Нессельроде касательно отъезда Меншикова и ближайших намерений русского правительства. Очень был долгий и неприятный разговор. «В первой части нашей беседы, тянувшейся больше трех часов,— рассказывает Киселев,— он принял их (разъяснения Нессельроде — *Е. Т.*) с большой сухостью и, гордый и счастливый тем, что может теперь говорить о соглашении с Англией, он заговорил так, что я должен был сразу же его остановить и заставить его употреблять другие выражения». Несокрушимый оптимизм Киселева, однако, не поколебался. В дальнейшей беседе он уловил «мирные» настроения французского правительства и объясняет их тем, что Пруссия и особенно Австрия не желают занять враждебную России позицию [52].

В начале июня 1853 г. в Париже громко говорили о войне. Отъезд Меншикова и неминуемое вступление русских войск в Дунайские княжества по существу очень приблизили Европу к взрыву. Появление союзной эскадры в бухте Безика у входа в Дарданелльский пролив ясно говорило о том, как западные кабинеты смотрят на положение.

Но необходимо было при этом усыпить всякие подозрения и всякую дипломатическую бдительность в Николае, чтобы подтолкнуть его на дальнейшие шаги, которые сделали бы для него попятный шаг как можно затруднительнее. Следовало внушить ему уверенность, что даже полная оккупация Молдавии и Валахии не вызовет никакого противодействия со стороны Парижа и Лондона, так как только глубокое внедрение в Дунайские княжества русской армии могло бы вызвать враждебное против России выступление Австрии.

И вот 12 июня (31 мая) министр иностранных дел Друэн де Люис приглашает Киселева на дружеское, почти сердечное собеседование,— и Николай Дмитриевич выходит из дворца министерства иностранных дел в самом радужном настроении духа и немедленно пишет в Петербург о счастливой перемене в настроениях французского правительства.

В самом деле. «В свидании, которое я имел вчера с Друэном, он держал речи самые мягкие, самые мирные, самые примирительные, какие только возможно (le langage le plus doux, le

plus pacifique et le plus conciliant possible)». Друэн сообщил, что сам император Наполеон III жаждет горячо, даже пылко (ardemment) сохранения мира и сделает все от него зависящее, чтобы добиться этой цели. Ни за что по своей инициативе он не вмешается в русско-турецкую распрю, а сделает это разве только, если сам султан призовет его и Англию на помощь в случае прямой угрозы целостности Турции. Правда, английский и французский флоты получили приказ приблизиться к Дарданеллам, но это ничего не значит. Просто это предосторожность на всякий случай. В дальнейшей беседе Киселеву «показалось очевидным», что в Париже и Лондоне решили не делать casus belli из вторжения русских войск в пределы Молдавии и Валахии. Но и этого мало. Друэн де Люис так ловко повел беседу, что Киселеву уже стало казаться, будто в Париже «не будут недовольны, если мы совершим эту оккупацию», потому, мол, что это, с одной стороны, даст России удовлетворение, а с другой стороны — побудит Турцию пойти на принятие русских предложений, что поведет за собой умиротворение на Востоке и общеевропейское соглашение, которое обеспечит за всеми вообще христианами на Востоке все желательные привилегии и гарантии, а русские пусть получат то, что им желательно, на основе условий Кучук-Кайнарджийского мира, путем прямых переговоров с Турцией. Таков был *«намек»*. Наговорив все это, сам Друэн де Люис, по-видимому, почувствовал, что в деле дипломатической провокации он как будто несколько увлекся и перешел всякие границы, уже прямо *приглашая* Николая от имени французского правительства занять Дунайские княжества и суля России этим путем получение всего того, к чему сам царь в первую очередь стремился. Спохватившись, он прибавил характерную оговорку, о которой Киселев сообщает Нессельроде, не приписывая, однако, ей значения: «Он сделал мне этот намек не в виде проекта, но, согласно его собственному выражению, *как роман* (non comme un projet, mais d'après son expression comme un roman)». Цель Друэн де Люиса была достигнута. Вот конечный вывод, которым Киселев заканчивает свое донесение о разговоре 12 июня: «Что мне показалось наиболее ясным и положительным в его словах это — что его правительство не желает войны и не желает быть агрессором на Востоке и ничего бы лучше не желало, как предоставить Порте теперь самой выпутываться (se tirer seule d'affaire)». Значит, все обстоит прекрасно, и «со вчерашнего дня парижане, всегда подвижные и впечатлительные, уже не думают о войне, как думали о ней еще только три дня тому назад» [53].

Спустя несколько дней после беседы с Друэн де Люисом Наполеон III принял Киселева в Сен-Клу. Никогда, доносит Киселев, император не был в лучшем расположении духа, чем в этот

день. Аудиенция длилась целый час, и разговор велся в тонах «большой простоты и непосредственности». По-французски выходит еще сильнее: «avec beaucoup de simplicité et d'abandon». На русском языке точного эквивалента слова «abandon» нет, русское слово «самозабвение» слишком уж сильно. Во всяком случае Киселеву показалось, что Луи-Наполеон говорит «от души», без задних мыслей, вполне искренне, не держа никакого камня за пазухой. Это ему совсем напрасно так показалось, потому что император лишь продолжал ту же пьесу, которую начал разыгрывать по его же повелению за шесть дней до того Друэн де Люис. Он повторил Киселеву, что вполне надеется на мир и что пусть сам султан судит, затронута ли неприкосновенность Турции. Киселев возразил, что опасно ставить возможность европейской войны в зависимость от воли султана, которому ведь ничего не стоит возбудить европейский конфликт, не имея на то достаточно оснований. «Не Турции, а кабинетам судить, основательно ли такое обращение или нет,— сказал Киселев,— положение кажется мне слишком деликатным и слишком натянутым, благодаря, в особенности, злобным и лживым нападкам со стороны английской прессы, которым необдуманно вторит здешняя (французская — *Е. Т.*), и я считаю непременным своим долгом обратить на этот пункт все внимание и обратиться ко всей мудрости вашего величества».

Наполеон III, «не колеблясь, признал всю справедливость моего замечания, что не одной только Порте судить об опасностях, которые угрожают ее независимости и цельности». Он и вообще соглашался в этот день со всем, что ему Киселев докладывал. Тогда русский посол, желая ловить момент, показал императору проект ноты, которую в Петербурге уже решено было предъявить Турции в качестве ультиматума и в которой повторялись последние требования Меншикова, выставленные им перед его отъездом. Наполеон III взял документ, «милостиво» его прочел,— и только слегка критиковал редакцию слов о гарантиях для православного культа в Турции. Киселев пустился тут долго и подробно опровергать мнение императора и снова и снова уверять его в отсутствии завоевательных замыслов у Николая и в религиозном значении русских требований. «Не газеты, не трибуна создают у нас общественное мнение. Относительно наших религиозных дел оно коренится в сердцах пятидесяти миллионов населения»,— так повествовал в этой беседе умевший прекрасно говорить по-французски и любивший себя послушать граф Николай Дмитриевич. Наполеон III благосклонно слушал, «без предвзятости» и ласково улыбался, но больше помалкивал. Сам оратор остался собой в высшей степени доволен и принял за чистую монету, когда Наполеон III, «улыбаясь, напомнил ему, что в последней беседе Киселев так

хорошо представил ему положение вещей, что он, император, усвоил себе объяснения Киселева предпочтительно пред объяснениями своего министра», но вот беда, что его величество потом опять обращается от мнений Киселева к мнениям Друэн де Люиса. Наполеон III со всей мягкостью и любезностью, очаровавшими русского посла в этот день, все-таки продолжал выражать сомнение в том, примет ли Турция русский ультиматум. «Признаюсь вам, – сказал император,— что я не очень хорошо вижу, чем кончится дело, если Турция откажется подписать ноту. Вы тогда войдете в княжества, мы будем принуждены остаться перед Дарданеллами. Но каков будет конец подобного положения? Ведь что-нибудь придется сделать, чтобы из него выйти. Нужно будет сообща согласиться и уладить дела. Что вы об этом думаете?» В длинной последующей речи Киселев убеждал императора, что «если Франция и Англия не желают войны, их эскадры не пройдут через Дарданеллы, разве только если мы явимся на Босфоре, а всякое другое обстоятельство не могло бы дать эскадрам это право», следовательно, занятие княжеств русскими войсками еще не может послужить поводом к разрыву России с Францией и Англией.

Киселев жаловался на недоверие к России, на то, что французское правительство позволяет польским эмигрантам отъезжать из Франции в Турцию для поступления там в войска, наконец, выразил опасение, что в английском кабинете может взять верх воинственная группа министров,— и это приведет к опасному кризису. «Это — опасность, на которую я также должен указать вашему величеству»,— заключил Киселев эту вторую свою длинную речь.

«Луи-Наполеон, приняв мои замечания с обычным своим спокойствием и без всякого признака раздражения или неудовольствия, старался отрицать существование какого-либо чувства недоверия к нам по поводу принятых им по необходимости мер и, по-видимому, принял к сведению разные мои предостережения». Что касается замечания Киселева об английском кабинете, то император согласился, что там существуют разногласия, но что если бы даже лорд Эбердин должен был подать в отставку, то все равно политика английского правительства осталась бы «мудрой и мирной» [54]. В самом конце этой долгой беседы, где, впрочем, больше всего говорил один Киселев, Наполеон III сказал, что он жалеет, что «с самого начала переговоров князя Меншикова не нашел той откровенности и ясности, к которым приучала свет наша (русская — *Е. Т.*) политика».

Киселев пытался защитить поведение Меншикова. Император и тут согласился, как он в течение всей этой аудиенции не переставал соглашаться со своим собеседником. Он для того и вызвал его специально в Сен-Клу в этот день, чтобы всемило-

стивейше с ним соглашаться и этим поощрить Николая I к решительным действиям.

Дав отчет об аудиенции в Сен-Клу, Киселев считает своим долгом поделиться с канцлером Нессельроде некоторыми соображениями относительно английских влияний на французскую политику. Тут он отмечает, что союз Франции с Англией (в самом факте его существования уже не может быть сомнений) вызывает во французском обществе большое удовлетворение и что союз этот необычайно радует также самого Наполеона III, положение и престиж которого в стране очень укрепились и возросли из-за успехов во внешней политике. Таким образом, хотя сам Наполеон и его империя склонны к миру, но, дорожа английским союзом, они время от времени поддаются влиянию воинственной части британского кабинета. Но насколько влиятельна эта часть? Нужно отдать справедливость Киселеву: сидя в Париже, он яснее представляет себе лондонскую ситуацию, чем барон Бруннов, постоянно разговаривающий то с Эбердином, то с Кларендоном. По сведениям Киселева, английский кабинет делится на две группы: одна, воинственная, возглавляемая министром внутренних дел Пальмерстоном, состоит из семи человек; другая, миролюбивая, имеет своим шефом первого министра лорда Эбердина и состоит из пяти человек. И вот как раз спустя три дня после этого сердечного объяснения с Наполеоном III в Сен-Клу произошло досадное событие: обе группы британского кабинета пришли к соглашению, а английский посол в Париже лорд Каули и другие лица заверили вдобавок Киселева, что и вообще-то эти разногласия в английском правительстве по поводу восточного вопроса были крайне преувеличены. А насчет того, какая именно группа победила при этом соглашении и о происшедшем в Лондоне в недрах кабинета, никаких сомнений быть не могло: сразу изменился тон французской прессы. После милостивого разговора императора с Киселевым в Сен-Клу французская пресса стала сразу вполне миролюбивой,— а теперь, после примирения обеих групп в британском кабинете, та же французская печать вдруг снова сделалась враждебной России. Ясно, что Пальмерстон одолел Эбердина. И уже снова говорят о возможности войны западных держав против России в случае занятия Дунайских княжеств. Киселев не знал тогда, что и вообще разногласия между обеими группами в Лондоне заключались, по-существу, только в том, что Эбердин надеялся достигнуть отступления Николая дипломатическим путем, а Пальмерстон в это не верил и считал более целесообразным не откладывать неизбежной, по его мнению, войны, как предпочитал Эбердин, а начать ее поскорее. Дальше этого «миролюбие» Эбердина летом и осенью 1853 г. не простиралось. И при этом Пальмерстон и

его группа нисколько не огорчались миролюбивыми разговорами Эбердина с бароном Брунновым: ведь эти беседы должны были повлиять на царя точь-в-точь так, как дружеские и доверительные аудиенции Киселева в Сен-Клу. Николай должен был перестать колебаться — и решиться на вторжение в Дунайские княжества, куда легко было войти, но откуда трудно оказалось выйти. Что Пальмерстон сильнее Эбердина в кабинете и что Пальмерстон и Эбердин действуют теперь, в середине июня 1853 г., уже в полном согласии,— это Киселев в Париже увидел раньше и понял яснее, чем Бруннов в Лондоне. Эбердин хотел без войны, если это окажется возможным, воспротивиться намерениям Николая, а если это окажется невозможным, то воевать. Пальмерстон же считал, во-первых, что без войны это никак невозможно, а во-вторых, что война для Англии при сложившихся дипломатических условиях выгодна и что поэтому ничуть не следует стараться ее избежать. Но что Эбердин сплошь и рядом вводит в заблуждение Бруннова своими миролюбивыми излияниями, это Киселев так же мало разгадал, как и причины неслыханной мягкости и ласкового тона с ним самим со стороны молчаливого хозяина дворца в Сен-Клу.

И пресса крупной буржуазии и пресса буржуазии мелкой в Англии повела с начала июня кампанию неслыханной ярости против готовившегося вступления русских войск в Молдавию и Валахию. Французская печать в главных органах следовала за английской. Только французские легитимисты, приверженцы династии Бурбонов, влачившие совсем жалкое и ничтожное в политическом отношении существование, были склонны, да и то очень робко и вяло, поддерживать Николая.

Киселев 9 июня дал новый тревожный сигнал в Петербург [55]. Он узнал, что французское правительство употребляет все возможные меры давления на Австрию, вплоть до угроз возбудить против нее восстание в Ломбардии, и все это с целью вооружить Австрию против России. Интересно, что очень враждебную России активную роль в этих франко-австрийских секретных переговорах играл старый барон Геккерен, тот самый, который так гнусно и позорно вел себя в роковом деле поединка его «приемного сына» Дантеса с Пушкиным. Геккерен был в 1853 г. голландским посланником в Вене, а Дантес, «усыновленный» им и тоже носивший его фамилию, делал карьеру во Франции,— и, к слову будь сказано, ездил как-то еще в 1850 г. от Луи-Наполеона к Николаю в Берлин в качестве дипломатического курьера. Убийца Пушкина был тогда очень милостиво принят царем, который даже пригласил его покататься вместе верхом.

Теперь, в 1853 г., старый барон Геккерен, служа голландским послом в Вене и имея постоянные сношения с француз-

ским правительством через Дантеса-Геккерена, проживавшего в Париже, старался заслужить милость Наполеона III, исполняя его волю. Но Франц-Иосиф не поддавался пока ни на намеки и угрозы, передаваемые через Геккерена, ни на убеждения и посулы, передаваемые более официальным путем, через французского посла в Вене австрийскому министру иностранных дел графу Буолю.

Много еще должно было воды (и крови) утечь, раньше чем Австрийская империя определенно решилась стать на сторону антирусской коалиции.

Одной из бесплодных, хотя и возбудивших было неосновательные надежды Киселева попыток отдалить войну и, во всяком случае, заставить Николая I эвакуировать Молдавию и Валахию, был проект конвенции, составленный французским послом в Вене Буркнэ, пересланный в Константинополь. Чтобы укрепить французское правительство в его предполагаемых намерениях, Киселев стал действовать на Наполеона III через Морни, очень большую заслугу которого русский посол никогда не забывал: ведь именно благодаря вмешательству Морни Киселев был «благосклонно» принят Наполеоном III в тревожную для русского посла пору конфликта из-за обращения «cher frère». Но теперь Морни удовольствовался лишь тем, что, поговорив с императором, удостоверил Киселева в мирных предрасположениях Наполеона. А затем, в самую горячую минуту, вдруг, к горю Киселева, уехал на воды в Пломбьер. При свете позднейших событий ясно, что Морни не считал выгодным в тот момент для Второй империи особенно хлопотать о предупреждении войны [56].

«План Буркнэ» (кстати замечу, что сам Буркнэ счел впоследствии возможным отрицать свое авторство) заключался в следующем: Порта исполняет в точности волю царя, т. е. подписывает беспрекословно и без оговорок все, чего от нее требует ультимативная нота Меншикова,— а царь издает «контрдекларацию», в которой делает нужные заявления о своем уважении к суверенитету и неприкосновенности владений Оттоманской империи.

Но в Париже после нескольких дней колебаний провалили этот проект. Во-первых, Наполеон III хотел уточнить текст этой будущей «контрдекларации» Николая, а при безмерной гордости царя было наперед известно, что никакому чужому контролю он подобное свое волеизъявление не пожелает подвергнуть; во-вторых, в Париже (через Вену) было получено известие, что султан (под явным влиянием лорда Стрэтфорда-Рэдклифа) едва ли пожелает подписать без всяких изменений ноту Меншикова.

Разумеется, на самом деле никаких миролюбивых пред-

расположений Наполеон III вовсе не имел. В тот самый день, как Киселев писал о своих счастливо ведущихся разговорах с Морни, Бруннов сообщил из Лондона, что проект конвенции, который вырабатывался и в Вене и (будто бы) в Лондоне,— провалился: французское правительство не желает его поддерживать. Конечно, Эбердин очень огорчен тем, что новый проект, который взялся составить Друэн де Люис, по мнению Эбердина, не будет принят Николаем, и, разумеется, жаль, что благодушного Эбердина «перегнал» (se soit laissé gagner de vitesse) предосудительный Друэн де Люис, но от всех этих оговорок не легче: проект конвенции провален [57].

Киселев не унывает. Хоть и огорчительно, что друг Морни внезапно уехал на летние каникулы, но все равно, «если не произойдет неожиданностей непредвиденных и случайных, то в этот момент мир кажется менее под угрозой, чем в последние дни, ибо несмотря на воинственные подстрекательства прессы, общественное мнение тут, как и в Англии, сохраняет в основе мирные предрасположения» [58].

Друэн де Люис мог уже 6 июля известить Кастельбажака об окончательном решении Наполеона III касательно проекта Буркнэ [59]. Франция считала совершенно необходимым предварительно ознакомиться с точным текстом той «контрдекларации» Николая об уважении к суверенитету и целостности Турции, без которой, с точки зрения Наполеона, становилось невозможным требовать от султана принятия русских ультимативных условий.

Но этот выработанный в Париже проект соглашения, конечно, был отвергнут царем тотчас же, как был передан Кастельбажаком графу Нессельроде в первых числах июля (н. ст.). В длинном сопроводительном «конфиденциальном меморандуме» Кастельбажак силится доказать, что если Турция примет этот проект, то Николай должен быть вполне удовлетворен, что этот проект повторяет по существу ультимативную ноту Меншикова, что спор идет о словах, что, подписывая проектированную ноту, признающую покровительство Николая над православной церковью и только не носящую название сенеда, Турция все равно берет на себя полностью нерушимые обязательства, и т. д. [60]

Все это было напрасно. Проект был отвергнут, правда, в вежливой форме, под предлогом, что нужно ждать ответа Турции на австрийский проект.

Утром 12 июля (30 июня) Друэн де Люис уведомил письмом Н. Д. Киселева, что он желал бы с ним объясниться по поводу циркуляра Нессельроде. Он прежде всего выразил неудовольствие касательно упоминания в циркуляре снова о «святых местах», вопрос о которых он считал уже давно окончатель-

но улаженным. Затем, он протестовал против указания Нессельроде, будто оккупация княжеств была лишь ответом на приход двух эскадр западных держав в Безику: Нессельроде уже 31 мая дал знать Решид-паше о предстоящем занятии княжеств, а эскадры получили приказ идти в Безику только 4 июня. Киселев ответил, что занятие княжеств является последствием прежде всего отказа Порты дать России требуемые в ноте Меншикова гарантии. Друэн де Люис отрицал также утверждение Нессельроде, будто от Турции не требуется, по существу, ничего, кроме того, что Россия уже получила по Кучук-Кайнарджийскому миру. Нет, требуется новое, расширенное толкование прав русского императора. Киселев с этим не соглашался. В конце концов русский посол сказал, что дальнейшие пререкания такого рода — «праздное занятие»: «Ваши замечания — простая обязанность, которую вы исполняете... Я слушаю ваши возражения и я на них отвечаю тоже потому, что такова моя обязанность» [61]. А дело, мол, не в этом, а в том, чтобы найти мирный выход, чтобы побудить Турцию принять русский ультиматум. Впечатление от этого разговора у Киселева, по обыкновению, осталось успокоительное.

Николай не желал ни австрийского, ни английского, ни французского, да в сущности и никаких других способов компромиссного решения затеянного дела. «Различные проекты улажения дела, которые дождем со всех сторон на нас сыплются (divers projets d'arrangement qui nous pleuvent de tous les côtés)»,— так иронизирует Нессельроде в шифрованном письме к Бруннову от 1 (13) июля. «Мы дадим уклончивый ответ (une réponse évasive) на видоизмененную ноту Друэн де Люиса, принять которую нас торопит Кастельбажак». Еще все-таки более приемлемым Нессельроде считает проект лорда Эбердина: «предложите ему не оставлять этой идеи, несмотря на оппозицию со стороны Франции»,— пишет Нессельроде Бруннову, и уже из этой фразы мы видим, в каком заблуждении держали царя и канцлера донесения Бруннова. Ведь Эбердин только проводил время в ласковых разговорах с русским послом, с которым крайне охотно соглашался, побранивая Стрэтфорда-Рэдклифа, все действия которого одобрял на заседаниях кабинета, и порицая Друэн де Люиса, политику которого официально вполне поддерживал [62].

3

Не только Николай, но и Наполеон III и Англия с большим интересом ждали, как будут реагировать австрийский император и его министр иностранных дел граф Буоль фон Шауэнштейн на события. В Вене в течение всего пребывания Меншикова в Константинополе ломали себе голову над задачей: что́

все это предприятие Николая должно означать? Поведение Меншикова давало минутами право предполагать, что Николай уже бесповоротно решил провоцировать в ближайшем будущем войну с Турцией с прямой и непосредственной целью завоевания Оттоманской империи. Старый Меттерних, теперь в отставке, почти так же внимательно следивший за внешней политикой, как и в дни власти, выдвинул — как раз в то время, когда миссия Меншикова приближалась к концу,— предположение, которое он сообщил министру иностранных дел Буолю и которое легло в основу дальнейших соображений австрийской дипломатии. Меттерних не верил в намерение царя начать войну с целью прямого завоевания Турции. «Я верю в попытку запугать султана и принудить его к моральным уступкам, которые бы открыли русской державе новые пути к скорейшему разрушению Оттоманской империи. Политика, которой следует Россия относительно Порты, носит характер минной системы, имеющей целью обрушить здание и превратить его в кучу обломков, а из этих обломков тот, кто ближе всех и находится в наибольшей готовности, может присвоить себе часть наиболее надежным образом» [63].

Меттерних признавался Буолю, что он совсем ничего не понимает ни в приезде, ни в отъезде Меншикова из Константинополя. «Я ненавижу ребусы, загадки и шарады»,— пишет отставной канцлер. Если для успешного ведения войны назначают опытных генералов, то почему Николай назначил Меншикова, никогда не исполнявшего дипломатических поручений? Если царь стремился к разрыву с Портой, зачем было вообще начинать переговоры? [64]

В середине июня австрийский кабинет предложил Нессельроде согласиться на прием в Петербурге чрезвычайного посла, которого хотела бы отправить Турция для продолжения оборванных отъездом Меншикова переговоров. Но царь отказался наотрез и заявил, что «он допустит лишь такого турецкого посла, который привезет ему ноту (Меншикова — *Е. Т.*), должным образом принятую и подписанную» [65]. Этот отказ был сообщен и Австрии и Франции.

Когда на предложение графа Буоля допустить в Петербург специально посылаемого чрезвычайного посла Турции, чтобы путем новых переговоров уладить конфликт, Николай ответил немедленным и категорическим отказом, то, сообщая 15 июня 1853 г. об этой отвергнутой попытке барону Бруннову для осведомления британского правительства, Нессельроде дает и аргументацию. Ни от одного слова ультимативной ноты Меншикова царь не отступит, не о чем переговариваться. «Покровительство религиозное в Турции (un patronage religieux en Turquie) мы имеем и громко о том провозглашаем, так как у

нас пытаются его отнять. Мы его осуществляем и фактически, и по праву уже с давних пор и мы от него откажемся из уважения к тем, кому угодно питать недоверие к нам. Это было бы равносильно тому, чтобы разорвать нашими собственными руками договоры, которые за нами обеспечили это покровительство, и отказаться нам самим от нашего влияния»[66].

В июне 1853 г. в Константинополь прибыл в качестве австрийского представителя барон фон Брук, личность во многих отношениях замечательная, дипломат новой послеметтерниховской школы. Начать с того, что он был основателем и первым директором австрийского Ллойда, крупнейшей пароходной компании; побывал больше трех лет (1848—1851) министром торговли Австрийской империи. Воззрения на восточный вопрос у него были вообще определенные: Австрия и стоящий за ней Германский союз должны соединить все свои политические силы и экономические возможности, чтобы занять вполне самостоятельное положение в разгорающемся пожаре. В возрождение Турции он не верил, жалел, что «цветущие поля на берегах Эгейского моря находятся во власти народа лентяев (von einem Volke von Faulenzern beherrscht)»[67]. Собственно, его идеалом был экономический захват Турции силами великогерманской, еще ничуть не объединенной политически Средней Европы. Для него не только одинаково неприемлемыми были планы и непосредственные цели как Меншикова, так и Стрэтфорда-Рэдклифа, но к Англии Брук питал даже большее недоверие и большую антипатию, чем к России, потому что считал Англию несравненно более опасной соперницей Австрии и Германского союза в их возможных будущих экономических усилиях по эксплуатации Турецкой империи. Барон фон Брук является, таким образом, одним из самых ранних последователей покончившего самоубийством в 1845 г. экономиста Фридриха Листа, указавшего германскому капиталу на Турцию как на благодарнейшее поле для колонизации и экономического освоения. Фон Брук еще до своего прибытия в Константинополь разгадал сразу игру Стрэтфорда-Рэдклифа, состоявшую в том, чтобы, с одной стороны, не оказывать Меншикову видимого сопротивления и даже тайно поощрять его к новым и новым дерзким выходкам и провокациям, а с другой стороны — тайно уверять Турцию в крепкой помощи западных держав и в полной необходимости как можно решительнее отвергнуть домогательства посланца русского императора.

Но так как и с точки зрения экономических интересов Австрии на Дунае и во всей Оттоманской империи и с точки зрения политической безопасности Австрии внедрение русского влияния в Турции казалось Бруку опасным, то он с первых же шагов стал помогать Стрэтфорду.

Брук был одинок в своих мечтах об экономической экспансии. Ни Франц-Иосиф, ни министр иностранных дел Буоль его не поддержали. Он слишком опередил своей мыслью реальную историю. Среднеевропейский капитализм еще не был в середине XIX в. достаточно силен, чтобы предпринять борьбу за Турцию одновременно на два фронта. Из двух зол Брук выбрал наименьшее с австрийской точки зрения — и пошел за Стрэтфордом.

Между тем Николай тотчас после отъезда Меншикова из Константинополя снова обратился к своей старой идее, всякий раз приходившей ему в голову после неудачных попыток сговора с Англией: нельзя ли поделить Турцию не с Англией, а с Австрией? «Конечно, я ничего не сделаю без Австрии»,— сказал Николай, отпуская в Вену Мейендорфа, накануне его отъезда из Петербурга, 18(30 мая) (11 июня) 1853 г., и прибавил: «Скажите австрийскому императору, что я всецело рассчитываю на его дружбу в этих обстоятельствах, убежденный, что он припомнит, чем я для него был в деле с Венгрией». Николай знает, как Франц-Иосиф в душе боится Наполеона III, и поэтому сулит ему военную помощь, приказывая тут же Мейендорфу заявить: «Если вследствие нашей общей политики относительно Турции он (Франц-Иосиф — *Е. Т.*) подвергнется нападению в Италии, скажите ему, что, кроме войск в княжествах, у меня есть шесть армейских корпусов к его услугам» [68].

Николаю представлялся такой план начала раздела Турции с участием этого нового партнера, т. е. Австрии. Мы это знаем из собственноручной карандашной заметки царя, сохранившейся в бумагах уезжавшего в Вену Мейендорфа и напечатанной в его переписке: «8(20) до 10(22) июня вероятное вторжение в княжества, будет окончено к 1 (13) июля. Если турки не уступят к 15(27) июля,— то вторжение Австрии в Герцеговину и Сербию может быть закончено к 1(13) августа. Если к 1(13) сентября турки не уступят,— то провозглашение независимости четырех княжеств» [69]. То есть, Молдавия и Валахия отойдут к России, а Герцеговина и Сербия — к Австрии. Такова была инструкция Мейендорфа для передачи этого предложения Францу-Иосифу.

Петр Мейендорф, русский посол в Вене, человек, звезд с неба не хватавший, но неглупый и порой не лишенный проницательности, давно уже видел, какой опасный оборот принимает деятельность Меншикова в Константинополе. Он пробыл всю весну в Петербурге и отсюда неспокойным оком следил за событиями, позволяя, однако, себе делиться своими печальными размышлениями лишь с собственной записной книжкой. Вот что писал он еще 7 (19) апреля о Меншикове:

«Самый остроумный человек в России, ум отрицательный, характер сомнительный и талант на острые слова. Дело шло о том, чтобы избавить страну от войны, даже рискуя лишиться популярности и временно вызвать неудовольствие императора. Как плохо обслуживаются государи! Когда они дают мало обдуманный приказ, всегда находится кто-нибудь, чтобы его исполнить, но когда нужно угадать их намерения и взять на себя ответственность — никто не хочет действовать». Мейендорф находит, что напрасно Титова, бывшего русским послом в Турции до Меншикова, упрекают в слабости: «Если поддадутся этому мнению и пошлют на его место своего рода бурливого капрала (une espèce de caporal tempête),— то нужно будет держать 150 000 человек постоянно на границах княжеств, и прощай наше политическое положение в Европе,— без большого выигрыша для нашего положения на востоке» [70].

7 июня (26 мая) Мейендорф, едва прибыв в Вену, получает аудиенцию у Франца-Иосифа и беседует затем с Буолем. Впечатление у него не весьма утешительное. В итальянских провинциях Австрии неспокойно, в Пьемонте, который может отнять эти провинции у Австрии, тоже неспокойно,— а хуже всего, что позиция Наполеона III не внушает Австрии уверенности [71]. Можно ли при этих условиях сделать то, чего желает Николай, т. е. вдруг провозгласить солидарность интересов России и Австрии в турецком вопросе? Конечно, нет, это значило бы возбудить самый сильный гнев Наполеона III.

Поосмотревшись, Мейендорф замечает, что в Вене дело идет с каждым днем все более и более неладно. Оказывается, что в Вене «не верят, что лорд Рэдклиф — единственный виновник отклонения наших предложений». Мейендорф сам разделяет мнение консервативных кругов Австрии, которое поэтому передает с полной отчетливостью: война грозит новым общеевропейским революционным взрывом. «Уже пять лет привыкли смотреть на императора Николая как на спасителя Европы и не могут поверить, чтобы он мог решиться на войну, которая бы поставила на карту существование общества, причем необходимость для нас этой войны — не понимают» [72].

Желая немного смягчить беспокойный характер своих сообщений о венских настроениях, Мейендорф полушутя жалуется на «проклятые железные дороги», благодаря которым Лондон и Париж удалены от Вены на шесть дней, а Петербург — на пятнадцать дней, вследствие чего за англо-французскими мнениями обеспечен «приоритет». Но это несерьезно. В том же донесении Мейендорф передает, что Луи-Наполеон бросает «честолюбивые взгляды» на владения Австрии в Италии и что французский посол в Вене Буркнэ хвалится, что «Австрия у него в кармане» [73].

Бруннов написал в Вену русскому послу Мейендорфу 13 июня письмо, полное пессимизма, который он так старательно всегда скрывал, когда писал в Петербург для Нессельроде и для царских глаз. Плохо. Война на носу, но поздно толковать о прошлом (другими словами, о гибельных ошибках царя и Меншикова). «Грустно сказать, но Англия вверяет себя заботам лорда Рэдклифа, который становится главой английского кабинета, вместо того, чтобы быть послом ее британского величества в Константинополе». Бруннов правильно угадывает новый ход в игре Рэдклифа: он будет стараться привлечь Австрию, а если повезет, то и Пруссию к англо-французской коалиции,— и когда это случится, война станет совсем уж неизбежной. Но Бруннов одержим относительно Австрии той же поразительной слепотой, как сам Николай, как Нессельроде, как Мейендорф: он убежден в благожелательности Франца-Иосифа и с упованием взирает на предстоящее прибытие в Константинополь нового австрийского представителя Брука. «Брук откроет глаза туркам!» — так полагает Бруннов [74].

В одном только он не ошибается: в том, что значение Австрии в восточном кризисе — огромно. Он только не предвидел тогда, когда именно по своему характеру скажется ее роль. Еще в конце июня Буоль «со слезами на глазах» говорил Мейендорфу, что он считает наилучшей для Австрии политикой ту, которая во всем согласна с русской политикой. Слезы же графа Буоля были вызваны тем, что Мейендорф указал ему, что наступает критический момент для взаимоотношений между Николаем и Францем-Иосифом [75]. Мейендорф и вся русская дипломатия долго продолжали носиться с надеждами на благое влияние в Константинополе австрийского представителя Брука. Даже Будберг, русский посол в Берлине, агитировал, чтобы генерал фон Герлах, влиятельный крайний консерватор при дворе Фридриха-Вильгельма IV, побудил короля предложить прусскому посланнику в Турции Вильденбруху поддерживать Брука [76].

Нужно сказать, что в Берлине известие об отъезде Меншикова произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Общее мнение при дворе в первую минуту было такое: Россия требует таких уступок, которые несовместимы с независимостью Турции и суверенными правами султана. Вместе с тем продолжали надеяться, что царь найдет еще мирный исход. Сообщая об этих берлинских настроениях, корреспондент Гамильтона Сеймура — Гоуард, прибывший только что в Берлин из Лондона, заодно уже упоминает и о впечатлении, произведенном в Лондоне разрывом дипломатических отношений России с Турцией. Гоуард ждет «сильного взрыва» при тогдашнем состоя-

нии английского общественного мнения [77]. В Берлине, как и в Париже, как и во всех дипломатических канцеляриях Европы, прекрасно знали, если не во всех деталях, то по существу, о чем говорил Николай с Сеймуром у Елены Павловны и о чем снова и снова он с ним заговаривал в течение января и начала февраля 1853 г. Английское правительство, конечно, не имело никаких причин делать из этого секрет.

И поэтому не верили ни одному слову объяснений Нессельроде о том, что речь идет о «покровительстве православной церкви» и что Меншиков разорвал сношения с Турцией из-за редакционных несогласий в нотах и проектах формулировок.

В самом конце июня в Лондон прибыл брат короля Фридриха-Вильгельма IV принц прусский Вильгельм. Он придерживался гораздо менее дружественной позиции по отношению к России и гораздо меньше доверял миролюбию царя, чем его брат король.

2 июля (20 июня) принц Вильгельм принял Бруннова. Подчеркнув, что в начинающейся на востоке вооруженной борьбе Пруссия будет хранить строгий нейтралитет, Вильгельм выразил надежду, что, вследствие известных (ему) благородных чувств Николая, дело окончится миром. Принц попутно похвалил также Англию и Францию за их примерное благородство и миролюбие и прибавил, что королева Виктория выражает очень большую тревогу по поводу положения вещей на востоке и что английские министры все же приостановили свои великодушные усилия по части «построения моста, ведущего к миру»,— так как ждут «манифеста» императора Николая о переходе через Прут, и это ожидание мешает британскому правительству принять дальнейшие решения [78].

Глава IV

ДУНАЙСКАЯ КАМПАНИЯ 1853 г. ВТОРЖЕНИЕ РУССКИХ ВОЙСК В МОЛДАВИЮ И ВАЛАХИЮ. ОЛЬТЕНИЦА И ЧЕТАТИ

1

В последние дни мая 1853 г., когда Меншиков уже собирался сесть на пароход «Громоносец» и отбыть из Константинополя, намерения царя окончательно определились. По крайней мере наметилась желательная Николаю последовательность дальнейших выступлений русской дипломатии. Вот эта собственноручная французская заметка царя, относящаяся к 17(29) мая 1853 г. и данная в виде инструкции русскому послу в Вене Мейендорфу. Самим Николаем она разделена на пункты: 1) «Категорическое требование (injonction péremptoire) от турецкого правительства заключить требуемый договор, в противном случае немедленное занятие княжеств. 2) Если она (Турция — *Е. Т.*) будет продолжать упорствовать,— блокада Босфора и *признание независимости княжеств* (последние слова подчеркнуты царем — *Е. Т.*). 3) Если она и дальше будет упорствовать,— *признание независимости Сербии* (подчеркнуто царем — *Е. Т.*). 4) Просьба к австрийскому императору оказать моральную поддержку — в первом случае, сосредоточением войск на границе между Буковиной и Сербией — во втором случае, занятием их войсками — в третьем случае, а также признание независимости соседних с нами провинций. Обещание императору, при взаимности с его стороны, все ему сообщать и действовать *в том, что может воспоследовать* (подчеркнуто царем — *Е. Т.*) с общего согласия, так как наши интересы тождественны, ибо мы соседи, и *только мы соседи* (Турции — *Е. Т.*). Само собой разумеется, что с моей стороны обещаю полное покровительство римско-католикам в Турции, как я ожидаю того же от императора (австрийского — *Е. Т.*) для турецких подданных греко-православного вероисповедания» [1].

Это документ чрезвычайной важности. Ясно, что в момент

разрыва дипломатических отношений с Турцией Николай, попрежнему считая подходящим поставить вопрос о разделе Турции, круто изменил постановку проблемы о паритете: Англия отказалась участвовать,— значит, надо сговориться с Австрией.

В Петербурге Меншиковым были очень довольны. Ведь его и посылали в Константинополь затем, чтобы он как-нибудь наиболее эффектным и импонирующим образом провалил соглашение с Портой и создал дипломатическую обстановку для вступления русской армии в Дунайские княжества. Граф Алексей Орлов, имевший твердое убеждение, что Меншиков наделал в Константинополе гибельных глупостей, встречается в приемной зале Зимнего дворца с приехавшим от Меншикова князем М. П. Голициным (именно так он писал свою фамилию) [2], бывшим в свите Меншикова в Константинополе. Дело происходило в середине июня 1853 г. Орлов ласково разговаривает с Голициным и, вскользь упомянув, что газеты (заграничные) и многие в публике под влиянием «заинтересованных» лиц порицали поведение Меншикова, тотчас же спешит уверить Голицина, что сам он, Орлов, вполне Меншикова одобряет и в «высоком месте» (en haut lieu) тоже Меншиковым довольны. И, произнося слова «en haut lieu», Орлов сделал движение головой в сторону дверей царского кабинета [3]. Уже по этому поведению старого лукавца Орлова князь Голицин, еще не входя в кабинет, мог о Меншикове не беспокоиться. И действительно, царь очень милостиво о Меншикове осведомлялся. Расспрашивал он Голицина не о Черном море, не об Одессе, не о Николаеве, не о Севастополе, но о константинопольских укреплениях. О нападении на Константинополь выразился так: «Об этом теперь и помышлять нечего, а надобно ожидать какого-нибудь благоприятного случая». Еще отчетливее были настроения в этот момент великого князя Константина Николаевича. Принимая Голицина, Константин выразил убеждение в ничтожестве турецкого флота, в полной для этого флота невозможности защищать турецкую столицу и заключил свою беседу словами, «сказанными с оттенком сожаления (avec une nuance de regret): *по всему вижу, что войны не будет*». Подчеркнутые слова Константина вписаны Голициным по-русски в его французский доклад Меншикову (так же, как вписаны по-русски и вышеприведенные слова царя). Удовольствие царя было так явно, что даже Нессельроде, который и боялся миссии Меншикова, и совсем не одобрял его поведения в Константинополе, и мог быть обижен полным отстранением собственной особы от всего этого дела, счел за благо внезапно ощутить симпатию к посланцу Меншикова. Князь Голицин был до тех пор для Нессельроде такой ничтожной величиной, что канцлер ему при встречах даже и на поклоны не считал стоящим отвечать. «Я был немно-

го удивлен любезностью канцлера, так как, хотя я имел несколько раз случаи быть ему представленным, он до сегодняшнего дня никогда и не думал ни узнавать меня, ни даже отвечать мне на мои поклоны». Прочтя эти строки, Меншиков уже мог окончательно не сомневаться, что он верно угадал мысль царя, не высказанную точными словами при его отправлении. Меншиков привез из Константинополя войну с Турцией, войну легкую и чреватую успехом и добычей, пожалуй, даже и не настоящую войну, а нечто дающее выгоды войны без присущих всякой войне опасностей. Так казалось в июне 1853 г. Но не успело промелькнуть короткое петербургское лето, и настроения во дворце стали несколько меняться.

Уильям Броун, бывший три года сряду послом Соединенных Штатов в Петербурге, покидая свой пост, был принят Николаем в прощальной аудиенции 23 июня (5 июля) 1853 г. Царь сказал ему, что он не верит в возможность войны с турками, что он стремится сохранить мир и не думает, чтобы *«от нынешних неприятностей между Россией и Турцией* (the present disagreements between Russia and Turkey) могли бы произойти *настоящие* враждебные действия (actual hostilities)» [4].

Все это очень легко было говорить в беседе с дипломатом, которому царь вовсе и не обязан был объяснить деликатной разницы между «неприятностями» и «враждебными действиями», а Броуну незачем было интересоваться, считает ли царь *только неприятностью*, если его солдаты палят в турок, а турки палят в его солдат. Но Паскевичу, Горчакову и всей дунайской армии решительно необходимо было пояснить эти стилистические тонкости.

Временами, под явным влиянием Паскевича, царь старался убедить себя, что войны не будет, даже если он займет Молдавию и Валахию. Разница была лишь та, что Николай соглашался отказаться от войны только в том случае, если турки уступят и подпишутся под всеми обязательствами, какие предъявил им перед своим отъездом Меншиков, а Паскевич считал, что и без этого условия следует отказаться от войны. Николай в течение почти всего лета 1853 г. уверен был, что Австрия ему поможет, а Паскевич не доверял Австрии нисколько. Вот что сообщает князь Васильчиков о настроениях царя в то самое время, когда русские войска уже двигались к Пруту:

«Отправляя меня в июне 1853 г. к князю Горчакову в Бухарест, он (царь — *Е. Т.*) в видимо озабоченном тоне подробно объяснял мне, почему он не признает возможным, чтобы дело дошло до войны, так как, полагаясь на чувства приязни к нему австрийского императора, он убежден, что через его посредство дело уладится, и мы в скором времени уберем войска свои в пределы России; поэтому он приказывал мне передать князю, что-

бы он не слишком распространялся в княжествах и имел в виду вероятное обратное движение вверенных ему сил. В армии никто не разделял такого воззрения на положение наших дел и, предвидя совершенно противоположный исход дипломатическим переговорам, все как бы инстинктивно опасались той необычайной нерешительности, какая проявлялась в высших распоряжениях по военной части» [5].

Но, вообще говоря, в середине июня 1853 г. оптимизм царя еще держится очень крепко. Это ничего, что английские газеты наглы и пошлы сверх меры и так яро ругаются («les invectives des journaux anglais sont d'une insolence et d'une trivialité qui passe (sic — *Е. Т.*) toute mesure»,— пишет царь на одном докладе Нессельроде от 5 (17) июня 1853 г.). Важно, что Австрия ведет себя превосходно, если верить австрийским дипломатам. А почему же им не верить, если Нессельроде всю свою жизнь им верил и из этой веры хотел сделать и теперь основу всей русской политики? [6]

2

Начиналась долгая и тяжкая война. За Турцией уже предчувствовалось появление других, гораздо более грозных врагов.

Русские корпуса, перешедшие через Прут, были и вооружены, и одеты, и снабжены провиантом, и обеспечены медицинской помощью ничуть не лучше, чем остальная русская армия. Им, правда, в общем не приходилось люто голодать, потому что Молдавия и Валахия были богаты хлебом, кукурузой, овощами; не приходилось до конца декабря очень мерзнуть, потому что в 1853 г. морозы наступили лишь к самому концу года и наиболее холодные дни выпали на январь и начало февраля 1854 г. Наконец, они вступили в княжества летом, осень была теплая, поэтому и пристанище для отдыха и сна найти было легче. Но в некоторых отношениях при таком ни во что не вникающем главнокомандующем, как М. Д. Горчаков, хищения в дунайской армии приняли очень скоро совсем неслыханный характер и стали уже явно вредить военным операциям самым непосредственным образом, а с другой стороны, офицеры, а за ними и солдаты очень быстро почувствовали, что верхи, управляющие ими, сами в точности не знают, зачем они привели сюда русские корпуса. Оба эти обстоятельства очень разлагающе действовали на дух войск, особенно с поздней осени, когда начались настоящие военные действия. Офицеры раздражены были безобразным разгулом хищничества не только в интендантстве, но, что хуже всего было, и в военно-инженерной части.

Невозбранный, неистовый грабеж часто принимал в русской оккупационной армии такие формы, что исследователю стано-

вится порой просто непонятно: как вообще солдаты могли держаться, могли воевать, даже при всем их самоотвержении.

«Войска более или менее ясно понимали, что ход наших дел на Дунае не был естественный, что военные соображения часто уходили на задний план и уступали место соображениям иным, политическим, мало доступным войскам»,— говорит участник Дунайской кампании, пишущий в 1872 г., а потому благоразумно укрывшийся под инициалами. Не может он прямо сказать, что, кроме политических соображений, во многом, что творилось на Дунае, играли роль и соображения о направлении казенных сумм в карманы начальства. Одной лишь бесплановостью и бестолковостью ведения войны все-таки солдаты не могли, например, объяснить себе, почему принято было, *как правило*, начинать разные дорого стоящие постройки именно тогда, когда уже решено было покинуть данное место: «Нередко представлялось следующее: растянутые войска, сделав короткое наступление, начинают без видимой причины продолжительное отступление. Но еще замечательнее: заняв какую-либо позицию, войска спокойно стоят на ней сравнительно долго, почти в бездействии, затем начинается постройка укреплений, а лишь окончены они, по всем правилам инженерного искусства, начинается отступление. Это странное совпадение окончания построек с началом отступления проявилось под Силистрией даже на ставке князя Горчакова, которая окончательно была отделана только за несколько дней перед оставлением нами правого берега Дуная. Повторение этого факта произвело на войска *серьезное впечатление»*. Солдаты знали ведь, что все это является наглым, среди бела дня обкрадыванием казны, потому что после ухода русских войск уже никто никогда не проверит, чтó не выстроено, а чтó выстроено и как выстроено в покидаемом навсегда месте. Турки били русских солдат, лишенных защиты укреплений, а укрепления являлись (конечно, для видимости) лишь перед самым уходом. Дело дошло до ропота: «Когда одна из пехотных дивизий, раньше других отступившая в русские пределы за реку Прут, получила приказание укреплять берега этой реки, *солдаты высказали ропот, выражая, что мы-де знаем, что это значит, но не желаем уже отступать, находясь на своей земле*» [7].

Общий вывод правдивого свидетеля и участника Дунайской кампании обильно подтверждается всеми и без него известными нам фактами: «Во всех бывших до сих пор сражениях на Дунае каждый раз обнаруживался какой-либо существенный недостаток: или запоздалые распоряжения до начала боя, или раздробление сил, или несвоевременный приход подкреплений, или излишняя самоуверенность в действии штыком. Во всех почти встречах мы были малочисленнее турок, ходили в атаку против сильных позиций, не заботясь о подготовке их действием

артиллерии»[8]. Правда, на первых порах, т. е. в 1853 г., приходилось вести войну только с турками, у которых в армии были тоже далеко не идеальные порядки.

Но знающие люди, видевшие турок в деле, очень протестовали против легкомысленно-хвастливой уверенности в предстоящих будто бы быстрых триумфах на Дунае.

Генерал-адъютант Берг в любопытной докладной записке, представленной в военное министерство в 1853 г., явно предостерегал царя от слишком оптимистических взглядов на начинавшуюся войну с Турцией. Свою мысль он иллюстрирует, пользуясь таким приемом: он напоминает о том, в каком положении была Турция во время последней русско-турецкой войны 1828—1829 гг., и выходит, что в 1853 г. эта страна в несравненно лучшем положении.

Во-первых, в 1828 г. Турция была очень ослаблена десятилетней борьбой с греческим восстанием. Ежегодно в Грецию отправлялось от 10 до 20 тысяч человек, они доходили до места действия, потеряв по пути половину состава как вследствие климатических условий, так и вследствие дурной организации армии. В 1827 г. истреблен был турецкий флот в Наваринском бою. «Наш флот и наши торговые транспорты свободно циркулировали в Черном море, как в русском озере. В 1828 г. русская победоносная армия, только что разбившая персов, была брошена на Эрзерум. В 1828 г. Махмуд, истребивший в 1826 г. янычар, еще не успел создать равносильную военную организацию, артиллерия была в безобразном состоянии, конница — в беспорядке. В 1828—1829 гг. Турция была изолирована, Англия не желала прийти к ней на помощь, напротив, в 1827 г. английский флот принял руководящее участие в истреблении турецких судов при Наварине. Австрия, правда, сочувствовала Турции, но не могла ей помочь, потому что „французский король Карл X объявил, что он нападет на Австрию, если она окажется враждебной по отношению к России“. И все-таки, несмотря даже на эти благоприятные для России условия, мы не раздавили Оттоманской державы в 1828 г. с армией в 122 тысячи человек, пущенной в ход в княжествах и в Болгарии»[9]. Берг приписывал неполную удачу в войне 1828—1829 гг. стратегическим ошибкам.

Но стратегов в России с тех пор до 1853 г. не прибавилось...

3

Как только к началу 1853 г. у Николая стало все более усиливаться убеждение в возможности удачным нападением на Турцию — в союзе ли с Англией или при попустительстве Англии — захватить проливы, на первый план начал выдвигаться вопрос, который теперь, в конце мая, после отъезда Менши-

кова из Константинополя, сделался уже в самом деле первоочередным: где должна быть намечена точка первого (и главного) военного удара?

Что азиатский театр военных действий будет иметь второстепенное значение, это, конечно, было ясно. Удастся ли русским войти в Эрзерум и Трапезунд или не удастся, не это решит задачу. Капитулирует Порта только в случае занятия Константинополя и ни при каких других обстоятельствах. Занять же Константинополь возможно двумя способами: или непосредственным нападением с моря, высадкой десанта, приготовленного в Севастополе и Одессе, на берегу Босфора, или двигаясь через Молдавию, Валахию, Болгарию, причем вторгнувшаяся армия получит поддержку от десанта, который в должный срок будет высажен в Варне.

За первый план некоторое время стоял царь, поддерживаемый великим князем Константином Николаевичем и Меншиковым. Этот план сулил *в случае успеха* быстрое и окончательное решение задачи, так как, внезапно захватив Босфор, Константинополь и Дарданеллы, можно было легко преградить путь любой европейской эскадре, которая попыталась бы проникнуть из Средиземного моря в Мраморное. Это *в случае успеха*. Но вот именно в успех этого проекта не верил человек, без совета которого Николай никогда еще не предпринимал никаких серьезных военных действий. Это был Иван Федорович Паскевич, граф Эриванский, князь Варшавский, фельдмаршал трех европейских армий и наместник Царства Польского. И не потому фельдмаршал противоречил, что ему уже пошел семьдесят второй год и что он лишился духа инициативы и предприимчивости; да и не только план внезапного захвата Константинополя ему не нравился. Дело было поглубже.

Даже на внезапный захват Константинополя фельдмаршал смотрел с меньшими опасениями, чем на мечту о победоносном шествии русской армии через Прут, через Дунай, через Балканы на Константинополь.

Паскевич решительно не желал этой войны, а дал совет вести ее. Хотел почти с первых же дней, чтобы русские войска поскорее ушли с берегов Дуная, а делал вид, будто желает победоносного похода в глубь Турции. Это его настроение вконец погубило Дунайскую кампанию, потому что свело к нулю все усилия русских войск, и без того боровшихся при очень трудных условиях. Двойственное, неискреннее поведение Паскевича в роковые минуты начала этой войны вполне гармонировало со всем его характером, со всем его прошлым.

Паскевич занимал в окружении Николая совсем особое положение. После смерти великого князя Михаила Павловича Паскевич остался единственным человеком, которому Николай

вполне доверял. А уважал он его даже гораздо больше, чем своего брата, у которого никогда советов не спрашивал, тогда как к Паскевичу обращался в самых важных случаях. Паскевич был командиром гвардейской дивизии, в которой, будучи великим князем, служил и Николай, и, став царем, Николай продолжал называть его до конца своей жизни «отцом-командиром». Паскевич происходил из состоятельной, но не знатной провинциальной (полтавской) дворянской семьи, окончил пажеский корпус и карьеру сделал быструю и блестящую. Он был человеком умным, очень сдержанным, дельным и добросовестно относившимся к своим обязанностям и обладал некоторым образованием, так как его родные, убежденные, что в пажеском корпусе науками воспитанников не очень обременяют, устроили так, что молодой паж брал систематические уроки частным образом у известного тогда ученого-лингвиста и историка литературы Мартынова. С первых же лет службы Паскевич обратил на себя внимание деловитостью и толковостью, так что двадцати пяти лет от роду исполнял уже дипломатические поручения, ездил из ставки князя Прозоровского, при котором служил, в Константинополь и вообще выдвинулся как толковый и храбрый офицер. Двадцати восьми лет, в 1810 г., он уже был генерал-майором и командиром Орловского полка. Тут он впервые стал довольно широко известен как противник аракчеевского избивания и мучения солдат и как гонитель всех форм раскрадывания казенных денег. Он старался обуздать офицерский произвол и жестокость в обращении с солдатами. Все это давалось большой борьбой и большими неприятностями, и та болезнь, которую он нажил в полку и которая была названа тогдашними врачами «нервической горячкой», чуть не свела его в могилу. Багратион его заметил и выделил потому, что солдаты Орловского полка отличались самым выгодным образом от других. Под начальством Багратиона Паскевич проделал первую часть кампании 1812 г., отличился при Бородине, с успехом служил и дальше. Александр поручил Паскевичу (в 1816 г.) расследовать дело о «бунте» государственных крестьян Липецкого приказа Смоленской губернии, приговоренных к наказанию плетьми и каторге. Паскевич донес, что крестьяне, отказавшиеся уплатить недоимки, совершенно правы и что все дело затеяно мошенниками управителями и чиновниками. Паскевич просил государя не только освободить крестьян, но и назначить им денежное пособие. «Пример человечности и сострадания никогда еще не был вреден»,— так осмелился писать Паскевич царю. Все это очень характерно для Паскевича, но еще более характерно, что решимости потребовать суровой кары для злодеев управителей у Паскевича уже не хватило и дело ограничилось переводом главного виновника на другую должность. Так было всегда и дальше: Паскевич не

делал сам того, что считал несправедливым, старался восстановить справедливость там, где она была нарушена, но вступать в активную борьбу с виновниками преступлений и безобразий не решался, уклонялся, закрывал глаза.

Трудно сказать, чем именно мог он совсем пленить Николая, но эта привязанность возникла еще до воцарения. Карьера Паскевича развивалась успешно, но засекание солдат и неистовое казнокрадство в армии нисколько не уменьшились от его пребывания на высших постах. Николай послал Паскевича в 1826 г. на Кавказ, на смену Ермолову, и Паскевич успешно окончил персидскую войну, которую царь считал уже почти проигранной. Награды сыпались дождем на него. За персидскую войну он получил и несколько высших орденов, и графский титул, и огромную денежную награду в миллион рублей. Так же успешно провел он и турецкую войну 1828—1829 гг., за которую получил фельдмаршальский жезл. На Кавказе он оставался и после войны и старался, но, по обыкновению, совершенно безуспешно, бороться с неслыханными безобразиями, насилиями над населением и воровством как военной, так и гражданской администрации. «Публичную библиотеку в Тифлисе Паскевич действительно завел, ну а вот мошенников нисколько не вывел, это тебе не то, что с персами да с турками воевать!» — такие итоги его управлению подводили старые кавказцы впоследствии.

В 1831 году, во время польского восстания, Паскевич сменил умершего в июне того же года Дибича и 7 сентября (26 августа) взял Варшаву, после чего получил титул князя Варшавского и стал наместником Царства Польского.

Он пробыл в этой должности до самой Крымской войны. Военный диктатор Польши никогда не верил в прочность успехов «обрусения» и думал, что Польша — готовый плацдарм для всякого врага, который вторгнется в пределы империи. И именно поэтому он считал большим благом сохранение мира с Европой. Даже ко всем планам контрреволюционных интервенций, с которыми время от времени носился Николай, Паскевич относился холодно. В Вене в 1849 г. знали, что царь очень хочет вмешательства в дело подавления венгерского восстания, но относительно Паскевича далеко не так были уверены, и неспроста: именно в Варшаве, во дворце наместника, австрийские генералы и полковники (иногда пять-шесть в одно время) обивали пороги, прося вмешательства России.

После победы над венграми Паскевич, вернувшись в Варшаву, со все возраставшим беспокойством следил за развитием и обострением конфликта с Наполеоном III из-за «святых мест» и за тем уклоном, который начала принимать русская внешняя политика.

Дело в том, что Паскевич ничуть не хуже иронизировавших над ним кавказцев понимал, каким полнейшим провалом кончались всюду и всегда личные его попытки борьбы с безобразиями и преступлениями, от которых хирела русская армия, и как тщетны старания других лиц на данном поприще. Да он фактически, уже будучи в Польше, махнул рукой на эту бесплодную борьбу, и при нем, очень честном и ненавидящем казнокрадов начальнике, грабеж — например, при постройке крепостей в Царстве Польском — доходил до гомерических размеров. Инженеры строили в Царстве Польском крепости в 30-х и 40-х годах так, что на отпущенные и истраченные ассигновки можно было бы рядом с каждой выстроенной ими крепостью построить точь-в-точь такую же другую. И, главное, нельзя было никаким способом добиться точных и окончательных отчетов. И. И. Ден был начальником инженеров Варшавского округа, и когда однажды принц прусский Вильгельм спросил Николая, во что обошлось казне сооружение Новогеоргиевской крепости, то царь сказал, что на этот вопрос могли бы ответить лишь два лица: господь бог и Иван Иванович Ден, но что, к сожалению, они оба упорно молчат. А ведь Ден и его инженеры действовали долгие годы прямо на глазах наместника Царства Польского Паскевича, лично честного человека.

Но, признав это обстоятельство, т. е. свое полное бессилие в борьбе с грабителями, и примирившись с ним, примирившись и с тем, что при Николае (хоть царь и не любил и отстранил самого Аракчеева) аракчеевщина продолжала процветать во всей силе, Паскевич гораздо менее оптимистически судил о мощи русской армии, чем Николай. Но он молчал. И тогда молчал, когда видел, что из солдата хотят истязаниями и муштрой приготовить не воина, но акробата или артиста для кордебалета; и тогда молчал, когда злостный, наглый, полуграмотный и тупой фельдфебель Сухозанет умышленно разрушал военную академию и насаждал невежественность среди командного состава.

«Красота фронта, доходящая до акробатства», всегда отталкивала Паскевича, как он неоднократно признается в своих интимных записках: «Я требовал строгую дисциплину и службу, я не потакал беспорядкам и распутству; но я не дозволял акробатства с носками и коленками солдат. Я сильно преследовал жестокость и самоуправство... Но, к горю моему, экзерцирмейстерство все захватывало... У нас экзерцирмейстерство приняла в свои руки бездарность, а так как она в большинстве, то из нее стали выходить сильные в государстве... Регулярство в армии необходимо, но о нем можно сказать то, что говорят про иных, которые лбы себе разбивают, богу молясь... Оно хорошо только в меру, а градус этой меры — знание войны, а то из регулярства выходит акробатство».

Так всегда думал Паскевич, фельдмаршал русской армии, и ровно ничего не сделал, чтобы фактически бороться с этим злом, о котором так хорошо писал для самого себя в своих записках.

И друзья и враги Паскевича единодушно признавали в нем, очень неглупом, незлом человеке, одно главенствующее свойство, совершенно подавившее с течением времени все другие его душевные качества и стремления: огромное, поистине безмерное самолюбие. Николай его взял, именно играя на этой струне. Николай твердо знал, что Паскевич не вор и не предатель, и считал это редкостью. Он сделал Паскевича и графом, и князем, и фельдмаршалом, и наместником в Польше, и кавалером всех русских орденов, подарил ему миллион деньгами, а потом еще огромное имение, побольше чем в миллион ценой. Чтобы угодить царю, австрийский император сделал Паскевича фельдмаршалом австрийской армии. Фридрих-Вильгельм сделал его фельдмаршалом прусской армии, и когда уже не оставалось ничего, чем можно было бы возвеличить Ивана Федоровича, Николай специальным приказом по армии повелел воздавать Паскевичу точно такие же, без всяких изменений, почести при появлении фельдмаршала перед армейскими частями по какому бы то ни было случаю, какие воздаются самому царю. Об этом приказе царь известил Паскевича рескриптом от 4(16) августа 1849 г., подписавшись: «друг ваш Николай».

Когда Паскевич за что-то «соизволил» похвалить царского сына великого князя Константина, то Николай писал фельдмаршалу: «Счастлив он (Константин — *Е. Т.*), что мог удостоиться столь лестного от тебя отзыва, это ему на всю жизнь останется драгоценным памятником. Тебя же от глубины сердца благодарю за твои к нему милости» [10].

Николай всегда так писал фельдмаршалу: «Ох, отец-командир, не любишь ты меня, ежели моими усердными молитвами препебрегаешь! вспомни, кто ты и что на тебе! Не сердись на старого твоего бригадного, он тебя ей-ей душевно любит! Неужели ты этого не знаешь?» Вот всегдашний общий тон обращения Николая с Паскевичем.

И Паскевич так привык к этому обхождению, что его нисколько не удивило, когда ближайший полномочный представитель императора австрийского и довереннейший человек канцлера Шварценберга генерал-лейтенант граф Кабога вдруг бросился публично, на приеме, к его ногам и поцеловал ему руку, *плача* и умоляя спасти Австрию и подать помощь против венгров [11].

Генерал-лейтенант граф Кабога недаром валялся в ногах у Паскевича и целовал ему руку при свидетелях. И очевидцы и Кабога знали, что от слова Паскевича зависела в тот момент участь Австрийской державы.

Паскевич тогда, в 1849 г., исполнил волю Николая не противореча, хотя истинные свои убеждения насчет Австрии и венгерского восстания выразил в словах, обращенных к царю: «Можно ли мне отдать на виселицу всех, которые надеются на вашу благость?.. Мы спасли несколько раз австрийскую монархию. Они (венгры — *Е. Т.*) не любят австрийцев за их нестерпимую гордость и кичливость. Я не знаю ваших мыслей насчет Австрии; но если существование ее нужно для вашей политики, то амнистия *нужна* (подчеркнуто Паскевичем — *Е. Т.*) и прежняя конституция *нужна* (подчеркнуто Паскевичем — *Е. Т.*)» [12]. Все это было «гуманно», но когда усмиренная Паскевичем Венгрия получила именно только виселицы и не получила ни амнистии, ни конституции, Паскевич и не подумал повторить свои слова или хоть выразить царю свое неудовольствие. Еще более характерно, что Паскевич был явно вовсе не в таком восторге по тому поводу, что Николай счел существование Австрии необходимым, а ведь именно сам фельдмаршал и спас Австрию, возглавив военную интервенцию против венгерских инсургентов, затеянную Николаем вопреки его желанию.

Заняв первое после царя положение в государстве, Паскевич все менее и менее расположен был вызывать неудовольствие своего повелителя, осыпавшего его такими совсем неслыханными милостями и в постоянных своих письмах к нему выражавшего и любовь, и почтение, и беспредельное доверие. Паскевич держал себя, не утрачивая человеческого достоинства, не льстил так безбожно, как было принято, не подыгрывался. В 1837 г. он осмелился даже написать царю, что оплакивает погибшее будущее Пушкина. Но он усугубил с годами свою всегдашнюю карьеристскую осторожность, одобрял там, где явно ему хотелось бы промолчать, молчал там, где безусловно хотелось бы возражать. Он не решался даже на такую откровенность с царем, на которую изредка отваживался старик Илларион Васильчиков, или Павел Дмитриевич Киселев, или Мордвинов, хотя никто из них никогда не обладал и сотой долей того влияния, какое мог бы оказать, но не оказывал Паскевич. Была только одна проблема, по которой Паскевич стал высказываться в последние годы царствования Николая более или менее внятно, все менее и менее считаясь, с тем, как посмотрит император на его противоречие. Это был все тот же вопрос о воинственной или мирной дипломатии. После 1849 г., как рассказано в другой главе моей работы, царь стал утрачивать свою былую осторожность, а Паскевич, напротив, особенно стал склоняться к осмотрительности во внешней политике. Наблюдавшие его утверждали настойчиво, что он боится за свою приобретенную в войнах с Персией и Турцией славу и не хочет ею рисковать. Более чем вероятно, что отчасти, но лишь отчасти, это было именно так.

Паскевич был умен и отличался здравым смыслом, и в общем пределы своих военных талантов знал и никогда и не думал претендовать на историческое место рядом, например, с Кутузовым, который тоже был фельдмаршалом, или с Багратионом, который никогда фельдмаршалом не был. Если Суворов имел полное право заявлять, что одним счастьем его блистательное поприще объяснять нелепо, то Паскевич не мог не понимать, что уж его-то карьера больше всего именно лишь исключительным счастьем и объясняется.

Но не только своей *личной* славой не хотел рисковать Паскевич. Он явно не считал русскую армию в том состоянии, в какое привел ее Николай и в какое привести ее ничуть не мешал он сам, князь Паскевич, настолько могущественной, как считали ее почти все в России и очень многие за границей. Увлекшись блестящим парадом, Паскевич еще мог на смотру, чтобы подбодрить и приласкать офицеров, воскликнуть: «Подавайте сюда Европу!», но на самом деле он решительно никогда не хотел войны с Европой. Венгерский поход он быстро окончил, но долго перед этим собирался и приготовлялся. Когда Николай в раздражении поговаривал о необходимости наказать непокорных «ребят» (как он выражался об Австрии и Пруссии), Паскевич был решительно против этого. «Всего более опасаюсь я явного разрыва Австрии с Пруссией,— горячился царь,— ибо оно одно может нас скорее всего вовлечь в войну... наша роль будет тогда сказать им: эй, ребята, не дурачься, не то я вас!» Так писал Николай Паскевичу 7 (19) декабря 1849 г. Но Паскевичу этот залихватский тон был чужд. Не только за себя, но и за всю николаевскую Россию он боялся, когда настаивал на осторожности, и не только помрачения личного своего престижа он ждал от возможной неудачи на войне.

Паскевич сейчас же после переворота 2 декабря 1851 г. стал опасаться англо-французского союза, который он уже наперед считал серьезной угрозой для мира. Он предвидел это уже через какие-нибудь два месяца после переворота, когда Нессельроде да и сам Николай еще и в мыслях ничего подобного не имели [13].

Нелепая дипломатическая распря о преимуществах православной церкви в Палестине (в «святых местах»), пререкания с Парижем из-за титула Наполеона III в 1852 г., посылка Меншикова в Константинополь в 1853 г.— все это давно уже могло беспокоить фельдмаршала, и он даже не скрывал своего решительно отрицательного суждения о посольстве Меншикова и твердил, что нельзя ожидать серьезной дипломатической работы от человека, тридцать лет занимавшегося одними каламбурами.

Но вот теперь, в мае 1853 г., Меншиков оборвал сношения с Турцией. Перед Паскевичем вдруг встала та опасность, которой он ни для себя, ни для России так не желал.

Когда уже окончилась севастопольская трагедия, Паскевич со своего смертного одра послал князю М. Д. Горчакову ужасающее письмо (о котором еще будет речь в своем месте), нечто вроде предсмертного, в самом деле потрясающего проклятия. Фельдмаршал гневно корил Горчакова за многое, и больше всего за то, что у него не нашлось гражданского мужества воспротивиться желанию Александра II и отказаться от исполнения совета царя дать ненужную, гибельную битву (при Черной речке). Это письмо попало в печать уже тогда, когда и автор и адресат давно лежали в могиле. Но тогда же защитники памяти Горчакова обращались к тени самого фельдмаршала точь-в-точь с таким же укором: а почему же он сам, «отец-командир», перед которым благоговел Николай I, перед которым на варшавском смотру и на других смотрах царь вытягивался во фронт и подавал рапорт, почему сам всемогущий фельдмаршал не нашел в себе гражданского мужества в 1853 г. вовремя заявить, что он взялся быть фактическим верховным распорядителем, а потом и фактически и формально главнокомандующим на том участке военных действий, где, по его безусловному убеждению, никаких военных действий вести было не нужно и невозможно?

И возражавшие были правы. Относительно многих отдельных жертв самодурства, жестокости, деспотизма Николая поведение Паскевича в течение всей его жизни может быть, да и то не всегда, и еще в лучшем для него случае, охарактеризовано словами поэта: «Не спасал ты утопающих, но и в воду не толкал». Это повторилось и теперь, в 1853 г., в области внешней политики. Когда пробил роковой для России час, Паскевич не толкнул страну в кровавую авантюру, куда толкали ее Николай и Меншиков, но и ничего не сделал, чтобы остановить руку толкавших. Мало того: делал вид, будто отчасти сочувствует им. В 1853 г. он поддакивал, вяло, с оговорками, которых старался не замечать Николай; в 1854 г. он воспротивился, но тогда уже было поздно.

И в 1853 г. и в 1854 г. одинаково — князь Паскевич сделал немало, чтобы обильно пролитая на Дунае солдатская кровь оказалась совершенно напрасной жертвой. Насколько может верховный вождь лишить решимости и уверенности повинующуюся ему армию и убить в ней всякую волю к победе, настолько Паскевич это сделал в роковой для его военной репутации год занятия Дунайских княжеств.

Не удивительно, конечно, что в критический момент, после отъезда чрезвычайного посла Меншикова из Константинополя и разрыва дипломатических отношений России с Турцией, последовало прежде всего обращение к нему, к человеку, которому Николай сказал 21 августа (2 сентября) 1851 г. в Москве накануне празднества двадцатипятилетия со дня коронации 1826 г.:

«При грустных предзнаменованиях сел я на престол русский и должен был начать мое царствование казнями, ссылками... У меня не было людей преданных!.. Я остановился на тебе — само провидение мне указало на тебя!.. Война в Польше! Новое испытание — испытание грустное... Дела наши были плохи!.. И снова я ухватился за тебя, Иван Федорович, *как за единственное спасение России*!.. Иван Федорович! Ты — слава моего двадцатипятилетнего царствования, *ты — история царствования Николая I!»* При этом *всегдашнем* отношении к Паскевичу Николай еще мог под влиянием единственной и бесследной вспышки гнева послать ему упрек весной 1854 г., когда Паскевич посоветовал уйти из Дунайских княжеств, но *повторить* это письмо или удалить Паскевича от командования армией царь до конца не нашел в себе силы [14].

У Николая не нашлось также и проницательности понять, что фельдмаршал уже с самого начала Дунайской кампании, с лета 1853 г., не хотел этой кампании и уже наперед шел на ее провал, считая достижением *не приобретение турецких провинций, а удержание Варшавы* в русских руках.

Итак, когда царь спросил в начале лета 1853 г. Паскевича, занять ли Дунайские княжества, Паскевич не возражал. Николаю для чисто деловых распоряжений оставалось лишь уведомить канцлера Нессельроде о своем решении. Тут разыгралась сцена, о которой узнаем из рассказа князя М. Д. Горчакова доверенному лицу — генералу Менькову:

«Граф Нессельроде, смело и свободно высказывавший свои мнения на конгрессах Европы, совершенно терялся при докладах императору Николаю. По собственному сознанию покойного канцлера, он не выдерживал магнетического взгляда императора, а твердый, звучный, громкий голос могучего монарха весьма часто производил в тощем маленьком теле старика нервную дрожь... Вот что произошло между императором Николаем и графом Нессельроде, когда было получено известие о результатах посольства Меншикова: „Я все войска прикажу двинуть к Пруту,— сказал император канцлеру,— займу Придунайские княжества и стану там твердо, а в это время пусть дипломатическая Европа ладит, как знает, с Турцией и толкует о мире!"» Все это рассказал князь М. Д. Горчаков генералу Менькову, состоявшему при нем, и прибавил следующее: «Канцлер, приехав домой, заперся в своем кабинете. Плодом этого затворничества была замечательная обширная записка, в которой граф Нессельроде с необыкновенной ясностью и точностью изложил все последствия, которые могут и которые, по его мнению, должны произойти для России вследствие занятия Придунайских княжеств. Записка, представленная графом Нессельроде государю, в самых почтительных выражениях заключалась просьбой уво-

лить его от звания канцлера в случае, если его величеству не благоугодно будет принять в милостивое внимание представление его, канцлера». Горчаков прибавлял, что записка Нессельроде хранится, «как историческая драгоценность», в портфеле у него, Горчакова, ибо эта записка «пророчески предсказывала все события, которые преждевременно сломили могучую волю могучего монарха и свели его в могилу». А окончилась эта единственная в жизни Нессельроде попытка предостеречь царя от опасности так: «Государь весело встретил в своем кабинете графа Нессельроде. Встав с своего кресла, император пошел навстречу канцлера, своим поцелуем благодарил за умную записку, потрепал „по брюшку" маленького седого старичка и, поцеловав его еще раз, посадил против себя и сказал: „спасибо тебе за умные речи, но я их не *послушаю*, а ты не *выйдешь* в отставку! Я уже дал повеление чтобы войска мои двинулись для занятия Придунайских княжеств!" Граф Нессельроде остался канцлером» [15].

Конечно, все это было совершенно несерьезно.

Слишком поздно спохватился канцлер, так долго и неизменно поддакивавший царю и восхищенно приветствовавший все его решения. Да и могла ли иметь хотя бы малейшее значение для Николая отставка, которой «грозил» канцлер? Трудно ли было царю найти человека, умеющего написать по-французски бумагу, не путая сослагательного наклонения глагола с условным? Но ведь это основное реальное достоинство Нессельроде не давало ему никаких преимуществ перед Мейендорфом, Александром Горчаковым, Брунновым и другими претендентами.

Записки, о которой говорит Горчаков, по-видимому, не сохранилось в делах министерства иностранных дел. По крайней мере мне не удалось ее там найти. Почему она попала в портфель князя Горчакова и почему бесследно исчезла — неизвестно.

Не ничтожному царедворцу Нессельроде было удержать царя от рокового шага. Если кому под силу была подобная попытка, то только фельдмаршалу Паскевичу. Наместник в Польше, он опасался войны с каждым днем все больше и больше. Как никто, Паскевич знал положение вещей.

В Польше с самого начала войны от нее ждали очень многого. Особенно сильно это настроение охватило эмиграцию. Принц Наполеон, двоюродный брат императора, открыто осыпал ласками Ксаверия Браницкого и других пребывавших в Париже польских магнатов; сам Наполеон III мало скрывал, что в случае военных успехов Польша будет отторгнута от России. Пальмерстон даже не прочь был сделать из русской Польши приманку для Пруссии, чтобы вовлечь Фридриха-Вильгельма IV в войну против Николая. Прусская армия находилась в полной готовности, и было ясно, что если в Польше возникнут волнения, то

пруссаки вторгнутся и, конечно, не затем, чтобы помочь Паскевичу удержать Царство Польское в русской власти.

Паскевич опасался за Польшу, за Литву, за целость империи, не верил ни Австрии, ни Пруссии, боялся углубляться в Молдавию и Валахию не потому, что он был труслив,— он был человеком мужественным, не потому, что был стар и болен,— он и в молодости и в цветущем возрасте отличался сдержанностью и был чужд фанфаронства. Он боялся потому, что имел реально все основания бояться. Он явно видел то, чего не видели ни царь, ни славянофилы во главе с Хомяковым и семьей Аксаковых, ни придворная панславистка Антонина Блудова, ни Меншиков: что война проиграна дипломатически еще до того, как началась. Паскевич все это видел — и промолчал. Не в состоянии он был рискнуть сойти с той вершины, на которой в блеске и могуществе протекала уже с таких давних пор его жизнь. У него не хватило духа даже для слабой попытки воспротивиться роковому увлечению, обуявшему в этот момент царя. Зрячий, он пошел, молча и покорно склонив голову, за ослепленными, прямо к пропасти, куда они устремились.

4

12 (24) июня 1853 г. Паскевич получил в Варшаве нерадостное известие из Лондона. Вопреки мелькнувшей надежде — Англия упорствует в своей враждебной позиции. Наполеон III ведет двойную игру, проявляет на словах умеренность, а тайно подстрекает Англию к враждебным действиям. Извещая обо всем этом Меншикова, Паскевич прибавляет еще две новости: он узнал, что Англия сочтет достаточной причиной для войны, если русские войска перейдут через Дунай или если произойдет нападение с моря на Константинополь. Другая новость для Паскевича — это «строгий нейтралитет» (la stricte neutralité) Австрии и «вероятно» Пруссии. В июне 1853 г. это было для Николая и для фельдмаршала печальной, разочаровывающей новостью [16]. Они оба не предвидели тогда, как много дали бы они ровно год спустя, летом 1854 г., чтобы быть уверенными хотя бы в этом «строгом нейтралитете» обеих немецких держав и не бояться их военного выступления против России...

В сентябре 1853 г. Паскевич подал царю одну за другой две записки о войне с Турцией. В первой, от 11 (23) сентября, фельдмаршал выражает мнение, что если западные державы будут угрожать России на Черном море и русский десант на Босфоре будет невозможен, то театром первоначальных русских военных действий должен стать «квадрат: от Гирсова на Варну, от Варны до Шумлы, от Шумлы до Рущука и Силистрии». Необходимо будет затем вооружить и возбудить к восстанию хри-

стианские племена Турции, т. е. болгар, сербов и греков, а для этой цели фельдмаршал рекомендует Николаю «распустить за Дунаем прокламации». При этом князь советует объявить этим христианам, что каждому явившемуся воину «дано будет оружие, порох, провиант и деньги, платимы помесячно... нельзя, кажется, сомневаться,— добавляет князь Иван Федорович, никогда не отличавшийся идеалистической верой славянофилов,— что меры сии, особенно не жалея денег, будут действительны». Осада и взятие Гирсова, осада и взятие Варны — вот существенные части намеченных действий [17].

Как видим, тут еще имеется в виду довольно энергичное наступление на Турцию. Но не прошло и двух недель, как фельдмаршал поспешил подать Николаю другую записку о войне с Турцией, в корне уничтожавшую все планы первой записки и проникнутую совсем иным духом.

В записке, поданной царю 24 сентября (6 октября) 1853 г., фельдмаршал безусловно лукавит, утверждая, будто «наше положение слишком хорошо, чтобы спешить выйти из него». Он явно встревожен, и первая фраза его записки дает ключ к пониманию истинного его настроения: «Несколько кораблей английских и французских прошли Дарданеллы под предлогом защиты султана». Он опасается близкого выступления Запада и не советует начинать военные действия первыми, потому что этим можно «поставить против себя, кроме Турции, еще сильнейшие державы Западной Европы». Он советует, даже если турки перейдут Дунай и атакуют русских, то «отбив их и стараясь разбить, пожалуй, наголову, следует еще подумать, не будет ли полезнее держаться все-таки в положении оборонительном, не допуская их переходить на нашу сторону, прогоняя их каждый раз, но самим не заходить далее». Мы увидим сейчас, к чему эти советы фельдмаршала, превращавшиеся в *повеления*, когда они обращались не к царю, а к Горчакову, привели на практике. А пока отметим лишь, что, несмотря на искусственно бодрый тон и показное удовлетворение, записка 24 сентября проникнута глубоким пессимизмом. И не только в том проявляется этот пессимизм, что Паскевич, как мы только что видели, обрекает русскую армию, вошедшую в княжества, на топтание на одном месте, без всякой надежды на конечную победу и делает явно бессмысленным пребывание русских войск в Молдавии и Валахии, но хуже всего, что он уже наперед считает наступательное движение русских войск бесцельным: «...мы можем быть уверены, что как бы мы ни зашли далеко, хотя бы взяли Варну, перешли Балканы и дошли до Адрианополя,— во всяком случае державы европейские (разве бы на Западе была война), Европа не допустит воспользоваться нашими завоеваниями. Мы будем только, наверное, терять людей

от болезней, понесем большие расходы, а пользы и приобретений с сей стороны, даже в случае успеха, ожидать не можем. Спросят: что мы выиграем, оставаясь в оборонительном положении? Выиграем очень много: мы не поссоримся с Европою, не остановим торговли, не помешаем дипломатическим сношениям, которые в результате могут быть очень нам выгодны». Если бы Паскевич здесь поставил точку, то Николай мог бы сделать вывод, который вполне соответствовал бы действительности: фельдмаршал считает войну уже сейчас проигранной дипломатически и полагает, что чем скорее русские войска уберутся с Дуная, тем будет безопаснее и лучше. Но после всего сказанного нами выше о Паскевиче незачем распространяться, почему он не кончил тут своей записки от 24 сентября, а продолжал ее и манил перспективами, в которые совершенно явственно не верил и не мог верить: даже в самой малой степени. «У нас есть... более страшное для Турецкой империи оружие... это влияние наше на христианские племена... Меру сию нельзя, мне кажется, смешивать с средствами революционными: мы не возмущаем подданных против своего государя; но если христиане, подданные султана, захотят свергнуть с себя иго мусульман, когда мы с ним в войне, то нельзя без несправедливости отказать им в помощи» [18].

Итак, русские войска не двинутся дальше тех мест, того «квадрата», который они, может быть, займут, а может быть, и не займут. Но зато воевать с Турцией и ниспровергать Оттоманскую империю будут турецкие христиане, которые будут вооружаться из русских запасов, а «зерном христианских ополчений наших в Турции» будут служить молдаване и валахи, образующие в Молдавии и Валахии отряд в 10 000 человек. «Я остаюсь убежденным, что, сформировав мало-помалу 40 и 50 000 человек из туземных христиан, нам одного или двух корпусов достаточно будет против Турции на европейской стороне, хотя бы ее и поддерживали европейские державы».

Допустить, что Паскевич, трезвый, сдержанный, осторожный, скептичный Паскевич со своей опытностью мог хоть одну минуту верить в подобную фантастику,— значит совершенно не понимать его. Известно было, что Паскевич не имеет и не хочет иметь решительно ничего общего со славянофилами, фактически доказано, что он в свое долгое проконсульство в Варшаве не дозволял там рта раскрыть ни одному славянофилу. Верить в подобные небылицы могли Погодин, или Шевырев, или Константин Аксаков, или Антонина Блудова, но никак не Паскевич. Владимир Даль был литератором, этнографом, кабинетным ученым, книжником, но и он в подобные славянофильские фантазии категорически отказывался верить и с раздражением и нетерпением писал Погодину, искренне (а не при-

творно, как Паскевич) возлагавшему надежды на славян Турции, да заодно уж и Австрии: «Положим, что сказка эта могла бы обратиться в быль; с какой же стороны к ней для этого приступиться? Хотите ли разослать лазутчиков, чтобы народам этим шепнуть на ухо о намерении нашем, или хотите наперед объявить о нем гласно, во всеуслышание? В том и другом случае удача более чем сомнительна; а неисчислимые бедствия верны и несомненны. Как вы поднимете семьдесят миллионов сброду, словно одну голову, чтобы неприятели не успели подавить возмущения этого по частям? Кто не ужаснется, принимая на себя такую тяжелую ответственность?.. Лазутчиков будут ловить и вешать, и позорить нас перед целым светом... вы, как ...молодой и легкомысленный мечтатель, играете страшною игрушкой» [19]. Погодину было в это время пятьдесят лет, и если он не был «молод», то легкомыслие проявлял в вопросах внешней политики часто в самом деле поразительное. Но Паскевичу, безусловно, все то, о чем говорит Владимир Даль, было еще гораздо яснее, чем Далю. Зачем же он писал царю об этих абсолютно несбыточных фантазиях? Да исключительно для того, чтобы царь согласился не начинать военных действий при помощи русской армии, и особенно, чтобы не приказывал Горчакову перейти через Дунай. Забегая вперед, скажу, что Паскевич в 1854 г. даже и пальцем не шевельнул, чтобы хоть какнибудь попытаться реализовать все эти планы поднятия балканских христиан.

Паскевич ничего не имел против того, чтобы христианские подданные султана взбунтовались, но лишь бы не вводить к ним русской армии, пока они своими силами не восторжествуют над турками. А так как этого никогда не будет, то и русскую армию никуда дальше к югу от Дуная двинуть не придется.

Для действия в Дунайских княжествах были назначены: весь 4-й пехотный корпус (57 794 человека) и часть 5-го пехотного корпуса (21 803 человека), затем 3 казачьих полка (1944 человека).

Главным начальником этих войск указом 26 мая 1853 г. был назначен генерал-адъютант князь Михаил Дмитриевич Горчаков.

Всего под начальством Горчакова оказалось войск 81 541 чел. строевых и 5741 нестроевых при 201 штаб-офицере и 1445 оберофицерах.

Из этой армии он выделил в авангардный отряд, который и поставлен был под командование графа Анрепа-Эльмпта, лишь 6253 человека строевых и 563 нестроевых нижних чинов при 25 штаб-офицерах и 176 обер-офицерах. На эту-то ничтожную часть русской оккупационной армии и пала, в сущности, почти вся тяжесть вооруженной борьбы с подавляющими силами ту-

рок — от начала октября 1853 до самых последних чисел февраля 1854 г.

У турок, по самому скромному подсчету, было около 145 тысяч человек, готовых к бою. Вооружены турки были в общем лучше, чем армия Горчакова. У всех стрелковых частей были нарезные ружья, в кавалерии часть эскадронов уже имела штуцера, артиллерия была в хорошем состоянии [20].

Кроме этих 145 тысяч человек, турецкий главнокомандующий Омер-паша располагал хорошей иррегулярной конницей башибузуков. Сколько их было у него к началу военных действий на Дунае,— сказать в точности невозможно: цифры даются слишком уж разные. Во всяком случае они исчислялись не сотнями, а несколькими тысячами. Они несли разведочную службу и жестоко терроризировали население грабежами и убийствами. Налетая на села и хутора, они избивали всех, на кого падало подозрение в сочувствии к русским.

Армейские части, которыми располагал Омер-паша в 1853 г., являлись дисциплинированным и довольно хорошо обученным войском, причем экипировка их была определенно лучше, чем в русских войсках. Прежде всего они не таскали на себе тех тяжестей, измерявшихся пудами, которые принужден был таскать русский солдат, и их обмундирование рассчитано было целесообразно на военный поход, а не на красивые эффекты во время смотров и парадов. Воровали турецкие интенданты и поставщики в общем не менее охотно, чем их русские коллеги, но Омер-паша вел с этим явлением более беспощадную борьбу, чем Горчаков.

Омер-паша (по рождению хорват Латос) был тогда в цвете сил, ему было в 1853 г. с небольшим сорок пять лет. После разнообразных и не всегда очень доблестных приключений он еще в юности бежал из Зары, где был чертежником. Поступив в Константинополе на военную службу и приняв магометанство, Омер очень скоро получил титул паши и провел успешно, проявляя притом зверскую жестокость, одну за другой несколько карательных экспедиций в славянских землях Турции,— против Боснии, Герцеговины, собирался проделать то же и в Черногории, когда на политическом горизонте появились первые признаки надвигающейся войны с Россией. Во время посольства Меншикова Омер-паша всеми мерами старался побудить султана к разрыву с Россией. Он убежден был, что лучшей комбинации для борьбы с северным врагом уже никогда не будет и что нужно ловить момент, когда Англия и Франция намерены помочь туркам.

Английская и французская пресса старалась и в 1853 г. и позже изо всех сил прославить Омер-пашу как великого полководца. Это, конечно, очень большое и неосновательное преувеличение, хотя Омеру нельзя отказать в храбрости, энергии и не-

которых организаторских способностях. Мы увидим дальше, до какой степени все успехи Омер-паши объясняются исчерпывающим образом не его талантами, а ошибками русских генералов, причем ни разу Омер-паша даже не использовал полностью своих благоприятных шансов. Конечно, речи быть не может о сопоставлении Омера с египетским вождем Ибрагимом или со знаменитым защитником Плевны Осман-пашою, двумя настоящими большими полководцами, которых выдвинул Ближний Восток в XIX столетии.

В штабе и ставке Омер-паши было немало поляков и венгров, ветеранов восстаний 1831 и 1849 гг. Эти люди были иногда способны дать неглупый совет, но, с другой стороны, немало и вредили, сбивая часто с толку турецкое командование, которому внушали преувеличенное убеждение в слабости русской армии. Политическая страсть, ненависть к России ослепляла их и заставляла принимать свои желания за действительность. Больше пользы приносили Омер-паше французские штабные офицеры и инженеры, но они стали появляться около него только с первых месяцев 1854 г. Поляки и венгры в количестве нескольких тысяч (не меньше 4 тысяч человек) входили в состав армии Омер-паши. Омер-паша приблизил к себе поляка Чайковского, принявшего ислам, подобно Омеру, и уже называвшегося Садык-пашой. Это был умный, дееспособный человек, отчасти авантюристского склада. Он уверил Омер-пашу, что ему удастся сформировать несколько полков из раскольников (некрасовцев), бежавших в свое время из России от религиозных преследований. Но из этой затеи особого толка для Омер-паши не вышло.

Восьмидесяти тысяч человек с артиллерией, имевшей около двухсот (196) орудий, Горчакову было, конечно, мало для прочного завоевания и удержания за собой Дунайских княжеств. Их было бы недостаточно, даже если бы Горчаков не разбросал их по огромной территории и даже если бы петербургская дипломатия избавила эту армию от тотчас же возникшей, к осени 1853 г. быстро возросшей, а весной 1854 г. сделавшейся опасной фланговой угрозы со стороны Австрии.

Паскевич, не решаясь в донесениях категорически противоречить Николаю, продолжал эту двойную игру и на месте делал то, что неминуемо должно было подорвать все шансы на быстрый успех в Дунайской кампании. Так, он ни за что не хотел отдавать сколько-нибудь значительные соединения из своей армии, стоявшей в Польше. Ни для Дунайской, ни позднее даже для Крымской кампании он не желал, например, отдать свой второй корпус. И чего только не пуска́л в ход старый фельдмаршал, чтобы достигнуть своей цели! Он всячески преувеличивал в своих распоряжениях по армии близость опасности выступления Австрии, устраивал тревоги, поиски, экспеди-

ции к селу Лабуни на австрийской границе. Николая ему удавалось более или менее этим смущать, но подчиненные быстро разгадывали его хитрости. «Корпусный командир (Панютин — *Е. Т.*), сидя в Замостье, убивал скуку преферансом. Князь Паскевич писал к нему: „Все ваши донесения подтверждаются..." А генерал Панютин с изумлением спрашивал у других: „Да разве мы что-нибудь писали?..." Лабунская экспедиция сильно отозвалась на здоровье нижних чинов... Грусть берет, читая месячные отчеты штаба армии о состоянии войск. *Все ясно понимали, что затеянная тревога была следствием нежелания фельдмаршала* выпустить из Польши 2-й пехотный корпус... Секретные распоряжения о мнимом неприятеле сбивали всех с толку» [21].

Молдавские войска были численностью в 2159 нижних чинов, валахские — 3790 нижних чинов. Полиция и пограничная стража («граничары») вместе были численностью в 11 702 человека. Но ни малейшей помощи от туземных войск ожидать было нельзя, хотя и от враждебных действий они, конечно, воздерживались из страха. Горчаков возложил на них полицейскую службу.

Молдавская милиция не шла на совместные военные действия с русской оккупационной армией, не столько из патриотической ненависти к оккупантам, сколько из решительного нерасположения к риску, неразлучному для всякого человека с личным его участием в войне. Капитан Филиппеску впоследствии требовал себе особых национальных почестей от Румынии, когда создавалось это государство из Молдавии и Валахии, за то, что мужественно сопротивлялся «угрозам» Горчакова, но на самом деле ни Горчаков, ни подчиненные ему русские генералы не видели большой пользы в этой милиции и ничем ей не грозили. Филиппеску и его товарищи очень сочувствовали французам и ждали великих и богатых милостей от Наполеона III, но все же воздержались и от включения милиции в состав союзных войск. Некоторые элементы в Бухаресте, Яссах и других городах также и австрийцам сочувствовали. Может быть, именно австрийцам они и сочувствовали искренне, потому что австрийцы не воевали вовсе. Большим впоследствии разочарованием для румынских патриотов было обнародование того факта, что Наполеон III носился некоторое время с планом отдать Молдавию и Валахию, т. е. будущую Румынию, австрийцам, если те согласятся отказаться от Ломбардии и Венеции. Очень жаль, что, например, один из румынских историков, Никола Иорга, посвятивший в своем двухтомном труде по истории Румынии ровным счетом пять неполных страниц Крымской войне, не дает решительно никаких данных о жизни Дунайских княжеств в 1853—1854 гг., кроме тех отрывочных сведений, которые давным-давно общеизвестны и очень непол-

ны и неудовлетворительны [22]. Для интересующей нас темы важно отметить одно: русские войска не ощущали ни вражды со стороны массы населения (хотя эта вражда в кругах интеллигенции городов и среди части крестьянства, боявшейся крепостного права, была), ни дружеских чувств (хотя это сочувствие бояр, продиктованное интересами крупного землевладения, тоже было).

В Молдавии числилось в 1853 г. 1½ миллиона жителей, в Валахии — 2½ миллиона. Бояре и духовенство были владельцами почти всей земли. Крестьяне являлись арендаторами, платившими либо деньгами, либо работой, либо доставкой землевладельцу определенного количества продуктов с участка. Промышленности почти вовсе не существовало. Вывозная торговля хлебом была больше всего в руках иностранцев (австрийских подданных по преимуществу). Пшеницы, ячменя и кукурузы за последний нормальный (довоенный) 1852 г. было вывезено из Валахии 1 918 000 четвертей, из Молдавии (преимущественно пшеницы) — около полумиллиона четвертей.

Эта оживленная экспортная торговля шла больше всего через Браилов и Галац. Земледелие и скотоводство были главным предметом занятий большинства населения [23].

В июле последовали со стороны русских властей в Дунайских княжествах два акта, по существу совершенно неизбежных: обоим «господарям» (и Молдавии и Валахии) воспрещено было продолжать сношения с Портой, а на взносы, которые оба княжества обязаны были делать в пользу турецкой казны, был наложен секвестр. Было ясно, что фикция турецкого суверенитета над княжествами была совсем несовместима с установлением русской военной оккупации, и Горчаков не мог потерпеть ни передачи в Константинополь (да еще через неприкосновенных дипломатических курьеров) секретных донесений господарей, ни снабжения турецкого казначейства новыми денежными средствами, при тех отношениях между Турцией и Россией, которые были «ни миром, ни войной», но гораздо более походили на войну, чем на мир. Ответом на эти мероприятия было то, что по приказу Порты оба господаря выехали из Ясс и из Бухареста и покинули пределы княжеств, а вслед за ними по распоряжению из Лондона и из Парижа выехали оттуда также английский и французский консулы. Английский кабинет уведомил затем русского посла барона Бруннова, что Англия считает суверенитет султана решительно нарушенным. Английская и французская пресса с ожесточением указывала на то, что царь совсем перестал стесняться и превратил временную военную оккупацию, о которой прежде говорил, в окончательное присоединение этих турецких провинций к Российской империи. Растерявшийся Бруннов просил Нессельроде объяснить ему, в чем

дело, чтобы он знал, чего держаться при переговорах с английскими министрами. Он советует вместе с тем, несмотря на отъезд господарей, оставить на местах всю старую администрацию княжеств и стремлению противников ускорить разрыв противопоставить «мудрость наших властей в княжествах» [24]. Горчаков так и поступил. А это было самое вредное, что только возможно было придумать: с точки зрения дипломатической, дело нисколько не было этим «либерализмом» поправлено, и к разрыву между Россией и уже не только Турцией, но и западными державами был сделан новый и крупный шаг. А с другой стороны, оставив управление, суд, городскую и деревенскую полицию в руках прежнего молдавского и валашского чиновничества, почти сплошь враждебного России, русские оккупационные власти оказались беспомощными в борьбе с обширной, накинутой на русскую армию турецко-английско-французско-австрийской шпионской сетью.

5

Итак, Дунайские княжества с середины лета 1853 г. занимаются постепенно русскими войсками, но это не война и не приобретение Россией новой территории. Это «временная мера». Но если это временная мера, то, следовательно, торговля англичан и их молдаво-валашских контрагентов должна продолжаться по-прежнему, без малейших изменений. А следовательно, абсолютно невозможна никакая борьба ни с английским, ни с турецким, ни с французским, ни с австрийским шпионажем, прямо направленным против русских оккупационных войск и их операций. Бруннов, на которого оказывает сильное давление английский кабинет, сам находящийся под могучим воздействием Сити, очень просит Нессельроде обратить внимание Горчакова, командующего оккупационной армией, на эту необходимость «для пользы службы его величеству» не чинить никаких препятствий англичанам, «живо заинтересованным в торговле по Дунаю». Доклад был представлен Николаю, и вот что начертал сверху рукописи царский карандаш: «На все это можно пригласить кн. Горчакова обратить внимание (tout cela peut être recommandé au prince Gortchakoff)» [25].

Чем более серьезный и тревожный вид принимали дела в Дунайских княжествах, тем решительнее Николай стремился поднять сербов, болгар, греков, черногорцев против Турции и тем больше росло беспокойство и Паскевича и даже вечно покорного и подобострастного Нессельроде. Оба они боялись, что агитация русских агентов между славянами может серьезно раздражить и обеспокоить Австрию, которая и без того очень подозрительно относится к панславизму и у которой своих славян очень много. Конечно, если бы турецкие славяне сами по себе

восстали, это было бы очень кстати, но без русской помощи они этого не сделают. А русскую помощь именно и опасно подавать. Николай I полагал, что все-таки ее дать славянам будет очень целесообразно. В ноябре 1853 г., как раз за несколько дней до Синопа, Нессельроде собрался с духом и решился обратить внимание царя на опасность этой затеи. Николай рассердился. «Последний разговор, которым ваше величество меня удостоили, произвел на меня жестокое впечатление,— пишет Нессельроде, вернувшись из дворца.— Я имел несчастье вашему величеству не угодить». Из дальнейшего ясно, в чем было дело. «Я могу ошибиться, но мне бы казалось, что наше положение стало бы лучше, если бы восстание (христиан — *Е. Т.*) было самопроизвольным (spontané) и было бы вызвано ходом военных событий, но не было бы провоцировано или возбуждено нами, в особенности в то время, когда наша удаленность и недостаточность наших средств не позволили бы нам оказать им существенную помощь». Но тут же, испугавшись собственной смелости, Нессельроде обещает немедленно («ко вторнику») изготовить доклад о мерах, необходимых для подготовки реализации царских намерений [26].

Николай еще с весны 1853 г. очень помнил (недаром он отчеркнул карандашом в рукописи копии письма Кларендона к Сеймуру это место!), что в окончательно сформулированном ответе английского правительства на его устные предложения Сеймуру о разделе Турции говорилось следующее: «Англия не могла бы принять участие в соглашении, каким бы неопределенным (vague) оно ни было,— которое осталось бы в тайне от других держав; правительство ее величества убеждено, что никакая сделка не могла бы повлиять на ход событий и что никакое соглашение на этот счет не могло бы остаться секретным. Подобные средства, по мнению правительства ее величества, послужили бы сигналом к приготовлениям, к интригам всякого рода и к восстаниям среди христианских подданных Турции» [27].

А между тем именно на восстания сербов, болгар, черногорцев и греков Николай теперь, летом 1853 г., смотрел как на одну из возможных и сильных выигрышных карт в своей игре.

Одновременно с дипломатическими усилиями привлечь Австрию и в 1853 и в 1854 гг. решено было вести эту революционную пропаганду как можно секретнее и, главное, не попадаться с поличным, так как тогда держалась еще надежда, что при помощи австрийского посредничества можно будет достигнуть в Турции намеченных целей мирным путем.

«Наши надежды в этом отношении покоились главным образом на посредничестве и содействии Австрии. Восстание в Сербии скомпрометировало бы всю эту мирную работу. Оно вызвало бы отчуждение от нас венского кабинета, который имел

огромный интерес в том, чтобы предотвратить восстание славянских народностей на границах Австрии. Следовательно, было существенно успокоить (венский кабинет — *Е. Т.*) по крайней мере касательно лояльности нашей политики» [28]. Так изъясняется барон Жомини, официальный летописец, обо всем неудобном умалчивающий и почтительно восторгающийся прямотой, благородной честностью и непреклонной принципиальностью русского царя. А царь трудился, оказывается, как раз в это время в тиши Зимнего дворца над изготовлением революционных прокламаций, призывающих сербов к восстанию. Не мог же дипломат Жомини (у которого, конечно, все документы были под рукой) предвидеть в 1874—1878 гг., когда издавал свой труд, что генерал князь Щербатов в 1904 г. возьмет да и опубликует с солдатской непосредственностью данные о «революционных» временных увлечениях Николая в те самые годы, когда он не переставал успокаивать Австрию и взывать к ее крепко консервативным чувствам. Конечно, тут речь шла для царя лишь о достижении чисто завоевательной цели всеми средствами, в том числе и революционными призывами, но Австрии от этого легче не становилось.

Нелегко, вероятно, с другой стороны, и царю давались его первые «агитационные» опыты, вследствие решительного отсутствия, конечно, у Николая предварительной учебы, подготовки и практики в деле составления и разбрасывания «революционных» прокламаций.

Но, конечно, сымпровизировать внезапное одновременное восстание не только румынского населения в Молдавии и Валахии, но и сербского, и черногорского, и болгарского не удалось и не могло удаться. Много было причин, делавших это предприятие неосуществимым, а Николая — совершенно неудовлетворительным революционным агитатором, даже совсем независимо от того, что, приближаясь к самому концу шестого десятка, людям обыкновенно бывает трудно браться за абсолютно новое для них дело.

Во-первых, что́ сулил русский император всем этим народам, которые он призывал к восстанию? Замену турецкого самодержавия русским, потому что Николай уже наперед категорически высказывался и в разговорах с Сеймуром в начале 1853 г. и позже против самостоятельности Молдо-Валахии, Сербии, Болгарии, Черногории. Во-вторых, неприкрытую угрозу введения в той или иной форме если не крепостного права, то чего-то очень близко его напоминающего. Крестьяне в Молдавии уже в годы предшествующих русских оккупаций жаловались, что произвол бояр резко усиливался, как только власть над краем переходила в руки Николая. В-третьих, явно фиктивным и несостоятельным было основное содержание царской агитации: только лишь

защита православия, которое вовсе не подвергалось в тот момент утеснениям со стороны турок.

Но балканские славяне ждали от России помощи в гораздо более обширных размерах и прежде всего связывали с приходом русских избавление от очень тяжелого экономического положения, от турецких притеснений, полного произвола, от необузданного обирательства мелких и крупных турецких властей.

Вот что мы читаем, например, в одном из характерных обращений болгарина, по-видимому, к Антонине Блудовой, через посредство которой шла эта секретная корреспонденция перед появлением русских войск в 1853 г.:

«Моим соотечественникам (болгарам — *Е. Т.*) особенно теперь горько и тяжело от притеснений турецких кровопийц, и в крайнем отчаянии со слезами на глазах и сжатым сердцем обращаю взоры к небу и к роковым берегам Дуная. Народ наш в крайней бедности и в ужасном положении, а торгаши англичане все продолжают интриговать и обманывать, стараясь вынуждать благодарственные адресы Султану *за благоденствие, которым наслаждаются под его отеческим управлением.* О сербах и греках я не знаю наверное их мысли и желания при нынешних обстоятельствах, но их собственные выгоды и сочувствия влекут их к содействию России, однако они не так непосредственно страдают от турков, как мы. Что же касается моих земляков, несчастных болгар, то иго турецкое сделалось теперь до того тягостным для них и несносным, что они находятся в крайней решимости умереть лучше, чем страдать, или если жить, то уже на условиях, которые бы сделали жизнь хоть сколько-нибудь сносною. В торжестве лишь оружия православного царя и в великодушной его заботливости о целом православном Востоке ожидают они облегчения своей участи и готовы идти вместе с русскими и жертвовать жизнью и оставшимся имуществом» [29].

Между тем, наряду с отсутствием в самом деле действенной и влияющей на народы пропаганды, которая сулила бы определенные и заманчивые перспективы, русские эмиссары, консулы и их чиновники и отдельные лица сербской и болгарской национальности, побывавшие в салоне придворной славянофилки Антонины Дмитриевны Блудовой, требовали от балканских славян непереносимо тягостных и смертельно опасных, истинно героических усилий.

В самом деле. На глазах турецких властей, турецкой полиции и многочисленных армейских резервов, расположенных Омер-пашой в славянских странах, нужно было произвести попытку вооруженного восстания, зная при этом твердо, что соседняя Австрия будет всецело на стороне турок, а вовсе не

славян. Сделать это необходимо было, располагая и количественно и качественно убогим огнестрельным оружием, местами могущим быть контрабандно доставленным из России,— и только. Ведь русские войска вовсе и не намеревались войти в Сербию и Болгарию, пока там не разгорится восстание ярким пламенем, следовательно, будущим повстанцам предлагалось: сначала победить своими собственными силами турок, а потом изъявить желание стать под высокую руку Николая, да уж, кстати, так пугнуть австрийцев, чтобы им неповадно было беспокоить русских в Молдавии и Валахии. Ясно было, что все это — дело фантастическое и несбыточное. Паскевичу всегда были просто непереносимы славянофильские фантазии, и он этого никогда и не скрывал. Николай тоже славянофилов никогда не жаловал и даже через полицию приказывал Константину Аксакову и другим сбрить бороду и немедленно снять кафтаны, шапки-мурмолки и другие украшения. Но теперь,— нужда чего не заставит делать? — государь решил, что и славяне могут пригодиться. Паскевич по-прежнему продолжал думать, что они пригодиться не могут.

Подымать в XIX в. народы исключительно религиозной пропагандой там, где их религию никто не гонит, оказывалось делом малоэффективным. А пропагандой более действенной пользовались и на Дунае и на Балканах не Николай и его генералы, а враги Николая. В Молдавии и Валахии единственной, да и то шаткой опорой для царской политики была часть крупных землевладельцев. И вот как жалуется крепостник Бутурлин крепостнику Меншикову на турок, пустившихся в революционную проповедь: «Приготовляясь к нашествию на Малую Валахию, турки там ведут революционную пропаганду, распространяя под рукой зажигательные прокламации, поднимают класс земледельцев против арендаторов и помещиков и возвещают, что они явились освободить страну от тирании русских и помещиков. Во главе всех этих происков стоят польские эмигранты, мадьяры и итальянцы или сардинцы. Им удалось привлечь к себе симпатии простого люда (du petit peuple). Какой урок для нас! — восклицает Бутурлин и (цитируя даже Макиавелли, хотя и вовсе некстати) злорадно поминает министра государственных имуществ графа Павла Киселева, которого крепостники ненавидели, подозревая его в эмансипаторских наклонностях.— Мне было бы любопытно знать, что сказал бы граф Киселев, если бы он был теперь в Крайове!» [30]

Горчаков терялся все больше и больше. Агитация ни к чему не приводила ни на левом, ни, подавно, на правом берегу Дуная, восстаний нигде не возникало (кроме далекого Эпира), армия Омер-паши в Шумле, в Варне, в Силистрии была в боевой готовности.

Войскам велено было «воздерживаться от неприязненных действий». Разместились они в Бухаресте и его окрестностях.

В начале августа Горчаков решил отправить небольшой отряд в Малую Валахию.

В сентябре этот отряд был усилен и отдан под начальство генерала Фишбаха.

Фишбах к концу сентября учредил свою главную квартиру в Крайове. Там же остановился и генерал Анреп-Эльмпт, назначенный вместо Фишбаха в самом конце ноября.

У Анрепа в общей сложности было до 10 тысяч человек, а у турок в Калафате скопилось больше 20 тысяч. Горчаков очень поздно понял опасность положения. Подкрепления прибыли только к новому году, к январю 1854 г. [31]

Но наступил октябрь и принес новое событие: 4 (16) октября 1853 г. Оттоманская империя объявила России войну. А вслед за тем был опубликован и соответствующий манифест русского императора.

Слепота Николая в течение всей второй половины 1853 г. была слепотой человека, который не хочет видеть, которого обманывают и который *хочет* игнорировать правду. Но в манифесте, объявляющем о войне с Турцией 20 октября 1853 г., царь совершенно сознательно и всенародно извращает истину, сообщает то, чего заведомо вовсе не было: «...признано было нами необходимым двинуть войска наши в Придунайские княжества. Но, приняв сию меру, мы сохранили еще надежду, что Порта, в сознании своих заблуждений, решится исполнить справедливые наши требования. Ожидания наши не оправдались. Тщетно даже главные Европейские державы старались своими увещеваниями поколебать закоснелое упорство Турецкого правительства: на миролюбивые усилия Европы, на наше долготерпение — оно ответствовало объявлением войны...» Тут Николай сознательно желает внушить своим верноподданным совершенно ложное представление, будто Европа не против него, а с ним, будто «главные державы» не будут поддерживать Турцию и будто Турция идет напролом не только против царя, но и против солидарной с ним «миролюбивой Европы». Так тверда была вера царя в то, что русский обыватель наглухо отрезан от заграничных новостей и что можно в высочайших манифестах печатать хоть сказки Шехерезады, всему поверят. А с другой стороны, Николай явно желал преуменьшить опасность той ситуации, которая создалась для России.

Итак, русско-турецкая война стала уже и с чисто-юридической, международно-правовой точки зрения совершившимся фактом. Не прошло и нескольких дней после этого акта,— и на Дунае произошло первое в эту войну кровопролитие.

Михаил Дмитриевич Горчаков и от природы не был одарен решительностью характера. А прослужив начальником штаба при Паскевиче в Варшаве в течение двадцати двух лет, он совсем утратил способность к самостоятельному мышлению и привычку к ответственности. Он погрузился в канцелярскую работу и стал исключительно беспрекословным исполнителем предначертаний фельдмаршала. Долго наблюдавший их обоих полковник Меньков метко характеризует различие, существовавшее между Паскевичем и Горчаковым, когда Горчаков стал и сам фактическим главнокомандующим в 1853 г. Паскевич говорил: «Я придумал, я приказал,— вы — делайте, пишите, чтоб было умно. Работайте, это ваше дело!» А у Горчакова выходило так: «Я придумал, я сам же и сделаю, и напишу, и перепутаю!»

Очень интересно, что рукопись Менькова побывала впоследствии в руках императора Александра II, и мы читаем на ней *на полях помету, сделанную рукой Александра II:* «К сожалению, есть много справедливого». Александр, еще будучи наследником, знал Горчакова, и вот какой отзыв показался ему справедливым: «...князь Горчаков в продолжение 22-х лет был начальником штаба действующей армии при генерал-фельдмаршале князе Варшавском, человеке с железною волею, неограниченным самолюбием и властию. В течение почти четверти века ежедневные сношения этих двух противоположных личностей и характеров при властолюбии одного убили в другом уверенность в себе и поселили убеждение в непрочности и шаткости собственного своего мнения. Князь Горчаков, при ясном взгляде на предметы, по недоверчивости к себе, не может остановиться на верной обдуманной мысли. В решительную минуту он начинает рассматривать предмет и мысль со всех сторон, ворочает, переменяет и переставляет до того, что потеряет и предмет и мысль. Эта недоверчивость к собственному мнению, недоверчивость к другим, соединенные с нерешительностию и с какою-то странною живостию, суть причины, что дела его, иногда глубоко обсужденные, в исполнении принимают вид нескладицы...» [32]

Горчаков, совсем лишенный полководческих дарований, да еще продолжая чувствовать над собой глаз фельдмаршала, которого привык 22 года подряд бояться, просто не знал, за что приняться. Он был бы рад продолжать оставаться простым орудием в руках фельдмаршала, но в том-то и дело, что фельдмаршал был с ним так же неискренен, как и с царем, во всем, что касалось Дунайской кампании. Горчаков, человек не глупый и долго изучавший своего верховного начальника, видел, что с

ним, Горчаковым, хитрят и не все ему до конца высказывают; понимал и то, что совсем не одинаково смотрят на дунайские дела царь и Паскевич; чуял, что Паскевич только притворяется единомышленником царя. А в чем тут дело,— князь Михаил Дмитриевич стал соображать нескоро, только после перехода через Дунай весной 1854 г. Созданный, чтобы повиноваться, Горчаков жаждал получать приказы, а ему давались советы. Петербургский повелитель Николай *хотел* быстрых движений, побед, но не знал, возможны ли они, и оглядывался на Варшаву. А варшавский повелитель, фельдмаршал Паскевич, ни о каких победах не мечтал, быстрых движений боялся, явно считал дело проигранным, так как не сомневался в выступлении Австрии, но желал, чтобы не он, а сам Горчаков внушил это царю и предложил бы эвакуацию княжеств или хоть остановку на Пруте. И Горчаков чувствовал себя явно совершенно сбитым с толку и растерявшимся.

Это чувствовал и его штаб, а после битв при Ольтенице и Четати стали чувствовать и рядовые. Офицерство, в наиболее интеллигентной своей части, с самого начала военных действий было настроено не очень радужно.

«...Готовы ли мы к войне? По совести говоря: *нет*, далеко *не готовы!*.. Во-первых, мы дурно вооружены. Наша пехота снабжена гладкоствольными ружьями, винты которых большею частию *нарочно расшатаны* для лучшей отбивки темпов..., а внутренность стволов попорчена... чисткой; от этого наши ружья к цельной стрельбе совершенно непригодны». Всего по 96 человек на батальон имеют бельгийские штуцеры, но малопригодные. «Затем у нас очень мало людей, умеющих стрелять, так как этому искусству никогда не учили толком, систематически, никогда не употребляя по назначению порох, отпускавшийся в ничтожном... количестве для практической стрельбы, а раздаривая бо́льшую его часть знакомым помещикам» или продавая за деньги. «Затем, другим оружием пехота не спабжена, так как нельзя же без шуток считать оружием тесаки, болтающиеся сзади у унтер-офицеров и солдат... Тесак решительно ни к чему не пригоден». «Вообще говоря, ни солдаты, ни офицеры не знают своего дела и ничему не выучены толком... У нас все помешались, что называется, исключительно на маршировке и правильном вытягивании носка» [33]. Алабин, проделавший и Венгерскую, и Дунайскую, и Крымскую кампании, прибавляет: «Наш солдат не только дурно вооружен и дурно обучен военному ремеслу, но он дурно одет; его головной убор (каска) крайне неудобен; его обувь не выдержит больших походов... он дурно накормлен; его только ленивый не обкрадывает; он навьючен так, что надо иметь нечеловеческие силы и здоровье, чтобы таскать обязательную для него ношу... Ни к чему непригодный мундир...

вовсе не греющий, а между тем решительно отнимающий у солдата всякую свободу движения и исключающий всякую возможность фехтования, быстрой и цельной стрельбы и вообще всякого проявления ловкости, столь необходимой солдату, особенно в бою... шинель, не закрывающая ни ушей, ни лица... мешающая ходить... а от недоброкачественности сукна... в продолжение похода делающаяся ажурною, не защищая ни от сырости, ни от холода» [34]. Вообще вся амуниция — «верх безобразия и как бы нарочито сделанное изобретение, чтобы стеснить и затруднить все движения человека. Грудь солдата сжата, его тянет назад сухарный запас, ранец, скатанная шинель, патроны в безобразнейшей суме, по икрам его бьет ненужный тесак, ему обломило затекшую руку держание *„под приклад"* ружья!» [35] Солдат живет впроголодь, потому что из его «и без того скудной съестной дачи норовят украсть и каптенармус, и фельдфебель, и почти каждый из высших военных и гражданских чинов, через чьи руки предварительно проходит эта дача! Солдату полагается чуть не 5 фунтов соломы в месяц, да и той едва ли половина достигнет назначения, и вот он *целые месяцы* спит на голой земле, по горькому выражению солдат, *на брюхе, покрывшись спиной!»*

Война вначале не возбуждала среди офицерства и среди солдат «не только энтузиазма, но даже простого сочувствия». На эту войну смотрели как на «явление искусственное», она была непонятна вследствие «совершенного незнания поводов к ней» [36]. Но постепенно азарт завязавшейся политической борьбы стал охватывать офицерский состав: «Неужели же мы равнодушно перенесем эту угрозу (Англии и Франции — *Е. Т.*) и потерпим, чтоб Запад одним мановением бровей заставлял нас соглашаться не только на все, что ему угодно, но и на все, что угодно будет приказать тем, кого он возьмет под свое покровительство!» [37]

В особенности даже рядовое, армейское офицерство начало чувствовать обиду и раздражение в сентябре 1853 г.. когда в войсках, стоявших в Молдавии и Валахии, стало распространяться известие об участи венской ноты: «...Порта не приняла ноты, как говорят, по настоянию лорда Стрэтфорда-Рэдклифа, ненавидящего Россию, и предложила значительные в ней изменения... Нас решительно возмущает это событие! Неужели мы равнодушно перенесем такой удар и все еще будем стараться решить... вопрос дипломатическим путем?! Неужели и на этот раз политика, требуя умеренности, не допустит нас с опущенными штыками устремиться на наших оскорбителей и разметать их?» [38]

Подходила середина октября 1853 г., а в Дунайских княжествах, где уже давно стояли русские войска, никто толком не

знал, будет ли «настоящая» война с Турцией или не будет и, самое главное, какова в точности основная мысль царя. Бутурлин, представитель русского правительства, сидит в Бухаресте, в центре, и ровно ничего не может понять и не может ответить толком Меншикову. «Ваша светлость желает знать, находимся ли мы тут в войне с турками? Ответ на это такой *да* и *нет*. Мы сражаемся, это правда, на Дунае, как вы знаете, князь, и на берегах этой реки, в тех случаях, когда мы не можем поступить иначе, т. е. когда турки делают налеты на наши казачьи пикеты и на валашские санитарные кордоны», но война еще не начата фактически ни той, ни другой стороной. Бутурлин явно раздражен бездействием и нерешительностью русского верховного командования. Турки беспрепятственно заняли остров на Дунае, спокойно заняли Калафат отрядом в 5000 человек, а русские, которые стояли в четырех переходах от Калафата и которых было 9000 человек, и не подумали противиться. «Лишь бы эта снисходительность нам в конце концов не обошлась дорого!» — заключает Бутурлин. Самое главное, понять нельзя в точности, чего хочет Николай: «Что касается наших проектов, наших планов,— они так туманны, так мало определенны, что почти равны нулю (cela équivaut presque à rien)... А кроме того, не мы призваны решать, что мы будем делать. Наши директивы должны к нам прийти из высшего места» [39].

Но «в высшем месте» сами еще колебались и не решались, и огромная военная машина работала как-то на холостом ходу. Рука лежала на руле — и не сообщала рулю движения. Меншиков спрашивал у Бутурлина, а Бутурлин отзывался полным неведением. Горчаков ждал повелений от Паскевича, а Паскевич не хотел их давать. И все они с недоумением и плохо скрываемым раздражением глядели на Зимний дворец. Но Зимний дворец молчал. Владыка половины Европы и половины Азии, недавний гегемон, дававший направление мировой политике, колебался. События развертывались не так, как он ждал, он уже переставал ими управлять, потому что они перерастали его. А мнимые партнеры и действительные противники в начатой опасной игре уже не давали ему возможности внезапно ее оборвать и выждать лучших условий для ее возобновления.

Даже рядовые офицеры, мало в стратегии смыслившие, изумлялись и возмущались, во-первых, опасным и совсем ни к чему не нужным разбрасыванием сил маловалашского отряда по очень удаленным один от другого постам, и это приписывалось бездарности не только Фишбаха, но и самого Горчакова, и, во-вторых, непонятной небрежностью, вследствие которой не был занят вовремя город Калафат. Это уже приписывалось полной стратегической безграмотности лично Фишбаха. Омер-паша воспользовался этой ошибкой, перешел через Дунай, занял и

сильно укрепил Калафат, «что было источником больших для нас бедствий впоследствии»,— говорит в своих правдивых и драгоценных для историка походных записках Алабин [40].

Данненберг отдал еще 30 сентября (12 октября) 1853 г. за № 839 категорическое приказание в случае, если турки вздумают переправиться на наш, левый берег Дуная, не завязывать с ними дела, а «только» (!) не пускать их дальше. Генерал Павлов, стоявший около Ольтеницы, был возмущен этим поразительным по нелепости распоряжением и даже рискнул официально уведомить своего начальника Данненберга, что не понимает (так же как его офицеры): как это, не завязывая дела, можно «не пускать» кого-либо идти, куда тот хочет? Павлов указал даже и позицию, где удобнее всего можно было бы дать бой туркам. Но Данненберг настоял на своем.

20 октября (1 ноября) генерал Павлов получил известие, что турки переправились из Туртукая на большой лесистый остров и прямо угрожают Ольтеницкому карантину. Павлов немедленно донес об этом Данненбергу, но тот совсем не понял угрожающего значения переправы турок на остров и иронически ответил Павлову, что не стоило тревожить отряд из-за таких пустяков, как переправа «двадцати турок». Вслед за тем турки, с большими силами переправившись с острова на левый берег Дуная и оттеснив ничтожный казачий пикет, заняли Ольтеницкий карантин. Казаки все же пробовали, отойдя, начать сопротивление дальнейшему продвижению турок. Это было 21 октября. 22 октября русские войска заняли позицию недалеко от Старой Ольтеницы. Ночь прошла шумно: «...громкий говор, смех, воодушевленные крики, родные удалые песни — все слилось в общий гул, стоявший над нашим бивуаком»,— вспоминает участник событий. Готовилась первая в эту войну боевая встреча с турками, царила уверенность в победе.

По приказу Данненберга утром 28 октября русская бригада пошла на штурм Ольтеницкого карантина. Но еще когда только подходили русские войска к Ольтеницкому карантину, они подверглись страшному артиллерийскому огню: «Возвышенность правого берега Дуная (где стояли турки — *Е. Т.*) была причиной, что, выйдя из Новой Ольтеницы, мы были перед турками как на ладони... спокойно, безопасно, отчетливо они могли направлять на наши части, по усмотрению, выстрелы своих крепостных орудий и мортир... Туркам предстояло действовать как на практическом ученье: мы были их подвижною мишенью» [41].

И все-таки русские солдаты нисколько не замялись: «С таким спокойствием идти в бой, в атаку такой страшной позиции, какую представлял собой карантин, покровительствуемый батареями того берега, обеспеченными от нашего огня, и батареею острова, действовавшей нам во фланг, способно только закален-

ное в битвах войско или совершенные новички в ратном деле... не видавшие смерти лицом к лицу»[42]. Начался упорный бой. Русские несколько раз ходили в атаку, засыпаемые пулями и снарядами громивших их в лоб (от Ольтеницкого карантина) и с фланга (с правого берега реки) турецких батарей. Но турки, наконец, стали изнемогать и уже начали выходить из карантина и собираться в лодки. Русские войска ворвались в первый ряд окопов карантина. Но резервов не оказалось, не было сил довершить победу,— так показывают одни участники. Другие, напротив, до конца своей жизни не переставали утверждать, что и без резервов победа под Ольтеницей была бы одержана, если бы не внезапный приказ Данненберга об отступлении.

Что же делало верховное командование, когда 21 октября 1853 г. в русской главной квартире в Бухаресте было получено известие о том, что турки переправились через Дунай у Туртукая, вышли на левый берег, в 50 верстах от Бухареста, и заняли Ольтеницкий карантин?

Русских войск, которым велено было выбить турок из Ольтеницы, была одна бригада, а у турок — 8 тысяч и в резерве у Туртукая еще 16 тысяч. Это было так во всех трех более крупных сражениях, происшедших за время Дунайской кампании 1853—1854 гг.— и при Ольтенице, и при Четати, и у Журжева, в самом конце, при уходе русских войск из княжеств. Всякий раз, исходила ли инициатива боя от русских или от турок, русским приходилось биться с двойным, а иногда и с тройным количеством турок. Особенно бросалось в глаза это неуменье Горчакова и его генералов обеспечить за собой наибольшие шансы на победу, когда самый бой начинался по инициативе русского командования. Так было именно в битве при Ольтенице 23 октября 1853 г.

Военное руководство с самого начала сделало все зависящее, чтобы испортить задуманное нападение на занятый турками Ольтеницкий карантин.

«В (ольтеницкой — *Е. Т.*) неудаче обвиняли многих, главную же причину отбитой атаки большинство объясняло неудовлетворительной рекогносцировкой офицеров генерального штаба, уверявших, будто достаточно двух баталионов, чтоб овладеть карантином и вогнать турок в Дунай... На деле же оказались сильные замаскированные батареи, никем прежде не замеченные»[43].

И несмотря на это, войска, не смущаясь потерями, пошли на повторный штурм и уже почти одержали победу. Сражение под Ольтеницей задумано было как наступательное. «Атака провалилась, потому что она была плохо соображена и во всех отношениях плохо проведена. Прежде всего неприятелю дали два дня для того, чтобы укрепить позицию. Затем,

главная атака вместо того, чтобы направиться на центр и на правое крыло через заросли, которые окаймляют Аргис, была поведена против правого крыла, с той единственной стороны, где атакующие подвергались огню с господствующего правого берега Дуная, снабженного батареями». Кроме всего этого, русская артиллерия постреляла час с четвертью — и ни с того, ни с сего умолкла, хотя могла бы еще действовать с полной силой. Таким образом, она вовсе еще не успела привести к молчанию батареи неприятеля, когда дан был сигнал к атаке, и русские наступающие части были встречены турецким артиллерийским огнем. Да и помимо всего, наступление главным образом и поведено было против тех пунктов турецкого расположения, куда наши орудия вовсе и не начинали бить. «Словом, сделали обратное тому, что должно было сделать. Все эти прекрасные распоряжения были приняты и осуществлены на глазах командира 4 корпуса, присутствовавшего при атаке»,— с горечью пишет Бутурлин из Бухареста, спустя две с половиной недели после сражения [44]. Военные посмышленее возмущались еще и тем, что самое предприятие лишено было стратегического смысла: «...если бы даже удалось овладеть ретраншементом, там нельзя было бы удержаться, так как он всецело находится под огнем правого берега». И на это ненужное по существу и бездарно проведенное сражение было израсходовано 900 человек, т. е. очень значительное количество для одной пехотной бригады и шести эскадронов кавалерии, принимавших участие в Ольтеницком деле [45].

Вот как расценивает это невероятное поведение Данненберга, превратившего в последний момент русскую победу в неудачу, генерал-майор генерального штаба А. Н. Петров, один из лучших военных критиков Дунайской кампании: «Неприятель начал уже свозить с вала свои орудия, а его пехота и кавалерия спешили к берегу Дуная, чтобы сесть на подошедшие к карантину лодки. Но в этот решительный момент, когда следовало только пустить на штурм все войско, чтобы овладеть самим карантином и поставить неприятеля в крайне стеснительное положение; когда легко было завладеть всеми его пушками, стоявшими на укреплениях, генерал Данненберг, наблюдавший бой из Старой Ольтеницы, прислал генералу Павлову приказание — отступать! Это отступление не только поразило неожиданностью наши войска, но даже турок, которые не сделали по ним при их отступлении ни одного выстрела, предполагая в этом отступлении какую-нибудь хитрость с нашей стороны». Турки были совсем ослаблены и думали только о своем спасении, когда генерал Данненберг так совсем для них изумительно выручил их: «Что же было причиною отступления?» — спрашивает генерал Петров. Но составляет он

свой труд, как значится на обложке, по высочайшему повелению и не может поэтому громко ответить, что Данненберг по своей полной военной бездарности украл у русского солдата его победу под Ольтеницей, как интенданты крали солдатский паек. В самом деле, Горчаков не только не отдал Данненберга под военный суд, как это делал в подобных случаях Наполеон, но он вполне его покрыл и одобрил: Горчаков объяснил высшему начальству, т. е. Паскевичу и царю, что генерал Данненберг «приказал прекратить дело, дабы без дальнейшей пользы не увеличивать урона и без того уже весьма значительного». Приведя это «оправдание», генерал Петров совершенно его отвергает: «Но если боялись урона, не нужно было идти на штурм. Если же войска были пущены в атаку, то не следовало возвращать их назад, после того как все трудности уже были преодолены и оставалось только воспользоваться победой». При победе уж во всяком случае некоторая выгода была бы налицо. «К тому же, что значит прекратить бой, так как от него не ожидалось дальнейшей пользы? Разве не было бы пользы в том, если бы мы успели овладеть всею неприятельскою артиллериею, бывшею на левом берегу Дуная, и могли потопить лодки, которые стали бы увозить бежавшие войска?» Данненберг превратил уже выигранную, огромной важности, заработанную тяжкими потерями русскую победу в поражение: «...турки имели право считать себя победителями, так как мы отступили среди боя» [46].

7

После Ольтеницы русская дунайская армия еще меньше, чем до этой битвы, понимала, чего собственно от нее требуют, и воюет ли она с турками или не воюет. Уже и объявление войны со стороны турок давно последовало и ответный высочайший манифест в Петербурге был подписан, а прежний туман продолжал закрывать перед стоявшим в Молдавии и Валахии русским войском цель похода. Русские военные шлюпки курсировали по Пруту и Дунаю. «Эти крейсировки очень могли бы достигнуть цели, если бы нам развязали руки, но так как нам приказано тревожить неприятеля и в то же самое время категорически запрещено подставлять себя под неприятельский огонь, то условия местности не позволяют нам действовать иначе, как укрываться за прикрытием и стрелять в воздух... Вообще нас плохо и с опозданием осведомляют о положении вещей» [47].

От Горчакова исходили приказы, которые его подчиненным понять было трудно даже при самом усиленном напряжении мыслительного аппарата. «Убивайте, но не позволяйте

себя убивать, стреляйте в неприятеля, но не подвергайтесь его огню, плывите в Гирсово, но не тратьте при этом угля,— вот резюме бумаг, которые мы получаем»,— жалуется Голицын.

В Крайове стоял с отрядом и, следовательно, занимал передовые позиции против турок генерал Фишбах, сравнительно с которым, по-видимому, даже Даннеберг мог сойти за способного военачальника. «Фишбах — это самый нелепый из берейторов, которого когда-либо видели во главе войска... Его подвиги с тех пор, как он парит на собственных крыльях, в достаточной степени оправдывают эту репутацию, которой он, вообще, пользуется повсеместно».

Когда Фишбаха, наконец, убрали за полной непригодностью и заменили его графом Анрепом,— легче не стало. Большой отряд Анрепа был зачем-то распылен своим командиром на мелкие части, разбросан по всей Малой Валахии и этим обессилен.

«Вплоть до 15-го октября целых $2^1/_2$ месяца части этого отряда бродят по берегам Ольты, то выдвигаемые вперед к стороне Калафата, то вновь убираемые назад по особым, трудно уловимым и понимаемым соображениям»,— вспоминает участник кампании [48].

Часть этого отряда под начальством командира Тобольского полка полковника Баумгартена находилась около селения Четати, когда на нее 19 (31) декабря напала турецкая конница. Турок было около двух тысяч человек, у Баумгартена — один батальон, два орудия, один взвод гусар и два с половиной десятка казаков. Атака была отбита. В особенности вредным было то, что главнокомандующий М. Д. Горчаков распылил кавалерию на совсем ненужные сторожевые посты, на сто верст впереди которых — так жаловались офицеры — не было ни одного турка, а явно угрожаемый пункт у Четати, несмотря на тревогу 19 декабря, так и оставался без конницы.

Вдруг, 25 декабря, к полковнику Баумгартену утром примчался казак с известием, что турки начали новое наступление. Действительно крупные турецкие силы, как потом оказалось, 18 тысяч человек, двинулись на слабый отряд Баумгартена. Атаки турок были отражены одна за другой, но у Баумгартена очень скоро (уже к 10 часам утра) осталось в действии десять рот, а в резерве всего три роты. Сражение свирепело все больше и больше. Положение становилось отчаянным. На беду турки заняли дорогу, которая вела к Моцецеи, где стоял другой русский отряд, под командой командира бригады Бельгарда. Вся надежда была на то, что Бельгард услышит канонаду и поспешит на помощь.

Баумгартен приказал отступать. Отступление происходило при тяжелых условиях: турки напали на полковой обоз и часть его перебили. Но когда Баумгартен увидел, что турки

окружают его отряд, он собрал несколько рот, и они бросились в штыки столь стремительно, что турки бежали, оставив два орудия. Но, конечно, оправившись, стали наседать снова. За селением Чстати русские приостановились, заняли позиции и начали в упор отстреливаться с расстояния в пятьдесят шагов от атакующих турок. Начался рукопашный бой, и турки, тоже очень храбро бившиеся, были отброшены и потеряли при этом еще четыре орудия и зарядный ящик. Неприятельская кавалерия попала в овраг, русские бросились, преследуя ее, туда же. «Дабы не дать неприятелю вывезти брошенные им орудия и чтобы с более близкой дистанции поражать огнем стрелков отступавшую турецкую кавалерию, полковник Баумгартен решился, пользуясь смятением в рядах противника, теперь же занять и овраг и вызвал для этой цели охотников. Глубокий ров перед валом помешал людям быстро выполнить данное им поручение: ни спуска, ни моста в этом месте не было, обходить было далеко. Тогда рядовой 12-й роты Никифор Дворник вскочил в ров, стал поперек и, нагнувшись, сделав из себя как бы мост, закричал товарищам: «Переходи через меня, ребята! Дело будет скорей!» Перепустив таким образом человек до сорока, Дворник просил его вытащить и вместе с другими бросился на турецкую кавалерию» [49]. Овраг и вал были заняты, турецкие орудия заклепаны, лафеты изрублены. Художник Зичи, который впоследствии, на основании свидетельств солдат и офицеров Тобольского полка, написал картину, изображающую подвиг вскоре погибшего Никифора Дворника, дает тот момент, когда Никифор стоит сгорбившись в расщелине рва. Но турки, рассчитывая на свое огромное численное превосходство, продолжали, ничуть не ослабляя усилий, отчаянные атаки на остановившиеся роты тобольцев. У самого выхода из селения Четати была выставлена турецкая батарея, а еще две другие батареи действовали против левого фланга. Русские орудия (их было почти вдвое меньше) уже изнемогали в неравной борьбе. На глазах погибавшего русского отряда турки уже начали первые передвижения, чтобы броситься в штыки при превосходящих силах, введя несколько совсем свежих батальонов, и покончить с сильно поредевшими русскими ротами, сбившимися друг к другу,— и вот в этот-то момент пришло спасение, когда его уже перестали ждать. Раненый, но не сложивший с себя командования, Баумгартен увидел, что по непонятной причине турки вдруг шарахнулись назад, прекратили артиллерийский огонь... В тылу турок раздался грохот артиллерии: это был подоспевший, наконец, Одесский полк из отряда Бельгарда. Вступив в бой, Одесский полк сразу же стал нести тяжкие потери у турецких окопов. Ему удалось ценой

больших потерь выбить турок из окопов, но попытки нескольких рот Одесского полка штурмовать плацдарм потерпели неудачу. К вечеру, получив известие, что генерал Анреп с большими силами двигается к месту боя, турки бросились бежать от Четати к Калафату, русские некоторое время их преследовали и многих перекололи.

Конечно, никто из участников боя не сомневался, что, не говоря уже о первоначальной общей губительной ошибке Горчакова и исполнителя его приказов Анрепа, разбросавших свою армию, даже тут, в кровавый день 25 декабря, не пришлось бы потерять убитыми и ранеными около двух тысяч человек и, главное, не ушли бы турки к Калафату, а были бы все перебиты или взяты в плен, если бы Анреп так страшно не запоздал.

Предоставим слово Петру Кононовичу Менькову, внимательному свидетелю и участнику этих событий. «Посмотрим, что во все это время делал граф Анреп. Немецкий граф затеял справлять *русский* праздник рождества христова. Для этого он нарядил церковный парад. В 8 часов утра в Быйлешти (sic — *Е. Т.*) услышали первый выстрел, раздавшийся в Четати. *Праздничный* граф Анреп *забыл* данную им накануне *диспозицию* и, приняв поздравление от валахской сволочи, пошел творить церковный парад. Несмотря на все представления *идти навстречу неприятелю,* на выручку своих,— Анреп пошел в церковь! Впервые молитва русского солдата в христов день замирала на устах православного или изрыгалась вместе с бранью на начальника — немца, который, несмотря на сильную канонаду, оставался равнодушным зрителем чуждого ему обряда... и не шел на выручку товарищей! «Наших бьют, а мы молимся, как старые бабы, вместо того, чтобы *выручать своих!* Нехорошо, братцы,— говорили между собою солдаты,— бог не простит нам этого!» Солдат возмутило в этот день не только то, что, имея полную возможность, Анреп часами медлил и не подавал помощи погибавшему полку, но и другое очевиднейшее обстоятельство: выступив к полю битвы лишь около двух часов дня, Анреп со свежими силами ровно ничего не сделал, чтобы превратить это Четатское дело в блестящую победу, которая имела бы огромные последствия. «Нестройными толпами, в виду Анрепа и казаков, пробирался неприятель от Гунии, чрез Модловиту к Калафату. Видел все это Анреп и *не тронулся с места...* Между тем отряд стоял на месте; молчаливое спокойствие выражало общее неудовольствие, но все было тихо! Без приказа начальства не двигается солдат вперед и не рассуждает! Меж тем там и сям слышны были рассказы:— А что, Сидорыч, отчего мы нейдем вперед-то? Вишь ты, как бегут, окаянные; хорошо бы их накрыть-то было! — Нейдем? Вестимо,

отчего нейдем,— приказа не было! — Да почему же генерал-то Анрапов приказа не дает? — Известное дело — почему не даст приказа. Не дает потому, что он сам из ихних!»[50] Так, даже рядовому понятная бессмыслица и преступная халатность в действиях главных начальников совсем подрывала в солдатах всякое уважение и всякое доверие, и они сплошь и рядом объясняли эти действия сознательной изменой.

Показания правдивого Менькова в точности подтверждаются и офицером, стоявшим в Болоештах. Еще до битвы в Четати он записал в своем дневнике: «Дух нашего солдата превосходен... теперь горят нетерпением померяться с турками и не скрывают этого от жителей, которые начинают к ним привыкать». А вот солдатские и офицерские настроения в день 25 декабря, когда людей «разбудили явственно слышанные нами пушечные выстрелы со стороны Четати, то отдельные, то частые, как бы сливающиеся». И солдаты и офицеры знают, что в нескольких верстах от них погибает кучка русских, окруженная турками, а им предлагают отпраздновать рождество: «Напрягаем внимание,— канонада то стихает, то как бы замирает, то снова усиливается. Что-то щемит сердце... Однако не бьют тревоги, напротив, мы готовимся к параду, одеваемся по-праздничному, идем поздравлять с днем рождества к командиру полка». Солдаты решились на своего рода голодную демонстрацию. «На всех возвышениях высыпали солдаты. Отказываются от пищи, просят вывернуть котлы! Какой праздник, когда тобольцам приходится плохо!» Офицеры пожимают плечами в полном недоумении. Кое-кто пошел в церковь, другие остались дома, и все ждут, чтобы ударили тревогу. «Томительное ожидание!» Уже прискакал и казак (под ним тут же пала загнанная лошадь) из отряда Бельгарда с известием, что Бельгард со своим небольшим отрядом выступил на помощь Баумгартену, на которого турки напали в превосходных силах. И все-таки молебствие о многолетии Николаю и долгий молебен задерживает в церкви все начальство. Наконец, на площади появляется сам граф Анреп и отдает приказ, уже ни к чему не нужный. «Мы все ускоренным шагом, почти бегом, с нервной дрожью, идем на выстрелы по дороге к Калафату». Конечно, опоздали. В четвертом часу «нас поворачивают назад, и в 6 ч.— мы уже в своих теплых землянках. Но в каком тяжелом грустном настроении возвращались все — от старшего начальника до последнего солдата. Мы не только не подали помощи тобольцам, но, двинувшись вперед, как бы испугались турок и вернулись в то время, когда следовало гнаться за ними... Все, что происходило в течение дня, непонятно, и в простоте ума я не знаю, чем объяснить оплошность начальника Мало-Валахского отряда (Анрепа —*Е. Т.*)».

Ряд источников дает большие цифры павших: они утверждают, что было перебито и ранено у Баумгартена и Бельгарда вместе 2300 человек, в том числе 50 офицеров. Русских (в обоих отрядах) было, по некоторым показаниям, в день битвы при Четати 7000 человек, а турок — 18 000.

Мы видели, что возмущенные солдаты объясняли бессмысленное поведение Анрепа изменой, а офицеры — даже не бездарностью этого очень бездарного генерала, потому что тут не требовалось стратегических талантов, а просто каким-то «столбняком»: «Каждый из нас теперь убежден, что если бы мы выступили из Болоешт по первым выстрелам в Четати, то к 12 часам мы могли бы появиться в тылу у турок... наше быстрое наступление на сообщения неприятеля могло бы окончиться полным поражением турок, и мы, вероятно, на их плечах ворвались бы в Калафат. Наша же кавалерия могла бы еще к 11 ч. утра поспеть к Четатскому бою. Одно ее движение на Скрипетул могло бы изменить весь ход Четатского боя». А вместо выигрыша большого сражения получилось вот что: «Остановка войск... имела последствием то, что поле сражения, на котором было много раненых, не осталось за нами; впоследствии оказалось, что наши раненые солдаты и офицеры, лишенные возможности двигаться хотя бы на четвереньках, были добиваемы турками. Видно, в этот день на графа Анрепа просто нашел столбняк... В бою каждая минута дорога. Не приди Бельгард, или опоздай он только на полчаса, и славного Тобольского полка, может быть, не существовало бы. Двинься Анреп из Болоешт по первым выстрелам с тремя полками и 20 орудиями, и оплакиваемых нами громадных потерь не было бы» [51]. Автор дневника отрицает, будто бы турки потеряли четыре тысячи: «убыль у них была вдвое меньше нашей» [52].

Но офицеры обвиняли в происшедшем не только Анрепа, а и самого Горчакова, его «общий план, на основании которого небольшой Мало-Валахский отряд отдан был на жертву туркам», причем турки укрепились в Калафате и были «многочисленнее нас и лучше вооружены» [53].

Немудрено, что «в голову приходят тревожные мысли... Таким образом, мы только еще в начале грозных событий, а между тем уже подорвано доверие к распоряжениям наших генералов» [54].

Солдаты тоже стали вообще более подозрительны и раздражительны: «Солдаты не любят юнкеров за их небрежность к службе, и слово «дворянчик» на их языке означает недобросовестно относящегося к своим обязанностям юношу. В мою душу глубоко запало беспомощное состояние вольноопределяющихся в полку, ничему не наученных в мирное время» [55].

Так кончился первый период Дунайской кампании. С чисто военной, стратегической точки зрения эта кампания и в этом первом, как и во втором, конечном своем периоде, являлась классическим образцом того, до какой степени даже армия первоклассная по своему человеческому материалу решительно не может достигнуть поставленных ей целей, если верховное командование само не уверено в том, имеют ли эти цели какой-либо политический смысл, и если войска совсем лишены умелого непосредственного руководства. Мужество и стойкость русского солдата и рядового офицера Ольтеницы и Четати остались вписанными золотыми буквами в книгу военной доблести русского народа.

Глава V

КАМПАНИЯ 1853 г. НА КАВКАЗЕ

1

Война на Кавказе велась и в 1853, и в 1854, и в 1855 гг. при очень трудных для России условиях,— и если она ознаменовалась рядом блестящих успехов и в конце концов если именно эти достижения на Кавказе (не одно только взятие Карса) оказали очень большое влияние при мирных переговорах в Париже, то здесь, по всей справедливости, должно поставить это в громадную заслугу не только храбрости и оперативности действующей армии, но и истинно патриотическому, стойкому, мужественному поведению грузинского народа, народа армянского, народа азербайджанского. И для грузин, и для армян, и для Азербайджана эта война с самого начала была как бы продолжением вековой борьбы против беспощадного «наследственного» врага, от которого только Россия могла оградить жизнь, достояние, безопасность населения. Героизм народов Закавказья, принимавших участие в боях, полная готовность к материальным жертвам и к выполнению со всем усердием, часто сверх задания, всех требований военных властей — все это засвидетельствовано почти всеми показаниями современников. От солдат до командиров грузины и армяне живо чувствовали кровную свою заинтересованность и полную с русскими солидарность и моральную ответственность в деле отстаивания своей земли от вторгнувшихся турецких захватчиков. Для Андроникова, для Бебутова борьба на Кавказе являлась точь-в-точь, как, скажем, для казачьего генерала Якова Петровича Бакланова, делом спасения родной земли и родных братьев.

Среди части образованного слоя Грузии и Армении уже пробудился интерес к русской культуре, к русским писателям, к общественным прогрессивным настроениям, и в Закавказье уже перестали валить все в одну кучу и уже разбирались в том, что, кроме России Николая I, существует еще Россия

Пушкина, Гоголя и Белинского и что певец России Лермонтов был и великим певцом Кавказа.

Грузинское население, прежде всего подвергшееся нападению со стороны турок, сразу же повело себя так, что облегчило в очень серьезной степени дело военной обороны. Для армян в ближайшие годы борьба за Карс была делом тоже жизненно важным, как для грузин — борьба за подступы к Тифлису. И оба народа со вздохом облегчения приняли конечную весть об освобождении от турок первоначально занятой ими части закавказской территории. Боевые заслуги грузинской милиции, как и боевая помощь армян, совершенно бесспорны.

Основная трудность войны заключалась для России в необъятных размерах ее границ и в необычайно невыгодных и опасных условиях, при которых создавалась дипломатическая обстановка этой войны. Ни один сектор границы не мог считаться обеспеченным от неприятельского нападения, ни один сосед не давал ручательства, что он завтра же не обратится из нейтральной величины в величину открыто враждебную.

Но, конечно, уже во всяком случае не на Кавказе, граничащем с Турцией и Персией, можно было надеяться найти такой безопасный сектор пограничной линии Российской империи.

На активную помощь со стороны персов ни Воронцов, ни Петербург не рассчитывали. Шах персидский при переговорах требовал ручательства, что территории в Азиатской Турции, которые он отвоюет, останутся навсегда за ним. Николай полагал, что если только персы не выступят против русских, то ничего больше от них и желать не приходится [1].

Николай совсем не понимал опасного положения, в котором оказался Кавказ после формального объявления турками войны России. Узнав о благополучном доставлении Нахимовым и высадке на побережье 13-й дивизии, царь пишет Воронцову, ничуть не разделявшему его оптимизма и очень опасавшемуся за порученный ему край: «Теперь кажется могу я надеяться, что не только тебе даны достаточные способы оборонять край от вторжения турок, но даже к наступательным действиям... тебе уже должно быть известно чрез князя Меншикова, что турки в их сумасшествии объявили нам войну, требуя от князя Горчакова, чтобы немедля очистил Придунайские княжества. Ответ прост и короток: пусть нас выгоняют. По слухам они на сие не отважатся, но будто намерены напасть на тебя, и тут *милости просим,* будет чем принять и препроводить *с подобающей честью»* (подчеркнуто царем).

Николай обнаруживает абсолютное непонимание истинного положения вещей, лишний раз доказывая, что он был именно плац-парадным генералом и никогда не был военным чело-

веком и полководцем. Вот какие невероятные по бессмысленности указания дает он Воронцову: «Выждав первые нападения турок, желаю я, чтобы ты непременно перешел в наступление, направясь на Карс, и овладел оным, равно как и Ардаганом». Ему кажется все это очень легко и просто: «овладеть» Карсом и Ардаганом,— а потом, конечно, выждать, «какое впечатление произведет в Царьграде и не образумит ли турок» [2].

Это все он писал Воронцову, полному очень тревожных предчувствий и ожидавшему вторжения в Грузию больших турецких сил.

Грузия, Гурия, Мингрелия, Абхазия, отделенные от империи огромным горным хребтом и неукротимо борющимися за свою самостоятельность горными племенами, прежде всего рисковали подвергнуться нападению многочисленных турецких войск, укрепившихся в Карсе, Ардагане и других пунктах неподалеку от русской границы. И совсем неизвестно, почему к началу военных действий оборона южного Кавказа была в самом неудовлетворительном состоянии. Наместник Кавказа М. С. Воронцов настойчиво требовал войск. Он уже в 1853 г. почти не сомневался, что англичане и французы войдут в Черное море, и считал это катастрофой для Кавказского побережья. Очень неспокоен он был, получая донесения о накоплении турецких сил на самой границе в Карсе и Батуме, и просил Меншикова усилить эскадру, крейсирующую у кавказских берегов [3].

Начальник морского штаба Черноморского флота Корнилов только 28 сентября (10 октября) 1853 г. получил приказ Меншикова уведомить вице-адмирала Серебрякова, находившегося у восточного берега Черного моря, что «решение восточного вопроса клонится более к войне, чем к миру, и к войне со стороны турок наступательной», а потому надлежит усилить бдительность [4].

Немедленно в страшной опасности оказались слабые посты, разбросанные по восточному побережью Черного моря от поста Св. Николая (у самой турецкой границы) до Поти и поселка Редут. В Редуте стояла одна рота, там был значительный склад артиллерийских припасов. Поти охранялся ничтожной командой в 40 человек, а между тем там были «две каменные, очень хорошо сохранившиеся крепости». На посту Св. Николая был склад с 3 тысячами четвертей муки, а охраняло его тоже лишь несколько десятков человек. Просто бросить все эти места и уйти в глубь страны было жаль, не хотелось оставлять туркам все эти ценности [5]. Об этом было в свое время донесено наместнику Кавказа, князю М. С. Воронцову, но долго не знали, как поступить. Усилить крейсировку возле абхазского берега, как просил вице-адмирал Серебряков, путем

присылки для этой цели подкрепления из Севастополя, Меншиков не нашел возможным и отказал [6].

Блестящее выполнение Нахимовым в сентябре 1853 г. дела перевозки из Крыма и высадки на Кавказе войск 13-й дивизии сразу меняло, казалось, положение вещей. «С великою радостью узнал я о благоприятном прибытии на Кавказ 13-й дивизии»,— писал Николай Воронцову. Царь предвидел нападение турок из Батума, где стояли большие турецкие силы, на Абхазию и признавал «эту сторону нашей границы за слабейшую, ибо ни Николаевский редут, ни Поти, не суть преграды предприимчивому неприятелю». Царь требует от Воронцова контрнаступления: «...желаю я, чтобы ты непременно перешел в наступление, направясь на Карс, и овладел оным, равно как и Ардаганом» [7]. Но это легче было приказать, чем выполнить.

Около 5 тысяч турок было отправлено морем из Батума на плоскодонных судах к посту Св. Николая, где оказался ничтожный отряд в составе двух неполных рот с двумя орудиями. Отряд защищался отчаянно и почти весь был вырезан в ночь на 16 (28) октября. Спаслось лишь несколько человек. К несчастью, среди турецких войск, взявших пост Св. Николая, находились башибузуки, с которыми их собственное начальство не могло справиться. При письме Меншикова великому князю Константину была приложена выписка из письма, отправленного из Сухума, от 3 ноября 1853 г. Вот ее содержание: «При взятии крепости Св. Николая турки неистовствовали страшным образом. Они распяли таможенного чиновника и потом стреляли в него в цель; священнику отпилили голову; лекаря запытали, допрашивая, куда он спрятал деньги, перерезали женщин и детей и, наконец, у одной беременной женщины вырезали уже живого ребенка и тут же на глазах еще живой матери резали его по кускам» [8].

В середине ноября 1853 г., когда известие о захвате поста Св. Николая, стратегическое значение которого было донельзя раздуто враждебной России прессой, распространилось по Европе, оно произвело тем большее впечатление, что почти совпало с тоже крайне преувеличенными и приукрашенными известиями о русской неудаче на Дунае, под Ольтеницей [9].

Вслед за потерей поста Св. Николая русские войска испытали еще неудачу 2 (14) ноября 1853 г. под Баяндуром, недалеко от Александрополя. Здесь главные силы турок напали на небольшой посланный на разведки русский отряд, меньший, чем турецкая часть.

Но на этом и окончились турецкие успехи на Кавказе в 1853 г. Армия Али-паши (18—20 тысяч человек) вышла из Карса, направляясь навстречу семитысячному отряду князя Андроникова.

Генерал-лейтенант Андроников подошел к Ахалцыху 12(24) ноября 1853 г., и уже первая рекогносцировка убедила его, что турки заняли очень сильную и укрепленную завалами и батареями позицию. А лазутчики доносили, что к неприятелю подходят новые и новые подкрепления из Карса, Ардагана и Аджара.

Андроников решил, что ему нельзя терять времени при подобных обстоятельствах.

14 (26) ноября, еще перед восходом солнца, начался артиллерийский бой, на который турецкие батареи энергично отвечали. Эта артиллерийская дуэль длилась пять часов без перерыва. К $11^1/_2$ часам утра Андроников убедился, что артиллерией упорства противника не сломить. Он решился на штурм и, следовательно, на штыковой бой. Дело приступа осложнялось тем, что город защищала отчасти и довольно глубокая река Пасхов-Чай. «Пехота наша под ближайшими картечными выстрелами всей неприятельской артиллерии и под батальным непрерывным ружейным огнем переправлялась через реку по грудь в воде. Приступ был так стремителен и единодушен, что неприятель при всей упорной защите должен был уступить, и первый шаг к отступлению был началом окончательного его поражения и совершенного расстройства»,— доносил на следующий день Андроников.

В разгар рукопашного боя между переправившимися через реку русскими частями и турками на оставшуюся еще русскую часть на другом (левом) берегу Пасхов-Чая напал внезапно показавшийся из гор довольно сильный турецкий отряд, но шесть казачьих сотен и вспомогательный отряд обратили его в бегство после упорного боя. Ружейная перестрелка и преследование бежавших в горы остатков ахалцыхского гарнизона длились около четырех часов. К вечеру все было кончено. «С закатом солнца прекратился бой *по неимению противников*»,— гласит донесение [10].

Что у Андроникова было по крайней мере в два с половиной раза меньше войск, чем у турок, вторгшихся в русские пределы и действовавших между Кутаисом и Ахалцыхом, с одной стороны, и между Тифлисом и Кутаисом — с другой, это явствует из тайного донесения, полученного французским послом генералом Кастельбажаком от одного из его агентов на Кавказе. Это донесение, перехваченное и попавшее в русские руки, не было подписано, но по догадке русских властей оно принадлежало авторству некоего Гейерта. На рукописи приписано: «Аноним, то есть Гейерт» (anonyme c. a. d. Heyert).

В этом донесении передается, что турки вторглись в количестве 20 тысяч человек, а у князя Андроникова — отряд в 8 тысяч [11]. Аноним передает в виде слуха также о движении Ша-

миля с 14 тысячами горцев на Закаталу и о занятии им Закаталы (в 25 километрах от Телавского укрепления, а Телава находится в 80 километрах от Тифлиса). Аноним пишет из Тифлиса 21 ноября, но еще не знает о Башкадыкларе.

2

Между тем главный триумф в кавказской кампании 1853 г. ждал русскую армию впереди. Большой турецкий корпус, тот самый, который одержал победу над князем Орбельяни под Баяндуром, спустя несколько дней ушел со своих позиций, уклоняясь от боя с генералом Бебутовым, появившимся перед Баяндуром.

Уже с 14 (26) ноября князь Бебутов, не ослабляя преследования, шел за турками, быстро отступавшими от Баяндура к Карсу. Не имея надежды догнать эту армию до Карса, Бебутов 17 (29) ноября остановился. Но преследуемый турецкий корпус не вошел в Карс, а тоже остановился и немедленно стал укреплять свой лагерь и передние позиции перед лагерем около селения Башкадыклара, уже на турецкой территории. Узнав об этом, Бебутов немедленно двинулся туда, велел войскам взять с собой провианта на пять дней, спирту по четыре порции (на человека), зернового фуража на пять дней и порожние повозки для больных и раненых. Утром 19 ноября (1 декабря) 1853 г. русские подошли к неприятелю, и Бебутов видел с горы, что турки не только продолжают стоять на месте (пошли перед этим слухи об их дальнейшем отступлении), но что вышли из своего лагеря и стоят в полной боевой готовности.

В полдень началась артиллерийская перестрелка. С русской стороны шла пальба из 16 орудий (половина всей имевшейся при отряде артиллерии), с турецкой — не менее чем из 20. Одновременно Бебутов приказал генерал-майору Багратиону-Мухранскому (родственнику знаменитого измаильского и бородинского героя Петра Ивановича) с четырьмя батальонами гренадер и карабинеров обойти турок с их правого фланга и ударить в штыки. Турками командовал анатолийский сераскир Ахмет-паша, дельный и храбрый воин, и сражались турки очень стойко, но не выдержали штыкового боя, правый фланг смешался и сильно подался назад,— а в это время как раз подоспели два дивизиона русских драгун и бросились на уже расстроенный правый турецкий фланг, тесня его по направлению к левому флангу. Турки в это самое время повели контратаку против русского правого фланга, и князю Чавчавадзе, там командовавшему, приходилось упорно и долго отбивать повторные атаки курдской и регулярной турецкой кавалерии.

В третьем часу дня началось общее отступление турецкой армии, местами обратившейся в бегство. Полный разгром и уничтожение турок были предотвращены действиями прикрывавшей их отступление курдской и регулярной турецкой кавалерии. Русские войска сражались так, что изумляли своих начальников. Грузины были особенно озлоблены зверскими поступками неприятеля в самом начале войны. «Поведение вверенных мне войск в этом кровопролитном сражении заслуживает наивысшую похвалу,— доносил Бебутов князю Воронцову о сражении при Башкадыкларе,— не упоминая о многих отдельных подвигах разных частей войск, я докладываю вашей светлости только, что отряд русских войск из семи тысяч человек пехоты, 2800 кавалерии, при 32 орудиях нанес в этот день турецкому корпусу из двадцати тысяч регулярной пехоты, четырех тысяч регулярной кавалерии и более двенадцати тысяч куртин (курдов — *Е. Т.*) и другой милиции при 42—46 орудиях совершенное поражение, отбил у неприятеля 24 орудия и обратил (его — *Е. Т.*) в поспешное бегство»[12]. Русские потеряли убитыми и ранеными в этот день около 1100 человек, контуженными — 166. Турецкие потери людьми были значительно больше. Одних только тел, оставленных на поле битвы, оказалось около полутора тысяч. Весь лагерь с палатками, множество оружия, ранцев, шинелей остались в руках русских. Потери турок, по последовавшим подсчетам, превышали 6 тысяч человек.

Позднейшие свидетельства признают более высокую цифру русских потерь под Башкадыкларом и дают некоторые дополнительные детали об этой решительной русской победе: «Кроме двадцати четырех орудий, взято много снарядов, но за отсутствием дорог нельзя было всего увезти. У нас 1500 чел. выбывших из строя, из них раненых 800. Багговут был героем дела». Тут — во французском письме вставлены по-русски слова Багговута: «Как пожарная труба, я обливал их картечью». При четырнадцатом турецком орудии, взятом войсками Багговута, «оказались поляки, которые в своем отчаянии перед тем, как умереть, бросали руками снаряды в голову нашим драгунам». Вообще польские эмигранты «превосходно защищались и почти все были перебиты». «Турецкая артиллерия прекрасно оборудована», почти весь материал — английский. Рукопашный бой был ожесточенным, пощады в схватке не было никому. Но мельком в нескольких словах рассказан и такой случай: «Один турок, очень тяжело раненный, лежал рядом с одним из наших гренадер, которому оторвало руку. Явился хирург, чтобы помочь нашему гренадеру»,— и дальше вставлена во французский текст письма русская фраза гренадера: «Нет, помогите турку, он хуже меня ранен»[13].

Следует непременно принять к сведению, что эта коротенькая, но блестящая осенняя кампания на Кавказе сыграла свою значительную роль в развитии дальнейших событий. Вместе с Синопской победой эта кавказская кампания породила новый прилив оптимизма и бодрости у царя, уже начинавшего несколько теряться. Кавказ казался после Башкадыклара надолго обеспеченным. Руки на Дунае были теперь развязаны. Так по крайней мере казалось. Ликование при дворе и в высшем свете было большое. «Нахимов, Бебутов — победы-близнецы!» — восклицал князь П. А. Вяземский. После Башкадыклара и Синопа имя Нахимова прогремело одновременно с именем Бебутова и затмило его.

Но еще более серьезное значение имели победы Андроникова и Бебутова для происходившей зимой 1853/54 г. дипломатической борьбы. Ведь сражение под Башкадыкларом произошло 19 ноября (1 декабря), т. е. спустя ровно двадцать четыре часа после того, как Нахимов пустил ко дну турецкий флот. Оба известия распространились в Европе почти одновременно, и вопрос перед английским кабинетом и перед французским императором встал в совершенно отчетливом виде. Турция никак не может не только справиться с Россией, но и просто охранить от нее свое существование. Ахалцых и Башкадыклар были, в сущности, боевыми встречами, где на каждого русского солдата приходилось в среднем три турецких, и оба раза дело окончилось страшным разгромом и бегством турецкой армии. Впечатление от раздутых английской и французской печатью турецких «побед» при Ольтенице и Четати сразу было уничтожено.

Значит, необходимо немедленное вмешательство для спасения Турции. Такой вывод был сделан окончательно в Лондоне и Париже в середине декабря 1853 г., когда пришли подробности о Синопском бое: они оказались не менее убийственными для престижа морских сил Турции, чем Башкадыклар для престижа ее сухопутной армии.

Рассмотрим теперь, каково было положение дел на фронте дипломатической борьбы с момента вторжения русских войск в Молдавию и Валахию до той поры, когда известия о Башкадыкларе, а затем о Синопе облетели Европу.

Глава VI

ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ И РОССИЯ ОТ НАЧАЛА ОККУПАЦИИ ДУНАЙСКИХ КНЯЖЕСТВ ДО СИНОПСКОЙ ПОБЕДЫ

(Июль — декабрь 1853 г.)

1

Расстановка сил в дипломатической борьбе, развернувшейся в течение второй половины 1853 г., и мотивы, руководившие главными участниками этой борьбы, настолько выяснились, что мирный исход возникшего затяжного конфликта буквально с каждым месяцем становился все более и более проблематичным.

Николай I по-прежнему или даже более прежнего был убежден, что отныне, после вступления русских войск в княжества, у него в руках судьбы Турции. Либо Турция примет без изменений или с совсем незначительными изменениями ультимативную ноту, предъявленную Меншиковым, и тогда уже самый этот факт подчинения будет началом могущественнейшего влияния царя на всю внутреннюю и внешнюю политику Оттоманской державы, либо Турция предпочтет войну и тогда ей — конец. Поэтому все усилия русской дипломатии должны быть направлены к тому, чтобы удержать Англию и Францию от вмешательства в пользу Турции.

Но чем больше укреплялся Николай в этой своей идее, тем больше, конечно, возрастало сопротивление обеих западных держав. После занятия Молдавии и Валахии в Лондоне стало окончательно брать перевес и в кабинете и в парламенте мнение, что без войны не обойтись и что царь решил без Англии исполнить то дело разрушения Оттоманской империи, которое он в январе и феврале 1853 г. предлагал англичанам выполнить вместе с ними на началах соглашения. После всего раньше сказанного незачем повторять, почему для правящих классов Англии казалось недопустимым и в экономическом и в политическом отношениях отдавать Турцию под фактическую власть царя. Вопрос был лишь о методе борьбы: премьеру Эбердину еще некоторое время продолжало казаться, что можно обойтись без войны; Пальмерстону, Кларендону, Джону Росселю война

стала уже с осени 1853 г. казаться неизбежной. Во всяком случае, и с точки зрения воинственной группы кабинета, миролюбивые заверения и беседы Эбердина с Брунновым представлялись, по существу дела, даже полезными: это усыпляло внимание царя и толкало его на поспешные и неосторожные решения. Громадную поддержку воинственной группе британского кабинета оказывал с каждым днем все больше и больше император французов: для Англии представлялся драгоценнейший, неповторимый случай вести войну против России при помощи французской армии.

Что касается Наполеона III, то в конце 1853 г. еще больше, чем в начале, тесный военный союз с Англией, только и мыслимый для подготовки и ведения войны против России, казался огромным дипломатическим выигрышем, могучим укреплением политического будущего династии Бонапартов. Союз с Англией уже наперед мог обезвредить всякую попытку воскрешения союза России с Австрией и Пруссией против Франции. Война при сложившейся конъюнктуре сулила французам большую победу, а эта победа имела колоссальное значение не только с внешнеполитической точки зрения, но и с точки зрения внутренней политики. Гром великой победы над царем мог заставить забыть и клятвопреступление принца-президента 2 декабря 1851 г., и варварское кровопролитие 4 декабря, и не менее варварскую расправу с республиканцами в провинции. Для Наполеона III именно война, и только война давала все эти нужные результаты.

Австрия колебалась и не решалась. Франц-Иосиф во второй половине 1853 г. после вступления русских войск в Молдавию и Валахию некоторое время боялся Николая больше, чем тот боялся Наполеона III. Но чем нерешительнее и неудачнее действовал Горчаков, руководимый Паскевичем, в Дунайских княжествах, тем меньше становился страх Франца-Иосифа и его министра иностранных дел Буоля перед Николаем I, а чем более неприкрыто и часто французская дипломатия пугала австрийское правительство перспективой потери Ломбардии и Венеции, тем больше возрастал страх перед Наполеоном III, который мог натравить Сардинское королевство на Австрию, обещав свою военную помощь. Боялся Франц-Иосиф и окончательного внедрения русских в Молдавии и Валахии. Ему в самом деле в 1853 г. хотелось мирного окончания конфликта. Но не в его власти было добиться этого результата.

При таких условиях дипломатическая игра велась ее участниками, даже вовсе не боявшимися войны,— Николаем I и Наполеоном III,— так, чтобы дать себе время подготовиться как должно, а вместе с тем чтобы, по возможности, свалить вину в инициативе и в агрессии на противника. А те, кто считал

более выгодным мир, довольно скоро начали убеждаться, что их желание неисполнимо. Эбердин без всякого труда, когда настало время, перешел с мирной позиции на позицию воинственной группы своего кабинета. А Франц-Иосиф и Буоль старались оттянуть дело, пока была хоть какая-нибудь возможность не говорить ни да, ни нет и не делать рокового выбора.

2

После этих предварительных замечаний обратимся к тому, как рисуют нам документы последовательную картину сложной дипломатической борьбы. Мы видели, что перед самым вторжением русских войск в Молдавию и Валахию налицо было два проекта улажения русско-турецкого конфликта: «конвенция» Эбердина, в сущности повторившая с некоторыми оговорками последнюю ноту Меншикова, и «проект Буркнэ», по которому Турция подписывалась под основными требованиями царя, а царь давал в той или иной форме заверение, что он не воспользуется этими уступками Турции для нарушения независимости Оттоманской державы. Оба проекта очень скоро провалились.

Начавшаяся фактически оккупация Дунайских княжеств вызвала в английском правительстве определенное убеждение, что план завоевания Турции, известный Англии из собственных признаний царя, сделанных в январе 1853 г. Гамильтону Сеймуру, начал логически осуществляться с пограничных, ближайших к русским пределам областей Оттоманской империи. Один лишь лорд Эбердин «остается непоколебимым в своем доверии» к Николаю. Так по крайней мере кажется барону Бруннову. «Я не должен скрывать от вас, господин канцлер, что английский кабинет ничуть не успокоен насчет намерений России. За исключением главы кабинета, который остается непоколебим в своем доверии к императору (Николаю — *Е. Т.*), всеми остальными членами совета министров овладела боязнь, что Турция падет под смертельным ударом, который решил ей нанести наш августейший повелитель. По их мнению, наши войска входят в княжества, чтобы уж там и остаться. Лето пройдет в переговорах, которые ни к чему не приведут. Осень и зима будут употреблены на то, чтобы организовать наши силы к нападению. В промежутке в Турции вспыхнут восстания, возбуждению которых мы не будем чужды. Будущей весной наша армия перейдет через Дунай, чтобы пойти на Константинополь, завоевание которого и составляет единственную цель нашей политики. Таков решительный план, который нам приписывается. Ваше превосходительство поймете, облегчает ли подобная озабоченность умов задачу мирного улажения дела».

Так пишет Бруннов. Он явно сам не знает толком, что же в точности имеет в виду царь делать дальше: поразить ли Европу миролюбием и благородством (как пишет Бруннов), или действительно начать завоевание Турции согласно плану, приписываемому царю английским правительством [1].

Первые дни июля 1853 г. прошли в напряженном ожидании. Проект французский, проект австрийский — все, по словам Эбердина, Англия будет приветствовать, лишь бы не было войны. Но при этом подразумевалось уже и нечто более конкретное: лишь бы русские войска ушли из княжеств. А для Николая этот шаг теперь был нелегок и с каждым днем становился труднее. Уже 4 июля 1853 г. Пальмерстон предлагал лорду Эбердину распорядиться, чтобы британская эскадра вошла в Босфор, а если дальше понадобится, то и в Черное море. Свое письмо Пальмерстон кончал уверением, что вся страна (т. е. Англия) поддержит подобные действия [2]. Но Эбердину этот последний аргумент не показался убедительным, и в своем ответном письме он ядовито напоминал Пальмерстону: «В подобных случаях я боюсь народной поддержки. Однажды, когда афинское народное собрание бурно аплодировало Алкивиаду, он спросил, не сказал ли он какой-либо особенно большой глупости» [3].

Лорд Кларендон протестовал против перехода русских войск через Прут и отказался приравнять появление английской и французской эскадр в Безикской бухте к появлению русских войск в Молдавии и Валахии. Кларендон указал на то, что эскадры стоят в бухте по приглашению Турции, а русские войска перешли через Прут против воли Турции. Барон Бруннов злорадно считает большой ошибкой Кларендона такую постановку вопроса. По его мнению, если бы, например, Кларендон поставил вопрос так: англичане и французы уводят свои эскадры из Безики, а русские одновременно должны увести свои войска из Молдавии и Валахии, то Россия оказалась бы в затруднительном положении, так как все равно своих войск она оттуда не увела бы, пока не получила бы полного удовлетворения от Турции [4].

Бруннов, поздравляя Нессельроде с тем, что так хорошо все вышло, не понимает зловещего смысла того обстоятельства, что Англия и Франция вовсе и не ищут способов удаления своих и русских вооруженных сил из Турции, а, напротив, стремятся лишь, оставляя эти занозы, углубить и расширить конфликт. Нужно заметить, что Нессельроде находился в состоянии почти непрерывного восхищения глубиной ума своего лондонского посла. «В сущности я не очень знаю, мой дорогой Бруннов, зачем я вам пишу. Вы все знаете, все угадываете, и я ничего не могу вам сообщить. Когда нам случается найти новые аргументы,

оказывается, что уже давно вы ими угощали английских министров»,— так изъяснял свои чувства канцлер в момент перехода русских войск через Прут [5].

Барон Бруннов был как нельзя более доволен всем происходящим. Правда, лорд Кларендон делает неприятные замечания, но они «не заслуживают ответа. Не следовало ожидать, что Англия объявит себя удовлетворенной тем, что русская армия занимает Молдавию и Валахию. Англия с этим примирилась — без сопротивления, но с сожалением (elle s'y est résignée sans résistance, mais avec regret). Отсюда происходит чувство раздражения, находящее себе облегчение в словах. Россия на это ответила уже наперед фактами, которые общеизвестны в Европе. Я сказал это лорду Кларендону. Его комментарии абсолютно ничего не переменят». Вообще, считающий себя тонким аналитиком министерских душ Бруннов вполне твердо надеется на лорда Эбердина, который так искренне дружески расположен к России и тоже, как сам Бруннов, не хочет думать о прошлом (т. е. о занятии Молдавии и Валахии), а намерен только размышлять о будущем [6]. Все это пишется в Лондоне 4 (16) июля 1853 г.

Между тем в недрах кабинета Пальмерстон все решительнее настаивал на необходимости войны. «Ведь это — разбойник, объявляющий, что он не покинет дом, пока сначала полицейский не удалится с места»,— писал Пальмерстон по поводу циркулярной ноты Нессельроде в меморандуме, разосланном всем членам британского кабинета 12 июля 1853 г.[7]

А пока из Турции получаются в Лондоне самые утешительные для царя сведения: Турция — без денег, положение ее таково, что без посторонней помощи она никак против России держаться не в состоянии. Даже и без войны, одно только это напряженное состояние вооруженного мира, если оно еще продолжится, поведет за собой крушение Оттоманской империи.

Это было как раз, точка в точку, то, чего желал Николай. Одна только небольшая деталь могла заставить призадуматься и испортить полное удовольствие от этого сообщения: все эти сведения получены были через Лондон и доставлены были именно лордом Стрэтфордом-Рэдклифом, как вскользь упоминает Бруннов [8].

Чем объяснялось это услужливейшее доставление подобных секретных известий русскому посольству явно прямо из статс-секретариата иностранных дел,— об этом Николаю впоследствии был большой досуг поразмыслить, когда уже было слишком поздно извлечь из этих размышлений пользу. Бруннову даже не показалось странным, что ему передают эти сведения как исходящие от Стрэтфорда, хотя именно Стрэтфорд всегда выражал решительный оптимизм во всем, что касалось вопро-

са о жизнеспособности Турции и возможности ее сопротивления. Николай считал, что в Англии уже ослабевает стремление защищать турок, а Австрия прямо грозит туркам бросить их на произвол судьбы: «...по телеграфу есть вести — опять партия войны в Царьграде усилилась; Рэдклиф действует слабо, а австрийцы объявили свой ультиматум с тем, что буде турки не согласятся, то Австрия отказывается от посредничества. Бог знает что будет...» [9]

Уже наступал конец июля. Не принимая полученных им из Петербурга известий за окончательный провал «проекта» лорда Эбердина, Бруннов, получив письмо Нессельроде, извлек из него лишь тот вывод, что поскорее бы следовало послать в Петербург уже настоящий точный формальный документ, излагающий пункты этого проекта.

Поспешность была тем более желательна, что Бруннов узнал не весьма приятную новость. Оказалось, что как раз в самом Константинополе новый австрийский посланник Брук работает в тесном сотрудничестве с лордом Стрэтфордом-Рэдклифом над выработкой ноты, которая должна будет послужить основой соглашения между Турцией и Россией.

Теперь мы уже знаем, что Брук, очень дельный дипломат и большой финансист, не сочувствовал захвату Турции ни русским царем, ни парижской биржей, ни лондонским Сити, а мечтал, как убежденный последователь Фридриха Листа, об экономической экспансии Австрии и Германского союза во владениях Оттоманской Порты. Таким образом, над этой «примирительной» нотой работали два противника русского влияния в Турции, хотя и не согласные между собой во всех основных своих стремлениях. Всего этого Бруннов не знал, конечно. Но уже то было подозрительно, что австрийское правительство действует в Константинополе столь согласно с английским. Ни Бруннова, ни Нессельроде это, однако, нисколько не обеспокоило: до разгадки истинной роли Австрии им было еще очень далеко. Во всяком случае фантастические мечты Бруннова были таковы: пусть поскорее Эбердин, наконец, пошлет свой проект в Петербург, а царь пусть его немедленно утвердит, и тогда козни лорда Стрэтфорда будут вконец уничтожены, ибо он обязан будет покориться и проводить в Турции политику Эбердина, т. е. советовать султану подписать эту конвенцию. Если же султан все-таки не подпишет,— тогда тоже русское дело выиграно: Великобритания ввиду этого ослушания султана бросит его на произвол судьбы [10].

Ничего этого и не случилось и случиться не могло. Тут же Бруннов дает (через Нессельроде) почтительный совет Николаю: в проекте конвенции английское правительство имело такт (le bon goût!) ничего не упомянуть о необходимости вывести,

после принятия этого проекта, русские войска из Дунайских княжеств. Так вот, хорошо было бы, чтобы «благородство» (générosité) государя-императора побудило его от себя упомянуть об этом очищении Молдавии и Валахии [11]. Из всех утопий, в которые поочередно начинал верить в этот роковой год барон Бруннов,— это предположение, это обращение к благородству Николая было наиболее курьезно и неожиданно.

В лондонской прессе страсти разгорались все сильнее и сильнее. Некоторое время фанатический враг царской внешней политики Уркуорт был чуть ли не самым читаемым в Англии публицистом. Статьи Уркуорта, всегда живые, часто яркие, представляют собой смесь здравых мыслей с совершенно бредовыми фантазиями. Он ненавидит Николая и русских вообще истинно фанатической ненавистью, а в абдул-меджидовской Турции вполне искренне и убежденно усматривает носительницу высокой оригинальной, но, к несчастью, недоступной пониманию европейцев цивилизации. С большим одобрением Уркуорт ссылается на лекции «ученого Мицкевича в Парижском университете», в каковых лекциях Мицкевич «пытался установить тождество русских с ассирийцами — на основе филологии». Оказывается (it appears), «что имя Навуходоносор — Небукаднеццар — не что иное, как русская фраза, означающая: *нет бога, кроме царя*» [12].

Вот такие вещи Уркуорт писал еще летом и осенью 1853 г., в 1854 г. старался писать еще более потрясающие, чем в 1853. А в 1855 г.— еще более, чем в 1854. Политические страсти совсем омрачали временами его сознание, и возбудившее, по свидетельству Герцена, гомерический смех заявление Уркуорта на одном митинге, что Джузеппе Маццини подкуплен Россией, было характерно для этого публициста. При всем этом он был бескорыстен, честен, демократически настроен, ненавидел Пальмерстона вовсе не за то, что Пальмерстон выгнал его со службы и не возвращал, но потому, что справедливо видел в Пальмерстоне человека, построившего и внешнюю и внутреннюю свою политику на лукавстве, обмане и лживой игре либеральными фразами и мнимым демократизмом. В изворотах и ухищрениях Пальмерстона он усматривал даже последствия тайного подкупа могущественного лорда русским императором. Его газета «Морнинг адвертайзер» имела огромный успех в эти годы, несмотря на неистовые порывы редактора. Действовали и темперамент, и искренность его статей, и порой даже литературная яркость. Это часто был фантазер, но такой убежденный, одаренный такой огромной эмоциональной силой, что невольно привлекал к себе и даже (мимолетно) кое в чем — именно в вопросе о Турции — вызывал доверие людей, даже искушенных в этих вопросах.

22 июня (4 июля) 1853 г. русские войска вступили в Молдавию и Валахию, в ближайшие дни они заняли столицу Молдавии — Бухарест, столицу Валахии — Яссы.

Переход русских войск через Прут и манифест, обнародованный в России по этому поводу, произвели на Мейендорфа якобы отрадное впечатление. Но он все-таки хоть и бегло, а решил сообщить Нессельроде о том, что австрийское правительство этим обеспокоено [13]. Впрочем, Буоль еще считает полезным оправдываться от уже возникших против него в Петербурге подозрений, что он склоняется к соглашению четырех держав, т. е. к присоединению Австрии и Пруссии к Англии и Франции для общего их давления на Россию. Эти подозрения были вполне основательны летом 1853 г.

Уже к концу июля 1853 г. в Вене были получены сведения, что Турция не принимает без изменений ни «конвенции», предлагаемой английским кабинетом, ни плана Буркнэ. То и другое было подстроено лордом Рэдклифом, игра которого крайне облегчалась твердой уверенностью, что Николай не позволит изменить ни единого слова в обоих «примирительных» проектах, потому что вовсе не хочет в этой стадии дела ликвидации конфликта. Тогда же, в последних числах июля, произошло первое очень многознаменательное объяснение Буоля с Мейендорфом. Буоль прямо заявил, что Австрия не может поддерживать русскую политику в Турции, не может и не хочет раздражать французское правительство, дорожит «доверием» Франции и Англии, а это доверие улетучится, если названные две западные державы заподозрят, что Австрия вдвоем с Россией стремится к разделу Турции. Мейендорф заикнулся о «благодарности», намекая на усмирение русскими войсками венгерского восстания, но не получил на этот слабый аргумент ответа [14].

Итак, и французский проект и английский были отвергнуты в очень вежливых выражениях канцлером Нессельроде. В Петербурге решили ждать проекта австрийского.

12 (24) июля граф Буоль созвал на заседание послов: французского, английского, австрийского, русского и прусского. Русский посол Мейендорф не явился, заявив, что из Петербурга ему никаких указаний не дано. 28 июля была на нескольких заседаниях этих послов, под председательством Буоля, выработана нота, которую решено было предложить султану подписать. Эта нота содержала упоминание, что Турция обязуется соблюдать все статьи, касающиеся православной церкви, содержащиеся в договорах Кучук-Кайнарджийском 1774 г. и Адрианопольском 1829 г. В ноте подробно говорилось о том, что православная церковь получает все права и привилегии, которые будут

даны какими бы то ни было соглашениями всем другим христианским культам.

3 августа Николай получил эту «венскую ноту» и тотчас заявил, что принимает ее целиком, но с тем условием, что султан подпишет ее без всяких изменений, дополнений и комментариев. 6 августа Николай пригласил французского генерала маркиза Кастельбажака на маневры в Красное Село.

Интереснейший разговор ожидал здесь генерала Кастельбажака. Для того, кто детально изучил дипломатическую деятельность императора Николая, не может быть никаких сомнений, что он решил позондировать почву: нельзя ли в партнеры по дележу Турции пригласить вместо Англии, которая отказалась, вместо Австрии, которая боится,— Францию. Да, царь только что согласился на австрийскую ноту, согласился покончить дело миром, если Турция подпишет эту ноту и возьмет на себя беспрекословно и без всяких изменений все обязательства, о которых там говорится. Но надолго ли все это? «Если Турция разрушится вследствие своего экзальтированного фанатизма и своего ослепления, мне уже ничего не могут поставить в укор. Султан уже не хозяин в своем совете, он потерял всякий авторитет... Я покину княжества, что мне кажется разумным в общем интересе, только когда нота будет подписана султаном». Уже это вступление показывало, что царь совсем не верит в мирный исход и в реальную осуществимость «австрийского проекта», т. е. ноты, выработанной на совещании послов. Дальше обнаружилась очень отчетливо и другая мысль царя: выяснилось, что он и не желает мирного исхода. «Если даже Турция примет ноту и настоящий кризис кончится для турок хорошо,— не все будет кончено для Европы. Я предвижу в более близкие времена, чем об этом думают на западе, падение Оттоманской империи на пользу анархии и революционных принципов. Мне непременно нужно сговориться с императором Наполеоном; я рассчитываю на его лояльность и его политический разум, а он может рассчитывать на мою откровенность... у меня нет другого честолюбия, как лишь то, которое состоит в общем благе христианства и счастье моего народа путем усовершенствования всех наших учреждений. Я не хочу завоеваний. Россия достаточно велика. Я хочу лишь двинуть вперед трудное дело, которое бог на меня возложил и которое даже мой сын, чувства которого вы умеете ценить, тоже не сможет окончить... Непременно нужно, чтобы мы с императором Наполеоном закончили соглашение без промедлений и уже наперед обо всем, что может касаться Турции. Нам не следует быть застигнутыми врасплох и еще рисковать поссориться из-за недоразумений и подозрений, когда нам так важно действовать в единении. Когда инцидент будет окончен, я с вами

снова поговорю о моих идеях, и я особенно предложу Киселеву говорить об этом с императором Наполеоном»[15].

Итак, все, что до сих пор случалось, т. е. посольство Меншикова, занятие Дунайских княжеств, попытки уладить дело дипломатическим путем и провал этих попыток,— все это лишь «инцидент», и чем бы он ни окончился, все равно нужно подумать, что́ предпринять на случай разрушения Оттоманской империи, и нельзя ли об этом подумать вдвоем с императором Наполеоном.

В Париже летом 1853 г. с Николаем вели такую же сложную игру, как и в Лондоне. 30 июля на одном придворном спектакле в Сен-Клу Наполеон III неожиданно подошел к Киселеву и, пожав ему руку, сказал: «Ну что же? Мы опять становимся друзьями?» — «Мы никогда и не переставали быть ими, государь», ответил Киселев. «Что касается меня,— продолжал император,— я делаю все зависящее от меня, чтобы повести к быстрому и мирному разрешению восточного осложнения, и я очень надеюсь, что мы этого достигнем»[16].

Но тут же Киселев делает очень многозначительную оговорку: «Если слова Луи-Наполеона спокойны и миролюбивы, то этого нельзя сказать о его министрах и его окружении. Они ведут двойную игру. То они представляются вполне верящими в мирное решение, то они говорят о войне, как не только о возможном, но также как о вероятном событии». Киселев понимает, конечно, что Николаю I нужен сейчас отчетливый ответ на основной вопрос: будет Наполеон III воевать или не будет? А русский посол не только не дает ему в этом длинном докладе от 3 августа точного ответа, которого он дать тогда, конечно, и не мог, но сбивает царя с толку, изображая дело так, будто во Франции, кроме кучки людей, никто войны не хочет и ничуть вопросом о войне не интересуется. «Во всяком случае масса публики хочет еще только мира и нисколько не волнуется по поводу воинственных иногда возгласов прессы и некоторых людей власти. Только мир биржи и промышленных спекулянтов волнуется и беспокоится и более или менее поддерживает в Париже возбуждение. Остальная страна остается спокойной и почти равнодушной к политическим целям». А к тому же и не ждут хорошего урожая во Франции. Вообще больше хотят пугать словами, чем в самом деле воевать. Вот даже в Англии недовольны тем, что французский кабинет слишком стремится сохранить мир, и т. д.

Сделав все эти успокоительные и ободряющие оговорки и отрадные сообщения и этим уж наперед ослабив невольно внимание адресата к сообщаемым дальше зловещим фактам, Киселев повествует о следующем. Министр иностранных дел Друэн де Люис даже с внешней стороны совсем иначе разгова-

ривает с ним, Киселевым, и с австрийским послом Гюбнером, чем с представителями второстепенных держав. С Киселевым и Гюбнером Друэн де Люис говорит о мирном улажении восточного вопроса, а с другими говорит о войне. И даже его газеты «La Patrie» и «Le Constitutionnel» тоже говорят о том, что война более вероятна, чем мирный исход. Тут нужно сделать оговорку: Гюбнер усердно лгал Киселеву и лгал так, как это было в тот момент выгодно Друэн де Люису. На самом деле Гюбнер не только предвидел войну, но всецело ее и желал и стоял за союз Австрии с Наполеоном III.

Двуличность и загадочность поведения французского министра обнаружилась перед Киселевым еще и по поводу проекта соглашения между Портой и Россией, представленного обеим державам в июне 1853 г. Автором текста этого проекта был Друэн де Люис. Нессельроде, давая общую положительную оценку этому проекту, все же просил Киселева сообщить в Париже, что нужно подождать, какой ответ даст Порта на еще ранее посланное России и Турции аналогичное предложение из Вены. И вот, говоря по этому поводу с Друэн де Люисом, Киселев сначала был совсем удовлетворен любезным оборотом изъявлений Друэн де Люиса и даже уловил со стороны французского дипломата тон польщенного авторского самолюбия (так как Нессельроде похвалил его проект); а уже на другой день, как узнал Киселев, Друэн де Люис высказывался перед другими лицами совсем в другом духе, говорил, что он ничуть не удовлетворен настоящим положением дела и очень озабочен будущим, и заявлял, что, по его мнению, «шансы войны превосходят шансы мирного и скорого улажения восточного вопроса». И с тех пор, т. е., значит, в течение всего июля, Друэн де Люис не переставал постоянно выражать прямо противоречащие одно другому суждения, так что его слова в глазах Киселева «теряют всякое серьезное значение». А в самые последние дни июля и в первые дни августа к этому прибавилось еще одно наблюдение Киселева. «Все еще продолжая обнаруживать беспокойство и озабоченность относительно будущего», Друэн де Люис завел какие-то беспрерывные и конфиденциальные сношения с австрийским послом, будто бы затем, чтобы быстро добиться принятия Портой его проекта с изменениями, которые в этот проект были внесены в Вене и Лондоне. Это сообщил Киселеву сам австрийский посол Гюбнер. Все это, конечно, могло указывать на мирные предрасположения французского правительства, если бы Друэн де Люис не лгал Гюбнеру, а Гюбнер не лгал Киселеву, о чем русский посол тогда и не подозревал.

Путаясь и теряясь в этой обволакивавшей его сети дипломатических интриг, шедших и из Лондона, и из Вены, и из

Парижа, и из Константинополя, Киселев, как и его начальник Нессельроде, предавался чрезвычайно соблазнительным иллюзиям, будто самое лучшее и выгодное в его положении — это просто не обращать ни на что внимания: «...остается свободный простор для ложных известий и газетных декламаций, и посреди этого хаоса преувеличений и противоречий я буду продолжать, как ваше превосходительство мне это рекомендует сохранять спокойствие, в котором я замкнулся с начала восточного кризиса и которое до настоящего времени давало мне все преимущества пред французскими треволнениями (les agitations françaises) как в правительственных кругах, так и в политическом мире» [17].

4

Мейендорф уже в июле и в начале августа 1853 г. с беспокойством ждал не только войны с Англией и Францией, но и выступления Австрии. 5 августа он написал из Вены письмо непосредственно фельдмаршалу Паскевичу. Это письмо не могло не произвести на старого князя очень сильного впечатления: «Я часто вспоминаю, насколько вы были правы, ваша светлость, когда прошлой зимой в Петербурге вы мне сказали, что если у нас будет война с турками, то операции должны быть поведены различными способами, в зависимости от того, будем ли мы свободно располагать Черным морем и поддержкой христианских народностей, восставших против Турции, или нет. Если мы перейдем через Дунай, то мне кажется, что Черное море уже не будет для нас открытым. Я думаю также, что мы не захотим поднять Сербию и что Австрия, очень боясь движения с этой стороны ввиду положения Венгрии, воспротивится этому всеми способами». Мейендорф тут не только излагает черным по белому самые затаенные мысли самого фельдмаршала, но и подкрепляет их своим авторитетом, показанием человека, знающего Австрию, знающего точно и наблюдающего близко ее правителей, дающего предостерегающий окрик из Вены. Оптимистический конец письма (что, несмотря на эти неблагоприятные условия, мы все же можем перейти через Балканы и привести Оттоманскую империю к гибели) ничуть не звучит убедительно, да Мейендорф не забывает к тому же прибавить, что даже победа над Турцией создаст для России только затруднения [18].

Некоторое время в середине и конце августа можно было думать, что Турция примет венскую ноту как основу для соглашения с Россией,— и увлекающийся Мейендорф уже передает с ликованием, что Россия одержала полную дипломатическую победу и что лорду Рэдклифу остается лишь ворчать (il se résigne en grognant) [19]. Но тут же Мейендорф подсказы-

вает графу Нессельроде, что хорошо бы поскорее эвакуировать все-таки Дунайские княжества. Однако, как и у всех дипломатов николаевского времени, царедворческая льстивость берет свое,— и, продолжая в своих донесениях из Вены восхищаться предвкушаемой дипломатической победой царя, Мейендорф, явно противореча своим убеждениям, считает долгом ввернуть, что все-таки энергичный жест, т. е. занятие Дунайских княжеств, сыграл решающую роль в утешительном обороте, который как будто приняли теперь, в августе, события [20].

Николай не верил, что английскому и французскому флоту даны какие-нибудь задания, помимо чисто демонстративных. Вот что, по его приказу, писал Нессельроде Бруннову 29 июля (10 августа) 1853 г.: «Объясните английским министрам, что как посылка английской и французской эскадр в Дарданеллы не помешала нам войти в княжества, так их появление в Мраморном море не заставит нас оттуда выйти. Эта посылка только даром осложнит дело, мирное разрешение которого неминуемо, если Франция и Англия ясно объявят Порте, что они лишат ее своей поддержки в случае непринятия австрийского ультиматума» [21].

Николай продолжал еще в разгаре лета 1853 г. не понимать трудности своего положения, главное — невозможности из него с честью выйти. А Бруннов и Киселев усердно, наперебой, успокаивали его в своих донесениях, так же, как Мейендорф, тогда еще продолжавший надеяться на Буоля, с которым русский посол был в родстве. Николаю, так упорно сбиваемому с толку, в самом деле начинало временами казаться, что все обстоит благополучно и никакой войны не будет, а удастся добиться всего и без войны. «По последним сведениям через Вену — можно надеяться, что занятием Бухареста и кончатся наши военные действия, ибо Англия и Франция взялись за разум и заодно с Австрией хотят уговорить турок удовлетворить нашим требованиям»,— сообщает царь М. Д. Горчакову в середине июля и даже приказывает князю: «Теперь займись отдыхом войск и готовь их при этом к обратному почетному походу» [22].

И тут тоже роковая манера царя верить только тому, чему хочется и чему приятно верить, сказалась всецело. Ведь случайно обмолвился в это самое время правдой русский посол в Берлине барон Будберг, получивший очень серьезную и достоверную информацию,— но на эту правду в Петербурге не обратили ни малейшего внимания. Первый министр Пруссии барон Мантейфель доверительно сообщил 10 (22) июля Будбергу, что прусский посол в Лондоне Бунзен доносит ему, Мантейфелю, на основании разговоров с английскими министрами и на основании собственных наблюдений, следующее: во-первых, между Англией и Францией — полное согласие по всем делам,

связанным с восточным вопросом; во-вторых, эти две державы полны решимости воевать с Россией в случае, если целостность Оттоманской империи окажется под угрозой; в-третьих, британский кабинет очень недоволен нейтралитетом Пруссии в восточном вопросе, а позицией, занятой Австрией, британское правительство, напротив, очень довольно и считает эту австрийскую позицию согласной со своими видами [23]. Нессельроде получил это зловещее уведомление,— и ухом не повел. Он продолжал, как ни в чем не бывало, твердить царю, что нечего беспокоиться, а царь все больше и больше радовался тому, что Франция, Англия и Австрия наконец-то образумились и не будут уже защищать Турцию.

В конце июля в Константинополе стали назревать события, показывающие, какая растерянность царила в Оттоманской Порте. С одной стороны, русская армия все более и более внедрялась в Дунайские княжества, а с другой стороны, кроме ободряющих слов, султан ничего от Англии не получал. К этому прибавилось еще и постепенно нараставшее в окружении Абдул-Меджида раздражение по поводу слишком уж развязного хозяйничанья в столице лорда Стрэтфорда-Рэдклифа. Английские историки и, в частности, биографы Стрэтфорда [24] любят изображать дело так, будто с почтением и обожанием турки взирали на мощного своего покровителя и с неким почти детским доверием отдали судьбы свои в руки великого посла, «эльчи». Это было вовсе не так: Мехмет-Али и многие другие считали его одним из самых нестерпимых нахалов, от которых когда-либо приходилось терпеть робкому по натуре и легко терявшемуся падишаху. Но у Абдул-Меджида бывали и внезапные (быстро проходившие) взрывы возмущения оскорбленной гордости. В один из таких моментов султан вдруг без малейших предупреждений выгнал вон из министерства Решид-пашу, министра иностранных дел («рейс-эфенди»), который был вернейшим орудием в руках Стрэтфорда-Рэдклифа. Правда, сейчас же был выдуман предлог и была пущена в ход версия, будто эта внезапная немилость вызвана интригами, связанными с семейными делами султана (вопросом о браке одной из его дочерей). Но никто не обманывался касательно истинного характера этой отставки. Меньше всех мог обманываться сам британский посол, понимавший, что Решида прогнали только вследствие полной невозможности прогнать вон его самого, «великого эльчи». Стрэтфорд немедленно принял меры. Мигом явившись во дворец, он пустил в ход весь арсенал посулов и застращиваний. Абдул-Меджид пал духом. Лишиться поддержки Англии, когда русские, во-видимому, приготовлялись уже переходить через Дунай, казалось слишком страшным. Решид-паша немедленно был возвращен на свой пост.

Но, очевидно, эта неприятная история внушила лорду Стрэтфорду мысль, что хорошо бы покрепче стеснить султанский дворец, а вместе с тем произвести некоторую демонстрацию против России и поощрить Порту к неуступчивости.

И вот тогда же, в конце июля, британский кабинет в лице лорда Эбердина извещает барона Бруннова, что пришли от лорда Стрэтфорда тревожные вести. Султан вдруг дал отставку Решид-паше, «приверженцу европейской цивилизации». Правда, благородным усилиям Стрэтфорда удалось в самом поспешном порядке, чуть ли не в 24 часа, «переубедить» султана и водворить приверженца цивилизации на прежнем месте, но вся эта передряга «в соединении с политическими и финансовыми трудностями» делает положение в Константинополе неспокойным. Регулярные войска уведены в Шумлу, Варну и придунайские форты, в столице остались лишь нерегулярные, недисциплинированные части. Возможно обострение «мусульманского фанатизма»; возможны антихристианские беспорядки. И если эти опасения оправдаются, то европейцам будет угрожать беда. Поэтому лорд Эбердин и Кларендон считают желательным ввести часть английской и французской эскадр (стоящих в Безике) уже в Мраморное море, поближе к Константинополю. Но они не хотели бы, чтобы Россия приняла это за шаг, направленный против нее. На Бруннова и на этот раз оба лорда — и Эбердин и Кларендон — произвели обычное отрадное впечатление своей непосредственностью, доброжелательным отношением, «доверительным» характером своих сообщений, готовностью дать всевозможные гарантии,— словом, похвальными качествами своей натуры, которыми они давно уже пленяли барона Бруннова [25]. Его нисколько не смутил и пресловутый «мусульманский фанатизм», который с такой непоколебимой верностью нуждам и пользам британской дипломатии выскакивал из-под земли и в Турции, и в Индии, и в Персии всякий раз, когда требовалось ввести английские войска или флот туда, где Лондону казалось уместным их водворить.

Но все же Бруннов протестовал, заявляя, во-первых, что не следует уже сейчас вводить эскадру в Босфор, пока еще никаких беспорядков в Константинополе нет, и, во-вторых, что такие меры предосторожности не должны предприниматься только Англией и Францией, ибо подобный односторонний акт нарушил бы принятый великими державами статут 1 (13) июля 1841 г., согласно которому проход военных судов через Дарданеллы может последовать лишь с согласия всех пяти подписавших этот статут держав. В своем донесении Бруннов обращает внимание Нессельроде на то, что при обсуждении вопроса у России будет большинство, т. е. три голоса против двух, так как на ее сторону «несомненно» станут Австрия и Пруссия.

Но резолюция царя была самая неожиданная.

Он увидел в этом намерении Англии и Франции полное согласие действовать вместе с Россией против Турции. И вот что царь поспешил написать на докладе о возможности введения военных кораблей в Мраморное море: «...не только я не противлюсь этому, но я приглашаю (j'engage) Англию и Францию принять необходимые меры от нашего имени (en notre nom), так как я еще не считаю, что мы находимся в войне с Турцией» [26]. Николаю, естественно, было на руку все, что лишало Турцию надежды на поддержку Англии и Франции и что ставило царя в такое положение, когда сам собой мог встать вопрос о разрушении Турции и полюбовном дележе ее владений.

Бруннов так далеко не шел, но и ему казалось, что эти мнимые или реальные тревоги за христианское население выгодны для политики Николая. Он по-прежнему считает, что, во-первых, обилие разных проектов мирного разрешения русско-турецкого конфликта выгодно уже потому, что можно «побивать одни проекты другими», одни проекты служат противоядием (d'antidote) против других. А во-вторых, в запасе есть эбердиновский проект «конвенции», и если царя удовлетворит этот проект, то «сэр Гамильтон Сеймур имеет поручение отправить эту пилюлю Стрэтфорду с приказом заставить турок проглотить ее. Хотел бы я очень видеть гримасу, которую они сделают»,— ликует уже наперед барон Бруннов. Но тут же посол осторожно напоминает, что еще не улажен все-таки этот вопрос и что успокаиваться рано. Как почтительный подчиненный, он в этом своем французском донесении приводит немецкое изречение самого канцлера Нессельроде: «не должно говорить „гоп" пока не будешь по ту сторону рва (man muss nicht «hopsassa» sagen before man über den Graben ist)» [27]. Карл Васильевич вообще любил почему-то переводить на родной немецкий язык русские и даже украинские пословицы, доходившие порой до его слуха (и всегда это выходило столь же неудовлетворительно, как и в данном случае). Но Бруннов неспроста все это напоминает и цитирует. Ему явно не очень нравится, что дружеское англо-австрийское сотрудничество Брука со Стрэтфордом в Константинополе усиленно продолжается в Вене. «Мы еще можем встретить на нашем пути не один камень преткновения: прежде всего в Вене слишком много работают над смесью сложного состава (un mixtum compositum): Буркнэ, Буоль, Брук, Стрэтфорд. У меня есть инстинктивное чувство, подсказывающее, что эта микстура никуда не годится».

Сидя в Вене, в самом центре дипломатических интриг, направленных против политики Николая, Мейендорф видел, что нашла коса на камень, что Турция очень надеется на своих западных покровителей: никаких шагов, которые указывали бы

на прекращение дипломатического сопротивления со стороны Турции, нет, и Брук «жалуется, что лорд Рэдклиф не поддерживает его энергично». Уже эта фраза Мейендорфа показывает, как мало разбирался он в истинном положении вещей в тот момент, как ловко Рэдклиф успел снова и снова обмануть и обойти весь дипломатический корпус, внушив, будто он всячески советует туркам теперь, в конце июля, пойти на компромисс, но что же делать, если они упрямятся [28].

С напряженным вниманием в Европе ждали ответа Николая на венскую ноту. Лорд Эбердин, пригласив Бруннова 28 июля, не скрыл от него, что отказ царя может повести к войне России не только с одной Турцией. Выразил он эту мысль весьма прозрачно. Он сообщил, что французское правительство «все эти последние дни удваивает усилия, чтобы добиться уже наперед соглашения с Англией, о мерах, которые *сообща* нужно будет принять в случае, если император Николай отвергнет предложения Австрии». И хотя Бруннов хвалит британский кабинет за то, что он «имел благоразумие отклонить это предварительное соглашение», но одновременно должен сообщить и о весьма неприятных заявлениях Эбердина. Премьер прямо объявил, что если Николай отвергнет венскую ноту, то он, Эбердин, потребует у парламента дополнительного кредита в 3 млн. фунтов стерлингов («ввиду положения вещей») и вообще не распустит палату общин на каникулы или распустит на короткий срок. Если же этот кредит будет парламентом отпущен (в чем не может быть никаких сомнений), то это поспособствует устранению всяких надежд на мир и окажется шагом вперед «по дороге, которая неизбежно должна повести к войне» [29].

Эбердин «не скрыл своего глубокого огорчения» и прибавил обычный припев, что он «будет бороться до конца, чтобы сохранить мир, пока на это будет оставаться хотя какая-нибудь надежда». Любопытен конец этого очень значительного разговора. Эбердин поделился с Брунновым печальной новостью: из Константинополя прибыли вести, «очень беспокоящие»: оказывается, что «турецкие министры, увлекаемые головокружением (entraînés par un esprit de vertige), ослеплены и не видят опасностей, в пучину которых рискуют ввергнуть Оттоманскую империю».

Эбердин отлично знал, что дело вовсе не во внезапном турецком головокружении, а в деятельнейших интригах и что Стрэтфорд-Рэдклиф, после отъезда Меншикова из Константинополя уже окончательно и безраздельно забравший Абдул-Меджида и всю «Блистательную» Порту в свои руки, твердо держит курс на войну и всеми мерами убеждает диван отвергнуть венскую ноту. Все это ясно, и что Эбердин все это знает и допускает,— тоже ясно. Но может ли Бруннов послать в Петер-

бург бумагу без утешительной концовки, которая своим содержанием настолько подсластила бы пилюлю, чтобы Николай и не догадался о первоначальной ее горечи? Оказывается, все-таки на лорда Эбердина в самых трудных случаях можно положиться.

Эбердин вдруг прибавил, что если в самом деле турки отвергнут венскую ноту, то «нужно будет победить упорство Порты энергичным выступлением со стороны собравшихся в Вене кабинетов». Барон Бруннов немедленно из этих решительно ни к чему не обязывающих слов делает произвольное заключение: «Слова лорда Эбердина дают мне основание думать, что в случае необходимости он считал бы нужным заставить турок подчиниться условиям соглашения, выработанного в Вене, если бы они его отвергли, тогда как император (Николай — *Е. Т.*) удостоит дать ему свое одобрение». Прочтя это место доклада, Николай тут же сделал карандашом помету: «вот мы и добрались (nous y voilà)». И царь отчеркивает карандашом на полях рукописи следующее место в донесении Бруннова, продолжающего рисовать заманчивые узоры насчет выступления держав против Турции: «Тогда положение предстанет пред нами в новом виде. Державы, которые не переставали говорить о независимости Турции, первые произвели бы насилие над этой независимостью, чтобы заставить султана принять условия, на которые он отказался бы дать свое согласие». Николаю, по-видимому, все это очень понравилось. Бруннов пишет дальше, что в восточном вопросе вообще нет ничего устойчивого — и то существование Оттоманской империи признается принципиально, то оно оказывается сомнительным фактом (un fait douteux). Это именно то, к чему стремился Николай, беседуя в январе и феврале 1853 г. с Сеймуром. Немудрено, что, прочтя все эти домыслы Бруннова, выдумавшего, будто Эбердин уже склонен признавать существование Турции «сомнительным фактом», царь пишет: «это именно так (c'est cela)», потому что это донесение Бруннова кончается советом: державы, в случае отказа Турции, обязаны ее принудить, а Россия «в сильном и спокойном положении, которое она заняла, остается свидетелем и арбитром спора, с тем, чтобы этот спор пришел к концу, согласному с ее достоинством и ее интересами» [30].

Так, прямо, можно сказать, на глазах читателя, из угрозы Эбердина получается обещание его дружеской помощи; из требования от парламента военных кредитов на войну против России с целью *защиты* Турции получается, будто Эбердин признает существование Турции *«сомнительным»*,— и царь очень доволен, что в конце концов Англия добралась до правильного воззрения: «nous y voilà».

2 (14) августа 1853 г. Сеймур, британский посол в Петербурге, обратился к Нессельроде с нотой, в которой выражал

живое беспокойство английского правительства, что Турция не примет рекомендуемых ей державами уступок и что мусульманский фанатизм сорвет переговоры. Вместе с тем Сеймур указывал, что очень бы следовало русскому правительству согласиться на прием чрезвычайного турецкого посла, которого султан хочет отправить в Петербург. Английский дипломат при этом подчеркивает, что ведь султан идет на очень большое унижение, отправляя к царю посла, когда русские войска занимают турецкую государственную территорию. Сеймур очень бы рекомендовал убрать эти войска из Молдавии и Валахии: «Не противоречило бы ни великодушию, ни могуществу императора решить, чтобы отход русских войск начался во всяком случае с момента прибытия турецкого посла на русскую территорию» [31].

Конечно, ни принять посла, ни, особенно, эвакуировать войска из Молдавии и Валахии Николай не собирался.

Продолжая в Лондоне всячески внушать барону Бруннову (при деятельном сотрудничестве статс-секретаря Кларендона) мысль, будто британский кабинет ничего так не желает, как сохранения мира с Россией, лорд Эбердин (при столь же деятельном и самом прямом сотрудничестве того же Кларендона) не переставал предостерегать Николая в Петербурге. Английский посол при русском дворе сэр Гамильтон Сеймур в течение всей осени 1853 г. получал из Лондона «самые энергичные инструкции», и это бросалось в глаза генералу Кастельбажаку, который в самом деле не желал войны, не видел в ней никакой пользы и ни малейшего смысла для Франции и считал, что Англия имеет в виду не только охрану Константинополя, но и «Индию и истребление всех флотов». Его неизданные до 1891 г. письма к директору политического департамента французского министерства иностранных дел Тувнелю вполне ясно и точно говорят об этом. Будучи французским послом в Петербурге, Кастельбажак хорошо знал, какого рода инструкции получает из Лондона его английский коллега, и был убежден, что «истинный восточный вопрос для Англии это вопрос об Индии» [32].

5

16 августа 1853 г., наконец, состоялось долго откладываемое обсуждение в парламенте запросов оппозиции по поводу восточного вопроса. От имени правительства выступил сначала лорд Джон Россел, произнесший довольно бесцветную речь. Наиболее существенным в этой речи было не то, что он сказал, а то, о чем он умолчал: он ни звука не помянул о проекте «конвенции», вполне удовлетворяющем Николая,— о чем с таким жаром писал Бруннов и с таким чувством говорил автор этого проекта лорд Эбердин. Это гробовое молчание о конвенции

лучше всего обнаруживало всю фиктивность мнимых стараний премьера. Консервативная оппозиция устами Пэнингтона, Лэйарда и особенно Милнса укоряла правительство в том, что оно, с одной стороны, подстрекает Турцию к сопротивлению, а с другой — оставляет ее в такую трудную минуту без реальной поддержки.

Но только к концу заседания дебаты поднялись на принципиальную высоту. Произошла словесная дуэль между двумя старыми политическими врагами. Выступил Ричард Кобден, и как только он поднялся с места, палата общин уже твердо знала, что заговорит и молча сидевший до сих пор на правительственной скамье лорд Пальмерстон.

Кобден высказал о русско-турецком конфликте и об английской восточной политике те мысли, которые в неодинаковых выражениях, иногда с меньшей, иногда с большей полнотой не переставал высказывать с 1835 г., когда он опубликовал свою брошюру о России, тоже прямо направленную против пальмерстоновской политики.

Кобден настаивал, что восточный вопрос когда-нибудь должен получить свое окончательное разрешение в том смысле, что ислам уже дальше не может существовать вследствие своей несовместимости с современной цивилизацией христианских народностей. Именно в таких словах барон Бруннов передает эту часть речи Кобдена. Николай отчеркнул это место карандашом и написал на полях рукописи: «Это вполне мое мнение; это бесспорно» [33].

Губительная манёра Бруннова помещать в своих донесениях больше всего то, что может понравиться царю, привела здесь к тому, что он дал в своем отчете непомерно большое место речи Кобдена, влияние которого на внешнюю политику Англии в этот момент было равно нулю, да еще так расположил материал, что отчеркнутые Николаем, столь ему пришедшиеся по душе слова оказались в самом конце донесения. У Николая, имевшего крайне смутное представление о парламенте, могло составиться мнение о существующей в палате общин могучей поддержке его излюбленной идеи касательно раздела Турции. Пальмерстон решительно выступил против Кобдена, подчеркивая полную необходимость для Англии защищать Турцию от всяких попыток уничтожения ее самостоятельности.

В пылу дебатов во время парламентского заседания лорд Клэнрикард назвал русскую оккупацию Дунайских княжеств пиратским поступком. В ответ Николай I приказал барону Бруннову прервать всякие личные отношения с Клэнрикардом и сообщить об этом с соответствующей мотивировкой британскому кабинету [34].

20*

Почти ежедневно летят письма из Вены в Петербург. Мейендорф очень советует принять немедленно турецкое предложение. Тогда уйдут из турецких вод эскадры Франции и Англии и, что еще важнее, Рэдклиф и его политика будут обесценены (démonétisés), а министерство Эбердина укрепится. Какой момент, чтобы по уходе Рэдклифа завязать добрые отношения с Турцией! Султан очень расположен в пользу мира, и он — большой поклонник (admirateur) императора (Николая). Так золотит пилюлю для царя барон Мейендорф, взводя небылицу на Абдул-Меджида, который не терпел и боялся Николая и никаких иных чувств, кроме страха, к нему никогда не обнаруживал. Сбиваемый с толку Брунновым, который так часто с ним сносился, Мейендорф повторяет сказание о коренном разногласии между Эбердином и Стрэтфордом. Мало того, он верит даже и в Кларендона и прельщает Паскевича близкой перспективой отставки Рэдклифа, *если царь уступит:* «Вы знаете, что лорд Кларендон очень недоволен лордом Рэдклифом и его произвольными поступками (ses insubordinations)»,— и непослушному и недисциплинированному Рэдклифу, человеку тщеславному и раздражительному (vaniteux et irascible) грозит близкая отставка. «Его участь, так сказать, в наших руках». Словом, стоит уйти из Молдавии и Валахии — и ненавистный Рэдклиф исчезнет, и между Турцией и Россией водворится мир и благоволение [35].

Николай всерьез поверил, будто Австрия в самом деле «ультимативно» требует от турок уступить царю и будто не только Пруссия, но даже Англия и Франция, к своему собственному посрамлению, тоже совсем отказались от своей прежней политики и тоже поддерживают этот не существовавший никогда австрийский ультиматум. Таков был результат дружных усилий Мейендорфа из Вены, Киселева из Парижа, Бруннова из Лондона, Нессельроде из Петербурга, стилизовавших тревожную истину, чтобы сделать ее приятной его величеству. Вот что, ликуя, пишет царь князю Михаилу Семеновичу Воронцову, наместнику Кавказа, 27 августа (8 сентября) 1853 г.: «Давно ли французы и англичане возбуждали турок против нас, находя наши требования дерзкими, несправедливыми и нарушающими независимость Порты? Теперь они же эти самые требования поставили в ультиматум туркам вместе с Австрией и Пруссией. Занятие нами княжеств, конечно, дало нам огромную выгоду в том, что дозволяет нам спокойно взирать на всю нелепость, на все глупое ослепление, с которыми эти две державы действуют на вред туркам, быв прежде их горячими заступниками». Но все-таки так как «фанатизм и глупость не подлежит ни правилам ни расчету», то Николай предупреждает кавказского наместника, что возможна и война [36].

Мейендорф 13 (25) августа уже получил точную документацию из Константинополя, увидел, что турки предлагают варианты к формулировкам венской ноты, услышал от Буоля совет принять ноту с вариантами,— и понял, что только иронически можно было венскую ноту называть «ультиматумом», предъявленным Турции. Мейендорф очень советует принять турецкие варианты и уходить из Молдавии и Валахии. Его письма к Нессельроде от 26 и 28 августа на все лады твердят об этом. То он доказывает, что в этом будет великая нравственная победа Николая, то говорит, что эвакуация княжеств — «наилучший свадебный дар» для Франца-Иосифа (только что женившегося). Неспокойно у Мейендорфа на душе, потому что он ясно видит, что Австрия рано или поздно может сделать роковой для царя выбор между открывшимися пред ней двумя политическими дорогами. И вот снова он берется за перо и пишет Паскевичу, зная влияние Паскевича на Николая. Опять советует он приказать Горчакову «*приготовиться*» к эвакуации княжеств. Он полагает, что этого будет достаточно, чтобы эскадры двух западных держав ушли из бухты Безики. Он знает, как трудно добиться этого у Николая, и всячески расхваливает великолепное положение, в котором якобы окажется Россия после этого «великодушнейшего» поступка царя [37].

Николай, соглашаясь против воли на венский компромисс и уже лелея, явно, мысль сговориться с Наполеоном на случай близкой (так ему казалось) катастрофы Оттоманской империи, мог только мечтать о том, чтобы Турция отвергла венскую ноту и этим взяла на себя всю ответственность за дальнейшее. И его мечта исполнилась.

В конце августа 1853 г. в Париж, а спустя день в Лондон пришли известия, что Порта желает внести в венский проект некоторые изменения. Это опять было делом рук лорда Стрэтфорда-Рэдклифа, продолжавшего деятельнейшим образом, столь же искусно и скрытно, как всегда, работать для скорейшей подготовки формального объявления войны между Россией и Турцией, без чего немыслимо было и вступление в войну против России двух европейских великих держав. Уже в августе дипломаты знали, что Решид-паша желает внести какие-то поправки, а что Решид-паша — простой исполнитель предначертаний лорда Стрэтфорда-Рэдклифа, об этом знала уже с конца мая, т. е. с провала миссии Меншикова, вся Европа.

Стрэтфорд вел беспроигрышную игру: изменения, внесенные Решид-пашой в венскую ноту, были, в сущности, не очень существенны и во всяком случае никак не могли реально уменьшить права Николая касательно охраны православной церкви в Турции. Но Стрэтфорд знал, что Николай категорически заявил, что не допустит никаких изменений, и, следовательно,

война готова. В том-то и дело, что, по различным побуждениям и питая совсем различные надежды, Стрэтфорд-Рэдклиф и русский царь одинаково не боялись обострения отношений между Россией и Турцией. Чтобы воочию показать читателю, изучающему приемы дипломатии, до какой степени были искусственными поправки, продиктованные Стрэтфордом и внесенные Решид-пашой, я их тут напомню.

В ноте было сказано: «русские императоры всегда обнаруживали свою активную заботу о сохранении гарантий и привилегий греко-православной церкви в Оттоманской империи». А «поправка» Решид-паши гласила: «свою активную заботу о культе греко-православной церкви»,— и не сказано, где именно. А так как вычеркнуты также и слова о гарантиях и привилегиях, то фраза теряет свой прежний точный смысл.

Другая поправка относилась к тому месту венской ноты, где говорится о праве православной церкви на все те привилегии, которые будут даны другим исповеданиям. Решид-паша вставил: «подданных Порты». Следовательно, если, скажем, султан дает особые права католическим общинам в Турции, состоящим не в турецком подданстве, то православные, подданные Турции, не будут пользоваться этими правами.

Николай, опираясь на эти аргументы, заявил решительно, что он не принимает этой ноты, потому что при подобных поправках будто бы теряет смысл даже подтверждение договоров в Кучук-Кайнарджи и Адрианополе. Цель Стрэтфорда, к полному его удовольствию, была достигнута, и формальное объявление войны России стало отныне делом вполне решенным в Константинополе. «В императоре Николае есть нечто от Петра Великого, от Павла I и от средневекового рыцаря»,— писал Кастельбажак 16 сентября 1853 г. в доверительном письме Тувнелю, директору политического департамента, утверждая, что «старея — (в царе — *Е. Т.*) берет верх Павел I» и что не может он ни за что пойти теперь на уступки [38]. Кастельбажак только совсем неправильно придает тут решающее значение религиозным соображениям царя и его мнимым опасениям перед взрывом народного недовольства в случае уступок по этим поправкам к венской ноте. По существу эти поправки не имели и тени реального значения. Но Николай ухватился за возможность не выводить войск из Молдавии и Валахии и не снимать с очереди дня вопроса о разрушении Оттоманской державы.

Сообщая 30 августа Киселеву, что Решид-паша не соглашается подписать ноту, иначе как с некоторыми поправками, Друэн де Люис выразил свое огорчение и даже нечто вроде негодования против турок. А когда Киселев спросил, почему же французский посол в Константинополе Лакур не употребил всего своего влияния, чтобы заставить турок принять венскую

ноту без изменений, то Друэн де Люис стал уверять, что Лакур сделал будто бы все от него зависящее, но все его усилия оказались тщетными [39].

2 сентября, вернувшись из Дьеппа, где брал морские ванны Наполеон III, Друэн де Люис немедленно пригласил Киселева. Все, что он высказал, имело для русского посла (и для русского царя) тем большее значение, что на этот раз Друэн де Люис прямо и непосредственно излагал слова императора, от которого он прямо и прибыл. Французский министр снова говорил о неодобрительном поведении турок, из-за которых происходят ненужные задержки, и выражал надежду на снисхождение и великодушие Николая. Но при этом намекнул, что хорошо бы поскорее убрать войска из Молдавии и Валахии, и тогда французы и англичане уйдут из Безики [40].

Одновременно Друэн де Люис поручил генералу Кастельбажаку выразить в Петербурге надежду и уверенность, что царь не захочет мешать делу успокоения и не обратит внимания на столь второстепенные и несущественные поправки, которые внесло в венскую ноту турецкое правительство. Граф Буоль дал такое же поручение австрийскому послу в Петербурге. Друэн де Люис поручил также Кастельбажаку передать русскому канцлеру Нессельроде, что, может быть, французская эскадра войдет все-таки в Дарданеллы, но это случится не по политическим, а по *мореплавательным* соображениям (par des considérations nautiques) [41]. Царь подчеркнул карандашом это место, нарочитая бессмысленность которого бросалась в глаза. Но именно в этой бессмысленности, в этой умышленно-небрежной мотивировке сказывалась явная угроза.

Днем позже чем об этих турецких поправках и видоизменениях узнал в Париже Киселев из уст Друэн де Люиса, лорд Эбердин сообщил о том же в Лондоне барону Бруннову. При этом Эбердин сказал, что эти турецкие поправки он считает по сути дела пустыми и лишенными какого бы то ни было реального значения. Но прибавил, что считает серьезной оплошностью со стороны представителей держав в Константинополе, что они не заставили турок отказаться от каких бы то ни было видоизменений в венской ноте. Эти слова Эбердина в донесении Бруннова Николай I отчеркнул карандашом. Что все это новое, неожиданное осложнение устроено прежде всего благодаря интригам и каким-то пока еще неясным, но абсолютно несомненным подвохам со стороны лорда Стрэтфорда-Рэдклифа,— в этом, конечно, никаких сомнений быть не могло и меньше всего в Лондоне.

Курьезно, что Эбердин сам понимает, до какой степени это всем ясно, и потому спешит прибавить следующее: «Лорд Кларендон уже высказал это мнение (о предосудительности пове-

дения турок — *Е. Т.*) в частном письме, адресованном лорду Стрэтфорду, в самых резких и самых серьезных выражениях, с которыми лорд Эбердин вполне согласился». Эти строки в донесении Бруннова отчеркнуты двойной чертой царским карандашом. Уже и этих слов было достаточно, чтобы дезориентировать царя и внушить ему, будто Англия поддержит его, если он отвергнет турецкие поправки. Но дело этим не ограничилось. В конце беседы с Брунновым английский премьер сказал слова, которые как будто нарочно были рассчитаны, чтобы человек такой непомерной гордыни, как Николай, отказался сразу от всякой мысли об уступке: «В конце концов первый министр признает, что решение, от которого зависит исход этого инцидента, находится единственно в руках императора, он признает, что если его величеству будет угодно проявить благородство по отношению к туркам, из сострадания к их слабости, то честь этого решения всецело выпадает на долю нашего августейшего повелителя; но что если его величество будет настаивать на первопачальном проекте в неизменном виде, то в таком случае державы, собранные в Вене на совещание, должны будут сообразоваться с этим решением и употребить свои старания, чтобы победить сопротивление Порты новыми представлениями». Все последние строки опять-таки дважды отчеркнуты на полях Николаем[42]. Царь мог понять одно: ему следует проявить характер и не уступать, и тогда Европа его поддержит, и Стрэтфорд-Рэдклиф, получив строгий нагоняй от лорда Кларендона, уже не посмеет интриговать и поощрять Решида к сопротивлению... Теперь мы знаем, что никаких нагоняев Стрэтфорд не получал, никаких новых представлений державы в Константинополе не делали,— и отказ Николая, на который явно подбивали его, привел к объявлению со стороны Турции войны России.

Бруннов, которому после беседы с Эбердином лорд Кларендон сообщил, в чем именно состояли турецкие поправки и видоизменения, на всякий случай высказал, что эти поправки не так уж невинны и что, может быть, они и не будут приняты царем. Бруннов объясняет свое поведение канцлеру так: не зная еще, как решит царь, он, Бруннов, и не мог иначе действовать. Решит царь уступить — тем великодушнее покажется его уступчивость. Решит царь не уступать,— что же, сомнения Бруннова покажутся англичанам основательным предупреждением[43]. Ясно одно: в душе Бруннов очень хочет, чтобы царь уступил.

«Слабость Эбердина в соединении со злостностью Стрэтфорда парализует всякую возможность переговоров. В этой борьбе Эбердин, как более слабый, терпит поражение. У него шаг за шагом отнимают почву. Я могу только оплакивать это.

Но против подобной слабости нет лекарства. Я уже сказал вам, что его считаю почти конченным. Его решение принято. Он не останется у власти, если вспыхнет война. И так как он смотрит на свою отставку скорее с известным удовольствием, то он тем легче предоставляет себя одолевать, пока не наступит развязка, которая, в его глазах, явится для него избавлением. Именно так я объясняю себе его уступчивость, которая была бы смешна, если бы дело не было так серьезно»[44].

Мало было в истории Англии первых министров, которые так упорно держались бы за власть, как лорд Эбердин, в течение всей жизни, а особенно в 1853—1855 гг. Редко когда весь кабинет с Эбердином во главе так последовательно поддерживал лорда Стрэтфорда-Рэдклифа, как в течение всей этой осени 1853 г. (и особенно в сентябре). Наконец, забегая несколько вперед, напомню, что мало кто из ответственных государственных деятелей Англии так беспощадно критиковал всю восточную политику Николая, как именно лорд Эбердин, когда наступила весна 1854 г.

Таков был этот дипломат, так талантливо и так долго разыгрывавший перед бароном Брунновым некоего добродушного, но, к сожалению, слабовольного старичка. Бруннов лишь к концу отношений начал догадываться, насколько Эбердину нельзя доверять.

6

Уже 26 августа (7 сентября) 1853 г. из Петербурга была отправлена в Вену нота Нессельроде, в которой разбирались видоизменения, привнесенные Решид-пашой в венскую ноту. Нессельроде заявил, что с этими видоизменениями нота совершенно не удовлетворяет Россию.

Николай стал понимать, что в сущности Австрия ничуть и ничем не грозила Турции даже в случае отказа принять венскую ноту, которую почему-то он раньше считал «ультиматумом».

«...Последние перемены, которые турки хотели внести в Венский ультиматум, я отклонил, ибо никаких перемен в подобном деле быть не может, не то это не ультиматум; и есть всему мера и конец. Что будет, один бог знает. Англия и Франция турок с толку сбили, а теперь их же дело принять меры, чтоб поправить, что портили; мы же будем глядеть, чем вздор этот кончится; наше положение таково...»,— так писал царь Паскевичу[45].

Тотчас по получении русского анализа этих турецких исправлений и отказа России принять ноту в ее измененном виде Друэн де Люис выразил сожаление и беспокойство, как бы «фанатизированные умы» в Константинополе не подняли вос-

стания против султана. Вместе с тем он уверял, что державы посоветуют Порте подчиниться воле царя и отказаться от исправлений венской ноты. Но затем Друэн де Люис поехал в Сен-Клу, где жил в это время император, а вернувшись, довел до сведения послов: австрийского — Гюбнера и русского — Киселева нижеследующее. На дворе стоит уже осень, время года, когда нередко дуют на море ветры. А потому его величество император Наполеон полагает, что французскому флоту придется выйти из Безикской бухты (у входа в Дарданеллы), где он находится, и войти в Мраморное море, чтобы найти спокойный приют от этих ветров. Киселев, сообщая об этой внезапной угрозе, успокаивает Нессельроде (и царя), что без Англии Наполеон все-таки не решится так явно нарушить договор 1841 г., воспрещающий военным судам вход в проливы [46]. А кроме того, он очень надеется, что Англия, Франция и Австрия через своих послов образумят турок и те примут венскую ноту, убрав прочь свои поправки и изменения в тексте.

Царь, не веря Англии, еще верит в этот момент Францу-Иосифу: «... донесения венские удовлетворительны, хотя решительного ответа на могущее случиться еще нет. Видно, что крепко боятся Louis Napoléon, завтра, что получим, будет любопытно. С Горчаковым простился, все будет готово; прочее решит господь, на него, как и всегда и во всем, все наши надежды...» [47]

Что ровно ничего из этих представлений держав через их посланников в Константинополе не выйдет, это было, конечно, вполне ясно: звучало иронией, что султана Абдул-Меджида будет усовещевать и уговаривать отказаться от видоизменений и дополнений в венской ноте тот самый Стрэтфорд-Рэдклиф, который сам же и сочинял именно эти видоизменения и внушал Решид-паше мысль об их необходимости! Разумеется, турки оказались глухи ко всем этим мнимым усилиям склонить их к уступкам. «Партия войны усилилась в Константинополе до такой степени, что это значительно уменьшает влияние, которое до сих пор представители держав оказывали на диван»,— таково «мнение английских министров», сообщенное Бруннову еще до того, как начались (и сейчас же окончились) эти мнимые «уговаривания» и хлопоты держав в Константинополе [48]. Но вся Европа (и точнее всех Англия) знала, что «партию войны в Константинополе» изображает собой прежде всего «великий эльчи», «второй султан», словом, лорд Стрэтфорд-Рэдклиф.

А если так, почему же не убрать оттуда человека, прямо ведущего Турцию и Европу к войне? Ответ на этот вопрос был дан в точности главой кабинета лордом Эбердином барону Бруннову 20 сентября 1853 г., когда уже выяснилось, что турки и

не думают отказываться от внесенных ими по наущению Стрэтфорда дополнений к венской ноте и что поэтому война неизбежна: «Я бы отозвал Стрэтфорда, если бы я мог это сделать, но я этого не могу». Бруннов, как всегда, сожалеет о добродетельном и дружественном к России, но, увы, бессильном премьере [49]. Спустя ровно год англичане уже стояли перед Севастополем и готовились к первой бомбардировке,— а лорд Эбердин возглавлял по-прежнему британское правительство, и Стрэтфорд-Рэдклиф по-прежнему управлял Константинополем через посредство Абдул-Меджида и Решид-паши.

Как только официальная телеграмма из Вены известила 1 (13) сентября английское правительство, что Николай отверг все турецкие дополнения и поправки, лорд Эбердин высказался в том смысле, что Англия будет действовать вместе с Австрией и, следовательно (так продолжает надеяться Бруннов), в пользу России, производя должное дипломатическое давление на турок. Но при одном условии: чтобы русские, стоящие пока на левом берегу Дуная, не переходили на правый берег! В случае их перехода на правый берег явится угроза движения русских войск на Константинополь, и тогда Англия будет действовать уже не вместе с Австрией, а вместе с Францией [50], т. е. гораздо более враждебно относительно России. Лорд Эбердин даже с грустью предвидит, что в подобном случае общественное мнение заставит Англию принять участие в борьбе с Россией и даже в качестве главной участницы.

Но одновременно с этими, правда, очень условными, устными успокоениями со стороны Эбердина барон Бруннов получил совсем в ином духе проредактированное письменное извещение от статс-секретаря по иностранным делам Кларендона. Узнав, что царь решил отвергнуть турецкие поправки, внесенные в венскую ноту, лорд Кларендон написал немедленно Бруннову, что это «отнимает всякую надежду на удовлетворительное разрешение вопроса». Но Бруннова это ничуть не пугает. Дипломат старой школы, выросший в преданиях, правда уже сильно подорванного, но все еще во времена его молодости существовавшего Священного союза, барон Бруннов в тот момент был полон надежды, и бодрость духа в нем была необычайная: сам государь император собственной августейшей особой готовился побывать в Ольмюце, где должен был встретиться с императором австрийским и королем прусским, и три монарха божьей милостью решат все вопросы так, как им заблагорассудится, независимо от жалоб Кларендона. «Я знаю этого сорта жалобы. Они меня нисколько не пугают. Это возобновляется каждый день. Я слышал одно и то же десять раз в продолжение четырех месяцев. Завтра это будет в одиннадцатый раз. Я вам скажу, что из этого получится: *ровно ничего* (подчеркнуто в

подлиннике — *Е. Т.*). Не в Лондоне, а в Ольмюце мы узнаем, будет ли у нас мир или война, как сказал мне вчера лорд Эбердин»[51]. Эта последняя фраза поразительно характерна: Эбердин, поддакивая Бруннову, *тоже* почтительно признает суприматию трех монархов Священного союза перед Лондоном — и Бруннов этому верит, и ему это кажется вполне натуральным со стороны главы британского кабинета.

Стрэтфорд-Рэдклиф заставил турок внести изменения в венскую ноту, чтобы сделать ее неприемлемой для Николая; он же явно и усиленно толкает их к формальному объявлению войны России, твердо обещая помощь Англии, кабинет Эбердина его ничуть и ни в чем не останавливает, а Бруннов продолжает упорно закрывать глаза на то, что творится, продолжает слушать все, что ему говорит ежедневно лорд Эбердин. «Есть в этом государственном человеке (Эбердине — *Е. Т.*) чувство доверия к императору (Николаю — *Е. Т.*), которое живо меня трогает... Я хотел бы, чтобы император присутствовал при нашем разговоре. Он был бы поражен правдивостью и честностью языка первого министра. Все зло, сказал он мне, произошло от того, что не хотели меня слушать. Никогда бы нам не следовало посылать нашу эскадру в Безикскую бухту. Когда не удалась миссия князя Меншикова, следовало послать английского посла в Петербург, чтобы прямо апеллировать к благородству императора Николая. Я хотел этого. Но мне испортили эту комбинацию...» Приведя эти и тому подобные слова Эбердина, восхищенный ими, но и огорченный Бруннов пишет: «Вот разумный, честный, лояльный язык. Почему лорд Эбердин не обладает настолько же мужеством, насколько он обладает прямотой (droiture)».

Веря этому бессилию премьера (Эбердин *не колеблясь* послал флот в Безикскую бухту!), Бруннов продолжает верить и тому, что бедный Эбердин точь-в точь так же ненавидит злонамеренного Стрэтфорда-Рэдклифа, как сами Николай и Нессельроде. «Я вам ручаюсь, что английский кабинет хотел бы, как вы сами, послать его ко всем чертям (qu'il fût à tous les diables). Но никто не осмелится его отозвать из опасения, чтобы не сказали, что им пожертвовали из-за нас... Он требует, чтобы его поддерживали или сменили. Не хотят ни того ни другого. Я уже ничего больше не понимаю в этой путанице»[52].

Никакой путаницы не было в политике британского кабинета в сентябре 1853 г. Путаница была отчасти в голове барона Бруннова, а еще больше в его донесениях: внимательное изучение их приводит исследователя к несомненному выводу, что Бруннов уже с конца лета 1853 г. гораздо яснее понимал положение, чем он изображал его, когда писал для Нессельроде и царя. Это доказывают и его одновременные письма к Мейен-

дорфу в Вену. Ссылки на «путаницу» (l'embrouillamini), которую он уже вовсе «не понимает», были для него все-таки постепенным подготовлением его петербургских адресатов к неизбежной горькой истине после долгих оптимистических уверений, что Эбердин не выдаст и Стрэтфорд не съест.

В Англии решительно все сколько-нибудь прикосновенные к дипломатии и вопросам внешней политики люди твердо знали, что Стрэтфорд-Рэдклиф имеет самую непоколебимую поддержку британского кабинета во всем, что он делает в Константинополе. Вот выдержка из частного, строго интимного письма Блумфильда, английского посла в Берлине, к его жене леди Джорджиане Блумфильд: письмо относится к лету 1853 г. и касается жалоб русского правительства на интриги Стрэтфорда. «Никогда еще не было на свете человека, которого более несправедливо опорочивали бы и *который пользовался бы в большей степени лучшей поддержкой со стороны своей собственной родины»*. Блумфильд прибавляет к этому еще одно существенное свидетельство: «Сэр Гамильтон Сеймур сказал графу Нессельроде, что лорда Стрэтфорда *вполне одобряют в Англии* (quite approved at home) и, следовательно, если он желает кого-нибудь обвинять, он должен обращаться со своими жалобами к правительству, а не к агенту (этого правительства — *Е. Т.*)» [53]. И после этого Бруннов полагал, что Николай может всерьез поверить в коренные разногласия между Эбердином и Стрэтфордом.

Ознакомившись с текстом возражений, которые Нессельроде сделал на турецкие поправки, лорд Кларендон решительно воспротивился. Он увидел в том понимании венской ноты, которое обнаружилось в замечаниях Нессельроде, нечто такое, чего в самой венской ноте не содержалось.

И Кларендон написал соответствующую бумагу своему венскому послу Уэстморлэнду, отправлявшемуся как раз в Ольмюц, чтобы он просил у Николая разъяснений и подтверждений, что царь не намерен стремиться к разрушению Оттоманской империи [54]. Поправки Нессельроде повторяли и развивали основные мысли, высказанные в мае 1853 г. в последней ноте Меншикова, и в них Кларендон в Лондоне, а Решид-паша в Константинополе (оба под прямым влиянием лорда Стрэтфорда-Рэдклифа) усмотрели лазейку, посредством которой русское правительство может впоследствии по любому поводу, под предлогом защиты прав православной церкви, вмешиваться в отношения между султаном и его православными подданными.

7

Прибыв (еще по пути в Ольмюц) в Варшаву, царь приказал Нессельроде дать знать Бруннову, что Англия и Франция советуют Турции отказаться от видоизменений в венской ноте, но

советуют в таких мягких, вялых выражениях, что ничего из этого не выйдет, а вся надежда на «энергичный язык» австрийского министра Буоля. К вопросу об Эбердине и Стрэтфорде Николай относится гораздо реальнее и проницательнее, чем его лондонский посол:

«Если Эбердин хочет мирной развязки, ему следует отозвать Рэдклифа. Пока тот в Константинополе, соглашение четырех дворов не произведет на турок никакого действия» [55]. То есть: представления Англии, Австрии, Франции и Пруссии не побудят Турцию к уступчивости.

С 26 по 28 сентября 1853 г. Николай пребывал в Ольмюце и имел там долгую беседу со своим шурином принцем Вильгельмом, который в течение всей Крымской войны придерживался довольно враждебной России политики. Из Ольмюца Николай проехал в Варшаву и стал усиленно звать сюда прусского короля. С Францем-Иосифом он успел уже видеться и переговорить в Ольмюце.

Фридрих-Вильгельм IV боялся отказаться от поездки в Варшаву, но боялся и поехать туда, чтобы не раздражить Англию и Наполеона III. Он поэтому сначала отрядил Мантейфеля к английскому послу в Берлине, поручив ему успокоить посла. Но когда Мантейфель заверил Лофтуса со стороны короля, что Пруссия только о том и думает, как бы ей действовать в согласии с Англией,— вдруг совершенно неожиданно король Фридрих-Вильгельм IV отправился 2 октября 1853 г. в Варшаву на свидание с Николаем. А когда Лофтус живо поинтересовался, как следует понимать эту внезапную поездку, то Мантейфель сначала ответил, что ему и самому это путешествие короля не нравится и что он пытался отсоветовать королю ездить в Варшаву; потом Мантейфель еще прибавил, что король хотя и поехал к Николаю, *но никаких политических разговоров между королем и русским императором не будет*, ибо такое обещание уже наперед дано королю царем. Иначе Фридрих-Вильгельм и не поехал бы! Вся эта безнадежная ложь увенчалась еще одним совсем уже курьезным по своей нелепости измышлением: Мантейфель вздумал (противореча себе!) уверять Лофтуса, что политические разговоры между королем и Николаем в самом деле были, но главная цель Фридриха-Вильгельма IV при этом заключалась в том, чтобы помешать слишком большому сближению царя с Австрией! «Что должны были подумать в Лондоне о подобных попытках прусской дипломатии извернуться?» — с грустью спрашивает новейший германский исследователь и издатель интереснейших донесений лорда Лофтуса Файт-Валентин [56].

Изо всех сил стремился лорд Лофтус втравить Пруссию в войну с Россией и доносил в Лондон о том, что они с Мантейфелем обсуждали, нельзя ли теперь, в 1853 г., повторить тот прием,

который пустил в ход в 1790 г. король прусский Фридрих-Вильгельм II, заняв довольно определенную позицию против Екатерины, воевавшей тогда с турками. Мантейфель к концу года стал переходить на более дружественную Англии позицию, но решительно отказывался выступить против Николая, хотя бы только дипломатически. Тотчас же совсем неожиданно царь из Варшавы проехал в Берлин с мимолетным ответным визитом.

Но главного царь все-таки не достиг ни в Ольмюце, ни в Варшаве, ни в Берлине. Австрия решительно ускользала от его влияния, попытка смягчить враждебное настроение Наполеона III не удалась, и именно последовавшее из Парижа воспрещение генералу Гуайону откликнуться на приглашение Николая прибыть в Варшаву могло особенно встревожить Фридриха-Вильгельма IV и помешать ему занять открыто дружественную позицию относительно России.

В длинной протестующей ноте от 25 сентября 1853 г., направленной министру иностранных дел лорду Кларендону, Бруннов укоряет не только султана, но и Англию в нарушении договора от 1 (13) июля 1841 г., настаивая на том, что между Россией и Турцией никакой войны нет. Бруннов ссылается при этом на обмен писем, происшедший в свое время между Горчаковым и Решид-пашой. Горчаков заявил, что он не перейдет на правый берег Дуная, а Решид ответил, что, пока русские остаются на левом берегу, турецким войскам запрещены какие бы то ни было враждебные действия [57].

Бруннов жалуется в своей ноте, что как раз в те дни, когда турецкий диван выдвигает новые препятствия против мирного соглашения, англичане идут ему навстречу, посылая в Босфор свои суда в прямое нарушение договора 1841 г.

Нота Бруннова успеха не имела. Дело шло ускоренным темпом к войне.

Бруннов снова и снова, устно и письменно протестовал перед Эбердином и Кларендоном против ввода в Босфор британских военных кораблей, призванных туда по требованию Стратфорда будто бы для защиты султана и христианского населения столицы от (несуществующих) народных волнений. Ничего из этих протестов не вышло. Англичане стояли на том, что султан рассматривает уже Турцию как находящуюся в состоянии войны с Россией вследствие занятия русскими войсками турецкой территории Молдавии и Валахии. А потому султан вправе не считаться с договором 1841 г., воспрещающим проход военных судов через проливы. Бруннов возражал, что, пока Турция не объявила формально войны, никакой войны нет. Николай выразил полное свое согласие с Брунновым разом и на французском и на русском языках, написав карандашом на донесении своего лондонского посла сначала: «parfaitement parlé et agi»

прекрасно сказано и сделано), а потом по-русски: *«спасибо ему»* [58].

Не получая, конечно, никакого удовлетворительного ответа от Кларендона на свои протесты, Бруннов утешает себя и Нессельроде лишь тем, что зато уж теперь ничто не помешает русским войскам весной перейти и на правый берег Дуная. Нессельроде писал Бруннову, вновь указывая на вредоноснейшую для России роль английского посла Стрэтфорда в Константинополе. Бруннов отвечает: «Что касается соображений касательно злонамеренного влияния, оказываемого лордом Стрэтфордом на исход переговоров,— то я ничем не пренебрег, чтобы довести эти истины до сведения английских министров. *Они в них убеждены»*. Последние слова подчеркнуты царем, который на полях написал тут же: «слишком поздно» (trop tard) [59].

8

Окончательное решение царя относительно турецких поправок последовало 16 (28) сентября 1853 г. Оно состояло в следующем. Царь отвергает все турецкие поправки и требует, чтобы турецкий султан подписал венскую ноту без всяких изменений. Но одновременно русское правительство вручает державам для передачи Турции декларацию, в которой гарантирует, что Россия не использует никак этой венской ноты в ущерб независимости Оттоманской империи. Это была последняя уступка, предложенная австрийским правительством и на которую решил пойти Николай [60].

29 сентября 1853 г. лорд Эбердин приехал в русское посольство и имел беседу с Брунновым. Странная это была беседа, принимая во внимание и ее содержание и время, которое премьер выбрал для дружеского визита. Прибыл Эбердин, чтобы поздравить себя и Бруннова со счастливым известием: лорд Уэстморлэнд, английский посол в Вене, прислал из Ольмюца утешительные сведения: появился луч надежды (une lueur d'espoir) на мирное разрешение восточного кризиса. Основывает Уэстморлэнд свои надежды на личном разговоре с Николаем. Казалось бы, чего же лучше? Но ровно за три дня до этого радостного визита, т. е. 26 сентября, состоялось предъявление Турцией России ультимативного требования очистить Дунайские княжества. Мог ли Эбердин 2 октября решительно ничего об этом не знать? Если он ничего об этом не знал, то становится несколько неожиданным дальнейший крутой поворот разговора после столь благостного и умиротворяющего начала. Эбердин «пытался уяснить себе обстоятельства, которые могли бы повести материально к открытому разрыву между Англией и Россией, говоря, что ему нужно отдать себе отчет в пределах, до которых он может идти, не боясь вызвать кон-

фликт, ответственность за каковой, что его касается, он решил на себя брать». Бруннов, естественно, не решился взять на себя страшную ответственность за решение подобного вопроса и сказал, что ответить на это может лишь сам царь, и никто другой. Но Эбердин не отставал. «Я всегда думал,— сказал он,— что вход нашей эскадры в Черное море или в Балтийское море был бы у вас рассматриваем, как сигнал к разрыву. Вот почему я думаю, что от этого следует воздержаться». «Если у вас есть эта уверенность,— отвечал Бруннов,— то вы хорошо сделаете, если будете этого держаться. Не колеблясь, я должен вам сказать, что это лучший совет, который я мог бы вам дать». Бруннов отмечает «серьезный тон», который был в словах Эбердина. Дальше премьер весьма прозрачно намекнул, что в кабинете есть люди, желающие войны с Россией.

Положение серьезное. Англией фактически управляет не парламент, заседания которого отсрочены, и даже не весь кабинет, а четыре министра, от которых решительно все зависит, именно лорды Эбердин, Джон Россел, Пальмерстон и Кларендон [61]. Почему-то Бруннов не прибавил в своем донесении канцлеру, что из этих четырех человек Кларендон и Россел всецело идут во всех вопросах внешней политики за Пальмерстоном, а Эбердин хоть иногда Пальмерстону и противоречит, но никогда не одерживает окончательной победы над ним, когда дело доходит до официальных решений британского кабинета.

Вечером 1 октября Киселев получил в Париже все нужные бумаги, отправленные ему прямо из Ольмюца канцлером Нессельроде. Так как инициатива ольмюцких решений исходила формально от венского двора, то прежде всего Киселев сообщил всю относящуюся сюда экспедицию, им полученную рано утром 2 октября, Гюбнеру, австрийскому послу в Париже. Одновременно Гюбнер получил также должное уведомление от Буоля и официально передал предложение о посредничестве четырех держав Друэн де Люису. Друэн де Люис в разговоре с Гюбнером занял позицию, враждебную этому ольмюцкому проекту. Обеспокоенный Киселев постарался немедленно обратиться к графу Морни, в котором он видел человека, не очень расположенного к союзу с Англией. Морни обещал написать Наполеону. Киселев снова и снова просил обратить внимание императора на то, что Англия явно из чисто эгоистических целей «втравливает» Францию в войну против России. Киселев просил Морни внушить также уезжавшему в Англию своему родственнику лорду Лэнсдоуну, члену британского кабинета, что Франция не стремится к войне. Но Морни уже 4 октября уведомил Киселева, что Лэнсдоун настроен очень воинственно. А насчет настроений Наполеона III Морни предпочел вообще помолчать.

Вывод у Киселева к вечеру 5 октября составился вполне точный: Англия и Франция, может быть, и не связаны еще формальным наступательным и оборонительным союзом, но будут идти в восточных делах вполне нога в ногу [62].

А на другой день, 6 октября, австрийский посол Гюбнер уведомил Киселева, что Наполеон III отвергает выработанный в Ольмюце проект выступления четырех держав в посреднической роли [63]. Дело провалилось безнадежно и окончательно.

Как сказано выше, еще 14 (26) сентября 1853 г. Турция предъявила России ультиматум. Из европейских монархов первым получил это известие Франц-Иосиф (по близости расстояния Вены от Константинополя), вторым, уже по телеграфу,— Наполеон III, до которого весть дошла 21 сентября (3 октября). Из Парижа немедленно — тоже по телеграфу — известие было передано в Лондон.

Таким образом, когда 3 октября австрийский посол в Лондоне Коллоредо явился к лорду Кларендону и сообщил ему о результате ольмюцких совещаний, то Кларендон показал ему парижскую телеграмму и заявил, что ольмюцкая комбинация запоздала.

Собственно, ясно было, что и это объявление войны было подстроено именно затем, чтобы ольмюцкая комбинация оказалась запоздавшей.

Бруннов бросился к лорду Эбердину. Русскому послу еще казалось, что можно попытаться, несмотря ни на что, предложить все-таки султану и его дивану это ольмюцкое решение и заставить турок согласиться, если державы окажут энергичное давление. Но он тотчас же, из первого же разговора с Эбердином убедился, что ничего подобного не будет и никакого давления Англия на султана не окажет, а без Англии всякая эффективность вмешательства держав пропадала без остатка. Мало того, Эбердин даже высказал предположение, что турки теперь поторопятся начать активные военные действия, чтобы поскорее заставить Англию и Францию взяться за оружие и выступить на их защиту [64].

9

Вслед за своим ультиматумом от 14 (26) сентября Турция объявила России войну 22 сентября (4 октября) 1853 г. Вопрос теперь ставится в Англии гласно так: каким образом поскорее эту войну прекратить? И переговоры в этом духе берет на себя лорд Эбердин. Негласно вопрос другими ставится иначе: как привести Николая к необходимости не соглашаться на прекращение войны и этим превратить войну России с Турцией в войну России с обеими великими морскими державами, а если

повезет, то и с Австрией. И это дело берут на себя Пальмерстон, лорд Джон Россел, Лэнсдоун и Кларендон в Лондоне, Стрэтфорд-Рэдклиф — в Константинополе.

Австрийское правительство в этот момент (октябрь 1853 г.) боялось продолжения войны,— и Буоль выработал формулу: Турция особой нотой подтверждает все прежние права России по всем прежним русско-турецким трактатам и гарантирует также все права православной церкви и христиан.

Но Николай, все еще уверенный, что Турция останется без поддержки, требовал, чтобы все эти обещания были турками подтверждены не простой нотой, а особым новым мирным трактатом. Он знал, что турки на это не согласятся. Бруннову поручено было узнать точно и сообщить толком: каково же мнение по этому поводу британского кабинета?

И вот тут-то опять в Лондоне разыгрывается та же давно слаженная дипломатическая инсценировка, в которой каждое действующее лицо твердо знает и превосходно проводит предназначенную ему роль. Первым выступает лорд Эбердин. 17 (29) октября он приглашает к себе барона Бруннова и заводит долгую доверительную беседу. Премьер грустит по поводу предосудительного поведения членов своего кабинета и без утайки изливает скорбь свою другу Бруннову, который не может отказать тоскующему лорду Эбердину в своем гуманном участии. Прозорливый русский посол усматривает здесь естественную борьбу тори Эбердина против вига Пальмерстона. В Петербург от Бруннова летит в тот же вечер донесение канцлеру Нессельроде об этом важном и благоприятнейшем для России раздоре в недрах английского кабинета. «Мои предшествующие донесения указывали вашему превосходительству на печальные маневры (le triste manège) английской политики, которая, не имея храбрости объявить нам войну, стремится повести дела таким способом, чтобы разрыв сношений произошел с нашей стороны, с целью укрыться от ответственности пред общественным мнением. Характеризуя эту систему как политику *вигов*, я был совершенно прав. Я только что получил подтверждение этого в весьма неожиданном признании самого лорда Эбердина. Он мне сказал (дальше в рукописи кавычки: Бруннов приводит точные слова Эбердина — *Е. Т.*): „Чисто оборонительное положение, занятое императором (Николаем — *Е. Т.*), несмотря на турецкую провокацию, сбило с толку и крайне разочаровало тех членов совета министров, которые готовились к внезапному взрыву. Лэнсдоун, лорд Россел и Пальмерстон были застигнуты врасплох этим положением, которого они не предвидели. Эта позиция бесспорно такая, какая лучше всего подходит с точки зрения ваших интересов. Ваша защитная позиция не подвержена нападениям. Если турки непременно

хотят сражаться, они будут биты. Тогда самое трудное для вас — остановиться вовремя, не слишком далеко идя в использовании последствий победы. Нужно будет положиться на мудрость императора. Чего я желаю — это чтобы его величество был вполне убежден, что его умеренность больше всего раздосадует его противников. Чего они хотят — это истощить его терпение, доводя его до крайности, чтобы свалить на Россию вину за агрессию. Это — гнусная и виляющая политика"». Бруннов тут переводит английское слово «shuffling», употребленное Эбердином, французским словом «détournée». Это не совсем точно: русское слово «виляющая» более точно передает это английское значение. Слово «shuffling» соответствует также русскому понятию: «плутовской». Поговорив еще о пользе умеренности, огорченный Эбердин «после минуты молчания» продолжает: «Если бы я мог положиться на Стрэтфорда, я был бы спокоен. Но наибольшее несчастье — это иметь дело с человеком, которому не доверяешь и без которого не можешь обойтись. Однако я должен вам сказать, что в конце концов он, кажется, и сам не одобрил поведения турок. Оно его беспокоит. Вопрос в том, есть ли у него еще достаточно влияния на турок, чтобы иметь возможность их удержать, раз уж они устремились (une fois qu'ils sont lancés). Мы это скоро узнаем. Нужно же иметь несчастье, чтобы против своей воли быть вынужденным тащиться следом за этими животными, которых презираешь, и не иметь свободы их предоставить собственной их участи» [65]. И Бруннов, и Нессельроде, и Николай могли, в том случае, если бы они поверили искренности Эбердина, сделать вывод, что пока Эбердин — глава правительства, Англия все-таки воевать из-за Турции не решится. А Николай всегда спешил верить тому, во что верить было приятно.

Нессельроде еще 7 (19) октября написал царю коротенькую записочку, в которой на основании изучения последних поступивших к нему донесений выражает свое убеждение, что наступающая зима пройдет без войны с Англией и Францией «по той простой причине, что в это время года не будет места для морской войны, единственной, которую эти (два — *Е. Т.*) правительства могли бы вести против нас». Основывает же Нессельроде свое убеждение на том, что порт Балчик, расположенный в заливе Варны, не может дать неприятельскому флоту прикрытия от северных ветров. Николай вовсе не разделял этого оптимизма своего канцлера: «если турки на нас нападут, потому что именно они начали враждебные действия, то я не могу оставаться сложа руки (les bras croisés) и, конечно, я отвечу как следует (je riposterai ferme). Тогда, если англичане или французы покажутся в Черном море, их появление будет равносильно объявлению войны с их стороны, и встречи с ними

нельзя будет избежать. Вот что необходимо им внушить, *если они не стремятся к войне*» (последние слова царской пометы подчеркнуты самим Николаем) [66].

Но вот Австрия начинает недвусмысленно отдаляться от России и сближаться с западными державами. В русском посольстве в Берлине переполох: «чрезвычайный посланник и полномочный министр» Будберг внезапно узнает, что австрийский министр иностранных дел Буоль поручил австрийскому посланнику фон Прокешу предложить королю Фридриху-Вильгельму IV объявить, вместе с Австрией и всем Германским союзом, строгий нейтралитет (*la plus stricte neutralité*) по отношению к обеим воюющим державам: России и Турции. Будберг, по-видимому, полагает, что Буоль зондирует через Прокеша почву в Берлине тайком от Мейендорфа,— и он очень настаивает, чтобы Мейендорф повлиял на австрийца. Андрей Федорович Будберг был человеком вспыльчивым и не очень привыкшим сдерживаться. Да и времени не было привыкнуть: русские послы в течение слишком долгого срока чувствовали себя всюду и всегда на первом месте. Будберг возмущен поведением Буоля до крайности. Он понимает, разумеется, что Австрия боится (и люто боится) Наполеона III, но, по его мнению, трусость завела ее слишком уж далеко. «Прежде всего, как же забыть, что Австрия не может обойтись без нас и что чем больше она должна бояться Франции, тем более она принуждена рассчитывать на нашу поддержку». Будберг прямо называет поведение Австрии *изменой* и считает, что поведение австрийской дипломатии делает общее положение «гораздо более опасным». Если бы Австрия объявила, что она не вмешивается в войну, но и другим не позволит вмешаться, или что-либо подобное, это не было бы нарушением нейтралитета, но не было бы и таким вредным для России действием, как приравнение России к Турции. Будберг думает, что можно опасаться ухудшения отношений между Францем-Иосифом и Николаем [67].

Николай решил позондировать почву в Вене: как отнесется австрийское правительство к пересылке транзитом через Австрию десяти тысяч ружей в Сербию? Мейендорф предупреждает Нессельроде, что лучше бы даже и не запрашивать об этом Австрию, которая, конечно, откажет, боясь западных держав. И обращение царя непосредственно к Францу-Иосифу тоже нисколько не поможет, потому что Франц-Иосиф спросит совета у Буоля. Мейендорф полагает, что следует сделать дело иначе: занять войсками Малую Валахию, соседнюю с Сербией, и тогда будто бы сами сербы явятся к русским за этими ружьями [68].

Игра Стрэтфорда-Рэдклифа настолько выяснилась, что Мейендорф в Вене прозрел почти окончательно — ему ближе было

присматриваться к константинопольским делам, чем барону Бруннову. «Достоверно, что лорд Рэдклиф в последний момент хотел избежать разрыва; как много других людей, он отступил перед последствиями своих собственных принципов и своих собственных поступков»,— пишет Мейендорф канцлеру Нессельроде 22 октября, а через каких-нибудь шесть дней глаза Мейендорфа уже совсем раскрываются: «...остается посмотреть, не вставят ли палки в колеса турецкая гордость, личный интерес Решида и *ненависть к нам* Рэдклифа» [69]. Но если русский посол в Вене уже понял Рэдклифа, то он все еще продолжает заблуждаться относительно общего положения вещей. В самом деле. О каких это «палках в колеса» говорит Мейендорф? Это он все еще верит, что «четыре державы» (т. е. Англия, Франция, Австрия и Пруссия) желают вытащить воз (retirer le char), завязший в дипломатической трясине (embourbé), и примирить Турцию с Россией.

Бруннов сообщал 12 октября, что положение в Лондоне очень неутешительное, враждебность растет, тон газет определенно неприязненный. Эбердин просит Николая «помочь ему сохранить мир. По его (Эбердина — *Е. Т.*) мнению, распад Турции уже не очень отдаленная возможность, но следует ее отдалить». И следует сделать так в интересах самого царя, потому что сейчас он неминуемо натолкнется на враждебность Англии и Франции. Царь дважды отчеркнул карандашом это место. Из многочисленных царских пометок на полях этого донесения явствует, что он не сомневается в скором уже начале фактических военных действий. «Слишком поздно!» — отмечает он на полях против места, где Бруннов выражает надежду на мир [70].

17 октября Нессельроде написал, конечно, для прочтения вслух перед Эбердином и Кларендоном, ноту в форме письма на имя барона Бруннова. Канцлер говорит, что он просто не может поверить, что Англия будет воевать с Россией из-за Турции, тогда как Англия вместе с Россией воевала против Турции для освобождения Греции. «Мы можем еще закрыть глаза на присутствие (английской и французской эскадр — *Е. Т.*) с *этой* стороны Дарданелл» (т. е. в Мраморном море), но если эскадры появятся в Черном море, то война станет неизбежной. Как и сам Эбердин, Нессельроде выражает надежду, что наступающее зимнее время года сделает невозможными военные действия [71].

В воззрениях английских правящих кругов после объявления Турцией войны России Бруннов распознал следующие главные моменты. В решительно враждебном настроении против русской агрессии сходятся все. В том, чего нужно желать для Турции и населяющих ее народов,— есть расхождение: одни утверждают, что необходимо приобщить как можно скорее

турок к цивилизации и для этого англичане должны там строить железные дороги; другие полагают, что следует образовать на территории Оттоманской империи ряд самостоятельных христианских государств, «более или менее конституционных и антирусских», и тоже приобщить их к цивилизации путем постройки англичанами железных дорог. Вообще же «неясная смесь коммерческих спекуляций распространения железных дорог, политического влияния и протестантской пропаганды» играет большую роль в подготовке общественного мнения к идее «защиты» турецкой неприкосновенности от России [72].

14 (26) октября Николай в раздражении и нетерпении приказывает Бруннову «запросить прямо (interpeller directement) английских министров об их окончательных намерениях», т. е. намерены они воевать с Россией из-за Турции или не намерены; будут ли Англия и Франция поддерживать турок, объявивших уже войну России, с оружием в руках или не будут [73].

«Венская конференция умерла — мир ее праху. Ничего хорошего не может выйти в настоящее время из венской конференции по этим вопросам. Венская конференция означает Буоля, а Буоль означает Мейендорфа, а Мейендорф означает Николая; это знают турки и это знает вся Европа»,— раздраженно писал Пальмерстон Джону Росселю в конце октября 1853 г. [74]

«Мы перешли Рубикон, когда мы только приняли участие в Турции и послали наши эскадры ей на помощь... и правительства двух наиболее могущественных стран земного шара не должны пугаться ни слов, ни самих вещей, ни слова „война" и ни действительной войны... Мы поддерживаем Турцию для нашего собственного дела и во имя наших собственных интересов»,— убеждал Пальмерстон премьера Эбердина, который все не считал своевременным выступить против русской политики в откровенно-враждебном смысле [75] и все продолжал свои сердечные и дружеские беседы с бароном Брунновым.

10

Эбердин прикрывал свои действия указанием на давление, которое оказывает на Англию Наполеон.

Вспомним, что еще после получения в Париже известия о переходе русских войск через реку Прут Наполеон III приказал телеграфировать об этом в Лондон и предложил Англии ввести английскую и французскую эскадры в бухту Безика, у входа в Дарданеллы. Затем обе эскадры выделили несколько военных пароходов, которые вошли в Мраморное море, а затем и в Босфор под предлогом защиты султана от народных волнений в Константинополе, каковых волнений (как уже сказано) вовсе не было [76]. Все это узнал Николай не от Киселева, а от

Бруннова, потому что Бруннову как раз внушали, что наиболее враждебно ведет себя не британский кабинет, а Наполеон III, англичанам же (так выходило из десятка — не преувеличивая — заявлений Эбердина) приходится лишь скрепя сердце следовать за французским императором.

В начале ноября из Парижа в Лондон прибыл Владислав Замойский, один из ближайших к Адаму Чарторыйскому вожаков аристократической части польской эмиграции [77]. С ним был и Хржановский, эмигрант с 1831 г. Они распространяли известия об огромных будто бы военных ресурсах Турции, о ее силе, страшной для русских, о том, что от Англии потребуется лишь самая малая помощь туркам, и т. д. Важно было втянуть Англию в войну. Поляки не понимали, что не им дурачить маститых виртуозов политической интриги вроде Пальмерстона или Росселя, или того же Эбердина. Англия привыкла и умела как никто не поддаваться чужим уговариваниям, особенно же таких седовласых политических младенцев и старомодных романтиков, какими были Замойский или Ксаверий Браницкий и все их товарищи, кроме умного и тонкого престарелого Адама Чарторыйского. Все надежды поляков возлагались на большую европейскую войну, и Эбердин это отлично понимал. Он хвалился перед Брунновым, что, принимая Замойского, сказал польскому графу: «мы не будем говорить о политике!» Эбердин скромно умолчал при этом, что как раз в те же дни он благосклонно позволил, согласно рекомендации Стрэтфорда-Рэдклифа, чтобы в Лондон прибыл Намик-паша, выехавший из Константинополя со специальной целью заключить во Франции и Англии для Турции заем исключительно на войну с Россией. Мало того: еще Намик-паша не прибыл, а уже известно стало, что ему на лондонской и парижской бирже обеспечен золотой заем в 2 миллиона фунтов стерлингов.

Иногда Бруннов как будто начинал в это критическое время ощущать, что с ним затеяли какую-то сложную игру. Дело в том, что министр иностранных дел Кларендон, непосредственно ведущий от имени кабинета переговоры с Брунновым и поэтому державший себя то воинственно (если получал очередное внушение от министра внутренних дел Пальмерстона), то примирительно (если говорил по полномочию Эбердина),— стал, наконец, удивлять Бруннова этими непонятными шатаниями. «Что меня поразило в данном случае,— это легкость, с которой лорд Кларендон отказывается от своих проектов, едва лишь успев их создать. Это наблюдение уже пришло мне в голову еще при первом наброске конвенции, выдвинутом статс-секретарем (Кларендоном — *Е. Т.*)»,— так делился своим изумлением Бруннов с канцлером Нессельроде, когда обсуждались наперед обреченные на провал попытки «соглашения» между Рос-

сией и Турцией в октябре 1853 г. «Эти внезапные колебания имеют то неудобство, что они лишают ведение дел той степени устойчивости, которая необходима, чтобы дать созреть какому бы то ни было плану»,— добавляет Бруннов. Уже русский посол стоит на пути, который может привести его к разгадке сети интриг, опутавших его со всех сторон,— но нет: мелькнувший на миг проблеск света исчезает снова в непроглядной тьме. Вот Эбердин уверяет его, что турецкий кабинет идет уже на мир и что Омер-паше велено диваном прекратить враждебные действия на Дунае. А как раз в это время Омер-паша переходит на левый берег Дуная, т. е. ведет наступательные действия против русских сил. Как это случилось? Бруннов, естественно, вопрошает об этом испытанного друга России, прямодушного лорда Эбердина, ненавидящего коварство Пальмерстона. И Эбердин за словом в карман не лезет: «Лорд Эбердин мне об этом говорил в таком духе, что обнаружил подозрение, что в этом случае он был сам проведен двуличными турками» [78].

Наступил ноябрь. Турки не соглашались на то, от чего они отказывались упорно еще весной, когда Меншиков сидел в Константинополе: как тогда, когда Меншиков требовал от них *сенед*, так и теперь, когда Николай желал, чтобы турки включили в новый мирный трактат все его домогательства,— султан и диван, руководимые Стрэтфордом-Рэдклифом, не желали давать гарантии *турецким* подданным *в международно-правовом акте*, а предлагали эти права церкви и православных обеспечить лишь указом (фирманом) или нотой.

Бруннов боялся этого исхода. Он понимал, что Англия и Франция пользуются «независимостью Турции» только «как предлогом», а сами воодушевлены тоже чисто захватническими целями. Бруннов так об этом и говорит, только избегает слова «*тоже*», потому что неловко было русскому дипломату признавать царя агрессором [79]. Бруннов считает, что война будет невыгодна для России именно потому, что Турцию раздерут на части великие европейские державы.

Но эта робкая и запоздалая попытка Бруннова удержать царя осталась совершенно тщетной, и документ говорит об этом красноречиво. Бруннов пишет в самом конце донесения от 7 ноября: «С этой точки зрения, простое подтверждение (прежних — *Е. Т.*) трактатов, если осмелюсь думать, будет для нас самым победоносным из всех возможных результатов», а Николай на полях пишет карандашом: «fort douteux» (очень сомнительно) [80].

В той же обильной почтовой экспедиции от 7 ноября 1853 г., с которой Бруннов отправил в Петербург несколько донесений разом, канцлер Нессельроде нашел еще одно, очень для Николая утешительное известие, единственный недостаток которого

заключался в том, что оно было совершенно неверным от начала до конца. Бруннову внушили, будто Стрэтфорд-Рэдклиф совсем решил уйти в отставку и уезжает из Константинополя. «Он утомлен. Он хотел бы ускорить окончание нынешнего кризиса соглашением и затем вернуться в Англию». В этом известии — ложь каждая фраза: Стрэтфорд именно тогда, в октябре — ноябре 1853 г., проявлял самую кипучую деятельность, он изо всех сил мешал какому бы то ни было соглашению, он изо всех сил обострял «нынешний кризис», он и не думал уходить со своего поста. Но лживое известие о его отставке лишний раз должно было подтолкнуть Николая на решительные действия и снова удостоверить его в том, что друг Эбердин, удаляя из Турции врага России в такой напряженный момент, все-таки вовсе не намерен оказать Турции реальную помощь [81]. И, сообщая эту умышленную ложь в Петербург, Бруннов не может при этом не указать скромно и на собственную свою проницательность: он «в последнее время» вообще заметил «изменение в поведении лорда Стрэтфорда», именно «поведение его сделалось миролюбивым, после того как было воинственным».

11

Распространение преувеличенных известий о деле под Ольтеницей, а также явная нерешительность и растерянность русских властей на Дунае оказали губительное влияние на дипломатическое положение России. Как раз в середине ноября в Вене, где продолжали еще бояться возможного разгрома Турции, решили выступить с посредничеством и предложить обеим воюющим странам перемирие для выработки проекта соглашения. Конечно, без поддержки Лондона и Парижа австрийский план был совершенно немыслим. Но когда английский посол в Вене лорд Уэстморлэнд обратился с соответствующим запросом в Лондон, оттуда последовал отказ присоединиться к австрийскому предложению. В Париже отнеслись к этому плану тоже вполне отрицательно. И это прямо объяснилось «самыми ложными представлениями о движениях турецкой армии в Валахии» [82].

Кампания на Дунае шла и после Ольтеницы без сколько-нибудь заметных успехов для русских войск. На юге Кавказа турки стали проявлять активность, лондонская пресса в значительной своей части усиленно распространяла слухи о больших турецких силах и о том, что даже при самой небольшой помощи со стороны Англии и Франции Турция может успешно сопротивляться нападению [83].

Генерал Барагэ д'Илье, окончательно назначенный в конце октября 1853 г. послом в Константинополь, человек характера

вспыльчивого, неукротимого, должен был играть роль, как тогда шутили в Англии, «французского Меншикова». Он повел в Константинополе не только антирусскую политику, для чего его и посылали, но и антианглийскую, чего никто ему не поручал. При огромной наглости лорда Стрэтфорда-Рэдклифа, очень усилившейся с тех пор, как он толкнул Турцию на объявление войны России, при манере Стрэтфорда-Рэдклифа третировать послов всех других держав как незначащие величины, люди опытные уже наперед предвидели, что конфликты между ним и Барагэ д'Илье неизбежны. «Это назначение, слух о котором вчера распространился,— поспешил донести в Петербург Киселев,— было оцениваемо различно... говорили, что при известном характере лорда Стрэтфорда и при характере, приписываемом новому французскому послу, эти двое коллег с трудом смогут долго оставаться в согласии...» [84] Действительность превзошла ожидания, вся зима и весна 1853—1854 гг. прошли в ожесточенных пререканиях, взаимных злобных и колких выходках и умышленных дерзостях; отношения между генералом Барагэ д'Илье и лордом Стрэтфордом-Рэдклифом с самых первых недель пребывания нового французского посла в Константинополе сделались совсем невозможными. «Я предпочитаю видеть русских в Константинополе, чем оставить Галлиполи в руках англичан»,— писал Барагэ д'Илье как раз перед Синопским боем [85]. Ревниво-захватнические тенденции обеих «защитниц» турецкой самостоятельности и неприкосновенности — Англии и Франции — необычайно точно персонифицировались в милорде и генерале, скандальнейшим образом ведших открытую и яростную борьбу между собой перед лицом и без того насмерть перепуганного Абдул-Меджида. «Я боюсь, что встреча Барагэ д'Илье со Стрэтфордом будет вроде встречи ядра с бомбой»,— с беспокойством говорил французский министр Друэн де Люис, когда Наполеон III, помимо его воли, послал задорного генерала в Константинополь. И от «ядра» и от «бомбы» страдали прежде всего, конечно, турки, с момента входа военных судов союзников в Босфор в сентябре 1853 г. забывшие, что такое политическая самостоятельность. Впрочем, Барагэ д'Илье в Константинополе оставался очень недолго. Летом 1854 г. мы его видим уже командующим войсками под Бомарзундом.

Печать в Париже принимала в октябре и ноябре 1853 г. все более и более угрожающий тон. Дело дошло до того, что посол Киселев стал негодовать на стесненное положение прессы во Франции: «Нисколько не сожалея о прежней гибельной свободе прессы в этой стране, я не могу не оплакивать в настоящий момент, что нынешний режим, которому печать подчинена, налагает на нее обязанность быть пристрастной и вынуждает ее извращать истину...» Неспроста Киселев решился горевать

о погибшей свободе печатного слова перед Николаем, который, впрочем, и сам в это время подумывал уже (и очень крепко) о том, как бы взбунтовать революционными прокламациями христианских подданных султана и побудить их к восстанию. Киселева в середине ноября удручали враждебные выходки французской печати лично против Николая. «Не нужно скрывать от себя,— доносит он Нессельроде,— положение стало хуже из-за опубликования нашего манифеста», т. е. царского манифеста от 20 октября (2 ноября) 1853 г. о войне с Турцией [86]. А тут еще подоспела неудача под Ольтеницей, неимоверно раздутая во Франции и Англии. И снова Киселев ищет сочувствия у Николая по поводу отсутствия свободы французской прессы: «Партийность и недобросовестность правительственной печати, единственной печати, единственной, которая имеет возможность говорить без стеснений, уже успели взволновать и поколебать общественное мнение... Поражения, которые, судя по тому, что здесь публикуется, наши войска будто бы потерпели на Дунае, влияют на умы мало благоприятно для нас...» [87]

12

Нужно сказать, что довольно все-таки неожиданно Киселев был обрадован приглашением Наполеона III прибыть к нему во дворец в Фонтенебло. Это было время, когда французскому императору необходимо было дотянуть до ранней весны, чтобы успеть закончить вооружения и, главное, завершить дипломатическую подготовку привлечением Австрии, которая все еще не желала высказаться сколько-нибудь определенно. А кроме того, Наполеон III и до войны и, как увидим в своем месте, даже во время войны не упускал случая дать понять русским представителям и довести до сведения русского двора, что, собственно, не он, но Англия ведет дело к войне. Прием Киселева во дворце Фонтенебло был очаровательный. Наполеон III признавался в теплой симпатии к лояльнейшему Николаю, выслушал от Киселева, как сердечно относится Николай к благороднейшему французскому императору; поговорили о досадных недоразумениях и обоюдных огорчениях. Конечно, коснулись последнего по времени из этих огорчений: истории с генералом Гуайоном. Это был тот французский генерал, с которым Николай, как уже было нами сказано, встретился во время своего сентябрьского пребывания в Ольмюце, осыпал его всевозможными комплиментами и по его личному адресу и по адресу Наполеона III и пригласил его в самых лестных и ласковых выражениях в Варшаву, но французский император вдруг воспретил ему принять приглашение, без объяснения причин. Николай был тогда очень обижен этим грубым и умышленным публич-

ным оскорблением, и теперь Киселев коснулся этого инцидента, пользуясь удобным моментом пребывания в гостях у хозяина Фонтенебло. Хозяин ответил, что во всем (будто бы) виновата «глупость» и «неловкость» Гуайона, и это очень будто бы ему, императору, жаль, что так вышло. В дальнейшем Наполеон III стал уверять, что он очень стремится к мирному разрешению восточного вопроса, и т. д. Между прочим Киселев жаловался, что французские газеты грубо бранят царя и чернят русскую политику. На это Наполеон III ответил встречной жалобой на непочтительность к нему лично со стороны петербургской «Северной пчелы». Киселев возразил, что есть разница: французские газеты читают в Европе все, а «Северную пчелу» даже в России никто не читает [88].

Киселев гостил в Фонтенебло у Наполеона III несколько дней, и хотя сам император уже о политике с ним не разговаривал, но русский посол за эти дни имел три больших разговора с такими гостями дворца, как маршал Сент-Арно, двоюродный брат императора (сын короля вестфальского Жерома) принц Наполеон и, наконец, прибывший из Лондона для доклада французский посол в Лондоне граф Валевский.

Сент-Арно с солдатской прямолинейностью собственно дал Киселеву основное объяснение, из которого русский посол мог бы вполне точно уразуметь, почему его так ласково принимают, так дружески пригласили погостить в великолепном дворце в Фонтенебло и так сердечно с ним говорят о Николае. Сент-Арно сказал, что если императора Наполеона «принудят» воевать, то через два месяца у него будет совсем готовая к походу армия в 250 тысяч человек, через шесть месяцев — 650 тысяч, «превосходно экипированная и вооруженная и, может быть, лучшая, какая когда-либо была». Правда, он потом спохватился и стал уверять, что Франция вовсе сейчас и не вооружается и что вообще воевать с Россией на востоке было бы безумно, и т. д. Киселев совсем не понял, что Сент-Арно сначала сказал правду, а потом стал заглаживать сказанное и что Наполеон III хочет еще два-три-четыре месяца повременить, пока армия не будет вполне готова. Напротив, он сделал вывод, что и маршал Сент-Арно — личность вполне миролюбивая...

Другой разговор был у Киселева с принцем Наполеоном. Путаная голова, либеральничающий наследник престола (каковым он был до марта 1856 г., когда императрица Евгения родила сына), принц Наполеон настоящим влиянием при дворе не пользовался, и его миролюбие и благожелательность к России, тоже очень обнадеживавшие Киселева, никакого реального значения на самом деле не имели. Киселев старался убедить принца, что Франция собирается таскать каштаны из огня для Англии, что Англия враждует с Россией не только из-за

Турции, но также из-за «Азии», т. е. из-за Персии, из-за Индии, из-за Китая, «который становится новым миром как рынок для английской торговли и промышленности», тогда как французы в этих азиатских вопросах вовсе не заинтересованы. Киселев говорил далее, что если союзники сожгут русский флот, то это будет ударом именно для Франции, потому что тогда она останется на морях уже один на один против Англии. Наконец, он пугал принца тем, что будто бы царю стоит лишь сказать христианским подданным султана: «делайте что хотите!» — и эти «двенадцать или тринадцать миллионов» восстанут против султана. Принц слушал, а Киселев все говорил и говорил, и на пяти страницах большого формата еле уместилась его длинная речь. По его мнению, на принца его слова произвели большое впечатление [89]. В этом можно очень усомниться, судя по дальнейшим заявлениям и поступкам принца.

Наконец, был у Киселева разговор с графом Валевским. Валевский сказал, что, по его мнению, прежде всего нужно заключить перемирие с турками, а затем собрать конференцию из шести держав (Россия, Турция, Англия, Франция, Австрия, Пруссия). Эта конференция и должна уладить все разногласия по восточному вопросу и предупредить новую войну. Киселев осторожно отклонил разговор на эту тему, сославшись на то, что ему неизвестно, как к этому проекту отнесется русское правительство.

Но Киселев не уловил, что из всех насквозь фальшивых речей о миролюбии, которых он наслушался в Фонтенебло, только слова Валевского были по сути дела искренни: он в самом деле продолжения войны России с Турцией не желал. В этом он расходился и с императором Наполеоном и с императором Николаем.

13

Радуя Киселева ласковым приемом, в это самое время, в течение всего октября и ноября 1853 г., французский император не переставал всевозможными путями, конечно «неофициально», угрожать Францу-Иосифу войной в Ломбардии и Венеции, если Австрия не отмежуется от России самым решительным образом. Киселев вернулся из Фонтенебло, очарованный приемом, — и австрийский посол в Париже барон Гюбнер иронически пишет Буолю, что Киселев теперь «говорит, а вероятно также и пишет, что император Наполеон не думает о войне!!» (Гюбнер тут даже ставит два восклицательных знака.) «Русские дипломаты, по крайней мере некоторые из них,— продолжает Гюбнер,— имеют ту особенность, что они всегда видят вещи сквозь очки своего двора. Отсюда происходит, что всегда любят читать их донесения, но это имеет и свои неудобства» [90].

В данном случае неудобство заключалось прежде всего в том, что снова Николай удостоверился, будто бояться ему нечего: если Франция не выступит, то Англия ни на что очень опасное не решится.

Следует, однако, заметить, что в это время, поздней осенью 1853 г., царь уже переставал с прежней доверчивостью относиться к оптимизму своих послов.

Так, Николай из Петербурга увидел то, чего Бруннов никак не мог понять, сидя в Лондоне. Еще 3 ноября вечером русский посол получил письмо от Нессельроде с *приказом* «исследовать окончательные намерения английского министерства». Барон Бруннов немедленно попросил свидания с Эбердином и «объявил ему без утайки и без околичностей (sans réserves et sans détour), что нашему августейшему повелителю важно знать, чего ему ждать». Вот к чему, в изложении Бруннова, свелся ответ первого министра. Англия не собирается объявить войну России,— и если война произойдет, то инициатива изойдет лишь от России. «Английское правительство ничего не сделает, что могло бы нас обеспокоить в той военной позиции, которую мы заняли на левом берегу Дуная, пока война не будет перенесена на правый берег». На полях против этих слов Николай карандашом написал: «А турки могут неожиданно перейти на левый берег. Вот парадокс, достойный англичан». Дальше Бруннов передает, что Эбердин сочтет себя призванным подать материальную помощь Порте только в том случае, если «морская атака с нашей стороны будет направлена против какого-либо из турецких черноморских портов. В этом случае английская эскадра защитила бы эти порты от нашего наступательного движения. Приняв эту систему, правительство ее величества считало бы, что оно еще не находится в войне с Россией». На полях против этих слов Николай написал карандашом: «c'est infâme» (это подло) [91]. Такая же пометка Николая находится вверху первой страницы и относится, следовательно, ко всему документу в целом. Николай уже до такой степени считал для себя отступление невозможным, что сделал еще более многозначительную пометку при следующем абзаце донесения. Бруннов пишет: «Однако, несмотря на непредусмотрительность и ослепление турок, он (Эбердин — *Е. Т.*) не чувствует себя свободным предоставить их собственной участи, ибо если он останется нейтральным в течение этой борьбы, то он предаст Оттоманскую империю на разрушение,— а это катастрофа, которую Англия желает предупредить на возможно больший срок». Николай пишет на полях: «ainsi c'est la guerre avec nous; soit» (итак,— это война против нас, пускай). Бруннов прибавляет к этому роковому, по существу своему, донесению несколько обычных своих успокоительных для царя

словесных завитушек и комплиментных концовок насчет «слабости» Эбердина, «бессильных бравад английских министров», насчет того, что Эбердин, мол, сам понимает постыдную роль Англии и т. д. Но на этих заключительных полутора страницах карандаш Николая бездействует. Царь узнал, наконец, то, что ему было нужно, однако узнал, как и все, что он узнал в эти фатальные последние два года своей жизни,— слишком поздно.

Итак, война с Турцией может повлечь за собой войну с Англией, но *теперь*, в ноябре, отступить перед угрозой Англии, уже ведя войну с Турцией, казалось царю совсем невозможным. Да и как это сделать, когда турецкий флот крейсирует около Кавказа? Как признать, что турки имеют отныне право нападать на русские берега, но русские лишены права нападать на берега турецкие, потому что Пальмерстон и Стрэтфорд-Рэдклиф воспретили это строго-настрого ему, императору и самодержцу всероссийскому?

Канцлер Нессельроде счел своим долгом объяснить Бруннову кое-что, чего посол из своего лондонского далека все еще не очень понимал. «Я вполне разделяю, мой дорогой барон, ваше мнение о всех невыгодных сторонах, на которые вы указываете и которые должны для нас произойти из войны, предпринятой против Англии и Франции,— так начинает Нессельроде.— Но что же делать, если упорно нам не оставляют другого выбора, представляя нам условия мира, которые мы не можем принять без унижения». Дальше Нессельроде уточняет свою мысль (т. е. мысль Николая; его личная мысль заключалась в том, что нужно поставить точку и перестать думать о войне). Мысль царя в этот момент, т. е. 16 (28) ноября 1853 г., когда писалось это письмо, такова: если бы Турция была прежней Турцией, «слабой, безобидной, дружественной, с которой мы могли бы сосуществовать в добрых отношениях»,— тогда воевать было бы незачем. Но совсем другое дело, если мы имеем дело с Турцией враждебной, злонамеренной, доступной всем иностранным влияниям, служащей пристанищем всем эмигрантам, причиняющей нам беспрестанные затруднения»; притом эта Турция и в дальнейшем будет опираться на враждебные России кабинеты. При этих условиях для России предпочтительнее «другая комбинация» (т. е. война), при которой создастся «новый порядок вещей несомненно неизвестный, проблематический», может быть, тоже чреватый другого рода невыгодными сторонами, но все же менее неблагоприятный для России, чем тот, который создался сейчас.

Словом, с разными оговорками, канцлер поясняет, что России нечего особенно стремиться избежать войны из-за вопроса о разрушении Оттоманской державы. Очень характерно, что губительные льстивые донесения Бруннова и Киселева, с такой

готовностью передававшие дезориентирующие заявления Эбердина и Наполеона III,— сыграли-таки свою роль. Вот что пишет Нессельроде, все время излагающий тут мысль царя: «Будем, однако, надеяться, что какие бы ни были в этом отношении тайные задние мысли лорда Пальмерстона и его сотоварищей,—но, может быть, мысли самого Луи-Наполеона, влияние более умеренных членов (английского — *Е. Т.*) министерства, в согласии с материальными и моральными интересами, которые повсюду в Англии и во Франции ополчаются в пользу сохранения мира,— еще дадут возможность помешать Великобритании и Франции увлечь нас вместе с собой в эту авантюру» [92].

Итак, значит, все дело только в злонамеренном Пальмерстоне и его сообщниках,— а сил, борющихся за мир, сколько угодно, и в их числе не понятый доселе светом и не оцененный неблагодарным человечеством скромный миролюбец и миротворец император французов Наполеон III, так гостеприимно принимающий и ласкающий в своих загородных дворцах русского посла Киселева.

14

Но вот, совсем неожиданно, часть английских и французских судов входит в Черное море под предлогом, что им нужно увезти консулов, удаляющихся из Дунайских княжеств. Как только известие об этом было получено, Бруннов забрал из Английского банка 25 миллионов франков, находившихся там на счету русского министерства финансов. Бруннов спешит затем к Эбердину, который уверяет, что эта «эскадрилья», вошедшая в Черное море, не питает никаких замыслов против России. Наблюдательный (по собственному о себе мнению) Бруннов с большой самоудовлетворенностью отмечает как свой собственный «твердый тон» при этих объяснениях, так и «крайний упадок духа и замешательство» лорда Эбердина. Бруннов говорит, что в случае если «эскадрилья» будет помогать туркам, то русские все равно без колебаний исполнят свой долг. «Англия не может одновременно быть другом России и союзницей Турции»,— заключил Бруннов. Очень он был доволен своим суровым красноречием: «Эти рассуждения повергли первого министра в замешательство, которое тяжело было наблюдать». Растерявшийся (по мнению Бруннова) и угнетенный лорд, как всегда, порицал действия возглавляемого им правительства и подчиненных этому правительству морских властей. «После моего замечания, что никакое морское предприятие с нашей стороны не дало даже ни малейшего предлога к настоящему движению английского и французского адмиралов, лорд Эбердин был принужден сам согласиться, что мотив, которым они пы-

таются окрасить (colorer) это движение, умаляя его размеры, мелочен и заслуживает презрения». Бруннов даже приводит тут этот термин («заслуживающий презрения») не только по-французски («méprisable»), но и по-английски, как сказал в точности сам Эбердин: «contemptible». Человеколюбивый Бруннов даже испытал сострадание к угнетенной невинности лорда Эбердина: «После этого признания первого министра мне ничего не приходилось уже добавлять, чтобы дать ему почувствовать унижение, до которого он, к моему сожалению, должен был опуститься перед представителем императора (l'humiliation à laquelle je regrette qu'il ait eu à s'abaisser devant le représentant de l'Empereur)» [93]. Пред лицом явно враждебных актов британского кабинета барон Бруннов уже не верит прочим министрам, но Эбердину еще верит и огорчается, что у бедного лорда такие злостные товарищи и своевольные адмиралы и что старик так унижается перед ним, Брунновым, что даже смотреть жалко (pénible à voir).

Назревали грозные события. Близился конец ноября. В Черном море крейсировал Нахимов, зорко высматривая неприятеля у Анатолийских берегов. Наполеон III внезапно вызвал в Париж своего лондонского посла графа Валевского, и Бруннов с тревогой ждал возвращения Валевского из Фонтенебло, от императора, с новыми инструкциями.

До русского посла дошли уже слухи о «проекте интервенции, созревшем в уме Луи-Наполеона».

Император французов намерен обратиться к Англии, а затем и к Австрии и Пруссии с предложением сообща, вчетвером, выступить с «посредничеством» между Россией и Турцией. Это посредничество, как справедливо предвидит Бруннов, окажется фактически поддержкой для Оттоманской Порты в ее сопротивлении русским требованиям. «Луи-Наполеон рабски копирует историю царствования своего дяди и слишком легко забывает его конец»,— пишет Бруннов [94]. Однако русский посол не унывает. Во-первых, лорд Эбердин не расположен слишком связывать Англию с Наполеоном III и вообще он противник активных мер. А во-вторых, кроме верного, хоть и слабохарактерного («одолеваемого уже теперь своими коллегами») друга Эбердина, есть у России еще и другой, не менее испытанный и надежный друг, именно Австрия. За такими двумя верными и чистосердечными друзьями не пропадешь, и все обойдется благополучно. Эбердин, «я полагаю, ограничится словами, а Австрия не только сама не пойдет за Луи-Наполеоном, но и воспротивится всяким попыткам французской дипломатии повлиять на Берлин». Значит, царь может вполне успокоиться. Все это писалось 14 (26) ноября 1853 г., за четыре дня до Синопа.

Уже 2 декабря барон Бруннов узнал о новом плане, который был составлен в Париже. План состоял в том, что шесть держав — Россия, Турция, Франция, Англия, Австрия и Пруссия — должны собраться на совещание, которое и выработает основы мирного договора между Россией и Турцией. Бруннов этим планом недоволен. Почему Австрия согласилась на этот план? До сих пор только ее одну августейший император всероссийский почтил своим доверием и согласился, чтобы она посредничала между ним и Турцией. Отчего бы и не держаться этого дальше? Если соберутся шесть держав, то ведь Англия и Франция всегда будут на стороне Турции, Пруссия замкнется в своем нейтралитете и, таким образом, России будет помогать одна только Австрия (в этом-то Бруннов нисколько не сомневается) и Россия окажется в меньшинстве. Барон Бруннов недоволен. Но зато Эбердин продолжает его утешать своим похвальнейшим умонастроением. Так, премьер Великобритании «с некоторых пор» относится с недоверием к министру иностранных дел лорду Кларендону. Дело в том, что Кларендон позволяет себе скрывать от Эбердина свои антирусские проделки. Бруннов сообщает Эбердину о кознях Кларендона, о протесте Гамильтона Сеймура в Петербурге по поводу назначения нового русского генерального консула в Белграде,— а Эбердин только и знает, что «выражает величайшее изумление» по поводу всего и заявляет, что «абсолютно ничего не знал». Мало того, когда Бруннов передает ему о поступках Кларендона, Эбердин восклицает: «Невозможно, чтобы лорд Кларендон сделал такую глупость!» Когда Бруннов передает резкую отповедь, полученную в Петербурге Сеймуром, то Эбердин поддакивает: «Хорошо отвечено! Сэр Гамильтон Сеймур получил только то, что он заслужил, и Кларендон тоже». Словом, все продолжается по-прежнему. В Петербурге уже начинают понимать исполняемую в Лондоне дипломатическую пьесу и спрашивают Бруннова, кому же, наконец, верить, кто истинная власть в Англии? А на это Бруннов дает вполне положительный ответ: верьте Эбердину, а не Кларендону. «Выступления, орудием которых сделался сэр Г. Сеймур, дают вам, господин канцлер, часто очень неверное понятие о мысли, руководящей политикой кабинета, *главой которого является лорд Эбердин*» [95]. Что и требовалось доказать. Барон Бруннов так до конца и не понял, что все усилия Пальмерстона, Кларендона, Стрэтфорда именно к тому и клонились, чтобы он написал эту фразу в Петербург, для передачи императору Николаю. Мы видим, что Эбердин даже шаржировал, ругая в (беседах с русским послом!) своих министров, похваливая царя за резкость в отповеди Сеймуру, порицая «глупость» Кларендона,— но Бруннов оставался совершенно спокоен и убаюкивал канцлера и Николая.

Тучи сгущаются в Лондоне и Париже с каждым днем все больше. Бруннов положительно ничего хорошего не ждет от конференции шести держав: он уже как будто начинает чувствовать, что и Австрия может оказаться не очень надежным «другом». И уже в последние дни (пишет он 3 декабря 1853 г.) австрийский посол в Лондоне граф Коллоредо перестал ему нравиться и стал каким-то не таким, как раньше. Правда, тот же Коллоредо уже стал утверждать, что Австрия вовсе не так стоит за конференцию шести держав, что это не австрийская, а французская выдумка,— но все это Бруннова не веселит. «Когда я думаю о стольких трудностях, которые вас окружают, господин граф,— пишет он Нессельроде,— я чувствую себя глубоко опечаленным. Россия поставлена, нужно сказать, в очень тяжелое положение. Мир, на условиях, которых вы требуете, не обеспечен. Война, при обстоятельствах, которые ее сопровождают,— великое испытание. Становится настоящей проблемой: какое решение принять... Вот уже шесть месяцев, как судьбы переговоров нам неблагоприятны. Все провалилось. Миссия Меншикова, венская нота, английский проект конвенции, совещание в Ольмюце,— ничто не могло противостоять потоку событий». Бруннов явно начинает теряться. Логически он не усматривает утешительных перспектив и начинает надеяться на какую-то внезапность, которая вывезет и все устроит: «Если я не ошибаюсь, нечто неожиданное, непредвиденное придет вам на помощь. Иногда нужно очень мало, чтобы склонить весы судеб человеческих в ту или другую сторону» [96].

Он это писал 21 ноября (3 декабря), не зная, что уже три дня прошло, как весы судеб человеческих склонились в Синопской бухте в определенную сторону.

В Париже Киселев в эти первые дни декабря, предшествовавшие появлению известий о Синопе, замечал ясно, что на Австрию как Лондон, так и Париж оказывают все более и более усиливающееся давление. Хуже всего то, что, по сведениям русского посла, Наполеон III становится «все более и более доволен Австрией». Давление на Австрию производится двумя путями: с одной стороны, ей угрожают «неизбежной революцией в Италии и Венгрии», другими словами, дают понять, что Наполеон III даст сигнал Сардинскому королевству к нападению на австрийскую Ломбардию, пообещав военную помощь, а с другой стороны — Австрию «хотят привлечь к себе обманчивыми обещаниями безопасности и увеличения», или же, расшифровывая дипломатическую шараду, Австрии обещают, что не только она будет продолжать в полной безопасности владеть Ломбардией и Венецией, но что в награду за выступление про-

тив России Наполеон III и Англия гарантируют Францу-Иосифу приобретение Дунайских княжеств. Правда, сейчас именно Франция и Англия ополчаются против Николая, ратуя за целостность и неприкосновенность Турции, против царя, осмелившегося занять числящиеся в составе турецкой территории эти самые Дунайские княжества. Но в дипломатии такие неувязки в счет не идут и никого не смущают.

Киселев имел в эти дни еще одну беседу с уезжавшим в Лондон графом Валевским, который по-прежнему выражал миролюбивые чувства, но между прочим высказал следующее предостережение: французскому и английскому флоту приказано войти в Черное море в том случае, если русский флот сделает попытку высадить десант между Варной и Константинополем. И не только англо-французский флот войдет тогда в Черное море, но и нападет на русские морские силы [97].

Все это было очень тревожно. И едва ли царя могло особенно успокоить, что Валевский снова пообещал повлиять, чтобы с парижской театральной сцены была снята антирусская пьеса «Казаки» и чтобы французские газеты поменьше травили Россию и Николая.

Еще одно известие посылает Киселев: державы уже бросили свой проект «совещания шести» и предлагают нечто «новое». Англия, Франция, Австрия и Пруссия предложат сообща как Николаю, так и султану послать в нейтральное место уполномоченных и там договориться непосредственно. Спустя три дня, 24 ноября (6 декабря), австрийский посол в Париже граф Гюбнер пожаловал самолично к Киселеву и сказал, что хотя еще ответа из Вены он не имеет (касательно этого самоновейшего проекта), но он полагает, что в Париже уже настроены более миролюбиво, хотя он, Гюбнер, и не знает секретных мыслей императора Наполеона. Гюбнер еще утешил Киселева сообщением, что заем для Турции, из-за которого Намик-паша приезжал в Париж и Лондон, не удался и что ему, Гюбнеру, кажется, что французское правительство не поощряет этого займа.

И все это без исключения была ложь. Гюбнер лгал, и лгал умышленно. Мы это знаем по записям в его же дневнике. Он был одним из самых ярых врагов России, изо всех сил толкавших Буоля и Франца-Иосифа к войне. Он лгал, что не знает основной мысли Наполеона III: он отлично знал, что император французов неуклонно держит курс на войну. Он лгал, что французское правительство не поощряет турецкого займа: он самым точным образом знал, что оно очень поощряет этот заем. Он лгал, что заем не удался Намик-паше: он знал точнейшим образом, что заем уже почти полностью слажен и принципиально решен. Насквозь фальшивый тон Гюбнера, очевидно, не

мог быть вполне им скрыт, потому что Киселев закончил свое донесение о «дружеском» визите австрийского посла такой фразой: «Гюбнер старается казаться откровенным со мной, но я сомневаюсь, чтобы он был таковым в действительности» [98].

Протокол, подписанный в Вене 5 декабря 1853 г., был дипломатическим последствием «мнимых неудач, которые наше оружие потерпело в Дунайских княжествах и в Азии». Так полагал Нессельроде в секретной препроводительной бумаге к Бруннову от 4 (16) декабря 1853 г. [99] Это было верно. Но тщетно было ожидание канцлера, что Башкадыклар и Синоп поправят дипломатическое положение.

Краткая история протокола 5 декабря, этой последней перед Синопом попытки, такова.

Еще 17 ноября, как о том и известил в свое время Киселев, в Париже и Лондоне решено было предложить Австрии и Пруссии подписать коллективную ноту, которая предлагала Турции вступить в мирные переговоры с Россией, для чего и отрядить в какое-либо нейтральное место своего уполномоченного, причем четыре державы предлагают свое «посредничество» (l'influence médiatrice).

5 декабря 1853 г. в Вене с некоторыми редакционными изменениями подобная нота была подписана представителями четырех держав: Англии, Франции, Австрии и Пруссии. В первый раз Австрия и Пруссия определенно выступили на стороне западных держав, изолируя этим Россию. Впечатление, произведенное этим на русскую дипломатию, было подавляющее. Дело было, конечно, не в содержании ноты, которая осталась бы без реальных последствий, даже если бы спустя несколько дней после ее подписания не пришло известие о Синопском сражении, происшедшем 30 ноября (н. ст.), но еще неизвестном в Вене, когда подписывалась эта нота. Важно было для Николая констатировать, что Австрия не только решительно сближается с вражеской коалицией, но и увлекает за собой прусского короля Фридриха-Вильгельма IV.

10 декабря 1853 г. лорд Лофтус, советник британского посольства в Берлине, встретился за одним обедом в гостях с русским послом бароном Будбергом и сказал Будбергу, что «общественное мнение в Европе порицает русскую политику на Востоке», Будберг ответил: «Нам наплевать на общественное мнение (nous nous fichons de l'opinion publique), мы пойдем своей дорогой. Мы будем воевать с вами одними». И он прибавил еще: «Киселев пишет, что он получает всякого рода знаки внимания в Париже и что французы совсем иначе ведут себя, в то время как Бруннов (русский посол в Англии — *Е. Т.)* говорит, что его положение в Лондоне нестерпимо» [100]. Это — очень характерное показание. Мы знаем документально, что

именно Наполеон III в декабре 1853 г., гораздо раньше, чем английское правительство, занял совершенно непримиримую позицию. Но императору французов было желательно убаюкивать Николая до поры до времени иллюзиями, будто Франция вовсе не намерена помогать Англии в ее готовящемся выступлении против России.

Тогда же по прямому повелению Николая Нессельроде направил французскому правительству протест против продолжающихся и все усиливающихся нападений французской прессы на Россию и на царя. «Если бы французское правительство было правительством парламентским, с палатами и газетами, пользующимися неограниченной свободой говорить и писать, мы бы не удивлялись, и еще менее мы бы жаловались на его очевидное бессилие подавить подобные эксцессы. Но это вовсе не так... Известно, как сурово, при помощи системы предостережений и, после них, запрещений правительство подавляет малейшее уклонение, направленное против него самого. Только в том, что касается России, во Франции существует свобода прессы» [101]. Этот протест пришел, так же как и протест против резкой статьи в «Moniteur» (о манифесте Николая, касающемся войны с Турцией), когда уже никакого значения по существу дела он иметь не мог: после получения в Париже известия о Синопской битве.

9 декабря (н. ст.) Киселев совсем доволен: оказывается, французское правительство серьезно относится к протоколу 5 декабря и ждет хорошего исхода. «Политический и финансовый Париж весь настроен в пользу мира, предусматривая, что Россия, вместо того, чтобы воевать со всей Европой, пойдет на мирное соглашение с Турцией» [102].

16

28 ноября (10 декабря) 1853 г. в Париже появилось коротенькое сообщение о гибели турецкого флота в Синопской бухте. На другой день в официальном «Монитере» известие подтверждено было полностью и с некоторыми подробностями.

С этого момента война с западными державами становится почти несомненной. И откуда Киселев взял (в своем первом же донесении после известия о Синопе), будто французская публика с «большим удовлетворением» приняла весть о русской победе,— неизвестно [103]. Или, может быть, даже слишком известно: он взял это фантастическое утверждение из неисчерпаемого запаса царедворческой угодливости, переполнявшей его душу.

«Зимою не дерутся»,— говорил и повторял Мейендорф еще 26 ноября (8 декабря) 1853 г., как раз за три дня до того, как

в Вену, где он это писал, пришли известия о Синопском бое. В письме в Берлин к русскому послу Будбергу Мейендорф дает волю своему пессимизму. С товарищем он откровеннее, чем с начальством. Ему вообще не нравится, что сам Нессельроде так лжет. «Вы будете удивлены,— пишет он Будбергу,— что в письме канцлера военные события в княжествах квалифицируются как *частичные успехи.* В Европе впечатление, что успех в сражениях при Ольтенице, так же как при Шевкети (Четати), остался за турками и что турецкая армия не так заслуживает презрения, а Оттоманская империя не так дряхла, как мы предполагали». И Мейендорф, вставляя по-русски два слова («русский бог») в свое французское письмо, пишет со скорбной иронией: «Русский бог может быть и придет нам на помощь позднее, но вот уже год как ничего не удается». Мейендорф очень неспокоен. Но Николай не хотел и слышать об ограничении своих требований к Турции. «Бруннов считал, как я, что в будущем договоре мы могли бы удовольствоваться простым подтверждением прежних трактатов: но ему (за это — *Е. Т.*) почти задали головомойку, что мне не помешает говорить так, как я должен»,— так необычайно по отважности кончается это письмо [104].

Еще 29 ноября (11 декабря) 1853 г. Франц-Иосиф совершенно откровенно писал царю, что он не только испытывает тяжкое давление со стороны Наполеона III, но что он и боится этого давления. «Донесения из Парижа, которые я тебе сообщил со своим последним курьером, дадут тебе понятие об усилиях, которые Франция, в случае если война продолжится, готова будет сделать, чтобы заставить нас отказаться от нашего нейтралитета. Так как мы находимся на аванпостах, то наше положение сделалось бы в таком случае очень трудным. Появление трехцветного знамени в Италии явилось бы там сигналом к общему восстанию. За этим „поднятием щитов", вероятно, последовали бы аналогичные попытки в Венгрии и Трансильвании...» Австрийский император настойчиво просит Николая не противиться заключению мира [105].

Пруссия приняла участие в протоколе, подписанном в Вене 5 декабря представителями четырех держав, об отношении к царю и султану. Но после 5 декабря наступило 11 декабря, принесшее официальное известие о полном разгроме турецкого флота. А посему 12 декабря прусский посол в Париже Гатцфельд, «всегда прямой и лояльный», как пишет доверчивый Киселев, поспешил явиться к русскому послу с изъявлением огорчения по тому поводу, что в России могут подумать, будто Пруссия стоит на стороне врагов государя императора. Прибыл и Гюбнер, австрийский посол, который со своей стороны обратил внимание Киселева на то, что, подписывая в Вене 5 декабря

соглашение четырех держав, австрийское правительство, в сущности, исполняло желание самой же русской дипломатии [106].

Словом, в эти самые первые дни, оглушенные грохотом победоносных нахимовских пушек и не зная еще в точности, как будет реагировать на Синоп император Наполеон III,— Пруссия и Австрия решили на всякий случай наскоро перестраховаться. С державой, одерживающей такие морские победы, шутить явно не рекомендовалось.

Синопский гром только что прокатился по Европе.

Глава VII

СИНОПСКИЙ БОЙ И ЕГО БЛИЖАЙШИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

1

Событие, к которому мы теперь должны обратиться, вписано золотыми буквами в книгу славы русского народа, и когда историк переходит из дипломатических канцелярий, из бухарестской главной квартиры, из Зимнего дворца, от людей, в руках которых были судьбы России, к людям, за нее умиравшим, то ему порой начинает казаться, что он попал в другую страну, ровно ничего общего не имеющую с той, которую только что изучал. Русская солдатская и матросская масса на всех театрах этой тяжелой войны была одинакова и полностью поддержала свою славную историческую репутацию.

Мертвящий режим николаевского царствования не успел, кажется, только в одном месте — в Черноморском флоте — довести до конца своего губительного дела — уничтожения талантливого и дееспособного командного состава, и там, на кораблях и в Севастополе, эта солдатская и матросская масса показала, на что она способна, если среди ее начальников есть хоть маленькая кучка людей, которых она от всего сердца любит и уважает.

«Попробуй усомнись в своих богатырях доисторического века, когда и в наши дни выносят на плечах все поколенье два-три человека!» — сказал, по другому поводу, обращаясь к России, один из ее великих поэтов, современник Нахимова, Корнилова, Истомина. Его слова очень применимы к Крымской войне. К одному из таких людей, обессмертивших свое имя и прославивших свое поколение, мы и должны теперь обратиться.

Павел Степанович Нахимов родился в 1802 г. в семье небогатых смоленских дворян. Отец его был офицером и еще при Екатерине вышел в отставку со скромным чином секунд-майора.

Еще не окончились детские годы Нахимова, как он был зачислен в морской кадетский корпус. Учился он блестяще и уже пятнадцати лет от роду получил чин мичмана и назначение на бриг «Феникс», отправлявшийся в плавание по Балтийскому морю.

И уже тут обнаружилась любопытная черта нахимовской натуры, сразу обратившая на себя внимание его товарищей и потом сослуживцев и подчиненных. Эта черта, замеченная окружающими уже в пятнадцатилетнем гардемарине, оставалась господствующей и в седеющем адмирале вплоть до того момента, когда французская пуля пробила ему голову. Охарактеризовать эту черту можно так: морская служба была для Нахимова не важнейшим делом жизни, каким она была, например, для его учителя Лазарева или для его товарищей Корнилова и Истомина, а единственным делом, иначе говоря: никакой личной жизни, помимо морской службы, он не знал и знать не хотел и просто отказывался признавать для себя возможность существования не на военном корабле или не в военном порту.

За недосугом и за слишком большой поглощенностью морскими интересами он «забыл влюбиться», забыл жениться. Он был фанатиком морского дела, по единодушным отзывам очевидцев и наблюдателей.

Он был патриотом, беззаветно любившим Россию, жившим для нее и умершим за нее на боевом посту.

«Усердие, или лучше сказать, рвение к исполнению своей службы во всем, что касалось морского ремесла, доходило в нем до фанатизма», и он «с восторгом» принял приглашение М. П. Лазарева служить у него на фрегате, названном новым тогда словом «Крейсер».

Три года плавал он на этом фрегате, сначала в качестве мичмана, а с 22 марта 1822 г.— в качестве лейтенанта, и здесь-то и сделался одним из любимых учеников и последователей Лазарева. После трехлетнего кругосветного плавания с фрегата «Крейсер» Нахимов перешел (все под начальством Лазарева) в 1826 г. на корабль «Азов», на котором в 1827 г. и принял выдающееся участие в Наваринском морском бою против турецкого флота. Из всей соединенной эскадры Англии, Франции и России ближе всех подошел к неприятелю «Азов», и во флоте говорили, что «Азов» громил турок с расстояния не пушечного выстрела, а пистолетного. Нахимов был ранен, убитых и раненых на «Азове» было в наваринский день больше, чем на каком-либо ином корабле трех эскадр, но и вреда неприятелю «Азов» причинил больше, чем наилучшие фрегаты командовавшего эскадрой английского адмирала Кодрингтона.

Так начал Нахимов свое боевое поприще.

Вот что говорит об этих первых блистательных шагах Нахимова близко его наблюдавший моряк-современник:

«В Наваринском сражении он получил за храбрость георгиевский крест и чин капитан-лейтенанта. Во время сражения мы все любовались „Азовом“ и его отчетистыми маневрами, когда он подходил к неприятелю на пистолетный выстрел. Вскоре после сражения я видел Нахимова командиром призового корвета „Наварин“ вооруженного им в Мальте со всевозможною морскою роскошью и щегольством, на удивление англичан, знатоков морского дела. В глазах наших... он был труженик неутомимый. Я твердо помню общий тогда голос, что Павел Степанович служит 24 часа в сутки. Никогда товарищи не упрекали его в желании выслужиться тем, а веровали в его призвание и преданность самому делу. Подчиненные его всегда видели, что он работает более их, а потому исполняли тяжелую службу без ропота и с уверенностью, что все, что следует им или в чем можно сделать облегчение, командиром не будет забыто» [1].

Двадцати девяти лет от роду он стал командиром только что выстроенного тогда (в 1832 г.) фрегата «Паллада», а в 1836 г.— командиром «Силистрии» и спустя несколько месяцев произведен в капитаны 1-го ранга. «Силистрия» плавала в Черном море, и корабль выполнил за девять лет своего плавания под флагом Нахимова ряд трудных и ответственных поручений.

Лазарев безгранично доверял своему ученику. В 1845 г. Нахимов был произведен в контр-адмиралы, и Лазарев сделал его командиром 1-й бригады 4-й флотской дивизии. Его моральное влияние на весь Черноморский флот было в эти годы так огромно, что могло сравниться с влиянием самого Лазарева. Дни и ночи он отдавал службе: то выходил в море, то стоял на Графской пристани в Севастополе, зорко осматривая все входящие в гавань и выходящие из гавани суда. По единодушным записям очевидцев и современников, от него решительно ничто не ускользало, и его замечаний и выговоров страшились все, начиная с матросов и кончая седыми адмиралами, которым Нахимов вовсе не имел ни малейшего права делать замечания по той простой причине, что они были чином выше его. Но Нахимова это обстоятельство решительно никогда не затрудняло. На пристани, на море была его служба, там же были и все его удовольствия. Денег у него водилось всегда очень мало, потому что каждый лишний рубль он отдавал матросам и их семьям, а лишними рублями у него оказывались те, которые оставались после оплаты квартиры в Севастополе и расходов на стол, тоже не очень отличавшийся от боцманского.

На службу в мирное время он смотрел только как на под-

готовку к войне, к бою, к тому моменту, когда человек должен полностью проявить все свои моральные силы. Еще во время кругосветного плавания лейтенант Нахимов однажды чуть не погиб, спасая упавшего в море матроса; в 1842 командир «Силистрии» Нахимов бросился без всякой нужды в самое опасное место, когда на «Силистрию» наскочил корабль «Адрианополь». А когда офицеры недоумевали, зачем он так дразнит судьбу, Нахимов отвечал: «В мирное время такие случаи — редки, и командир должен ими пользоваться. Команда должна видеть присутствие духа в своем командире, ведь, может быть, мне придется идти с ней в сражение».

Ведя себя так и высказывая такие мысли, Нахимов шел по стопам своего учителя и начальника Михаила Петровича Лазарева, главного командира Черноморского флота.

М. П. Лазарев создал в морском ведомстве того времени свою особую школу, свою традицию, свое направление, ровно ничего общего не имевшие с господствовавшим в остальном флоте, и его ученики — Корнилов, Нахимов, Истомин — продолжили и упрочили эту традицию. Лазарев требовал от своих офицеров моральной высоты, о которой николаевский командный состав в своей массе никогда и не помышлял. Он требовал такого обращения с матросами, которое готовило бы из них дееспособных воинов, а не игрушечных солдатиков для забавы «высочайших» лиц на смотрах и парадах: телесное наказание, царившее тогда во всех флотах (и удержавшееся в английском флоте до первой мировой войны), не было отменено и лазаревской школой, но оно стало на черноморских судах редкостью. Внешнее чинопочитание было на судах, управляемых лазаревскими учениками, сведено к минимуму, и сухопутные офицеры в Севастополе жаловались, что адмирал Нахимов разрушает дисциплину. Лазарев, Нахимов, Корнилов успели внедрить в матросский состав настоящую любовь к России, сознательное желание защищать ее и бороться за нее.

Лазарев, не доживший до Крымской войны, Нахимов, Корнилов, Истомин и им подобные до такой степени не походили на командиров тогдашнего общепринятого, общеобязательного, можно сказать, типа, что это бросалось в глаза даже очень далеко стоявшим от флота людям, например знаменитому профессору Московского университета Т. Н. Грановскому, слова которого я приведу в своем месте.

Но и в этой лазаревской школе моряков Нахимов занял особое место. Был он необыкновенный добряк по натуре, это во-первых, а во-вторых, как уже сказано, он был в полном смысле слова фанатиком морской службы, он не имел ни в молодости, ни в зрелом возрасте семьи, не имел «сухопутных» друзей, не имел никаких личных привязанностей, кроме как на кораб-

лях и около кораблей, потому что для него Севастополь, Петербург, Лондон, Архангельск, Рио-де-Жанейро, Сан-Франциско, Сухум-Кале были не города, а лишь якорные стоянки. Все эти его свойства сделали то, что на матросов он стал смотреть как на свою единственную, правда, большую семью. Все почти свои деньги он раздавал матросам, их женам, их детям.

Когда он, начальник порта, адмирал, командир больших эскадр, выходил на Графскую пристань в Севастополе, там происходили любопытные сцены, одну из которых со слов очевидца, князя Путятина, передает лейтенант П. И. Белавенец. Утром Нахимов приходит на пристань. «Там, сняв шапки, уже ожидают адмирала старики, отставные матросы, женщины и дети — все обитатели Южной бухты из севастопольской матросской слободки. Увидев своего любимца, эта ватага мигом, безбоязненно, но с глубочайшим почтением окружает его, и, перебивая друг друга, все разом обращаются к нему с просьбами... «Постойте, постойте-с,— говорит адмирал,— всем разом можно только ура кричать, а не просьбы высказывать. Я ничего не пойму-с. Старик, надень шапку и говори, что тебе надо».

Старик-матрос, на деревянной ноге и с костылями в руке, привел с собой двух маленьких девочек, своих внучек, и прошамкал, что он с малютками одинок, хата его продырявилась, а починить некому... Нахимов обращается к адъютанту: «...прислать к Позднякову двух плотников, пусть они ему помогают». Старик, которого Нахимов вдруг назвал по фамилии, спрашивает: «А вы, наш милостивец, разве меня помните?» — «Как не помнить лучшего маляра и плясуна на корабле „Три святителя“... А тебе что надо?» — обращается Нахимов к старухе. Оказывается, она вдова мастера из рабочего экипажа, голодает. «Дать ей пять рублей!» — «Денег нет, Павел Степанович!» — отвечает адъютант, заведовавший деньгами, бельем и всем хозяйством Нахимова. «Как денег нет? Отчего нет-с?» — «Да все уже прожиты и розданы!» — «Ну дайте пока из своих». Но у адъютанта тоже нет таких денег. Пять рублей, да еще в провинции, были тогда очень крупной суммой. Тогда Нахимов обращается к мичманам и офицерам, подошедшим к окружающей его толпе: «Господа, дайте мне кто-нибудь взаймы пять рублей!» И старуха получает ассигнованную ей сумму. Нахимов брал в долг в счет своего жалованья за будущий месяц и раздавал направо и налево. Этой его манерой иногда и злоупотребляли. Но, по воззрениям Нахимова, всякий матрос, уже в силу своего звания, имел право на его кошелек.

Нахимов настойчиво старался внушить подчиненным ему офицерам те идеи, которыми сам он был воодушевлен и которые прямо до крайности не походили на общепринятые тогда в этой среде воззрения. «Мало того, что служба представится

нам в другом виде,— говорил Нахимов,— да сами-то мы совсем другое значение получим на службе, когда будем знать, как на кого нужно действовать. Нельзя принять поголовно одинаковую манеру со всеми... Подобное однообразие в действиях начальника показывает, что нет у него ничего общего со всеми подчиненными и что он совершенно не понимает своих соотечественников. А это очень важно». Офицеры, «глубоко презирающие сближение со своими соотечественниками-простолюдинами», не найдут должного тона. «А вы думаете, что матрос не заметит этого? Заметит лучше, чем наш брат. Мы говорить умеем лучше, чем замечать, а последнее — уже их дело; а каково пойдет служба, когда все подчиненные будут наверно знать, что начальники их не любят и презирают их? Вот настоящая причина того, что на многих судах ничего не выходит и что некоторые... начальники одним только страхом хотят действовать... Страх подчас хорошее дело, да согласитесь, что ненатуральная вещь несколько лет работать напропалую ради страха. Необходимо поощрение сочувствием; нужна любовь к своему делу-с, тогда с нашим лихим народом можно такие дела делать, что просто чудо. Удивляют меня многие молодые офицеры: от русских отстали, к французам не пристали, на англичан также не похожи; своим пренебрегают, чужому завидуют, своих выгод совершенно не понимают. Это никуда не годится!»

Для Нахимова не подлежало сомнению, что классовое чванство офицеров — гибельное дело для службы, и он это открыто высказывал. «Пора нам перестать считать себя помещиками, а матросов крепостными людьми». И снова и снова повторяет свою излюбленную мысль: «Матрос есть главный двигатель на военном корабле, а мы только пружины, которые на него действуют. Матрос управляет парусами, он же наводит орудия на неприятеля; матрос бросится на абордаж, если понадобится, все сделает матрос, ежели мы, начальники, не будем эгоистичны, ежели не будем смотреть на службу, как на средство для удовлетворения своего честолюбия, а на подчиненных, как на ступени для собственного возвышения».

Матросы — основная военная сила флота. «Вот кого нам нужно возвышать, учить, возбуждать в них смелость, геройство, ежели мы не себялюбивы, а действительные слуги отечества». Нахимов вспоминает знаменитую победу Нельсона над французским и испанским флотом 21 октября 1805 г. «Вы помните Трафальгарское сражение? Какой там был маневр, вздор-с, весь маневр Нельсона заключался в том, что он знал слабость неприятеля и свою силу и не терял времени, вступая в бой». Воспитание патриотического и боевого духа в моряках — вот что важнее всего. «Вот это-то воспитание и составляет основную задачу... вот чему я посвятил себя, для чего тружусь неусыпно

и видимо достигаю своей цели; матросы любят и понимают меня. Я этою привязанностью дорожу больше, чем отзывами каких-нибудь чванных дворянчиков-с. У многих командиров служба не клеится на судах оттого, что они неверно понимают значение дворянина и презирают матросов, забывая, что у мужиков есть ум, душа и сердце, так же как и у всякого другого» [2].

Нахимов требовал повышения уровня умственного развития офицеров. «Он ворчал на наших моряков, которые выходят из морского корпуса недоучками, забрасывают свои учебные книги и морской службой совсем не занимаются»,— читаем в рукописи Ухтомского [3].

Нахимов просто отказывался понять, что у морского офицера может быть еще какой-нибудь интерес, кроме службы. «Он говорил, что необходимо, чтобы матросы и офицеры постоянно были заняты, что праздность на судне не допускается, что ежели на корабле работы идут хорошо, то нужно придумывать новые... Офицеры тоже должны быть постоянно заняты. Есть свободное время — пусть занимаются с матросами обучением грамоте или пишут за них письма на родину». Ухтомский, начинавший службу под начальством Нахимова, передает еще: «Все ваше время и все ваши средства должны принадлежать службе,— ораторствовал Павел Степанович.— Например, зачем мичману жалованье? Разве только затем, чтобы лучше выкрасить и отделать вверенную ему шлюпку или при удачной шлюпочной гонке дать гребцам по чарке водки,— иначе офицер от праздности или будет пьянствовать, или станет картежником, или будет развратничать, а ежели вы и от натуры ленивы, сибариты, то лучше выходите в отставку» [4]. Тратя все свое адмиральское жалованье не на себя, а на корабль и на матросов, Нахимов искренне не понимал, почему бы и мичману не делать того же.

Замечательно, что близко наблюдавшие Нахимова не могли говорить впоследствии ни о Синопе, ни о Севастополе, не подчеркивая огромного значения личного влияния адмирала на свою команду, объясняя именно этим его успех.

«Синоп, поразивший Европу совершенством нашего флота, оправдал многолетний образовательный труд адмирала М. П. Лазарева и выставил блестящие военные дарования адмирала П. С. Нахимова, который, понимая черноморцев и силу своих кораблей, умел управлять ими. Нахимов был тип моряка-воина, личность вполне идеальная... Доброе, пылкое сердце; светлый, пытливый ум; необыкновенная скромность в заявлении своих заслуг. Он умел говорить с матросами *по душе*, называя каждого из них, при объяснении, друг, и был действительно для них другом. Преданность и любовь к нему матросов не

знали границ. Всякий, кто был на севастопольских бастионах, помнит необыкновенный энтузиазм людей при ежедневных появлениях адмирала на батареях: истомленные до-нельзя матросы, а с ними и солдаты, воскресали при виде своего любимца и с новой силой готовы были творить и творили чудеса... Это секрет, которым владели немногие, только избранники, и который составляет душу войны... Лазарев... поставил его образцом для черноморцев» [5].

Наступил 1853 год. Надвинулись сразу навеки памятные грозные события мировой истории. Нахимов со своими матросами оказался на посту.

2

Черные тучи сгустились катастрофически быстро и обложили со всех сторон политический горизонт. Начинается война с Турцией, позиция Наполеона III и Пальмерстона делается все более угрожающей. И в Петербурге понемногу крепнет сознание, что живые опасения наместника Кавказа князя М. С. Воронцова имеют реальнейшее основание и отнюдь не объясняются только старостью умного и лукавого Михаила Семеновича. Если турки, а за ними французы и англичане в самом деле подадут вовремя существенную помощь Шамилю, то Кавказ для России будет потерян и попадет в руки союзников. Нужного количества войск на Кавказе нет,— это одно. А другое — турецкая эскадра снабжает восточное кавказское побережье оружием и боеприпасами. Отсюда вытекают два непосредственных задания русскому Черноморскому флоту: во-первых, в самом спешном порядке перевезти более или менее значительные военные подкрепления из Крыма на Кавказ и, во-вторых, обезвредить разгуливающие в восточной части Черного моря турецкие военные суда.

Оба эти дела и сделал Нахимов.

13 сентября 1853 г. в Севастополе было получено экстренное приказание немедленно перевезти из Севастополя в Анакрию пехотную дивизию с артиллерией. На Черном море было неспокойно не только вследствие равноденственных сентябрьских бурь, но и из-за близкой войны с Турцией и упорных слухов об угрожающей близости французских и английских судов к проливам.

Нахимов взял на себя эту труднейшую операцию. Уже через четыре дня после получения приказания не только все отобранные им суда были совершенно готовы к отплытию, но на них уже находились и разместились в полном порядке все назначенные войска: 16 батальонов пехоты с двумя батареями — 16 393 человека, 824 лошади и все необходимые грузы.

17 сентября Нахимов вышел в очень бурное море, а ровно через семь суток, 24 сентября, пришел утром в Анакрию, и в 5 часов вечера в тот же день он уже закончил высадку всех войск и выгрузку орудий на берег. Для этой блистательно выполненной операции у Нахимова было в распоряжении лишь 14 парусных кораблей (из них два фрегата), 7 пароходов и 11 транспортных судов. Войска были доставлены в наилучшем состоянии: больных солдат оказалось всего лишь 7 человек, а из матросов эскадры — 4 человека. Моряки-специалисты называют этот переход «баснословно счастливым», исключительным в военно-морской истории, и для сравнения указывают, что англичане в свое время перевезли подобное же количество войск более чем на *двухстах* военных и транспортных судах [6].

Покончив с одной задачей, Нахимов взялся за другую, гораздо более опасную и сложную: найти в Черном море турецкую эскадру и сразиться с ней. Но тут он оказался флотоводцем, база которого находится не в его руках, а зависит от человека, вовсе не желающего считаться с критическим положением адмирала, рыщущего по бурному морю в поисках неприятеля.

Князь Меншиков, главнокомандующий Крымской армией и Черноморским флотом, был фактически морским министром, но никогда не был моряком, никогда не управлял кораблем и понятия не имел, даже самого отдаленного, о морских боях. Вот почему, конечно, ему и в голову не могло прийти самому отправиться в море и среди октябрьских шквалов искать турок, чтобы с ними сразиться. И что бы он ни писал Корнилову, якобы желая «назначения пункта соединения», никуда он ни для каких «соединений» с Корниловым ехать из Севастополя не собирался. У него был Нахимов, уже крейсировавший около Анатолийского берега, и был Корнилов, которого князь и отправил в море 28 октября. По обыкновению (когда дело касалось войны и военных действий), Меншиков предсказал нечто диаметрально противоположное тому, что случилось в самом деле: он писал Горчакову за 16 дней до Синопа, что эскадры Корнилова и Нахимова «вероятно» никого в море не встретят, кроме нескольких транспортных или паровых судов, да и те укроются в портах.

А на самом деле уже 5 ноября Корнилов встретил и взял с бою турецкий (египетский) пароход «Перваз-Бахре», шедший из Синопа. Затем Корнилов на «Владимире» вернулся в Севастополь, а Новосильскому приказал найти Нахимова и усилить его эскадру двумя кораблями («Ростислав» и «Святослав») и бригом «Эней». Новосильский 7 ноября встретился с Нахимовым, исполнил, что было приказано, и вернулся в Севастополь.

Когда Нахимов дал знать о том, что силы турок в Синопе, по дополнительным его наблюдениям, больше, чем он раньше

доносил, Меншиков довольно поздно сообразил всю опасность крейсировки Нахимова возле Синопа и послал ему подкрепление. Кое-что Нахимов получил, правда, помимо Меншикова, от Корнилова, отделившего от своей эскадры и пославшего к нему Новосильского, но все-таки ни одного парового судна у него под Синопом не оказалось, а спешно вышедший с эскадрой, где были три парохода, Корнилов, как увидим, опоздал и подоспел в Синопскую бухту, когда уже сражение окончилось.

Тут Меншиков действовал так, как и всегда он действовал, приходилось ли ему выступать на поприще дипломата или в качестве полководца. Полнейшее, доходившее до странности чувство безответственности было одной из самых характерных его черт. Не имея и тени дипломатических дарований, он берется за самые трудные и опасные поручения, едет в 1853 г. в Константинополь и навязывает там России бедственную войну.

Он прикидывается, будто его послали в Константинополь против его желания, и пишет это как раз перед тем, как тоже без колебаний, с еще более преступным легкомыслием и по исключительно личным честолюбивым мотивам, он принял пост главнокомандующего русской армией и флотом. Все несчастья, которые Меншиков навлек на Россию, ни в малейшей степени его не смущают. Небрежное высокомерие, презрительная насмешливость, всегдашнее стремление замечать в людях лишь самое худшее, совершенно неосновательное, преувеличенное представление о глубине и остроте собственной государственной мысли — все эти свойства были воспитаны в нем пожизненным пребыванием среди придворных ничтожеств, над которыми он очень зло и часто остроумно изощрялся. Но понять, например, что как военный сам-то он пигмей сравнительно с такими людьми, как Нахимов, Корнилов, Тотлебен, Хрулев, Васильчиков, или что он как дипломат — совершенный нуль сравнительно хотя бы с Алексеем Орловым или даже с такой посредственностью, как барон Будберг,— это Александру Сергеевичу Меншикову и в голову никогда не приходило. При этом была у него еще одна убийственно вредная черта: его бесспорный и тонкий ум был каким-то вялым, недейственным, ни малейшей энергии мысли, не говоря уже об энергии волевой, у него не было. Все будет хорошо, а если выйдет нехорошо,— тоже беда небольшая, все на белом свете поправимо, особенно, если у кого есть майораты, аренды, пенсии и столько орденов, что уже не хватает места на груди, куда их вешать.

Пошел Нахимов искать турок по морю? Верно, не найдет. Если найдет, тем хуже для него. Корнилов просит послать скорее Нахимову подмогу? Ладно, можно и послать. Не поспеет,— что же, как-нибудь Нахимов из беды вывернется. А не

вывернется и потонет, проживем и без Нахимова. Вот какого рода мысли всегда, без единого исключения, были присущи Меншикову. Солдаты не просто были к нему равнодушны, как они, например, были равнодушны к его преемнику по высшему командованию во время Севастопольской обороны, Михаилу Горчакову, которого почти вовсе не знали. Они определенно *не любили* Меншикова, правильно чуя, что этот высокомерный барин нисколько ими и их судьбой не интересуется и не занимается.

Таков был человек, в руках которого была верховная власть над Черноморским флотом и над единственной базой нахимовской эскадры — Севастополем. И не заслуга князя Меншикова, если Нахимов оказался победителем. О Меншикове нам еще придется говорить дальше, а теперь обратимся к Нахимову.

С конца октября, все время при очень бурной погоде, Нахимов крейсировал между Сухумом и той частью турецкого (Анатолийского) побережья, где главной гаванью является Синоп. Были получены сведения, что на этот раз турки намерены доставить на кавказский берег уже не только боеприпасы для горцев, но и высадить целый десантный отряд. У Нахимова было сначала, после встречи 5 ноября с Новосильским, пять больших кораблей, на каждом из которых имелось по 84 орудия: «Императрица Мария», «Чесма», «Ростислав», «Святослав» и «Храбрый» и, кроме того, фрегат «Коварна» и бриг «Эней». Еще 2 (14) ноября вечером приказом по эскадре Нахимов объявил, что имеет в виду сразиться с неприятелем. Этот приказ живо напоминает, что за двадцать шесть лет, прошедших со времени Наваринской битвы, тактические приемы Нахимова нисколько не изменились и что он по-прежнему считает так же, как и его учитель, командир «Азова» при Наварине М. П. Лазарев, наиболее целесообразным, не щадя себя, подходить к неприятелю не на орудийный, а на «пистолетный» выстрел. Вот как кончался приказ, прочитанный командам вечером 2 ноября: «Не распространяясь в наставлениях, я выскажу свою мысль, что в морском деле близкое расстояние от неприятеля и взаимная помощь друг другу есть лучшая тактика. Уведомляю командиров, что в случае встречи с неприятелем, превышающим нас в силах, я атакую его, будучи совершенно уверен, что каждый из нас сделает свое дело».

Но турки не показывались. Нахимов уже 3 ноября знал, что из Севастополя вышел, также для поисков турецкого флота, Корнилов с шестью кораблями. 5-го числа Корнилов отделил от своей эскадры Новосильского, который вечером того же 5 ноября встретился с эскадрой Нахимова. Именно Новосильский, как сказано, и отделил от своей эскадры Нахимову «Ростислава» и «Святослава» взамен кораблей, потрепанных бурей и отправленных Нахимовым в Севастополь для починки. 8 но-

ября разразилась жестокая буря, и Нахимов отправил опять четыре корабля в Севастополь чиниться. Положение было довольно критическое, потому что судов у него оставалось мало, а по морю бродили не очень далеко турецкие суда. Сильный ветер продолжался и после бури 8-го числа. Нахимов подошел к Синопу 11 ноября и немедленно отрядил из своей эскадры бриг «Эней» с известием, что на Синопском рейде стоит большая турецкая эскадра. Положение Нахимова было в этот момент более чем затруднительным. Но он решил со своими малыми силами все-таки блокировать гавань и ждать скорейшей присылки подкреплений из Севастополя. Он просил у Меншикова немедленно присылки отправленных для починки кораблей «Храброго» и «Святослава», фрегата «Коварна» и парохода «Бессарабия», а также выражал недоумение, почему не присылают ему фрегат «Кулевчи», который «больше месяца» стоит в Севастополе. Нахимов, которого упрекали, что он слишком привык к парусному флоту и будто бы недооценивал значения флота парового, вот что писал того же 11 (23) ноября Меншикову: «В настоящее время в крейсерстве пароходы необходимы, и без них, как без рук; если есть в Севастополе свободные, то я имею честь покорнейше просить ваше превосходительство прислать ко мне в отряд по крайней мере два».

Нахимов вовремя получил подмогу, и 17 (29) ноября у него было шесть больших кораблей («Мария», «Париж», «Три святителя», «Константин», «Ростислав» и «Чесма») и два фрегата («Кагул» и «Кулевчи»). Эскадра Нахимова в этот момент могла дать с одного борта залп весом в 378 пудов 13 фунтов. Орудий у Нахимова было 716, значит, при стрельбе с одного борта — 358. У турок было семь фрегатов, три корвета, два парохода, два транспорта и один шлюп — в общем 472 орудия, т. е. с одного борта 236 орудий.

Нахимов, как только подошли подкрепления, решил немедленно войти в Синопскую гавань и напасть на турецкий флот.

Генерал Зайончковский, в полном согласии с морскими специалистами, так оценивает распоряжения адмирала перед Синопом: «В действиях Нахимова обнаружилось то редкое соединение твердой решимости с благоразумной осторожностью, то равновесие ума и характера, которое составляет исключительную принадлежность великих военноначальников» [7]. Нахимов, долго крейсируя перед Синопом, каждый день мог погибнуть, потому что неоднократно оказывалось так, что у него судов было гораздо меньше, чем у турок. И тут больше всего сказались его железная выдержка и уверенность в себе и в команде.

В Синопе стояла эскадра Осман-паши. У Османа было, как сказано, семь фрегатов, три корвета, два парохода, два транспорта и один шлюп.

Осман уже с 10 (22) ноября знал, что русская эскадра явно сторожит его у самого выхода из Синопского рейда, он знал, что она усилилась, и он уже 12 (24) ноября отправил очень тревожное донесение в Константинополь, прося немедленно подкреплений. Решид-паша сейчас же сообщил об этом главному руководителю турецкой политики, британскому послу лорду Стрэтфорду-Рэдклифу. Но это уже было поздно — 17 (29) ноября, т. е. за сутки до того, как Нахимов вошел в Синопскую бухту. Даже если бы Константинополь решил оказать помощь, даже если бы Стрэтфорд немедленно приказал английскому адмиралу, стоявшему у Дарданелл, идти в Синоп (чего Стрэтфорд делать не имел права), даже если бы адмирал его послушался,— все равно помощь запоздала бы. Участь турецкого флота решена была в несколько часов.

В сущности, решив напасть на турецкий флот, Нахимов рисковал очень серьезно. Береговые батареи у турок в Синопе были хорошие, орудия на судах также были в исправности. Но уже давно, еще с конца XVI в. турецкий флот, некогда один из самых грозных и дееспособных в мире, не имел в решающие моменты своего существования сколько-нибудь способных адмиралов. Так оказалось и в фатальный для Турции день Синопа. Осман-паша расположил, как бы веером, свой флот у самой набережной города; набережная шла вогнутой дугой, и линия флота оказалась вогнутой дугой, закрывавшей собой если не все, то многие береговые батареи. Да и расположение судов было, естественно, таково, что они могли встретить Нахимова только одним бортом: другой был обращен не к морю, а к городу Синопу. Гений русского флотоводца и первоклассный по своей боевой морали и выучке состав экипажей его эскадры справились бы со всеми препятствиями, даже если бы турецкое командование оказалось более дееспособным.

На рассвете 18 (30) ноября 1853 г. русская эскадра оказалась километрах в пятнадцати от Синопского рейда.

В 9 часов утра 18 (30) ноября Нахимов на корабле «Мария» и рядом Новосильский на другом 120-пушечном корабле «Париж», а за ними, в двух колоннах, остальные суда пошли к Синопу. В половине первого часа дня раздался первый залп турецких батарей против эскадры Нахимова, входившей на рейд. Корабль Нахимова шел впереди и ближе всех стал к турецкому флоту и береговым батареям. Нахимов стоял на капитанской рубке «Марии» и смотрел в подзорную трубу на развернувшийся сразу артиллерийский бой. Победа русских определилась уже спустя два часа с небольшим. Турецкая артиллерия осыпала снарядами русскую эскадру, успела причинить некоторым кораблям большие повреждения, но не потопила ни одного. А диспозиция Нахимова была исполнена в точности, и его приказы

и наставления о том, как держаться в морском бою, принесли громадную пользу: корабль «Константин» оказался в опасном положении и был окружен неприятельскими судами. Тогда «Чесма» вдруг вовсе перестала отстреливаться от направленного на нее огня и направила полностью весь огонь своих орудий против особенно яростно громившего «Константина» турецкого фрегата «Навек-Бахра». Фрегат «Навек-Бахра», поражаемый огнем «Константина» и «Чесмы», взлетел на воздух,— притом так, что груда его обломков и тела экипажа упали на береговую батарею, загромоздили ее и этим вывели временно из строя.

Подобное же положение, когда тоже помогло внушение Нахимова о взаимной поддержке, повторилось спустя полчаса с кораблем «Три святителя», у которого был перебит шпринг. Корабль беспомощно стал вращаться, и его отнесло ветром под сильную береговую батарею, которая произвела на нем сильные разрушения и могла его потопить. Но тут «Ростислав», сам находясь под сильнейшим огнем, тоже сразу прекратил свои ответы на обстрел, а весь огонь направил на ту самую турецкую батарею № 6, которая расстреливала «Трех святителей». Не только корабль «Три святителя» был спасен, но вся батарея № 6 была сама снесена русским огнем с лица земли. Правда, это случилось лишь в начале четвертого часа дня и обошлось недешево «Ростиславу»: он получил тяжелые повреждения и чуть сам не взлетел на воздух, так как на нем возник пожар и искры подбирались к крюйт-камере с ее запасами пороха, но удалось потушить огонь. С этой дуэлью между «Ростиславом» и турецкой береговой батареей № 6 связано бегство «Таифа» с места сражения.

Нужно заметить, что присутствие в составе эскадры Осман-паши двух паровых судов очень озабочивало Нахимова, у которого в распоряжении ни одного парохода не было, а были только парусные суда. Нахимов имел все основания опасаться, что быстроходный 20-пушечный пароход «Таиф», удобоподвижный, находившийся притом под управлением не турка, а прекрасного моряка-англичанина, может очень и очень себя проявить в битве, где большим парусным судам поворачиваться и маневрировать не так-то удобно и легко. Нахимов настолько считался с этим, что посвятил пароходам Осман-паши особый (9-й) пункт своей диспозиции, отданной в его приказе накануне боя вечером 17 ноября: «фрегатам „Кагул“ и „Кулевчи“ во время действия оставаться под парусами для наблюдения за неприятельскими пароходами, которые, без сомнения, вступят под пары и будут вредить нашим судам по выбору своему».

Но это совершенно логичное и, казалось бы, безусловно правильное предположение Нахимова не оправдалось нисколько.

Случилось нечто совсем неожиданное. Адольфус Слэд, командир «Таифа», мог сколько угодно переименовываться в Мушавер-пашу, но он как был до своего превращения в поклонника пророка истым бравым англичанином, а вовсе не турком, так англичанином и остался, и служил он в турецком флоте не во славу аллаха и Магомета, а во славу лорда Стрэтфорда-Рэдклифа. Свое пребывание в составе эскадры Осман-паши он понимал по-своему, как всегда, без исключений, понимали ее англичане, переходившие на турецкую службу. Если бы, например, Новосильский или капитан Кутров, командир «Трех святителей», или капитан Кузнецов, командир «Ростислава», или Микрюков, командир «Чесмы», вздумали поступить среди боя так, как поступил этот Мушавер-паша, то Нахимов без колебаний повесил бы его на рее. И если бы Мушавер-паша был только Мушавер-пашой, а не был бы еще урожденным Адольфусом Слэдом, то, может быть, нашлась бы в свое время и для него подходящая рея в турецком флоте.

Сделал же он следующее. Будучи превосходным, опытным командиром (единственным в этом отношении во всей эскадре Осман-паши), Слэд уже с самого начала битвы увидел, что турецкому флоту грозит поражение, а так как от лорда Стрэтфорда ему было сказано наблюдать и доносить, а вовсе не класть свою голову в борьбе за полумесяц, то, убедившись уже вскоре после начала битвы в неминуемой и сокрушающей победе Нахимова, он, искусно сманеврировав в самом опасном месте боя между «Ростиславом» и береговой батареей № 6, вышел из рейда и помчался на запад, в Константинополь, забыв, очевидно, за множеством дел уведомить об этом внезапном бегстве своего прямого начальника Осман-пашу, которого покинул, таким образом, в самый трудный момент. За ним вдогонку полетели на всех парусах фрегаты «Кагул» и «Кулевчи», которые, как сказано, именно и были предназначены Нахимовым по диспозиции для наблюдения за «Таифом». Но им было не угнаться за превосходно управляемым быстрым пароходом.

Слэд несколько раз менял курс, круто изменял направление, зная, как трудно большим парусникам следовать за всеми его зигзагами. В конце концов «Таиф» их оставил далеко позади и пропал на горизонте. Но именно тут он чуть не погиб: его чуть-чуть не потопила эскадра Корнилова, как раз спешившая из Севастополя на помощь Нахимову. Корнилов открыл огонь по «Таифу». Командир Слэд стал отстреливаться и сильно повредил напавший на него пароход «Одессу». Выведя на момент «Одессу» из боя, Слэд помчался на всех парах дальше, держа румб на Константинополь. Корнилов отрядил за ним два других парохода своей эскадры, «Крым» и «Херсонес», но они после долгой погони должны были отказаться от своей задачи. «Таиф»

прибыл в Константинополь. Эскадра Корнилова, еще подходя только к Синопскому рейду, могла убедиться, что опоздала. Сражение шло к концу. Можно сказать, что бой, начавшийся в половине первого, привел к полному разгрому турок уже около трех-трех с четвертью часов дня, а от трех с четвертью часов до четырех происходило лишь добивание остатков. Один за другим грохотали страшные взрывы на уже искалеченных турецких судах. То русские бомбы попадали в турецкие крюйт-камеры, то сами турки, покидая свои суда, окончательно прибитые к берегу, перед своим бегством поджигали пороховые камеры. Береговые батареи, уже погибая, все еще продолжали борьбу из редких уцелевших своих орудий. Но и они в начале 5-го часа пополудни умолкли. Русская эскадра за четыре часа (с двенадцати с половиной до четырех с четвертью часов) выпустила без малого 17 тысяч снарядов (16 800). Стрельба нахимовских комендоров при этом была всегда на редкость меткой.

Турецкий флот, застигнутый Нахимовым, погиб полностью — не уцелело ни одного судна, и погиб он почти со всей своей командой. Были взорваны и превратились в кучу окровавленных обломков четыре фрегата, один корвет и один пароход «Эрекли», который тоже мог бы уйти, пользуясь быстроходностью, подобно «Таифу», но на нем командовал турок, который не последовал примеру Слэда. Были зажжены самими турками пробитые и искалеченные другие три фрегата и один корвет. Остальные суда, помельче, погибли тут же. Турки считали потом, что из состава экипажа погибло около трех тысяч с лишком. В английских газетах упорно приводилась цифра четыре тысячи.

Перед началом сражения турки были так уверены в победе, что они уже наперед посадили на суда войска, которые должны были взойти на борт русских кораблей по окончании битвы [8].

Турецкая артиллерия в Синопском бою была слабее нашей, если считать только орудия на судах (472 пушки против русских 716), но действовала она энергично. Нелепейшая расстановка судов турецкого флота обезвредила, к счастью для Нахимова, некоторые из очень сильных береговых турецких батарей, но все-таки две батареи нанесли русским судам большой вред. Некоторые корабли вышли из боя в тяжком состоянии, но ни один не потонул.

Когда опоздавшая эскадра Корнилова входила на Синопский рейд, ликующие крики команд обеих эскадр слились воедино. Некоторые из погибающих турецких судов выбросились на берег, где начались пожары и взрывы на батареях. Часть города пылала, все власти и сухопутный гарнизон Синопа в панике бежали в горы, подымающиеся в окрестностях. Население бросилось в бегство еще в начале боя. Наступил вечер.

Вот картина, представшая перед глазами экипажа корниловской эскадры, когда она вошла в Синопскую бухту: «Бóльшая часть города горела, древние зубчатые стены с башнями эпохи средних веков выделялись резко на фоне моря пламени. Большинство турецких фрегатов еще горело, и когда пламя доходило до заряженных орудий, происходили сами собой выстрелы, и ядра перелетали над нами, что было очень неприятно. Мы видели, как фрегаты один за другим взлетели на воздух. Ужасно было видеть, как находившиеся на них люди бегали, метались на горящих палубах, не решаясь, вероятно, кинуться в воду. Некоторые, было видно, сидели неподвижно и ожидали смерти с покорностью фатализма. Мы замечали стаи морских птиц и голубей, выделяющихся на багровом фоне озаренных пожаром облаков. Весь рейд и наши корабли до того ярко были освещены пожаром, что наши матросы работали над починкой судов, не нуждаясь в фонарях. В то же время весь небосклон на восток от Синопа казался совсем черным».

Корнилов увидел, что нахимовские суда, многие с перебитыми и поваленными мачтами, продолжали перестрелку, добивая те немногие суда, которые еще не затонули и не взорвались. В. И. Барятинской был при встрече Корнилова с Нахимовым. «Мы проходим совсем близко вдоль всей линии наших кораблей, и Корнилов поздравляет командиров и команды, которые отвечают восторженными криками ура, офицеры же машут фуражками. Подойдя к кораблю „Мария“ (флагманскому Нахимова — *Е. Т.*), мы садимся на катер нашего парохода и отправляемся на корабль, чтобы его (Нахимова — *Е. Т.*) поздравить. Корабль весь пробит ядрами, ванты почти все перебиты, и при довольно сильной зыби мачты так раскачивались, что угрожали падением. Мы поднимаемся на корабль и оба адмирала кидаются в объятия друг другу, мы все тоже поздравляем Нахимова. Он был великолепен, фуражка на затылке, лицо обагрено кровью, новые эполеты, нос — все красно от крови, матросы и офицеры, большинство которых мои знакомые, все черны от порохового дыма...» Оказалось, что на „Марии“ было больше всего убитых и раненых, так как Нахимов шел головным в эскадре и стал с самого начала боя ближе всех к турецким стреляющим бортам» [9]. Пальто Нахимова, которое он перед боем снял и повесил тут же на гвоздик, было изорвано турецким ядром.

Среди пленных находился и сам флагман турецкой эскадры Осман-паша, у которого была перебита нога. Рана была очень тяжелая. В личной храбрости у старого турецкого адмирала недостатка не было так же, как и у его подчиненных. Но одного этого качества оказалось мало, чтобы устоять против нахимовского нападения.

23 ноября, после бурного перехода через Черное море, эскадра Нахимова причалила в Севастополе.

Все население города, уже узнавшее о блестящей победе, встретило победоносного адмирала. Нескончаемое «ура, Нахимов!» неслось также со всех судов, стоявших на якоре в Севастопольской бухте. В Москву, в Петербург, на Кавказ к Воронцову, на Дунай к Горчакову полетели ликующие известия о сокрушительной русской морской победе. «Вы не можете себе представить счастье, которое все испытывали в Петербурге по получении известия о блестящем синопском деле. Это поистине замечательный подвиг»,— так поздравлял Василий Долгоруков, военный министр, князя Меншикова, главнокомандующего флотом в Севастополе. Николай дал Нахимову Георгия 2-й степени — редчайшую военную награду — и щедро наградил всю эскадру. Славянофилы в Москве (в том числе даже скептический Сергей Аксаков) не скрывали своего восторга. Слава победителя гремела повсюду.

Озабочен по поводу Синопа и сосредоточен был с самого начала лишь один человек по всей России: Павел Степанович Нахимов.

Конечно, чисто военными результатами Синопского боя Нахимов, боевой командир, победоносный флотоводец, был доволен. Колоссальный, решающий успех был достигнут с очень малыми жертвами: русские потеряли в бою 38 человек убитыми и 240 человек ранеными, и при всех повреждениях, испытанных русской эскадрой в бою, ни один корабль не вышел из строя, и все они благополучно, после тяжелого перехода через бурное Черное море, вернулись в Севастополь. Мог он быть доволен и своими матросами: они держались в бою превосходно; без тени боязни, быстро, ловко, дружно выполняя все боевые приказы, прекрасно действовали и его артиллеристы-комендоры. Наконец, мог Нахимов быть доволен и собой, а он ведь учил, что начальник обязан строже всего и в мирное время, но особенно в бою, относиться именно к себе, потому что на него все смотрят и по нему все равняются. На него и смотрели матросы и любовались им в синопский день. «А Нахимов! Вот смелый!.. Ходит себе по юту, да как свистнет ядро, только рукой, значит, поворотит: туда тебе и дорога...»,— рассказывал, лежа в госпитале в Севастополе, изувеченный взрывом участник боя матрос Антон Майстренко [10].

Итак, собой и своим экипажем Нахимов мог быть вполне удовлетворен. «Битва славная, выше Чесмы и Наварина! Ура, Нахимов! Михаил Петрович радуется своему ученику!» — так писал о Синопе другой ученик Лазарева, адмирал Корнилов. Сам Нахимов тоже помянул покойного своего учителя и в свойственном себе духе: «Михаил Петрович Лазарев, вот кто сделал

все-с!» Это полное отрицание собственной руководящей центральной роли было совершенно в духе Нахимова, лишенного от природы и тени какого-либо тщеславия или даже вполне законного честолюбия. Но в данном случае было и еще кое-что. У нас есть ряд свидетельских показаний, исходящих от современников (Богдановича, Ухтомского, адмирала Шестакова и др.) и совершенно одинаково говорящих об одном и том же факте: о настроении Нахимова вскоре после Синопа. «О возбужденном им восторге он говорил неохотно и даже сердился, когда при нем заговаривали об этом предмете, получаемые же письма от современников он уклонялся показывать... Сам доблестный адмирал не разделял общего восторга». Он не любил вспоминать о Синопе,— говорят одни. Он был неспокоен, думая о Синопе,— утверждают другие. Он говорил, что считает себя причиной, давшей англичанам и французам предлог войти в Черное море,— говорят третьи. «Павел Степанович не любил рассказывать о синопском сражении. Во-первых, по врожденной скромности и, во-вторых, потому, что он полагал, что эта морская победа заставит англичан употребить все усилия, чтобы уничтожить боевой Черноморский флот, что он невольно сделался причиной, которая ускорила нападение союзников на Севастополь» [11].

Случилось именно то, чего он опасался.

3

От синопского разгрома спасся бегством, как уже сказано, турецкий пароход «Таиф», которым командовал английский моряк сэр Адольфус Слэд, называвшийся по турецкой службе адмиралом Мушавер-пашой. Уйдя от русской погони, Мушавер-паша примчался в Константинополь 2 декабря и тотчас сообщил о катастрофе.

Турецкое правительство растерялось до такой степени, что чуть ли не в один и тот же день главному начальнику всех турецких морских сил (капудан-паше) было объявлено, чтобы он не смел показываться на глаза разгневанному на него падишаху, а затем ему же был дан великим визирем и Решид-Мустафой-пашой любопытный по своей полной нелепости приказ: немедленно выйти в Черное море с четырьмя оставшимися в Босфоре фрегатами. Зачем выйти? Кого и зачем искать? Неизвестно. Но турецкие дела уже давно не зависели ни от Решида, ни даже от самого падишаха, повелителя правоверных, а только и исключительно от лукавого гяура лорда Стрэтфорда-Рэдклифа, который уже давно забрал в свои руки всю константинопольскую политику. Английский посол сейчас же, конечно, отменил затевавшуюся бессмысленную авантюру с четырьмя турецкими фрегатами. Раньше всех он понял, какие новые перспективы для

разжигания всеевропейской войны представляет Синопский бой, если умеючи взяться за дело.

Уже 4 декабря, т. е. через четыре дня после Синопа, вот что он писал в Лондон: «К прискорбию, очевидно, что мир в Европе подвергается самой непосредственной опасности, и я не вижу, как мы можем с честью и благоразумием, понимаемым в более широком и истинном смысле, воздерживаться далее от входа в Черное море (значительными — *Е. Т.*) силами, каков бы при этом ни был риск (at every risk)». Стрэтфорд, делавший в Константинополе все от него зависевшее, чтобы довести дело до войны, тут же, в официальной бумаге, уповает на лжесвидетельство со стороны самого создателя: «Бог знает, что мы довели наше воздержание (forbearance) и любовь к миру до таких размеров, которые породили много затруднений и чреваты опасными случайностями». Стрэтфорд знал, куда пишет, и неспроста вставил эту фразу о воздержании и любви к миру.

Только во вторую неделю декабря по Лондону стала распространяться весть о том, что Нахимов уничтожил 30 ноября турецкий флот. Британский кабинет, конечно, в первые же дни после Синопа, получил, как мы видели, от своего посла в Константинополе Стрэтфорда-Рэдклифа самые точные и полные сведения о непоправимой катастрофе турецкого флота, но публике и даже тем, кто очень близко стоял к правительственным кругам, решено было до поры до времени ничего не говорить. Например, в дневнике Чарльза Гревилля мы читаем под 14 декабря 1853 г.: «Новостям о турецком разгроме на Черном море верят, но правительство ничего не намерено по этому поводу предпринимать, пока не получит подлинных сведений и детальных отчетов об этом событии» [12]. И, однако, лорд Эбердин, глава кабинета, отлично знал, что все газетные известия о Синопе совершенно правильны, и никаких «детальных отчетов» ему не требовалось.

Английское правительство получило точные сведения о Синопе уже 11 декабря по телеграфу, из Вены, а затем вскоре и подтверждающую телеграмму из Парижа.

Русский посол в Лондоне Бруннов спешил донести в Петербург о потрясающем впечатлении, произведенном в Лондоне этой русской блестящей победой. Он сразу же правильно уловил основной мотив возмущения в прессе и в широких слоях общества: «Где была Великобритания, которая недавно утверждала, что ее знамя развевается на морях Леванта затем, чтобы ограждать и оказывать покровительство независимости Турции, ее старинной союзницы? Она осталась неподвижной. До сих пор она не посмела даже пройти через пролив. Это значит дойти до предела позора. Жребий брошен. Больше отступать уже нельзя, не омрачая чести Англии неизгладимым пятном».

Бруннов не скрывает опасения, что под влиянием нападок английское правительство может решиться на активное выступление [13].

Граф Алексей Федорович Орлов, очень проницательный наблюдатель европейских настроений в это время, подметил совершенно правильно такого рода смену мотивов: сначала в Англии и Франции пытались всячески снизить и умалить значение нахимовского подвига, а затем, когда это явно оказывалось нелепым (по мере выяснения подробностей Синопского боя), «появилась ужасающая зависть, и нам не прощают ни искусных распоряжений, ни смелости выполнения».

Тут следует пояснить, что дело было не только в зависти (jalousie épouvantable), но и в определенном беспокойстве: в Европе не ожидали такой блистательной оперативности от русских морских сил. Замечу кстати, что Орлов, отлично владевший французским языком, все-таки не заметил, что и его самого французская пресса, писавшая о Синопе, несколько ввела в заблуждение: Орлов пишет всюду, как тогда умышленно писали о Синопе французы, намеренно преуменьшавшие значение русской победы: «un combat». Это слово имеет на французском языке оттенок, который на русском скрадывается. И этот оттенок ускользнул от Орлова. «Un combat» и «une bataille» по-русски переводятся одинаково: сражение, битва, бой. А по-французски крупное сражение, имеющее первостепенное значение, большая битва или, например, решающий бой и т. д. всегда обозначаются словом «une bataille» и ни в каком случае, решительно никогда не называются «un combat», который имеет также оттенок «столкновения», крупной стычки. Это очень резко различается французами. Когда миновали годы войны и о Синопе можно было уже писать поспокойнее, то даже под французскими перьями он стал называться, как и подобало: «une bataille navale». Граф Орлов нисколько не сомневался в том, что Синопский бой сделал войну двух западных держав с Россией абсолютно неизбежной [14].

Только 13 декабря (н. ст.), т. е. через две недели после события, Бруннов узнал от первого лорда адмиралтейства сэра Джемса Грэхема подробности о Синопском бое. Грэхем не скрыл своего мнения, что положение английского министерства станет очень затруднительным, так как министров будут обвинять в бездействии, а адмиралов будут порицать за то, что «они допустили уничтожить на их глазах часть оттоманской эскадры» [15].

Союзный флот, стоявший в Босфоре, уже 3 декабря отрядил два парохода в Синоп, а два в Варну на разведки, чтобы разузнать о дальнейших намерениях и предприятиях русской эскадры, победившей при Синопе, и о движениях русских судов вообще [16]. Сведения об этом дошли до Бруннова лишь через двена-

дцать дней. И все-таки еще 13 декабря днем Бруннов не оценивает по достоинству всей силы той бури, которую подняло в Англии синопское дело, и говорит об этом «шуме» в будущем времени. А пока приписывает себе честь заслуги: «Факт тот, что это — знатная пощечина (un fameux soufflet) для адмиралов английского и французского, которые стояли на якоре в Босфоре. Если нашей русской дипломатии удалось до сих пор воспрепятствовать им войти в Черное море и если, благодаря этому бездействию соединенных морских сил Англии и Франции, наш адмирал одержал такую прекрасную победу, то я думаю, господин граф, что ваш старый Бруннов, хотя он и не моряк, заслуживал бы в ваших бюллетенях почетного отзыва» [17].

Но уже к вечеру того же 13 декабря стали умножаться тревожные признаки. Последовало приглашение на другой день явиться к Эбердину. Бруннов узнал, что созвано «серьезное» заседание кабинета. Он узнал также, что Валевский, посол Франции, прибыл к Эбердину. Бруннов пишет канцлеру Нессельроде о «жестоком испытании», которое предвидит для себя [18].

И, однако, вот как готовит Бруннов канцлера и царя к встрече этой чреватой грозными опасностями дипломатической бури: он учит их не обращать никакого внимания на все то, что им говорит в Петербурге Гамильтон Сеймур, передавая официальные поручения министра иностранных дел Кларендона! Все это пустяки, важно лишь то, что частным образом, доверительно говорит Бруннову добрый старик Эбердин. Передав какие-то совсем вздорные мелочи, якобы указывающие на несогласие между Эбердином и Кларендоном, Бруннов пишет свое умозаключение, да еще по пунктам: «Что следует из всего этого заключить? 1. Что демарши, имевшие место через посредство сэра Г. Сеймура, дают вам, г. канцлер, часто очень неправильное понятие о мысли, которая руководит политикой кабинета, главой коего является лорд Эбердин. 2. Что наилучшее решение — это то, которое приняли ваше превосходительство, когда вы нисколько не считались с этими пустыми и праздными запросами. 3. Что лорд Кларендон делает дурной расчет, когда он сулит себе какую-либо выгоду от этой корреспонденции; ибо если он ее когда-либо предъявит, то для него будет унизительно констатировать в глазах парламента, до какой степени его дипломатические усилия остались без результата и, что еще хуже, без расписки в получении. Ибо самая суровая критика неосновательного аргумента заключается в полном молчании» [19]. Это все писалось того же 13 декабря 1853 г.

2 (14) декабря последовал переданный через Киселева протест Нессельроде против статьи во французском официальном органе «Moniteur», которая сильно критиковала содержание

царского октябрьского манифеста о войне с Турцией. Но вся эта полемика теперь, в середине декабря, утратила всякий смысл: до такой степени она устарела. Синоп поставил вопрос о войне России уже не с Турцией, а с Францией и Англией, и кого могло интересовать в середине или конце декабря 1853 г. несогласие русского и французского правительств о значении гарантий православной церкви в Турции? Только необычайно сдержанный, примирительный тон русского ответа указывал, что с русской стороны чуют грозу, которую непременно вызовет Синоп, и хотели бы не раздражать противника прошлыми счетами [20].

Позиция Бруннова среди поднявшейся в Англии бури по поводу Синопа была такова: Россия и Турция находятся в состоянии войны, присутствие в Босфоре или даже в Черном море судов какой-либо третьей державы не может заставить русский флот отказаться от преследования турецких кораблей и нападения на эти корабли. Николай написал сверху карандашом: «c'est juste» (это справедливо) [21].

Тотчас после Синопа Нессельроде написал в частном, непринужденном письме к барону Бруннову, как он смотрит на возможные последствия: «...мы бьем турок на земле и на море. Вот за восемь дней третья победа, более важная, чем остальные... Подобные факты скорее подвинут дело мира, чем все пустые ноты, которые четыре державы отправляют Турции» [22]. Нессельроде рассчитывает на то, что «Джон Буль всегда покидает побежденных»: турок в 1828—1829 гг., поляков в 1831 г., венгров в 1849 г. Канцлер забыл только, что в 1828—1829 гг. Англия была по ряду причин не против России, а на ее стороне и что ни в Польше, ни в Венгрии Англия не была вовсе заинтересована.

В крайне преувеличенном виде Бруннов спешит 15 декабря передать в Петербург утешительный слух о намерении шаха персидского двинуть армейский корпус против Турции, «пользуясь осложнениями в делах на Леванте». Но в той же экспедиции, отправленной Брунновым 15 декабря и полученной в Петербурге 22 декабря 1853 г., лондонский посол сообщает и менее отрадные новости. «Эбердин вышел из боя. Он ничего не предложит совету (министров — *Е. Т.*). Разногласие в совете покончено синопским делом». И все-таки Эбердину еще показалось слишком рано окончательно открыть карты: он стал уверять, что Стрэтфорд утверждает, будто ему еще удастся склонить Турцию к переговорам. То есть Эбердин делал вид, будто Стрэтфорд, даже и невзирая на Синоп, очень мирно настроен, тогда как в это же самое время, как нам документально известно, Стрэтфорд ликовал, считая отныне войну вполне обеспеченной. Бруннов, по-прежнему принимая слова своего собеседника

за чистую монету, важно ответил, что в таком случае Стрэтфорду «нужно воздержаться от смешного раздражения, которое уже не спасет потопленных турецких судов», и прибавил: «Англия не есть страховое общество от морских аварий». Эти слова Николай подчеркнул карандашом и на полях написал: «parfait» (превосходно). Свою беседу с Эбердином Бруннов закончил словами, что «никакая иностранная демонстрация не помешает (России — *Е. Т.*) пользоваться против Турции правом войны, пока Турция не запросит мира» [23]. И эти слова тоже подчеркнуты царем и на полях красуется второе «parfait».

Одним из ближайших результатов Синопского боя было последовавшее, наконец, заключение турецкого займа. в Париже и Лондоне. Намик-паша уже давно курсировал между этими двумя столицами и ни на парижской, ни на лондонской бирже не встречал особой готовности дать Турции ускоренным порядком деньги на войну. Теперь, после Синопа, сразу же, под явным влиянием Наполеона III, парижский крупнейший банк («Crédit mobilier») взялся за организацию дела. Турции был дан заем в 2 миллиона фунтов стерлингов золотом, причем половина подписки на эту сумму должна была быть покрыта в Париже, а другая половина в Лондоне. Бруннов и тут, сообщая об этой серьезной и зловещей неприятности для русской политики на Востоке, успокаивает Нессельроде и царя глубокомысленными соображениями, что будто бы лондонские банки скептически относятся к этой операции, что турецкое правительство не внушает доверия [24], и т. п.

Как раз когда он это писал, в недрах британского правительства произошло событие громадной важности: министр внутренних дел Пальмерстон заявил, что он выходит из кабинета лорда Эбердина.

4

Для Пальмерстона Синопский бой явился совершенно непререкаемым доказательством, что какие бы то ни было дипломатические попытки спасти Турцию от покушений со стороны Николая осуждены наперед на полный провал. Пальмерстон, как и все британские государственные деятели его поколения и поколения предшествующего, считали «потенциальными врагами», т. е. державами, с которыми Англия может оказаться в состоянии войны. только три страны: Францию, Россию и Соединенные Штаты. Теперь с Францией был союз, с Соединенными Штатами — глубокий мир, враждебный фронт был занят Россией. Войну с Россией Пальмерстон еще в большей степени стал считать неизбежной уже тотчас после отъезда Меншикова из Константинополя, чем считал ее в момент появления князя в столице Турции.

Получив полные сведения о Синопском бое, Пальмерстон предложил лорду Эбердину не только ввести немедленно большую эскадру в Черное море, но и официально заявить как русскому правительству в Петербурге, так и адмиралу, командующему в Севастополе, что до тех пор, пока русские войска не уйдут из Дунайских княжеств, ни одному русскому военному кораблю не будет разрешено показаться в Черном море вне порта [25].

Лорд Эбердин ответил уже через три дня — 13 декабря — на эту ноту своего министра внутренних дел, потому что это заявление Пальмерстона было фактически ультиматумом первому министру. Эбердин объявил, что он не желает прибегнуть к такому способу давления на Россию, который предложен был Пальмерстоном. И 15 декабря, немедленно после получения этого ответа, лорд Пальмерстон подал в отставку.

Эта отставка прогремела, как удар грома, и в Англии и в Европе. Внешним поводом был вовсе не Синоп. Официально было объявлено, будто Пальмерстон ушел вследствие нежелания поддерживать билль об избирательной реформе, выработанной Джоном Росселем, и который поддерживать обязался глава кабинета Эбердин. И сам Пальмерстон не опровергал этой версии. Но и Англия и Европа поняли этот уход Пальмерстона как протест против слишком слабого реагирования кабинета Эбердина на истребление Нахимовым турецкого флота. В самых читаемых газетах Англии поднялась буря; требования ввода английской эскадры в Черное море раздавались все решительнее. Кларендон, на мгновение было успокоившийся, стал понимать, что отставка Пальмерстона — шахматный ход, который непременно поведет к выигрышу не для Эбердина, а для Пальмерстона.

Нужно сказать, что в английской историографии до сих пор почему-то об этой декабрьской отставке Пальмерстона по большей части пишут не очень вразумительно, прикидываясь, будто в самом деле Пальмерстон ушел, собственно, из-за билля о реформе, а уж так будто бы совпали события, что все это поняли как ответ на Синоп [26].

Но современники были вполне правы, что именно так поняли поступок Пальмерстона 14 декабря. Только в наиболее заинтересованной стране, в России, не все правильно оценили самый *смысл* происшедшего изменения в составе английского кабинета и сначала очень оптимистически истолковали его.

Характерный отклик этого бродившего по обеим русским столицам и шедшего от императорского двора толкования отставки Пальмерстона мы находим в письме московского митрополита Филарета к наместнику Троице-Сергиевой лавры Антонию. Мимоходом скажу, что любопытный вообще документ это письмо. Филарет был очень умен, очень хитер, крайне осто-

рожен, упорный крепостник, черствый, бессердечный православный иезуит, притеснитель низшего духовенства, гонитель раскольников, гонитель всякой мало-мальски живой мысли. Но в одном он был не грешен: не очень он полагался на военную мощь николаевской России и никогда не верил в закидыванье шапками всех супостатов. И изливал он свою душу единственному человеку, о котором он мог думать, что тот на него святейшему синоду не донесет: вот этому троице-сергиевому Антонию. Сообщая Антонию об отставке Пальмерстона, Филарет все же делает умную и проницательную оговорку к казенной оптимистической интерпретации: «После истребления турецкой эскадры все английские газеты возопияли против России. Говорят, что королева потребовала от министров дознания, отчего это... По дознании оказалось, что это по возбуждению от лорда Пальмерстона. Королева, говорят, поблагодарила его за службу и сказала, что не имеет в нем больше нужды. Теперь пишут, что он выходит из министерства... Если это правда,— да спасет бог королеву. Но можно опасаться, что Пальмерстон составит сильную оппозицию и низвергнет нынешнее министерство; и тогда может быть *последняя горше первых*».

То, чего опасался Филарет, уже произошло в Лондоне как раз в те самые дни, когда митрополит московский писал свое письмо, такое фантазерское в начале и такое здравомыслящее в конце: 24 декабря 1853 г. Пальмерстон, согласно просьбе кабинета, снова занял в нем место. Это было совершенно неизбежно.

Здесь достаточно сказать, что уже на третий день после отставки Пальмерстона, т. е. 17 декабря, английский посол при французском дворе лорд Каули имел разговор с Наполеоном III, после чего немедленно сообщил министру иностранных дел Кларендону: «Французское правительство полагает, что Синопское дело, а не переход (русских войск — *Е. Т.*) через Дунай должно бы быть сигналом к действию флотов». Не успел Кларендон опомниться, как лорд Каули известил его, что французский император снова его призвал и прямо заявил, что нужно «вымести с моря прочь русский флаг» и что он, император, будет разочарован, если этот план не будет принят Англией.

Мало того, Наполеон III приказал своему министру иностранных дел графу Валевскому дать знать в Лондон, что если Англия даже откажется ввести свой флот в Черное море, то все равно французский флот войдет туда один и будет там действовать так, как найдет нужным. Держаться против такого натиска ни Эбердин, ни Кларендон не были бы в состоянии долго, даже если бы в девяти десятых влиятельнейших органов крупной буржуазии в самой Англии против них не велась в эти самые дни решительная кампания по поводу отставки Пальмер-

стона, которого, кстати сказать, Наполеон считал и называл публично и демонстративно своим другом. Эбердин решился. Стрэтфорду были посланы в Константинополь инструкции действовать вместе с французским послом. Торжествовала по всей линии пальмерстоновская политика,— и нелепо было делать ее без Пальмерстона. 24 декабря 1853 г. Пальмерстон вернулся в кабинет, а в ночь с 3-го на 4-е и 4 января 1854 г. англо-французский флот вошел в Черное море.

Бруннов, впрочем, это предвидел с самого начала «пальмерстоновского кризиса»: 16 декабря только Бруннов узнал об отставке Пальмерстона. При других обстоятельствах, пишет Бруннов, это событие могло бы иметь благие (для России) последствия, но Синоп совершенно переменил положение, и «добрые намерения лорда Эбердина парализованы». Учитывая этот внезапный паралич «добрых намерений» Эбердина, существовавших и до тех пор исключительно в воображении барона Бруннова, русский посол предвидит, что благожелательный лорд ничего не может сделать, «пока гроза не успокоится немного», потому что иначе «он падет под тяжестью укоров в трусости и измене, которыми его уже подавляют». Бруннов на этот раз, наконец, начинает отказываться от своего несокрушимого оптимизма. Он считает, что вообще дни кабинета Эбердина сочтены и что Пальмерстон только для того и ушел, чтобы не пасть вместе с министерством [27].

По мере того как во второй половине декабря 1853 г. прибывали новые и новые подробности о Синопе, атмосфера в Лондоне сгущалась все более и более. Никто не верил официальной версии об отставке Пальмерстона. Общее мнение склонялось к тому, что он ушел, потому что считал позорным поведение правительства, у которого не хватило ума и силы воли приказать британской эскадре вовремя, до нападения Нахимова, войти в Черное море и этим спасти турецкий флот. Шовинистические настроения охватили уже почти всю буржуазию — и крупную, и среднюю, и мелкую. Рабочий класс, в своей массе, не принимал участия в начавшихся демонстрациях, но и среди рабочих было немало людей, которые, ненавидя Николая, считая его главным оплотом мировой реакции, полагали, что настала, наконец, пора с ним рассчитаться.

Дошло до того, до чего так редко в те времена в Англии доходило: до антимонархических заявлений. Все знали, какие неприязненные отношения существуют между Викторией и Пальмерстоном. Эту вражду стали приписывать «немцу», «маленькому вредному Алю», т. е., другими словами, принцу Альберту, мужу королевы Виктории. Создалась легенда о том, что Альберт изменник, что он куплен императором Николаем. В Лондоне распространялись печатные листки со стихотворе-

ниями о «маленьком Але, королевском товарище, который, говорят, обратился в русского»[28].

Наконец, стали уже прямо передавать слухи, что и Альберт и Виктория арестованы и будут заключены в Тоуэр, тюрьму для государственных преступников. Густые толпы собирались по утрам около Тоуэра, поджидая привоза королевы и ее мужа в тюрьму.

5

Киселев уже 19 декабря известил из Парижа канцлера Нессельроде, что император Наполеон III открыто выражает сожаление об уходе Пальмерстона и надежду, что Пальмерстон соединится с лордом Дерби и вместе с ним станет во главе нового правительства и еще более скрепит узы, соединяющие Англию и Францию. Другими словами: ясно, что Пальмерстон не сегодня — завтра вернется в кабинет или станет во главе своего собственного кабинета. Другое известие из Парижа столь же мало утешительно: послу Барагэ д'Илье посланы инструкции — ввести французский флот, конечно, по соглашению с англичанами, в Черное море[29].

У нас есть документальное доказательство, что в разгар кризиса, вызванного Синопом, Николай не терял надежды вбить клин между Францией и Англией, не зная, что именно Наполеон в это время поспешил занять совсем непримиримую позицию. Киселев, как всегда, не видевший этого, доносил 15 декабря, что, по его сведениям, Кларендон, увлекаемый раздраженным общественным мнением Англии, написал своему парижскому представителю лорду Каули о необходимости вывести английский и французский флоты из Босфора, где они стоят, и ввести их в Черное море. Киселев немедленно обратился к австрийскому послу Гюбнеру, чтобы тот обратил внимание Друэн де Люиса на опасность подобного мероприятия. Гюбнер переговорил с Друэн де Люисом и успокоил Киселева, передав, будто французский министр очень рассудительно смотрит на дело и считает, что битва при Синопе была законным актом войны. Выслушав это, Киселев спрашивает у Нессельроде, не следует ли ему с Францией держать себя пообходительнее, даже если Россия порвет с Англией дипломатические сношения? Николай подчеркнул фразу Киселева о том, не следует ли с Францией держать себя пообходительнее (s'il lui convient de ménager la France), и приписал карандашом: «да, поскольку это возможно»[30].

Еще какие-то слабые дипломатические отголоски венского протокола 5 декабря продолжают привлекать внимание Бруннова, еще царь продолжает похваливать Бруннова карандаш-

ными отметками на полях («Бруннов прекрасно говорил!») за аргументы Бруннова в пользу необходимости переговоров России с Турцией один на один, но все это теперь, когда уже решено ввести западные эскадры в Черное море, никакого реального значения не имеет, и сам Бруннов это сознает. С каждым днем в Лондоне все усиливается стремление объявить войну России. «Можно сказать, что желание мира делает последнее усилие, чтобы задержать в себе последние признаки жизни, перед тем, как они исчезнут среди этой борьбы, приходящей теперь к своему концу после агонии, продолжавшейся десять месяцев»,— такой неуклюже-фигуральной, но вполне понятной грустной фразой кончает Бруннов свое донесение от 2 января 1854 г.[31]

После Синопа, накануне введения англо-французского флота в Черное море, самое существование венского протокола от 5 декабря 1853 г. давным-давно утратило всякий смысл мирного посредничества и сохранило уже определенно враждебный характер, прямо против России направленный. Прусский король это чувствовал, но не хотел в этом признаться и силился это отрицать. Австрийский император и его министр Буоль в самые первые дни после Синопа тоже старались не компрометировать себя в Петербурге. Но после введения английского и французского флотов в Черное море они поуспокоились.

К концу декабря картина послесинопских настроений в Константинополе и в западных столицах стала выясняться отчетливее, чем вначале. Обнаружилось, что, конечно, именно британский посол лорд Стрэтфорд-Рэдклиф, в полном согласии с начальником английской эскадры адмиралом Дондасом, стоит за немедленное введение флотов в Черное море, а посол французский Барагэ д'Илье этому противится. Но как только весть дошла до Парижа и Лондона, то, наоборот, французский император пожелал действовать немедленно и решительно, а в Англии проявлялась медлительность.

Наполеон III приказал своему послу в Лондоне настаивать на немедленном введении обеих эскадр в Черное море, и 22 декабря британский кабинет принял решение действовать согласно желанию Наполеона III. Это было прямым шагом к формальному заключению союза между обеими державами, прямо направленного против России.

Война приближалась гигантскими шагами. Граф Буоль в Вене торжествовал, предвидя, что русским войскам отныне ни в Константинополь не войти, ни в Дунайских княжествах долго не продержаться и что Австрия попала в очень выгодное положение: к ней должны были с этих пор обращаться за поддержкой обе стороны. А русская дипломатия в этот момент настолько еще была далека от правильного понимания австрийской

позиции, что полагала, будто «Австрия не замедлит, к своему сожалению, признать, что ее расчет (*на противодействие англичанам и французам* — *Е. Т.*) оказался совершенно ошибочным». Тот же Бруннов, правая рука канцлера Нессельроде, еще в конце декабря 1853 г. жалел графа Буоля, которому не удалось осуществить свое благородное посредничество: «Эта неудача слишком поздно заставила главу австрийского кабинета почувствовать, что он слишком понадеялся на свои силы, когда вознамерился направить работы Венской конференции по пути примирения, *что единственно руководит мыслью Австрии*» [32]. Австрийское правительство, в самом деле, имело в это время «единственную» мысль: оно желало полного отступления русских войск из Молдавии и Валахии. Конечно, безопаснее и спокойнее было бы вынудить Николая к отступлению чисто дипломатическими средствами, чем войной. Но и война — предпочтительнее завоевания Турции царем или хотя бы внедрения русских войск надолго в Дунайских княжествах. Только в этом и состояло «миролюбие» Австрии и до и, особенно, после Синопа.

Появление союзного флота в Черном море имело, между прочим, прямым последствием большое оживление работорговли на Черном море. Это очень благоприятно отразилось на понижении цен на рабов на рынке. Перед войной, говорят нам турецкие источники, черкесские рабы и особенно рабыни для гаремов и публичных домов так вздорожали, что просто ни на что не похоже было: хоть не выходи на базар, человеку со скромными средствами — прямо не подступиться. Русские суда перехватывали на море корабли с этим грузом, шедшие от Кавказа к Константинополю, и положительно мешали сколько-нибудь нормальному расчету невольничьей коммерции.

Но вот миновала эта невзгода. С момента появления адмиралов Дондаса и Гамлэна с англо-французским флотом в Черном море сразу рабы и рабыни подешевели на треть прежней рыночной стоимости [33]. Судоходство между Кавказом и Константинополем стало вполне безопасно. А кроме того, европейские судовладельцы и в эту отрасль торговой деятельности внесли свойственный им дух бодрой инициативы. Они поспешили прежде всего вдохнуть новую энергию в приунывших было работорговцев, у которых прямо руки опустились после нахимовской победы: «Англичане, по-видимому, поощряют (encouragent) эту торговлю (рабами—*Е. Т.*). Один корабль этой нации из числа тех, которые эскортировали последнюю экспедицию в Батум, подойдя к русскому побережью, успокоил (a rassuré) турецких купцов, что впредь уже им ничего не нужно бояться со стороны русских крейсирующих судов» [34].

Жена министра иностранных дел Решид-паши, давно ведшая обширное и процветающее предприятие по скупке молодых черкешенок и их переправке в гаремы, более чем кто-либо поэтому могла понять всю серьезность жалоб, которые с такой горечью и так настойчиво приносил ее муж лорду Стрэтфорду-Рэдклифу на то, что присутствие русского флота в Черном море делает прямо невозможным спокойный товарооборот, снабжающий столицу Турецкой империи необходимым импортом[35].

Правительственная печать во Франции, пальмерстоновская печать в Англии, впрочем, обходила эту деликатную подробность молчанием, но больше всего настаивала на защите от русских «варваров» «богатой, хотя и несколько своеобразной, турецкой культуры», как выражался публицист распространенной тогда лондонской газеты «Морнинг адвертайзер» Дэвид Уркуорт.

6

Оставалось теперь, когда единение между обоими правительствами было достигнуто, подготовить окончательно общественное мнение Англии и Франции к неизбежной войне.

В Англии Пальмерстону и его прессе нужно было считаться с кое-какими слоями средней и мелкой торговой и промышленной буржуазии, шедшими за Кобденом и не признававшими целесообразной для своих интересов вооруженную борьбу против России. Во Франции Наполеону III в тот момент можно было, собственно, ни с кем особенно в этом вопросе не считаться: крупная буржуазия и собственническое крестьянство надежно и без колебаний его поддерживали, рабочий класс был не организован, не активен, не залечил еще страшных ран. Да и в революционной общественности, как в подполье, так и в эмиграции, немало людей вполне разделяли воззрение, что от поражения николаевской России мировой прогресс может только выиграть. Таким образом, пущенная в ход с конца декабря 1853 г. в обеих странах агитация шла очень успешно, и даже иной раз могло казаться, что она ломится в открытую дверь.

Вопрос в прессе ставился так: могут ли Франция и Англия, ограждая свои экономические и политические интересы, дозволить, чтобы Россия завоевала Турцию? Нет. Можно ли смотреть на нападение Нахимова в Синопе как на начало крушения Турции? Да, можно и должно. Чем более яростно шла вдохновляемая Пальмерстоном агитация в прессе, тем чаще писали о «предательском» (treacherous) нападении Нахимова на турок, о «бойне», учиненной им, и о нарушении международного права русским адмиралом. Эта версия всецело была поддержана и французской прессой, которая в данном случае отразила лишь

взгляды владыки Франции, да ничего другого при полнейшей своей скованности и не могла отразить. Французская историография до сих пор часто довольствуется лишь скромным пересказом дипломатических документов или перепечаткой без комментариев знаменитого письма Наполеона III Николаю I [36], о котором у нас будет речь дальше.

Интересно, что клевреты Наполеона III старались сообщить подготовляющейся войне характер религиозного и культурного крестового похода против русских «еретиков» и «варваров».

«Для Европы предпочтительнее слабая и безобидная Турция, чем всемогущая и деспотическая Россия. Россия в Константинополе — это смерть для католицизма, смерть для западной цивилизации. И однако именно такая катастрофа висит над нашей головой. Право против насилия, католицизм против православной ереси, султан против царя, Франция, Англия, Европа — против России» [37].

Все это и тому подобное писалось журналистами французского императора, чтобы загнанные после переворота 2 декабря в подполье революционеры не подумали, будто они могут что-нибудь выиграть для своего дела от начинающейся борьбы двух деспотов, Наполеона III с Николаем I.

В разгар кризиса, но уже когда в Париже были получены точные сведения о возвращении Пальмерстона, Киселев произвел одну смелую попытку круто изменить к лучшему дипломатическое положение России. Эта попытка, разумеется, была обречена на полную неудачу, и едва ли сам Николай Дмитриевич верил в возможность выигрыша на такую карту.

26 декабря 1853 г. он неожиданно явился к Друэн де Люису, свидания с которым в последнее время избегал вследствие систематически враждебного и подозрительного тона французского министра. Киселев развил перед Друэн де Люисом целую программу совсем новой и крайне, по его мнению, выгодной для Наполеона III политики. Зачем Наполеону союз с Англией? Ведь Англия его эксплуатирует в своих целях. Англия имеет свои главные интересы в Азии, интересуется тем, что делается в Хиве, что делается около Индии, и вот зачем ей нужна война с Россией. А Франции нечего в Азии делать, у Франции интересы европейские. Положение вашего императора очень хорошее, продолжал Киселев. Но оно может стать еще лучше. Есть нечто получше, чем союз с Англией,— это союз с двумя, «а может быть и тремя» великими континентальными державами. Киселев предупредил Друэн де Люиса, что это он предлагает пока от своего собственного имени, не спросясь ни у кого, но просил довести до сведения Наполеона III, и Друэн обещал. А Киселев, конечно, написал Нессельроде, что хоть и не очень надеется на успех, но, может быть, хоть немного это поослабит узы,

связывающие Францию с Англией. Об этом разговоре Киселев написал длинное донесение канцлеру 28 декабря. А уже 30-го принужден был послать шифрованную телеграмму, извещавшую царя о полном провале этой попытки: «Ответ, который только что Друэн дал мне от имени Луи-Наполеона, которому он сообщил о моем конфиденциальном выступлении, доказал мне, что здесь решили идти в полном соглашении с Англией и решили в настоящее время предпочесть этот союз всякому другому». Телеграмма кончалась сообщением, что уже два дня как политические и финансовые круги Парижа очень взволнованы положением вещей и слухами о предстоящем отъезде русского посла [38].

За краткой шифрованной телеграммой Киселев послал 3 января 1854 г. и более обстоятельное изложение своей беседы с Друэн де Люисом, которого уже считает окончательно насквозь фальшивым человеком, а политику Наполеона III признает вполне определившейся: курс взят на войну, в сторону «самых крайних решений», в сторону полного единения с Англией [39].

Уже 26 декабря, т. е. до того, как это событие было оглашено, Бруннов узнал о предстоящем триумфальном возвращении Пальмерстона в кабинет. Он объясняет это «слабостью» Эбердина и невозможностью найти человека, который рискнул бы своей популярностью и решился бы заменить Пальмерстона. Поведение королевы, ненавидящей Пальмерстона и не имеющей возможности от него избавиться, внушает Бруннову «сострадание». Николай подчеркнул карандашом это место донесения. Эбердин, возвративший Пальмерстона в свой кабинет, ничуть и ни в чем не противоречащий Стрэтфорду, продолжает жаловаться на горькую свою долю и, что самое любопытное, продолжает вызывать в бароне Бруннове искреннее сочувствие. «Я так непопулярен,— сказал Эбердин Бруннову,— я так подавлен укором в трусости и измене (в пользу — *Е. Т.*) России, что я не осмеливаюсь более показываться на улицах. Так это не может долго длиться. Мне нужно будет рано или поздно уйти». Бруннов, с тем сердечным участием, в котором он никогда не отказывал лорду Эбердину в его деликатных страданиях, пишет канцлеру Нессельроде: «По правде сказать, я жалею во имя его же (Эбердина — *Е. Т.*) собственных интересов, что он до сих пор не принял этого решения (уйти — *Е. Т.*). К нему было бы больше уважения. Ибо сопротивление, которое он оказывает злу, не настолько твердо, чтобы оно было достойно его». И Бруннов кончает опять сожалением, что Эбердин «вышел из строя» [40]. А Эбердин в это самое время уже отдал все нужные распоряжения по вводу британской эскадры в Черное море...

Сообщая 27 декабря 1853 г. о победоносном возвращении лорда Пальмерстона в кабинет и жалея, как всегда, угнетенную невинность премьера Эбердина, которому, по его собственным словам, просто нельзя показаться на улице, до такой степени он опозорен обвинениями в измене, трусости и подкупе со стороны России, барон Бруннов сострадательно жалеет злополучного милорда, терпящего гонения за свое неискоренимое миролюбие. Зачем он в самом деле не уходит! Самое бы время уйти!

27 декабря Кларендон официально заявил, что после Синопа, где турецкий флот был истреблен Нахимовым в турецком порту, Англия, не желая допустить грозящего Турции повторения подобного несчастья, вводит свою эскадру в Черное море. Протест Бруннова остался тщетным [41].

Следует отметить, что при формальном объявлении Бруннову о проходе английской эскадры в Черное море министр иностранных дел лорд Кларендон признал правильность и обоснованность русской точки зрения, согласно которой русский флот имеет полное право нападать на неприятельские суда всюду, где они ему попадутся. Кларендон лишь заявил, что и Англия оставляет за собой право принимать меры, какие требуются для предотвращения нового разгрома турок, вроде происшедшего в Синопской бухте [42].

К концу декабря перед русской дипломатией начинают понемногу и пока еще не очень ясно вырисовываться основные линии назревающих событий. Оказывается, что сейчас после Синопа как в Лондоне и Париже, так и в Константинополе сразу же обозначилось могущественное течение в пользу ввода союзных эскадр в Черное море. Но в то время как на Западе ведущую роль сыграла Франция, именно Наполеон III, который ускорил окончательную победу Пальмерстона,— в Константинополе, напротив, инициативу взял на себя британский посол лорд Стрэтфорд-Рэдклиф, за которым уже последовал, медля и несколько как бы упираясь, французский представитель генерал Барагэ д'Илье. Выяснилось и другое. Тот протокол, который был подписан в Вене накануне известия о Синопе, 5 декабря 1853 г., четырьмя державами: Англией, Францией, Австрией и Пруссией, и который как бы намечал посредничество этих четырех держав между Россией и Турцией и объявлял их нейтралитет, фактически связывал Австрию и Пруссию, но нисколько не связывал ни Францию, ни Англию; т. е. связывал две германские державы, числившиеся еще союзными с Россией, и нисколько не стеснял открыто помогавших туркам Англию и Францию. На это обстоятельство очень четко и вразумительно указал барон Бруннов, и с этим толкованием, судя по помете на полях, вполне согласился и сам царь [43].

Русским министерством иностранных дел в предвидении появления английской и французской эскадр в Черном море был выработан следующий дипломатический *modus vivendi*, другими словами, проект договоренности, дозволяющий России не ответить на этот поступок Англии и Франции немедленным объявлением войны. Во-первых, державы обязуются воспрепятствовать туркам производить нападения на наши берега и на наши порты и мешать русским сообщениям с берегами и портами. Во-вторых, Англия и Франция обязуются ограничить действие своих флотов защитой турецких портов. В-третьих, с нашей стороны, мы обязуемся не нападать на турецкие порты.

Представляя этот проект Николаю, канцлер Нессельроде, основываясь на донесениях Бруннова из Лондона и Мейендорфа из Вены, рассчитывает, что есть шансы на принятие такого рода условий обеими западными державами. Выгоды же подобного соглашения — безусловны: «если бы можно было добиться полного соглашения от морских держав, это имело бы для нас то бесспорное преимущество, что дало бы нам возможность свободно сообщаться через Севастополь и Одессу с берегами Черкесии и обезопасило бы Черкесию, которая является самым уязвимым пунктом нашей позиции от нашествия со стороны наших врагов» [44].

Собственно, Бруннов уже не скрывает от Петербурга, что вся его надежда на сохранение мира заключается в том, что наступила зима, когда воевать как-то обыкновенно не принято. А до весны далеко и многое еще может как-нибудь измениться. Других надежд у барона уже в наличии как будто нет [45].

Множились самые недвусмысленные признаки возрастающей со дня на день опасности. Принц Наполеон, сын вестфальского короля Жерома Бонапарта и кузен Наполеона III, еще так недавно ласково беседовавший с Киселевым в Фонтенебло и с Александром Михайловичем Горчаковым в Штутгарте, вдруг усугубил свое внимание к вождям польской эмиграции в Париже и, кроме того, демонстративно посетил агитационную антирусскую пьесу «Казаки». Самую пьесу разрешил к представлению лично Наполеон III, хотя он это и отрицал [46].

Симптомы были очень показательны, и объяснение воспоследовало очень скоро.

7

3 января (в ночь на 4-е) и 4 января 1854 г. английские и французские суда, стоявшие в Босфоре, стали приближаться к выходу из пролива и проходить в Черное море. Английское правительство — пока еще полуофициально — не скрыло от Николая (которому сообщил об этом Гамильтон Сеймур, бри-

танский посол в Петербурге), что оно намерено силой воспрепятствовать нападениям русского флота на турецкие берега.

Наместник Кавказа князь М. С. Воронцов первый забил тревогу.

Под прямой угрозой оказалось беззащитное кавказское побережье.

«На суше мы не боимся никого; но на море и на побережье,— дело совсем иное, и я не могу без содрогания (sans frémir) воображать себе во всех подробностях неизбежную и жестокую потерю всех наших фортов на восточном берегу, спасти который мы в этом случае не имеем никаких средств». Воронцов считает это таким несчастьем, «в котором не может утешить нас никакой успех на суше»[47]. Он настойчиво рекомендует Нессельроде сделать все зависящее для скорейшего восстановления мира.

Царь был в величайшем раздражении. Отступления он не видел. Он решил расширить военные действия против Турции на суше, перейти через Дунай, поднять против турок общее восстание христианских народов, подчиненных султану. Он собственноручно набросал план политических действий, который и был сообщен как Нессельроде, так и Паскевичу.

«Возмутительные заявления лорда Эбердина, признанное намерение мешать нашим действиям на море и однако позволить туркам действовать на море против нас требуют с нашей стороны такой комбинации, которая бы повела нас прямо к нашей цели, увеличивая наши средства действия и обеспечивая их от английских покушений». Так начинает царь свою записку. Он высказывает подозрение, что англичане сами видят, что Турция дальше существовать не может, и намерены уже от себя и в совсем враждебном России духе освободить балканские народы и организовать их. «Не есть ли повелительный наш долг предупредить этот гнусный расчет (cet infâme calcul), объявив уже теперь всем державам, что, признавая бесполезность общих усилий пробудить в турецком правительстве чувства справедливости и вынужденные вести войну, исход которой не может быть определен, мы остаемся верны уже провозглашенному нами принципу отказа, если это возможно, от всякого завоевания; но что мы признаем, что пришел момент восстановить независимость христианских государств в Европе, подпавших несколько веков назад под оттоманское иго, беря на себя инициативу этого священного решения, мы обращаемся ко всем христианским нациям, чтобы они присоединились к нам в священных этих целях... Итак, мы заявляем, что наше желание восстановить действительную независимость молдо-валахов, сербов, болгар, босняков и греков; что каждая из этих наций получает страну, где она живет в течение веков,

что каждая из них должна управляться человеком по ее собственному выбору, избранному ими самими из их соотечественников». Царь ожидает больших последствий от подобного воззвания: «Я думаю, что воззвание или декларация такого рода должна сразу же переменить мнения во всем христианстве и, может быть, привести к более справедливым воззрениям на это важное событие; и по крайней мере устранить исключительное и злонамеренное руководство со стороны английского правительства... Я вижу в этом единственное средство против зложелательства Англии, потому что невероятно, чтобы после подобной декларации они еще могли бы присоединиться к туркам, чтобы сражаться против христиан» [48].

Итак, русской внешней политике давалось новое определенное направление и задание. Война с западными державами — *более чем вероятна, предупредить ее можно, усиливая* дипломатическое, а затем и военное наступление. Нужно перейти через Дунай, идти на Балканы, поднять народы, подчиненные Турции; «если возможно», воздержаться от завоеваний. А если «невозможно»?

Николай в своем окружении в это время (в начале 1854 г.) вовсе не скрывал, что не прочь был бы водвориться в Константинополе и заменить для Турции ее падишаха. Когда в Турции было издано воззвание, извещавшее, что все перебежчики из русской армии будут приниматься в Турции с тем же чином, какой у них был в России, то Николай сказал, прочитав литографированный экземпляр этого воззвания: «жаль, что я не знал этого, а то и я перешел бы *на службу* в Турцию со своим „чином“»: он в Турции должен был бы сделаться султаном [49].

Николай тут шутил, но в своей собственной записке он нисколько не шутил. Установка в Зимнем дворце была взята в январе 1854 г. более решительно, чем когда-либо, на окончательное разрушение Оттоманской державы. Сначала Петербург, потом провинция довольно скоро учуяли, что близятся решительные события и что вопрос о гибели или сохранении Турции вступил в очень критический фазис. Сгорая от любопытства, вспоминая и неудачу под Ольтеницей, и победу на Кавказе, и Синоп, читая лаконичные известия об англо-французском флоте, не зная, как все эти разнохарактерные факты совместить со слухами о желании царя «освободить» балканские народы, славянофил Хомяков писал Антонине Дмитриевне Блудовой, взявшей на себя в это время роль как бы докладчицы при высочайшем дворе по славянофильским делам: «...сколько на свете понаделалось дел! да каких важных! да сколько из этих важных дел выйдет еще важнейших! Заметьте, пожалуйста, что я все-таки еще ничего не понимаю, из чего это делается... Только вижу, что мы турецкий флот или часть его сожгли, и что

кн. Бебутов... побил турка наголову: все это меня радует. Неудачи немца Данненберга я совсем и знать не хочу. Все так, все хорошо. Да из чего же так Европа расхлопоталась? из чего она так к нам не благоволит? из чего флоты посылает? Никак в ум не возьму. Или мы уж очень много требуем? Да, кажется, мы ничего не требуем... Вам в Петербурге, вероятно, все это ясно, а нам в глуши совершенно недоступно. Заметьте, что я все недоумения представил в виде вопросов, не потому чтобы я ждал объяснения (время все объяснит гораздо лучше, чем письма, *возимые почтою)*, но это было невольное выражение внутреннего смущения. Ничего не знаешь, не понимаешь, а чего-то крупного ждешь и должен ждать. Ведь не даром же у Босфора такой съезд всех возможных флагов, которые, конечно, никогда не развевались вместе на одних водах. И факт сам по себе, и сцена его,— все величественно. В моих глазах это возвышает самый Царьград. Вот неразумное чувство художника, а разумная мысль человека: что-то бог даст? но все это не может пройти совсем даром. Не на похороны ли Турции такой съезд? Ведь ее, вероятно, похоронят с почетом, как следует хоронить царство Баязетов и Солиманов, царство, от которого дрожала вся Европа. Не издыхать же старому богатырю за изгородью; ему следует умереть с честного боя! Жить ему, кажется, нельзя. Сильный враг, неисцельные раны внутри, и лукавые друзья, которые опаснее врагов, тут, кажется, мало надежд на жизнь. Я уверен, что все кончится в пользу нашей задунайской братии и в урок многим. Узнают между прочим, что славянофильство не было ни революционерством, ни безумием, а верным предчувствием и ясным пониманием наших отечественных потребностей и наших естественных союзов. Полагаю, что и теперь уж начинают это смекать, хоть, разумеется, и не признаются.

Но в сторону эти политические дела, которые очень удобно без меня обойдутся...» [50]

Но эта новая установка в русской политике ставила перед царем новый вопрос: до крайности обострялись сразу же отношения с Австрией. «Освобождение» турецких славян очень легко могло повести к «освобождению» и славян австрийских. Путь на Балканы, путь на Адрианополь и Константинополь, по которому в 1829 г. Дибич уже провел русскую армию, теперь мог тревожить Австрию несравненно больше, чем даже в 1829 г., хотя и тогда Меттерних и фон Радецкий были в большой тревоге. Николай решил объясниться начистоту с австрийским императором.

Глава VIII

МИССИЯ ГРАФА АЛЕКСЕЯ ОРЛОВА К ФРАНЦУ-ИОСИФУ И ПОЗИЦИЯ АВСТРИИ ПЕРЕД ПЕРЕХОДОМ РУССКИХ ВОЙСК ЧЕРЕЗ ДУНАЙ

1

В январе 1854 г. для Николая уже почти и сомнений не оставалось, что дело идет в лучшем случае к дипломатическому разрыву с Англией и Францией, а в худшем случае к войне. Черное море после 4 января, когда союзный флот вошел туда, потеряно для России, и здесь можно и должно думать лишь о спасении русских эскадр и обороне черноморских портов. Но и враги здесь тоже не будут в состоянии нанести России решающий удар. Значит, остается единственный театр военных действий, где можно продолжать и усиливать русское наступление, это Дунай и — если дела пойдут счастливо,— то Балканы.

Царь уже знал то, чего не усмотрел летом и ранней осенью: фельдмаршал неспокойным оком взирает на этот дунайский поход; фельдмаршал скорее парализует, чем поощряет Горчакова в его наступательных порывах, да и эти «порывы» робеющего перед Паскевичем князя Михаила Дмитриевича только разве иронически могут быть обозначены этим словом: так растеряны и нерешительны все его движения. Царь не только знал, почему Паскевич так смотрит на дунайскую войну, но он и сам давно раздражался и беспокоился тем же явлением, которое для него было довольно неожиданным, хотя для Паскевича оно нисколько неожиданным не было.

Пруссия внушала и Паскевичу и царю меньше беспокойства, чем Австрия.

«Верьте в вашего верного Фрица! С момента, когда вы преодолеете ужасные проекты революционной партии, толкающей к войне английский кабинет, как только вы сделаете войну невозможной,— а вы сделаете ее невозможной, приняв предложения, сделанные вам австрийским императором, все войдет в естественную колею, чудовищный и неестественный союз Франции и Англии развалится. *В этом спасение Европы* (подчеркну-

то в подлинном тексте Фридрихом-Вильгельмом IV — *Е. Т.*). Дайте, дорогой друг, мне еще минуту внимания. То, чего вы желаете, чтобы я для вас сделал, я в действительности делаю, мой нейтралитет ни неверный, ни колеблющийся, *но суверенный,* и останется таким (ma neutralité n'est et ne sera ni incertaine ni vascillante (sic! — *Е. Т.*) mais souveraine)» [1]. Так изъяснялся прусский король. Но Франц-Иосиф подобные письма царю уже давно перестал писать.

Почему Австрия ведет себя так двусмысленно? Не затевает ли она «измены», т. е. присоединения к Англии и Франции в случае войны России с этими державами? Не обрушится ли она внезапно со всей мощью своей еще нетронутой и хорошо вооруженной армии на правый фланг русских войск во время их возможного будущего движения от Дуная к Балканам? Николай знал, что Паскевич склонен на все эти вопросы давать утвердительные ответы. Но царь еще не желал с ним в этом соглашаться.

Между тем тянуть дело дальше становилось все менее и менее выгодно. На появление союзного флота в Черном море нужно было ответить равносильным ударом по Турции: Николай решил перевести войска на правый берег Дуная и угрожать одновременно Варне и Силистрии. А для того чтобы удостовериться в степени реальной опасности, грозящей со стороны Австрии, царь решил послать доверенное лицо для переговоров с Францем-Иосифом. В Зимний дворец велено было явиться графу Алексею Орлову.

Николай приказал ему ехать в Вену с собственноручным письмом царя к Францу-Иосифу. В личной беседе Орлов должен был выведать, как отнесется Австрия к намеченному уже переходу русской армии, стоящей в княжествах, через Дунай, и повлиять на австрийского императора в желательном для русской политики смысле.

Граф Алексей Федорович Орлов считался издавна одним из трех царских фаворитов. Он, конечно, никогда решительно не пользовался и в малой доле тем огромным престижем при дворе и влиянием на царя, каким всегда пользовался Паскевич, но с Меншиковым в этом отношении он мог потягаться. Алексей Федорович нисколько не был похож ни на Паскевича, ни на Меншикова. Паскевич должен был во имя и в интересах своей личной карьеры во многом и многом покоряться и действовать против велений своей совести, но многое его раздражало и пугало в той действительности, с которой он никогда не решался вступать в борьбу. Орлов решительно никогда всех этих неудобств и неприятностей в своей внутренней жизни не испытывал, и карьерный путь свой проходил очень бодро и весело, причем ни о каких укорах его совести (и даже о самом ее наличии

у него) слышно не было. Он принадлежал к поколению Паскевича (был на пять лет моложе), и главным поворотным пунктом его карьеры было 14 декабря 1825 г., когда его поведение в качестве командира конного полка лейб-гвардии настолько понравилось царю, что он простил ему даже родство с братом Михаилом Федоровичем, декабристом и одним из членов «Союза благоденствия». В соответствующем месте нам пришлось уже упомянуть о его блестящем дипломатическом успехе в 1833 г.: при заключении русско-турецкого договора в Ункиар-Искелесси. Когда освободилась после Бенкендорфа вакансия, Орлов с удовольствием стал в 1844 г. шефом жандармов. Но удовольствие это относилось больше всего к высокому служебному его положению по новой должности и большому окладу, а не к деловой, так сказать, служебной рутине. Живой, очень неглупый человек, Орлов был всегда большим лентяем, и ум его прежде всего был направлен на приискание нужных ему людей, которые хорошо исполняли бы его общие указания и не очень приставали бы к нему с бумагами и докладами. И он часто очень удачно таких людей находил. Так, при первых же своих дипломатических поручениях он уже выискал и отличил барона Бруннова, разглядев в этом захудалом курляндском дворянине не простую канцелярскую полезность, служебную ломовую лошадь, на которую можно взваливать полумеханическую работу, а способного человека, который может вести и ответственные дела, хотя звезд с неба и не хватает. Но Орлов знал, что после смерти Сперанского звезд в русском правительстве и бюрократии никто вообще уже не хватает. И именно Орлов больше всего обратил внимание Николая на барона Бруннова, когда, отправляясь в 1829 г. в Константинополь, упросил царя о назначении Бруннова управляющим дипломатической канцелярией в Константинополе. Когда Орлов стал в 1844 г. шефом жандармов и начальником III отделения, ему не пришлось даже и выискивать нужного человека. Леонтий Васильевич Дубельт был ему оставлен по наследству от Бенкендорфа. Шпионской ежедневной работой занимался Дубельт, а граф Алексей Федорович по-прежнему делами себя не изнурял, срывал цветы удовольствий, блистал при дворе и в свете. Случались порой и неприятности. «В Петербурге открыт заговор, и я узнаю об этом не от тебя?» — так грозно встретил в один злополучный апрельский день 1849 г. Николай входившего в царский кабинет Алексея Федоровича. Речь шла о петрашевцах, выслеженных агентами и провокаторами министра внутренних дел Перовского во главе с И. П. Липранди. Это был ловкий подвох, устроенный Перовским шефу жандармов Орлову и его III отделению. Именно поэтому Орлов не только не раздувал дела Петрашевского, но, напротив, и он и Дубельт

не прочь были по чисто личным своим соображениям препятствовать его дальнейшему развитию.

Орлов внимательно следил с 1852 г. за всеми перипетиями восточного вопроса и на посылку Меншикова и затем на деятельность Меншикова в Константинополе, конечно, смотрел как на грубейшую дипломатическую ошибку. Это ему не мешало сначала льстить Меншикову и похваливать его, а потом, когда Меншиков ушел в отставку, порицать и сурово осуждать его.

Меншикова он не любил и не видел никаких причин уважать его, считал, как и Паскевич, что одно дело сочинять забавные эпиграммы и колкие анекдоты и смешить царя каламбурами, а совсем другое — вести дипломатическую борьбу разом с двумя великими державами и одной второстепенной. За Орловым была и большая дипломатическая опытность (и именно в восточных делах) и обходительность, ловкость, где нужно, любезность, было также быстро схватываемое понимание всей обстановки, в которой приходится действовать. «Ему шестьдесят девять лет, а он такой легкий и вертлявый, как будто и двадцати нет!» — говорили о нем впоследствии в Тюильрийском дворце, когда он возглавлял русскую делегацию на Парижском конгрессе. Эта вертлявость была свойственна не только физической, но и моральной природе графа Алексея Федоровича. Он был в некоторых отношениях прирожденным дипломатом по уменью внезапно переставлять свои батареи и ни минуты не терять из виду непрерывно меняющихся и вовсе не зависящих от его воли условий. В этом смысле ни Бруннов, ни Киселев, ни Петр Мейендорф, ни, конечно, Будберг не могли идти ни в какое с ним сравнение. Нечего и говорить о надменном, капризном, раздражительном Меншикове или канцлере Нессельроде, наивно отказывавшемся (подобно своему повелителю) признать, что на белом свете кое-что все-таки переменилось из того, что было так гармонично устроено на Венском конгрессе в 1814 и 1815 гг.

Орлов с насмешкой и раздражением относится к вере Нессельроде в то, что в завязавшейся из-за Турции опасной борьбе можно как-то рассчитывать на бренные останки Священного союза, на солидарность трех истинно монархических держав и трех династий: Романовых, Гогенцоллернов и Габсбургов. И не потому он считал это нелепым, что ему были антипатичны идеи Священного союза и его политика. Орлов, шеф жандармов, ровно ничего против этих реакционных идей не имел. Но он просто считал, что ни Австрия, ни Пруссия, сколько бы им теперь ни напоминать о принципах Священного союза, ни за что не помогут Николаю в его планах насчет Турции,— и еще хорошо, если не выступят против царя вместе с Англией и Францией.

А между тем, в сущности, все надежды Николая на успех миссии Орлова в Вене именно и основывались на том, что, может быть, Священный союз еще не совсем испарился из памяти австрийских государственных людей. В этом-то прежде всего и была трудность положения графа Орлова. Он с самого начала не верил, что в Вене он договорится до положительных результатов с Францем-Иосифом и Буолем. Но отказывать Николаю не полагалось. Орлов отправился.

В Петербурге люди, близко к делу стоявшие, так и поняли поездку Орлова в Вену. «В настоящее время наше положение весьма критическое. Здесь держат в большом секрете то, что у нас нет ни одного союзника; даже австрийцы не только не будут нам помогать, но и не останутся в нейтральном положении. Государь сими последними известиями крайне огорчен и хочет испытать последнее средство — уговорить и убедить австрийского императора...» [2]

Так писали Меншикову в Севастополь, еще когда пошли при дворе первые слухи о предполагаемом путешествии графа Орлова.

2

Вена ждала графа Орлова с большим волнением. При дворе Франца-Иосифа уже с начала 1853 г., а особенно с лета шла борьба между двумя группами.

«Русская партия» при венском дворе была еще в начале 1854 г. довольно сильна. Во главе ее стояли генералы аристократического происхождения Виндишгрец, Клам-Галлас, граф Вимпфен и к ней примыкало немало непримиримейших реакционеров, как кровных аристократов, вроде князя и княгини Лихтенштейн, так и из выслужившейся высшей бюрократии. Умонастроение этой группы (от нее лишь в самые последние месяцы своей жизни в 1852 г. стал несколько отделяться канцлер граф Шварценберг) было весьма понятно, и ее представители нисколько не делали тайны из мотивов, которыми руководствовались. Николай спас в 1849 г. монархию Габсбургов не только от венгерского восстания, но и от «проклятых демократов» (так именовались в Вене тогда все сочувствовавшие буржуазному конституционному движению), царь остался непоколебимым прочным оплотом всех привилегий феодальной знати, еще частично уцелевших в Средней Европе. Следует ли из-за каких-то турецких Дунайских княжеств ссориться с могущественным монархом, с испытанным другом, который у себя так твердо держит бразды правления и дает своему дворянству настоящую, сурово ограждаемую от всяких покушений, власть над крестьянами? Тому же Шварценбергу, умершему в 1852 г.,

приписывается знаменитая фраза, что Австрия удивит мир своей неблагодарностью, если пойдет против России. Более чем вероятно, что мемуаристы, утверждающие, будто он никогда этого не говорил, и правы [3]. Но что эти слова соответствуют позднейшим настроениям очень влиятельной части австрийской знати, в этом нет никакого сомнения. Эти люди просто отказывались также понять, как можно отойти от могущественной русской опоры, как можно забыть, что царь одним своим грозным словом заставил Пруссию отказаться от попытки сделаться центром сплочения Северной и Средней Германии и одновременно от всяких поползновений отбить у Австрии первенствующую роль в Германском союзе. Кто вредит Николаю, тот подрывает дело монархии и дворянства на всей земле и прежде всего тот подкапывается под монархию Габсбургов. Таков был пароль и лозунг руководящих верхов австрийской аристократии в 1853, 1854, 1855 гг. Почему они не восторжествовали? Правда, им удалось помешать военному выступлению австрийской монархии против русских войск на поле брани, но не удалось все же предотвратить решительное дипломатическое противодействие Австрии всем восточным планам Николая. Чем же это объясняется? Определенным (и очень давнишним) страхом установления вассальных отношений Австрии к великой русской империи. Упрочение русских позиций сначала на Дунае, потом на Балканах, окружение австрийского острова со всех сторон русско-славянским морем — вот что было кошмаром, уже при Меттернихе, и не только в конце, но и в самом начале карьеры Меттерниха, сейчас же после падения наполеоновской империи. Ведь одной из побудительных причин, заставивших Меттерниха долгий летний день в Дрездене в 1813 г. выбиваться из сил, убеждая, почти умоляя Наполеона согласиться на мир, было именно опасение, что Россия слишком усилится и, в случае окончательной победы над Наполеоном, останется в Европе без противовеса. Наполеона петербургского в таком случае Австрия могла опасаться не меньше, а больше, чем Наполеона парижского.

В начале июня 1816 г., т. е. всего через каких-нибудь восемь месяцев после подписания Александром I, Францем I Австрийским и Фридрихом-Вильгельмом III Прусским торжественного акта о Священном союзе, в котором три истинно христиански и истинно братски настроенных монарха поклялись помогать всемерно друг другу,— австрийский посол в Лондоне граф Эстергази вел очень знаменательный разговор с лордом Кэстльри, тогдашним статс-секретарем иностранных дел в кабинете лорда Ливерпуля. Эстергази сказал лорду Кэстльри, что, в случае вторжения русских войск в Молдавию и Валахию, австрийское войско должно, соединившись с турецким,

вытеснить русских из этих провинций, а в то же самое время английский, французский и турецкий флоты должны войти в Черное море и загнать русский флот в Севастополь. Это было не пророчество, а результат постоянных размышлений и тайных забот венской дипломатической канцелярии. Если все это говорилось австрийскими дипломатами школы Меттерниха еще в 1816 г., то могли ли подобные мысли, опасения, предположения, планы исчезнуть в последующие десятилетия, когда Николай делал упорные попытки то военным нападением, то средствами дипломатическими установить свой протекторат над Турцией и прежде всего утвердиться в турецких Дунайских княжествах? Меттерних делал все, что мог, чтобы помешать русскому продвижению в 1828—1829 гг., во время первой войны Николая с Турцией. Но мог он очень мало. Затем бороться с Николаем Меттерниху стало еще труднее. Два основных врага меттерниховской Австрии — с одной стороны, назревавшая буржуазная и национально-освободительная революция в габсбургских владениях, а с другой стороны, могущественный северный сосед — не могли никак быть сокрушены одновременно.

Нужно было выбирать, и выбор не оставлял места для колебаний. Приходилось терпеть русскую угрозу, потому что угроза революционная была более страшной, и, главное, избавиться от революционной угрозы можно было только не ссорясь с Николаем, а призывая его на помощь.

Однако теперь, в 1853—1854—1855 годах, революция была, казалось, подавлена, абсолютизм в Австрии восстановлен не только фактически, но с конца 1851 г. даже и формально. А другая опасность, русская, напротив, именно в эти годы казалась возросшей в неимоверной степени. Когда в конце марта 1854 г. английское правительство опубликовало изложение разговоров, происходивших между Николаем и сэром Гамильтоном Сеймуром в январе — феврале 1853 г., то Франц-Иосиф и граф Буоль, его министр иностранных дел, были поражены и оскорблены, узнав, до какой степени Николай ставит Австрию ни во что и как откровенно показывает это английскому дипломату, говоря с ним о разделе Турецкой империи. Старик Меттерних проживал в отставке в Вене и в 1854 г. решительно высказывал всем, кто еще прислушивался к его мнениям, что Австрия должна занять позицию против Николая, пока ей не удастся добиться ухода русских войск из Молдавии и Валахии. Воевать — так воевать, если придется, а лучше всего, если бы удалось удалить русских оттуда дипломатическими маневрами. Выпроводить вон маневрами — hinausmanövrieren — было одним из любимых выражений отставного канцлера.

Меттерних, который в это время играл роль некоего непогрешимого политического оракула, боялся за Турцию и счи-

тал, что мир более нужен Турции, чем России. Сообщая это свое суждение графу Буолю, Меттерних накануне приезда в Вену Орлова полагал, что самый выбор Орлова позволяет предполагать в императоре Николае намерения «скорее мирные, чем воинственные» [4]. Граф Алексей Федорович имел в Европе репутацию тонкого и очень обходительного дипломата. Меттерних опасался не только за целость Турции... Он утверждал, что сохранение мира безусловно нужно и Австрии, и об этом тоже пишет Буолю. Вообще же старый дипломат преподает своему ученику в этих любопытнейших то французских, то немецких письмах благой совет: Австрия должна активно выступить не в начале, а в конце этой внезапно надвинувшейся войны [5].

3

С волнением и нетерпением ждали Орлова не только при австрийском дворе, но и в русском посольстве в Вене.

Поздравляя и себя и Нессельроде с победами русского оружия (даже вставляя в свои французские донесения русскую фразу: «на нашей улице праздник» [6], Мейендорф продолжает бояться войны, и ни Синоп, ни Ахалцых его не делают более уверенным. Он предвидит, что после Синопа Англия и Франция введут свои эскадры в Черное море,— и все-таки очень советует принять это спокойно и стараться избегать столкновений с ними на море. Он продолжает хвататься за исчезающую надежду избежать войны. Мейендорф знает, что Николай не хочет видеть опасности, и, прикидываясь, будто речь идет вовсе не о политике царя, нападает на славянофилов: «Я хорошо знаю, что в России, в обществе, которое говорит, не зная положения вещей, требуют войны до конца (une guerre à fond). Говорят о взятии Константинополя, как если бы это был Карс. Хотят заставить турок, чтобы они просили мира, стоя на коленях». Но, «к счастью», уверяет Мейендорф из Вены графа Нессельроде, царь может не считаться с этими мнениями: так он поставлен. А кроме того, Мейендорф очень надеется, что Паскевич и другие, видящие опасность, удержат Россию от войны: «У нас есть авторитеты, как фельдмаршал, как графы Орлов, Киселев и другие, которые столь же патриотичны и более компетентны, чем самые пылкие; их мнение возобладает и критика должна будет умолкнуть» [7].

Орлов, едва ли не самый умный человек в этот момент из всего ближайшего окружения Николая, отправлялся в Вену, как уже сказано, без малейшей надежды. «Я еду туда без всякой надежды на успех, так как австрийцы *постыдно* (honteusement) (подчеркнуто в подлиннике — *Е. Т.*) боятся французов и англичан. Я смотрю на себя как на доктора, которого по-

сылают к умирающему не с надеждой вылечить его, но по крайней мере поддержать его» [8]. Но и Орлов ошибался: Францем-Иосифом и Буолем руководил не только страх перед Наполеоном III, но и страх перед Николаем I. Австрийцы страшились в будущем синих французских мундиров в Ломбардии и Венеции, а в настоящем — они еще меньше мирились с присутствием русских зеленых мундиров на Дунае. Однако помочь австрийцам в Италии против Наполеона III Николай не мог никак; помочь им против Николая I на Дунае Наполеон III не только мог, но и хотел; не только хотел, но его войска уже понемногу готовились к отъезду в Турцию.

Инструкции царя графу Орлову канцлер Нессельроде изложил в трех документах, которые все помечены одной датой 8 (20) января 1854 г. Из них нас интересует только один, потому что два других имеют чисто формальный, так сказать, характер. Об этом пишет сам Нессельроде Орлову: «Ваше прибытие в Вену не преминет возбудить внимание морских держав, как и внимание дипломатии вообще. Поэтому необходимо объяснить (ваше прибытие — *Е. Т.*) какой-либо показной целью (un but ostensible)», не имеющей, как увидим, ничего общего с настоящей целью. Эта показная цель заключается будто бы в том, что Орлов должен повести переговоры о ноте, с которой, согласно венскому протоколу 5 декабря, четыре державы обратились к России и Турции. Во второй ноте Нессельроде еще прибавляет в дополнение к первой, что в случае переговоров договор о Дарданеллах и Босфоре от 1(13) июля 1841 г. не должен «возобновляться», ибо он никогда и не переставал существовать. Таковы эти «показные» инструкции. Истинная мысль царя выражена в третьей инструкции, не показной, а настоящей, которая в отличие от двух первых еще обозначена словом: *секретная* [9].

Вот что, по существу, в ней всеми словами и со всеми уточнениями изложено. Зашифровывать было незачем: ведь бумага отдавалась Орлову из рук в руки.

Англия и Франция ввели свой флот в Черное море. Каждый миг может возникнуть серьезное столкновение и, как его последствие, открытая война с Англией и Францией. Следует побудить Австрию и Пруссию уже теперь сделать формальное заявление о позиции, которой они намерены придерживаться в таком случае. Австрия и Пруссия должны бы подписать заявление, во-первых, о своем строгом нейтралитете и, во-вторых, о том, что в случае угроз со стороны Англии и Франции они будут защищать свой нейтралитет с оружием в руках. А со своей стороны император Николай обязуется помочь им всеми силами против какой бы то ни было агрессии, и вместе с тем, чем бы ни окончилась война, он не примет никаких ре-

шений, касающихся будущей судьбы Турции, без предварительных соглашений со своими союзниками. Инструкция предвидит, что дело затеяно очень нелегкое: «Вам придется бороться с предубеждениями». На Пруссию будет влиять страх перед французскими угрозами. Австрия потребует ручательств, что будет сохранена Оттоманская империя, потребует гарантий касательно пограничных провинций (т. е. славянских земель Турции). Словом, «Австрия пожелает для этого, чтобы русские военные операции в Европе не распространялись дальше Дуная».

Вот дать такие гарантии Австрии царь и не согласен: «вам (Орлову — *Е. Т.*) будет легко объяснить, что император не может обязываться далее, не лишая себя в войне против страшных врагов большей части своих способов действия». Дальше идет попытка снабдить Орлова аргументами, в полном бессилии которых ни царь, ни Нессельроде никак не желали убедиться, хотя и Паскевичу, и Орлову, и Бруннову, и даже скромному Петру Мейендорфу было вполне ясно, что в данном случае ничего при помощи подобных рассуждений нельзя достигнуть. Неужели Австрия доверится Англии и Франции, которые будут поддерживать в ее владениях в Венгрии и Италии революционный дух? Неужели Пруссия не боится остаться без защиты перед лицом Наполеона III? После этих патетических вопросов — заманчивый ответ: «Войдя в комбинацию, которую мы предлагаем, Австрия и Пруссия обеспечат сохранение монархического союза. Если они не вступят в комбинацию, дело (монархического союза — *Е. Т.*) будет навсегда погублено. Политика интересов восторжествует над политикой принципов». И Нессельроде, явно намекая на возможность новых просьб Австрии о русской контрреволюционной помощи в будущем, пишет: «Вы будете настаивать, господин граф, на этом неминуемом последствии и прибавите, что в таком случае Россия, сильная у себя и в безопасности от революционных предприятий, замкнется морально и материально в своих границах и впредь будет искать себе союза только в благоприятных условиях, которые ей представят обстоятельства». Итак, с подобным багажом и отправился граф Алексей Федорович в Вену. Ему предлагалось: внушить Францу-Иосифу, что Австрия должна вступить в войну против Франции и Англии и помочь тем самым Николаю захватить уже навсегда не только Молдавию и Валахию, но и ряд сопредельных с Австрией славянских земель. Наградой Габсбургской монархии должно было служить благородное сознание, что она помогает Николаю ограждать истинно-консервативное монархическое начало от революционных покушений со стороны таких революционеров, как Пальмерстон и Наполеон III.

Как мы видели, в Вене была придворная партия, на которую очень могла бы подействовать «принципиальная» установка Николая. Но эта партия не была у власти. Все зависело от императора Франца-Иосифа и его министра иностранных дел графа Буоля, к советам которого император как раз тогда очень прислушивался.

Австрийский император догадывался, с чем послан к нему Орлов,— и решение его уже было принято.

4

Франц-Иосиф и тогда, в 1854 г., в свои двадцать четыре года был во многом таким, каким свет узнал его за дальнейшее долгое царствование. Неглупый, спокойный по праву, очень себя в руках державший, крайне осторожный и никому почти не доверявший молодой человек, вступивший на престол в бурную революционную пору. И Франц-Иосиф в первые годы царствования в самом деле беспрекословно повиновался Николаю не только потому, что эти первые годы правления юного австрийского монарха совпали со временем, когда звезда Николая находилась в зените и все пред ним трепетало и склонялось, но прежде всего и потому, что вооруженная интервенция царя в 1849 г. во время венгерского восстания спасла Австрию от неминуемого распада, а грозное дипломатическое вмешательство Николая в германские дела в Ольмюце в 1850 г. дало полное торжество Австрии над Пруссией во всех делах Германского союза. Вот именно с тех пор Николай и внушил себе окончательно совершенно неправильное представление о Франце-Иосифе как о робком, навеки помнящем царские благодеяния вассале, с которым можно совсем не считаться как с самостоятельной величиной. Николай так почти прямо и высказался об Австрии в своих знаменитых январских и февральских разговорах с Сеймуром в 1853 г.: Австрию можно в расчет не принимать, Австрия имеет те же интересы, что и Россия.

Все это было вовсе не так. Интересы Австрии и России решительно расходились в восточном вопросе, и Франц-Иосиф вовсе не собирался играть роль смиренного вассала. Франц-Иосиф отличался долготерпеливым нравом, очень уравновешенным умом,— и никаким эмоциям никогда не давал над собой решающей власти. Несчастья, сыпавшиеся на него в течение всей его долгой жизни, до странности мало на него всегда действовали, и это несколько раз даже отмечалось в литературе воспоминаний о нем. Он на своем веку проигрывал все без исключения войны, которые ему навязывали исторические судьбы Австрии; его жену убили, его сын и наследник покончил самоубийством, другой его наследник был убит, его род-

ного брата Максимилиана расстреляли, другой — эрцгерцог Иоганн — пропал без вести. Но все это ничуть не влияло ни на моральное, ни на завидное физическое здоровье Франца-Иосифа, воспринималось им не как катастрофы, а лишь как крупные неприятности, благополучно переживалось, быстро забывалось, и умер он в 1916 г. на восемьдесят седьмом году в разгаре несчастной для Австрии войны не от мировой скорби, а от гриппа. Такие сравнительно не очень сильно действующие вообще на душу человеческую эмоции, как чувство благодарности, имели на Франца-Иосифа уже подавно минимальное влияние, а на этой-то австрийской благодарности Николай и основывал в значительной степени свои расчеты. Правда, царь желал, чтобы граф Орлов еще и припугнул Франца-Иосифа отказом в русской помощи в случае новой революции в австрийских владениях, но Франц-Иосиф твердо помнил афоризм своего фельдмаршала фон Радецкого, усмирителя Ломбардии: пятнадцать дней военного и полицейского террора — пятнадцать лет спокойствия. Сам же Николай помог Францу-Иосифу, Шварценбергу, Гайнау, Гиулаю расправиться террористически с венгерскими и австрийскими революционерами, а до истечения пятнадцатилетнего срока было еще далеко,— и все пока и в Вене, и в Будапеште, и в Праге, и в Кракове обстояло спокойно, или так казалось,— и царская угроза насчет отказа в помощи поэтому повисла в воздухе. А главная «вина» Николая перед Францем-Иосифом заключалась в том, что после введения английской и французской эскадр в Черное море, имея в перспективе тяжкую войну с двумя крупными державами, царь был теперь совсем не в том положении, в каком находился еще летом 1853 г. в момент вступления русских войск в Дунайские княжества. Николай в дипломатическом смысле ослабел, уже много позиций потерял, много ошибок наделал, и уже начал бледнеть и рассеиваться вокруг него тот ореол всемогущества, в котором привыкла его видеть Европа. Все это очень учитывал внимательный Франц-Иосиф, и нелегкие разговоры предстояли графу Алексею Федоровичу, который 28 января 1854 г. прибыл в Вену.

Орлов был, как сказано, тонким, тактичным и осторожным дипломатом. Его методом было не запугивание, а уговаривание и посулы. Он явился к Францу-Иосифу и передал царские предложения. Следует сказать, что, в противоположность Меншикову, Орлов считал ошибочным путь, на который вступил царь, начиная свои роковые беседы с Сеймуром, но совершенно так же, как Меншиков и Нессельроде, граф Алексей Федорович в обыкновенное время никогда не решился бы открыто перечить Николаю в любой затее последнего. Но тут, как увидим, Орлов осмелел. Предложения, привезенные

Орловым в Вену, заключались в его изложении в следующем. Австрия объявляет дружественный нейтралитет как в войне России с Турцией, уже начавшейся, так и в войне России с западными державами, еще только надвигающейся. В награду за это царь берет на себя ручательство за полную неприкосновенность австрийских владений и берется побудить Пруссию и весь Германский союз присоединиться к этому обязательству. В случае распада Турции Россия и Австрия берут на себя протекторат над теми государствами (Сербией, Болгарией, Молдавией, Валахией), которые могут образоваться на Балканском полуострове и на Дунае.

Орлова приняли в Вене с большим почетом. Вся верхушка генералитета, главные сановники поспешили с приветственными изъявлениями. Но уже в первой аудиенции у Франца-Иосифа граф Орлов заметил «сдержанность» (la réticence) в обхождении. Орлов передал письма Николая; Франц-Иосиф пригласил его на семейный свой обед, но был «крайне озабочен» и говорил о чем угодно, только не о политических делах.

Первым высказался вскоре Буоль, министр иностранных дел: «Нам нужны гарантии». Затем последовала новая двухчасовая аудиенция у Франца-Иосифа. Снова «с большой сердечностью» приняв Орлова, Франц-Иосиф заявил, что считает для своей империи опасным какое бы то ни было изменение политического положения пограничных турецких провинций. Никакой декларации о нейтралитете Франц-Иосиф делать не пожелал, и миссия Орлова провалилась безнадежно и сразу.

Орлов был гораздо более гибким человеком, чем Николай, гораздо более умным человеком, чем Нессельроде, и гораздо более осторожным и проницательным, чем Меншиков. От Франца-Иосифа он вышел, уже твердо зная, что не только ни малейшей помощи от Австрии нельзя будет получить, но что она (Австрия) довольно легко может оказаться в стане врагов. В том письме, которое он сейчас же сел писать царю, мы находим совсем новую программу действий, намеченную Алексеем Федоровичем, вероятно, еще раньше передачи Францу-Иосифу царских предложений.

Орлов начинает с того, что предлагает царю разрешение нехитрой задачи о мотивах поведения Франца-Иосифа: трусость, непобедимая трусость перед Наполеоном III, который может изгнать австрийцев из Ломбардии и Венеции, когда только захочет, а захотеть он может в тот момент, когда удостоверится в солидарности Франца-Иосифа с Николаем. Франц-Иосиф и Николая тоже боится,— но меньше. Занятие Дунайских княжеств русскими Австрия считает для себя ударом тяжким и грозящим ее безопасности. Но что же делать теперь, когда Франц-Иосиф отказывается гарантировать нейтралитет?

Орлов предлагает, «видя это бессилие и малодушие» не только Австрии, но и Пруссии и всего Германского союза,— отвернуться от этих мнимых друзей, т. е., другими словами, окончательно сдать в архив истории давно уже мертвый «Священный союз» и обратиться с дружескими намерениями к французскому императору. Орлов не этими словами, но это самое и написал Николаю из Вены. Предложение свое Орлов сформулировал так: «Видя это бессилие и это малодушие Германии [10] и в то же время узнав про предложение о посредничестве, исходящее в этот момент от Луи-Наполеона, я спрашиваю себя, не было ли бы лучше принять это посредничество, в случае, если оно содержит почетные условия, за основу для прямого соглашения, оставив в стороне тех друзей, добрые намерения которых проваливаются из-за овладевшего ими страха» [11].

Тут целая программа полнейшего переворота во всей русской внешней политике. Орлов знал о нелепой, вредоноснейшей истории с «дорогим братом» и «добрым другом» и о предательском поведении Австрии и Пруссии, неожиданно, без предупреждения оставивших Николая в полном одиночестве в 1852 г. по вопросу о титуле и обращении к Наполеону III. Что какое-то письмо Наполеона III к Николаю уже пишется, это Орлов знал (оно было написано 29 января), но его содержания в точности знать в Вене 4 февраля он, конечно, не мог. Он, разумеется, понимал, что это «посредничество» Наполеона III прежде всего не может не заключаться в предложении убрать русские войска из Дунайских княжеств и не может в той или иной мере не подкрепляться угрозой: ведь французский и английский флоты уже разгуливали по Черному морю. Но Орлову представлялось, что все-таки нужно ухватиться за этот случай и, заведя прямые переговоры с французским императором, во-первых, добиться большего, чем занимаясь бесплодными уговариваниями в Вене и Берлине, а во-вторых, загладить нелепую ошибку 1852 г., сблизившись с Французской империей (в прямой ущерб, конечно, традициям «дружбы трех монархий», связанных былым Священным союзом — России, Австрии, Пруссии). При этом, конечно, пришлось бы отказаться от немедленного нападения на Турцию, но открывались зато новые заманчивые перспективы, и во всяком случае Россия получала возможность почетного отступления из западни, куда попал Николай, влекомый туда собственными ошибками и подталкиваемый в то же время провокациями противников.

Но действовать нужно было немедленно, не теряя времени. Оттого-то Орлов и спешил с отъездом из Вены: «Рассматривая свою миссию, как оконченную, я рассчитываю тронуться в путь 28 января (9 февраля — *Е. Т.*), я горю желанием увидеться

с вашим величеством и устно сообщить также интересные детали».

Однако для такой капитальнейшей, да еще внезапной перестройки всей внешней политики, для такого полного, решительного отказа от всех своих пристрастий и убеждений Николай не был готов, даже если бы он понимал всю опасность своей позиции, всю повелительную необходимость без потери времени круто ее изменить. А он этого не понимал еще сколько-нибудь отчетливо. И совет Орлова прозвучал гласом вопиющего в пустыне.

Из австрийского источника мы узнаем часть разговора, бывшего на аудиенции между Францем-Иосифом и графом Орловым, и о чем Орлов в донесении хранит молчание. «Уполномочены ли вы,— спросил Франц-Иосиф,— подтвердить предшествующие заявления вашего императора: во-первых, что он будет уважать независимость и целостность Турции; во-вторых, что он не перейдет через Дунай; в-третьих, что он не слишком надолго продлит оккупацию княжеств; в-четвертых, что он не будет стараться изменить отношения, существующие между султаном и его подданными?» Орлов молчал. Тогда Франц-Иосиф сказал: «Я вижу, что вы не уполномочены на это; следовательно, мне остается лишь ограждать интересы моего государства». И тотчас после этого разговора австрийский император приказал сосредоточить в Трансильвании тридцать тысяч человек [12]. Впоследствии, уже после войны, сам Орлов в разговоре с австрийским послом Гюбнером во время Парижского конгресса дополнил еще несколькими штрихами историю этого своего знаменательного свидания с Францем-Иосифом, происшедшего 31 января 1854 г. (а не в феврале, как ошибочно пишет в своем дневнике Гюбнер). «Императора Франца-Иосифа раздражили, и он у меня потребовал таких вещей, на которые я не мог согласиться,— рассказывал Орлов.— Я предложил ему в качестве награды за нейтралитет (comme prix de neutralité) — разделить сообща с Россией протекторат над княжествами. Он ответил — и справедливо, я с этим согласился, что это для него слишком второстепенная роль. Он хотел с нашей стороны ручательства, что мы не будем поддерживать греческую райю. Я сказал: на войне все средства хороши. Эти слова были неверно истолкованы его величеством, так как я не хотел сказать, что Россия должна возбудить райю к восстанию. Но ваш император их так понял и повторил другому государю (прусскому королю — *Е. Т.*), который их сообщил моему. Я не делал намека на интервенцию в Венгрии, так как хорошо знаю, что благодеяние, за которое укоряют, становится обидой. Русский император сделал большую ошибку, перейдя через Прут. Я ему писал из Вены: австрийский император не объявит вам

войны, но будет чинить вам препятствия, где сможет. Император Николай смотрел на императора Франца-Иосифа, как на сына. У него в комнате находились его статуэтка и портрет, до заключения договора 5 декабря. Только тогда он велел их удалить».

Эти разнохарактерные и разновременные показания не только дают нам вполне ясную картину провала миссии Орлова в Вене, но и указывают на мотивы всей дальнейшей политики Австрии в завязавшейся борьбе. Орлову, конечно, не удалось круто повернуть тогда же, в начале февраля 1854 г., руль российской дипломатии, потому что прежде всего царь продолжал тешить себя иллюзиями. С одной стороны, он все-таки полагался на так называемую «русскую партию» в Вене. С другой стороны, давно еще он рассчитывал на другие германские державы и прежде всего на Пруссию, на их общее благотворное воздействие и влияние. Стоит коснуться хотя бы вкратце этих двух пунктов, чтобы сразу увидеть, как прав был граф Орлов, не желавший без пользы засиживаться в Вене и уже наперед советовавший Николаю махнуть рукой на все остальные страны Германского союза, начиная с Пруссии.

Франц-Иосиф был и очень встревожен и, кроме того, раздражен многозначительным молчанием графа Орлова на такой вопрос, от которого молчанием никак нельзя было отделаться. Этот момент был окончательным переломом в истории отношений между Николаем I и Австрийской империей. «До тех пор мне хотелось, как доброму малому (als ein guter Kerl), которым я и был, верить русским заверениям, но после появления Орлова я перестал быть добрым малым»,— так заявил Франц-Иосиф весной того же 1854 г. графу Гюбнеру [13].

Австрия, резюмирует положение Мейендорф 3 февраля 1854 г., отказывается дать России ручательство в своем «абсолютном нейтралитете», если взамен Россия не даст обеспечения не нарушать целостности и суверенитета Турции. Австрийское правительство примиряется с предстоящим переходом русских войск через Дунай, но Мейендорф полагает, что после этой операции Австрия начнет сначала *мешать* русским (attitude gênante), а если русские войска перейдут через Балканы, то австрийцы займут уже *угрожающее положение* (attitude menaçante). Вообще же после визита Орлова положение для царя очень ухудшилось. Высшие военные круги, аристократия — вполне на стороне России, но император Франц-Иосиф, хотя «сердце его исходит кровью», не сбивается с пути сближения с западными державами. Впрочем, неизвестно, из каких источников Мейендорф почерпнул свое известие о кровоточащем состоянии сердца австрийского императора. Других сведений об этом трогательном факте у нас нет, наоборот, мы знаем, что

Франц-Иосиф был очень озлоблен на Николая в это время и твердо решил совсем от него отдалиться [14]. Ошибается Мейендорф и причисляя Меттерниха к тем, кто отрицает эту антирусскую позицию Австрии. Напротив, у нас есть точнейшие и обильные доказательства, что Меттерних вполне одобрял Буоля [15].

В тот же день, 3 февраля 1854 г., Мейендорф отправил Нессельроде еще одно донесение, которое не попало в частный архив Мейендорфа, легший в основу указанного трехтомного издания, но которое сохранилось в нашем архиве внешней политики.

Он считает, конечно, миссию Орлова провалившейся и убежден, что если уж специально посланному представителю царя ничего не удалось сделать, то подавно будет бессилен он, обыкновенный посол. Как и Орлов, Мейендорф отмечает, что есть оттенки в мотивировке, которую приводят в подкрепление своей политики Франц-Иосиф и граф Буоль. Император австрийский определенно высказывает, что «политические перемены в христианских провинциях Турции» будут враждебны интересам Австрии; что же касается Буоля, то он откровенно сознается, что им владеет страх, он боится, что если Австрия согласится «на все перемены в европейской Турции», которые могут быть последствием войны, то Наполеон III безусловно (sans faute) нападет на итальянские владения Австрии [16]. В сущности, «оттенок» мысли Франца-Иосифа более враждебен по отношению к Николаю; Буоль говорит о себе, что *страх* вызывает его решение (c'est la peur qui est mobile de ses résolutions), а по заявлениям Франца-Иосифа выходит, что он, император, прежде всего не желает окончательного подчинения Николаю Молдавии, Валахии, Болгарии, Сербии. Правда, Франц-Иосиф уверяет, что «никогда он не будет воевать против России», но тот же Буоль, его министр иностранных дел, поясняет прямо, что Австрия имеет намерение *мешать* царю разрушить Турцию.

Мейендорф кончает строками, которые царь отчеркнул карандашом, а на полях написал: «Это прелестно!» (C'est charmant!). Ироническое восклицание Николая относится к следующим словам донесения: «Внутреннее состояние Австрии и ее финансы так плачевны, а страх войны с Францией так чрезмерен, что с целью избежать временных затруднений в виде угроз Луи-Наполеона, Австрия так слепа, что ослабляет союз, связывающий ее с Россией, закрывает глаза на серьезные опасности, которые отсюда возникнут для ее будущего».

6 февраля граф Орлов уже откланялся Францу-Иосифу. На прощальной аудиенции император снова повторил, что он обращает внимание на всю серьезность кризиса и полагает,

что между точкой зрения турецкой и точкой зрения русской нет никаких коренных противоречий. Он рекомендовал Орлову повидаться с графом Буолем и поговорить с ним. Орлов виделся с Буолем, и, разумеется, ровно ничего из этого свидания не вышло и выйти не могло. Для очистки совести Орлов переслал графу Нессельроде новые планы компромисса между Турцией и Россией и поправки Буоля, в реальность которых не верили ни Орлов, ни Буоль, ни Нессельроде; царь испещрил поля донесения вопросительными знаками, и на том дело и окончилось. А в верху бумаги царь положил резолюцию, похоронившую все дальнейшие попытки путем новых переговоров воспрепятствовать переходу русских войск через Дунай: «Мне кажется, что со времени разрыва с Англией и Францией мы уже не можем более слышать о конференции. Если Австрия *одна* (seule) (подчеркнуто царем — *Е. Т.*) хочет взять на себя переговоры, это может быть было бы *другое дело* (autre chose) (подчеркнуто царем — *Е. Т.*)» [17].

В самом деле, эта бумага попала в руки Николая 13 февраля, т. е. когда уже произошел разрыв дипломатических отношений между Россией и двумя западными державами. Одинокое выступление Австрии с проектом, вполне удовлетворяющим Николая, именно и могло бы при сложившихся обстоятельствах показаться в Париже и Лондоне враждебным актом, что и требовалось царю доказать, но чего доказывать нисколько не собирался Франц-Иосиф.

Царь решил пустить в ход угрозу. «Я не верю, что мы можем приказать своим храбрым войскам идти против христиан, защищающих свою веру, свои семьи, свое существование, чтобы силой вернуть их под мусульманское иго! Но если, дорогой друг, таково твое намерение, то я к очень большому моему сожалению должен повторить тебе, что я тем не менее буду упорствовать идти по той дороге, которую мне повелительно указывает мой долг как государю и как христианину, даже если я должен буду лишиться твоей дружбы, на которую рассчитывал до конца моих дней... возможность враждебных действий между нами мне кажется бессмыслицей (un non-sens), когда я подумаю, что ты нападешь на Россию, которая еще немного лет тому назад добровольно принесла тебе жертву кровью, чтобы вернуть тебе твоих заблуждающихся подданных»,— так писал Николай Францу-Иосифу 1 марта 1854 г. [18]

Как только в Вене стало известно о неминуемом разрыве между западными державами и Россией (а слухи об этом пошли особенно настойчиво именно во время пребывания Орлова в Вене и тотчас после его отъезда из Вены) австрийское правительство значительно осмелело и венским газетам позволено было писать о России, не очень себя стесняя. Мейендорф

услышал от Буоля, что ему, Буолю, кажется для Австрии предпочтительнее столковаться скорее *с Францией, чем с Россией, потому что французская политика более консервативна.* Николай подчеркнул последнюю фразу и написал на полях по адресу Буоля: «гнусный негодяй! Я его правильно разгадал!» Буоль уже неоднократно высказывал мысль, что Николай, затевая разрушение одной из европейских держав, т. е. Турции, да еще призывая себе на помощь народные восстания (среди христианских подданных султана), ведет уже вовсе не ту охранительную политику, которую всю жизнь до сих пор поддерживал.

Встретившись на одном великосветском балу с Францем-Иосифом, Мейендорф очень ему жаловался и на австрийскую прессу и на поведение Буоля. Дело было уже 21 февраля и в Вену пришли подробные известия о разрыве дипломатических сношений России с Англией и Францией, и Франц-Иосиф говорил и действовал с каждым днем все смелее и независимее. Он и не подумал высказать порицание Буолю, и Мейендорф, понимая отлично, почему его собеседник молчит и вовсе не порицает Буоля, решил сам заговорить о деликатном деле, которое явно и император австрийский и его министр имели в виду. «Я продолжал (доносит Мейендорф): нет ничего более абсурдного и более несправедливого, чем обвинять нас в революционной политике, только потому, что у нас есть шестьсот человек добровольцев, сербов, греков или болгар в Валахии». Турки принимают на службу тысячи революционеров из всех стран, очень много поляков, почему же запрещать России принимать христиан-добровольцев? Франц-Иосиф тут прервал молчание и сказал, что эти добровольцы представляют собой опасность для Австрии, которой прежде всего необходимо сохранение status quo. Мейендорф возражал, говорил, что эти движения угнетенных турками христиан нельзя смешивать с революционными выступлениями. Франц-Иосиф не сдавался и заявил, что «распространение русского права покровительства на большую часть Оттоманской империи не может быть равнодушно принято им и что оно одинаково задевает интересы Австрии и европейское равновесие». Мейендорф тогда напомнил то, о чем Франц-Иосиф уже знал от Орлова, именно, что царь предлагает Австрии разделить с ним это «покровительство» над Сербией. «Да,— ответил император, но каков для меня будет результат этого дележа? вследствие общности национальности и религии Россия будет там иметь полностью все влияние, а Австрия не будет иметь никакого». Разговор не приводил ни к какому положительному результату, и Мейендорф довольно решительно повернул течение беседы в весьма конкретную сторону. «Но зачем принимать уже меры против опасностей, которые не так

велики, как предполагаете ваше величество, и которые, впрочем, может быть и не наступят?» — «Зачем? — возразил Франц-Иосиф,— потому, что если бы я ждал, то я мог бы опоздать. Я знаю, что вы приготовляетесь перейти через Дунай, я знаю, что в Бухарест привезено 16 тысяч ружей и что они предназначены для христианского населения». Мейендорф в ответ на это заявил, что вовсе не доказано, что сербское население устроит массовое восстание против турок, а болгар турки, вероятно, отправят за Балканы при приближении русских войск, и что таким образом Оттоманской державе вовсе не угрожает гибель. И тут Франц-Иосиф пустил в ход аргумент, покончивший эту замечательную беседу: «Я сам думал так, как вы,— сказал император:— до прибытия графа Орлова, миссия которого, как вы знаете, доставила мне живейшую радость, но по первым же заявлениям, которые он мне сделал, я увидел ясно, что ваши проекты уже решены, несмотря на все то, что я в свое время сказал императору Николаю как в Ольмюце, так и в Варшаве. Я совсем был изумлен, но мне нужно было принять поэтому свои меры. До тех пор я рассчитывал замкнуться в строгом нейтралитете. Мое нынешнее поведение не есть результат каких-нибудь тайных переговоров, какими были переговоры Пруссии с Англией. У меня нет никакого обязательства ни по отношению к Англии, ни по отношению к Франции, но жизненные интересы моей империи поставлены на карту, и я не могу устраниться от обязанностей, которые они на меня возлагают» [19].

После этого все сомнения должны были в Петербурге окончиться: перед Россией начала вырастать новая опасность — австрийская.

«Это положение неизбежно должно влиять на военные операции. Фельдмаршал только что назначен главнокомандующим Дунайской армией. Он будет осторожен, ничего не предоставит случаю и не ускорит никакого продвижения вперед, пока мы не будем вполне успокоены относительно позиции Австрии. К несчастью, то, что нам привез Орлов, недостаточно и слишком оставляет нас в неясности»,— так резюмировал Нессельроде 25 февраля 1854 г. последствия визита Орлова в Вену для ближайших действий Паскевича в частном своем письме к русскому послу в Вене Мейендорфу [20].

15 (27) февраля 1854 г. Мейендорф извещает Нессельроде о «долгом и хорошем разговоре» своем с начальником австрийского штаба генералом Гессом. Трудно понять, что «хорошего» нашел Мейендорф в этом разговоре. Гесс «живо не советует нам напасть на Калафат и предпринять что-либо решительное по сю сторону Дуная» (т. е. на правом берегу реки) и вообще не советует приближаться к Сербии. Русский посол написал об этом «хорошем разговоре» не только Нессельроде, но и

М. Д. Горчакову, в действующую армию[21]. Австрийцы явно смелели и переходили от системы уговаривания к системе угроз, смелость же их росла по мере распространения слухов о формировании во Франции большой армии для Востока. «Живо не советуя» русским приближаться к Сербии, генерал Гесс тут же сообщает, что если русские войска все-таки приблизятся, то австрийцы займут Сербию.

Когда Орлов вернулся в Петербург и доложил все подробности своего венского визита, Николай, получая одновременно от Будберга из Берлина известия о прусских колебаниях и о каких-то секретных (от царя) переговорах прусского правительства с Англией, составил план будущих военных действий на дунайском театре войны с учетом новых неблагоприятных обстоятельств. Перед нами копия собственноручной записки Николая, перешедшая из канцелярии военного министерства в военно-исторический архив в Москве. Подлинный текст утерян, по-видимому, еще до революции.

Николай пишет, что в случае, если Австрия присоединится к врагам, было бы «наивыгоднейшим» действовать прямо на Краков, обходя войска австрийцев, стоящие по сю сторону Карпат и в Галиции. «Но неосторожно было бы на это рассчитывать по неуверенности, долго ли Пруссия останется зрительницей наших действий, в особенности если успех их увенчает. Имея Пруссию в правом фланге и в тылу, было бы крайне неосторожно решиться на подобное предприятие».

Поэтому Николаю кажется более благоразумным идти правым крылом лишь до Дунайца и проникнуть в Галицию. А гвардия — позади Варшавы и Новогеоргиевска стерегла бы Пруссию, служа и резервом князю Варшавскому (Паскевичу). Но даже в случае успеха Николай полагает, что нужно ограничиться занятием Галиции, «дабы дальнейшим наступлением не испугать Германию и не вызвать ее на соучастие в войне под мнимым предлогом ограждения существования Австрии».

Оказывается далее, что немалые надежды возлагал царь и на новую венгерскую революцию. Ему явно даже перед самим собой неловко писать это, так что эту мысль он выражает как-то завуалированно; слово «сконфуженно» не подходит, потому что Николай и по положению своему не привык и по характеру своему не мог чего бы то ни было конфузиться: «Весьма быть может, что успехи наши возбудят бунты в Венгрии; препятствовать сему мы не в состоянии. Не станем и разжигать бунтов, но пользоваться ими будем в том смысле, что, угрожая сердцу Австрийской империи, они скорее побудят правительство принять условия наши к примирению».

В длительный нейтралитет Пруссии царь верит плохо: «Весьма важно и решительно будет, на что склонится Пруссия.

Вероятно, сначала она препятствовать нам не будет, но успехов наших она не останется зрительницей. Тогда она, верно, вступится за Австрию, и в этом предвидении мы должны стеречь ее и не полагать, чтоб могли мы далее распространить наши успехи» [22].

В Вене ждали, что царь не может не обратиться мыслью к подобного рода планам.

Еще при разговорах Орлова с австрийскими государственными людьми его уверяли, что Австрия пошлет к своей границе (с Дунайскими княжествами) 25 000 человек. Но не успел он уехать из Вены, как уже оказывается, что будет послано вдвое больше — 50 000 [23].

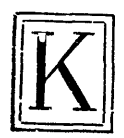
В Эпире вспыхнуло греческое движение, прямо направленное против турок, в Сербии тоже неспокойно. Австрия стала грозить сербам военной оккупацией, и тайная русская помощь сербам стала с этой минуты определенно опасной; именно подобная политика и могла заставить Австрию окончательно примкнуть к западным державам.

Не успел Орлов вернуться в Петербург, как произошло, наконец, давно подготовлявшееся событие: разрыв дипломатических отношений, а вскоре затем и объявление России войны со стороны Англии и Франции. С этого момента неудача визита Орлова получила в глазах царя особенно зловещий смысл.

Глава IX

РАЗРЫВ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ СНОШЕНИЙ РОССИИ С АНГЛИЕЙ И ФРАНЦИЕЙ

1

огда в середине второй недели декабря 1853 г. сначала в Париж, а потом в Лондон пришли первые достоверные вести о синопской победе Нахимова, Пальмерстон в Лондоне и Наполеон в Париже сразу же ясно увидели, что их время настало. Все, что происходило в Англии и Франции в течение последних двух недель декабря 1853 и в первые дни января 1854 г. и что уже было нами рассказано — демонстративная, продолжавшаяся ровно семь дней «отставка» Пальмерстона, его триумфальное возвращение в кабинет Эбердина, заявление императора французов, что он непременно прикажет своему флоту, уже стоявшему в Мраморном море, пройти через Босфор и войти в Черное море,— все это сломило слабое и до тех пор сопротивление немногих членов кабинета Эбердина во главе с самим стариком премьером, которые не торопились с войной и еще питали некоторую надежду, что Николай не рискнет явно идти на войну разом против трех держав, из которых с одной — Турцией — он уже находился в войне.

Но уж давно император Николай переживал положение человека, очертя голову ступившего в сыпучие пески, страшную природу которых он не понял, и чувствующего, что каждое движение, которое он производит, чтобы уйти он опасности, лишь ускоряет процесс засасывания. Начиная со своего рокового разговора с британским послом Гамильтоном Сеймуром 9 января 1853 г. о дележе Турции между Россией и Англией, продолжая посольством Меншикова, продолжая дальше оккупацией Дунайских княжеств, царь видел, что на каждую провокацию с его стороны Наполеон III и следующие за Наполеоном III на некотором расстоянии британский кабинет и британская дипломатия, руководимая в Лондоне неофициально министром *внутренних* дел Пальмерстоном, а в Константинополе уже вполне

официально лордом Стрэтфордом-Рэдклифом,— отвечают со все возрастающей энергией. И он видел, что всякий раз неизменно, без единого исключения, выходит так, что вся явственная вина в воинственных настроениях и завоевательных конечных целях падает на него одного и что, вместе с тем, какое бы то ни было отступление, отказ от уже сделанного им шага становится для него совершенно невозможным без очевидного и позорного унижения. А такое унижение не только разрушало самую атмосферу, в которой он весь век жил, которой дышал, без которой не могло продолжаться тридцатилетнее оцепенение России, но ведь всякое отступление царской дипломатии в международной обстановке 1853—1854 гг. грозило немедленным появлением новых врагов, возникновением самых неожиданных опасностей. «О чем думает деспот Зимнего дворца?» — вопрошали английские популярные листки и газеты. Приближенные знали, о чем он больше всего думал в декабре 1853, в январе и феврале 1854 г. Не о блистательной победе Нахимова и даже не о зловещем шуме, который она породила в столицах двух великих морских держав, но сначала о письме, которое сам царь отправил Францу-Иосифу, а затем о всем, о чем докладывал ему только что приехавший из Вены Алексей Федорович Орлов.

Итак, Франц-Иосиф, мнимый робкий мальчик, слабый вассал, монарх Австрии, трепещущий перед Зимним дворцом, осмелился по всем пунктам ответить царю раздраженным отказом: он не желал даже обещать безусловный нейтралитет в предстоящей войне, он требовал ухода русских войск из Молдавии и Валахии, он проникновенными словами и не лично, а через своего министра Буоля давал даже понять, что, если понадобится, австрийская армия будет сражаться рядом с Омер-пашой, вместе с англичанами и французами. Дело в глазах царя, значит, зашло так далеко, что остановить появление на арене новых врагов можно только одним способом: продолжать начатое, старательно скрывая беспокойство, идти вперед, никуда не сворачивая. И он шагал дальше по трясине, куда сам зашел, потому что стоять на месте оказывалось не менее опасно, чем двигаться вперед.

Впрочем, после Синопа не было уже выбора и у его врагов. Для Наполеона III весь 1853 год был годом его первого настоящего дипломатического триумфа: ему удалось еще пока бескровно, но вполне реально разбить в куски коалицию европейских держав, некогда победивших Францию и покончивших с владычеством его дяди, первого императора. Англия была с ним в союзе, Австрия шла к союзу. Пруссия колебалась, терялась, боялась. Мысль Наполеона III поднять восточный вопрос, чтобы расколоть этот былой общеевропейский, антифранцузский союз, оправдалась самым полным образом, и сам Николай

больше всех помог этому. Неужели же теперь упустить этот случай, не воспользоваться раздражением англичан, вовсе не желающих господства русского флота на Босфоре, возможного выхода его в Архипелаг, разрушения Турции? Молчаливый, упорный, внимательный, коварный вчерашний принц-президент, превратившийся в императора и диктатора Франции, давно подстерегал Николая. Теперь царь казался уже попавшим в западню.

В еще большей степени дело оказывалось вполне решенным в Англии. За политическими деятелями, желавшими войны с Россией, стояла почти вся руководящая верхушка торговой и промышленной буржуазии, и те делегаты четырех тысяч крупнейших великобританских фирм, которые, во главе с лорд-мэром, поехали в Париж еще в 1853 г. поздравить Наполеона III с «благополучным» воцарением, представляли собой очень могущественное направление в английской внешней политике. Да, сегодня его величество император французов, которого они так шумно и восторженно ездили поздравлять, идет в ногу с ними, с Англией, и пошлет свою громадную сухопутную армию осаждать могучего северного медведя в его берлоге. Но как будет обстоять дело завтра, это совсем неизвестно, ибо проживающий в Тюильрийском дворце человек, завоевавший себе в ночь на 2 декабря бесконтрольную власть над Францией, нисколько ни с кем не считается, очень склонен преподносить сюрпризы и врагам и друзьям и без особого труда может повторить то, что проделал его дядя в Тильзите в июне 1807 г., т. е. соединиться с этим самым северным медведем против Англии. Значит, нужно ловить момент, который может не повториться.

Таковы были побуждения, размышления, настроения в начале 1854 г. у тех, кто и во Франции и в Англии мог распоряжаться жизнью и смертью народных масс фактически почти так же бесконтрольно и свободно, как распоряжался этим Николай в Петербурге, несмотря на все различия в политическом строе. Оставалось оформить дело с дипломатической стороны. В данном случае это было совсем легкой задачей. Впрочем, это никогда и не бывало в европейской истории особенно затруднительно.

2

Что пишет Киселев из Парижа? О чем дает знать барон Бруннов из Лондона? Канцлер Нессельроде знал, что таковы будут первые вопросы к нему, как только он переступит порог царского кабинета. Не мог не знать он также, что как ни стараются оба русские посла смягчить картину и успокаивать его величество, но в угрюмом, тяжелом, подозрительном взгляде

владыки читается уже теперь недоверие ко всем этим прилизанным дипломатическим и царедворческим формулировкам. Нессельроде знал, какие пометы и вопросительные знаки ставит царь на этих донесениях послов и на докладах самого канцлера.

К новому 1854 году, еще до того, как союзный флот вошел в Черное море, в Петербурге были получены угрожающие сведения из Парижа и из Вены, и Нессельроде счел необходимым поставить Киселева в известность об этом. Вот дипломатическая ситуация, как она сложилась по точным данным русского канцлера в последние дни декабря 1853 г.

Французский министр Друэн де Люис, т. е., другими словами, император Наполеон III, прямыми угрозами привел в полную панику австрийский двор и принудил Австрию занять позицию, по сути дела дружественную туркам. Нессельроде считает, что в результате устной французской, английской и австрийской дипломатии турецкое правительство теперь уверено, что ни при каких условиях эти державы не позволят, чтобы Турция лишилась хоть одного клочка (хоть одного вершка, «un seul pouce», пишет канцлер) своей территории. А если так, то, значит, Турции предоставлена возможность воевать сколько угодно против России, ничем не рискуя. Нессельроде предупреждает Киселева, что Наполеон одно говорит ему, а другое — англичанам: Киселеву в миролюбивом духе, а англичанам, особенно после Синопа,— в воинственном [1].

А вести приходили в Зимний дворец из обеих западных столиц крайне тревожные.

7 января 1854 г. во Франции был опубликован декрет императора о призыве на действительную службу некоторой категории военнообязанных. Призыв этот должен был дать армии до 30—50 тысяч человек. Значение этой меры, как и ряда других все в этом же духе, было слишком очевидно. Французская пресса с некоторым, очень, впрочем, незначительным, опозданием сравнительно с английской печатью принялась усердно разрабатывать те же мотивы по поводу Синопа, которые с середины декабря составляли главное содержание лондонской политической печати. И вследствие общеизвестной строгости императорской цензуры и полнейшей запуганности немногих, еще не закрытых органов французской прессы этот факт резких, направленных против России, выходок приобретал особенно зловещий смысл. Ясно было, откуда исходит и кем поддерживается эта агитация. «Общественное мнение начинает осваиваться с идеей войны и уже принимает ее как близкую и вероятную возможность»,— доносит 10 января 1854 г. Киселев. Закупаются кожа, обувь, разные другие необходимые для армии предметы [2].

Сохранять иллюзии становится и для Киселева с каждым днем все труднее и труднее. «Неохотно и без всякого настоящего враждебного чувства, но общественное мнение, возбуждаемое зложелательностью и ложью английских и французских газет, начинает осваиваться (se familiariser) с идеей войны и уже принимает ее как нечто близкое и неизбежное. Со своей стороны правительство, которому довольно распространенное мнение приписывает искреннее желание сохранить мир, начинает готовиться к войне уже не только на бумаге»... Так доносит посол 10 января и тут же извещает о закупках экипировочных материалов, о формировании особого экспедиционного корпуса [3].

В эти первые январские дни 1854 г. в Париже с напряженным нетерпением ждали, как будет реагировать царь на сообщение о входе английской и французской эскадр в Черное море. Война считалась уже настолько решенным делом, что обсуждался вопрос о сформировании экспедиционного корпуса. Правительство не скрывало, что война будет вестись не «в Европе», а «на Востоке». Под «Европой» тут понимались прежде всего Польша, под «Востоком» — берега Черного моря.

С Тюильрийским дворцом у русского посла Киселева в эти дни сношений почти уже никаких не было, с министром иностранных дел разговоры велись такие, когда ни одному слову друг друга собеседники не только не верили, но уже и не считали нужным это скрывать. Подобно своему лондонскому коллеге Бруннову, Николай Дмитриевич Киселев был склонен слишком часто принимать желательное за действительное, хотя, конечно, в нем было гораздо меньше самодовольства и несколько больше проницательности, чем в бароне Бруннове. Он был немного желчным, скептическим сановником, и никакой Эбердин его долго дезориентировать не мог бы. Но и противник у него был покрупнее лорда Эбердина. Когда Наполеону III представлялось уместным внушить Киселеву, что войны не будет, он пускал в ход (очень ловко и обдуманно всякий раз это организуя) слухи, которые прямым путем и доходили по адресу, причем делался вид, будто император ни за что не хотел бы, чтобы эти слухи дошли до русского посла. Наполеон III готовил к концу января свое письмо к Николаю, и ему нужно было внушить царю мысль, что французский император войны не хочет. Это должно было вызвать смелый агрессивный ответ царя и свалить на Николая всю ответственность за дальнейшее развитие событий. И вот 19 января, за десять дней до начала переписки двух императоров, до Киселева доходит соответственная информация. «Единственное сведение, которое я считаю достойным (тут — *Е. Т.*) прибавить, — это что до меня доходит из довольно верного источника, что Луи-Наполеон, желая в

глубине души сохранения мира, начинает сожалеть, что он зашел слишком далеко, послав флот в Черное море, хотя эта мера и была внушена его кабинетом — лондонскому кабинету, и, повидимому, он боится, что этот поступок может повести дальше того, что он имел в виду, и привести к войне с Россией» [4].

Проходит несколько дней, и Киселев 26 января опять передает утешительный слух. Оказывается, что только двоюродный брат императора и кое-кто из военных (quelques militaires) хотят войны с Россией, а сам император Наполеон «очень смущен и в замешательстве» и колеблется, решиться ли ему на войну. А в Тюильрийском дворце громадное большинство, «в том числе императрица, говорят, стоит за мир». Мы знаем теперь, что Евгения всецело поддерживала военную партию в эти дни и что император вовсе не думал колебаться.

Киселев охотно, и не очень строго анализируя, верил также всякому слуху о том, будто и «общественное мнение» во Франции и, в частности, в Париже тоже не хочет и боится войны с Россией [5]. Это было не так. Биржа, промышленники, поставщики военных материалов, судовладельцы, предвидевшие золотые дела от далекой морской экспедиции, приветствовали наступающую войну. Среди представителей левых партий, еще не оправившихся от разгрома 2 декабря, настроения были разные. С одной стороны, страшились упрочения бонапартистского режима под воздействием шовинистической горячки, а с другой стороны, сокрушение деспотического гнета Николая I, уничтожение «реакционной глыбы, повисшей над Европой с востока» (как тогда выражались), представлялось необходимой предпосылкой всякого дальнейшего прогресса.

Пока Киселев, временами, продолжал еще тешить себя и Нессельроде слухами о «самых мрачных тревогах и заботах» (l'inquiétude et les préoccupations les plus noires), будто бы овладевающих Парижем, французское правительство изо всех сил спешило использовать время до весны, когда оно решило начать войну. Шпионы, бывшие на службе у Киселева, разрушали упорно все иллюзии. Они доносили ему, что директор артиллерии генерал Брессоль получил 25 января приказ вооружить и экипировать в течение одного месяца новых 15 полков артиллерии; что начальник кавалерийского управления получил приказ — тоже в течение одного месяца — представить 15 тысяч лошадей для 20 *новых* полков легкой кавалерии. Что касается тяжелой кавалерии, то велено передать в ее распоряжение 12 тысяч лошадей из конюшен конной жандармерии, так как есть приказ сформировать новых 15 полков также и тяжелой кавалерии. Одновременно Киселеву донесли, что идут работы по сформированию новых 25 полков линейной пехоты.

Наконец, интендантство получило приказ приготовить необходимое снабжение для армии в 300 тысяч человек, причем эта армия «предназначена немедленно начать кампанию» [6].

3

А в это время в Петербурге происходили свои события, о которых Киселев узнавал с очень большим опозданием.

12 января 1854 г. английский и французский послы явились к канцлеру Нессельроде и сообщили официально, что оба флота вошли в Черное море. Николай решил не прерывать немедленно дипломатических сношений с обеими морскими державами [7]. Он пожелал сначала потребовать объяснений.

16 января Нессельроде приказал, согласно повелению Николая, выразить протест великобританскому и французскому правительствам по поводу входа двух союзных эскадр в Черное море, в чем усматривалось вмешательство в русско-турецкую войну. Барон Бруннов, согласно инструкции, явился 23 января к лорду Эбердину, первому министру, с предложением объяснить в точности, какое значение имеет появление британского флота в Черном море. Конкретнее говоря: препятствуя плаванию русских судов по морю, намерены ли англичане препятствовать *точно так же* плаванию судов турецких? Будут ли англичане в совершенно одинаковой мере защищать на Черном море и турок от русской агрессии и русских от турецкой агрессии?

Задавая этот вопрос еще до того, как лорд Эбердин прервал свое молчание, барон Бруннов предупредил его, что в случае неблагоприятного ответа он, русский посол, получил уже наперед приказ: прервать дипломатические сношения между Россией и Англией и выехать на континент.

«Первый министр был видимо смущен»,— пишет Бруннов. На самом деле, как мы теперь знаем из других показаний и как можем судить по дальнейшему поведению старого лукавца, поседевшего в дипломатических интригах и парламентской как открытой, так и подпольной борьбе,— лорд Эбердин нисколько смущен не был, потому что в этот момент он уже бесповоротно примкнул к Пальмерстону в вопросе о неизбежности и желательности войны с Россией. Бруннов настаивал на полнейшей справедливости требования России. «Первый министр ничего не имел возразить против моих аргументов». Он ограничился замечанием, что «к несчастью» обе державы, Англия и Франция, уже окончательно пришли к решению стать на сторону Турции (Бруннов даже приводит точные английские слова своего собеседника: «...to side with Turkey») и что отступать им уже нельзя. Но окончательного, точного ответа в письменной форме

не дали ни Эбердин, ни министр иностранных дел Кларендон. Кларендон заявил, что ответ Англии будет общий с Францией, по соглашению с французским императором. В течение нескольких дней после этого, вплоть до 31 января, шли усиленные переговоры между Лондоном и Парижем. Зачем понадобилось так долго совещаться о деле, уже решенном обоими правительствами бесповоротно? Бруннов высказывает вполне резонную догадку: им нужно было узнать, какой ответ даст Австрия графу Орлову, уже выехавшему в Вену к Францу-Иосифу. Они, правда, знали наперед, что Франц-Иосиф не согласится ни на какие соблазны Николая и не станет на его сторону, но важно было узнать: настолько ли осмелел Франц-Иосиф, чтобы прямо заявить Орлову, что пока русские войска не очистят Дунайских княжеств, Австрия не желает даже обещать царю свой нейтралитет, или же австрийский император слишком привык трепетать перед царем и не отважится отказать в этом обещании. Но вот нужные сведения по телеграфу прибыли: Франц-Иосиф отказывает царю, и этим самым Австрия отныне становится в угрожающую позу против России.

Сейчас же, 1 февраля, Бруннов получил приглашение явиться к лорду Кларендону [8]. Выразив учтивое сожаление, Кларендон объявил, что принужден дать такой ответ на запрос русского правительства: английская эскадра в Черном море будет останавливать русские суда и принуждать их, если понадобится, то и силой, возвращаться в русские порты. Что касается турок, то за ними остается свобода плавания по Черному морю с той лишь ни к чему не обязывающей издевательской оговоркой, что англичане «примут меры к предупреждению нападения турецкого флота на русскую территорию». Какие меры — неизвестно. Бруннов тотчас же отрядил специального курьера в Париж, к Киселеву. Нужно было условиться, в какой форме и в какой день оба посла осуществят разрыв дипломатических отношений между Россией, с одной стороны, и двумя западными державами — с другой.

29 января Киселев получил от министра иностранных дел Друэн де Люиса приглашение пожаловать. Министр сообщил ему «конфиденциально», что император Наполеон III пишет письмо Николаю. Киселев выразил удовольствие, так как-де надеется, что это письмо — миролюбивое. Но одновременно просил все же официального ответа на ноту русского правительства по поводу присутствия союзной эскадры в Черном море. Друэн де Люис отделался словами и неопределенными обещаниями, но ответа не дал [9]. А в самый день этого свидания был опубликован императорский декрет о новом частичном призыве, увеличивающем армию на 30 тысяч человек.

У Киселева исчезли последние слабые надежды на мир. Его даже не очень и заинтересовало известие о письме, которое французский император изготовляет по адресу русского. Было ясно, что ответ на ноту о Черном море будет отрицательный и что Наполеон III и Англия бесповоротно решили начать войну против России. Уже отправив донесение о разговоре с Друэн де Люисом и о призыве новых контингентов в армию, Киселев в тот же день донес в Петербург еще и о получении в Париже извещения от английского правительства: кабинет лорда Эбердина решил окончательно дать на русскую ноту отрицательный ответ. Так как это предрешало и ответ Наполеона III, то с этого момента Киселев уже более всего интересуется лишь техническими, так сказать, подробностями разрыва дипломатических сношений и своего выезда из Франции.

В тот же день, 29 января, было подписано в Тюильрийском дворце и отправлено с курьером в Петербург письмо французского императора к русскому. Какова была цель Наполеона III, когда он писал свое письмо Николаю? Конечно, демонстрировать свое «миролюбие» перед европейской публикой и заставить царя сделать непоправимые заявления. Что он ни в коем случае не ждал от этого письма каких-либо результатов в смысле предупреждения войны, это совершенно очевидно, если даже не знать положительно, что он уже с начала 1853 г. твердо держал курс на войну, которая и с внутреннеполитической и с внешнеполитической точек зрения казалась ему и его окружению выгодной и даже необходимой. Он велел напечатать это письмо тотчас после того, как оно было написано, так что Николай прочел его почти одновременно со всеми прочими, менее высокопоставленными читателями газет. Это уже само по себе являлось рассчитанным оскорблением.

Форма письма была внешне корректная [10]. Наполеон предлагал Николаю увести войска из Молдавии и Валахии и обещал в таком случае, что Франция и Англия уведут свои эскадры из Черного моря. Затем царь и султан вступят в переговоры, и то, что они выработают, будет подвергнуто обсуждению и утверждению четырех держав: Англии, Франции, Австрии и Пруссии. Это французский император считал выходом из очень опасного положения. Самое появление французской и английской эскадр в Черном море он оправдывал и объяснял как прямое последствие нападения русского флота на турецкий и истребительной битвы в Синопской бухте. По словам Наполеона, это затронуло французскую честь.

Вот что писал Наполеон III Николаю о победе Нахимова: «До сих пор мы были просто заинтересованными наблюдателями борьбы, когда синопское дело заставило нас занять более определенную позицию. Франция и Англия не считали нужным

посылать десантные войска на помощь Турции. Их знамя не было затронуто столкновениями, которые происходили на суше, но на море это было совсем иное. У входа в Босфор находились три тысячи орудий, присутствие которых достаточно громко говорило Турции, что две первые морские державы не позволят напасть на нее на море. Синопское событие было для нас столь же оскорбительно, как и неожиданно. Ибо не важно, хотели ли турки или не хотели провезти боевые припасы на русскую территорию. В действительности русские суда напали на турецкие суда в турецких водах, когда они спокойно стояли на якоре в турецкой гавани. Они были уничтожены, несмотря на уверения, что не будет предпринята наступательная война, несмотря на соседство наших эскадр. Тут уже не наша внешняя политика получила удар, но наша военная честь. Пушечные выстрелы при Синопе болезненно отозвались в сердцах всех тех, кто в Англии и во Франции обладает живым чувством национального достоинства. Раздался общий крик: всюду, куда могут достигнуть наши пушки, наши союзники должны быть уважаемы». Конечно, автор государственного переворота 2 декабря не мог воздержаться все-таки от самого сочувственного и лестного отзыва о великих контрреволюционных заслугах царя: «Ваше величество дали столько доказательств вашей заботливости о спокойствии Европы, вы так могущественно ему содействовали вашим благотворным влиянием против духа беспорядка, что я не сомневаюсь в вашем выборе», т. е. в выборе между миром и войной. И тут же Наполеон III намеренно оскорбляет царя, подчеркивая в обидных выражениях и высокомерно оправдывая свое хозяйничанье в Черном море, у русских берегов: «Что касается русского флота, то, воспрещая ему плавание в Черном море, мы его поставили в иные условия (чем турецкий — *Е. Т.*) потому, что было важно в продолжение войны сохранить залог, который был бы эквивалентен занятым (русскими — *Е. Т.*) частям турецкой территории и который мог бы облегчить заключение мира, так как стал бы предметом желательного обмена». Другими словами: царю грозили блокадой всех русских берегов Черного моря, пока он не выведет войска из Молдавии и Валахии. Жестокость оскорбления усиливалась фактом опубликования письма. Под письмом стояло: «добрый друг вашего величества Наполеон». Ответ Николая последовал тотчас же по получении текста письма французского императора. В своем письме, тоже очень длинном, Николай вежливо, но решительно отказывается принять компромисс, а вернее, сдачу всех позиций, предлагаемую ему Наполеоном III.

В этом откровенном письме Николай говорит о Синопе: «С того момента, как турецкому флоту предоставили свободу перевозить войска, оружие и боевые припасы на наши берега,

можно ли было с основанием надеяться, что мы будем терпеливо ждать результата подобной попытки? Не должно ли было предположить, что мы сделаем все, чтобы ее предупредить? Отсюда последовало синопское дело; оно было неизбежным последствием положения, занятого обеими державами (Францией и Англией — *Е. Т.*), и, конечно, это событие не должно было показаться им неожиданным». Царь оправдывает Синопский бой, оправдывает свои притязания к Турции и протестует против угроз своего противника. «Вы сами, государь, если бы вы были на моем месте, приняли ли бы вы подобное положение? Позволило ли бы это вам ваше национальное чувство? Я смело отвечу: нет. Дайте же и мне в свою очередь право думать так, как вы сами. Что бы вы ни решили, ваше величество, но не увидят меня отступающим перед угрозами. Я имею веру в бога и в мое право, и я ручаюсь, что Россия в 1854 году та же, какой была в 1812». Именно эти слова в устах царя и требовались Наполеону III, который всячески разжигал шовинистические чувства во Франции, проводя мысль, что необходимо получить от России реванш за 1812 год. Под письмом царя значилось: «Я прошу ваше величество верить искренности чувств, с которыми я остаюсь, государь, добрым другом вашего величества. Николай».

«Земной шар замер в ожидании, после переписки двух *добрых друзей*»,— писали английские газеты.

Эта переписка прежде всего предрешала содержание ответа французского правительства на запрос Киселева о том, будет ли союзный флот в Черном море относиться совершенно одинаково к русским и туркам или не будет. Всякая надежда на мир с момента появления письма французского императора исчезла. Наполеон III и написал свое письмо, именно для того, чтобы заставить царя перед лицом целого света сжечь все корабли. Наполеон III изучил царя к этому времени гораздо глубже и знал его гораздо лучше, чем царь изучил и знал его самого. И затевая переписку, Наполеон III бил без промаха. Царь действительно сжег свои корабли.

4

Ответ французского министра иностранных дел на запрос Киселева последовал на третий день после отправления Николаю I письма императора французов.

Нота Друэн де Люиса носила явно вызывающий характер. Она даже начиналась с дерзости. Друэн де Люис выражал недоумение по поводу запроса Киселева: ведь уже все объяснено послом Кастельбажаком в Петербурге, что же еще спрашивать? Турецким эскадрам в Черном море союзный флот препятство-

вать не станет. Запрет касается лишь русского флота. Итак, гордиев узел предстояло рубить мечом. Киселев, получив ноту, начал собираться в путь.

Согласно уже заблаговременно полученному приказу Николая, Киселев, как и Бруннов, тотчас же по ознакомлении с отказом Англии и Франции дать удовлетворительный ответ касательно действий союзного флота в Черном море объявили правительствам, при которых они были аккредитованы, что они покидают Лондон и Париж со всем персоналом обоих посольств.

Киселев уведомил об этом министра иностранных дел Друэн де Люиса нотой от 4 февраля 1854 г. В этой ноте он писал, что, «верный своему долгу, не может допустить, чтобы правительство его величества императора французов, находясь в мире с Россией, притязало на то, чтобы затруднять сношения между русскими портами, которые поручено поддерживать (русскому — *Е. Т.*) императорскому флоту, в то время как турецкие суда перевозят войска из одного турецкого порта в другой под покровительством французской эскадры» [11]. Однако этим не кончились сношения графа Киселева с французским императорским двором и правительством. Перед самым отъездом Киселев сказал Друэн де Люису, что, покидая Францию, где он провел полжизни, он хотел бы проститься с французским государем. Киселев, донося об этом своем поступке канцлеру Нессельроде, признает, что его поведение «противоречит обычаям», но оправдывается тем, что «воспоминание о подобном поступке могло бы, при случае, послужить к возобновлению сношений». «Если, вопреки обычаю, я пожелал проститься с Луи-Наполеоном в свидании,— пишет он,— пред тем, как потребовать мой паспорт, то потому, что я знал, как он чувствителен к такого рода манифестациям и проявлениям личного почтения и насколько воспоминание о подобном поступке могло бы, при случае, помочь завязать вновь сношения»... [12] Дальнейшая мотивировка нас не интересует. Ясно, что Киселев хотел позондировать, как Наполеон III смотрит на начинающуюся войну и есть ли еще все-таки хоть слабая надежда остановить грозу. Он знал наперед, что Николай одобрит его поведение.

Наполеон III принял Киселева наедине, в 10 часов утра, был очень милостив, выражал надежду, которая была бы нелепой, если бы она была сколько-нибудь искренней, что, может быть, еще дело не дойдет до войны, и доказывал Киселеву, что он, император Наполеон III, ничуть не виновен в сложившейся грозовой обстановке.

Беседа между ними продолжалась долго. Сначала Наполеон III настаивал на полной будто бы безобидности для Николая выставленных в личном письме французского императора условий. Затем он стал доказывать, что его поведение во всем

восточном вопросе было самым примирительным от начала до конца.

Киселев возражал и между прочим сказал, что у Франции не было мотивов к войне и что трудно будет дать ей в этом отчет. Император прервал: «Вы ошибаетесь, общественное мнение во Франции отдает себе вполне отчет в этом вопросе, и оно вполне расположено к войне».

«В свою очередь, позвольте и мне, государь, сказать вам, что вы ошибаетесь и что вам не говорят в точности, как общественное мнение тут высказывается». Франция, которой эта война ни для чего не нужна, продолжал Киселев, ничего от этой войны не выиграет, а всю пользу извлечет Англия. Франция будет помогать Англии уничтожить русский флот, который в случае нужды был бы наилучшей помощью французскому флоту против английского.

Чем дольше продолжалась беседа, тем более убеждался Киселев в бесповоротном намерении Наполеона III воевать против России вплоть до такого решения восточного вопроса, которое подорвало бы всякое русское влияние в Турции. Коснулся разговор — но лишь намеками — и пустого на первый взгляд, но зловещего спора о титуловании, когда Николай решил внести некоторые оговорки при признании Наполеона императором. Из слов Наполеона III, который все жаловался на фатальные препятствия, мешавшие ему сблизиться с Николаем, было ясно, что он не забыл и не простил этой истории. Киселев ответил, что это в самом деле фатум, «предназначенье», потому что Николай питает уважение к твердому и энергичному характеру французского императора и «восхищается гением его дяди, великие воспоминания о котором живы в уме его (царя — *Е. Т.*)». Киселев повторил, что очень печально и достойно сожаления, что уже наметившиеся искренние и сердечные взаимные предрасположения обоих государей (Наполеона III и Николая I) были таким путем омрачены, и привел уже приводившиеся в 1852 г. аргументы. Прощание посла с императором, по утверждению Киселева, вышло под конец очень теплым и даже «экспансивным» [13]. Увы! Киселев не догадывался тогда, что у Наполеона уже было в руках одно перехваченное французскими шпионами, еще за год до этого, письмо русского посла в Петербург, где он очень вольно и неосторожно выражался о французском дворе. Николай Дмитриевич Киселев поэтому не мог предвидеть, что когда в 1856 г., уже после заключения мира, русским послом в Париж был назначен его старший брат, граф Павел Дмитриевич (министр государственных имуществ), то из Тюильрийского дворца написали в Зимний дворец, выражая «надежду», что Павел Дмитриевич «не будет похож» на Николая Дмитриевича.

«Поговорим теперь о том, что происходит на петербургской сцене. В своей тягостной нерешительности со своими религиозными соображениями, с одной стороны, и своими соображениями гуманности, с другой стороны, в своей уязвленной гордости, лицом к лицу с национальным возбуждением и опасностями, которым подвергается его империя, император Николай постарел на десять лет. Он в самом деле болен физически и нравственно»,— доносит французский посол в Петербурге генерал-маркиз Кастельбажак директору политического департамента министерства иностранных дел в Париже Тувнелю 11 февраля 1854 г.

Маркиз Кастельбажак, как доказывает вся его переписка с Парижем, а не только это письмо, находился всецело под влиянием усердно поддерживавшейся Николаем (специально для Европы) иллюзии, будто самое бурное, фанатически пылкое возбуждение религиозного чувства охватило русский народ и будто царю, даже если бы он хотел, просто невозможно уже отступить от своих требований к Турции. Но показание французского генерала о мрачном настроении царя в это время совершенно правильно и подтверждается другими источниками. Еще ровно год оставалось жить Николаю, но в его жизни, если судить только по настроениям царя, февраль 1854 г. гораздо более походит на февраль 1855 г., чем на любой отрезок времени за все предшествовавшие годы его долгого царствования. Основная ставка его игры была бита: Англия и Франция заключили тесный военный союз, прямо против него направленный. Другая ставка, поменьше, но тоже имевшая крупнейшее значение, явно должна быть также бита в более или менее близком будущем: Австрия колебалась, и ее колебания относились уже не к тому вопросу, как в 1853 г., т. е. не к тому, останется ли она нейтральной или выступит на стороне царя, а совсем к другой, грозной и неожиданной проблеме: останется ли она нейтральной или же со всеми своими военными силами станет на сторону Франции и Англии.

Манифест Николая I от 9 (21) февраля 1854 г. о разрыве дипломатических сношений России с Англией и Францией очень взволновал прежде всего славянофильские круги. Настроения славянофилов выразились достаточно полно в их письмах и рукописных стихах. Эти настроения имели некоторый двойственный характер. С одной стороны, Хомяков надеялся, что сам бог призывает Россию на «брань святую», говорил, что на России много грехов, что она «в судах черна неправдой черной и игом рабства клеймена» и «безбожной лести, лжи тлетворной и лени мертвой и позорной и всякой мерзости полна». Он приглашал Россию избавиться от этих пороков и затем: «рази мечом, то божий меч!» А с другой стороны, спустя

несколько дней, как сообщал Бодянский, Хомяков получил за эти (рукописные) стихи выговор от московского генерал-губернатора и написал другие стихи, находя, что Россия уже вняла его призыву и успела раскаяться. Он так и озаглавил свое стихотворение: «Раскаявшейся России», где, обращаясь к России, говорит: «в силе трезвенной смиренья и обновленной чистоты на дело грозного служенья в кровавый бой предстанешь ты». Он находит, что «светла дорога» перед Россией и что она «станет высоко» пред миром «в сияньи новом и святом». Еще гораздо оптимистичнее судит о положении вещей другой видный вождь славянофилов — Константин Аксаков, имевший, кстати замечу, благодаря большой страстности и фанатической своей убежденности огромное влияние на своего отца Сергея Тимофеевича, на брата Ивана Сергеевича и на сестру Веру Сергеевну, хотя все эти три лица были от природы безусловно умнее его. Константин Аксаков прямо говорит, что двуглавый орел, в свое время попавший из Византии в Москву, снова собирается из Москвы на юг... «Там (в Москве — *Е. Т.*) под солнцем новой славы и благих и чистых дел высоко орел двуглавый в небо синее взлетел. Но, играя безопасно в недоступной вышине, устремляет очи ясны он к полуденной стране!» Победа Нахимова, победа Бебутова, переход через Дунай и даже, отчасти, разрыв сношений с Англией и Францией — все это укрепляло в славянофилах не только веру в победу, но и уверенность, что Николай полон решимости не уводить войска с Дуная, пока славяне не будут освобождены от турецкого, а, может быть, и австрийского владычества. Для них 1853 год был годом ожидания, весна 1854 г., напротив, сулила близкое наступление великих событий.

1 февраля 1854 г. Сергей Аксаков писал сыну: «Граф Орлов еще не воротился, и официального извещения о всеобщей войне покуда нет; но тем не менее, кажется, она неизбежна. Политический горизонт становится час от часу мрачнее, и грозных туч накопляется больше. Меня не покидает убеждение, что из этой страшной войны Россия выйдет торжествующею; что все славяне не будут освобождены от турецкого, а может быть, и славянские племена освободятся от турецкого и немецкого ига; что Англия и Австрия упадут и сделаются незначительными государствами и что все это будет совершено нами с помощью Франции и Америки, несмотря на то, что теперь Франция сильно против нас вооружается: естественная польза и народная ненависть к Англии скоро заставят ее протянуть нам руку. Но какая злоба, предательство и неблагодарность в целой Европе против нас! ...Александр I спас от раздела Пруссию, а Николай I спас от падения Австрию. В Пруссии все единогласно были против нас, кроме короля; а в Австрии — кроме импера-

тора, Радецкого и Шлика: двое последних, как говорят, вынули шпаги и сказали, что они не только не будут драться против России, но даже не могут оставаться на службе. С томительным нетерпением все ожидают царского манифеста. Если только государь скажет: „Все против нас, против православной веры нашей, помогите государству спасти честь народную и защитить веру",— такие чудеса понаделаются, каких история еще не видала. Денег и войска явится столько, что некуда будет девать... Я признаюсь тебе, что в 1812 году дух мой не был так взволнован, как нынче, да и вопрос был не так значителен» [14].

В другом письме старик не скрывает, чего он ждет от начинающейся войны. «Вопрос предлагается следующий: взойти ли России на высшую ступень силы и славы или со стыдом и смирением сойти с того высокого пьедестала, на котором она стоит теперь... Все с томительным нетерпением ожидают манифеста о всеобщей войне и воззвании к славянам. Все страшатся только одного, чтобы государь, по отеческой своей любви к России, не смутился бы теми жертвами, которые мы должны принести, и чтобы всеми ненавидимый Нессельроде не убедил государя сделать какую-нибудь уступку... Если наших войск и мене числом, то наши солдаты недавно показали пример, что они могут разбить вшестеро сильнейшего неприятеля...» [15]

Правда, у этого наиболее все-таки сдержанного, рассудочного и скептического из славянофилов первоначальный порыв продержался не очень долго.

«Наконец, *напечатан манифест об войне. Но не такого* манифеста мы желали и надеялись; не оборонительной войны мы желаем; да и можно ли вести оборонительную войну на своих границах за страждущих братий? Ведь страждущие братья за границей и потому будут душить их сколько угодно. Всю надежду надобно возложить на бога, волею которого движутся исторические события. Может быть, нужно временное унижение для того, чтобы с большим блеском явилось наше торжество. Что пишут об нас за границей, того нельзя выносить никакому человеческому терпению. Поневоле начинаешь чувствовать ненависть ко всем иностранцам, особенно к англичанам, но хорош и Наполеон!» [16]

Однако у других представителей славянофильских и близких к славянофильским течений, вроде Ивана и Константина Аксаковых, Антонины Блудовой, Хомякова, еще всю весну 1854 г. крепко держалось самое радужное настроение. О Погодине и Шевыреве нечего и говорить.

Но даже органы печати, ничего общего никогда не имевшие с славянофильством, широко раскрыли на первых порах свои страницы для подобных заявлений. Ф. И. Тютчев именно для «Современника» написал как раз в марте 1854 г., когда запад-

ные державы объявили России войну, свое стихотворение, кончающееся словами: «И своды древние Софии в возобновленной Византии вновь осенит Христов алтарь. Пади пред ним, о царь России, и встань, как всеславянский царь!» Даже сам Николай нашел очевидно, что не следует так далеко загадывать, и написал резолюцию: «подобные фразы не допускать» [17].

Хор славословия и восторженнейшей лести, не всегда в тот момент фальшивой, стал так могуч, строен, согласен, без единого диссонанса, как никогда до той поры не был.

Но властелина не тешило все это. Сквозь обычную гордыню и самоуверенность проглядывало беспокойство.

Николаю доложили, что «при начале войны все сословия в России как будто пробудились от сна, сильно заинтересовались узнать причину, цель войны и намерения правительства». А он на это «с неудовольствием заметил графу Орлову: „Это не их дело“» [18].

Люди, поближе стоявшие к государственным, в частности к военным, делам, чем поэты и славянофильские философы,— деятели вроде генерала графа Граббе (кронштадтского коменданта в 1854 г.), вообще ничуть не разделяли этих необузданно-оптимистических надежд. «Кто бы мог, еще менее года тому, предсказать, что Россия, могущественная тогда силой и правом, которых она была главнейшею представительницей и щитом в Европе против безначалия и демократической внешней политики Англии, будет стоять одна, без союзников, так недавно ею спасенных, против Турции, Англии и Франции, в добычу насмешкам и суждениям европейских газет и демагогов! Дорого стало уже теперь и бог знает чего еще будет стоить занятие Молдавии и Валахии» [19].

И не только Париж и Лондон начинали беспокоить таких наблюдателей, как генерал Граббе. «Не хороши также настоящие наши отношения к Германии. Как могло все это случиться в такое короткое время и после столь высокого значения во внешней политике, нам так еще недавно принадлежавшего?» [20]

Зловещие признаки множились. Пруссия отказалась пропустить в Россию двадцать тысяч ружей, заказанных русским правительством в Бельгии [21]. Правда, после долгих колебаний эти ружья были пропущены, но самый инцидент, еще в 1853 г. абсолютно немыслимый, показывал, как ухудшилось положение России.

Царь этой ранней весной 1854 г. был временами очень невесел, и не славянофильским восторгам в стихах и прозе было рассеять его тревогу. Он теперь уже знал, как смотрит на создавшееся новое положение единственный человек в мире, которому он доверял,— фельдмаршал Паскевич, и какие письма пишет ему фельдмаршал.

Прощаясь с английским послом сэром Гамильтоном Сеймуром в феврале 1854 г., Николай сказал: «Может быть, я надену траур по русском флоте, но никогда не буду носить траура по русской чести» [22]. С Кастельбажаком царь простился необычайно сердечно и дал ему при расставании орден Александра Невского. Это объяснялось не только личными симпатиями царя к французскому генералу, но и уверенностью, что настоящий-то, основной враг — Англия и только Англия, а вовсе не Франция и уж, конечно, не Турция.

Потому ли, что в Петербурге были слишком раздражены и разочарованы, когда лорд Эбердин внезапно снял маску и дал, наконец, приказ флоту вступить в Черное море, или по другим причинам, но в январе 1854 года Англия возбуждала в сферах, близких к русскому правительству, больше вражды, чем Наполеон III, хотя всем было известно, что инициатором ввода обоих флотов в Черное море был именно французский император.

Составлялись проекты каким угодно путем удержать Англию от нападения на черноморское побережье. Царю и великому князю Константину Николаевичу, генерал-адмиралу русского флота, подавались проекты сближения с Соединенными Штатами, о каперской войне против английской морской торговли, хватались за слухи о натянутых отношениях между обеими англосаксонскими державами. Одна из таких докладных записок начинается очень любопытно:

«Сильная, надменная Англия имеет, как известно, злого и опасного для нее врага в Северо-Американских Соединенных Штатах. В Англии существует всеобщее, хотя и не высказываемое, поверье, что конец ее существования будет делом американцев, а в Америке не скрывается убеждение в том, что бывшим колониям суждено, рано или поздно, поглотить Англию. Служившему несколько лет при Посольстве нашем в Вашингтоне должны были представиться многие случаи к убеждению в глубине сих опасений и надежд. Ежедневное же столкновение с представителями обеих сторон должно было доказать ему силу существующей между ими ненависти и дать ему понятие о том, что может произвести благовременное потрясение этой струны. Можно сказать, что неприязнь к Англии никогда не дремлет в Соединенных Штатах. Тамошнее правительство удерживает с трудом частые проявления сего чувства, и нет почти вопроса между этими двумя краями, который оно не могло бы легко, если б захотело, облечь во все ужасы смертной борьбы. Один лишь страх неуспеха и ответственности за последствия преждевременной попытки удерживает президентов и Конгресс от наступательного, американскому народу всегда приятного образа действий в отношении к Англии. Но благоразумие и осторожность исполнительной власти и самого собрания пред-

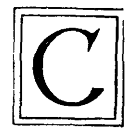
ставителей суть лишь слабая узда, и если иной вопрос, как, например, Канадский или новейший о рыбных промыслах, охлаждается и гаснет, так сказать, сам собою, то это единственно потому, что он не имел важности общей всему краю и что безошибочное чутье американского народа во всем, что касается его выгод, не нашло в нем достаточного вознаграждения для потребных усилий и пожертвований. Самое же чувство неприязни и соперничества не теряет ничего при подобных сближениях, и если б американцам представился верный случай утолить свою вражду к важному вреду Англии, и притом с непосредственною, весьма значительною выгодою для них самих, то можно смело сказать, что никакие усилия их правительства не могли бы отвратить событий и переворотов, которые отчаянно упорная народная война почти всегда ведет за собою».

Записка помечена 18 (30) января 1854 г.[23]

Глава X

ПЕРЕХОД РУССКИХ ВОЙСК ЧЕРЕЗ ДУНАЙ И ОБЪЯВЛЕНИЕ РОССИИ ВОЙНЫ СО СТОРОНЫ АНГЛИИ И ФРАНЦИИ

1



С самого начала 1854 г. русская армия пребывала в ожидании приказа о переходе на правый берег Дуная и о начале наступления на турок. Но штаб Горчакова не очень в это верил. Знали, как огорчен и раздражен царь делом при Четати, и в окружении Горчакова считали, что песенка главнокомандующего спета.

Николай не мог взять в толк поведения начальников 25 декабря при Четати и видел только одно: что его хотят обмануть и систематически пишут так, что за пышными и успокоительными фразами ничего понять нельзя, кроме разве того, что все идет дурно. Особенно раздражило царя донесение Горчакова.

«Реляция писана так неясно, так противоречиво, так неполно, что я ничего понять не могу,— писал Николай Горчакову 7 (19) января 1854 г.— Я уже обращал твое внимание на эти донесения, писанные столь небрежно и дурно, что выходят из всякой меры. В последний раз требую, чтобы в рапортах ко мне писана была *одна правда* (подчеркнуто царем — *Е. Т.*) как есть, без романов и пропусков, вводящих меня в совершенное недоумение о происходящем... Потерять 2000 человек лучших войск и офицеров, чтоб взять шесть орудий и дать туркам спокойно возвратиться в свое гнездо, тогда как надо было радоваться давно желанному случаю, что они, как дураки, вышли в поле, и не дать уже ни одной душе воротиться,— это просто задача, которой угадать не могу; но душевно огорчен, видя подобные распоряжения» [1].

Николай слишком поздно захотел, чтобы ему не писали «романов» вместо реляций, после того как он сам тридцать лет без малого приучал Горчаковых и Анрепов к мысли, что за «романы» получаются награды, а за правду гонят вон из армии.

В этом письме Николай между прочим еще писал: «Ежели так будем тратить войска, то убьем их дух и никаких резервов не достанет на их пополнение. Тратить надо на решительный удар, где же он тут???» (три вопросительных знака поставлены царем) [2].

Николай с раздражением спрашивает: зачем так разбросаны («растянуты») войска? Почему Анреп не пошел немедленно на помощь Баумгартену? Почему не было преследования турок?

На все эти вопросы (очень резонные) не мог же Николай получить от Горчакова единственный правильный ответ: не следовало царю назначать такого главнокомандующего, как Горчаков, и таких генералов, как Анреп. «Спеши мне это все разъяснить и прими меры, чтобы впредь бесплодной траты людей не было, это грешно и, вместо того, чтобы приблизить к нашей цели, удаляет от оной, ибо тратит драгоценное войско тогда, когда еще много важного предстоит и обстоятельства все грознее» [3].

Горчаков меньше всего походил на главнокомандующего, титул которого он носил до назначения Паскевича. Генерал Ушаков, близко наблюдавший всю его карьеру, говорил: «Известно, что покойный фельдмаршал князь Варшавский, при неограниченном своем властолюбии, не терпевший никакого противоречия, питал какое-то непостижимое пренебрежение к званию начальника штаба... Он любил говорить, что начальник штаба не более как секретарь главнокомандующего и точный, беспрекословный исполнитель его приказаний. На каждом шагу и почти ежедневно князь Горчаков, даже с Андреевскою звездою, должен был выслушивать подобные изречения, произносимые часто в самых резких формах, и не глаз на глаз, а в присутствии других. Где же тут было набраться самостоятельности?» [4]

Во всяком случае, получив царский выговор за Четати, князь Горчаков решил начать действовать, все равно, понравится ли его активность Паскевичу или нет. Единственным человеком на свете, которого Горчаков боялся больше, чем фельдмаршала, был царь.

Еще до получения этого грозного письма князь Горчаков явно чувствовал необходимость чем-нибудь загладить так безобразно поведенное Четатское дело. Он решил напасть на Калафат, занятый турками в свое время исключительно потому, что Горчаков не догадался сам занять его без всякого боя.

Горчаков 4 (16) января, значит, спустя десять дней после Четати, велел своему штабу и значительному отряду двинуться к Калафату. Выехал туда и сам, но в пути его вдруг стали одолевать сомнения, и он вернулся неожиданно с полдороги обратно в Бухарест. Посидев тут, он снова решился — и опять вы-

ехал к своему штабу в действующую армию. Здесь собран был военный совет 9 января 1854 г., и, вопреки мнению главнокомандующего, решено было большинством голосов, что немедленно штурмовать Калафат нельзя, а лучше обложить его и ждать удобного случая. Горчаков согласился. Он сменил скомпрометированного делом при Четати Анрепа и назначил начальником маловалашского отряда генерала П. П. Липранди.

Пропустив без всяких оснований три недели, Липранди приказал пятнадцатитысячному отряду двинуться 2 февраля 1854 г., под вечер, к Калафату.

Солдаты прошагали всю ночь при внезапно наступившем морозе в 16 градусов по Реомюру, при сильном ветре, делавшем мороз особенно мучительным. У солдат не было ни теплой обуви, ни полушубков, они были в совсем износившихся, рваных шинелях. На шинелях и мундирах обыкновенно полковые власти зарабатывали особенно обильно, потому что вместо прочного сукна без малейшей трудности со стороны бухгалтерии, отчетных ведомостей, можно было фактически поставить совсем расползающийся шерстяной брак.

К рассвету 3 февраля мороз еще усилился. Обмороженные люди падали,— но отряд продолжал двигаться безостановочно двумя колоннами: на Калафат и на соседнее селение Чепурчени. В Чепурчени пришла колонна под начальством Бельгарда, но никаких турок там уже и в помине не было: они бежали, предупрежденные своими лазутчиками и шпионами, которых все время ловили, но никак не могли поймать в войсках Горчакова.

Липранди подошел к Калафату, но утратил связь с Бельгардом. Оба генерала пробовали связаться через адъютантов, но оба адъютанта заблудились и не доехали до места назначения. Липранди мог бы и без Бельгарда одержать полную и легкую победу, но растерялся и не решился действовать, к возмущению офицеров, которые, однако, должны были свое возмущение припрятать подальше, потому что генерал их мнением не интересовался. «Толпы калафатских турок бросились бежать, спасаясь, кто куда мог; орудия стали увозить на руках; кавалерия уводила лошадей; все устремились на мост, произошла ужасная давка; начальники стали на мосту, чтобы не пускать беглецов, и, видя свои увещания безуспешными, принялись рубить их, но и это не помогло,— паника усиливалась. Казалось бы, какого более благоприятного было ждать момента для атаки Калафата! Тут бы и ударить на турок! Так нет — наши не могут ни на что решиться и не атакуют... Просто какое-то роковое несчастие тяготеет над нами, не дает нам и одного успеха, гонит победу от наших знамен! Начало светать. Турки стали прихо-

дить в себя. Липранди признал свой план не осуществившимся и приказал отступить. В этом безобразном движении мы, говорят, понесли чувствительную потерю, не сделав ни одного выстрела» [5]. Говорили о 350 человеках, которые отморозили себе пальцы, лица, ноги.

У нас есть правдивое свидетельство доктора Генрици о том, что привелось пережить солдатам в этот день. Конечно, ни в какие реляции, а потому ни в какие исторические книги оно не попало.

Если вообще не следует очень доверять тогдашним официальным цифрам о выбывших из строя, так как в этих показаниях было много сознательной лжи, то уж совсем нельзя полагаться на цифровые данные о больных и раненых в госпиталях. Врачи просто боялись гнева начальства, всегда подозревавшего военных медиков в «нежничанье» с солдатами. Поэтому вот как велась эта статистика в Дунайской армии. 3 февраля 1854 г. отряду (при котором находился доктор Генрици) велено было двинуться к селению Чепурчени, чтобы захватить там турок. Никого там, как уже сказано, не захватили, но русский отряд оказался по приходе в Чепурчени в бедственном состоянии: «Чепурчени очищены, неприятель скрылся, нашим стрелять было не в кого, а домой идти невозможно: темно, ветер режет глаза... Люди топчутся на месте: кто начинает бегать, кто бьет себя руками накрест в подмышки, чтобы согреться... Другие пробуют приседать, чтобы шинелью и телом прикрыть коченеющие ноги»... Согреться после безостановочного перехода в 15 верст при морозе — решительно негде. В результате более или менее обмороженных людей оказалось 648 человек. Но предоставим дальше слово самому Генрици: «По причине легкой степени озноблений и по *нежеланию огорчать начальство*, целых шесть сотен из них (т. е. из 648 — *Е. Т.*) не упомянуты», так что «оказалось» обмороженных всего 48 человек [6].

Снова решительно бесцельно погибли люди и были потрачены средства. Генерал Ушаков, ближайший участник дела, приписывает оставление Калафата в турецких руках тому, что «главнокомандующий, вероятно, имел другие соображения, или по крайней мере не считал нужным брать Калафат, предвидя, может быть, что мы скоро должны будем очистить не только одну Малую Валахию, но и вообще Придунайские княжества» [7]. А «предвидел» это Горчаков потому, что прекрасно знал, как смотрит на дело Паскевич. Необычайно характерно показание Ушакова, бросающее яркий свет на душевное состояние Горчакова во время этого оказавшегося абсолютно бесцельным зимнего похода на Калафат: «Войска авангарда бодро и радостно встали в ружье и быстро двинулись к неприятелю. Но самая эта быстрота подала новый повод к раздумью... Я сам слышал,

как князь Горчаков неоднократно произнес эту фразу: *зачем же они так скоро идут?»* То есть: зачем солдаты принимают всерьез его команду? Зачем они не понимают, что их посылают на смерть только потому, что как-то неловко стоять без дела, но что все это нужно будет скоро свернуть, ликвидировать и уходить домой?..

В начале 1854 г. Николай вызвал в Петербург Паскевича и назначил его главнокомандующим всеми войсками на западной границе России, а также стоящими в Дунайских княжествах. «Я пришел к государю около 12 часов с докладом,— вспоминал позже Паскевич,— мы были в его рабочем кабинете, где он впоследствии скончался. Государь был чрезвычайно грустен. Несколько минут продолжалось молчание». Царь, наконец, сказал, что он недоволен действиями Горчакова в Дунайских княжествах и что Горчаков едва ли способен к командованию отдельной частью. Паскевич отстоял Горчакова, в чем горько и торжественно покаялся *впоследствии, уже лежа на смертном* одре.

Паскевич не за тем только был вызван Николаем в Петербург, чтобы сказать свое мнение о Горчакове. Речь шла о вопросе безмерной важности: принять или не принимать «ультиматум» четырех держав: Англии, Франции, Турции, Австрии. «Мне отрадно вспомнить, что когда еще можно было предупредить все бедствия, постигшие впоследствии Россию, я против *мнения всех в ту минуту,* когда в порыве безумия мы готовились закидать всю Европу шапками, осмелился 27 февраля 1854 года представить покойному государю записку», в которой давался совет уступить, очистить Молдавию и Валахию. Фельдмаршал не сомневался, что выступит против России вся Европа, с Австрией и Пруссией включительно, и что все равно придется уступить. Под «ультиматумом» четырех держав фельдмаршал тут понимал, очевидно, требование Англии и Франции в двухмесячный срок очистить княжества. Но Австрия и Турция (уже бывшая в войне с Россией) в этом ультиматуме участия не принимали.

Паскевич не только не одобрял давние планы царя о восстановлении христианских народов на Балканах против Турции, но даже сам напомнил об этом, правда, с целью как можно меньше активно помогать этим восстаниям прямым участием русских войск. Но вот что он пишет Горчакову 22 марта 1854 г. «Насчет формирования из сербов des corps francs (добровольцев — *Е. Т.*) я бы думал теперь приостановиться, ибо, по словам барона Мейендорфа, полагать должно, что Австрия будет смотреть на это дело весьма неприязненно. Наконец, о болгарах я доносил государю императору, и мы с вами подумаем, когда будет время ими заняться» [8].

Ни сербам, ни болгарам Паскевич ни малейшей реальной помощи не дал, ни о каких болгарах он так и не нашел времени «подумать» и очень прислушивался к тому, что Буоль не говорит «ничего успокоительного» барону Мейендорфу о переходе русских через Дунай. И подобно самому Мейендорфу Паскевич знает, что австрийцы встревожены появлением русских на правом берегу реки именно оттого, что боятся восстания сербов.

Переправа через Дунай именно в нижнем его течении была обусловлена ненадежностью отношений с Австрией. «Рано открыты военные действия на Дунае, когда нет еще подножного корма. Кавалерия много потерпит, она должна подвозить сено из Бессарабии, Молдавии и Валахии; но тогда армия не может отдалиться от Дуная»,— пишет в своем дневнике командир Кронштадта генерал Граббе, некогда воевавший на Дунае. Он, естественно, находит, что такое далекое от Сербии и других славянских провинций Турции место переправы русских войск «не обещает выгодных последствий»,— и он предвидит: «*чтобы делать что-нибудь,* вероятно, приступят к осаде Силистрии» [9].

Граббе имел основание удивляться, почему место переправы выбрано далеко от Сербии. Как и все, имевшие доступ в Зимний дворец, он знал, что Николай I давно уже лелеет план поднять турецких славян. Он не мог знать тогда, что Паскевич, одобряя эту идею на словах, на деле ни за что не хочет протянуть Сербии руку помощи, а просто предоставляет ей самой восставать, если ей это угодно, сам же опасается лишь того, что Австрия может заподозрить русское участие в возможном сербском восстании. Поэтому фельдмаршал нарочно и приказал перейти Дунай подальше от Сербии. С болгарами дело обстояло иначе. Болгарского восстания против турок, если бы оно и произошло, Австрия боялась гораздо меньше: у нее болгарских подданных не было вовсе, да и относительно далеко от нее находилась Болгария. Поэтому решено было прежде всего поднять болгар.

Вот собственноручная отметка Николая I на доложенном ему письме князя М. Д. Горчакова генералу Лидерсу 26 марта 1854 г. о том, чтобы стараться расположить к себе болгар: «*Теперь время настало выдать прокламации,* чем я займусь» [10].

И в самом деле Николай *собственноручно* написал следующее воззвание, которое должно было распространяться в Болгарии от имени Паскевича: «Единственным братьям нашим в областях Турции. По воле государя императора Российского, с предводительствуемым мной победоносным христолюбивым воинством его вступил я в обитаемый вами край, не как враг, не для завоеваний, но с крестом в руках, как залог цели, на которую подвизаемся. Цель моего всемилостивейшего государя есть защита христианской церкви, защита вашего поруганного

существования неистовыми врагами. Не раз уже лилась за вас русская кровь, те из вас, которые менее других тяготятся своим бытом, обязаны сим русской кровью приобретенным правам. Настало время приобресть и прочим христианам то же преимущество, не на словах,— на деле. Да познает и так всякий из вас, что иной цели Россия не имеет, как достичь святости прав церкви и неприкосновенности вашего существования. Настало ныне время вам, соединясь общим усилием, поборствовать за ваше существование. Да поможет нам господь!»

Написав это, Николай остался вполне удовлетворен своим первым личным дебютом в составлении прокламаций. Это воззвание, призывавшее к вооруженному восстанию верноподданных султана Абдул-Меджида, должно было немедленно быть пущено в ход. *«Очень* хорошо!» [11] — не удержался похвалить свое произведение высокопоставленный автор (и даже приписал эти слова внизу) и тут же прибавил, обращаясь, очевидно, к военному министру: «приготовь к отправлению к князю Варшавскому и сообщи к сведению г. Нессельроде. Письмо к фельдмаршалу пришли попозже».

Итак, собственноручная прокламация царя мчится в фельдъегерской сумке с максимальной быстротой к Паскевичу, который и должен это воззвание размножить и от своего имени распространить, действуя на религиозные чувства христиан. А Паскевич в эти самые дни сидит у себя в кабинете в Бухаресте и составляет план разжигания религиозных чувств *магометан!* Приведем в доказательство этого факта неопровержимейшее свидетельство.

Подобно тому как Паскевич, конечно, желал бы, чтобы сербы и болгары восстали сами по себе, без всякого участия России,— еще больше он желал другого: бунта в турецких войсках и в турецком глубоком тылу. До Паскевича доходили, конечно, слухи о том, что турки чувствуют себя очень зажатыми в тиски своими «союзниками». И в тот же день как он писал Горчакову о необходимости «приостановить» образование волонтерского отряда из сербов,— фельдмаршал сообщил тому же Горчакову для сведения и руководства о желательности найти агитаторов для работы в Турции. «Пишу к вам особо, любезнейший князь, о деле, которое для успеха должно оставаться в совершенной тайне между вами и мной. Подумайте, нельзя ли будет найти верных людей, не между греками-фанариотами или перотами, точно так же, как не между молдаванами или валахами, потому что на одних по плутовству, а на других по глупости надеяться нельзя, а между болгарами или турками. Люди сии нужны нам для исполнения следующей мысли моей: если бы туркам уметь рассказать их положение, то они бы увидели, к чему ведет их союз Англии и Франции».

Из всех этих пестрых и противоречивых опытов и поползновений царя в Петербурге и фельдмаршала в Бухаресте — ничего не вышло. Ни славянские, ни турецкие, ни христианские, ни магометанские революции так скоропалительно не делаются. «Революционная» неопытность Николая I и фельдмаршала Паскевича бросается в глаза. Оставалось положиться исключительно на русскую армию и на военные операции. Обратимся к тому, что было сделано армией перед назначением Паскевича главнокомандующим и что застал фельдмаршал при своем появлении на Дунае.

Паскевич уехал, как сказано, из Петербурга уже не только фактическим верховным распорядителем военных действий, а формально главнокомандующим. Но это помочь делу никак не могло: ведь все, что раздражало Николая I в распоряжениях Горчакова и в действиях генералов, подчиненных Горчакову, именно и обусловлено было тем, что сам Горчаков стремился быть послушным орудием Паскевича, и именно Паскевич, а вовсе не Горчаков хотел как можно скорее свернуть и ликвидировать Дунайскую кампанию. Оттого, что Паскевич теперь стал уже и формально начальником Горчакова, действия последнего могли стать лишь еще более растерянными и нерешительными.

Между тем с января 1854 г. Горчакову стало особенно затруднительно продолжать делать то, что до сих пор он делал во имя выполнения совершенно ему ясной, хотя и не высказываемой всеми словами, воли Паскевича: воевать не воюя, производить марши и контрмарши, спешить, не двигаясь с места.

В Бухарест прибыл, по личному повелению Николая, генерал Карл Андреевич Шильдер, начальник инженеров. Это был очень дельный и очень способный инженер и сапер, прекрасный руководитель, изобретательный техник, внесший некоторые очень существенные и спасшие много солдатских жизней усовершенствования в постройку амбразур. Он был в тех же чинах, что и Горчаков, и старше Горчакова по возрасту: ему уже шел шестьдесят девятый год. А кроме того, все знали, что и свое генерал-адъютантство он заработал настоящими большими заслугами, чего за князем Горчаковым не числилось.

Политикой Шильдер не занимался, тайных мыслей Паскевича не знал, служебными соображениями Горчакова не интересовался. Бей врага, не рассуждая, нравится это кому-либо или нет, все равно, какого врага: турки ли, венгерские революционеры ли, «демократы» ли (кого именно Карл Андреевич понимал под демократами, не очень ясно: по-видимому, поляков и венгерцев, которых было немало в турецкой армии).

Вояка и рубака Шильдер, в политике ничего не смысливший подобно многим своим коллегам, несколько путал 1854 год с 1849 годом и склонен был, валя в одну кучу турок и прочих супостатов с революционерами, считать предпринимаемый поход за Дунай чем-то вроде завоевательной прогулки: «Будьте мне в пользу царя только и священного дела усердным помощником, зажмем, как я предвижу и предчувствую, дерзких турок с демократами в бараний рог — на первый случай па их правом берегу Дуная, в дрянных крепостцах, а далее? да поможет господь!» — так писал генерал Шильдер Хрулеву в начале января 1854 г. из Зимнича [12].

Подчиненные любили Шильдера, и в их глазах во всех столкновениях с высшим начальством он всегда был прав. «Все саперные и инженерные прапорщики суть моя лучшая надежда для приведения в исполнение, что пламенное мое воображение отразит на бумаге карандашиком»,— тогда же писал Карл Шильдер Хрулеву [13].

Прибыв 9 (21) февраля 1854 г. в город Турно, Хрулев начал уже на следующее утро артиллерийский обстрел через реку, пристани и крепости города Никополя, находящегося на правом берегу Дуная. Возникла упорная артиллерийская дуэль, показавшая, что у турок — обилие снарядов, но что стреляют они из рук вон плохо. На каждый русский выстрел они выпускали до тридцати снарядов, не причинявших русским никакого вреда, так что это даже начало увеселять толпы зрителей, подходивших из города Турно к русским батареям [14]. Но из главной квартиры Хрулев стал получать и непосредственно и через своего начальника Шильдера бумаги, тормозившие его действия и мешавшие ему.

В качестве начальника инженеров действующей армии Шильдер и подчиненный ему Хрулев вообще на каждом шагу наталкивались на препятствия со стороны главнокомандующего Горчакова. Дело идет об артиллерийском обстреле с левого берега Дуная турецкой флотилии и двух правобережных турецких укрепленных пунктов: Никополя и Систова. Шильдер приказывает Хрулеву бить по флотилии калеными ядрами,— Хрулев с готовностью берется за выполнение приказания, зная по опыту, насколько каленые ядра в данном случае оперативнее простых снарядов: «Под Журжей выпущено по флотилии до 800 снарядов нами,— а из 50 каленых ядер, при самой гадкой стрельбе, если попадет *три* ядра, до тла сожгут турецкую флотилию» [15]. Казалось бы, все хорошо, как вдруг Хрулеву заявляет генерал Соймонов, что получен приказ князя Горчакова: не стрелять калеными ядрами, потому что они сжигают олово в канале орудия. Кого же слушаться? Хрулев берет высочайше утвержденное в 1853 г. руководство для артиллерийской

стрельбы,— там ровно ничего не сказано о запрещении стрелять из медных орудий калеными ядрами, напротив, есть прямые указания, что это можно и должно делать. И вместо стрельбы по турецкой флотилии — Хрулеву нужно идти в канцелярию и писать бумаги с полемикой и препирательствами.

На рассвете 20 февраля шесть тысяч турок переправились на левый берег Дуная близ Силистрии и оттеснили казачьи посты. Тогда сборный русский отряд двинулся из города Калараша против неприятеля под начальством генерала Хрулева и Богушевского. После жаркой стычки турки, потеряв несколько сот человек, были отброшены и бежали обратно за Дунай; при переправе одна неприятельская лодка с сидевшими в ней пехотинцами была потоплена, другая взята в плен. Русские потери были ничтожны [16]. Турки в открытом бою совсем не выдерживали натиска русских войск, тогда как превосходно защищались в крепостях. Дело под Каларашем 20 февраля 1854 г. лишний раз это обнаружило.

Солдаты и казаки тогда еще верили, что война с турками ведется серьезно. Они окончательно утратили эту веру лишь несколько позже.

Вот «бытовой» случай, бегло отмеченный в донесении одного эскадронного командира, участвовавшего в этой битве под Каларашем:

«Вверенного мне 8 эскадрона рядовой Флор Печенкин 20 числа сего месяца в сражении был ранен слегка куском гранаты в лоб и нос. Полагая, что рана эта ничего незначащая, не хотел тогда докладывать об этом. На другой день почувствовав головокружение и сильную боль объявил». Рана оказалась очень тяжелой, это явствует уж из того факта, что о болезни Печенкина рапортом донесли самому Хрулеву. Обыкновенно доносилось лишь о смерти или смертельном ранении рядовых. Флор Печенкин не донес сразу же о том, как его «слегка» ранила в лоб и нос граната, чтобы его не увели с места сражения [17].

22 февраля Хрулев обстреливал Силистрию с левого берега из прикрытых и укрепленных батарей, устроенных на самом берегу. Значительная часть турецкой флотилии, стоявшей у Силистрии, была в этот день уничтожена, войска и жители бежали из города в цитадель.

В ночь с 26 на 27 и в ночь с 27 на 28 февраля подполковник Тотлебен построил и вооружил ряд батарей для действия против турецкого острова, лежащего на Дунае против Ольтеницы. 28 февраля открыт был по острову с этих батарей перекрестный пушечный огонь из 10 орудий, после чего было произведено движение русского флота к отмели и занятие отмели, соединяющей остров с левым берегом Дуная [18].

Затем Хрулев приказал Тотлебену избрать пункт, удобный для наведения понтонного моста на остров. В ночь с 28 февраля на 1 марта началось сосредоточение русских батарей у избранного Тотлебеном пункта. Хрулев велел выставить там 12 батарейных и 8 легких орудий. На рассвете 1 марта вдруг появились как раз в ближайшем к этим русским орудиям месте острова две женщины с детьми и несколько крестьян. Они кричали на молдаванском наречии, что турки бежали и покинули остров. Это была военная хитрость, потому что вскоре загремели турецкие скрытые орудия, а также ружейные выстрелы. Последовала жаркая и долгая артиллерийская и ружейная перестрелка, после которой турки были выбиты из ложементов на опушке леса и отступили в глубь острова. Хрулев вовсе не считал нужным немедленно выбить турок из леса, но один батальон «лишь только отрылась канонада выскочил из своего ретраншемента *без приказаний*, думая, что настал желанный момент»... Батальон немедленно, конечно, был обстрелян, Хрулев сейчас же велел прекратить это самоуправство, но «начальники едва могли остановить стремление этого батальона и снова уложить солдат в ретраншементы». Солдаты явно не успокаивались, и офицеры оказались в несколько щекотливом положении, так что некоторые из них даже рискнули жизнью, чтобы показать, что они вовсе не из трусости исполнили приказ высшего начальства и прекратили самовольное выступление солдат в атаку: «офицеры, следуя примеру батальонного командира... капитана Ванновского, чтобы показать солдатам, что не опасение за свою жизнь заставляет их уклоняться от вражеских пуль за бруствером, безмятежно стояли на оном», где некоторые из них и были контужены [19].

Таково было настроение солдатской массы еще зимой и ранней весной 1854 г.

Раздоры между Шильдером и Горчаковым как раз к моменту приготовлений к переходу через Дунай достигли таких размеров и такой интенсивности, что это прямо стало беспокоить наблюдателей, боявшихся за сохранение дисциплины в войсках при подобных отношениях в генералитете, да и ущерб делу был серьезный [20].

Горчаков не решался уволить Шильдера или отправить его куда-нибудь вон из армии, но всячески тормозил все, что Шильдер предлагал или даже начинал осуществлять. Вечно Шильдеру приходилось то писать в штаб-квартиру, то бросать все и мчаться для объяснений. «По весьма крутым обстоятельствам я должен ехать прямо в Бухарест для личных объяснений с князем Горчаковым по делам, относящимся к Нижнему Дунаю, потому опять должен миновать Калараш»,— пишет он Хрулеву на другой день после Каларашского сражения, когда и ему и

Хрулеву гнетуще важно было бы переговорить лично [21]. Но нет, Горчаков приказывает Шильдеру явиться для «весьма крутых» объяснений,— и нужно бросить все и мчаться в Бухарест.

Между русскими батареями у сел. Ольтеницы и островком, занятым турками,— узкий и мелкий рукав реки. Нужно было непременно узнать, какова глубина брода. Но как это сделать в весеннее половодье? С раннего утра 1 марта, когда уже гремела канонада и трещал беглый ружейный огонь с турецкого берега, вдруг в русской роте послышались крики: «Турок бежит! Турок!» Но это был не турок. «Всмотревшись хорошенько,— доносит Хрулеву бригадный командир генерал Заливнин,— оказалось, что казак Медведев выбежал к стороне турецкого островка в брод между двух сильно вооруженных (турецких — *Е. Т.*) ложементов, пробежал брод ввиду всего отряда и возвращается назад тем же путем; достигнувши островка Кичу, делает два выстрела по турецкому ложементу и возвращается ко мне с донесением, показывая рукою по мокрым ногам, что брод немного выше колен». Часом позже генерал Заливнин выбил картечью взвод регулярной турецкой пехоты. «Это положительное сведение о возможности пройти в брод дало мне решительность изготовиться к переходу на остров»,— добавляет генерал, представляющий к награде донского казака Петра Медведева, который сам измыслил и совершил свое отчаянное дело [22].

Но того же 1 марта в Бухаресте уже писалось письмо, сводившее к нулю усилия Хрулевых и казаков Медведевых. «Предписываю вашему превосходительству не атаковать острова против Туртукая и ограничиваться отстоянием (sic — *Е. Т.*), в случае нападения неприятеля, левого берега Дуная. Также не производить бесполезных канонад и перестрелок, а действовать орудиями, стрелковым огнем с левого берега тогда только, когда оно действительно полезно. Генерал-адъютант, кн. Горчаков» [23]. Но ведь Хрулев именно и считал «действительно полезным» выбить турок с острова и готовиться к систематическим действиям против правого берега. Горчаков не мог этого, конечно, не понимать. Но и здесь, как и в других случаях, князю Михаилу Дмитриевичу приходилось поглядывать одним глазом на Хрулевых, Шильдеров и казаков Медведевых, а другим — на фельдмаршала Паскевича и как-то выбирать среднее пропорциональное: воевать и не воевать, идти вперед, но оглядываться, побольше сомневаться при наступлении, отступать же с полной решимостью, награждать казаков Медведевых за героизм, но как можно скорее ликвидировать результаты этого героизма.

На рассвете 11 (23) марта русские войска перешли Дунай у Галаца. Командовал ими генерал-адъютант Лидерс. В 4 часа того же дня началась переправа других частей под начальством

Коцебу. Наконец, попозже в тот же день, около Измаила, переправился последний отряд из предназначенных для перехода через Дунай под начальством генерал-лейтенанта Ушакова.

Переправа в первых двух пунктах прошла без особого сопротивления со стороны турок. Только уже после переправы произошла перестрелка. При переправе у Измаила завязалось дело у турецких окопов, недалеко от места выхода русских войск на берег. Потеря русских была довольна значительна: 201 убитый и 510 раненых. Турецкие потери были около тысячи человек. На другой день, 12 марта, турки бежали и бросили без боя Тульчу, Исакчи и 13 марта — Мачин. Там было захвачено много снарядов и пороховой склад.

12 марта вечером, когда русские войска ликовали по поводу удачно совершенной переправы и из рук вон нелепого поведения турок, допустивших совершить это опаснейшее дело,— князь Горчаков вдруг получил со специальным посыльным из Варшавы курьером приказ от Паскевича: не переходить через Дунай, а если уже перешли, не идти дальше Мачина, выводить войска из Малой Валахии; транспортировать раненых и «излишние тяжести» в Россию. Эти распоряжения повергли в изумление, разумеется, буквально всех. «Князь Горчаков, конечно, мог лучше знать причину необъяснимых для нас распоряжений фельдмаршала, ибо получил от него в то же время партикулярное письмо»,— пишет генерал Ушаков, участник и правдивый летописец событий Дунайской кампании [24]. Ушаков не мог знать, конечно, содержания этих «партикулярных писем» Паскевича к Горчакову, а мы их знаем. И в письме от 24 февраля, и в письме от 25 февраля, и в письме от 27 февраля, и в письме от 9 марта фельдмаршал не переставал пугать Горчакова близким будто бы выступлением Австрии. «Еще раз скажу, что если вы еще не взяли Мачина, Исакчи и Тульчи и не устроили переправы, то не начинайте перехода, ибо, пока дела с Австриею не объяснятся, нам нет необходимости переходить через Дунай,— этот мотив повторялся упорно в каждом письме фельдмаршала к совсем сбиваемому этим с толку князю Горчакову [25].

К концу марта (н. ст.) стоявшая у Никополя турецкая флотилия была «совершенно разбита и наполовину сожжена», турецкий мост на Осмоле сожжен, жители города Никополя и крепости эвакуированы по приказу турецкого начальства и движение турецких судов по Дунаю совершенно прекращено. За все время (больше месяца) русскими было выпущено всего *пятьсот семь* зарядов артиллерии. Все эти значительные результаты были достигнуты без потерь в людях и лошадях [26].

Известие об удачном переходе русских войск через Дунай и о последующих их успехах вызвало в Вене очень большое беспокойство и раздражение.

Впрочем, и до перехода через Дунай в этом отношении хорошего в Вене было мало. Мейендорф еще 7 марта 1854 г. с тревогой извещает канцлера, что как ни худо было все то, что привез с собой Орлов в Петербург после своего венского визита, но что после его отъезда положение русского дела в Вене еще ухудшилось. Англия и Франция оказывают большое давление на Австрию с целью заставить ее принять участие в войне против России,— и политика Австрии становится уже вполне откровенно враждебной. Из греческого восстания в Эпире ничего не выйдет, его задушит Турция при полной поддержке западных держав. Сербия при малейшей попытке будет занята австрийцами. Ни о каких завоеваниях теперь России нечего и думать [27].

«Восстание в Эпире не распространяется, надежды, которые с ним связываются, и сведения о нем, какие нам даются,— преувеличены. Славяне не принимают участия в движении. И трех с половиной тысяч человек, готовых восстать, нет, это лишь новое осложнение восточного дела, последствием которого гораздо скорее может стать падение греческого трона, чем оттоманского»,— так решительно предваряет Мейендорф своего канцлера 13 марта 1854 г. [28]

Буоль, по-видимому, и не скрывал уже в марте 1854 г. от Мейендорфа, что попытка царя оказать помощь сербам и побудить их к восстанию равносильна объявлению войны между Россией и Австрией. Мейендорф находит, что сербское дело не стоит такого риска [29]. Мейендорф чувствует щекотливость и ложность своего положения в Вене, где ему приходится иметь дело с главным из враждебных России австрийских государственных людей, министром иностранных дел Буолем, на сестре которого Мейендорф женат. Мейендорф очень бы хотел, чтобы вместо него прислали другого, и пишет об этом Нессельроде, но канцлер и царь все еще баюкают себя надеждой на поворот австрийской политики и считают родство русского посла с австрийским министром фактом не отрицательным, а положительным.

13 марта 1854 г. у Мейендорфа был неприятный разговор с Буолем. «Наблюдательный корпус», который Австрия сначала определяла в 25 000 человек, потом в 50 000, вырос уже до 150 000. Другими словами: громадная австрийская армия стала у границы Дунайских княжеств, готовая вмешаться в войну и уж, конечно, не на стороне России. Разговор с Буолем был совершенно безрезультатен. Правда, Мейендорф считал, что раньше чем через шесть недель австрийская армия не будет в состоянии начать войну,— но это плохое утешение. Венская пресса злорадно раздувала слухи о русских неудачах и затруднениях. О Пруссии можно было лишь говорить так: «быть может, до тех

пор (т. е. еще шесть недель — *Е. Т.*) Пруссия будет нам верна, и тогда мы продержимся (et alors notre position est tenable)» [30].

Но будет ли Пруссия «верна»? Вокруг короля Фридриха-Вильгельма IV шла большая борьба. «Русская партия» — консервативных аристократов и генералов армии — была за дружественный нейтралитет по отношению к России; «либералы», «англофилы» стояли за сближение с Англией и Францией.

Король осмелел и на укоры Николая, что Пруссия поддерживает колеблющийся, «нерешительный» нейтралитет (neutralité vacillante et indécise), гордо ответил, что прусский нейтралитет есть суверенный нейтралитет. Не очень ясно, что понимал Фридрих-Вильгельм под этим термином,— по-видимому, он хотел выразить мысль, что Пруссия останется вполне самостоятельной в своих решениях и не поддастся угрозам и давлению воюющих сторон. Эта мысль так и выражалась королем: если кто намерен угрожать силой,— то Пруссия будет обороняться, и «тогда не будет спрошено, угрожают ли зеленые (русские — *Е. Т.*), синие (французские — *Е. Т.*) или красные (английские — *Е. Т.*) мундиры» [31]. Но не успел король так развоеваться на бумаге, как уже его стало одолевать беспокойство.

Существовала лишь одна-единственная великая держава на свете, которой король не боялся: это была Австрия. В его окружении обе партии: и братья фон Герлахи, лидеры русской партии, и Бунзен, вдохновитель антирусских и англофильских течений в прусской дипломатии, и Бисмарк, бывший тогда представителем Пруссии при франкфуртском союзном сейме, и брат короля Вильгельм — с самого начала восточных осложнений почти одинаково подозрительно относились к Австрии и наперерыв стремились доказывать, что во всяком случае таскать для Австрии каштаны из огня Пруссия не должна. Со времени Ольмюца 1850 г. они смотрели на Австрию как на едва ли не главное в настоящем и в будущем препятствие к политическому возвышению Пруссии и ко всякой даже частичной попытке объединения севера или центра Германии вокруг Пруссии. И король тоже Ольмюца 1850 г. не забыл, но все-таки были моменты и во второй половине 1853 г. и в начале 1854 г., когда, по-видимому, королю представлялась заманчивая и успокоительная идея: противопоставить сплоченный нейтральный фронт — Австрию, Германский союз, Пруссию — как западу, так и востоку. Такому фронту, если бы он составился, можно было бы не бояться ни давления со стороны Николая, ни угрозы со стороны англо-французского союза. Но мог ли он составиться при глухом, но упорном антагонизме между Австрией и Пруссией? И был ли налицо какой-нибудь общий интерес, который мог бы тесно сблизить все германские державы на почве восточной политики? В Константинополе действовал один дипломат, кото-

рый давал вполне утвердительный ответ на этот вопрос. Это был австрийский представитель Брук. По его мнению, от Балтийского и Северного морей, через всю толщу Пруссии и государств Северной и Средней Германии, вплоть до Австрии и включая Австрию, тянется конгломерат немецких или тесно связанных с немецкими земель,— и все эти страны имеют полную возможность отстаивать свои экономические интересы и от русской, и от английской, и от французской экспансии, направляющейся на Турцию. Брук проницательно вглядывался в политику лорда Стрэтфорда-Рэдклифа и явственно понимал, что если Англия — враг русского военно-политического продвижения на турецком востоке, то она не меньший враг и экономических успехов австрийской торговли и промышленности на ближайших рынках в азиатских владениях Порты.

Выступить против Николая король не хотел ни за что. Но и помочь ему, оказав давление на Австрию, Фридрих-Вильгельм также не видел никакого смысла. Луи-Наполеона король терпеть не мог, очень его боялся и считал его узурпатором и таким же агрессором в душе, каким был в течение всего своего кровавого царствования его дядя Наполеон I. И, считая Наполеона III узурпатором и в то же время носителем революционных начал, разрушителем всех принципов и преданий Священного союза, король прусский под влиянием непреодолимого страха пред французским императором поспешил изменить Николаю в деле с титулованием Наполеона III. Англию король тоже не любил, хотя боялся ее несравненно меньше, чем он боялся обоих своих соседей — западного и восточного. Англия давала пристанище политическим эмигрантам, а король Фридрих-Вильгельм считал это личным оскорблением. К этому прибавилась нелепая история с тайными агентами прусской полиции. Дело начато было, правда, вовсе, не королем. Английское правительство весной 1851 г. предложило прусскому прислать трех полицейских агентов, которые облегчили бы английской полиции слежку за немецкими подозрительными личностями. Три агента были отправлены в Лондон. Но здесь они очень ретиво взялись за дело и стали деятельно (и специально) следить за Карлом Марксом, Руге, Маццини и другими эмигрантами, что вовсе не имелось тогда в виду английской полицией, желавшей помощи против уголовного элемента по преимуществу. Кончилось тем, что трех излишне работоспособных прусских шпионов отправили обратно. Фридрих-Вильгельм был обижен и жаловался английскому послу в Берлине лорду Блумфильду на эмигрантов, «сеющих социализм, атеизм и другие принципы переворота», как с большой горечью, хотя и не очень грамотно выразился король[32]. А министр иностранных дел барон Мантейфель тоже поставил на вид Блумфильду, что, к сожалению, Англия

преследует лишь разбойников и убийц, а политических преступников оставляет в покое. Все это раздражало и беспокоило короля. Он и тянулся к Николаю, который был ему ближе всех по убеждениям и по всему строю мыслей, и боялся Николая, и боялся Наполеона III, и опасался Англии, и был месяцами в состоянии почти непрерывного раздражения и растерянности, потому что ведь ни Наполеон III, ни царь, ни британский кабинет его отнюдь не желали оставить в покое и настойчиво *просили* о совершенно противоречивых декларациях и диаметрально противоположных актах. Отмахнуться от подобных *просителей* даже и не Фридриху-Вильгельму было бы нелегко, и взбалмошный, нервный человек просто не знал порой, куда ему податься.

Для Николая был совсем новым тон, который понемногу усвоил себе в объяснениях с ним прусский король, как только началась война между Россией и западными державами. Престиж русского царя падал с каждым месяцем войны все более и более, и это отражалось на поведении «друзей» еще более чувствительно, чем на действиях врагов.

Фридрих-Вильгельм стремился отдать себе ясный отчет в капитально важном для него вопросе: выдержит ли Россия или не выдержит? Кто сильнее? Кого следует больше бояться? Жадно собирал он нужную информацию, где только мог.

В самом конце февраля 1854 г. мимоездом в Берлине появился возвращавшийся в Лондон после разрыва дипломатических отношений Англии с Россией сэр Гамильтон Сеймур, бывший английский посол в Петербурге. Сеймур имел с королем Фридрихом Вильгельмом IV разговор, продолжавшийся час двадцать минут. В этой долгой беседе король, по впечатлению английского дипломата, обнаружил, что он одинаково боится и Николая I и Наполеона III. Сеймур убеждал короля выступить на стороне Англии и Франции и этим содействовать подрыву русского могущества, опасного прежде всего для Пруссии в силу географической близости к северному колоссу. Но ничего из всех усилий Сеймура не вышло. Король вовсе не хотел, чтобы «вместо сражений на Дунае происходили сражения в восточной Пруссии» (так король еще незадолго до приезда Сеймура выразился в разговоре с Мантейфелем). Фридрих-Вильгельм IV жаловался, правда, на Николая, который употребляет «такие сильные выражения, когда говорит о нем, своем шурине, что потом даже и повторить нельзя»[33], но все-таки, в конце концов, решительно отказывался от приглашения англичан, клонившегося к тому, чтобы обрушить на Пруссию стоявшую близ границы русскую армию в 200 тысяч человек.

Спустя некоторое время не удавшуюся англичанам попытку втравить Фридриха-Вильгельма IV в войну с Россией повторил французский посол в Берлине де Мустье, но и у него ничего

не вышло. Де Мустье наивно приписывал свою неудачу тому, что король не совсем здоров душевно.

Король, правда, уже близился постепенно к своему не очень далекому печальному концу, но, конечно, никак нельзя усматривать симптом надвигавшейся душевной болезни в весьма здравомысленном отказе короля жертвовать интересами Пруссии и рисковать ее целостью во имя стратегических интересов англичан и французов на Дунае и на Черном море.

Король хитрил с Николаем, и это ему удавалось очень редко, хитрил с Англией,— и это ему не удавалось вовсе. В течение всего февраля 1854 г. к Фридриху-Вильгельму неотступно обращались и письменно, и устно, и непосредственно, и через третьих лиц из Англии с предложением примкнуть к коалиции. Он метался и не знал, что делать. И вот король отправляет в Лондон со специальной миссией графа фон Гребена и дает ему 7 марта 1854 г., т. е. когда уже состоялся разрыв сношений Англии и Франции с Россией, следующие инструкции, поражающие своей наивностью и детскими поползновениями на коварство. Граф Гребен должен убедить англичан, что если Пруссия выступит, то она подвергнется нашествию русских войск, которые Николай стянет с разных сторон, и этот театр войны сделается главным. А это невыгодно союзникам. Почему? Король не поясняет,— очевидно, имея в виду, что через Пруссию Николай может пройти во Францию. Затем, вторая невыгода для союзников: как нейтральный государь — король может в свое время выступить посредником и способствовать заключению мира, а как «*коализованный государь* (ein coalirter Fürst)» (слог у короля был очень капризный и растрепанный) — Фридрих-Вильгельм не будет в состоянии оказать союзникам эту услугу. Но самое изумительное король приберег к концу: он великодушно предлагает Англии помощь, если вдруг Наполеон III возьмет да и обрушится на самое Англию. Потому что ведь об императоре французском известно, что он «поворачивается быстро (vom franz. Kaiser weiß man nur Eins gewiss: qu'il tourne vite)».

Эта глубокомысленная немецко-французская фраза остается без дальнейших пояснений,— и король лишь прибавляет, что сама же Англия «должна понять и поймет, как для нее решающе-важной может быть Пруссия, если она с незатронутыми, свежими силами своей казны, своих вспомогательных источников, своих солдат выступит на помощь».

Эбердин, Пальмерстон, Кларендон могли бы принять это предложение за нахальное издевательство, если бы они не знали Фридриха-Вильгельма. Они просят у короля помощи против Николая,— и Фридрих-Вильгельм готов им оказать помощь, но с небольшим условием: чтобы они начали войну не против

Николая, а против Наполеона III, с которым они только что заключили союз для нападения на Николая! Если английское правительство окажет Фридриху-Вильгельму эту любезность и совершит предлагаемую им перестановку, то пусть смело рассчитывает на Пруссию... Эти инструкции опубликованы были впервые лишь в 1930 г. [34], ознакомившись с ними, историк подвергается искушению окончательно принять версию, согласно которой монарх начал сходить с ума не в 1857 г., как утверждали медики, а несколько раньше.

При дворе Фридриха-Вильгельма продолжали бороться две партии: русская и антирусская. Первая была сильнее, и первый министр фон Мантейфель очень к ней склонялся. Вторая располагала большими симпатиями не только среди буржуазии, но и дворянства, и значительная часть высшей бюрократии, например, почти сплошь была враждебна Николаю. И в ближайшем окружении короля были люди, которые, при всем своем консерватизме, тяготились давно опекой и высокомерием царя и решительно склонны были оказать дипломатическую поддержку союзникам. Во главе их стоял родной брат короля (и его наследник) принц прусский Вильгельм, впоследствии прусский король и император германский. И эта антирусская партия не хотела войны с Россией, но ни в каком случае не желала также оказывать давление (в пользу Николая) на Австрию или государства Германского союза. А царю только это и нужно было от Пруссии. И этого он так до конца и не добился — и не мог добиться. Унизив Пруссию в Ольмюце в 1850 г. так, как он ее унизил (и именно унизил в пользу и к торжеству Австрии), Николай не должен был и рассчитывать, что даже в ближайшем окружении короля он найдет теперь большую поддержку, и он, по-видимому, сам сознавал это. На «измену» Пруссии он гневался несравненно меньше, чем на «измену» Австрии.

Но не так-то легко было прусскому правительству отвязаться от самых настойчивых и непрерывных подталкиваний и домогательств со стороны английского кабинета. Это стремление во чтобы то ни стало втравить Пруссию в войну нашло, наконец, гораздо более решительный отпор не в Берлине, а во Франкфурте со стороны начинавшего тогда свою дипломатическую карьеру Бисмарка, состоявшего прусским делегатом во франкфуртском сейме. Бисмарк ясно видел, что сама-то Пруссия может при этом все проиграть и даже в лучшем случае ничего не выиграть. Он решил начистоту объясниться с очень старавшимся его распропагандировать английским представителем во Франкфурте сэром Александром Мэлетом. Интереснейший документ, в котором Мэлет излагает свой разговор с Бисмарком, впервые найден и напечатан полностью в 1937 г. в уже назван-

ной книге Файт Валентина, в приложениях. Это донесение бросает яркий свет на позицию Пруссии в начале войны [35]. Бисмарк жаловался на поведение английской прессы, на прямые угрозы, которые решаются пускать в ход разные лица, ему известные, имена их он может даже назвать. Пруссии грозят, что если она не объявит войны России, то Франция нападет на прусские рейнские провинции, англичане объявят Пруссии морскую блокаду и произведут высадку на ее северных берегах. Если бы под влиянием подобных угроз, сказал Бисмарк, Пруссия уступила, то «с самостоятельным существованием Пруссии было бы покончено». Бисмарк прибавил: «... что касается меня лично, то я предпочел бы скорее быть сожженным живьем в последней померанской деревушке, чем уступить такому постыдному способу, который пускается в ход, чтобы получить нашу помощь». Англичанин сваливал вину на неумеренный тон безответственной английской прессы, но Бисмарк упорно стоял на своем, указывая, что дело вовсе не только в прессе, но и в заявлениях официальных лиц («в других областях» и помимо прессы). Сэр Александр Мэлет ответил, что лица, на которых намекает Бисмарк, переусердствовали. В конце разговора Бисмарк сказал: «Ни в коем случае мы не станем союзниками России, но брать на себя риск и издержки по войне с Российской империей — совсем иное дело, особенно, если правильно взвесить возможные выгоды для Пруссии даже в случае успешного исхода подобной войны» [36].

Английское правительство, получив подобные донесения сэра Александра Мэлета об этой неприятной беседе с Бисмарком, сообразило, что дело зашло слишком уж далеко. Лорд Кларендон в письме от 8 апреля 1854 г. предложил Мэлету уверить Бисмарка в том, что британский кабинет не может отвечать за выходки прессы, а также указать Бисмарку, что английскому правительству совсем ничего не известно о лицах, пускавших в ход угрозы против Пруссии. Само же оно, английское правительство, ни в чем подобном неповинно. Но вместе с тем Кларендон тут же прибавляет, что, отказываясь объявить России войну, Пруссия, быть может, слишком поздно убедится, что этим своим решением прусское правительство расширяет театр военных действий, затягивает войну и благоприятствует делу революции [37]. Каким образом нейтралитет Пруссии «расширяет» сферу военных действий и причем тут «революция»,— осталось неясным.

Ни французское, ни британское правительства не скрывали от себя, что, пока дело остановилось лишь на стадии разрыва их дипломатических отношений с Россией, король Фридрих-Вильгельм уже во всяком случае не сделает никаких сколько-нибудь решительных шагов против Николая и что даже Франц-

Иосиф и граф Буоль не знают, насколько им безопасно слишком компрометировать Австрию в глазах царя.

Решено было не ждать и ускорить объявление России войны.

4

Оставались дипломатические формальности. Разрыв дипломатических отношений еще не равносилен объявлению войны. И Эбердин и Наполеон III желали бы, конечно, чтобы это объявление войны взял на себя Николай. Но царь, отозвав своих послов из Парижа и Лондона и простившись с Кастельбажаком и Сеймуром в Петербурге,— молчал.

Тогда 2 марта последовал со стороны Англии (в форме письма лорда Кларендона к Нессельроде), а 3 марта со стороны Франции ультиматум. Обе державы, как сообщал об этом канцлеру Нессельроде лорд Кларендон, предлагали русскому императору эвакуировать Молдавию и Валахию в двухмесячный срок, угрожая в случае отрицательного ответа войной.

Послов обеих держав уже не было в Петербурге, но консулы еще оставались. Нессельроде пригласил в министерство английского и французского консулов и объявил им для передачи их правительствам, что содержание писем обоих правительств «слишком неприлично и слишком оскорбительно для чести и достоинства России», а поэтому никакого ответа им дано не будет.

Немедленно царь распорядился ускорить подготовку к переправе русских войск через Дунай.

15 (27) марта 1854 г. в палате лордов и в палате общин было заслушано послание королевы Виктории о том, что она решила объявить войну русскому императору для защиты своего союзника султана от ничем не вызванной агрессии. Так был сформулирован документ.

31 марта вечером в обеих палатах парламента началось обсуждение ответного адреса королеве.

Первым выступил в палате лордов статс-секретарь по иностранным делам лорд Кларендон. В длинной речи он доказывал неискоренимое ничем миролюбие правительства ее величества и единственным виновником войны признавал Николая. Если бы Турция согласилась на все то, что требовал царь,— она бы умерла от медленного яда; если бы она отказалась и ей не пришли бы на помощь Англия и Франция,— она умерла бы от быстро нанесенного удара. И если бы это случилось, то русский царь настолько усилился бы, что «не одна страна Западной Европы подверглась бы участи Польши».

Лорд Кларендон мог теперь уже вполне оправдать доверие Пальмерстона, не страшась получить выговор от премьера Эбердина за излишнюю поспешность. И он впервые громогласно

от имени правительства изложил главную идею Пальмерстона и именно в тех тонах, которые очень свойственны были Пальмерстону (и нисколько не были свойственны самому Кларендону).

Поднялся лорд Дерби, вождь консервативной оппозиции против коалиционного кабинета, возглавляемого консерватором Эбердином. Дерби начал с того, что он признает войну, объявленную Николаю, законной и будет поддерживать правительство. Но затем подверг политику кабинета жестокой критике. Прежде всего он указал, что война против России будет очень трудной, очень долгой войной и что очень вредно затушевывать этот факт. Этой тяжкой войны, которую сейчас, 31 марта 1854 г., Дерби считает неизбежной и законной, очень легко было, по его мнению, избежать. И тут Дерби прямо стал обвинять главу кабинета лорда Эбердина в провоцировании войны, правда, бессознательном. Вина Эбердина была велика уже в 1844 г., когда Николай приезжал в Англию. «Два или три министра» тогда разговаривали с царем о Турции, и из них только благородный лорд (т. е. Эбердин) остался в живых сейчас. Почему же благородный лорд именно так разговаривал тогда с царем, что потом русский посол Бруннов уже в 1852 г. мог ссылаться на неофициальное изложение этого разговора? Не поощрил ли Эбердин царя к его заявлениям и доверительным сообщениям, на которые царь снова решился в начале 1853 г., когда Эбердин был опять у власти, как и в 1844 г., да еще в качестве первого министра на этот раз? Царь ведь и в 1844 и в 1853 г. стремился разделить Турцию между Россией и Англией. Мало того, Дерби спрашивает: когда Гамильтон Сеймур, передавая один из разговоров с царем (разговор от 6 февраля 1853 г.), сообщил, что царь считает своей религиозной обязанностью «покровительство нескольким миллионам христиан, живущим в Турции» (слова царя),— то что на это ответили британские министры? Лорд Россел (бывший тогда министром иностранных дел в кабинете Эбердина) ответил отказом. Таким же отказом было встречено и заявление царя Гамильтону Сеймуру: «Теперь я хочу говорить с вами как друг и как джентльмен; если нам удастся прийти к соглашению относительно этого дела, Англии и мне,— то остальное для меня не важно, мне безразлично, что сделают другие (pour le reste peu m'importe, il m'est indifférent ce que font les autres)». Лорд Дерби, приведя эти слова Николая в подлинном французском тексте, настаивает, что в самом ответе, который Россел от имени кабинета дал на эти предложения, содержалась важная ошибка: Россел, отказываясь от участия Англии в дележе Турции, в то же время ничуть не протестовал против претензии царя на покровительство православным христианам во владениях султана, т. е. допускал то, «против чего

мы теперь воюем». Дерби напал на лорда Эбердина, укорял его в том, что он вовремя недостаточно ясно и энергично противился шагам царя против Турции, например, переходу войск через реку Прут и вторжению в Молдавию и Валахию.

Дерби прямо заявил: «Какие бы вины мы ни нашли за русским императором, а я тут выступаю не в качестве защитника его политики,— я не думаю, чтобы мы имели какое-либо право сказать, что он умышленно обманывал Англию. Напротив, беспристрастно, я думаю, что русский император имеет гораздо больше причин утверждать, что он введен в заблуждение поведением британского правительства»...

В ответной речи глава правительства лорд Эбердин занял такую позицию. Да, он виноват, что «надеялся против всякой надежды», что он делал все зависящее, чтобы спасти Англию от тяжкой войны. Он разделяет вину с покойниками Робертом Пилем и герцогом Веллингтоном, которые тоже вели с царем разговоры в 1844 г., и он, Эбердин, так же как Веллингтон, всегда хотел союза с Россией, хотя теперешнюю войну считает справедливой и необходимой. Но речь Эбердина не убедила лорда Мэмсбери, который побывал в 1852 г. министром иностранных дел в кабинете Дерби и сообщил теперь палате, что не прошло и сорока восьми часов после его назначения на эту должность, как к нему явился русский посол Бруннов и осведомился, прочел ли он уже документ, составленный канцлером Нессельроде в 1844 г. и с тех пор хранившийся в английском министерстве иностранных дел. Этот документ, в котором излагались беседы царя с английскими министрами в 1844 г., должен был, по мнению русской дипломатии, быть руководящим и впредь для английских министров. Ораторы, выступавшие далее, уже не касались этих острых вопросов о том, что́ именно имел в виду лорд Эбердин в 1844 г. и позднее и зачем именно он говорил и делал то, что он говорил и делал.

Прения об ответном адресе королеве развертывались в палате общин в тот же день, как и в палате лордов, 31 марта 1854 г. Здесь характер речей был почти тот же. Нападали на доверительные разговоры царя с Эбердином в 1844 г., порицали (речь Лэйарда) слишком скрупулезное и вредное соблюдение секрета относительно разговоров царя с Гамильтоном Сеймуром о разделе Турции в начале 1853 г. Никаких обязательств соблюдать секрет британское правительство не должно было никогда брать на себя.

Лэйард укорял Кларендона, сменившего в феврале 1853 г. на посту министра иностранных дел лорда Россела, что он совсем не так отвечал на последующие сообщения Гамильтона Сеймура, как лорд Джон Россел отвечал на сообщение о первом разговоре. Россел ответил прямым отказом. Но Николай

продолжал ведь свои беседы с Сеймуром, и Сеймур писал в Лондон: «Вы имеете дело с горящими угольями, ради бога, дайте мне инструкцию, чтобы я прекратил эти дискуссии; не допускайте их продолжения ни на минуту больше, чем это абсолютно необходимо». А как на этот отчаянный призыв Гамильтона Сеймура ответил Кларендон (под прямым влиянием Эбердина, как это явствует из всей нашей документации о разговорах Эбердина с Брунновым)?— «Хотя правительство ее величества чувствует себя вынужденным присоединиться к положениям, изложенным в депеше лорда Джона Россела от 9 февраля, но оно с радостью соглашается с желанием императора, чтобы этот предмет и дальше был подвергнут откровенному обсуждению».

Ясно, конечно, что Николай имел право выразить (что он и сделал) свое полное удовлетворение подобным ответом. Этот очень ловкий ответ одновременно будто бы повторял отказ Россела и определенно провоцировал царя па дальнейшие опаснейшие откровенности и еще более опасные действия. Лэйард тут же вспомнил, что в «Таймсе» (а ведь все знали, что это — орган Эбердина) *именно в феврале и марте 1853 г., т. е. как раз когда* Меншиков в Константинополе терроризировал султана, появился *ряд статей,* указывавших, что пришло время расчленить Оттоманскую империю. При напряженном внимании палат («слушайте, слушайте!» — стр. 236 стенографического отчета) Лэйард сказал (и тут же доказал чтением вслух многочисленных выдержек из «Таймса»), что в этих статьях иногда *почти дословно* говорилось об упадке Турции и невозможности ее дальнейшего существования в Европе,— то самое, что говорил об этом Гамильтону Сеймуру Николай и что стало известным полностью лишь теперь, в марте 1854 г. Что же должен был думать барон Бруннов, что должен был думать сам царь, видя такое полное совпадение своих взглядов с взглядами «Таймса», не рядовой газеты, а органа главы британского правительства, лорда Эбердина? [38]

Лэйард мог бы всеми этими разоблачениями низвергнуть кабинет Эбердина, если бы, по существу, большинство парламента в самом деле считало, что «неловкости» ввергли Англию в нежелательную правящим классам войну. Но ведь этого не было, война начиналась при хороших предзнаменованиях, французская армия брала на себя заведомо четыре пятых, если не все девять десятых труда... Победителя не судят, а кабинет Эбердина в дипломатическом смысле уже был победителем. Говорили после Лэйарда еще несколько ораторов, в том числе Джон Брайт, друг Кобдена, ранний буржуазный пацифист (тогда еще этот термин не был в ходу), говорил и маркиз Грэнби. Оба опровергали утверждение, что русский император является единственным виновником начинающейся войны.

Но вот палата замерла в ожидании. Слово взял министр внутренних дел лорд Пальмерстон. Это был один из торжественных моментов его долгого и бурного парламентского существования. С 1830 г. он то в министерстве, то в оппозиции работал над подготовкой такого столкновения на Востоке, когда у Англии был бы сильный и надежный союзник, без которого воевать против России Англия не могла. Теперь все это было налицо. Пальмерстон в самых решительных тонах приписывал всю вину в войне русской агрессии; замысел царя — полное покорение Турции — мог, по его мнению, быть остановлен только упорной войной. Он громил Джона Брайта за то, что Брайт «сводит все к вопросу о фунтах, шиллингах и пенсах» [39].

Пальмерстон, таким образом, сразу же ставил, как и его ученик Кларендон в палате лордов, несравненно более грандиозные цели начинающейся войне: дело должно идти о полном поражении России и утрате ею военного могущества. О всех зигзагах своей политики Пальмерстон умалчивал.

После Пальмерстона говорил Дизраэли, резко нападавший на Эбердина, и Джон Россел, защищавший премьера, который, впрочем, в этот день хоть и подвергся одновременно жестокой критике и в палате лордов и в палате общин, но ни малейшего волнения не обнаруживал.

Правительство Эбердина одержало полную и безусловную парламентскую победу: ответный адрес королеве был вотирован именно в тех выражениях, которые были угодны правительству. Правительство было уже наперед вполне уверено в этой парламентской победе. Дипломатическая игра была в первой стадии, наиболее важной и критической, выиграна, и каждый из них поработал достаточно в принятой на себя особой роли в этой игре.

В Париже все формальности были проделаны еще быстрее, чем в Лондоне.

Одновременно с посланием королевы Виктории к парламенту появилось послание императора Наполеона III к французскому сенату, возвещавшее об объявлении войны Николаю. Мотивировка в обоих документах была одна и та же: необходимость, которую ощутили королева и император, защищать неприкосновенность Турции от русской агрессии. Любопытно, что Наполеон III, точь-в-точь как его петербургский противник, счел уместным придать начинающейся войне некий религиозный характер. Николай призывал защищать веру православную, а Наполеон III — правда, не самолично, а через монсеньора Доминика Огюста Сибура, архиепископа парижского, звал своих верноподданных начать крестовый поход против восточной ереси. Монсеньор Сибур воодушевленно разъяснил своей пастве, что дело идет о сокрушении и обуздании ереси Фотия,

того константинопольского патриарха, который ровно за тысячу лет, в IX в., был якобы причиной отделения православной церкви от католической: «Война Франции против России, ныне начинающаяся, это не политическая, а *священная* война, не война одного государства против другого, одной нации против другой, но исключительно религиозная война». Дальше архиепископ парижский уточняет, что официально выставленная причина к войне — защита Турции — это лишь внешний предлог, а истинная причина, «причина святая, угодная господу, заключается в том, чтобы изгнать, обуздать, подавить ересь Фотия (т. е. православие — *Е. Т.*), это — цель нынешнего нового крестового похода». И архиепископ, чувствуя, по-видимому, что это крайне смелое историческое открытие требует все-таки кое-каких пояснений, с ударением подчеркивает, что ведь и в прежних средневековых крестовых походах цель была священная, религиозная, а внешние предлоги выставлялись иные. О внешних предлогах, естественно, Сибуру трудно было говорить подробнее. В самом деле, получилась очевидная неувязка. Его величество император французов говорит, что идет защищать магометан, а на самом деле, оказывается, война эта священная, истинно-христианская. Сразу сообразить и охватить это нехитрому уму паствы, пожалуй, без пояснений было бы не под силу. По толкованию Сибура и всего подчиненного ему духовенства выходило, что не Наполеон III собирается защищать султана Абдул-Меджида против русских, но султан Абдул-Меджид будет помогать благочестивому императору французов в предпринятом святом деле искоренения православной ереси и что вся война затеяна Наполеоном III с единственной целью, наконец, исправить, правда, со значительным опозданием в тысячу лет,— лучше поздно, чем никогда,— зло, причиненное единоспасающей католической церкви еще в IX столетии предосудительным поведением покойного патриарха Фотия.

Говорить такие вещи в Париже после Вольтера, после энциклопедистов, после трех революций и говорить с твердой уверенностью в том, что ниоткуда не последует указания на всю вызывающую, дикую бессмыслицу подобных объяснений, можно было вполне спокойно только в царившей тогда во Французской империи политической обстановке, при полнейшем безмолвии прессы, подавленности всякой сколько-нибудь независимой мысли и ничем не ограниченном торжестве удушающей политической и клерикальной реакции.

Необыкновенно характерно было то, что верховный глава католической церкви сам папа Пий IX продолжал и в 1854 г., как и в предшествующие годы, когда еще шел спор о «святых местах», совершенно равнодушно относиться к этим попыткам снабдить дипломатические маневры императора Наполеона III

неким религиозным ореолом. А Сибур, архиепископ парижский, в данном случае действовал именно только как исправный чиновник императорского французского правительства. Папа Пий IX относился и лично к Сибуру вообще очень неприязненно и демонстративно несколько раз это высказывал. Конечно, размышления парижского архиепископа о том, что Наполеон III предпринимает *крестовый поход* (une croisade) и *священную войну* против царя во имя борьбы для уничтожения нечестивой восточной ереси, были вполне аналогичны фразам из манифеста Николая I: «Итак, против России, сражающейся за православие, рядом с врагами христианства становятся Англия и Франция... ...Но Россия не изменит святому своему призванию... Господь наш! Избавитель наш! Кого убоимся? Да воскреснет бог и да расточатся врази его!» Сравнительно со всеми елейно-лживыми излияниями французского архиепископа, вспомоществуемого французским императором, и русского императора, одобряемого святейшим синодом, английское объявление войны, исходившее от королевы, и даже речи ее министров в парламенте могут показаться еще скромными и сдержанно-корректными. Никакого вздора о крестовом походе против какой-либо церковной ереси и о священной войне в защиту какой-либо веры, ни вообще о том, что эта война есть война религиозная, англичане не несли. Они довольствовались тем, что по мере сил провоцировали и ускорили наступление выгодной для них, как это тогда многим казалось, войны и удачно для себя организовали дипломатическую обстановку в ее начальной фазе. Их построение и в названном документе от королевы и в речах в парламенте было, так сказать, обычно в дипломатии, шаблонного образца и состояло в том, что свои своекорыстные цели они прикрывали казенными фразами о необходимости «защищать» Турцию. Это не имело все же такого истинно карикатурного вида, как мниморелигиозные мотивы, подсказываемые дипломатическими канцеляриями в Париже и Петербурге.

Глава XI

ОСАДА СИЛИСТРИИ И КОНЕЦ ДУНАЙСКОЙ КАМПАНИИ

1

После перехода через Дунай важнейшим объектом военных операций неминуемо должна была сделаться Силистрия. Не взяв этой крепости, русская армия не только не могла двигаться дальше, но не могла даже делать сколь-нибудь существенных и могущих влиять на неприятеля демонстраций наступательного характера. Обладание Силистрией гарантировало русским обладание (и прочное обладание) Валахией. И еще не зная, конечно, аналогичных суждений и позднейших оценок генеральных штабов Франции, Англии и Австрии, Фридрих Энгельс писал, что для русских Силистрия явилась бы выигрышем, а оттеснение от Силистрии почти проигрышем кампании. И казалось, что участь Силистрии предрешена, потому что в марте, когда русская армия перешла через Дунай, ни одного француза и ни одного англичанина еще в Варне не было, а Омер-паша, стоявший в Шумле, страшился встречи с неприятелем. Крепость же не могла держаться без выручки извне. И тут тоже Энгельс наиболее ясно и категорично определил создавшееся положение: «Либо Силистрия будет предоставлена своей судьбе — тогда ее падение есть факт, достоверность которого может быть математически высчитана, либо союзники придут ей на помощь — тогда произойдет решающее сражение, ибо русские не могут, не деморализовав тем самым свою армию и не утратив своего престижа, отступить без боя из-под Силистрии — впрочем, они, кажется, и не собираются этого делать» [1]. Энгельс неспроста решил, что русские не собираются отступить из-под Силистрии: он хорошо знал историю этой крепости, прекрасно изучил роль генерала Шильдера, взявшего Силистрию своими минными операциями в 1829 г. [2], знал, что этот самый Шильдер и теперь, в 1854 г., находится под стенами Силистрии и руководит всей инженерной частью, и, учитывая все это, Энгельс делал совершенно логический вывод о том, что русские не отступят. Но

было нечто, тайно разъедавшее и подкашивавшее всякую волю и уничтожавшее всякую возможность быстрых решений у русского главного командования и опровергавшее самые логически-непогрешимые предвидения. Дело было в том, что Паскевич продолжал ту самую линию, которую вел с лета 1853 г. и о которой незачем много распространяться. С момента заключения австро-прусской конвенции (которую он давно считал неизбежной) фельдмаршал стремился особенно упорно лишь к одному: как можно скорее увести армию за реку Прут, кончить Дунайскую кампанию, пока не выступила Австрия, а за ней Пруссия и весь Германский союз. Мы видели, что как раз к моменту перехода через Дунай Горчаков получил опоздавший приказ Паскевича воздержаться от перехода. Русские войска, очутившиеся на правом берегу Дуная в середине марта, должны были, не теряя момента, покончить с Силистрией до прибытия союзной сухопутной армии. Издали лондонской прессе могло казаться, что Паскевич *торопится* взять Силистрию, но в Лондоне тогда не знали истинной роли Паскевича. Торопились другие, а он мешал, потому что вовсе не хотел брать Силистрию. Энгельс недоумевал, как «генерал Шильдер, знаменитый по 1829 году», обещает уничтожить Силистрию своими неизменными минами, «и к тому же в несколько дней», тогда как мины против полевого укрепления являются «выражением крайнего военного отчаяния, невежественной ярости» [3]. Но Шильдер с момента своего появления в январе и вплоть до своей гибели в июне не переставал безуспешно бороться против Паскевича и его помощника Горчакова — и в самом деле говорил часто многое несуразное и фантастическое (вроде этого обещания взять Силистрию минами в несколько дней) только затем, чтобы предотвратить то, чего он страшился больше всего: приказ об отступлении от Силистрии.

«Паскевич перед Силистрией ничего не хотел, ничем не командовал, ничего не приказывал, он не хотел брать Силистрию, он вообще ничего не хотел»,— пишут наблюдатели. Дошло до того, что его ближайшее окружение ломало себе голову, каким бы способом удалить его из Дунайской армии. «Все в Петербурге знали, как обстоит дело с Паскевичем, все, кроме только одного императора Николая, ему никто не осмеливался это сказать, потому что такие истины он принимал плохо» [4].

Паскевич всячески желал натолкнуть царя на мысль об отозвании русской армии из княжеств. Но царь отказывался понять все менее и менее скрываемое желание фельдмаршала. А осуществить свое желание собственной властью Паскевич не решался; и еще меньше Паскевича мог осмелиться сделать это князь Горчаков, хотя Горчакову уже давно, по-видимому, было ясно, что таит в своем уме фельдмаршал. Но военная

машина, раз пущенная в ход и не остановленная, продолжала действовать, и логика войны повелевала тотчас после перехода через Дунай направить все усилия против Силистрии. Осадные работы начались 24 марта 1854 г., и этот день официально и считается первым днем осады. В бумагах Хрулева хранится рукописный «Журнал осадных работ» против крепости Силистрии, начинающийся 24 марта и доведенный до 30 апреля [5]. Работы под верховным начальством Шильдера начал генерал Хрулев. Над устройством траншей работали и войска, пришедшие из Калараша, и местные крестьяне, нанимаемые военным начальством. Работа по установке батарей, по наведению понтонного моста (состоявшего из 26 парусных понтонов) через речку Борчио и другие работы шли сначала очень быстро и энергично. В течение первых же восьми дней было воздвигнуто 14 батарей, прикрытых толстыми эполементами (в 10 аршин толщиной). Эти эполементы были сделаны по особым, впервые составленным самим Шильдером планам. Солдаты, читаем в нашей рукописи, работали «с необыкновенным усердием»: им все еще продолжало казаться, что теперь, после перехода через Дунай, война пойдет всерьез, а не так, как она велась в дни Ольтеницы и Четати, в октябре — декабре 1853 г. 1 апреля в осадном лагере появился сам Шильдер, не только горевший желанием взять Силистрию, но и убежденный, что если фельдмаршал не будет мешать ему и Хрулеву, то крепость непременно — и довольно скоро — будет взята. Саперные работы закипели с удвоенной энергией. Перестрелка осаждающих с крепостью в первое время не была очень оживленной. Русские были поглощены своими саперными работами, турецкий же гарнизон к большой боевой инициативе ни склонности не имел, ни способностей не проявлял, хотя храбрость и стойкость его не подлежала никакому сомнению. По Дунаю к осадному лагерю подходили канонерские лодки, 8(20) апреля прибыл пароход «Прут», подвозились, выгружались и устанавливались в траншеях орудия. С 10 апреля русские орудия начали уже довольно энергично обстрел Силистрии. Паскевич дал знать Шильдеру, что он 8 (20) апреля прибудет к Силистрии, а «до прибытия его светлости ничего наступательного не предпринимать». Одновременно фельдмаршал велел доставить под Силистрию к 15 (27) апреля корпус генерала Лидерса — по правому берегу Дуная и три полка 8-й дивизии с двумя отделениями осадных орудий — по левому берегу. К 16 апреля навести постоянный мост ниже Силистрии [6].

Шильдер воспрянул было духом и сейчас же раздобыл для потребностей подходившей к осадному лагерю кавалерии и артиллерии $3^1/_2$ тысячи четвертей фуража. «Вот как мы платим за обиды и стеснения по делам Силистрийским!» — пишет обрадованный и готовый все простить Шильдер [7].

Но вот 12 (24) апреля в русский лагерь под Силистрией прибыл сам князь Паскевич с большой свитой, в которой находился и князь М. Д. Горчаков. Фельдмаршал осмотрел работы — и отбыл. А на другой день последовал ряд приказов, подписанных, как полагалось по военному уставу, непосредственным начальником, т. е. Шильдером, но стоящих в вопиющем противоречии со всем тем, что все время делали Шильдер с Хрулевым: убрать прочь фуры «с инструментом» и отправить их в Урзечени; убрать прочь пять карлашей (особых плотов), оставить только два; снятые только что с канонерских лодок орудия уложить обратно на эти лодки; пароход «Прут» отправить прочь в Гуро-Яломицу; уланский полк (прибытию которого так радовался Шильдер) отправить прочь от Силистрии, на прежние квартиры, а под Силистрией оставить из него лишь два эскадрона: 7-й и 8-й. Оставить на батареях и в лагере легких пеших орудий 12, батарейных — 6, конных — 2, осадных — 3, и только. А остальную артиллерию, 6 батарейных орудий, 6 конных орудий и 1 мортиру — увезти из лагеря в Калараш и держать их в Калараше. Иными словами — все эти приказы, посыпавшиеся на другой день после посещения лагеря Паскевичем, сильно ослабляли и подрывали проделанную до тех пор работу. Самое убийственное распоряжение (потому что оно способно было подавить в солдате всякую веру в победу) было сформулировано так: «В случае если прикажут оставить батареи, срыть стулья амбразур, дабы турки не узнали секрет новой методы построения наших батарей». Но почему предвидеть уже наперед поражение и отступление? Как заставить саперов работать с прежним воодушевлением над укреплениями, которые начальство прикажет, может быть, завтра им самим же срывать и уходить?

Старик Шильдер не мог и не хотел это понять, и в нем клокотало бешенство, которое он сдерживал еще при Паскевиче, но не очень сдерживал при Горчакове. С конца марта и в начале апреля (ст. ст.) Шильдер начинает деятельнейшим образом собирать силы и средства для осады Силистрии, инженерные отряды, артиллерию, «самые сильные паромы, которые должны идти по Дунаю навстречу русским канонерским лодкам и вооружаться, снимая с них по два орудия» [8]. Силой вещей, пока определенно не было приказано снять осаду, все-таки дело делалось. Шильдеру удалось постепенно в течение всей второй половины апреля подтянуть снова к Силистрии и орудия и военные части и ликвидировать последствия визита фельдмаршала. Вернули пароход «Прут», заменили увезенные орудия другими. Дело облегчилось тем, что все-таки посредствующим звеном оставался Горчаков, который сам-то очень хотел взятия Силистрии и в отсутствие фельдмаршала делал, по настояниям

Шильдера, часто распоряжения, которые были нужны для взятия крепости, а не для подготовки к снятию осады. Князь Михаил Дмитриевич упования свои возлагал при этом на то, что Паскевичу издалека многое не видно, и, авось, он не разберется хорошенько, что такое делает и какие приказы в Бухаресте пишет под шумок его верный помощник. В лагерь явился полковник Тотлебен. Звезда его тогда еще не взошла, но и сослуживцы и начальство знали, что ему можно и должно поручать самые трудные и ответственные работы. Он наводил мосты от правого берега Дуная, где был осадный лагерь, к островкам на Дунае, откуда удобно было обстреливать турецкую крепость и флотилию. 29 апреля начался интенсивный обстрел турецкой крепости и с островков, и из лагерных траншей, и с трех канонерских лодок. Турки отвечали, но русский огонь все усиливался, и они принуждены были покинуть свой «передовой лагерь», бросив два орудия. Турки стреляли не только из орудий, у них оказались отряды, вооруженные штуцерами. Во второй половине апреля Хрулев продолжает настаивать и на полной возможности и на решительной необходимости занять оба острова, лежащие около Ольтеницы (Большой Кичу и Малый Кичу). Это дало бы возможность угрожать Туртукаю и дальше прервать сообщение между осаждаемой Силистрией и Рущуком и отвлечь часть неприятельских сил от Силистрии [9]. И прежде всего это прочно обеспечило бы Ольтеницу (на левом берегу Дуная) от внезапных нападений со стороны турок.

В конце концов Хрулев, не ожидая распоряжений начальства, самовольно занял оба острова. Турки бежали в смятении.

Хрулева покрывал своим авторитетом и своим высоким положением его прямой начальник генерал-адъютант Шильдер. Но самого-то Шильдера никто не покрывал. Со всемогущим фельдмаршалом самому Шильдеру, не говоря уже о Хрулеве, разговаривать было несравненно труднее, чем с князем Горчаковым. И вот продолжается и углубляется эта силистрийская драма, которая состоит даже не в *конфликте* между Шильдером и сочувствующей ему частью командного состава, с одной стороны, и Паскевичем — с другой стороны: как можно назвать *«конфликтом»* то положение, когда один приказывает, а другой стоит навытяжку и повинуется и, только уйдя к себе, скрежещет зубами от бессильной ярости?

Зато крайне облегчилось, при появлении Паскевича в Бухаресте, положение Горчакова: он сразу же надел старый, привычный хомут, который проносил десятки лет в Варшаве. Он сделался как бы главой канцелярии, дело которого — маленькое: передавать повеления начальника по соответствующим адресам.

Вот карандашная записка Шильдера Хрулеву. Только что получен один из очередных приказов фельдмаршала, клонив-

шихся не к усилению, а к замедлению и ослаблению осадных работ под Силистрией. Шильдер наскоро пишет Хрулеву, отдавая от себя ряд контрприказов, очень похожих на то, как, например, честный подчиненный старается по мере сил бороться с вредительством со стороны начальника,— вредительством очевидным, но совершенно необъяснимым: «Чтобы не расстроить отлично устроенные дела под Силистрией, я делаю следующие распоряжения»... И дальше идут спешные приказы Хрулеву о подтягивании к Силистрии новых отрядов (в полнейшем сочувствии Хрулева Шильдер был вполне уверен). Обезвредив по мере сил распоряжение Паскевича, Шильдер, приписывает характерные строки: «Прилагаю записку князя, из которой усмотрите, что это его (тут Шильдер ставит карандашом несколько точек: очевидно, затрудняется выразить на бумаге переполнявшее его чувство к Паскевичу — *Е. Т.*)... требование основано только на фальшивом взгляде и высоком мнении о мудрых его распоряжениях» [10].

2

Очень скоро после приезда своего к армии Паскевич приказал (внезапно) русским войскам очистить Малую Валахию и отступить к Крайову. «Демократы и туркоманы повеселели»,— сообщает очевидец 23 апреля 1854 г. о настроениях в покидаемой Малой Валахии. Но очень встревожились зато все члены учрежденного русской властью местного «административного совета». Члены этого совета выразили Паскевичу неудовольствие по поводу оставления этой области на произвол туркам. «Светлейший, выслушав эту претензию, быть может и не успокоил членов совета, но внушил этим господам некоторое понятие о дисциплине, сказав им, во-первых, коротко и ясно, что они дураки, а во-вторых, что не их дело назначать расположение войск и что если он, светлейший, найдет за нужное (sic — *Е. Т.*), то без выстрела отступит из Бухареста» [11]. Таково свидетельство очевидца. Паскевича раздражало с самого начала, что его заставляют проделывать эту, по его мнению, бесполезную стратегически и опасную политически Дунайскую кампанию. И он на валашских боярах сорвал гнев, который принужден был таить в себе, когда объяснялся с самодержцем, пославшим его сюда. С ним, осторожным, замкнутым, выдержанным человеком, это случалось не часто.

Дунай еще не разлился, и Шильдер пишет (в конце апреля) рапорт Горчакову с покорнейшей просьбой исходатайствовать у фельдмаршала, чтобы он не убирал полк, который распорядился увести из-под осажденной крепости, чтобы приказано было также Лидерсу более поспешными темпами идти к Сили-

стрии. Шильдер ручается, что может овладеть Силистрией в *несколько суток,* даже без штурма: русской артиллерией «вся горжевая и внутренняя часть крепости будет неминуемо обращена в общую развалину и пепелище, в котором самый героический гарнизон ни одного часу держаться не может, в особенности если после минных взрывов занять весь вал горжевой части. Смею просить ваше сиятельство уверить его светлость (Паскевича — *Е. Т.*), что за точное исполнение вышеуказанного ручаюсь» [12].

Но Шильдер не соображал, что его сиятельство трусит Паскевича, как только возможно человеку трусить вообще, и ни за что не возьмет на себя этой миссии.

Паскевич, который, как сказано, с самого начала, еще с конца посольства Меншикова, не хотел этой войны, особенно боялся оборота, который она стала принимать весной 1854 г. Он почти убежден был уже после вступления в войну западных держав, что Австрия выступит и что удержаться в Молдавии и Валахии против соединенной армии французов, англичан, турок и австрийцев не будет никакой возможности. В болгар и сербов, в православную ревность балканских народностей, во все эти славянофильские фантазии Паскевич никогда особенно сильно не верил. Последствия полного провала всех надежд Николая на благодарность «спасенной Австрии», на несокрушимую солидарность трех монархических дворов и т. д. Паскевич учитывал несравненно реальнее и пессимистичнее, чем царь, а главное, у него не было ни совершенно неосновательного пренебрежения к турецкой армии и Турецкой империи, ни доверия к Австрии, ни того упоения всемогуществом, от которого весной 1854 г. царь еще далеко не успел избавиться. 15(27) апреля Паскевич направил царю из Бухареста «записку», в которой уже явно давал понять, что не очень надеется взять Силистрию и хотел бы оставить княжества: «благоразумие требовало бы теперь же оставить Дунай и княжества и стать в другой позиции, где мы можем быть так же сильны, как теперь слабы на Дунае». Старый фельдмаршал даже в молодые годы никаких военных авантюр не затевал ни во время войны с Персией, ни во время войны с турками в 1828—1829 гг. Теперь он страшился Австрии и переставал верить даже и Пруссии. Он беспокоился за Польшу, его мучило сознание, что придется защищать чудовищно растянувшуюся линию в тысячу сто верст, от Замостья до Бухареста, и защищать против могущественной коалиции.

И он, наконец, решился. 22 апреля (4 мая) 1854 г. Паскевич написал царю вполне откровенное письмо. «Княжества мы занимать не можем, если австрийцы с 60 000 появятся у нас в тылу. Мы должны будем тогда их оставить *по принуждению* (подчеркнуто Паскевичем — *Е. Т.*), имея на плечах сто тысяч

французов и турков. На болгар надежды не много. Между Балканами и Дунаем болгары угнетенные и невооруженные; они, как негры, привыкли к рабству. В Балканах и далее, как говорят, они самостоятельнее; но между ними нет единства и мало оружия. Чтобы соединить и вооружить их, надобно время и наше там присутствие. От сербов при нынешнем князе ожидать нечего, можно набрать 2 или 3 тысячи (des corps francs), но не более: а мы раздражим Австрию. В Турции ожидали бунта вследствие нововведений, но до сих пор это не подтверждается». Вывод фельдмаршала: нужно немедленно, не дожидаясь австрийского ультиматума, очистить Дунайские княжества и уйти за реку Прут, «на фланг Галиции», и там выжидать событий. «*Злость* (подчеркнуто Паскевичем — *Е. Т.*) Австрии так велика, что, может быть она объявит новые к нам претензии», несмотря даже на очищение княжеств. Но тогда Пруссия и другие германские государства к Австрии не примкнут [13].

Письма фельдмаршала произвели на Николая самое тяжелое впечатление, которое он и не пытался скрыть. Первое письмо пришло в Петербург 29 апреля, второе — 11 мая. Личное раздражение царя, сквозящее в его ответных письмах, весьма объяснимо. Ведь он не мог не понять того, о чем не пишет, но что подразумевает фельдмаршал. Если теперь, бесплодно протоптавшись целый год в Молдавии и Валахии, приходится оттуда уходить ни с чем, понеся большие потери и истратив миллионы денег, то благодарить за это должно тех руководителей русской дипломатии, которые всю свою восточную политику базировали на трех основах: на сообщничестве с Англией, на предположении о слабости Франции и на полном совпадении («идентичности», как выразился Николай) интересов и устремлений Австрии и России. И если провинциальные усадебные барышни, даже такие, бесспорно, умные, как Вера Сергеевна Аксакова, еще могли искренне негодовать на коварного «изменника» Нессельроде, то не Паскевичу и не царю было хитрить друг с другом. Они-то оба хорошо знали, что Нессельроде и не коварен и не изменник и что вообще винить в чем бы то ни было горемычного канцлера все равно, что обвинять карандаш, которым царь писал на докладах послов свои резолюции. Николай не мог не усмотреть горького упрека в письме фельдмаршала. «С фронта французы и турки, в тылу — австрийцы; окруженные со всех сторон, мы должны будем не отойти, но бежать из княжеств, пробиваться, потерять половину армии и артиллерии, госпитали, магазины. В подобном положении мы были в 1812 году и ушли от французов только потому, что имели перед ними три перехода»,— писал фельдмаршал в приложенной к этому же письму от 22 апреля «всеподданнейшей записке» о положении дел [14]. И даже «не французы,

не англичане и не турки, а австрийцы и пруссаки нам всех опаснее»,— настаивал фельдмаршал. А за этими строками читались беспощадные вопросы: кто вызвал на поле битвы всех этих врагов? Кто безумной неосторожностью доверил свои планы Англии? Кто без тени смысла так долго дразнил Наполеона III и этим облегчал ему в свою очередь успех его собственной провокационной политики? И прежде всего — кто считал очевиднейшей из аксиом гранитно-твердую «дружбу» Австрии и Пруссии и России? Не было и не могло быть ответа на эти вопросы, да и незачем было на них отвечать. Николай знал, что фельдмаршал давно уже сам себе на них ответил.

В ответном письме царя раздражение и обида борются с сознанием, что не от личной трусости Паскевич дает подобные советы и что нельзя все-таки своему гневу давать волю, когда пишешь человеку, никогда панических настроений не проявлявшему и в личной дружбе и преданности которого царь ни разу не имел повода усомниться. Но ощущает ли фельдмаршал такой стыд от готовящегося провала предприятия, какой испытывает ответственный автор? На другой же день помчался фельдъегерь из Зимнего дворца с большим ответным письмом к Паскевичу. «С крайним огорчением и немалым удивлением получил я сегодня утром твое письмо, любезный отец-командир... Тем более оно меня огорчило и поразило, что совершенно противоречит тем справедливым надеждам, которые (ты — *Е. Т.*) во мне вселил... из письма твоего не вижу *ни одной уважительной* причины (подчеркнуто царем — *Е. Т.*) все изменить, все бросить и отказаться от всех положительных решительных выгод, нами не даром приобретенных». Неужели Паскевича напугало появление неприятельских флотов у Одессы? Или появление французского отряда у Кюстенджи? — вопрошает с горечью Николай. «Право стыдно и подумать». Ни французы, ни англичане не могут раньше июня соединиться с Омер-пашой. «И при таких выгодных данных мы все должны бросить *даром, без причины и воротиться со стыдом!!!* (подчеркнуто царем, и ему же принадлежат три восклицательных знака — *Е. Т.*). Мне, право, больно и писать подобное. Из сего ты положительно видишь, что я отнюдь не согласен с твоими странными предложениями, а напротив *требую* (подчеркнуто царем — *Е. Т.*), чтобы ты самым деятельным образом исполнил твой *прежний прекрасный* план (подчеркнуто царем — *Е. Т.*), не давая сбивать себя опасениям, которые ни на чем положительном не основаны. Здесь *стыд и гибель* (подчеркнуто — *Е. Т.*), там честь и слава! А буде австрийцы изменнически напали, разбей их 4-м корпусом и драгунами. Ни слова больше, ничего прибавить не могу». Николай приписывает к письму известие о том, что «отражена» от Одессы попытка союзников напасть на нее.

«Чего не ожидать от таких войск, когда есть решимость! Нет невозможного. Ты так всегда вел дела, меня так учил, и твоих уроков не забыл и не забуду. Теперь ожидаю от тебя, что ты сие вновь докажешь к чести и пользе России и к новым лаврам на твое чело». Больше всего раздражило царя именно второе письмо фельдмаршала (от 22 апреля), полученное в Петербурге спустя двенадцать дней после первого, 11 мая. «Со всею моею откровенностью должен тебе сознаться, что твои мысли *вовсе* (подчеркнуто — *Е. Т.*) не сходны ни с моими убеждениями, ни с моею волею. Предложения твои для меня *постыдны* (подчеркнуто — *Е. Т.)*, и потому я их отнюдь не принимаю, ибо я этого стыда на себя принять не намерен да и считал бы себя преступным пред достоинством России, ежели бы я мог согласиться на подобное. Ты болен, как мне пишешь, и вероятно в пароксизме лихорадки мне написал то, что твоя твердая душа и зоркий ум не поверят, когда ты здоров». Царь снова и снова опровергает известия о близком выступлении Австрии против России. «Пора и нам в свою очередь показать им, что мы их угроз не боимся, а ежели бы и в поле осмелились идти на нас, тогда ты обязан не бежать от них, как изъясняешь, а их разбить, на что у тебя сил достаточно и притом русских свежих сил». Дальше идут обычные для Николая советы такого общего содержания, которое, как всегда в подобных случаях, граничит с бессодержательностью: «Ты теперь под Силистриею,— удобно осадить — осаждай по всем правилам и, собрав что можешь, т. е. 4 дивизии, при 3-х кавалерийских, выжидай, высунется ли Омер-паша с гостями, да разбей, нет — довершай осаду» [15].

Разбей, возьми, победи... эти благие, хоть и очень уж лаконичные советы должны были раздражать старого, больного, павшего духом полководца, который все-таки был, при всех своих недостатках, настоящим боевым генералом и хорошо знал истинную цену подобным лаконичным поощрениям. В конце второго ответного письма (от 11 мая) царь делает, все же, логический вывод из создавшегося между ним и фельдмаршалом полного несоответствия во взглядах. «Надеюсь, что этим — конец *противоречиям,* будущее в руках бога, и я сему покоряюсь, но требую *от тебя* (подчеркнуто — *Е. Т.*), чтобы ты исполнил волю твоего друга и *государя* (подчеркнуто — *Е. Т.*). Ежели силы твои нравственные и телесные делают тебе обузу эту сверх сил, тогда скажи мне откровенно; *командуя всем* (подчеркнуто — *Е. Т.*), твое место быть может там, где за лучшее сочтем, ты не прикован к Дунаю, опасность везде теперь и присутствие твое везде будет полезно».

Впоследствии, уже много времени спустя после смерти Паскевича, его памяти был брошен укор: почему он не ушел тогда, когда у него окрепло твердое убеждение в неминуемом провале

Дунайской кампании? Никакие софизмы о невозможности бросить армию и т. д. не могли иметь над ним силу после того, как Николай, на этот раз вполне логично, предлагал ему уйти с командного поста. Привычка к высшей власти в армии возобладала. Он остался, не только не веря в победу, но решительно убежденный, что кампания проиграна на Дунае безнадежно.

Прошло после этой тягостной переписки всего тридцать пять дней — и Николаю пришлось уступить очевидности. За эти пять недель европейский политический горизонт, непрерывно менявшийся, предстал перед царем в еще более угрожающем виде.

3

Отношения с Австрией ухудшались со дня на день. Чем больше росло раздражение и беспокойство царя, тем чаще он начинал заговаривать о желательности восстаний среди славянских подданных Турции и тем свободнее поэтому становились речи и действия Блудовой, Погодина, Аксаковых.

Николай еще до посылки Меншикова, как мы видели, подумывал о том, чтобы, возбудив восстание балканских славян, нанести Турции удар в тылу, когда русская армия будет идти через Балканы на Константинополь. И уже тогда царский двор избрал Антонину Блудову для связи со славянами и вообще для информации царя по вопросу, можно ли извлечь какую-нибудь пользу из связей славянофилов с болгарами, сербами, черногорцами. В неизданном отрывке из воспоминаний Блудовой рассказывается о встрече фрейлины с наследником престола Александром Николаевичем в начале 1853 г. «Он подал мне руку и спросил: кажется вы дали Якову Ивановичу (Ростовцеву — *Е. Т.*) прочитать записку о восточном вопросе для России и славян? — Я.— Кто ее писал? Я отвечала, что... Попов, бывший в Черногории и хорошо изучивший историю и современный быт славян турецких. Наследник продолжал: я читал эту записку, она замечательна, я разделяю это мнение. Славяне, рано или поздно, будут освобождены или нами, или против нас» [16]. Всю весну вожди славянофилов пребывали в восторженном ожидании. В их искренности сомневаться не приходится.

А со своей стороны и по иным побуждениям придворные льстецы и приспешники, учуяв, что раздражение царя после возвращения Орлова из Вены больше всего направляется против Австрии, делали все зависящее, чтобы забежать вперед и широко развить агитацию в опасном направлении. Эта графиня Блудова, придворная панславистка, с полным одобрением относившаяся и к существованию крепостного права, и к III отделению канцелярии его величества, и ко всей (без изъ-

ятия) тогдашней русской действительности, одним только была весной 1854 г. недовольна: почему медлят объявить Австрии войну? «Настоящую войну будут всеми силами вести в Турции; там наша честь, там наша польза, там все значение борьбы,— и там-то всему мешает Австрия. Не объявляет себя прямо нашим врагом, а держит сильное войско на всей границе и мешает восстанию сербов и других славян, мешает и нам свободно действовать в Валахии, потому что угрожает нашему тылу». При всем ее беспокойном и юрком нраве, при вечной безответственной словоохотливости, при постоянном мелькании при дворе и в салонах, при озабоченной суетливости и возне с сербами и болгарами, которых она мечтала водворить под скипетр Николая, графиня Блудова была человеком, довольно экономно наделенным от природы умственными средствами. Но она, конечно, не сомневалась в обратном, и именно поэтому, нарочно скромничая, выражается так: «По моему темному суждению, т. е. по неразумному *инстинкту*, кажется, лучшая ограда была бы для нас — смелая политика и смелое действие военное идти вперед с воззванием ко всем христианам и оставить лишь один корпус на границе Трансильвании, с тем чтобы, при первом движении Австрии, объявить ей войну и тогда сама собою она распадется, а в Сербию послать лишь одну бригаду артиллерийскую, так сербы сами справятся с австрийцами и турками» [17]. Это все она писала в Москву Погодину, сигнализируя ему о том, чтó царю желательно от него услышать. Погодин, вдохновляясь этими указаниями, стал писать свои «письма», которые доставлялись царю той же Блудовой через наследника или через ее отца, графа Д. Н. Блудова. И Николай благосклонно читал некоторые из этих писем. В Австрии знали об этой придворной агитации, об успехе этой агитации в Зимнем дворце, и раздражение там все усиливалось. Французский посол Буркнэ в Вене, австрийский посол Гюбнер в Париже и сам министр Буоль не переставали указывать Францу-Иосифу на растущую опасность дальнейшего пребывания русской армии на правом берегу Дуная и особенно ее возможного будущего движения на Балканы.

Много толковали о славянской конфедерации под главенством царя. «Много было предложений, представленных и батюшке и наследнику (Александру Николаевичу) через Ростовцева, а Ростовцеву через меня»,— вспоминает графиня [18].

Замечу к слову, что на Льва Толстого эта придворная агитация Антонины Дмитриевны производила отталкивающее впечатление, и он посвятил графине две беглые строки в «Декабристах», где говорит о Крымской войне: «Это было то время, когда Россия в лице дальновидных девственниц-политиков оплакивала разрушение мечтаний о молебне в Софийском соборе»... Погодин продолжал писать в Москве свои письма без адреса, в

рукописях расходившиеся по России. Эти письма впоследствии появились и в печати, уже через много лет после смерти Николая, а в 1874 г. вышли отдельной книжкой. Они, по-своему, очень любопытны. Основное содержание позднейших писем — это, с одной стороны, решительная и очень отрицательная критика всего курса царской внешней политики, начиная с Павла и вплоть до Крымской войны, политики реакционной интервенции, поддержки тронов и алтарей, без малейшего смысла и с очень большим ущербом для государственных интересов России. А с другой стороны — «положительная» часть: одушевленные призывы панславистского характера (у Погодина несравненно более искренние, чем у Блудовой), приглашение разрушить Турцию, а заодно уж и Австрию и «освободить» всех тамошних славян. Есть страницы в этих писаниях, напоминающие исступленный бред. Славяне как турецкие, так и австрийские спят и видят, как бы им очутиться под благодетельным скипетром Николая. Так, все «восемьдесят миллионов» славян (по статистике Погодина) и предаются этим сладостным мечтам. «Стали мы на Дунае, и стояли долго, переходить не решались; но вот толкнул, наконец, кто-то в шею, и волей-неволей перешли мы на другую сторону... А на другой стороне, смотрите, бежит навстречу народ, с хлебом и солью, крестами и святой водой. Вот ударил неслыханный четыреста лет колокол, раздался первый благовест, вознесся первый крест над православною церковью. Что же? Вы допустите, чтобы крест был снят?.. Нет, это не может быть, и этого не будет! Следовательно, Болгария свободна» [19] и т. д. Тут все без исключения — решительный вздор и бредовая фантазия. И в Болгарии давным-давно православная церковь была совершенно свободна, и на Дунае никакие миллионы славян не бежали с хоругвями, и никто в царские верноподданные попасть не мечтал, хотя освободиться от турок, разумеется, желали твердо, и, например, болгарское население в Варне смотрело на французов и англичан, стоявших там лагерем от мая до августа 1854 г., как на врагов, приехавших помогать султану, а на русскую армию — как на силу, которая может поспособствовать превращению Болгарии в самостоятельное государство.

«Мы перешли через Дунай, слава богу, и уже посылаются болгарам колокола для церквей»,— ликуя сообщал Константин Аксаков своему брату Ивану [20]. И колокола для болгарских церквей (где невозбранно и до тех пор трезвонили собственные болгарские колокола) в качестве эмблемы освобождения и Николай в качестве освободителя народов — все это возбуждало тогда в этом наиболее чистом морально и наименее снабженном интеллектуальными ресурсами из всех славянофилов один беспримерный восторг. Но на самом деле не в колоколах была тут сила.

По существу план Николая — не возбуждать христианские провинции Турции к восстанию, а только «пользоваться» этим восстанием — оказывался совсем невозможным. И сам царь, конечно, это понимал и пошел дальше первоначальных намерений. Русские агенты были посланы в Сербию, в Черногорию, в Болгарию. «Часто я говорю себе, что присутствие этих агентов скорее вредно нам, чем полезно,— пишет Мейендорф 1 апреля 1854 г. в Петербург,— и вот почему. Мы объявили, что не хотим подстрекать эти народности против турок, но мы оставили за собой возможность воспользоваться их самопроизвольным подъемом (leur essor spontané). Но ведь там, где есть один из наших агентов,— этот самопроизвольный подъем невозможен: с этим агентом советуются, у него спрашивают, следует ли восстать? Если он ответит: да,— это значит, что он дает толчок движению, если он скажет: нет,— это будет значить, что он подавил самопроизвольный подъем. Я кончаю эти размышления, повторяя, что поддержка славянского населения не окажет нам столько пользы, сколько война с Австрией прочит нам зла...» [21]

После разрыва дипломатических отношений между Россией и западными державами и питая уже вполне твердую уверенность в близком объявлении войны России со стороны Англии и Франции, австрийский министр Буоль усвоил себе почти угрожающий тон в разговорах с Мейендорфом. Он определенно жаловался на пропаганду, которую ведут русские агенты в славянских землях.

Изо всех сил в течение всей весны 1854 г. русский посол Мейендорф не переставал доказывать в Вене, что Николай вовсе не стремится поднять славян против Турции. А ему в ответ повторяли, что не могут этому опровержению поверить, и приводили слова, сказанные Орловым Францу-Иосифу и, что еще важнее, собственные слова Николая (из письма, привезенного Орловым австрийскому императору): царь прямо писал, что он не позволит опять вернуть под турецкое иго христианские народы, которые восстанут и присоединятся к нам. А граф Орлов еще уточнял, что восстание этих христианских народов необходимо произойдет, и последствием восстания будет их независимость [22].

Еще более усилилось раздражение Франца-Иосифа и Буоля, когда лорд Эбердин опубликовал текст знаменитых разговоров Николая с Сеймуром, происходивших в январе и феврале 1853 г. Публикация последовала в конце марта 1854 г. В русских газетах было напечатано возражение правительства на эти парламентские разоблачения, но это возражение не показалось убедительным никому из европейских дипломатов.

Русское опровержение называет обвинение царя в захватнических намерениях «несправедливым, чтобы не сказать бес-

совестным». Сеймур не так понял государя: «...его величество никогда не думал помышлять о каком-либо разделе, и тем менее о разделе, составленном предварительно. Государь император обращал внимание на будущее, а не на настоящее, имел в виду одни случайности... Не довольно того, что с умыслом превратили и исказили свойства и побуждения его объяснений: старались еще найти в них оружие против его величества, усиливаясь уверить другие правительства, что государь император в сем случае обратился особенно к Англии по той причине, что ставил ни во что их мнения и выгоды». Это опровержение не имело никакого успеха, ему не поверили. Больше всего раздражена была Австрия именно таким полным пренебрежением к ее силам и ее интересам, какое обнаружил царь в разговорах с Сеймуром. «Злоупотребление великодушной доверчивостью, которой оценить не умели» (так характеризует Нессельроде опубликование бесед Николая с Сеймуром), принесло враждебной России коалиции большую пользу. Оно ускорило ту дипломатическую эволюцию, которую уже и до того определенно совершало австрийское правительство, все более и более сближаясь с Англией и Францией.

Очень ловко и издавна обдуманный удар, нанесенный Николаю Эбердином, опубликовавшим внезапно эти старые донесения Гамильтона Сеймура, причинил серьезный вред всем усилиям Мейендорфа удержать Австрию от враждебного дипломатического выступления.

4

20(8) апреля 1854 г. в Берлине был подписан оборонительный и наступательный военный союз между Австрией и Пруссией. Иначе и нельзя назвать это «соглашение», и так его дипломаты и назвали с самого начала. Уже 8 мая в Вене состоялось под председательством императора Франца-Иосифа совещание, в котором участвовали Буоль, генерал Гесс и министр финансов. На совещании было решено послать в Галицию и Буковину два армейских корпуса. «Политический вопрос разрешен, остается военное исполнение»,— сказал Франц-Иосиф.

А спустя несколько дней в венской «Официальной газете» был опубликован приказ императора о призыве под знамена 95 тысяч человек и об отправке войск к северо-восточным и юго-восточным границам Австрийской империи[23]. Затем, уже в первой половине июня, быстро следовали события, прямо ведшие к ликвидации Дунайской кампании. Австрия заключила с Турцией две конвенции: согласно одной, австрийцы получали право временно занять Албанию, Черногорию и Боснию; согласно другой, Турция приглашала Австрию занять Дунайские княжества.

Наихудшие опасения Паскевича сбывались.

В Петербурге заключение этой конвенции между Австрией и Пруссией было принято как тяжкое дипломатическое поражение. Но, кроме какого-то беспомощного лепета, царь от своего канцлера по этому поводу ничего не услышал.

Все ничтожество Нессельроде сказывается не в нотах и меморандумах, в появлении которых он играл роль не автора, а писаря, не канцлера, а канцеляриста; оттого эти ноты и другие русские дипломатические документы были по-своему с чисто технической, так сказать, стороны вовсе не так плохи. Индивидуальные черты этого бессменного, типичнейшего из министров Николая I можно лучше всего подметить в той его переписке, которая хоть и трактует о дипломатических делах, но имеет характер более непринужденный, менее официальный. Вот как изливает свою душу российский канцлер в письме к русскому послу в Вене Мейендорфу,— а ведь дело происходит тогда, когда уже Россия в войне с тремя державами и не сегодня-завтра к ним примкнет и Австрия: «Я вам скажу, что может быть, впервые в моей жизни мной овладело чувство ненависти и мести. В продолжение сорока лет государственной службы я посвящал свои усилия главным образом скреплению союза с Австрией. Я был почти одинок здесь в деле поддержки этого союза, на который я всегда смотрел, как на самый полезный, самый соответственный интересам обеих империй. Вам известно, что в нашем обществе мало симпатии к австрийцам. Поэтому вы поймете, что я живо ранен в сердце, видя, что мои постоянные усилия разбиваются о недобросовестность и нелепость, которые в Вене восторжествовали над лояльной и грандиозной политикой» [24]. Кроме этих ненужных словоизвержений, ничего от канцлера в этот опасный момент нельзя было ожидать.

Не без больших усилий удалось Австрии склонить прусского короля к подписанию конвенции 20 апреля 1854 г. Даже и позже, после окончания Дунайской кампании, после тяжких дипломатических поражений, накануне вторжения врагов уже на его территорию, северный колосс все-таки продолжал, несмотря ни на что, быть страшным. Это инстинктивное чувство Россия продолжала внушать и Австрии, и Пруссии, и всем германским государствам, и даже так, что именно где ее больше всего ненавидели, там ее сильнее всего боялись. Этот любопытный феномен политической психологии 1854 г. следует тоже учитывать при анализе событий. Смутно боялись будущего. В то, что Россию можно ослабить навсегда или хотя бы надолго, не верил решительно никто даже из тех, кому страстно хотелось бы в это поверить.

Король Фридрих-Вильгельм, даже подписав соглашение с

30*

Австрией 20 апреля 1854 г., не переставал доказывать, что он друг Николая. Английский представитель Мэлет, аккредитованный при германском союзном правительстве (во Франкфурте) и чуть ли не ежедневно беседовавший там с Бисмарком, доносил в Лондон статс-секретарю лорду Кларендону: «Так как Пруссия считает более вероятным, что Бреславль будет разграблен казаками, если она выступит против России, чем, что Кельн будет занят французами, если она в самом деле останется нейтральной, то Пруссия склоняется к этому второму решению» [25]. Это не совсем точно: Фридрих-Вильгельм IV боялся и Наполеона III и Николая I, но в разные моменты, в зависимости от обстоятельств, одного из них боялся меньше, другого больше.

Именно эта, немыслимая прежде, дерзновенная политика Фридриха-Вильгельма IV, согласившегося, наконец, вслед за Австрией занять неприязненную по отношению к России позицию, и была особенно показательным и тревожным для царя симптомом.

Австро-прусская конвенция от 20 апреля 1854 г. значительно ухудшила дипломатическое и военное положение России. В сущности эта конвенция грозила Николаю военным вмешательством Австрии, а может быть, и всего Германского союза, с Пруссией во главе, и переходом их на сторону Англии и Франции в случае движения русских войск через Балканы и даже в случае решительного отказа эвакуировать Дунайские княжества. Спустя семь дней после подписания конвенции, 27 апреля, Мейендорф имел долгую беседу с генералом Гессом, начальником австрийского штаба. Гесс принадлежал к другой разновидности австрийских государственных деятелей, чем граф Буоль. В то время как Буоль, по мере катастрофически ухудшавшегося дипломатического положения России, все более и более окрылялся надеждами на возможность чем-нибудь поживиться на Дунае или в Сербии, Гесс, прошедший долгую школу Меттерниха и Шварценберга, помнил, как австрийским генералам приходилось еще только весной 1849 г. вымаливать помощь против венгерской революции. И генерал Гесс, как почти вся австрийская аристократия и верхушка армии, с беспокойством и досадой следил за роковыми ошибками Николая и за решительным развитием неприязненных отношений между русским и австрийским дворами. Революция придушена, но не задушена. А что если австрийским генерал-адъютантам придется опять ползать на коленях по паркету Лазенковского дворца перед Паскевичем и с плачем целовать руки пасмурного, молчаливого фельдмаршала? Разговор Гесса с Мейендорфом имел целью дать Николаю реальный совет, как поскорее выпутаться из западни, куда он, очертя голову, бро-

сился,— но, конечно, сделать это так, чтобы не пострадали интересы безопасности Габсбургской державы.

Вот что сказал Гесс Мейендорфу. У русских на юге, т. е. на Дунае, в Одессе и в Севастополе,— 208 тысяч человек. Из них на наступательную войну против Турции можно употребить лишь половину,— а с подобной армией нельзя взять ни Варны, ни Шумлы, ни подавно Константинополя. Притом к концу мая на помощь Омер-паше прибудут 75 тысяч англичан и французов. Наконец, если русские сделают эту попытку дальнейшего продвижения на юг от Дуная, то австрийская армия станет угрозой на их фланге. Что же делать Николаю? Потребовать от держав, чтобы они заставили Турцию принять меры к улучшению положения христиан, добившись согласия на это Порты, очистить Дунайские княжества, причем одновременно Англия и Франция уведут свои эскадры из Черного моря. Мейендорф вяло возражал Гессу, но в заключительных строках своего донесения не скрывает, что Гесс говорит дело [26]. Он даже подчеркивает это в донесении, писанном им на следующий день [27].

Мейендорф не надеялся на то, что царь отчетливо понимает грозящую опасность, и он снова обращался непосредственно к Паскевичу. Русский посол в Вене убеждает фельдмаршала в том, в чем тот и без него убежден. Допустим, пишет он Паскевичу, что Силистрия будет взята русскими войсками. Что же дальше? Проходы через Балканы будут обороняться всей турецкой армией и по крайней мере 60 тысячами англичан и французов, а Константинополь, кроме того, еще и пушками двадцати линейных кораблей. И в довершение всего 50 тысяч австрийцев обрушатся на русские тылы, выйдя из Трансильвании, где они находятся. Мейендорф с ударением настаивает на этом последнем обстоятельстве: австрийская опасность *«не воображаемая, а реальная»*, и об этом говорит не только тайный враг Буоль, но и открытый друг Гесс, и ни малейших сомнений в серьезном значении этой угрозы у Мейендорфа нет [28].

Орлову еще в феврале внушали в Вене, что австрийские военные приготовления объясняются будто бы открытием в Галиции какого-то (совсем фантастического, никогда небывалого и немыслимого) «заговора» униатского духовенства. Орлов сообщал эту бессмыслицу в Петербург, царь верил и не верил, хотел себя успокоить, но это плохо удавалось, и он всю весну возвращался к этой теме: «...опасение общего движения в народе будто заставило усилить войско. До сих пор ничего подобного даже стороной до меня не доходило; но очень быть может, что справедливо...» Так писал Николай Паскевичу. Он успокаивал себя и фельдмаршала также известиями, шедшими к нему и из Вены и из Берлина, о том, будто «Пруссия отде-

ляется от Австрии и, быть может, и обе отделятся от морских держав. Ежели так, то успеем взять Силистрию, а потом посмотрим, что делать» [29]. Но вместе с этими оптимистическими нотами слышатся мотивы совсем иные.

5

«Наше положение довольно трудно, у нас мало друзей и много разъяренных врагов, с этим нужно примириться и пожертвовать всем, чтобы не скомпрометировать честь нашего дорогого отечества, и в сущности, поскольку император сохранит свой характер, поскольку не будет слушать малодушных советчиков, пока народ сохранит великий характер, который им проявляется, мы выйдем из дела со славой для нас и к посрамлению наших врагов». Так писал А. Ф. Орлов в конце апреля 1854 г. [30] Он намекал на явно начавшие обуревать царя сомнения: не уйти ли прочь из Дунайских княжеств? Орлов пишет Меншикову, подчеркивая, что он не сомневается в победе, раз Меншиков заявил сам в письме к военному министру: *мы готовы, милости просим.* Эта фанфаронада Меншикова была обращена к английскому адмиралу Дондасу и французскому — Гамлэну. Орлов в своем французском письме цитирует эти слова по-русски. Орлов Меншикову не верил и этой цитатой явно хотел снова подчеркнуть всю тяжесть ответственности, лежавшей на Меншикове.

Первого мая 1854 г. Меншиков получил в Севастополе отправленное к нему из Бухареста 23 апреля письмо Паскевича. Паскевич не скрывал своих тяжких опасений. «К несчастью, в настоящую минуту на нас вооружились не только морские державы, но и Австрия, которую поддерживает, кажется, и Пруссия. Без сомнения Англия не пожалела и денег, чтобы иметь на своей стороне Австрию, ибо без Германии они ничего нам не сделают... Действительно, когда будет против нас вся Европа, то не на Дунае нам надобно ожидать ее, и нас точно могут заставить выйти из княжеств...» Австрийское выступление было кошмаром, неотступно стоявшим перед глазами фельдмаршала. «По всему видно, что ее (Австрию — *Е. Т.*) поджидали другие союзники. Поэтому турки отступали, ожидая французов, а французы давали время приготовиться австрийцам, с тем чтобы начать действовать в одно время. Тогда наше положение будет так тяжело, как не было и в 1812 г., если мы не примем своих мер заранее и не станем в крепкой позиции, где бы не опасались по крайней мере за свои фланги. Я ожидаю об этом повеления, а между тем сохраняю вид наступательный, для того чтобы, угрожая Турции, оттянуть десанты европейцев от наших берегов, притягивая их на себя,

хотя, признаюсь, и без них довольно неприятностей» [31]. При всех своих недостатках Паскевич, военный человек, опытный полководец, понимал, конечно, в какое отчаянное положение может попасть Крым, если союзники вздумают немедленно на него напасть, и он как бы оправдывался перед Меншиковым в том, что не посылает ему подмоги из своей громадной Дунайской (и стоящей в Польше тоже) армии. Но напрасно Паскевич затруднял себя такими письмами: Меншиков пребывал в вожделенном спокойствии всю весну и почти все лето 1854 г. и опасность своего положения не очень понимал. Были у него, правда, как увидим, редчайшие моменты просветления, но о них и говорить много не стоит. Паскевич не подавал помощи Меншикову, хотя сам-то он понимал, насколько беспечность Александра Сергеевича порождается исключительно его легкомыслием. И вместе с тем фельдмаршал уже явно не только предвидел, что он вскоре уведет армию из Дунайских княжеств, но и определенно стремился, насколько от него зависело, ускорить это событие. А от него фактически в мае и июне 1854 г. зависело все.

4 мая 1854 г. отряд генерала Лидерса, выйдя из Гирсова и следуя правым берегом Дуная, подошел к Силистрии и расположился на возвышенностях. В ночь с 5 на 6 мая начали рыть траншеи в 200 саженях от самого переднего укрепления наиболее выдвинутого редута Силистрии, и началась правильная осада этой крепости. Дело предстояло нелегкое. Нужно было взять три редута, раньше чем добраться до самой крепости. Турки тревожили осаждающих рядом вылазок. Русские отгоняли их прочь.

Осада шла вяло, потому что Паскевич не видел смысла брать эту крепость, а Горчаков не очень знал, как вообще к этому делу приступить, и боялся ответственности [32]. И в результате за первый же месяц осаждающие потеряли совершенно непроизводительно две тысячи человек. Медицинская часть была ниже всякой критики, еще гораздо хуже, чем впоследствии в Севастополе до прибытия Пирогова: на каждые десять человек, раненных под Силистрией, умирало восемь, выздоравливало два. В начале июня, т. е. к концу первого месяца осады, турецкий гарнизон в Силистрии усилился до 20 тысяч человек, и по всему осаждающим было ясно, что в крепости работают дельные инженеры. Осаждающая армия к началу июня состояла из 70 батальонов пехоты, 64 эскадронов кавалерии, артиллерия располагала 200 полевыми орудиями и 10 осадными. Сверх того, налицо было 4 казачьих полка.

Опасения фельдмаршала относительно возможности близкого выступления Австрии были известны не только генералам, но и офицерам; и не только офицерам, но, как это всегда

в таких случаях бывает, и солдатам. Оптимизму, который еще пытался напустить на себя царь, уже решительно не верили.

И французы, и англичане, и австрийцы очень боялись за Силистрию.

Маршал Сент-Арно, отправивший первую дивизию из Марселя 12(24) апреля, опередил ее и прибыл в Константинополь 8 мая. Тревожные вести встретили его. Омер-паша ждал нападения русских на Силистрию. В Константинополе сераскир-паша (военный министр) был убежден, что нужно ждать прямого нападения Паскевича на Омер-пашу, вытеснения Омер-паши из Шумлы и перехода русских через Балканы к Андрианополю.

Раньше чем повидаться с Омер-пашой, Сент-Арно послал туда для предварительного ознакомления с положением дел полковника Анри. Доклад Анри был не весьма утешителен. Во-первых, Омер-паша не скрыл от Анри, что вся его надежда на спасение возложена им на союзников. Во-вторых, ни малейшего военного плана у него в наличности нет, если не считать «планом» желание оставаться в Шумле со своими 45 тысячами человек, пока русские его оттуда не прогонят. В-третьих, о русской армии и ее намерениях ему ничего не известно, но он очень надеется на болезни и на плохое санитарное состояние русских войск. В-четвертых, у Анри, как он доносит 18 мая, «сердце сжалось», когда он лично увидел, что такое турецкие госпитали в Шумле, где раненые лежат в лохмотьях, без белья и подушек («имея стену вместо подушки»), и когда он пригляделся к безобразному состоянию обуви и одежды турецких солдат. Положение осложнялось еще опустошительными наездами на села и деревни Болгарии как со стороны русских казаков, так и со стороны башибузуков армии Омер-паши. Страна была разорена дотла. Омер-паша уведомил через полковника Анри маршала Сент-Арно, что русские стоят в неподвижности только потому, что опасаются высадки союзников в Варне.

Получив донесение и выслушав вернувшегося в Константинополь Анри, маршал решился. «Если бы нам позволено было медлить и сделать нашим союзником время, которое не может работать на русских, то я сказал бы: не будем торопиться и, оставаясь сильными, выберем момент, чтобы ударить на утомленного и ослабленного неприятеля; но при том политическом положении, в котором мы находимся, бездействие невозможно, так как турки ждут, австрийцы ждут, валахи ждут, Европа ждет. Ничего не делать — значит открыть путь самым дурным мыслям. Нам приходится разрубить гордиев узел. Дипломатия уже не может дальше ничего поделать»,— так писал Сент-Арно в Париж военному министру [33].

18 мая Сент-Арно, лорд Раглан, сераскир (турецкий военный министр) и Риза-паша на французском линейном корабле

«Бертолле» выехали в Варну, куда и прибыли на другой день, 19 мая 1854 г. Омер-паша ждал их с большой тревогой: русские вышли из Добруджи, идут вверх по дунайскому берегу, высаживаются близ Силистрии и уже начали атаки. 16 мая они получили подкрепления. Силистрия будет упорно сопротивляться, но ее гарнизон — всего 18 тысяч человек.

Началось сейчас же, 19 мая, совещание трех главнокомандующих: Сент-Арно, лорда Раглана и Омер-паши. Если Наполеон I завещал навеки помнить, что два даже очень хороших главнокомандующих всегда будут хуже, чем один, даже плохонький, то что же сказал бы он по поводу этого совещания *трех* главнокомандующих, из которых один только Сент-Арно был настоящим, опытным полководцем, а Раглан, с тех пор как совсем юным офицером потерял руку при Ватерлоо, не видел серьезной войны; что же касается Омер-паши, то, как усердно восторгавшиеся им английские и французские газеты ни раздували его мнимые военные таланты,— это был только дееспособный генерал, годившийся в исправные дивизионные начальники европейской армии, но не больше. Сент-Арно, очень осторожно и с весьма многозначительными оговорками похваливает его в письмах к военному министру Вальяну в Париж. «Омер-паша не заслуживает ни всего хорошего, ни всего дурного, что о нем говорят. Это человек тем более замечательный, тем более полезный у турок, что они не нашли бы другого, чтобы его заменить. Это настоящий солдат. Как генерал он имеет хорошие и здравые понятия наряду с невозможными проектами и невероятными политическими воззрениями. Эта твердая и солидная голова, однако, нуждается, чтобы ею руководили и *требует* руководства».

Конечно, другие турецкие генералы были еще значительно хуже Омер-паши, и только на этом фоне он и мог снискать свою малозаслуженную громкую репутацию. Базанкур, близко его наблюдавший в деле, осторожно пишет: «Многие им восторгаются до крайности, другие отрицают за ним какие бы то ни было военные качества».

Русских Омер-паша боялся и понимал, что более чем рискованно затевать с ними большое сражение в открытом поле. И речи никогда не было поэтому о том, чтобы выйти из Шумлы и напасть на русские, осадившие Силистрию, войска. Курьезнейшие, исключительно на газетную рекламу рассчитанные заявления, исходившие впоследствии (уже после ухода Горчакова из Дунайских княжеств) от Омер-паши и его штаба, конечно, у настоящих военных, знавших хорошо, как было дело (вроде Сент-Арно или Канробера), могли возбудить только улыбку. Маршал Канробер рассказывал впоследствии, как все ездил Омер-паша из Шумлы в Варну упрашивать союзни-

ков спасти обреченную Силистрию: «Со времени нашего прибытия Омер-паша не переставал возвещать нам скорое падение Силистрии, и столь частые его посещения Варны не имели другой цели, кроме той, чтобы торопить главнокомандующих (Сент-Арно и Рагдана — *Е. Т.*) двинуться на выручку» [34].

Омер-паша, сидя в Шумле, получал самые угрожающие известия из Силистрии, и в эту последнюю неделю мая и в самые первые дни июня он уже, в сущности, не чаял спасения и с каждым днем переставал надеяться на то, что французы подоспеют вовремя на помощь погибающему городу. Сам он собирался будто бы (как он впоследствии утверждал) произвести диверсию из Шумлы, чтобы хоть немного задержать падение Силистрии. Собирался — но так и не собрался. При всем своем самохвальстве (вовсе не свойственном природным туркам — но Омер-паша таковым и не был) он дал знать генералу Канроберу, что не может уже ничего решительно сделать для предотвращения сдачи Силистрии, не может ни произвести хоть малую диверсию из Шумлы, ни даже попытаться доставить провиант давно уже голодающему гарнизону. Русский огонь усиливался с каждым днем. «Смерть парит над укреплениями со всех сторон, солдаты и начальники падают один за другим, чтобы уже не встать»... Все кончено для Силистрии, наступает ее последний час, пишет в своих ежедневных заметках полковник Базанкур. Для союзников неминуемое падение Силистрии казалось таким близким, что они были очень озабочены предстоящим после этого непосредственным столкновением. Что такое эти 45 тысяч турок Омер-паши, стоящие в Шумле, они уже успели разглядеть достаточно. Солдаты храбры, выносливы, человеческий материал хороший в своем большинстве. Но генералы — еще хуже и гораздо хуже Омер-паши, который тоже не похож на орла, офицеры по умственному и образовательному уровню недалеко ушли от рядовых, унтер-офицеры уже абсолютно ничем от солдат не отличаются. Дисциплина есть, мужество есть, но все остальное мало утешительно. Вооружение в некоторых полках неплохое, кое-где даже очень хорошее, в других — старье, в среднем часто хуже того, которым была оснащена русская армия. Омер-паша заявил определенно, что, насколько он отвечает за своих солдат, засевших в укрепленных местах, настолько же он опасается столкновения с русскими в открытом поле.

И хотя впоследствии Сент-Арно жаловался, что русские у него «украли победу», но не очень-то он был в ней уверен в последние дни мая 1854 г., слушая рассказы лазутчиков и тревожные жалобы Омер-паши в дни, когда войска Горчакова, громя город все сильнее и сильнее, сдвигали свои линии все ближе и ближе к погибающей крепости.

16 (28) мая 1854 г. утром лазутчики принесли известие, что ночью форт Арабский (Араб-Табия), один из сильнейших фортов Силистрии, останется без прикрытия.

Некоторые офицеры стали убеждать командовавшего на левом фланге генерала Сельвана произвести ночной штурм форта Арабского. Сельван колебался и послал спросить генерала Шильдера, своего начальника. Шильдер ответил, что предоставляет все на решение Сельвана, который и велел штурмовать форт. В час ночи три русских батальона бросились на штурм и, хотя встречены были жестоким огнем, все-таки отбросили турок и уже взобрались на вал, окружавший форт. Дело шло к полной победе, как вдруг в разгаре успешного боя услышали рожок, трубивший к отступлению. Произошло, естественно, полное замешательство, огонь турок усилился, но генерал Веселитский уже отдал приказ к отступлению, и войска отхлынули назад. Только на третий день во рву разыскали среди нескольких сот трупов солдат, погибших при этой попытке, тело генерала Сельвана, обезглавленное, с разрубленной грудью. Горчаков, приписывая и непонятный роковой сигнал к отступлению и всю неудачу генералу Веселитскому, назвал его трусом. Веселитский закричал: «Трусят одни подлецы! Вы не смеете говорить мне таких слов!» Но тут снова и снова выявилось безнадежное противоречие, от которого гибли все начинания Дунайской армии, гибли еще больше, чем от несостоятельности и военной бездарности отдельных начальников, больше, чем от интендантского и инженерного воровства, и уж подавно больше, чем от всех усилий Омер-паши. О ссоре и дерзком ответе Веселитского Горчакову было доложено князю Паскевичу, который стал всецело на сторону Веселитского и высказался против тех офицеров, которые побудили Сельвана предпринять штурм: «У нас каждый прапорщик представляет себя умнее главнокомандующего» [35]. Другими словами, Паскевич, осаждавший Силистрию с тайным, но твердым намерением ее не брать, естественно, не мог одобрить инициативы Сельвана и его офицеров, которые полагали, что война ведется всерьез, и он должен был, напротив, вполне симпатизировать Веселитскому, который испортил все дело, но этим именно как бы доказал правоту фельдмаршала, не перестававшего в эти самые майские дни готовить царя к снятию осады с крепости. Уже близкая русская победа кончилась, таким образом, хаотическим отступлением под турецким огнем, русские раненые были брошены ночью во рву и перерезаны ночью же башибузуками. «Ты храбрый человек. Вероятно, тут вышла ошибка!» — сказал фельдмаршал, ободряя угодившего ему Веселитского [36].

Потери русских при неудавшемся штурме форта Арабского были равны, по сведениям, заслуживающим доверия, 315 убитым и 596 раненым [37]. Нужно сказать, что солдаты винили в неудаче штурма не Веселитского. Они, вообще говоря, его любили и ему верили, считали его храбрецом. Почему он дал сигнал к отступлению и какова доля его вины,— об этом существует несколько разноречивых свидетельств. Капитан Хорватов, при котором в этот злосчастный миг Веселитский совершил свой роковой поступок, пишет, что генерал Сельван пал мертвым при Веселитском: «Веселитский... нагнулся и потрогал тело. Видно было, что он действовал как-то бессознательно... Потом вдруг совершенно неожиданно Веселитский закричал: „Назад! Назад! Отступление!" Я изумился и не верил ушам моим. Как отступать, когда Араб-Табия была взята, когда мы так дорого уже за нее заплатили! Да разве это возможно? И это приказание отдает генерал несомненно храбрый и опытный? Что это такое? „Ради бога! Что вы делаете?" — обратился я к Веселитскому, забывая всякую дисциплину.— „Назад! Назад! — неистово кричал генерал, заглушая своим голосом всякий другой шум.— Горнисты, играть!"» [38].

То обстоятельство, что Веселитский, потерявший на войне руку, был и в самом деле вовсе не трус, делает его поведение еще более характерным и исторически знаменательным. Не было и не могло быть ни у генералов, ни у офицеров, ни у солдат, при всей их храбрости, того наступательного порыва, без которого не доводятся до конца самые, казалось бы, удачные действия. А какой мог быть в командном составе наступательный порыв, когда невысказанная, но упорная воля фельдмаршала уже давно перестала быть тайной? И напрасно Алабин спорит с капитаном Хорватовым о выражении («Почему бессознательно?»). Мысль и ощущение Хорватова явно правдивы: воздержание от решительных действий, отступление, уклонение,— невидимой, но могучей силой все это шло от верховного вождя, от фельдмаршала и постепенно овладевало психикой всего командного состава Дунайской армии. Генерал Петров с горечью пишет: «В 1809 году князь Багратион с 14 000 армиею нашел возможность преградить Силистрии все сообщения с внутренностию страны, князь же Паскевич с 100 000 армиею не нашел возможным этого сделать...» [39]

При Багратионе и робкие генералы вели себя храбрецами, а при Паскевиче и храбрый Веселитский повел себя трусом, хотя никогда трусом не был. Не всегда и Паскевич был таким, как в 1854 г., и именно в старые годы под его же начальством этот самый Веселитский потерял руку и приобрел почетную репутацию.

7

Почти одновременно с несчастьем, которым закончилось наступательное действие генерала Сельвана, произошло и другое событие, омрачившее эти последние недели пребывания русской армии в Дунайских княжествах. Оно настолько характерно, что, бесспорно, заслуживает внимания. В середине апреля 1854 г. в Александрийский гусарский полк, стоявший в городе Крайове (в Малой Валахии), прибыл только что назначенный туда в чине полковника Андрей Николаевич Карамзин. В свое время он служил в кавалеристах, вышел в отставку, женился на великосветской красавице Авроре Демидовой, и его решение вновь пойти на службу, покинув роскошную жизнь в великолепном дворце своей жены, приветствовалось и в прозе в петербургских гостиных, и в стихах — князем П. А. Вяземским, воспевавшим патриотический порыв этого сына знаменитого писателя и историка России Н. М. Карамзина.

Но в полку все это никого не трогало, и, напротив, товарищи, давно тянувшие лямку и ежедневно сами рисковавшие жизнью, были обижены тем, что по протекции Карамзин сразу же получил большой чин и стал начальником старых офицеров. Жаловались, что «пришлец всем сел на шею». Приехал же Карамзин, как пишет очень к нему доброжелательный свидетель и очевидец, «с единственной целью испытать военное счастье». Между тем Александрийский гусарский полк вместе со всем тридцатитысячным отрядом генерал-лейтенанта Липранди, в состав которого он входил, уже снял, согласно приказу Паскевича, осаду с города Калафата, под которым простоял без дела три месяца, и стоял теперь в городе Крайове в ожидании приказа о дальнейшем отступлении к русским границам. Лично храбрый человек, легкомысленный дилетант военного дела, без малейшей боевой опытности, уверенный в безнаказанности вследствие своих больших петербургских связей, Андрей Николаевич решился на собственный риск и страх вносить при случае поправки в возмущавшую его общую тактику князя Паскевича. Средств для этого у него было немного — всего один дивизион, состоявший из двух эскадронов: Карамзин сразу же и был назначен командиром этого дивизиона, для чего пришлось вытеснить прежнего начальника, подполковника Сухотина, об устранении которого солдаты очень жалели.

С первых же дней Карамзин стал, довольно мало стесняясь, критиковать действия генерала Салькова, своего непосредственного начальника, и тот, боясь этого влиятельного в Петербурге подчиненного, принужден был даже оправдываться в том, что не завязывает дела с турками, которые в большом количестве следовали по стопам русских, отступающих от самого Калафата.

16 (28) мая Карамзин был назначен в рекогносцировку и в 5 часов утра выступил со стоянки, бывшей в местечке Слатине. Еще до выступления была неладная атмосфера. Офицеры, не терпевшие «пришлеца», собравшись в кружок, громко злословили о нем, а *солдаты чутко прислушивались*, по показанию свидетеля [40]. «Посмотрим, что-то сделает сегодня наш петербургский франт? Чорт знает, что творит Липранди! Можно ли поручать столь серьезное дело человеку новому в полку... Это не только для всех нас, но и для простых солдат обидно!..» и т. д. «Солдаты одобрительно что-то буркнули» [41].

Когда явился начальник рекогносцировки А. Н. Карамзин и поздоровался с фронтом, то солдаты ответили *вяло, негромогласно*. Признаки были зловещие. «Что скажешь?» — «Скверно!» Таким кратким диалогом обменялись два дружественных Карамзину офицера.

Отряд шел к м. Каракалу, где находился турецкий отряд неустановленной численности. Разведка в Дунайской армии была из рук вон плоха. Сплошь и рядом русские начальники пользовались как своими лазутчиками шпионами, специально для этого подсылаемыми Омер-пашой. Прошли двадцать верст, сделали привал. Карамзин пригласил всех офицеров к себе в палатку закусить, но почти никто из них не пожелал явиться.

У Карамзина было в данном ему для этой рекогносцировки отряде шесть эскадронов, одна сотня казаков и четыре орудия. Из шести эскадронов четыре были «чужие», совсем не знавшие Карамзина до этого дня.

Вскоре после привала, пройдя еще верст семь, Карамзин должен был решить очень ответственное дело: перед отрядом была река, а через нее был перекинут совсем узенький мостик. К Карамзину подъехал поручик Черняев (впоследствии, в 1876 г., знаменитый предводитель сербской армии) и заявил, что не советовал бы так рисковать: ведь эта ненадежная переправа могла погубить отряд в случае отступления под натиском турок. Но Карамзин не только велел перейти через этот мостик, но отдал такое же приказание перед другим мостком, перекинутым через овраг, полный топкой грязи, встретившимся несколько дальше [42].

Черняев справедливо видел смертельную опасность в этих узких мостках, но Карамзин сказал ему: «На основании данной мне инструкции я действую самостоятельно, не думаю, чтобы с таким известным своей храбростью полком нам пришлось отступать, не допускаю этой мысли. С этими молодцами надо идти всегда вперед!.. Все молчали. Черняев заметил Карамзину, что это — громадный риск с его стороны». Но на войне долго с начальником не пререкаются и резонов ему не представляют: Черняев умолк. Отряд перешел и через этот второй

мост, и вдруг впереди показались четыре колонны турок, человек, как издали казалось, по пятьсот в каждой. На самом деле турок было около трех тысяч человек. Еще было время уйти. Но Карамзин заявил, что перед ним вовсе не четыре колонны, а только две, и что то, что кажется третьей и четвертой колонной, просто какие-то два забора. Он велел рысью приблизиться к туркам и открыть огонь. Тут произошло неожиданное открытие: дав несколько залпов, артиллерия вдруг умолкла. Оказалось, что забыли *«по оплошности»* взять достаточно снарядов! Еще и в этот момент турки не осмелились напасть и можно было попытаться уйти без потерь. Но Карамзин, который «побледнел как полотно» при этом страшном открытии, что нет снарядов, все-таки дал сигнал к атаке. Один эскадрон приблизился к туркам, и началась свалка. Эскадрон, потеряв начальника Винка, растерялся и бросился назад. Второй эскадрон — уже на полдороге — повернул обратно. Абсолютная невозможность надеяться на победу парализовала солдат, совсем не веривших при этом Карамзину. Турки бросились в обход, желая овладеть именно тем мостом, который был перекинут через овраг (Тезлуй). Гусары помчались в полном беспорядке туда же, стремясь опередить турок. Произошла страшная свалка и резня у этого моста. Карамзин, окруженный турками, сопротивлялся долго и отчаянно. На его трупе было потом обнаружено восемнадцать ран. Турки захватили все орудия [43], но не сумели задержать и взять в плен или перебить отряд. О Карамзине говорили, что только смерть спасла его от отдачи под военный суд. В общем выбыло из строя в этот день 19 офицеров и 132 солдата. Этот эпизод вызвал много комментариев в заграничной печати, где очень раздувалось и преувеличивалось значение турецкой победы у Каракала. В Петербурге поведение Карамзина было темой продолжительных и страстных споров. Отголосок мы находим в саркастических словах Льва Толстого в одном из черновых набросков первой главы «Декабристов». Толстой, не называя Карамзина, поминает «одного, увлекшегося желанием как можно скорее отслужить молебен в (Софийском — *Е. Т.)* соборе и павшего в полях Валахии, но зато и оставившего в тех же полях два эскадрона гусар». Толстого явно раздражали безответственные великосветские восторженные разговоры о человеке, правда, заплатившем жизнью за свой поступок, но с таким преступным легкомыслием, несмотря на предупреждения, погубившем без тени смысла вверенный ему отряд. Смерть этого человека Толстой не желает признать «чувствительнейшей потерей для отечества», как он иронически выражается. Возмущение на месте, в армии, против виновника несчастья было так велико, что даже его смерть не примирила с ним. Паскевич велел назначить следствие. Оно выяснило, что

полковник Карамзин, «желая ознаменовать себя победой», пренебрег всеми предостережениями более опытных офицеров, не высылая даже разъездов впереди, бросился на сильнейшего неприятеля и потерпел поражение [44].

8

Это поражение имело вредные морально-политические последствия. Оно способствовало тому, что турки очень осмелели, и дальнейшее отступление корпуса Липранди из княжеств проходило местами не очень спокойно. Вообще же эта, в сущности, небольшая стычка приобрела в сообщениях европейских газет, враждебных России, характер большого проигранного русскими сражения, которое будто бы отчасти заставило Паскевича ускорить эвакуацию армии из Дунайских княжеств. Фельдмаршал и без того уже близок был к реализации своего давнишнего решения и вскоре после несчастья с Карамзиным предпринял первые шаги к ликвидации Дунайского похода: он окончательно покинул армию.

Вот как это случилось.

28 мая 1854 г. [45], когда князь Паскевич проезжал по линии фронта осаждающих Силистрию войск, ядро, пущенное из одного силистрийского форта, ударилось о землю и осыпало песком фельдмаршала. Затем, по свидетельству полковника Менькова, подъехав к левому флангу, «князь Варшавский, разлегшись на бурке, весьма аппетитно приступил к завтраку», а уже потом заговорил о том, что он контужен. Об этой контузии весьма иронически и недоверчиво пишут буквально почти все свидетели, явно не веря в ее серьезность и даже вообще в ее реальность. «Солдатики... исподтишка подсмеивались над контузиею фельдмаршала» [46]. Паскевич выдумал эту контузию затем, чтобы уехать прочь от Силистрии сначала в Яссы, а из Ясс в Гомель. Никогда Паскевич трусом не был, физическая храбрость его не подлежит ни малейшему сомнению, и эта мнимая контузия понадобилась ему лишь затем, чтобы легче и скорее привести к окончанию главное дело: снять осаду с Силистрии и вывести войска из Дунайских княжеств.

Самое любопытное и в данном случае по существу решающее показание дает врач Павлуцкий, лечивший «контуженного» фельдмаршала: «Не подлежит никакому сомнению, что происшествие 22 (28 — *Е. Т.*) мая послужило только предлогом к выполнению давнего желания фельдмаршала удалиться от дел, так как скачок лошади и падение ядра в трех шагах не могло произвести не только контузии, но даже обыкновенного легкого ушиба». Столь кстати подоспевшая контузия ускорила отъезд фельдмаршала. «Уже давно говорили об этом отъезде,

мотивированном, как утверждают, убеждением его светлости в необходимости прежде всего быть наготове против австрийцев, *несмотря на все успокоительное, что нам говорят на этот счет Петербург и Вена.* По этой же причине мы эвакуировали Малую Валахию»,— так доносил командовавший речной эскадрой на Дунае князь Михаил Павлович Голицин в доверительном письме Меншикову [47].

За несколько дней перед своим отъездом из армии для прикрытия главных сил Лидерса и для рекогносцировки по дорогам, ведущим к Силистрии из Шумлы, откуда Омер-паша мог бы послать подкрепление к осажденной крепости, Паскевич велел образовать особый отряд из бригады пехоты, одного полка регулярной кавалерии, четырех сотен казаков, двух пеших и одной конной батареи. Этот «авангард» — так он был назван в приказе, подписанном Горчаковым 23 мая (4 июня) — был поставлен под начальство Хрулева [48]. Отряду этому суждено было иметь лишь незначительные стычки с турками потому, что никаких сил в подкрепление силистрийскому гарнизону Омер-паша из Шумлы посылать не решался, хотя 27 мая (8 июня) Хрулев получил писанную во втором часу ночи карандашную записку из штаба Паскевича: фельдмаршал приказывал Хрулеву «быть как можно осторожнее, ибо есть слухи, что Омер-паша намерен подойти к Силистрии» [49]. Эта записка многое объясняет в том роковом решении, которое спустя несколько дней принял фельдмаршал. Слухи оказались совершенно ложными, но Паскевич именно и хватался за подобную информацию: это создавало желательную для него атмосферу.

Между тем турки в Силистрии ждали со дня на день гибели. Голод в осажденной Силистрии все усиливался. В самые последние дни мая (ст. ст.) Горчаков получил известие, что Омер-паша высылает из Шумлы в Силистрию транспорт с ячменем и сухарями. Горчаков приказал Хрулеву перехватить этот транспорт, пока он будет продвигаться дорогами и тропинками со стороны селений Калипстри и Бабу (там, где Силистрия так до самого конца и не была вовсе отрезана от внешнего мира); Горчакову перехватить этот транспорт хочется потому, что взятие Силистрии ему в душе очень желательно; но, зная Хрулева, князь в то же время боится, что Хрулев ввяжется в сражение по-настоящему, и за это он, Горчаков, получит от фельдмаршала жестокий нагоняй, что уж ему нисколько нежелательно. И вот что выходит у Михаила Дмитриевича в его приказе генералу Хрулеву: «Когда узнаете о приближении транспорта, то выступить немедленно со всем отрядом и перехватить оный, отнюдь не вдаваясь в бой *для другой какой-либо цели*» [50]. А как же быть, если турки будут защищать свой транспорт? Если стараться при этом разбить и

прогнать турок, будет ли это *«какая-либо другая цель»* или нет? Так велась, по сути дела, вся Дунайская кампания, поскольку она велась из бухарестской главной квартиры.

Но 28 мая (9 июня) в самом деле произошло столкновение части отряда Хрулева с турками между Силистрией и Калипетри. Русские потери были незначительны (десять рядовых убитых, шестнадцать раненых, убит один офицер, ранено двое). Турки бежали в крепость, оставив довольно много трупов. В реляции говорится даже, будто «до четырехсот трупов», но точности этих показаний в реляциях не всегда можно доверять, разумеется [51]. Впрочем, турецкий отряд состоял на этот раз отчасти из башибузуков, которые при отступлениях всегда теряли много людей, так как совершали отход беспорядочно и он у них превращался обыкновенно в паническое бегство.

Дальше происходит нижеследующее. К деревне Калипетри, расположенной с той стороны крепости Силистрии, откуда ждут транспорта с продовольствием из Шумлы, отправляется отряд под начальством генерал-лейтенанта Павлова, состоящий из 3½ полков пехоты, 16 эскадронов регулярной кавалерии, 5 сотен донских казаков и трех батарей. Так как можно опасаться, что Омер-паша пошлет для сопровождения транспорта большие силы, то, вполне естественно, Горчаков отдает 1 (13) июня письменный приказ Хрулеву, стоящему со своим авангардным отрядом неподалеку от той же деревни Калипетри: «Если генерал Павлов будет атакован превосходными силами или будет угрожаем во фланг и тыл гарнизоном из крепости, то ваше превосходительство должны немедленно стараться поддерживать помянутый отряд генерал-лейтенанта Павлова». Это вполне целесообразный приказ, и пишет его тот человек, сидящий в князе Горчакове, который искренно хочет взять Силистрию. Но вот, не успел Горчаков подписать этот красиво переписанный писарской рукой приказ, как пробуждается другой сидящий в нем человек, тот самый, который привык двадцать пять лет подряд ежедневно трепетать перед Паскевичем и который знает, что фельдмаршал хочет не брать Силистрию, а поскорее уйти от нее прочь. И этот другой человек, живущий в Горчакове, приписывает карандашом на узеньком пространстве между последней строкой приказа и своей подписью: «но немедленно мне доносить о том, что вы будете предпринимать»,— и тут же эту фразу пишет еще и чернилами [52]. Но раз пробужденная боязнь перед Паскевичем не успокаивается, и вот, *в тот же день,* 1 июня, и немедленно после первого приказа, что доказывается номерами (первый приказ № 1773, второй — 1774, значит, буквально через час или два часа времени, принимая во внимание обилие ежедневных исходящих бумаг из канцелярии Горчакова), пишется

новый приказ Хрулеву, решительно *уничтожающий* только что данное распоряжение о поддержке Павлова: «В дополнение предписания от сего же числа за № 1773, г-н генерал-адъютант князь Горчаков приказать изволил, чтобы ваше превосходительство не делали движений с вашим отрядом на поддержку отряда генерал-лейтенанта Павлова, а всякий раз, когда будет предстоять в том надобность, предварительно присылали бы сюда испросить на то разрешения его сиятельства, отправляя посыльных сколь можно быстрее». Если мы вспомним, что деревня Калипетри лежала в двух шагах от укрепления Силистрии, называемого «Абдул-Меджид», и что, следовательно, турецкие силы, сопровождающие транспорт, напали бы на Павлова с фронта или с фланга, а силистрийский гарнизон вышел бы из «Абдул-Меджида» и ударил бы по отряду Павлова в тыл, то поймем, что требование предварительного «испрашивания позволения», помогать ли Павлову или не помогать, фактически делало абсолютно невозможным для Хрулева даже и думать о фактической помощи Павлову. Но едва был написан этот убийственный приказ, как вновь Горчакова зазрила совесть — и слова: «*отправляя посыльных сколь можно быстрее*» он подчеркивает или велит подчеркнуть своему начальнику штаба генералу Коцебу [53]. Как будто это подчеркивание могло прибавить прыти казацкой лошади и как будто посланный казак мог не опоздать, где речь шла не о часах, а о минутах.

Отряд Павлова был спустя два дня, 3 (15) июня, сменен отрядом Бебутова, но Хрулев получил повторный приказ от Коцебу: «Если князь Бебутов будет атакован превосходными силами во фланг или тыл, то ваше превосходительство должны, не делая движения с вашим отрядом на поддержку его, присылать в главный лагерь сколь можно быстрее посыльных для испрашивания разрешения его сиятельства, что следует вам предпринять» [54].

Итак, авангардный отряд Хрулева обязывался созерцать, не трогаясь с места, как турки, ударив «*превосходными силами*» одновременно *во фланг и тыл*, успешно истребляют отряд Бебутова, и поджидать «разрешения» канцелярии Горчакова пойти на выручку. И в это время Хрулев как раз лишился своего начальника и главного покровителя. 1 (13) июня генерал Шильдер, гуляя между траншеями, определенно уверял офицеров, что Силистрия будет взята в самом близком будущем. Разорвавшаяся близ него турецкая граната оторвала ему ногу. Его пробовали еще спасти и произвели над стариком мучительную хирургическую операцию — отняли ногу, без каких бы то ни было анестезирующих средств, которых, вообще, в Дунайской армии и в помине не было. Шильдер скончался через несколько дней после операции.

Наконец, князь Горчаков, побуждаемый генералами и офицерами, решил покончить дело штурмом и назначил его в ночь с 8 на 9 июня. По армии, предназначенной для штурма, была роздана обширная диспозиция (занимающая одиннадцать страниц большого формата, написанных довольно убористым почерком,— правда, с большими полями). В этой диспозиции, подписанной генералом Коцебу и дежурным штаб-офицером полковником Болдыревым, был один пункт, показывающий, что на этот раз Горчаков в самом деле решил взять Силистрию — или во всяком случае сделать для того все от него зависящее. Солдаты должны были иметь полную уверенность, что тут уж в самом деле их начальство не лукавит. Вот этот пункт, обозначенный под № 2 в разделе диспозиции, озаглавленном: «Общие примечания». «Идти беглым шагом и начать кричать ура отнюдь не далее 50 шагов от атакованного пункта. Внушить солдатам, что преждевременная беготня и крик ура суть препятствия к успеху; равно внушить им, что так как решено непременно овладеть сими укреплениями, то отступления, а потому и отбоя не будет, и если такой сигнал услышат, то это значит, что он подан *турками* для обмана» [55].

Итак, борьба не на жизнь, а на смерть, сигнал к отступлению отныне невозможен, приравнен к государственной измене, корабли, что называется, сожжены.

8 (20) июня вечером Горчаков велел явиться всем начальникам частей войска, собранного под Силистрией. Он объявил о своем непреложном решении ночным штурмом взять Силистрию. Он снова и снова напомнил то, что было им сказано в приказе по войскам, тогда же, вечером, прочитанном в войсках: *отступления не будет* ни в каком случае, войскам, назначенным на штурм, велено *не брать с собой горнистов*, чтобы некому было даже протрубить сигнал к отступлению. Солдаты были полны решимости. «Нельзя было безучастно смотреть на молитву солдат, готовящихся к смерти»,— говорит очевидец. Войска поздно вечером вышли из лагеря бесшумно и заняли позиции: «все на своих местах, лежат, не спят, ждут указанного сигнала».

Наступила ночь. Темнота и тишина царили в русском лагере. Считали минуты. Уже все готово было к штурму, когда Горчакову подали только что полученный пакет, привезенный курьером Николаем Яковлевичем Протасовым от Паскевича. Горчаков при свете фонаря открыл пакет. До сигнальной ракеты, которая должна была возвестить начало штурма, оставалось в этот момент около получаса [56].

В конверте, который распечатал Горчаков, находились два

документа, оба необыкновенно характерные. Первый — своими умолчаниями, а второй — своими формулировками. Первый документ — письмо Паскевича к Горчакову, написанное в ласковом, интимном тоне, ни единым словом прямо не говорит о снятии осады, но как-то так выходит, что фельдмаршал радрадешенек предстоящему спасению Горчакова от ужасных опасностей: «Дай бог, чтобы в это время не застала вас атака от турков и французов и прочих. Кажется, что дела *поправляются*... Я угадал, что австрийцы могут спустить корпус на Окно, и уже начал посылать узнавать об этом и вчера получил известие, что они послали саперов, дабы разрабатывать дороги... Еще раз дай бог, чтобы успели хорошо отойтить. Если вы что перемените, то я разрешаю. Ваш всегда истинно уважающий и преданный князь Варшавский». А второй документ, лежавший в том же конверте, являлся уже строго официальным и точным приказом, причем Паскевич явно хочет переложить ответственность за снятие осады на царя. «Государь император в собственноручном письме от 1 (13) июня высочайше разрешить соизволил: снять осаду Силистрии, *ежели до получения письма Силистрия не будет еще взята* или совершенно нельзя будет определить, когда взята будет». А так как, мол, по донесениям Горчакова, Силистрия не взята и нельзя определить, когда будет взята, и так как австрийцы могут начать действия уже между 1 и 4 июля, французы же и англичане, соединясь с турками могут в количестве ста тысяч человек прийти на помощь Силистрии, то «по всем сим соображениям, я со своей стороны решительно полагаю: 1) осаду Силистрии, не теряя времени снять, а войска наши перевести на левый берег Дуная...» Выходит, что Горчаков и царь сочли необходимым снять осаду, а фельдмаршал был в данном случае как бы передаточным органом, сообщившим Николаю сведения от Горчакова и затем передавшим Горчакову предписание от Николая. Но замаскировать истинную свою *решающую* роль в ликвидации Дунайской кампании князю Паскевичу все-таки не удалось.

Горчаков сейчас же велел уже занявшим позиции для ночного штурма войскам вернуться в лагерь. «Надобно было видеть и слышать в ту минуту солдата. *Явное негодование за обманутые надежды громко высказывалось в рядах их.* Самые начальники не верили отмене штурма. Один полковой командир (Брянского егерского полка, полковник Ган), которому привез не известный ему адъютант приказание возвратиться в лагерь, не верил ему и подозрительно спрашивал фамилию привезшего, настаивая, чтобы адъютант написал ему, кто он таков и какое привез приказание! Недоверчивый, храбрый полковник поверил приказанию только тогда, когда к голове его

полковой колонны подъехали знакомые лица штаба, грустно возвращавшиеся в лагерь»,— говорит нам очевидец, переживший эту ночь, когда фактически была Россией проиграна первая половина Восточной войны [57].

«Опоздай курьер, неприятельские укрепления через несколько часов были бы в наших руках: за то ручались принятые меры... Назначенные на приступ войска нехотя пошли назад, и между ними быстро разнеслась молва, что во всем этом виновата Австрия, на избавление которой от гибели в 1848 году из этих же войск многие ходили. Озлобление на австрийцев было всеобщее» [58].

Немедленно, конечно, ликвидирована была и отдельная операция, которая поручена была Хрулеву. В половине четвертого часа дня 8 (20) июня Хрулев получил известие от Коцебу, что на рассвете состоится штурм и что по сигналу (будет пущена ракета) Хрулеву предписывается открыть пальбу по оврагу и по ближайшему (нагорному) укреплению Силистрии. Но ракета не взвилась. А в полночь с 8 на 9 июня Хрулев получил карандашную записку: «Атака назначенная отменяется, посему возвратитесь в свой лагерь и батарею, если она начата, оставьте недостроенною. Генерал-адъютант Горчаков».

Это не помешало Горчакову спустя несколько часов, днем 9 июня, приказать Коцебу написать тому же Хрулеву: «Надобно все-таки выдвинуться вперед и пугнуть турок от вашей батареи артиллерийским огнем, потом выждать несколько, и если вновь придут, то опять пугнуть, постараться не завязывать кавалерийского дела на левом фланге». Значит, нужно «пугнуть» турок из той самой батареи, которую ночью велено было бросить недостроенной, и «пугать» должен был тот самый Хрулев, которому ночью велено было бросить свою позицию и вернуться в лагерь. Хрулев со своим отрядом снялся с позиции и примкнул к отступающей русской армии. Его положение могло бы ночью с 8-го на 9-е стать довольно опасным, если бы в тот момент силистрийский турецкий гарнизон был способен к каким-либо наступательным операциям. Но об этом и речи быть не могло. Силистрия была на волосок от гибели в тот момент, когда, совсем неожиданно для турок, осада была снята. Взорван был в крепости главный пороховой склад. Гарнизон голодал люто. «Солдаты говорят, что лежа в секретах перед траншеями, не раз бывало слышали, как кричали некрасовцы... (русские раскольники, некогда бежавшие из России и ставшие турецкими подданными — *Е. Т.*): „Да бери же скорей, Москва, эту проклятую Силистрию,— нам есть нечего!“» [59] Старик Шильдер, раненый, как сказано, еще 1 июня, умиравший как раз в эти дни в страшных мучениях после того, как ему отрезали ногу, не мог примириться с мыслью, что Силистрия,

уже бывшая совсем в русских руках, как-то вдруг ушла... «Силистрия! Силистрия!» — повторял он перед смертью. Солдаты угрюмо отступали от Силистрии. Они еще меньше Шильдера соображали, что с ними делает фельдмаршал и зачем он с ними это делает, и как понимать поведение Горчакова.

Воля царя была сломлена еще 1 июня.

10

Призрак войны с Австрией неотступно стоял перед Николаем. «Итак, настало время готовиться бороться уже не с турками и их союзниками, но обратить все наши усилия против вероломной Австрии и горько наказать за бесстыдную неблагодарность»,— пишет он Паскевичу в середине мая 1854 г. Николай надеялся, что Силистрия будет взята через две недели, но осада затягивалась, и уже в конце мая царь впервые начинает осваиваться с мыслью, что, может быть, придется снять осаду с этой крепости. Дело в том, что 1 (13) июня царь получил новое неприятное известие: Австрия может выступить 1 июля. Значит, остается ровно месяц. Но что же предпринять за этот месяц? Николай был в нерешимости, а у Паскевича решение созрело давно, однако царь не ставил фельдмаршалу прямого вопроса, потому что знал наперед ответ и боялся его получить. Сначала, в первый момент, он явно был смущен: «Сим месяцем надо воспользоваться для того, чтобы вывезть из княжеств все лишние тягости...» (парки, склады, раненых, больных). И следует снять осаду с Силистрии, если крепость не будет еще взята до получения Паскевичем этого письма. Осадные орудия увезти в Измаил и стянуть бо́льшую часть сил к Плоешти. откуда нужно ждать вторжения австрийцев в Валахию. Царь подбадривает и себя самого и фельдмаршала: «Ежели война с австрийцами будет неизбежна, ты в совокупности сил своих найдешь возможность и случай приобресть новую неувядаемую славу, горько наказав вероломных и неблагодарных подлецов» [60]. Передает он тут же с явной целью поддержать падающий дух Паскевича одно (лживое) известие, которому спешит поверить: «Сегодня же получены любопытные сведения о положении союзных войск, они почти без артиллерии и кавалерии, а тем менее снабжены обозом и потому вряд ли появятся на Дунае» [61].

Да и как было верить такой нелепой выдумке, как прибытие англо-французских войск в Варну без артиллерии, без кавалерии, без обоза? Уже спустя пять дней, 6 (18) июня, император узнал от Паскевича, что армия Омер-паши в Силистрии не только гораздо сильнее, чем у нас предполагали, но что две французские и одна английская дивизии благополучно высади-

лись в Варне и могут в любой момент пойти на выручку Омер-паши. «Нельзя не жалеть, что осада Силистрии, вместо обещанной скорой сдачи крепости, приняла столь невыгодный оборот». С этим Николай уже хочет примириться и все-таки цепляется за несбыточные иллюзии. Он понимает, что осада уже не может удаться «и тогда положение армии нашей за Дунаем будет *без пользы* опасное» («без пользы» подчеркнуто царем). Царь уже знает, что Паскевич покинул театр военных действий, уехал в Яссы и передал командование Горчакову, но чего требовать от Горчакова, какие ему указания давать,— этого Николай не знает. Никогда он полководцем не был, ни малейших дарований в этой трудной области не обнаруживал и растерянно спрашивает Паскевича: «Ты верно снабдил Горчакова подробными наставлениями, как ему следует по твоему мнению действовать в разных предстоящих случаях». Ничем таким Паскевич Горчакова не «снабдил», да и возможное ли это дело — давать указания главнокомандующему «на разные предстоящие случаи?» Значит, осаду с Силистрии нужно снять и повернуть все силы против австрийцев.

Что означает снятие осады с Силистрии в непосредственном своем значении на театре военных действий, это Николай сознавал очень хорошо. «Нельзя не жалеть о снятии осады Силистрии, сколь оно не вынуждено было замыслами Австрии.— Последствия будут весьма неприятны, подняв дух турок, уронив дух наших, напрасно истративших столько храбрости и трудов.— Да притом, и что главное, развязав руки союзникам, опять обратиться к исполнению своих высадок, в особенности в Крыму, куда вероятно все их усилия теперь обратятся»,— так писал царь Паскевичу 14 (26) июня, еще только предположительно, еще не зная, что Паскевич уже поспешил воспользоваться данным ему от царя разрешением и что снятие осады — совершившийся факт [62].

17 (29) июня 1854 г. к Николаю прибыл фельдъегерь из Ясс с письмом от фельдмаршала от 12 (24) июня, извещавшим о снятии осады с Силистрии. Николай был удручен, потому что понимал убийственное впечатление, которое будет этим актом произведено. «Итак да будет воля божия! Осада Силистрии снята. Крайне опасаюсь, чтобы дух в войсках не упал, видя, что все усилия, труды и жертвы были тщетны и что мы идем назад, а зачем?— и выговорить не смеем. Надо, чтобы Горчаков и все начальники хорошо растолковали войскам, что мы только *временно* отступаем (подчеркнуто царем — *Е. Т.*), дабы обезопаситься от злых умыслов наших соседей.— Это слишком важно» [63].

Почти две недели Николай не имел сведений о том, как совершается отступление русской армии из Дунайских княжеств,

и только в начале июля получил донесение Горчакова. «Сколько мне грустно и больно, любезный Горчаков, что мне надо было согласиться на настоятельные доводы к. Ивана Федоровича об опасности, угрожающей армии от вероломства спасенной нами Австрии, и, сняв осаду Силистрии, возвратиться за Дунай, истоща тщетно столько трудов и потеряв бесплодно столько храбрых — все это мне тебе описывать не зачем; суди об этом по себе!!! (три восклицательных знака — *Е. Т.*). Но как мне не согласиться с к. Иваном Федоровичем, когда стóит взглянуть на карту, чтобы убедиться в справедливости нам угрожавшего. Ныне эта опасность меньше, ибо ты расположен так, что дерзость австрийцев ты можешь жестоко наказать, где бы они ни сунулись, и даже, если бы пришлось на время уйти за Серет. Не этого опасаюсь; боюсь только, чтобы это отступление не уронило дух в войсках, ежели не поддержать его, сделав каждому ясным, что нам выгоднее на время отступить, чтоб тем вернее потом пойти вперед, как было и в 1812 году». Николай не полагает, что союзные войска будут преследовать Горчакова: «...скорее думаю, что все их усилия обратятся на десанты в Крым или Анапу, и это не меньшее из всех тяжких последствий нашего теперешнего положения». Письмо кончается выражением «полного доверия» царя к Горчакову: «...как и всегда было. Тебе может быть суждено провидением положить начало торжеству России. Не будем унывать» [64].

Николай, чувствуя свою полную несостоятельность как стратега, стремился не только возложить безраздельную ответственность на командующих армиями, но и себя явно стремился убедить в их превосходных талантах. И Меншикову, и Горчакову, и Воронцову, и другим он не переставал расточать самые теплые уверения полнейшего своего доверия. Во все стороны обращал он взоры, ища спасителя, искал — и не находил. И навязывал настойчиво амплуа спасителя тем посредственностям, которых взрастил вокруг своего трона. Паскевич посредственностью не был, и Паскевичу царь доверял больше, чем кому-либо. Но если Николай вспоминал, как вел себя Паскевич, что он говорил и что он делал с июня 1853 г. по июнь 1854 г., то он не мог не сделать вывода, что фельдмаршал с ним лукавил и против совести своей ему поддакивал весь этот год, первый год роковой войны.

11

В общем русское отступление совершалось планомерно, турки следовали, обыкновенно, на весьма приличном расстоянии.

Так шло с самого начала отступления, когда Хрулев успешно обстрелял 9 июня ложбину, куда спустились турки, и отбро-

сил в крепость вышедший было оттуда пехотный отряд. Да и вообще турки вовсе не походили на «победителей». Русские войска покидали свой лагерь ничуть не спеша, нисколько не боясь, да и не ожидая преследования. В тех случаях, когда при дальнейшем развитии отступления происходили столкновения между турками и русским арьергардом, они всякий раз возникали потому, что Омер-паше было желательно именно представить перед Европой дело так, будто он победоносно «гонит» русскую армию из княжеств. На самом же деле эти стычки кончались непременно отбрасыванием турок прочь от русских позиций, после чего русские, спокойно и нисколько не ускоряя темпов, продолжали свой отход.

Единственной русской неудачей при этом отступлении было дело у Журжева. 23, 24, 25 июня 1854 г., когда уже наши войска окончательно покидали княжества, Горчаков ни с того ни с сего велел задержаться около Журжева и оказать сопротивление. Войска бились в самых невыгодных условиях, некоторые части были три дня без горячей пищи, раненых отвозили под палящими лучами солнца, на соломе, без перевязок. Русские потери в этом, решительно никакого смысла не имевшем, бою были велики. Турки оказались тут гораздо лучше вооруженными, чем русские: близость Варны, где уже стояли суда союзников, чувствовалась явственно. Плохо было то, что русский солдат перестал *доверять ружью,* видя, насколько оно хуже неприятельского: «Солдаты умеют отлично расправляться штыком, но стреляют торопливо, не целясь, на ружье свое мало надеясь»,— говорит участник боя. И делает общий вывод: «Нам нужны лучшие ружья и хорошие головы, а с турками мы справимся» [65]. Турки в сражении у Журжева потеряли больше русских, хотя и не в пять раз больше, как утверждает на основании официальных реляций и подсчетов князь Щербатов, дающий такие цифры: русские потери 1015, турецкие — 5000 человек [66]. Русские потери, по менее официальным и гораздо более достоверным данным, были равны приблизительно 1800 человекам, турецкие, как сказано, больше русских, но насколько больше — точных данных, которым можно было бы верить, у нас нет. Во всяком случае турки не решились после битвы выйти из Журжева и продолжать преследование, и Горчаков мог собрать в городе Фратешти 46 батальонов пехоты, 60 эскадронов кавалерии, 4 казачьих полка и 180 орудий. Он тщетно поджидал турок, но они из Журжева не показывались несколько дней. Горчакову пришлось отправить в Крым целую 16-ю дивизию, после чего 15 (27) июля он продолжал отступление. Турки поблизости не показывались. Только в самом конце августа последние русские отряды покинули Добрджу и пришли в Измаил.

Согласно особому австро-турецкому договору, австрийские

войска заняли эвакуируемую русскими территорию Дунайских княжеств.

Как только генерал Коронини занял Дунайские княжества и вошел в Бухарест, австрийцы сразу же повели себя неограниченными владыками края. Русские платили за все золотом, австрийцы же стали расплачиваться бумажками, да еще такими, которые даже в самой Вене котировались на 30% ниже номинала. Произвол водворился настолько дикий, что предшествовавшая русская оккупация стала казаться образцом законного правопорядка: «В Букаресте один австрийский поручик, идя со своею ротой по улице, ударом сабли отрубил у валахского мужика руку за то, что он не довольно скоро своротил с дороги. Другой офицер, квартировавший у одного купца, потребовал, чтоб в отведенную ему комнату поставлена была шифоньерка; и когда валах объявил ему, что не знает, что это за мебель, то австриец проколол ему саблею живот». Такие поступки австрийцев назывались «дерзостями»: «Подобные неслыханные дерзости возобновлялись *безнаказанно каждый день*» [67]. Австрийские офицеры, бившие граждан палкой, считались добрыми, бившие саблей — «сердитыми», убивавшие на смерть — «строгими», перед убийством истязавшие еще свои жертвы — «своевольными». Наполеоновская пресса горячо поздравляла в это самое время Молдавию и Валахию с избавлением от русских варваров...

В Париже и Лондоне еще меньше понимали неожиданное отступление русского осадного корпуса от Силистрии, чем понимал это Сент-Арно, не говоря уже об Омер-паше. Конечно, это не помешало Омер-паше разблаговестить и в Турции и в Европе о том, что именно посредством его мудрости и храбрости аллаху угодно было чудесно спасти Силистрию за несколько часов до ее полной гибели, но не маршала Сент-Арно можно было удовлетворить подобными объяснениями. У нас есть определенное, непосредственно от самого маршала исходящее показание о том, как он объяснял себе поступок Паскевича, и показание, данное не для публики, а секретно сообщенное военному министру в Париж. Эта драгоценная документация напечатана в том же уже названном выше первостепенном по своему значению издании барона Базанкура, которое, как сказано, является одним из незаменимых первоисточников по истории Крымской войны. Базанкур получал в свое распоряжение все черновики донесений маршала Сент-Арно в Париж, точно так же как он получал и донесения командиров отдельных частей —главнокомандующему Сент-Арно, а потом Канроберу и Пелисье. Он не отлучался от Сент-Арно, и его записи важны были бы сами по себе, даже если бы он не напечатал такой массы документальных текстов. В частности, напечатанные им

два донесения маршала Сент-Арно по поводу отступления русских от Силистрии представляют большой исторический интерес.

Сент-Арно до такой степени недоумевал, что только спустя неделю с лишком после снятия осады с Силистрии взялся за перо, чтобы поделиться с военным министром своими догадками. За эти три недели случилось многое: русская армия ушла почти полностью из княжеств, французский маршал ознакомился с покинутыми русскими стоянками, новых данных накопилось немало,— и все-таки Сент-Арно не мог взять в толк и определить в точности побуждения Паскевича.

Вот что, сидя в Варне, 17 (29) июня писал он в Париж Вальяну: «Если принять в соображение важность и основательность с давних пор принятых русскими мер для обеспечения за собой оккупации правого берега, тех мер, во имя которых они пожертвовали другими выгодами, какие они могли бы получить в истекшие три месяца; если принять в соображение размеры средств, собранных в Валахии, в Молдавии и на всем левом берегу Дуная для этой же оккупации, наконец, ослабление морального авторитета, которое должно было постигнуть русскую армию вследствие ее отступления от Силистрии накануне взятия этого города, то приходится прийти к убеждению, что это отступление не является последствием сопротивления храброго гарнизона этой крепости. Накануне уже того дня, когда русская армия отошла, замаскировав, по-видимому, свой отход удвоенным огнем всех своих батарей, Омер-паша сообщил генералу Канроберу, что вследствие сконцентрированных вокруг Силистрии новых сил он уже не в состоянии произвести предполагавшуюся им диверсию». Сент-Арно просто теряется в догадках: «Оказалось ли достаточным для отступления русских прибытия в Варну союзных войск или демонстраций со стороны австрийцев, относительно которых г-н Брук ничего мне не сообщил? Они, несомненно, способствовали этому результату, но ведь неприятель, получая изо дня в день сведения о нашей концентрации, знал, что у него были основания надеяться на сдачу Силистрии до нашего прибытия. Его отступление на левом берегу было обеспечено до самых устьев реки, и можно сказать, что никакая военная необходимость не заставляла его сейчас отступать». Единственное предположение, на котором довольно нерешительно останавливается маршал, заключается в том, что Николай хочет, чтобы Австрия помогла ему заключить поскорее мир, а это возможно лишь после очищения княжеств от русских войск: «Многие думали, что царь, побежденный очевидными трудностями, скопившимися вокруг него, покорился необходимости очистить княжества с целью побудить Австрию снова стать посредницей между ним и западными державами». И чем больше изучал Сент-Арно бро-

шенные русскими стоянки, тем категоричнее становилось его убеждение, что только какая-то внезапная перемена в политических намерениях Николая могла обусловить этот изумительный, необъяснимый уход русской армии. Желая добиться истины, маршал послал своего дежурного полковника Виллера с приказом изучить на месте, подробно, все брошенные русскими работы вокруг Силистрии. И вот результаты донесения Виллера, которыми маршал делится с министром уже в другом своем письме: «Трудно представить себе более основательные, более обширные, более усовершенствованные работы, чем те, которые произведены были русскими на правом берегу Дуная ниже Силистрии. Я вполне укрепился в своем мнении, что намерение (русских — *Е. Т.*) генералов заключалось в том, чтобы сосредоточиться на правом берегу реки, чтобы дать бой союзным войскам впереди или позади их фортификаций. Несомненно, какой-то приказ из Петербурга обусловил их отступление».

Французский штаб просто понять не мог, почему русские отказались от этой уже совсем в руки им дававшейся победы. Отзывы французов об инженерных работах погибшего Шильдера вокруг Силистрии вообще полны восторга перед искусством замысла и совершенством выполнения. И Шильдер и его саперы все время ведь не теряли надежды, что они работают не впустую, что Силистрия будет взята...

12

В России внезапный оборот, который приняла война на Дунае, был учтен как большое стратегическое и политическое поражение. Война отныне перестала быть наступательной и должна была стать чисто оборонительной.

Больше всего удручены были славянофилы, и чем они были искреннее, чем меньше понимали, что до сих пор Николай просто хотел использовать славян в качестве застрельщиков и авангарда русского наступления,— тем больше и безнадежнее было уныние, овладевшее этими представителями славянофильских идей и настроений. Морально чистый, искренний, горячий, хотя и недалекий Константин Аксаков был особенно удручен. У него неразрывно сплетались воедино и мечты о славянской федерации вокруг России, и торжество православия (причем католицизм поляков, чехов, хорватов игнорировался как досадный, но не очень существенный диссонанс), и преданность самодержавию, и восторг перед идеей свободы слова. Все его убеждения при полной внутренней их разноречивости как-то гармонически у него уживались в голове исключительно вследствие значительного его невежества в политике и во всемирной истории, причем размеров этого своего невежества он даже и

не подозревал и искренне думал, что почитывать статьи преимущественно по истории русского быта и русской церкви в Московский период (Петербургский ему был ненавистен и неизвестен) — значит изучать и знать русскую историю, а размышлять о гниющей, проповедуемой западниками цивилизации и мечтать о водружении креста на мечети Ая-София в Царьграде — значит следить за политикой.

Вот как писал он, узнав о решении Паскевича,— писал, конечно, только для себя, в черновых заметках:

«Мы получили известие, что осада Силистрии снята и что наши войска переходят на левый берег Дуная. Что сказать? Это известие как громом поразило всех русских и покрыло их стыдом. Итак, мы идем назад за веру православную. Если это движение недоверения (sic — *Е. Т.*) против Австрии, если мы выходим из княжеств, уступаем, отказываемся от святой брани, то со времени основания России такого стыда еще не бывало, нас побеждали враги, а не собственный страх наш. А теперь! Ни одного настоящего сражения в европейской Турции еще не было, мы нигде не были разбиты... Мы выступаем из Болгарии, но что же станется с несчастными жителями, что будет с крестами, воздвигнутыми на православных церквах болгарских?.. Россия! Ты оставляешь бога и бог тебя оставит... ты отвергаешь налагаемый от него на тебя подвиг защиты святой веры, избавления страждущих братьев, и гром божий грянет над тобой, Россия!» [68]

Брат Константина Сергеевича, Иван, гораздо более критически настроенный, с негодованием относившийся ко многому, что очень мало возмущало безмятежный оптимизм его старшего брата, уже в 1854 г., после ухода русских войск из Дунайских княжеств, склонен был считать войну проигранной и, подобно западникам Т. Н. Грановскому, С. М. Соловьеву, считал, что существующие в России порядки и не могут привести ни к чему, кроме поражения. Но отец его, Сергей Тимофеевич, еще не отказывался от своих военных мечтаний, хотя и был в большой тревоге. Вот что писал он при первых известиях о снятии осады с Силистрии: «Вообще слухи о наших военных и политических событиях, если только они справедливы, сводят нас с ума. Боже сохрани и помилуй нас от мира, ибо на честный для нас мир западные державы не могут согласиться. Под честным миром я разумею освобождение Греции и всех христиан от ига турецкого. Но я твердо верю, что государь никакого другого мира не заключит».

С. Т. Аксаков старался хвататься за всякий слух (а их в июне 1854 г. бродило по Москве великое множество), что будто бы с Дунайскими княжествами еще не все покончено, будто осада с Силистрии еще не снята, и т. д. Больше всего его тре-

вожат слухи о мире, не прекращавшиеся в течение всего лета 1854 г.

«Слухи о мире были так сильны, что мы пришли было в отчаяние; но пишут, что на большом совете почти *один* государь остался тверд и что мы будем в войне со всеми. Я чувствую положение государя и глубоко уважаю его твердость. Он не ошибется в сочувствии целого народа в этой войне и если только останется непоколебимым, то выйдет из нее с великой славой... Но я боюсь за задунайскую армию. Мудрено идти вперед, когда тыл не безопасен. Притом французы, англичане и Омер-паша спешат напасть на нее; в самой Силистрии огромный гарнизон. Силистрия дорого нам стоит, и, вероятно, мы должны будем снять осаду... Одним словом, все зависит от твердости государя, и народная слава наша и позор,— конечно, временный, ибо история доделает свое дело, но тяжелый для современников. Без восстановления славянского мира нет для нас торжества» [69].

В конце июня С. Т. Аксаков писал сыну Ивану, мало надеявшемуся на улучшение в положении дел на театре военных действий: «Все, что ты пишешь о безнадежности — я вполне разделяю, да ты, вероятно, помнишь, что я и всегда так думал. Каждый день представляется какой-нибудь новый факт, служащий неопровержимым доказательством справедливости этого мнения и лучше об этом не говорить» [70].

Старик к концу лета перестал надеяться на какое-либо улучшение. «Все движения наших войск — совершенная загадка. Я устал принимать живое участие и стараюсь по возможности забывать наше положение» [71].

С. Т. Аксаков пал духом и полон затаенного гнева против дипломатии царя. «Быстрое очищение Дунайских княжеств повергло в совершенное уныние всю Россию, особенно Дунайскую армию, которая давно горит желанием порадовать свою землю блистательными победами. Говорят, что надо было усилие, чтобы заставить армию отступать перед наступающими австрийцами, которые занимают княжества. Несчастная мысль, что Россия может положиться на содействие Австрии, заставляет принять нас такие великие жертвы, оскорбительные для народной чести нашей. Одно утешает всех, что Австрия немедленно нас обманет и мы принуждены будем броситься на нее прежде, чем дойдет черед до англичан и французов. Тогда гибель ее будет неизбежна, ибо венгры и славяне бросят ее нечестные знамена, а с итальянцами и австриаками недалеко она уедет» [72].

Но не так пассивно реагировал на событие Погодин. Нельзя ставить знак равенства между ним и его корреспонденткой графиней Блудовой, для которой славянофильство и приобретало, и утрачивало и снова приобретало, снова утрачивало инте-

рес в зависимости от того, насколько в каждый данный момент благосклонно или вовсе неблагосклонно относился к нему государь. После ухода войск из Дунайских княжеств славянский вопрос сразу перестал при высочайшем дворе привлекать внимание, и поэтому сильно понизились фонды славянофильства и в крайне отзывчивой (в этом специальном смысле) душе графини Антонины Дмитриевны. Но Погодин имел все-таки вполне определенные собственные убеждения в этой области. И на него отход от Силистрии и эвакуация Дунайских княжеств подействовали несколько иначе, чем на графиню Блудову. Славяне, православные кресты в Болгарии, свобода Сербии — все это уже несколько меньше интересовало графиню Блудову с того момента, как все это перестало быть нужным его величеству.

У Погодина, наряду с никогда не покидавшим его стремлением как-то выдвинуться, получить высокую должность, войти в милость при дворе и в силу в государстве, были некоторые, настолько все-таки искренние, давнишние, крепкие заветные мысли, что он их иной раз высказывал даже не там и не тогда, когда это могло быть хорошо принято сильными мира сего, т. е. в прямой ущерб карьеристским соображениям. Правда, он потом часто спохватывался, но спустя некоторое время повторялось то же самое. Он всегда разделял славянофильские увлечения в самой, так сказать, агрессивной их форме, мечтал о Константинополе, о всеславянском царе и т. д. Добролюбов впоследствии в своем саркастическом «романсе М. П. Погодину» ядовито намекал на его карьеризм в стихах: «Когда б он знал, что мне совсем не странен его порыв к востоку на Царьград». Подпевая Николаю во всем, что касалось стремления царя к овладению Константинополем, Погодин после ухода войск из Дунайских княжеств решил все же откровенно высказать царю, что если он хочет в самом деле парировать падающие на Россию и еще готовящиеся против нее удары, если он хочет действительно победить Турцию и обезвредить Австрию, то следует круто изменить и перестроить всю контрреволюционную внешнюю политику, нужно, если это окажется целесообразным, не брезгать помощью даже со стороны «революции». Австрийцы еще числятся «союзниками» царя, но следует воспользоваться против них при случае и венгерским революционером Кошутом и итальянским — Маццини. Эту мысль он и выразил с большой энергией, в свойственном ему разухабистом стиле.

Летом 1854 г. Николаю I было доставлено очередное рукописное письмо Погодина, в котором московский правый славянофил восставал против мысли, что от войны может во враждебных нам государствах выиграть революционная партия.

«Да полно, революционная ли? Болгаре и сербы и прочие славяне имеют такое же полное и законное право восстать против турок, какое имели греки, какое имели мы восстать против татар. Австрийцы с турками имеют только то различие, что исповедуют христианскую веру, а поступают с своими покоренными славянами в отношении к вере и языку, то есть в отношении к самым драгоценным и священным чувствованиям человека, гораздо хуже турок. Наши политики, если не подкупленные, то близорукие..., закричат, что наша политика переменяется! Да она и должна перемениться, даже не по нашему выбору, а по собственной вине наших врагов... Нам ничего не остается больше, как обратиться к народам...»[73]

Погодина бесит больше всего, что австрийцев по старой памяти о Священном союзе продолжают у нас считать союзниками. Против этих «союзников» Россия должна действовать всеми средствами и *ни в каком случае не пренебрегать революционерами*, если революционеры могут помочь разрушить ненавистную предательскую Австрию. «...Мадзини (sic — *Е. Т.*), Кошут, Бруно Бауэр пишут и говорят против союзников? Тем лучше! Хоть бы пес, да чтобы яйца нес! Справимся прежде с любезными друзьями консерваторами, а прочее впереди». Под консерваторами Погодин тут понимает не только аристократическую Англию и задушившего французскую республику Наполеона III, которые напали на Россию, но также прежде всего германские монархии, начиная с Австрии и Пруссии и продолжая всеми более мелкими державами Германского союза.

При широчайшей осведомленности австрийского правительства буквально обо всем, что делалось в Зимнем дворце, в Вене не могли не знать, за что именно Погодин получил через министра двора графа В. Ф. Адлерберга «высочайшее государя императора благоволение». А вот что, между прочим, писал Погодин в этом письме от 17 июня 1854 г., которое через тайного советника Прянишникова и графа Адлерберга было доставлено царю и очень Николаю понравилось, хоть наследник Александр Николаевич и сделал несколько довольно туманно выраженных, очень осторожных критических замечаний. Погодин *предлагает просто-напросто разрушить Австрию и даже* любезно обещает личное свое содействие: «Для Австрийской Сербии, то есть воеводины Сирмии, есть у меня надежный человек, патриарх, с которым я виделся в Вене даже недавно и беседовал дружески, а прежде, в 1846 году я жил у него несколько времени в Карловце. Ему стоит только мигнуть чрез священника нашего в Вене, и она (австрийская Сербия — *Е. Т.*) восстанет. Есть еще у меня там один протопоп, который постóит наверное Петра Пустынника и заменит целый корпус.

Богемия, Моравия, Словакия пышат ненавистью к Австрии, и там произойдет непременно движение, лишь только огласится разрыв с Россией. Во всех этих странах есть у меня истинные друзья... Галиция готова соединиться с нами. С Венгрией фельдмаршал, слышно, имеет сношения». Погодин берется даже на Польшу подействовать через Мицкевича и Лелевеля, «которых я возьмусь обращать» [74]. Погодин предвидит, что Николай может несколько затрудниться разрушить Австрию, которую он же сам и спас в 1849 г. «Главное возражение против такого образа действий состоит в следующем: как нашему государю идти против того порядка, который он во всю жизнь свою поддерживал и восстанавливал? Согласен. Но разве он пойдет по своей воле, по прихоти? Разве этот порядок остался с ним? Этот порядок изменил ему, поднял оружие против него и поставил его в самое критическое положение: так может ли он гладить, как прежде, по головке этот австрийский порядок? Нет, по затылку надо хватать с... сынов! Знай честь! Простите меня, сорвалось с языка не дипломатическое выражение, но, ей богу, не вытерпишь... Ну, можно ли слышать о последнем предложении австрийского мальчишки без того, чтобы вся желчь не подымалась? Русскому царю, своему отцу и благодетелю, осмеливается он... нет, лучше перестану...»

В таком стиле писал Погодин уже после начавшегося ухода русских войск из Дунайских княжеств. Благоволение, официально, через министра двора выраженное Николаем I Погодину, придавало этому и другим аналогичным писаниям Погодина, широко распространявшимся в Петербурге, в Москве, в Киеве, Харькове и других центрах, весьма серьезный характер. Все это в глазах австрийского двора и «австрийского мальчишки», т. е. Франца-Иосифа, могло явиться не бранчливой выходкой темпераментного, славянофильски настроенного публициста, но определенной угрозой, исходящей от царского правительства. И, главное, что еще важнее, Буоль постоянно докладывал о фактах, показывавших, что планы и предложения в духе Погодина уже частично осуществляются, что русская агитация в Сербии направляется не только против Турции, но и против Австрии.

«Не знаю, в достаточной ли степени молодой император отдает себе отчет в том вреде, который он нам причиняет в ответ на услуги, которые оказал ему император Николай? Одним только своим поведением он заставляет нас снять осаду с Силистрии, а эта неудача произведет в общественном мнении самое дурное впечатление против нас»,— писал Нессельроде в частном письме к Мейендорфу, явно надеясь, что русский посол именно в этих выражениях и будет объясняться с Францем-Иосифом [75].

А в это же самое время нажим со стороны Наполеона III на Австрию становился все сильнее. Буоль советовал Францу-Иосифу не терять времени и сделать то, чего требовали французский император и кабинет Эбердина: окончательно примкнуть к выработанным в Париже и Лондоне «четырем условиям», которые в обеих западных столицах решено было предъявить Николаю.

13

Снятие осады с Силистрии и отступление русской армии за Дунай были немедленно учтены в Лондоне, Париже и Вене.

Уже в первые дни июля в Париж прибыл из Вены курьер, привезший принципиальное согласие Австрии на четыре гарантии, выработанные французским правительством, которые и решено было предложить России как основу будущего мирного договора.

По существу условия эти сводились к требованию полного очищения Молдавии и Валахии, к замене русского протектората над княжествами общим протекторатом всех великих держав, к свободе судоходства на Дунае, к передаче дела покровительства христианским подданным Турции в руки всех великих держав, наконец, к пересмотру договора 13 июля 1841 г. о проливах. Относительно последнего пункта Австрия, впрочем, еще пока делала ни к чему не обязывающие ее оговорки.

Как только этот проект был выработан, австрийское правительство окончательно решило исполнить то, о чем уже раньше были оповещены все державы и против чего сначала никто из представителей Англии, Франции и Пруссии не протестовал: занять те части Валахии, откуда уже в июне начали уходить русские войска. А как только об этом узнал прусский король, он внезапно заявил, что если так, то он не считает себя связанным договором с Австрией от 20 апреля. Этот очередной внезапный зигзаг прусской политики обусловливался все теми же общими причинами, как прежние и последующие ее колебания. Во-первых, Николай мог, раздраженный до последней степени, объявить войну Австрии и Пруссии, а он мог это сделать, не снимая войск из Крыма, и король Фридрих-Вильгельм IV это прекрасно знал и этого боялся; он знал также, что Николай на западной своей границе гораздо сильнее, чем в Крыму и на Дунае. Во-вторых, его постоянно брало сомнение, не слишком ли усилится Австрия, если она заполучит Дунайские княжества, в то же время снискав себе своим поведением благосклонность Наполеона III и этим обеспечив за собой свои итальянские владения, т. е. Ломбардо-Венецианскую область. Если это случится, то Австрия станет настолько могущественнее

32*

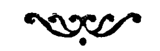
Пруссии, что ей незачем будет и считаться с прусской оппозицией во Франкфуртском союзном сейме. Франко-австрийский союз при этих условиях свел бы значение Пруссии в Европе к ничтожной величине. Все это и заставляло Фридриха-Вильгельма судорожно метаться между двумя лагерями в течение всей Крымской войны, напоминая, по непочтительному выражению Бисмарка, «пуделя, потерявшего своего хозяина (einen herrenlosen Pudel)», который пристает то к одному прохожему, то к другому.

Уход русской армии из Молдавии и Валахии ликвидировал развязавшую войну русскую агрессию против Турции, но так как руководители враждебной коалиции были не столько заинтересованы в целостности турецкой территории, сколько в организации успешного нападения на русскую территорию, то весной 1854 г. война не только не окончилась, но ее пожар стал разгораться все более и более.

Начинаются агрессивные военные действия обеих морских держав против России как на Черном море, так и на Балтийском.

На Черном море этот новый характер военных действий выразился в высадке в Варне, а на Балтийском море — появлением эскадры Чарлза Непира.

Комментарии



Введение

[1] Henderson J. B. *Crimean war diplomacy and other historical essays*. Glasgow, 1947, стр. 204.

[2] Впервые напечатано с несколькими другими письмами, которыми обменялись в мае и июне 1853 г. Николай с Францем-Иосифом, в газете *Neue Freie Presse*, 1924, № 2158. Ср. Dr. Koranyi. *Sprawa polska w dobie wojny Krymskiej*. Warszawa, 1929, стр. 8.

[3] Ленин В. И. *Сочинения*, т. 21, стр. 286.

[4] Кошелев А. И. *Записки*. Берлин, 1884, стр. 79—80.

[5] Письма Ф. И. Буслаева к А. А. Краевскому. В кн.: *Шестидесятые годы*. М.— Л., Изд. АН СССР, 1940, стр. 441.

[6] Соловьев С. М. *Записки*. [Пг.], б. г., стр. 150.

[7] Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ГПБ). Рукописное отделение, ф. 73. Архив В. А. Бильбасова, К.—9, В. 59. [Т. Н. Грановский]. Восточный вопрос с русской точки зрения. Копия. (Необходимо оговорить ошибку Е. В. Тарле: исходя из неправильной аттрибуции Госуд. Публичн. библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, он приписал Т. Н. Грановскому записку Б. Н. Чичерина «Восточный вопрос с русской точки зрения»— *Ред.*).

[8] *Т. Н. Грановский и его переписка*. Т. II. М., 1897, стр. 454—455.

[9] Там же, стр. 456—457. № 360. Москва, 2 октября 1855 г.

[10] Шелгунов Н. В. *Воспоминания*. М.— Л., 1923, стр. 24.

[11] Ср. Марков С. *Ялуторовск, Амур, Камчатка.— Омская область*, 1940, № 2, стр. 67—72.

[12] Kinglake A. W. *The invasion of the Crimea*. Vol. 1—6. Leipzig, 1855—1868.

[13] Чернышевский Н. Г. *Рассказ о Крымской войне*. М., 1953.

[14] Там же, стр. 179—180.

[15] Маркс К. и Энгельс Ф. *Сочинения*, т. XVI, ч. II, стр. 29.

[16] Сталин И. В. *Вопросы ленинизма*, 11 изд., стр. 361.

[17] Соловьев С. М. Цит. соч., стр. 152.

[18] Маркс К. и Энгельс Ф. *Сочинения*. т. XXIV, стр. 494.

[19] Peter von Meyendorff. *Politischer und privater Briefwechsel* (1826—1863). Bd. III. Berlin — Leipzig, 1923 (в дальнейшем — «Переписка Мейендорфа»). См. стр. 49, № 446. Meyendorff—Nesselrode, Vienne, 12(24) juillet 1853. Эта интересная политическая и интимная переписка Мейендорфа, хранившаяся до революции в его родовом замке, была, как видим, опубликована лишь в 1923 г.

[20] Архив Института истории русской литературы (ИРЛИ) — архив Аксаковых, ф. 3, оп. 12, № 25.

[21] Там же, № 14. Сергей Аксаков — Ивану Аксакову, 19 августа 1854 г.

[22] Там же. Оп. 2, N 80. Иван Аксаков — А. И. Кошелеву. Серпухов, 23 мая 1854 г.

[23] ГПБ, Рукописн. отд. архив Н. К. Шильдера, К.— 16, № 9. Из переписки Николая I с кн. М. С. Воронцовым. «Из письма кн. Воронцова государю от 18(30) января 1854 г.».

[24] ГПБ, Рукописн. отд. ф. № 379, Ф. П. Корнилова, № 3. Черновик. 1849. Точной даты нет. Вероятно, самые последние дни марта или начало апреля 1849 г. Закревский — Николаю I.

[25] ЦГИАЛ — архив б. министерства финансов. Рукопись (1857 г.): «Специальное обстоятельство по устройству в России механических и металлургических заведений».

[26] Государственный литературный музей (Москва), № 2966. Записки кн. Д. А. Оболенского. Записи под 13 и под 15 января 1854 г.

[27] Там же. Запись под 25 января 1854 г.

[28] Hoseason J. C. *Remarks on the late war with Russia*. London, 1857, стр. 40—44.

[29] Бутковский Я. *Сто лет австрийской политики*. Т. II. СПб., 1888, стр. 63.

[30] Имеретинский Н. К. *Из записок старого преображенца*.— *Русская старина*, 1893, т. 80, стр. 279.

[31] Из дневника и записной книжки Н. Х. Граббе.— *Русский архив*, 1889, № 10, стр. 707. Запись от 12 января 1859 г.

[32] Казахстанская публичная библиотека (Алма-Ата). Рукописное отделение Инв. № 32. Бумаги Хрулева. Дело о смотре Кишиневского военного госпиталя 4 октября 1854 г.

[33] Заметки артиллериста Б.— *Русская старина*, 1875, ноябрь, стр. 565. Они писаны в 1856 г., изданы в 1875 г., но автор (как и многие другие писавшие о Крымской войне свои воспоминания) не решился подписать свои показания полной фамилией.

[34] Там же.

[35] Центральный государственный архив военно-морского флота (ЦГАВМФ), ф. 19, Меншикова, оп. 4, Сев. отд., д. 35. «Восточный вопрос с русской точки зрения».

[36] Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, 2 изд., т. 11, стр. 604.

[37] Bouët-Willaumez. *La flotte française en 1852*.— *Revue des deux mondes*, 1852, t. XIV, стр. 89 — 91.

[38] Данные по общему привозу и вывозу из Сборника сведений по истории и статистике внешней торговли России. Т. I. СПб., 1902, стр. 117—141. Таблицы ввоза и вывоза. Государственная внешняя торговля в разных ее видах.

[39] Цит. в кн.: Puryear V. J. *England, Russia and the Straits Question 1844—1856*. Berkeley (California), 1931, стр. 91.

[40] Журн. мин. внутр. дел, 1854, январь, отдел III, стр. 3. Хлебная торговля в черноморских и азовских портах южной России. По документам и сведениям Главного статистического к-та Новороссийского края.

[41] Маркс К. и Энгельс Ф. *Сочинения*, 2 изд., т. 11, стр. 226.

[42] Levasseur E. *Histoire du commerce de la France*. T. II. Paris, 1912, стр. 800—801.

[43] Ср. Jorga N. *Geschichte des Osmanischen Reiches*. Bd. V. Gotha, 1913, стр. 438—439.

[44] «Une statistique commerciale prise pour ce qu'elle peut valoir»,— говорит об этой турецкой статистике и Joseph Garnier в своей рецензии на книгу Убичини в *Journal des économistes*, 1851, № 8. Убичини считает, что из 4 млн. мусульман настоящих турок всего один миллион сто тысяч. Но это не согласуется даже с его собственными дальнейшими указаниями.

[45] Bright J. *The diaries*. New York, 1931, стр. 170. Запись под 29 апреля 1854 г.

[46] Чайковский М. (Садык-Паша). *Заметки и воспоминания*.— *Русская старина*, 1904, декабрь, стр. 573.

[1] *Русская старина*, 1896, июнь, стр. 451.

[2] Эвальд А. *Рассказы о Николае I.— Исторический вестник*, 1896, июль, стр. 55.

[3] Соловьев С. М. Цит. соч., стр. 117.

[4] Яковлев записал это в своем рукописном *Хлыновском наблюдателе*. См. *Русская старина*, 1903, июль, стр. 214 (Кибасов И. *Павел Лукьянович Яковлев*).

[5] ГПБ, Рукописн., отд., архив Н. К. Шильдера, К—4, № 11. Имп. Николай I — цесаревичу. С.-Петербург, 29 ноября (11 декабря) 1827 г.

[6] Там же. Из бумаг М. М. Попова.

[7] Bernhardi Th. *Briefe und Tagebuchblätter aus den Jahren* 1834—1857. Leipzig, 1893, стр. 352.

[8] Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина. Рукописный отдел, № 7812, л. 22.

[9] Ср. Gilson A. *The czar and sultan*, стр. 30. (Серия памфлетов: *The subject of the day*).

[10] ГПБ, Рукописн. отд., архив Н. К. Шильдера, К — 4, № 11. Из бумаг М. М. Попова.

[11] Из дневника и записной книжки П. Х. Граббе.— *Русский архив*, 1889, № 2, стр. 634.

[12] Gerlach L. *Denkwürdigkeiten*. Bd. II. Berlin, 1892, стр. 336.

[13] Из записок Н. К. Лебедева.— *Русский архив*, 1888, № 4, стр. 623.

[14] Соловьев С. М. Цит. соч., стр. 150.

[15] *Denkwürdigkeiten aus den Papieren des Freiherrn Ch. F. von Stockmar*. Braunschweig, 1872, стр. 625.

[16] Там же, стр. 626.

[17] ГПБ, Рукописн. отд., архив Н. К. Шильдера К— 4, № 11. Из путешествия академика Якоби в 1851 г.

[18] Святое мирское дело.— *Русский архив*, 1905, № 8, стр. 539.

[19] Я пользовался английским дополненным и авторизованным изданием: Vitzthum von Eckstaedt C. F. *Reminiscences*. St. Petersburg and London in the years 1852 — 1864. Vol. I. London, 1887, стр. 6.

[20] Bernhardi Th. Цит. соч., стр. 234.

[21] Пушкин допустил описку: после слова: «Каннинга» в скобках: Strangford вместо Stratford.

[22] «...The real reason for Tsar's action has never been revealed...»,— говорит также автор новейшей специальной монографии о Стрэтфорде-Каннинге Malcolm-Smith S. F. *The life of Stratford-Canning*. London, 1933, стр. 148.

[23] Там же, стр. 150 — 151.

[24] Рассказ сэра Гамильтона Сеймура графу Фитцтуму фон Экштедту. Vitzthum von Eckstaedt Ch. F. Цит. соч., стр. 29 — 30.

[25] Мартенс Ф. *Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россиею с иностранными державами*. Т. XII. СПб., 1898, стр. 63—64, № 442.

Переписка по делу о задержании «Уиксена» напечатана в 1940 г. в *Красном архиве* (№ 5) проф. Бушуевым: *Англо-русский инцидент со шхуной «Виксен»*.

[26] *Собрание трактатов и конвенций...*, Т. XII, стр. 65, № 442.

[27] Там же, стр. 80, № 442. Там же дальнейшее о приеме у Пальмерстона.

[28] Там же, стр. 232, № 453.

[29] Николай I — Александре Федоровне. Windsor castle (письмо, как и все его письма к жене,—на французском языке), le 7 juin 1844. Schi-

e m a n n Th. *Geschichte Russlands unter Nikolaus I.* Bd. IV. Berlin — Leipzig, 1919, стр. 366. Anlage I.

[30] Герцен А. И. *Полное собрание сочинений и писем.* Т. III. Пг., 1919, стр. 332.

[31] Мартенс Ф. Россия и Англия в царствование императора Николая I. — *Вестник Европы*, 1898, март, стр. 39.

[32] Temperley H. *The Crimea.* London, 1936, стр. 255.

[33] Denkwürdigkeiten aus den Papieren des Freiherrn Ch. F. von Stockmar. Цит. соч., стр. 396—399.

[34] Николай I — Александре Федоровне. Windsor castle, le 23 (4) juin à 6 1/2. Schiemann Th. Цит. соч., стр. 365. Anlage I.

[35] Бруннов — Орлову, 8(20) августа 1844 г. См. документы, изданные Зайончковским: Зайончковский А. М. *Восточная война.* Т. I. Приложения. СПб., 1908, прилож. № 16.

[36] Temperley H. Цит. соч.; Henderson J. B. Цит. соч.

[37] ГПБ, Рукописн. отд., архив Н. К. Шильдера, К— 4, № 11. Из бумаг М. М. Попова

[38] Паскевич — Николаю I, 24 сентября (6 октября). См. Щербатов. *Генерал-фельдмаршал князь Паскевич.* Т. VII. СПб., 1904, стр. 31.

[39] Bapst E. *Les origines de la guerre de Crimée.* Paris (1912), стр. 206.

[40] ГПБ, Рукописн. отд., архив Н. К. Шильдера, К—4, № 4. Барон Мейендорф — графу Нессельроде. Вена, 17 (29) декабря 1851 г. Резолюция тут же.

[41] Vitzthum von Eckstaedt. Цит. соч., стр. 13.

[42] Граф Буоль—графу Менсдорфу. Вена, 24 декабря 1852 г. Зайончковский А. М. Цит. соч. Т. I. Приложения, прил. № 81.

[43] Gerlach L. *Denkwürdigkeiten.* Bd. I. Berlin, 1891, стр. 839.

[44] ГПБ, Рукописн. отд., архив Н. К. Шильдера, К— 4, № 11. Пролог Восточной войны, 1852, л. 23, 24, 30.

[45] ЦГИАМ, ф. 573, оп. 1, д. 604, л. 21—23.

[46] Mein Schweger Buol ist der grösste politische Hundesfott, der mir ja vorgekommen ist und den es überhaupt geben kann.

[47] Щербатов. Цит. соч. Т. VII, стр. 41.

[48] ГПБ, Рукописн. отд., архив Н. К. Шильдера, К— 4, № 11. Coup d'Etat в Париже.

[49] *Histoire diplomatique de la crise orientale de* 1853 *à* 1856, *d'après les documents inédits.* Bruxelles, Leipzig, 1858, стр. 28.

[50] Hübner. *Neuf ans de souvenirs d'un ambassadeur d'Autriche à Paris* (1). Paris, 1904, стр. 216—217.

[51] Lieven D. *The unpublished diary and political sketches*, ed. by H. Temperley. London, 1925, стр. 227.

[52] Разговор этот происходил 13 мая 1857 г. См. Заблоцкий-Десятовский А. П. *Граф П. Д. Киселев.* Т. III. СПб., 1882, стр. 21.

[53] *Русский архив*, 1893, № 7, стр. 425.

[54] Hübner. Цит. соч., стр. 107.

[55] Всеподданнейший отчет государственного канцлера за 1852 г. Зайончковский А. М. Цит. соч., т. I. Приложения, прил. № 87.

[56] Герцен тут цитирует по памяти и неточно слова Гоголя о Чичикове. «...господин... ни слишком толст, ни слишком тонок, нельзя сказать, чтобы стар, однакож, и не так, чтобы слишком молод» (Герцен А. И. *Полное собрание сочинений и писем.* Т. XIV. Пг., 1920, стр. 745).

[57] Сб. *Шестидесятые годы.* Цит. изд., стр. 16—20.

[58] Thouvenel L. *Nicolas I et Napoléon III. D'après les papiers inédits.* Paris, 1891, стр. 1—2.

[59] ГПБ, Рукописн. отд., архив Н. К. Шильдера. К — 4, № 4. К истории войны 1853 и 1854 гг. на Дунае. Дипломатическая часть.

[60] Lord Malmesbury to lord Cowley, H. M. Ambassador at Paris. Foreign Office. December 20, 1852 (см. Earl of Malmesbury. *Memoirs of an ex-minister*. London, 1885, стр. 287).

[61] ...the Emperor has done quite enough to satisfy the parti prêtre.

[62] [Jomini]. Etude diplomatique sur la guerre de Crimée. T. I. St.-Pétersbourg, 1878, стр. 177 (выпущено было анонимно).

[63] Persigny. *Mémoires, publiés avec les documents inédits*. Paris, 1896, стр. 214—215.

[64] Щербатов. Цит. соч., т. VII, стр. 9.

[65] Parliamentary Debates. 3 series, т. CXXXV, стр. 1532. Заседание палаты лордов 10 августа 1854 г. Речь Кларендона: ...the prestige of Russia for her overwhelming military power and her unequalled diplomatic skill have been completely dispelled...

[66] ...le caractère du nouveau représentant, M. de la Cour, avantageusement connu par ses antécédents diplomatiques à Vienne, semblerait offrir également l'indice d'une politique plus sage et plus modérée. Зайончковский А. М. Цит. соч. Т. I. Приложения, прил. № 87.

[67] Сеймур—лорду Мэмсбери. St.-Petersburg, August 12, 1852. Schiemann Th. Цит. соч., стр. 400. Anlage X. Письмо посылается с оказией—by opportunity.

[68] ЦГАВМФ, фонд 19, Меншикова. Оп. 4, д. 35, л. 40, 16 декабря 1852 г.

[69] Там же, л. 91. О состоянии войск Севастопольского десантного отряда. Июнь 1853 г.

Глава II

[1] Lord J. Russel à Sir Hamilton Seymour, Foreign Office, le 9 février 1853. Зайончковский А. М. Цит. соч. Т. I. Приложения, прил. № 99.

[2] Устная нота Нессельроде — Сеймуру 21 февраля 1853 г. Там же, прил. № 100.

[3] Частное письмо Нессельроде— Бруннову 2 января 1853 г., № 5. Там же, прил. № 101

[4] Emperor Napoleon to lord Malmesbury. Aux Tuileries, le 7 février 1853; Lord Malmesbury to Louis Napoleon, Heron Court. February 15, 1853. Earl of Malmesbury. Цит. соч., стр. 293—294.

[5] Эти отзывы лорда Каули, записанные Брунновым, сохранились в архиве русского посольства в Лондоне, и в 1922 г. с них были сняты копии Гоуардом, который их и напечатал в 1934 г. в журнале *The English historical review*, 1934, July, стр. 502—505. Howard H. E. Lord Cowley on Napoleon III in 1853.

[6] Vitzthum von Eckstaedt. Цит. соч., стр. 70—71.

[7] Там же, стр. 102.

[8] Там же.

[9] «With provocative ostentation», как признает даже и новейший английский историк C. E. Villiamy. Crimea. London, 1939, стр. 50.

[10] Рукописная записка Михаила Волкова: «Что довело Россию до настоящей войны..., посвященная князю Александру Михайловичу Горчакову». Зайончковский А. М. Цит. соч. Т. I. Приложения, прил. № 30.

[11] Граф Нессельроде— князю Меншикову из С.-Петербурга, 28 января 1853 г., № 45. Там же, прил. № 105.

[12] Рукописная записка Михаила Волкова: «Что довело Россию до настоящей войны». Там же, прил. № 30.

[13] Архив внешней политики России (АВПР), ф. Канцелярия, д. 73.

Brunnow — Nesselrode. Londres, le 13 (25) janvier 1853. Там же. Brunnow — Nesselrode. Londres, le 10 (22) janvier.

[14] Там же, ф. К., д. 73. Brunnow — Nesselrode. Londres, le 14 (26) janvier 1853.

[15] Там же, ф. К., д. 73. Brunnow — Nesselrode. Londres, le 5 février, 1853.

[16] Под «словечком от Ватерлоо» понимается известное грубое бранное (нецензурное) слово, которым генерал Камбронн в конце битвы под Ватерлоо ответил англичанам на предложение о сдаче.

[17] Ср. характерное примечание на 162 стр. I тома цитированной работы Жомини.

[18] ЦГАВМФ, фонд Меншикова, оп. 2, д. 67. Меншиков—Гессу, le 13(25) avril 1853.

[19] АВПР, ф. К., д. 73. Brunnow — Nesselrode. Londres, le 20 mars (1 avril) 1853, № 65.

[20] Projet d'un acte séparé et secret. Зайончковский А. М. Цит. соч., Т. 1. Приложения, прил. № 111.

[21] АВПР, ф. К., д. 73. Copie d'une note verbale remise au ministre des affaires étrangères de la Porte.

[22] Там же.

[23] Меншиков — канцлеру. Пера, 12(24) марта 1853 г. Зайончковский А. М. Цит. соч. Т. I, Приложения, прил. № 115.

[24] Полный текст речи Персиньи и описание заседания совета министров см. Persigny. Цит. соч., стр. 226—235.

[25] АВПР, ф. К. д. 73. Brunnow — Nesselrode. Londres, le 7 (19) mars 1853, № 53.

[26] Там же, ф. К., д. 73, № 57, л. 299. Бруннов—Меншикову. Лондон, 10(22) марта 1853.

[27] Там же, ф. К., д. 73. Brunnow— Nesselrode. Londres, le 8 (20) avril 1853.

[28] Ср. Hübner. Цит. соч., стр. 118. *Запись от 10/II 1853 г.*

[29] АВПР, ф. К., д. 73. «Список с отношения князя Меншикова к барону Бруннову». Константинополь, 30 марта (11 апреля) 1853 г. Ad N 105.

[30] Там же, ф. К., д. 73. Brunnow — Nesselrode. Londres, le 21 avril (3 mai) 1853.

[31] ЦГАВМФ, фонд 19, Меншикова, оп. 2, д. 67, л. 6. Constantinople, le 13(25) avril 1853.

[32] Temperley H. Цит. соч., стр. 322—323.

[33] Там же, стр. 324—326.

[34] *Die hervorragendsten Persönlichkeiten auf dem russisch-türkischen Kriegsschauplatz.* Leipzig, 1854, стр. 35.

[35] Там же.

[36] Dernière phase de la négociation depuis la note responsive de Rifaat-Pacha etc. Зайончковский А. М. Цит. соч., т. I. Приложения, прил. № 139—140.

[37] ЦГАВМФ, фонд 19, Меншикова, оп. 2, д. 67, л. 4. Vienne, le 9 mai 1853.

[38] Там же, д. 67, Меншиков — Гессу. Boujouk-dere, le 8(20) mai 1853.

[39] Temperley H. Цит. соч.

[40] ЦГИАМ, ф. 722, оп. I, g. 199, л. 65. Соображения, относящиеся до исполнения высочайших повелений, изображенных в записке его императорского высочества Управляющего морским министерством, 21 мая 1853 г. На одесском рейде, 18 июня 1853 г. № 27.

[41] Malcolm-Smith S. F. Цит. соч., стр. 266.

[1] [J o m i n i.] Цит. соч., стр. 167.

[2] T h o u v e n e l L. Цит. соч., стр. 147—154.

[3] ЦГАВМФ, фонд 19, Меншикова, оп. 2, д. 36, л. 4. En rade d'Odessa, le 28 juin 1853.

[4] АВПР, ф. К., д. 73, № 111. Brunnow—Nesselrode. Londres, le 21 avril (3 mai) 1853.

[5] Там же, д. 73. № 86. Brunnow— Nesselrode. Londres, le 8 (20) avril 1853.

[6] Там же, д. 50. Nesselrode — Seymour. Note verbale remise au Ministre d'Angleterre le 3 avril 1853.

[7] Там же, д. 74. Brunnow — Nesselrode. Londres, le 2 (14) mai 1853.

[8] Там же, д. 73, № 88. Brunnow — Nesselrode. Londres, le 8 (20) avril 1853.

[9] Там же, д. 73, № 86. Louis Napoléon et M. Drouyn de Lhuys, *sont deux* (подчеркнуто в подлиннике). L'un contredit l'autre.

[10] Там же, № 92. Brunnow — Nesselrode. Londres, le 8 (20) avril 1853.

[11] «A la longue, nos deux ambassadeurs ne feraient pas bon ménage. J'en ai le pressentiment». Там же, д. 73, Londres, le 21 avril (3 mai) 1853.

[12] Там же, д. 74. Londres, le 20 mai (1 juin) 1853.

[13] G u i c h e n. *La guerre de Crimée et l'attitude des puissances européennes*. Paris, 1936, стр. 22.

[14] АВПР, ф. К., д. 117. Walewski — Drouyn de Lhuis. Londres, le 13 mai 1853.

[15] Там же, д. 74. Brunnow — Nesselrode. Londres, le 13(25) mai 1853.

[16] Там же, д. 74, № 123. Brunnow — Nesselrode. Londres, le 15 (27) mai 1853.

[17] Там же, д. 76. Brunnow — Nesselrode. Londres, le 16 (28) mai 1853.

[18] Там же, д. 76. Nesselrode — Brunnow, le 20 mai (1 juin) 1853.

[19] Там же, д. 50. Rechid-pacha — Stratford de Redcliffe. Balta-Liman, le 21 juin 1853

[20] Там же, д. 50. Alison — Redcliffe. Therabia, le 22 juin 1853.

[21] Ч а й к о в с к и й М. Турецкие анекдоты, стр. 151. Под этим нелепым названием были изданы в 1883 г. в Москве воспоминания этого странного и неглупого политического скитальца, польского патриота на турецкой службе.

[22] АВПР, ф. К., д. 74, № 132. Londres, le 26 mai (7 juin) 1853.

[23] Там же, д. 74. Brunnow—Nesselrode. Londres, le 26 mai (7 juin) 1853.

[24] Там же, Brunnow — Nesselrode. Londres, le 20 mai (1 juin) 1853.

[25] Ср. T e m p e r l e y H. Цит. соч., стр. 333. The British and the Russian decisions were taken simultaneously but independently of one another.

[26] АВПР, ф. К., д. 74, № 133. Londres, le 26 mai (7 juin) 1853.

[27] Там же, карт. 111. Brunnow — Nesselrode. Londres, le 26 mai (7 juin) 1853.

[28] Там же, д. 50. Communication anglaise. Clarendon — Seymour, N 93. Londres, le 7 juin 1853.

[29] Там же. Particulière. Londres, Foreign Office, le 7 juin 1853.

[30] Там же, № 96. Communication anglaise. Clarendon—Seymour. Londres, le 8 juin 1853.

[31] Там же, ф. К., д. 50. Clarendon— Seymour. Londres, le 8 juin 1853.

[32] АВПР, ф. К., д. 74, № 166. Brunnow — Nesselrode. Londres, le 17(29) juin 1853.

[33] Palmerston in june and july submitted to be overruled with good grace. Temperley H. Цит. соч., стр. 338.

[34] АВПР, ф. К., д. 74, № 140. Brunnow—Nesselrode. Londres, le 3 (15) juin 1853.

[35] Там же, д. 50, Seymour — Nesselrode, le 10 juin 1853.

[36] Там же, д. 111. Londres, le 2 (14) juin 1853, six heures du soir.

[37] Там же, д. 74, № 114. Londres, le 17 (29) juin 1853.

[38] Там же, д. 111. Brunnow — Nesselrode. Londres, le 16 (28) juin 1853.

[39] Там же, д. 74, № 197. Londres, le 1(13) juillet 1853.

[40] Там же, № 199. Rade, le 3(15) juillet 1853.

[41] Там же, д. 30. Nesselrode — Nicolas I, le 22 juin 1853.

[42] Там же, д. 30. Nesselrode — Nicolas I, le 10 juillet 1853.

[43] Там же, д. 74, № 185. Londres, le 24 juin (6 juillet) 1853.

[44] Там же, д. 30. le 16 juillet 1853.

[45] Там же, д. 76. Nesselrode— *Brunnow, le* 4(17) juillet 1853.

[46] Loftus A. *The diplomatic reminiscences*. Vol. I. Leipzig, 1892, стр. 168.

[47] АВПР, ф. К., д. 113. Nesselrode — Kisseleff, le 26 mars 1853.

[48] Там же, д. 111. Kisseleff — Nesselrode. Paris, le 12(24) avril 1853.

[49] Там же, д. 111, № 48. Kisseleff — Nesselrode. Paris, le 23 avril (5 mai) 1853.

[50] *Die hervorragendsten Persönlichkeiten auf dem russisch-türkischen Kriegsschauplatz*. Цит. соч., стр. 43.

[51] АВПР, ф. К., д. 111. Kisseleff — Nesselrode. Paris, le 16(28) mai 1853.

[52] Там же, д. 112. Kisseleff — Nesselrode. Paris, le 31 mai (12 juin) 1853.

[53] Там же, № 72. Kisseleff — Nesselrode. Paris, le 1 (13) juin 1853.

[54] Там же, № 74. Kisseleff — Nesselrode, le 7(19) juin 1853.

[55] Там же, Kisseleff — Nesselrode. Paris, le 28 mai (9 juin) 1853.

[56] Там же, № 82. Kisseleff— Nesselrode. Paris, le 24 juin (6 juillet) 1853.

[57] Там же, д. 74, № 175. Londres, le 6 juillet 1853.

[58] Там же, № 178.

[59] Там же, д. 117. Drouyn de Lhuis — Castelbajac. Paris, le 6 juillet 1853.

[60] Там же, д. 36. Memorandum confidentiel. Castelbajac—Nesselrode. Paris, le 27 juin (9 juillet) 1853.

[61] Там же, д. 112, № 36. Kisseleff — Nesselrode. Paris, le 1 (13) juillet 1853.

[62] Там же, д. 76. En chiffres. Nesselrode — Brunnow, le 1(13) juillet 1853.

[63] Меттерних — Буолю фон Шауэнштейну. Wien, den 5 Mai 1853. Briefwechsel des Staats-Kanzlers Fürsten Metternich. Herausg. v. C. Burckhart. München u. Berlin, 1934, стр. 85, № 62

[64] Меттерних — Буолю, den 2 Juni 1853. Там же, стр. 88, № 64.

[65] АВПР, ф. К., д. 113. Nesselrode — Kisseleff, le 13 juin 1853.

[66] Там же, ф. К., д. 76. Nesselrode — Brunnow, le 3(15) juin 1853.

[67] Friedjung H. *Der Krimkrieg und die oesterreichische Politik*. Stuttgart, 1911, стр. 25.

[68] Переписка Мейендорфа, т. III, стр 17, № 431.

[69] Там же, стр. 18, № 432.

[70] Там же, стр. 15—16, № 429.
[71] Там же, стр. 18—21, № 433, 434, 435.
[72] Там же, стр. 28—29, № 437, le 4(16) juin 1853.
[73] Там же, стр. 30—32, № 438. Vienne, le 10(22) juin 1853.
[74] Там же, стр. 23, № 435. Von Brunnow. Londres, le 1(13) juin 1853.
[75] Там же, стр. 34, № 441. Vienne, le 18(30) juin 1853.
[76] Там же, стр. 38, № 442. Будберг — графу Нессельроде. Berlin, le 19 juin (1 juillet) 1853.
[77] АВПР, ф. К., д. 117. Howard — Seymour. Berlin, le 29 mai 1853.
[78] Там же, ф. К., д. 74, № 176. Londres, le 6 juillet 1853.

Глава IV

[1] АВПР, Ф. К. 30. Собственноручная заметка Николая I (17 мая 1853). Копия ее увезена была Мейендорфом в Вену и оказалась в его частном архиве, где ее и нашел издатель трехтомной переписки барона Мейендорфа Отто Гетцш в 1923 г. (Peter von Meyendorff, Instruktion für Meyendorff, т. III, стр. 16, № 430). Я здесь пользуюсь рукописью Архива внешней политики России.
[2] *В отличие от другой ветви этой семьи, писавшейся: Голицыны.*
[3] ЦГАВМФ, фонд 19, Меншикова, д. 72. Голицин — Меншикову. Peterhof, le 13 juin 1853.
[4] Bright J. Цит. соч., стр. 149. Запись о разговоре Броуна с Джоном Брайтом под 4 июля 1853.
[5] Васильчиков В. И. *Записки.— Русский архив*, 1891, № 6, стр. 169.
[6] АВПР, Ф. К., д. 30. Nesselrode — Nicolas I, le 5 juin 1853.
[7] К. Л. Н. *Воспоминания о Дунайской кампании.— Военный сборник.* Т. LXXXIX, 1873, стр. 416 — 417.
[8] Воспоминания офицера о военных действиях на Дунае.— *Русский вестник*, 1887, июнь, стр. 759.
[9] ГПБ, Рукописн. отд., архив Н. К. Шильдера, К. 15, № 2. Записки Берга о кампании против турок в 1828 г.
[10] Щербатов. Цит. соч., т. VI. СПб., 1899, стр. 178.
[11] Там же, стр. 64.
[12] Там же, стр. 172 — 173.
[13] ЦГИАМ, ф. 573, оп. 1, д. 704, л. 42—43. Паскевич — Мейендорфу. Varsovie, le 22 janvier (3 février) 1852.
[14] Меньков П. К. *Записки.* Т. II. СПб., 1898, стр. 169—170.
[15] Там же, т. I, стр. 20—21.
[16] ЦГАВМФ, фонд 19, Меншикова, оп. 2, д. 36. Князь Варшавский — Меншикову. Varsovie, le 12(24) juin 1853.
[17] Всеподданнейшая записка князя Паскевича, 11 сентября 1853 г.— *Русская старина*, 1876, август, стр. 689—697.
[18] Всеподданнейшая записка князя Паскевича. Варшава, 24 сентября 1853 г.— Там же, стр. 698—702.
[19] Барсуков Н. *Жизнь и труды М. П. Погодина.* Т. XIII. СПб., 1899, стр. 115—116.
[20] Петров А. Н., генерал-майор. *Дунайская кампания* 1853 *и* 1854 *гг.* Т. I. СПб., 1890, стр. 73 и др.
[21] На Висле и Дунае. Заметки артиллериста.— *Русская старина*, 1875, ноябрь, стр. 542.
[22] Jorga N. *Geschichte des rumänischen Volkes.* Bd. II. Gotha, 1905, стр. 300 — 305.
[23] [Ковалевский Е.] *Война с Турцией.* СПб., 1871, стр. 47 — 50. Издана книга анонимно. Автор был в 1853—1854 гг. доверенным

лицом и политическим секретным агентом русского правительства в турецких и австрийских славянских землях, а также в Молдавии и Валахии.

[24] АВПР, ф. К., д. 74, № 214. Londres, le 22 juillet (5 août) 1853.

[25] Там же, № 186.

[26] Там же, д. 30. Nesselrode — Nicolas I, le 8(20) novembre 1853.

[27] Там же, д. 50. Clarendon — Seymour. Foreign Office, le 13 mars 1853.

[28] [Jomini]. Цит. соч., стр. 487.

[29] ЦГИАМ, ф. 722, оп. 1, ед. хр. № 202, 1853 г., л. 324—325.

[30] ЦГАВМФ, фонд 19, Меншикова, оп. 2, д. 34. Бутурлин — Меншикову. Bucarest, le 11 novembre 1853.

[31] Воспоминания офицера о военных действиях на Дунае. — *Русский вестник*, 1887, июнь, стр. 760.

[32] ЦГАДА, ф. 30, оп. «Т», № 7, л. 4 об.— 5. (По кн. Е. В. Тарле изд. 1950 г.— *Ред.*)

[33] Алабин П. *Четыре войны. Походные записки* Ч. II. М., 1890, стр. 1—2.

[34] Там же, стр. 7.

[35] Там же, стр. 8.

[36] Там же, стр. 9.

[37] Там же, стр. 17 (20 июня, Бельцы).

[38] Там же, стр. 57.

[39] ЦГАВМФ, фонд 19, Меншикова, оп. 2, д. 34. Бутурлин — Меншикову. Bucarest, le 19 octobre 1853.

[40] Алабин П. Цит. соч., стр. 86—87.

[41] Там же, стр. 113 — 114.

[42] Там же, стр. 114.

[43] Воспоминания офицера о военных действиях на Дунае.— *Русский вестник*, 1887, апрель, стр. 570.

[44] ЦГАВМФ, фонд 19, Меншикова, оп. 2, д. 34. Bucarest, le 11 novembre 1853.

[45] Там же.

[46] Петров А. Н. Цит. соч., т. I, стр. 142 — 144.

[47] ЦГАВМФ, фонд 19, Меншикова, оп. 2, д. 72. Голицин — Меншикову, 12 ноября 1853 г.

[48] Симанский П. *Бой при Четати — Военный сборник*, 1904, январь, стр. 33.

[49] Там же, стр. 47.

[50] Меньков П. К. Цит. соч., т. I, стр. 86—87.

[51] Воспоминания офицера о военных действиях на Дунае.— *Русский вестник*, 1887, апрель, стр. 588.

[52] Там же, стр. 589.

[53] Там же, стр. 591.

[54] Там же, стр. 591 — 592.

[55] Там же, стр. 597.

Глава V

[1] ЦГАДА, ф. 3 — Госархив, разр. III, д. 135, л. 35—36. Нессельроде — Воронцову. St. Pétersbourg, le 6 octobre 1853.

[2] ГПБ, Рукописн. отд. Архив Н. К. Шильдера, К. 16, № 9. Из переписки имп. Николая I с кн. М. С. Воронцовым. Собственноручное письмо императора Николая князю Воронцову. Копия. 6 октября 1853 г.

[3] ЦГАДА, ф. 3. — Госархив, разр. III, д. 135, л. 23—24 об. Воронцов — Нессельроде. Tiflis, le 29 novembre 1853.

[4] ЦГАВМФ, ф. 19, Меншикова, оп. 2, д. 209. Корнилов — Серебрякову, 28 сентября 1853 г. Пароход «Владимир», на Севастопольском рейде.

[5] Там же, л. 117. Серебряков — Меншикову, 24 сентября 1853 г. Пароход «Могучий», на рейде поста Анаклин (это слово пишется в официальных документах чаще: Анакрия).

[6] Там же, л. 119. Меншиков — Серебрякову, Севастополь, 30 сентября 1853 г.

[7] Николай I — князю Воронцову, 6(18) октября 1853 г. — *Русская старина,* 1876, август, стр. 703—704.

[8] ЦГИАМ ф. 722, оп. 1, д. 204, л. 150. Письмо Меншикова от 10 ноября 1853 г.

[9] Ср. Thouvenel L. Цит. соч., стр. 264. Письмо Кастельбажака к Тувенелю от 14 ноября 1853 г.

[10] ЦГАВМФ, ф. 19, Меншикова. Кавказский отдел, оп. 4, д. 22. Копия. 15 ноября [1853 г.].

[11] АВПР, ф. К., д. 117, № 3. Anonyme — Castelbajac. Tiflis, le 21 novembre 1853.

[12] ЦГАВМФ, ф. 19, Меншикова, оп. 4, д. 22. Копия с рапорта кн. Воронцову от генерал-адъютанта Бебутова, 21 ноября 1853 г., № 743.

[13] ЦГАДА, ф. 3 — Госархив, разр. III, д. 115, л. 301—302 об. Extraits d'une lettre particulière de Tiflis, du 27 novembre (1853).

Глава VI

[1] АВПР, ф. К., д. 74. Brunnow — Nesselrode, le 6 juillet 1853.

[2] Ashley E. *The lite of viscount Palmerston.* Vol. II. London, 1876, стр. 26—28. Пальмерстон — Эбердину, July 4 1853.

[3] Там же, стр. 28.

[4] АВПР, ф. К., д. 74, № 201. Brunnow — Nesselrode. Londres, le 4(16) juillet 1853.

[5] ЦГАДА, ф. 3 — Госархив, разр. III, д. 115, л. 217—220 об. St. Pétersbourg, le 21 juin (3 juillet) 1853.

[6] АВПР, ф. К., д. 74. № 201. Brunnow — Nesselrode. Londres, le 4(16) juillet 1853.

[7] Ashley E. Цит. соч., т. II, стр. 33.

[8] АВПР, ф. К., д. 74, № 181. Londres, le 6 juillet 1853.

[9] ЦГИАМ ф. 728, л. 224—228. Николай I — Паскевичу, 17 июля 1853 г. (По кн. Е. В. Тарле изд. 1950 г. — *Ред.*).

[10] АВПР, ф. К., д. 74, № 206. Brunnow — Nesselrode. Londres, le 15 (27) juillet 1853.

[11] Там же.

[12] *Recent events in the East.* London, 1854, стр. 19. Это перепечатка ряда статей Уркуорта в *Морнинг адвертайзер* за осень 1853 г. Цитируемое открытие насчет Навуходоносора — в статье от 12 августа 1853 г.

[13] *Переписка Мейендорфа,* т. III, стр. 41, № 443. Vienne, le 25 juin (7 juillet) 1853.

[14] Там же, стр. 50, № 446. Vienne, le 15(27) juillet 1853.

[15] Донесение генерала Кастельбажака Друэн де Люису от 9 августа 1853 г. Впервые опубликовано в книге: Bapst E. *Les origines de la guerre de Crimée,* стр. 432—433.

[16] АВПР, ф. К., д. 112. Киселев — Нессельроде. Paris, le 22 juillet (3 août) 1853.

[17] Там же, Киселев — Нессельроде, le 22 juillet (3 août) 1853.

[18] Переписка Мейендорфа, т. III, стр. 59, № 450. Мейендорф — Паскевичу, le 24 juillet (5 août) 1854.

[19] Там же, стр. 61, № 452. Vienne, le 9(21) août 1853.

[20] Там же, стр. 63, № 453. Vienne, le 13(25) août 1853.

[21] АВПР, ф. К., д. 76. Нессельроде — Бруннову, le 29 juillet 1853.

[22] Николай I — Горчакову, 13(25) июля 1853 г. Напечатано впервые в кн.: Зайончковский А. М. Цит. соч., т. II, ч. 1, стр. 13.

[23] Будберг — Нессельроде, 10 (22) июля 1853 г., № 59. Берлин. Там же. Приложения, прил. № 25.

[24] Например, Malcolm-Smith S. F. *The life of Stratford Canning, Lord Stratford de Redcliffe.* London, 1933.

[25] АВПР, ф. К., д. 74, № 210. Бруннов — Нессельроде. Londres, le 15 (27) juillet 1853.

[26] Там же. Помета Николая сверху рукописи.

[27] Там же, д. 111. Бруннов — Нессельроде, le 15(27) juillet 1853.

[28] Переписка Мейендорфа, т. III, стр. 46. № 446. Vienne. le 12(24) juillet 1853.

[29] АВПР, ф. К., д. 75. № 218. Бруннов — Нессельроде. Londres, le 29 juillet (10 août) 1853.

[30] Там же, № 218. Бруннов — Нессельроде, Londres, le 29 juillet (10 août) 1853, конец донесения.

[31] Там же, д. 50. Seymour — Nesselrode, le 2(14) août 1853. Confidentiel.

[32] Thouvenel C. Цит. соч., стр. 246—247; L'Angleterre a tout intérêt à détourner les événements, et elle ne s'y épargnera pas. La véritable question d'Orient, pour elle, c'est la question de l'Inde...

[33] АВПР, ф. К., д. 75, № 227. Бруннов—Нессельроде. Londres, le 5(17) août 1853.

[34] Там же, д. 76. Nesselrode — Brunnow, le 20 août 1853.

[35] Переписка Мейендорфа, т. III, стр. 68, № 456. Vienne, le 20 août (1 septembre) 1853.

[36] ЦГАДА, ф. 69, т. XXVI, д. 1388. «Собственноручно начертанный его величеством проект письма на имя генерал-адъютанта князя Воронцова, 27 августа 1853 г.» (По кн. Е. В. Тарле изд. 1950 г. — *Ред.*).

[37] Переписка Мейендорфа. т. III. стр. 65. № 455. Vienne, le 16 (28) août 1853.

[38] Thouvenel C. Цит. соч., стр. 218.

[39] АВПР, ф. К., д. 112, № 103. Paris, le 18(30) août 1853.

[40] Там же, № 104. Paris, le 22 août (3 septembre) 1853.

[41] Там же, д. 36. № 39. Drouyn de Lhuis — Castelbajac. Paris, le 2 septembre 1853.

[42] Там же, д. 75, № 235. Brunnow — Nesselrode. Londres, le 19(31) août 1853.

[43] Там же, № 238. Londres, le 19(31) août 1853 (второе донесение от 31 августа).

[44] Там же, д. 111. Lettres de Brunnow. Brunnow — Nesselrode. Londres, le 14(26) septembre 1853.

[45] ЦГИАМ, ф. 728, л. 224—228. Николай I — Паскевичу, 30 августа 1853 г. (По кн. Е. В. Тарле изд. 1950 г. — *Ред.*)

[46] АВПР, ф. К., д. 112, № 110. Kisseleff — Nesselrode. Paris, le 9(21) septembre 1853.

[47] ЦГИАМ ф. 29 (728), Николай I — наследнику. 30 августа (11 сентября) 1853 г.

[48] АВПР, ф. К., д. 75, № 242. Londres, le 26 août (7 septembre) 1853.

[49] Там же, д. 111. Brunnow — Nesselrode. Londres, le 9(21) septembre 1853.

[50] Там же, д. 75, № 245. Brunnow — Nesselrode. Londres, le 4(16) septembre 1853.

[51] Там же, д. 111, № 108. Londres, le 4(16) septembre 1853.

[52] Там же, № 108—2. Brunnow — Nesselrode. Londres, le 7(19) septembre 1853.

[53] Bloomfield G. *Reminiscences of court and diplomatic life.* Vol. II. Leipzig, 1883, стр. 28.

[54] АВПР, ф. К., д. 51. Grande Bretagne. Clarendon — Westmorland, Foreign Office, le 20 septembre 1853.

[55] Там же, д. 76. Nesselrode — Brunnow, le 9(21) septembre 1853.

[56] Valentin V. *Bismarcks Reichsgründung im Urteil englischer Diplomaten.* Amsterdam, 1937, стр. 88.

[57] АВПР, ф. К., д. 75, ad № 251. Brunnow — Clarendon. Londres, le 13 (25) septembre 1853.

[58] Там же, № 251. Brunnow — Nesselrode. Londres, le 14(26) septembre 1853.

[59] Там же, № 256. Brunnow — Nesselrode. Londres, le 14(26) septembre 1853.

[60] Там же, д. 76. Nesselrode — Brunnow. Une annexe. Le 16 (28) septembre 1853.

[61] Там же, д. 75, № 257. Brunnow — Nesselrode. Londres, le 20 septembre (2 octobre) 1853.

[62] Там же, д. 112, № 112 (sic: номета дела и бумаги идентичны). Kisseleff — Nesselrode. Paris, le 23 septembre (5 octobre) 1853.

[63] Там же, № 111. Kisseleff — Nesselrode. Paris, le 24 septembre (6 octobre) 1853.

[64] Там же, д. 75. Brunnow — Nesselrode. Londres, le 22 septembre 1853.

[65] Там же, № 279. Brunnow — Nesselrode. Londres, le 17(29) octobre 1853.

[66] Там же, д. 30. Nesselrode — Nicolas I, le 7 octobre 1853. Помета сверху.

[67] Переписка Мейендорфа, т. III, стр. 87—89, № 466. Будберг — Мейендорфу. Berlin, le 19(31) octobre 1853.

[68] Там же, стр. 89—92, № 467. Vienne, le 29 octobre (10 novembre) 1853.

[69] Там же, стр. 85, № 465. Vienne, le 16 (28) octobre 1853.

[70] АВПР, ф. К., д. 111. Lettres de Brunnow. Londres, le 30 septembre (12 octobre) 1853.

[71] Там же, д. 76. Nesselrode — Brunnow, le 5(17) octobre 1853. Помета Николая I: «Быть по сему».

[72] Там же, д. 75. Londres, le 9(21) octobre 1853.

[73] Там же, д. 76. Nesselrode — Brunnow, le 14 octobre 1853.

[74] Ashley E. Цит. соч., т. II, стр. 49—50.

[75] Там же, стр. 45. Пальмерстон — Эбердину, 1 novembre 1853.

[76] АВПР, ф. К., д. 111. Brunnow — Nesselrode, le 17(29) octobre 1853.

[77] Там же, д. 75, № 290. Londres, le 26 octobre (17 novembre) 1853.

[78] Там же, д. 75, № 285. Brunnow — Nesselrode. Londres, le 26 octobre (7 novembre) 1853.

[79] Там же.

[80] Там же, в конце на полях.

[81] Там же, № 289. Brunnow — Nesselrode, Londres, le 26 octobre (7 novembre) 1853.

[82] Там же, № 299. Brunnow — Nesselrode. Londres, le 9 (21) novembre 1853.

[83] Там же, № 301. Brunnow — Nesselrode. Londres, le 14(26) novembre 1853.

[84] Там же, д. 112. Kisseleff — Nesselrode. Paris, le 16(28) octobre 1853.

[85] Reiset. *Mes souvenirs.* (II). Paris, 1902, стр. 225.

[86] АВПР, д. 112, № 113. Kisseleff — Nesselrode. Paris, le 1(13) novembre 1853.

[87] Там же, д. 112, № 134. Kisseleff — Nesselrode, le 2(14) novembre 1853.

[88] Там же, № 138. Kisseleff — Nesselrode. Paris, le 17(29) novembre 1853.

[89] Там же, № 139. Kisseleff — Nesselrode, Paris, le 17 (29) novembre 1853.

[90] Hübner. Цит. соч., стр. 180. Запись под samedi le 26 novembre.

[91] АВПР, ф. К., д. 75, № 286. Brunnow — Nesselrode. Londres, le 26 octobre (7 novembre) 1853.

[92] Там же, д. 76. Nesselrode — Brunnow, le 16 novembre 1853.

[93] Там же.

[94] Там же, д. 75, № 302. Brunnow — Nesselrode. Londres, le 14(26) novembre 1853.

[95] Там же, № 312. Brunnow — Nesselrode. Londres, le 1 (13) décembre 1853.

[96] Там же, д. 111. Lettres de Brunnow. Londres, le 21 novembre (3 décembre), 1853.

[97] Там же, д. 112, № 145. Kisseleff — Nesselrode. Paris, le 21 novembre (3 décembre) 1853.

[98] Там же, д. 113, № 147. Kisseleff — Nesselrode. Paris, le 24 novembre (6 décembre) 1853.

[99] Там же, д. 76. Nesselrode — Brunnow, le 4 décembre 1853.

[100] Loftus A. Цит. соч., стр. 167.

[101] АВПР, д. 113. Nesselrode — Kisseleff, le 2(14) décembre 1853. Помета Николая I: «Быть по сему».

[102] Там же, д. 113, № 148. Paris, le 27 novembre (9 décembre) 1853.

[103] Там же, № 150. Kisseleff — Nesselrode. Paris, le 30 novembre (12 décembre) 1853.

[104] Переписка Мейендорфа, т. III, стр. 99, № 470. Vienne, le 26 novembre (3 décembre) 1853.

[105] ЦГАДА, ф. 30 — Госархив, разр. XXX, № 171, л. 102 — 103 об. Собственноручное письмо Франца-Иосифа. Vienne, le 11 décembre 1853.

[106] АВПР, ф. К., д. 113, № 151. Kisseleff — Nesselrode. Paris, le 1(13) décembre 1853.

Глава VII

[1] *Морской сборник*, 1868, № 3, стр. 4.

[2] В. З. *Фрегат Бальчик — Морской сборник*, 1856, ноябрь, отд. III, стр. 224—250.

[3] Архив Севастопольского музея обороны, № 5077, папка VII. Воспоминания Ухтомского (подлинная рукопись).

[4] Там же.

[5] Афанасьев, капитан-лейтенант. *Ответ моряка «Русскому архиву».— С.-Петербургские ведомости*, 1868, 26 января, № 25.

[6] *Морской сборник*, 1868, № 3, стр. 9 (статья капитана 1-го ранга Асланбегова).

[7] Зайончковский А. М. Цит. соч., т. II, ч. 1, стр. 303.

[8] ЦГАВМФ, ф.19, Меншикова, д. 178 А. Sévastopol, le 26 novembre 1853. Черновик письма Меншикова к Алексею Орлову.

[9] Из воспоминаний кн. В. И. Барятинского.— *Русский архив*, 1905, № 1, стр. 97 — 98.

[10] Богданович Е. В. *Синоп*. СПб., 1878, стр. 95.

[11] Архив Севастопольского музея обороны № 5077, папка VII. Воспоминания Ухтомского (подлинная рукопись).

[12] *The Greville Memoirs*. Vol. VI. London, 1938, стр. 469.

[13] АВПР, ф. К., д. 75, № 314. Brunnow — Nesselrode. Londres, le 1(13) décembre 1853.

[14] ЦГАВМФ, ф. 19. Меншикова, д. 178 А. St.-Pétersbourg, le 19 décembre 1853.

[15] АВПР, ф. К., д. 75, № 313. Brunnow — Nesselrode. Londres, le 1(13) décembre 1853.

[16] Там же, № 316. Brunnow — Nesselrode. Londres, le 3(15) décembre 1853.

[17] Там же, д. 111. Lettres de Brunnow. Londres, le 1(13) décembre 1853.

[18] Там же, Londres, le 1(13) décembre 1853, à 7 heures du soir.

[19] Там же, д. 75, № 312. Brunnow — Nesselrode. Londres, le 1(13) décembre 1853.

[20] Там же, д. 113. Nesselrode— Kisseleff, le 2 décembre 1853. Помета Николая I: «Быть по сему».

[21] Там же, д. 75, № 315. Brunnow — Nesselrode. Londres, le 3(15) décembre 1853.

[22] ЦГАДА, ф. 3 — Госархив, разр. III, д. 115, лл. 297—299. Нессельроде — Бруннову. St.-Pétersbourg, le 4(16) décembre 1853.

[23] АВПР, ф. К., д. 75, № 318. Brunnow—Nesselrode. Londres, le 3(15) décembre 1853.

[24] Там же, № 319. Brunnow — Nesselrode. Londres, le 3(15) décembre 1853.

[25] Ashley E. Цит. соч., Т. II, стр. 52—53. Пальмерстон — Эбердину, le 10 décembre 1853.

[26] Ср., например, вышедшее в 1936 г. в Лондоне двухтомное исследование: Bell H. *Lord Palmerston*. Vol. II. London, 1936, стр. 74, или книгу Temperley. *The Crimea*. London, 1936. Что касается монографии Малькольма Смита о Стрэтфорде-Каннинге, то здесь ничего, кроме ничтожной полустранички о Синопе, мы, к удивлению, не находим. Достаточно сказать, что автор пресерьезно думает, что Синопский бой произошел не 30 ноября, а 30 декабря! И это — не опечатка. См. Malcolm-Smith S. F. Цит. соч., стр. 263.

[27] АВПР, ф. К., д. 75, № 321. Brunnow — Nesselrode. Londres, le 4(16) décembre 1853.

[28] ...And little Al, the royal pal, they say has turned a Russian... Ср. Strachey L. *Queen Victoria*. London (1935), стр. 154.

[29] АВПР, ф. К., д. 113, № 153. Kisseleff — Nesselrode. Paris, le 7(19) décembre 1853.

[30] Там же. Paris, le 3(15) décembre 1853 (шифровано).

[31] Там же, д. 75. Dépêche № 329. Londres, le 21 décembre 1853 (2 janvier 1854).

[32] Там же, № 324. Brunnow — Nesselrode. Londres, le 15(27) décembre 1853.

[33] ЦГАВМФ, ф. 19, Меншикова, оп. 2, д. 172, л. 293 об. Constantinople, le 8(20) mars 1854.

[34] Там же.

[35] См., например, брошюру 1854 г. *Die hervorragendsten Persönlichkeiten auf dem russisch-türkischen Kriegsschauplatz*. Цит. изд. Этот факт был широко известен дипломатам, сидевшим в Константинополе.

[36] Ср. Guichen. Цит. соч.

[37] Léouzon Le Duc. *La question russe*. Paris, 1853, стр. 276, 326.

[38] АВПР, ф. К., д. 113, № 155. Kisseleff—Nesselrode. Paris, le 16(28) décembre 1853. Шифрованная телеграмма — там же, № 156. Paris, le 18(30) décembre 1853.

[39] Там же, № 157. Paris, le 22 décembre 1853 (3 janvier 1854).

[40] Там же, д. 75, № 325. Brunnow — Nesselrode. Londres, le 15(27) décembre 1853.
[41] Там же, Dépêche № 326. Londres, le 17(29) décembre 1853.
[42] Там же, № 326. Brunnow— Nesselrode. Londres, le 15(27) décembre 1853.
[43] Там же, № 324. Brunnow— Nesselrode. Londres, le 15(27) décembre 1853.
[44] Там же, д. 30. Nesselrode — Nicolas I, le 19(31) décembre 1853.
[45] Там же, карт. 111: Lettres de Brunnow. Brunnow — Nesselrode. Londres, le 21 décembre 1853 (2 janvier 1854).
[46] Там же, д. 113, № 161. Kisseleff — Nesselrode, le 22 décembre 1853 (3 janvier 1854).
[47] ЦГАДА, ф. 3 — Госархив, разр. III, д. 135, л. 1—4 об. Воронцов — Нессельроде. Tiflis, le 18 janvier 1854.
[48] АВПР, д. 30. Записка Николая I. Копия. Сверху на полях рукописи следующая канцелярская надпись чернилами: «Подлинная записка имп. Николая Павловича положена в Госуд. арх. разряд IV, № 8, красн. нум. в 1900 году».
[49] ГПБ, Рукописн. отд., архив Н. К. Шильдера, К 4, № 11, Из заметок М. М. Попова.
[50] Государственный литературный музей (Москва), 1375/1. Письмо А. С. Хомякова к А. Д. Блудо́вой (без даты).

Глава VIII

[1] ЦГАДА, ф. 30 — Госархив, разр. XXX, д. 171, л. 178—179 об. Собственноручное письмо Фридриха-Вильгельма IV — Николаю I. Scharlottenburg, le 29 janvier 1854. Подписано «Fritz». Ошибка (или описка) в слове «vacillante» — «vascillante».
[2] ЦГАВМФ, ф. 19, Меншикова, оп. 4, д. 112. Краббе — Меншикову, 5 января 1854 г.
[3] Об этом споре см. Friedjung H. Цит. соч., стр. 3—4.
[4] Меттерних— Буолю фон Шауэнштейну. Vienne, le 27 janvier 1854. *Briefwechsel des Staatskanzlers Fürsten Metternich*, стр. 153, № 106.
[5] «Nicht der Anfang des Feldzuges 1854 sondern das Ende des Feldzuges kann den Moment bieten». Меттерних— Буолю фон Шауэнштейну. Wien, den 27 Mai 1854. — Там же, стр. 157, № 109.
[6] Переписка Мейендорфа, т. III, стр. 104, № 472. Vienne, le 11(23) décembre 1853.
[7] Там же, № 473. Vienne, le 26 décembre 1853 (7 janvier 1854).
[8] ЦГАВМФ, ф.19, Меншикова, д.178а, л. 82, le 6 janvier 1854.
[9] АВПР, оп. 4, д. 160. Nesselrode — Orloff, le 8(20) janvier 1854.
[10] Под словом «Allemagne» тогда понимались Австрия, Пруссия и весь Германский союз.
[11] Всеподданнейшее письмо графа Орлова 23 января (4 февраля) 1854 г. из Вены. Зайончковский А. М. Цит. соч., т. II. Приложения, стр. 262—264, прил. № 122.
[12] Hübner. Цит. соч., стр. 209.
[13] *Briefwechsel des Staatskanzlers Fürsten Metternich*. Цит. изд., стр. 155.
[14] Переписка Мейендорфа, т. III, стр. 117, № 477. Meyendorff—Nesselrode, le 22 janvier — 3 février 1854.
[15] *Briefwechsel des Staatskanzlers Fürsten Metternich*. Цит. изд., стр. 155, № 92; стр. 91, № 67 ...«Der Krieg muss die westlichen vier Mächte moralisch vereinen».
[16] АВПР, д. 159, № 12. Meyendorff — Nesselrode, le 22 janvier (3 février) 1854.
[17] Там же, д. 160. Orloff — Nesselrode. Vienne, le 26 janvier (7 février) 1854.

[18] ЦГИАМ. Собственноручное письмо Николая I — Францу-Иосифу. St.-Pétersbourg, le 17 février (1 mars) 1854. (По кн. Е. В. Тарле изд. 1950 г.— *Ред.*).

[19] АВПР, ф. К., д. 159, № 30. Meyendorff — Nesselrode. Vienne, le 9(21) février 1854.

[20] ЦГАДА, ф. 3—Госархив, разр. III, д. 112, л. 836 об. Lettre particulière au baron Meyendorff à Vienne. St.-Pétersbourg, le 13(25) février 1854.

[21] Переписка Мейендорфа, т. III, стр. 127. Vienne, le 15(27) février 1854. Письмо к Нессельроде, № 482.

[22] ЦГВИА, ф. 1/л, д. № 21933, л. 202—204. *Документы, перешедшие из канцелярии военного министерства. Собственноручная записка Николая I.*

[23] Переписка Мейендорфа, т. III, стр. 125, № 481. Vienne, le 14(26) février 1854.

Глава IX

[1] АВПР, ф. К., д. 113. Nesselrode — Kisseleff, le 23 décembre 1853 (4 janvier 1854).

[2] Там же, д. 105, № 166. Kisseleff — Nesselrode. Paris, le 29 décembre 1853 (10 janvier 1854).

[3] Там же, Kisseleff — Nesselrode. Paris, le 29 décembre 1853 (10 janvier 1854).

[4] Там же, № 3. Kisseleff — Nesselrode. Paris, le 7 (19) janvier 1854.

[5] Ср., например, его донесение от 19 января 1854 г. Там же, д. 105, № 3.

[6] Там же, № 9. Kisseleff — Nesselrode. Paris, le 14(26) janvier 1854.

[7] Там же, д. 76. Nesselrode — Brunnow, le 31 décembre 1853 (12 janvier 1854).

[8] Там же, д. 83. Londres, le 20 janvier (1 février) 1854.

[9] Там же, д. 105, № 11. Kisseleff — Nesselrode. Paris, le 17(29) janvier 1854.

[10] Полный официальный текст этой переписки см. в *Journal de St.-Pétersbourg*, 4 série, № 331, 1854, 12 février.

[11] АВПР, ф. К., д. 105, № 14. Приложение 3. Киселев — Друэн де Люису. Paris, le 23 janvier (4 février) 1854.

[12] Там же, № 15. Киселев — графу Нессельроде. Bruxelles, le 30 janvier (11 février) 1854.

[13] Там же, № 15. *Bruxelles, le 30 janvier (11 février) 1854.*

[14] ИРЛИ, ф. 3, архив Аксаковых, оп. 3, № 14. Сергей Аксаков — *Ивану Аксакову*, 1 февраля 1854 г.

[15] Там же. Сергей Аксаков — Ивану Аксакову, 8 февраля 1854 г.

[16] Там же. Сергей Аксаков — Ивану Аксакову, 15 февраля 1854 г.

[17] Усов П. С. *Из моих воспоминаний— Исторический вестник*, 1883, май, стр. 377.

[18] Государственный литературный музей (Москва), № 2966. Записки Д. А. Оболенского.

[19] Из дневника и записной книжки П. Х. Граббе.— *Русский архив*, 1889, № 4, стр. 559. Запись от 11 февраля 1854 г.

[20] Там же, стр. 561. Запись от 18 февраля 1854 г.

[21] Там же, запись от 21 февраля 1854 г.

[22] ГПБ, Рукописн. отд., архив Н. К *Шильдера*, К.— 4, № 11. Из заметок М. М. Попова.

[23] ЦГИАМ, ф. 722, оп. 1, д. 202, 1853 г., л. 87 — 96 об.

[1] Николай I — Горчакову. С.-Петербург, 7 января 1854 г. — *Русская старина*, 1876, октябрь, стр. 349.

[2] Там же.

[3] Там же.

[4] Ушаков Н. *Записки очевидца о войне России противу Турции и западных держав. Девятнадцатый век.* Кн. II. М., 1872, стр. 23.

[5] Алабин П. Цит. соч. Ч. 2, стр. 173—174.

[6] Генрици А. А. *Записки.— Русская старина*, 1877, октябрь, стр. 319.

[7] Ушаков Н. Цит. соч., стр. 58.

[8] Паскевич — Горчакову, 22 марта 1854 г. — *Русская старина*, 1876, февраль, стр. 401.

[9] Из дневника и записной книжки П. Х. Граббе.— *Русский архив*, 1889, № 4, стр. 574.

[10] Горчаков — Лидерсу, 26 марта 1854 г. — *Русская старина*, 1876, декабрь, стр. 830.

[11] ЦГВИА, ф. 1/л, д. № 21289, л. 3—5. По канцелярии военного министерства 1854 г. Собственноручно начертанный государем императором проект воззвания от имени генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского к единоверным братьям нашим в области Турции.

[12] Рукописное отделение Казахстанской публичной библиотеки. Бумаги Хрулева. Шильдер — Хрулеву, 11 генваря. Зимнич, что против Систова.

[13] Там же.

[14] Там же. Рапорт Хрулева — Шильдеру. Турно, 12 февраля 1854.

[15] Там же. Хрулев — Шильдеру, Турно, 13 февраля 1854 г.

[16] Там же. Приказ по войскам 3, 4 и 5 пехотных корпусов. Штаб-квартира, гор. Бухарест, марта 3 дня 1854. Подписано: Генерал-адъютант князь Горчаков (печатный экземпляр в бумагах Хрулева).

[17] Там же. Рапорт ротмистра Короленко генерал-лейтенанту Хрулеву, 23 февраля 1854. Селение Чакул.

[18] Там же. Рапорт Шильдера — Горчакову о деле 22 февраля 1854.

[19] Там же. Рапорт Хрулева — Горчакову. С. Ольтеница, 2 марта 1854.

[20] Ср. письмо кн. Михаила Павл. Голицина: «...des fureurs de la part de Schilder, des combats qu'on se livre sur papier, chose dont souffrait la discipline, et les subordonnés et bien triste dans le moment ou nous aurions besoin d'une grande unité d'action». ЦГВМФ, ф. 19, Меншикова, д. 72. Голицин—Меншикову.

[21] Рукописное отделение Казахстанской публичной библиотеки. Бумаги Хрулева. Черновик письма Шильдера — Хрулеву, № 16, 21 февраля 1854. Сел. Слободзея.

[22] Там же. Генерал-майор Заливкин — генерал-лейтенанту Хрулеву. С. Ольтеница, 3 марта 1854 г.

[23] Там же. Горчаков — Хрулеву, 1 марта, Бухарест.

[24] Ушаков Н. Цит. соч., стр. 74.

[25] Предписание кн. Паскевича — кн. Горчакову, 9 марта 1854 г. (со ссылкой на письмо от 8-го, где указывается на опасность, грозящую от австрийцев городу Каменцу и Подольской губернии).— *Русская старина*, 1876, февраль, стр. 393—395.

[26] Рукописное отделение Казахстанской публичной библиотеки. Бумаги Хрулева. Черновик донесения Шильдера — Горчакову, 18(30) марта 1854 г.

[27] Переписка Мейендорфа, т. III, стр. 131, № 484. Vienne, le 23 février (7 mars) 1854.

[28] Там же, стр. 135, № 485. Vienne, le 1(13) mars 1854.

[29] Там же, стр. 136, № 486. Vienne, le 9(21) mars 1854.

[30] Там же, стр. 134, № 485, le 1(13) mars 1854 (второе письмо от 1(13) марта за этим номером).

[31] Promemoria Friedrich-Wilhelms IV. Berlin, 27/II 1854. Напечатано в *приложениях к книге* Borries K. *Preussen im Krimkrieg*. Stuttgart, 1930, стр. 352. Anlage.

[32] Valentin V. Цит. соч., стр. 82.

[33] Меморандум сэра Гамильтона Сеймура из Берлина от 3 марта 1854 г. см. в названной выше книге Валентина, стр. 95 — 96. Эта книга дает много ценнейшего архивного материала о дипломатических отношениях Англии и Пруссии в годы Крымской войны. Файт Валентин — эмигрант — с 1933 г. получил в Лондоне доступ к фондам, к которым ни один немецкий историк не был до сих пор допущен. Из новейших английских историков,— Гарольд Темперлей, из американских - Джон Пурьир (Puryear), не интересуясь специально Пруссией, совсем этих фондов не трогали, а другие и вообще о Крымской войне в Foreign Office почти не работали.

[34] Borries K. Цит. соч., Anlage 7. Aufzeichnung Friedrich-Wilhelms IV, стр. 353 — 354.

[35] Сэр А. Мэлет — графу Кларендону. Франкфурт, 29 марта 1854 г. Anhang 14 — см. Valentin V. Цит. соч., стр. 508 — 511.

[36] ...especially when the possible advantages to Prussia even of a successful issue to such a war are fairly weighted. Там же, стр. 510.

[37] Там же, стр. 99.

[38] Parliamentary Debates. 3 series, vol. 132, 230 — 232.

[39] Там же, vol. 132, стр. 279.

Глава XI

[1] Маркс К. и Энгельс Ф. *Сочинения*, 2 изд., т. 10, стр. 274.

[2] Там же, стр. 275.

[3] Там же, стр. 280—281.

[4] Bernhardi Th. Цит. соч., стр. 234.

[5] Рукописное отделение Казахстанской публичной библиотеки. Бумаги Хрулева. Турецкие дела, 1854 г.

[6] Там же. Турецкие дела, 1854 г. Штабс-капитан Тидебиль — Хрулеву, 6 апреля 1854 г.

[7] Там же. Записка *карандашом*, Шильдер — Хрулеву, 7 апреля 1854 г.

[8] Там же. Шильдер — Хрулеву, 30 марта 1854 г.

[9] Там же. Хрулев — начальнику штаба генерал-лейтенанту Коцебу. Ольтеница, 18 апреля 1854 г.

[10] Там же. Шильдер — Хрулеву, 5 апреля 1854 г.

[11] ЦГАВМФ, ф. 19, Меншикова, д. 194. Греве— Меншикову. Бухарест, 23 апреля 1854 г.

[12] Рукописное отделение Казахстанской публичной библиотеки. Бумаги Хрулева. Рапорт генерал-адъютанта Шильдера — генерал-адъютанту князю Горчакову.

[13] Всеподданнейшее письмо князя Варшавского от 22 апреля 1854 г. См. Зайончковский А. М. Цит. соч., т. II, Приложения, стр. 402 — 403, прил. № 170.

[14] Там же, стр. 405.

[15] Николай I — Паскевичу. С.-Петербург, 29 апреля (11 мая) 1854 г. Щербатов. Цит. соч., т. VII, стр. 385 — 386, прил. № 9.

[16] ИРЛИ, фонд Блудовых, 22161 — С. Z., III, б. 10, л. 12.
[17] Барсуков Н. Цит. соч., стр. 82.
[18] ИРЛИ, фонд Блудовых, 22161 — С. Z., III, б. 10. Неизданные отрывки воспоминаний А. Д. Блудовой тетрадь, 3, 145 об.
[19] Погодин М. П. *Соч.* Т. IV. М., 1874, стр. 115.
[20] ИРЛИ, фонд Аксаковых, ф. 3, оп. 3, № 18. Приписка К. С. Аксакова к письму С. Т. Аксакова к И. С. Аксакову, 12 апреля 1854.
[21] Переписка Мейендорфа, т. III, стр. 142. Vienne, le 20 mars (1 avril) 1854.
[22] Там же, стр. 135, № 486. Письмо к Нессельроде, 9(21) mars 1854.
[23] Hübner. Цит. соч., стр. 242.
[24] *Lettres et papiers du chancelier comte de Nesselrode.* T. XI. Paris, s. d., стр. 54. St.-Pétersbourg, le 26 avril 1854.
[25] Sir A. Malet — Clarendon, 8 april 1854. Valentin V. Цит. соч., стр. 103.
[26] Переписка Мейендорфа, т. III, стр. 152—154, № 494. Vienne, le 15(27) avril 1854.
[27] Там же, № 495, le 16(28) avril 1854.
[28] Там же, стр. 158—160, № 497. Мейендорф — Паскевичу. Vienne, le 23 avril (5 mai) 1854.
[29] Щербатов. Цит. соч., т. VII, стр. 168. Письмо от 26 мая (7 июня) 1854.
[30] ЦГАВМФ, ф. 19, Меншикова, оп. 2, д. 178а. Орлов—Меншикову. St.-Pétersbourg, le 21 avril 1854.
[31] ГПБ. Рукопис. отд., архив Н. К. Шильдера, К.—3, № 8. Князь Варшавский — князю Меншикову. Бухарест, 23 апреля 1854 г.
[32] ЦГАВМФ, ф. 19, Меншикова, д. 72. Голицын—Меншикову. Camp de Silistrie, le 6 juin 1854.
[33] Bazancourt. *L'expédition de Crimeé. La marine française dans les mers Noir et Baltique.* Vol. 1. Paris, 1861, стр. 20. Эта военная хроника участника войны, день за днем ведшего свои записи и напечатавшего тут же полностью ряд драгоценных документов, является одним из лучших источников, во многом единственным и незаменимым, несмотря на все ошибки и неточности, которые были неизбежны.
[34] Bapst E. *Le maréchal Canrobert. Souvenirs d'un siècle.* Vol. II. Paris, 1902, стр. 142.
[35] *На Дунае...* Заметки артиллериста.— *Русская старина,* 1875, ноябрь, стр. 560.
[36] Там же.
[37] Алабин П. Цит. соч., стр. 245.
[38] Там же, стр. 248.
[39] Петров А. Н. Цит. соч., т. II. СПб., 1890, стр. 376.
[40] Вистенгоф П. Ф. *А. Н. Карамзин.*— *Русская старина,* 1878, июнь, стр. 206.
[41] Там же.
[42] Петров А. Н. (Цит. соч., т. II, стр. 195) ошибся, думая, что экспедиция длилась два дня: она и началась и закончилась в один день, 16 мая.
[43] Алабин и Вистенгоф говорят о четырех орудиях, т. е. о всей артиллерии отряда.
[44] Петров А. Н. Цит. соч., т. II, стр. 196.
[45] Другую дату, именно 22 мая, дают и Меньков и врач Павлуцкий, первый осмотревший фельдмаршала (см. *Русская старина,* т. XII). М. И. Богданович дает правильную дату — 28 мая. Вопрос окончательно решается документами в бумагах Хрулева, относящими эту рекогносцировку к 28 мая (см. Бумаги Хрулева).
[46] Меньков П. К. Цит. соч., т. I, стр. 163.

[47] ЦГАВМФ, ф. 19, Меншикова, л. 72. Голицин — Меншикову. Camp de Silistrie, le 4 juin 1854.

[48] Рукописное отделение Казахстанской публичной библиотеки. Бумаги Хрулева. Приказ за № 1663, 23 мая 1854 г.

[49] Там же. Приписка гласит: о получении сей записки уведомьте.

[50] Там же. Приказ № 1757, 31 мая 1854 г. Горчаков — Хрулеву.

[51] Там же. Реляция подполковника Валуева.

[52] Там же. Приказ № 1773, 1 июня 1854 г.

[53] Там же. Приказ № 1774, 1 июня 1854 г.

[54] Там же. Приказ № 1810, 3 июня 1854 г. Лагерь при Силистрии.

[55] Там же. Диспозиция на л. 215 — 220 (оборотные страницы не нумерованы).

[56] Красовский И. И. *Из воспоминаний о войне 1853—1856 годов*. М., 1874, стр. 11.

[57] Меньков П. К. Цит. соч., т. I, стр. 169— 170.

[58] К. Л. Н. *Воспоминания о Дунайской кампании.— Военный сборник*, т. LXXXIX, 1873, стр. 409 — 410.

[59] Алабин П. Цит. соч., стр. 284.

[60] Щербатов. Цит. соч., т. VII, стр. 398, № 15.

[61] Там же, стр. 398 — 399.

[62] Там же, стр. 404. Приложение № 18. Николай I — Паскевичу, 14 (26) июня 1854 г.

[63] Там же, стр. 406, № 19. Николай I — Паскевичу. Александрия близ Петергофа. 17(29) июня 1854 г.

[64] Напечатано в кн.: М. И. Богданович. *Восточная война*. Т. II. СПб., 1877, стр. 105—106. В переписке, изданной в *Русской старине*, этого письма нет.

[65] Записки офицера о Дунайской кампании.— *Русский вестник*, 1887, июнь, стр. 759.

[66] Щербатов. Цит. соч., т. VII, стр. 198.

[67] Палаузов С. Н. *Румынские господарства*. СПб., [1859], стр. 259.

[68] ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, № 14. С. Аксаков — И. Аксакову, 17 июня 1854 г. (По кн. Е. В. Тарле изд. 1950 г.— *Ред.*).

[69] Там же. С. Аксаков — И. Аксакову, 28 июня 1854 г.

[70] Там же, 22 июня 1854 г.

[71] Там же, 2 августа 1854 г.

[72] Там же, 9 августа 1854 г.

[73] Погодин М. П. *Соч*. Т. IV. М., 1874, стр. 199.

[74] Барсуков Н. Цит. соч., кн. XIII, стр. 109— 113.

[75] ЦГАДА, ф. 30 — Госархив, разр. III, д. 112, л. 863 — 863 об. Lettre particulière au baron Meyendorff. St.-Pétersbourg, le 17(29) juin 1854.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

I. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ АРХИВЫ

Архив внешней политики России (АВПР).

Рукописное отделение Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде (ГПБ) — архив Н. К. Шильдера, бумаги Ф. Корнилова, бумаги П. К. Менькова, бумаги Хомутова, экземпляр: Russel W. H. The great war with Russia. The invasion of Crimea (vol. 1— 5) с рукописными вставками.

Центральный государственный архив военно-морского флота (ЦГАВМФ) фонд кн. А. С. Меншикова.

Ленинградское отделение Центрального государственного исторического архива (ЦГИАЛ) — фонд б. министерства финансов.

Архив Ленинградского отделения Института истории АН СССР (ЛОИИ)—фонд Н. М. Дебу, архив Глазенапа и другие материалы.

Архив Института истории русской литературы АН СССР (ИРЛИ, Ленинград) — архив Аксаковых, фонд Блудовых и другие материалы.

Центральный государственный архив древних актов (ЦГАДА) (Москва)

Центральный государственный исторический архив (ЦГИАМ).

Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина. Рукописный отдел — Записки Д. А. Милютина и другие материалы

Государственный литературный музей (Москва) — Записки кн. Д. А. Оболенского.

Центральный государственный Военно-исторический архив СССР.

Архив Севастопольского музея обороны — Заметки и записки А. А. Ухтомского, письма П. С. Нахимова, бумаги Тимирязевых, бумаги Г. И. Бутакова, бумаги бр. Щегловых, письма участников войны—солдат союзной армии, приказы Канробера и Пелисье и др.

Госархив Крымской области — фонд Воронцовых-Дашковых.

Госархив Одесской области — архив Зеленого, фонд Скальковского и др.

Казахстанская публичная библиотека. Рукописный отдел (Алма-Ата)— бумаги С. А. Хрулева.

II. ПЕЧАТНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА[1]

Восточный вопрос в целом

Маркс К. и Энгельс Ф. (Статьи по Восточному вопросу.) Соч., т. IX, стр. 369 — 484 (Соч., 2 изд., т. 9—*Ред.*)[2].

Маркс К. и Энгельс Ф. (Статьи о русско-турецкой войне). Соч., т. IX, стр. 549 — 709 (Соч., 2 изд., тт. 9—10 —*Ред.*)[2].

Маркс К. и Энгельс Ф. (Статьи и корреспонденции о войне на Востоке.) Соч., т. X, стр. 5 —221, 519 — 605 (Соч., 2 изд., тт. 10-11 — *Ред.*).

Библиография

Bengesco G. Essai d'une notice bibliographique sur la question d'Orient. Orient européen 1821 — 1897. Bruxelles — P., 1897. XIV, 328 p. (2142 библиографических номера). См. также библ. в нижеприводимых книгах Жигарева, Mishev и др.

Источники

Мартенс Ф. Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами. Т. IV, 2 — договоры с Австрией (1849 — 1878). СПб., 1878; т. VIII — договоры с Германией (1828 — 1888). СПб., 1888; т. XII — договоры с Англией (1832 — 1895). СПб., 1898; т. XV — договоры с Францией (1822 — 1906). СПб., 1909.

Юзефович П. (собрал и издал). Договоры России с Востоком, политические и торговые. СПб., 1869. XXII, 294, II стр.

Annales de commerce extérieur: Russie, Traités commerciaux, 1843 — 1856, № 1 — 12. P., 1857 (официальная публикация министерства земледелия, торговли и общественных работ).

Bouvet Fr. La. Turquie et les cabinets de l'Europe depuis le XV siècle ou la question d'Orient. P., 1853. XII, 287 p.

Boyard N. La Russie et l'empire Ottoman, tels qu'ils sont et tels qu'ils devraient être. P., 1854. 283 p.

Catalogue of Parliamentary Papers 1801 — 1900 with a few of earlier date (by Hilda Vernon Jones). L., P. S. King, s. a.

[Gathy A.] Histoire diplomatique de la crise orientale de 1853 à 1856. D'après des documents inédits, suivis d'un mémoire sur la question des lieux saints. Bruxelles et Leipzig, 1858. 157 p.

Girardin E. Solution de la question d'Orient. P., novembre 1853. 159 p. (p. 91 — 159: documents russes, turcs, français et proposition de Vienne).

Hansard Parliamentary Debates. Third series (1839 — 1891).

Parliamentary Papers. Turkey, N 16 (1878). Treaties and other documents relating to the Black sea, the Dardanelles and the Bosphorus. 1535—1877

---

[1] Эта библиография относится преимущественно к первой части работы. Внутри рубрик библиографические указания, как правило, группируются в следующем порядке: 1. Классики марксизма-ленинизма; 2. Библиография; 3. Источники: а) Архивные публикации; б) Документы; в) Современная литература; г) Воспоминания. 4. Литература.

[2] Все эти статьи, печатавшиеся в виде передовых и корреспонденций в «New York Daily Tribune», в английском подлиннике (в значительной степени в неисправленном газетном виде) вошли в сборник: Marx K. Eastern Question. Reprint of letters written 1853 — 1856; dealing with the events of the Crimean war. L., 1897. 656 p.

Jasmund J. Aktenstücke zur orientalischen Frage. Vol. 1—3. B., 1855 — 1859.

La Cecilia G. La Russia e l'Europa Occidentale nella questione d'Oriente. Vol. 1 — 2. Geneva — Firenze, 1854.

Noradounghian G. E. Recueil d'actes internationaux de l'Empire Ottoman. P., 1897. 2 t. [1901], 1789—1856.

Ubicini A. La questione d'Oriente innanzi l'Europa e la questione d'Oriente risoluta di Emilio Girardin. Vol. 1—2. Milano 1854—1855.

Литература

Базилевич К. О черноморских проливах (Из истории вопроса). М., 1946.

Бутковский Я. Сто лет австрийской политики в восточном вопросе. Т. 1—2. СПб., 1888.

Бухаров Д. Россия и Турция от возникновения политических между ними отношений до Лондонского трактата 13(25) марта 1871. СПб., 1878. 236 стр.

Гагарин С. Константинопольские проливы.— «Русская мысль». 1915, кн. 4, стр. 96—122; № 5, стр. 43— 67 (в основу положены «Записки» кн. Д. А. Оболенского за 1850—1872 гг.).

Горяинов С. Босфор и Дарданеллы. Исследование вопроса о проливах по дипломатической переписке, хранящейся в Гос. и СПб. главных архивах. СПб., 1907. VIII, 356 стр. (гл. II, стр. 77—124).

Gorjainow S. Le Bosphore et les Dardanelles. Etude historique sur la question des détroits d'après la correspondence diplomatique, déposée aux Archives centrales de Saint-Pétersbourg et celles de l' Empire, préface de Gabriel Hanotaux. P., Plon, 1910. 387 p. Rez. Martiz F. «Zeitschrift fur osteurop. Geschichte», Bd. I, H. 3 (1911), S. 413—424.

Дранов Б. Черноморские проливы. М., 1948.

Жигарев С. Русская политика в восточном вопросе (ее история в XVI—XIX вв., критическая оценка и будущие задачи). Историко-юридические очерки. М., 1896 (см. также «Труды юридич. фак. Моск. ун-та»). Т. 1, гл. XI—XIII (стр. 378—449); т. 2, гл. 1—3 (стр. 1—102), библиогр. указ. (стр. 527—532).

Эспре Ж. Босфор и Дарданеллы. Пер. с фр. Маркович.—«Современный мир», 1915, № 8, стр. 67—109 (стр. 67—79; I. Нейтрализация Черного моря).

Ancel J. Manuel historique de la question d' Orient (1792—1925). P., 1927. 346 p. [bibl.].

Driault E. La question d'Orient depuis ses origines jusqu'a nos ours. 8-e éd. entièrement refondue. P., 1921. XV, 479 p.

Gordon L. American relations with Turkey, 1830—1930; an economic interpretation. Philadelphia, university of Pennsylvania press, 1932.

Jorga N. Geschichte des osmanischen Reiches. Nach den Quellen dargestellt 1774 — 1912. Gotha, 1913 (Allgemeine Staatsgeschichte). XX, 633 S.

Jorga N. Histoire des états balcaniques à l'époque moderne. Bucarest, 1914. 496 p.

Kassimoff K. La Russie et les Détroits. P., 1926. 140 p. (thèse).

Lamouche L. L'histoire de la Turquie depuis l'origine jusqu'à nos jours. Préface de René Pinon. P., 1934. 427 p.

Latimer E. M. Russia and Turkey in the 19-th century. Chicago, 1893. 413 p.

Miller M. Ottoman Empire and its successors. 1801—1927. Cambridge, U. P., 1936. XVI, 644 p. (bibl. p. 587—619).

Mishev P. La mer Noire et les détroits de Constantinople. P., 1899. VIII (notice bibliographique). 700 p. (thèse).

Rosen G. Geschichte der Türkei von dem Siege der Reform im Jahre 1826 bis zum Pariser Traktat vom Jahre 1856. Bd. 1—2. Lpz., Hirzel, 1866—1867. (Розен Д. История Турции. В двух частях. Пер. с нем. СПб., 1872. Ч. 2. От вступления на престол Абдул-Меджида до Парижского трактата. VIII, 288 стр.).

Personalia

Маркс К. Лорд Джон Россел.— Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., 2 изд., т. 11, стр. 401—426.

Маркс К. Лорд Пальмерстон.— Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., 2 изд., т. 9, стр. 357—425 (статьи, печатавшиеся в «People's Paper» в октябре—ноябре 1853 г., были затем выпущены Tucker отдельным изданием).

Hoetzsch O. Peter von Meyendorff; ein russischer Diplomat an den Hofen von Berlin und Wien. Bd. 1—3. B., 1923 (политические и частные письма 1826—1863 гг.).

А. К. Отрывки из воспоминаний о Крымской войне 1853—1854 гг.— «Вестник Европы», 1871, № 1, стр. 208—227.

Автор был при Меншикове в Константинополе. Воспоминания преимущественно о Меншикове во время пребывания его сначала в Константинополе, затем в Бельбеке.

Lamartinière Ch. Les hommes de la question d'Orient. P., 1853. 128 p. (annexes, p. 80—128) (ряд характеристик, в том числе Меншикова).

Nesselrode A. Lettres et papiers du chancelier comte de Nesselrode (1760—1856). Vol. I—II. P., 1904—1912.

Щербатов А. П. Генерал-фельдмаршал князь Паскевич. Его жизнь и деятельность. Т. 7. [СПб.], 1904 (гл. 4—10, стр. 49 — 368).

Le feld-maréchal prince Paskévitsch, sa vie politique et militaire d'après des documents inédits. Vol. 1—2. [St. Pétersbourg], 1888—1890.

Aberdeen. Correspondence. Vol. 1—8. L., 1858—1888 (privately printed).

Stanmore. Life of lord Aberdeen. L., vol. 1—1893, vol. 2—1903.

Balfour F. The life of George, fourth earl of Aberdeen. Vol. 1—2. L., 1922.

Lane Poole S. The life of Stratford Canning (Lord Stratford de Redcliffe). L., Bonn, 1933. 368 p.

Dawson W. Richard Cobden and foreign policy: a critical exposition with special reference to our day and its problems. L., 1926. 349 p. (специальная глава посвящена восточному вопросу).

Segalowitsch B. Benjamin Disraeli's Orientalismus. B., 1930. VII, 139 S. (Bonn, Philos. Diss.).

Seton-Watson W. Disraeli, Gladston and the eastern question, L., 1935. XIII, 590 p.

Briefe des Staatskanzlers, Fürsten Metternich-Winneburg an den Oesterreichischen Minister des allerhöchsten Hauses und des äusseren Grafen Buol-Schauenstein aus den Jahren 1852—1859. Hrsg. von Carl J. Burckhardt. München, 1934. VIII, 238 S.

Bulwer (lord Daling) W. H. The Life of Henry John Temple viscount Palmerston, with selection from his diaries and correspondence. Vol. 3. L., 1874 (выдержки из дневника и переписки Пальмерстона, 3-й т., изд. Эшли).

Ficquelmont Ch. L. Lord Palmerston, l'Angleterre et le continent. Vol. 1—2. P., 1852.

Ashley A. E. Life of Palmerston. 1—2. L., 1876 (2-й том охватывает 1846—1865 гг.).
Bell H. F. Lord Palmerston. L., 1936. Vol. I—XVIII, 599 p., vol. II — XII, 500 p.
Guedalla P. Palmerston. L., 1926. 501 p. (использованы новые рукописные материалы).
Kingsley M. Triumph of Lord Palmerston. L., [1924] (дан обзор английской прессы накануне Крымской войны).
Р. Принц Альберт в интимной переписке о Крымской войне.— «Русский вестник», 1878, кн. III, стр. 221—256 (по поводу 2-го тома монографии: Martin. The life of prince Consort).
Letters of the Prince Consort, 1831—1861. Selected and edited by Kurt Jagow. Transl. by E. T. S. Dugdale. N. Y., Dutton, 1938. 581 p.
Gooch G. P. (ed.) The later correspondence of lord John Russel. Vol. 1—2. L., 1924—1925.
Walpole S. Life and letters of Lord John Russel. Vol. 1—2. L., 1889—1891.
Reid S. J. Lord John Russel. L., 1895. XVI, 381 p.
Victoria, queen. Letters, 1837—1861. Ed. Benson and Eshert, 1907.
Strachey G. L. Queen Victoria. N. Y., 1925. 435 p. (bibl. p. 425—429).

Общие работы о Крымской войне

Маркс К. и Энгельс Ф. (Статьи по Восточному вопросу.) Соч., т. IX, стр. 369—484 (Соч., 2 изд., т. 9—*Ред.*).
Маркс К. и Энгельс Ф. (Статьи о русско-турецкой войне.) Соч., т. IX, стр. 549—709 (Соч., 2 изд., тт. 9—10 —*Ред.*).
Маркс К. и Энгельс Ф. (Статьи и корреспонденции о войне на Востоке.) Соч., т. X, стр. 5 — 221 (Соч., 2 изд., тт. 10—11 —*Ред.*).
Маркс К. (Статьи о внутреннем положении Англии во время Крымской кампании.)— Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. X, стр. 397—494, 519—605 (Соч., 2 изд., т. 11—*Ред.*).
Энгельс Ф. Армии Европы.— Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., 2 изд., т. 11, стр. 433—507. Французская армия, стр. 441—449; Английская армия, стр. 450—457 (опубликовано—август 1855 г.); Русская армия — стр. 471—483 (опубликовано — сентябрь 1855 г.); Турецкая армия — стр. 487—493; Сардинская армия — стр. 493—497 (опубликовано — декабрь 1855 г.).
Энгельс Ф. Введение к брошюре Боркгейма «На память ура-патриотам 1806 — 1807 гг.».— Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. XVI, ч. I, стр. 299 — 304.
Сталин И. О статье Энгельса «Внешняя политика русского царизма». — «Большевик», 1941, № 9, стр. 1 — 5 (см. стр. 4).
История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс. М., 1947.

Библиография

Войны русского народа 1558—1878 гг. Библиографический указатель воспоминаний, дневников и писем, вышедших до 1917 г. на русском языке. М., 1942, стр. 32— 42.
Библиография к гл. XII.— Восточный вопрос и Крымская война. История дипломатии под ред. В. П. Потемкина. Т. I. М., 1941, стр. 547—548.
Коробков Н. Героический Севастополь 1854 — 1855 гг. 1941—1942 гг. М., 1942. 47 стр.

Библиография: Восточный вопрос (Крымская война, Оттоманская империя и христианские народности Балканского полуострова), к гл. 6-й V т. Истории XIX века Лависса и Рамбо. Русский перевод под ред. акад. Е. В. Тарле. М.— Л., 1938—1939, т. V, стр. 539—544.

Межов В. Русская историческая библиография. За 1855 г. [СПб., 1861], стр. 17—18 (№ 153—165). За 1856 г. [СПб., 1861], стр. 15—21 (№ 163—252). За 1857 г. [СПб., 1865], стр. 12—15 (№ 160— 204). За 1865—1876 гг. (включительно) — т. V. [СПб., 1885]— История Восточной войны, стр. 105—126 (№ 46780—47369).

Библиография материалов по Восточной войне, помещенных в журнале «Русская старина».— «Русская старина», 1877, октябрь, стр. 301 — 304.

Bibliothèque impériale de St.-Pétersbourg. Catalogue de la section des Russica ou écrits sur la Russie en langues étrangères. St.-Pétersbourg, 1873. 845 et 610 p. Table méthodique [1874], p. 642—648.

Источники

Алабин П. Четыре войны, походные записки. Ч. II. М., 1890.

Бороздин М. Заметки артиллериста. На Висле и Дунае, в Одессе и Севастополе 1853—1855 гг.—«Русская старина», 1875, т. XIV, стр. 541—567.

Имеретинский Н. Записки старого преображенца (1854—1856).— «Русский архив», 1884, № 6, стр. 371 — 412; 1885, № 1, стр. 54 — 66 (1855-й год); № 2, стр. 227 — 241 (1855-й год); № 3, стр. 558 —599 (Письма к Н. А. Азаревич; выпуск из Военного училища — СПб.— Польша — Крым).

Кастеллан А. Выдержки из журнала маршала Кастеллана, касающиеся Восточной войны 1853—1856 гг. Сообщил А. А. Г. — «Русская старина», 1898, август, стр. 369—381 (из V т. дневника маршала Кастеллана, Париж, 1897, охватывающего 1853—1862 гг.).

Неизвестный. За много лет (воспоминания 1844—1884 гг.).— «Русская старина», 1894, № 2, 7, 8, 10; 1895, № 2, 5, 7 (1894, № 7, стр. 109—134; Дунайская кампания; 1894, № 8, стр. 44—62 и № 10, стр. 67—86; Война в Крыму; 1895, № 2, стр. 121—153; Окончание войны).

Переписка кн. А. С. Меншикова с фельдмаршалом кн. Варшавским до высадки союзников. — «Военный сборник», 1902, № 3.

Сборник известий, относящихся до войны 1853—1856 гг., издававшийся Н. Путиловым. СПб., 1855—1859. 33 книги с планами, рис. и портр.

Ушаков Н. Записки очевидца о войне России противу Турции и западных держав, 1853—1856.— Сб. «Девятнадцатый век», кн. 2, стр. 01 — 0242.

Чернышевский Н. Г. *Рассказ о Крымской войне по Кинглеку*. М., 1935. LXXI, 353 стр. (вступит. статья А. Штрауха: «Чернышевский и восточный вопрос»).

Bailloeuil (capit.-commandant). Souvenirs de trente ans. A cheval à travers la Turquie en 1854. Notes de voyage d'un Lillois, chasseur d'Afrique. De Laghouét à Gallipoli, Varna et Sébastopol. Lille, 1890. Avec carte-itinéraire (Société géographique de Lille).

Bernhardi Th. Unter Nikolaus I und Friedrich Wilhelm IV. Briefe und Tagebuchblätter aus den Jahren 1834—1857. Lpz., 1893. 368 S.

Bloomfield G. Reminiscences of court and diplomatic life. Vol. 2. Lpz., 1883. XII, 403 p.

Bocher Ch. Mémoires (1816—1907). P., 1907. 512 p.

Bright J. Diaries. N. Y., 1936.

Buzzard T. With the Turkish Army in the Crimea and Asia Minor. L., 1915. 310 p.

C a l a n i A. Scene della vita militare in Crimea. 1—2 (vol. 1; p. 11—162 — Baltico; p. 163—223 — spedizioni di Kertch e del mare d'Azoff. Appunti e frammenti).

C e r t a i n I. Baltico — Danubio — Mar Nero ossia storia della guerra d'Oriente. Napoli, 1856. Vol. 1 -VIII, 412 p.; vol. 2 — 1858. 432 p.

D i n o, duc. de. Lettres à Louis-Napoléon duc de Talleyrand (Guerre de Crimée). — «Revue de France», 1933, p. 268—290, 430—456.

C a s t e l l a n e, comtesse. Le duc de Dino et la guerre de Crimée. — «Revue de France», 1935 (vol. 15), p. 51—69.

[Drouyn de Lhuys]. Histoire diplomatique de la crise orientale. P., 1858.

F o w l e r G. History of the war or a record of the events political and military between Turkey and Russia and the allied powers, L., 1855. 334 p. (second ed. — L., 1855).

Kaiser F r i e d r i c h III. Tagebücher von 1848—1860, hrsg. von H. O. Meisner. Lpz., 1929.

General orders, issued to the army of the East from april 30-th 1854 to dec. 30 1855 (publ. par Alex. Gordon). L., 1856.

G e r l a c h L. Denkwürdigkeiten. B., 1892. 2. Bd.

H e l l e r I. (ed.). Memoiren des Baron Bruck aus der Zeit des Krimkrieges. Lpz., 1877 (в первый раз эти мемуары были изданы в 1857 г.).

H ü b n e r A. Neuf ans de souvenirs d'un ambassadeur d'Autriche à Paris. 1851 — 1859. Vol. 1 — 2. P., 1904 (одновременно вышло немецкое издание в Берлине).

K i n g l a k e A. W. The invasion of the Crimea. Vol. 1—6. Lpz., 1865—1868.

L o f t u s A. W. F. (Lord Spencer). Diplomatic reminiscences. Serie 1, vol. 2. L., 1894 (отдельные отрывки из этих воспоминаний появились на русском языке; см. «Исторический вестник», 1893, т. II, стр. 582—607).

M a l m e s b u r y J. H. Memoirs of an ex-minister. An autobiography. Vol. 1—2. L., 1884 (фр. пер. 1885. 378 p.).

M e t t e r n i c h und K u b e c k. Ein Briefwechsel (1840—1855). — Supplementband zu: Tagebücher de Fr. Fr. von Kubeck, hrsg. von Max. *Erh. von Kubeck.* Wien, 1910.

M i n i C. I Russi, i Turchi e la guerra d'Oriente. Vol. 1—3. Firenze, 1854—1855.

P e r s i g n y. Mémoires publiées avec des documents inédits. P., 1896. XX, 512p.

Pictures from the battle fields by the roving Englishman. L., 1855. XXVIII, 259 p.

R e i s e t. Mes souvenirs. La guerre de Crimée. Vol. 1-2. P., 1902.

S a y e r. Despatches and papers relative to the campaign in Turkey, Asia Minor and Crimea during the war with Russia in 1854, 1855, 1856. L., 1857. 448 p.

S c h ü r e r F. Briefe Kaiser Franz-Joseph I an seine Mutter, 1838 — 1872. München, 1930.

S i m p s o n W. Der Krieg gegen Russland. Politisch-militärisch bearbeitet. Zürich, Schulthess, Bd. 1, 1855. IV, 653 S.; Bd. 2, 1856. 281 S.

W o o d s N. A. The past campaign: a sketch of the war in the East. Vol. 1—2. L., 1855. XV, 439; XII, 402 p.

Литература

Б е р к о в Е. Крымская кампания. Под ред. А. В. Пясковкого. М., «Московский рабочий», 1939. 96 стр. (Классики марксизма о Крымской кампании; стр. 95—96).

Б о г д а н о в и ч М. Восточная война 1853—1856 гг. Т. 1 — 4. 1-е изд. СПб., 1876; 2-е испр. и доп. изд. СПб., 1877.

Б у т к о в с к и й Я. Сто лет австрийской политики в восточном вопросе, т. 2. СПб., 1887 (гл. 6, стр. 16—90).

Бушуев С. Крымская война (1853—1856). Под ред. акад. Ю. В. Готье. М.— Л., Изд-во АН СССР. 1940. 159 стр. (серия «Академия наук — стахановцам»).

Бушуев С. Крымская война (1853—1856 годов). М.— Л., Воениздат, 1946.

Гейрот А. Описание Восточной войны 1853 — 1856 гг. СПб., 1872. 544, VIII стр.

Дубровин Н. Восточная война 1853—56 гг. Обзор событий по поводу сочинения М. И. Богдановича. СПб., 1878. 506 стр.

Зайончковский А. Восточная война в связи с современной ей политической обстановкой (илл., карты). Т. I — СПб., 1908. IV, 764 стр. (дипломат. подготовка войны); т. II, ч. I —СПб., 1913. X, 642 стр. (война с Турцией до дипломат. разрыва с Францией и Англией); т. II, ч. II—СПб., 1913. 643—648 стр. Т. I. Приложения— СПб., 1908. VIII, 604 стр. (218 документов с 1851 г. по май 1853 г.); т. II. Приложения — СПб., 1912. XII, 452 (188 документов по июнь 1854 г.).

Рец. на 1-й том (с прилож.) — Середонин С. проф., в «Сборнике отчетов о премиях и наградах за 1909 г.» (премия им. М. Н. Ахматова), стр. 89—131.

Зотов В. Французское общество во время Крымской войны.— «Исторический вестник», 1884, № 2, стр. 403—418 (по «Запискам» Вьель Кастеля).

История дипломатии, под ред. В. П. Потемкина. Т. I. М., 1941, стр. 426 —460.

История русской армии и флота. Т. 10. М., 1913.

Караваев Г. К истории возникновения военных сообщений на железных дорогах России. М., Воениздат, 1947.

Кустодиев К. Испанская книга о последней Восточной войне (дона Фр. де Пауля Видаль).— «Русский архив», 1869, № 5, стр. 751 — 758.

Лаговский А. Оборона Севастополя. М., Воениздат, 1939. 228 стр.

Нарочницкий А. Международные отношения европейских государств от июльской революции во Франции до Парижского мира. М., 1946.

П. Н. О Восточной войне (из посмертного сочинения Дюнойэ: «Le second empire et une nouvelle restauration».— «Современная летопись», 1865, № 1, стр. 7—9 (8 стб.).

Тарле Е. Князь Паскевич и начало Дунайской кампании.— «Лит. современник», 1941, № 1, стр. 127—133.

Тарле Е. Н. Г. Чернышевский и международная политика. В кн.: «Н. Г. Чернышевский. Труды научной сессии к 50-летию со дня смерти». Л., ЛГУ, 1941, стр. 295—304.

Урусов С. Очерки Восточной войны 1854 — 1855 гг. М., 1867. VII, 195 стр.

Фельдмаршал Паскевич в Крымскую войну. Перевод статьи «Берлинского военного журнала».—«Русская старина», 1875, август, стр. 603—635.

Фирсов Н. Россия и королева Виктория во время Крымской войны.— «Древняя и новая Россия», 1878, 2, стр. 127—135 (по поводу книги Martin'a: «The life of his Royal Highness the Prince Consort)».

Щебальский П. Восточный вопрос и дипломатия.— «Русский вестник», 1886, № 8, (т. 64); стр. 724—753; № 9 (т. 65), стр. 147—183.

Andreas W. Die russische Diplomatie und die Politik Friedrich Wilhelm IV von Preussen. B., 1927. 64 S. (Abhandl. der Akademie der Wissenschaften, philos.-histor. Klasse. 1926, № 6).

Borries K. Preussen im Krimkrieg (1853—1856). Stuttgart, 1930. X, 420 S.

Canonge F. (commandant). Histoire militaire contemporaine. Vol. 1. 1882 (Histoire de la guerre de Crimée).
Chiala L., L'alleanza di Crimea. Roma, 1879. XXVI, 174 p.
Daniels E. Englische Staatsmänner von Pitt bis Asquith und Grey. B., 1925. VIII, 434 S. (II. Lord Palmerston und Königin Victoria, S. 73—142; III. Wer war der Urheber des Krimkrieges? S. 143—200; IV. Cobden, S. 201—243; V. Palmerston, Cobden und Gefahr einer französischen Landung, S. 244—280).
Daniels E. Der erste Stellungskrieg der Weltgeschichte: Der Krimkrieg (Delbrücks Geschichte der Kriegskunst, Bd. V). B., 1926 (имеется русский перевод).
Eckhart Fr. Die deutsche Frage und der Krimkrieg. B., 1931. VI, 215 S. (Osteuropäische Forsch., N. F., Bd. IX).
Friedjung H. Der Krimkrieg und die österreichische Politik. 2-te Aufl. Stuttgart, 1919. VII, 198 S.
Geffcken F. Zur Geschichte des orientalischen Krieges 1853—1856. B., 1881. VIII, 336 S.
Golder F. Russian-American relations during the Crimean war.— «American Historical Review», 1926 (vol. 31), p. 462—476.
Guérin L. Histoire de la dernière guerre de Russie (1853—1856). 1—2. P., 1858. VIII, LXXIV, 4, 408, 569 p. (гравюры).
Guichen. La guerre de Crimée (1854—1856) et l'attitude des puissances européennes. Etude d'histoire diplomatique. P., 1936. 382 p. рец. Н. Радцига — «Историк-марксист», 1937, № 5—6 (63—64), стр. 208—211.
Harcourt B. Diplomatie et les diplomates. Les quatre ministres de Drouyn de Lhuys. P., 1866. 366 p.
Henderson G. Crimean war diplomacy and other historical essays. Glasgow, 1947. Рец. Тарле Е. В. Английские фальсификации о начале Крымской войны.— «Вопросы истории», 1949, № 3, стр. 119—125.
Jocelyn J. The history of the Royal Artillery. Crimean period. L., s. a. 536 p.
(Jomini A. H.) Etude diplomatique sur la guerre de Crimée (1852 à 1856). Par un ancien diplomate. Vol. 1—2. P., 1874 (англ. пер. — L., 1882; по-русски: «Россия и Европа в эпоху Крымской войны».— «Вестник Европы», 1886, февраль — октябрь).
Kunau H. Die Stellung der preussischen Konservativen zur äusseren Politik während des Krimkrieges. Halle, 1914. XII, 115 S. (Histor. Studien, hrsg. von Rich. Fester. H. 4.).
Lanzedelli C. Historische Denkwürdigkeiten der neusten Zeit, enthaltend den russisch-türkischen Krieg von seiner Entstehung bis auf die Gegenwart. Vol. 1—2, Wien, 1854—1856, в одном перепл. 400, III S. (прекрасные гравюры).
Miller R. Die Partei Bethmann Hollweg und die orientalische Krise. 1853—1856. Halle, 1926. VIII, 110 S.
Muhammed ibn Ismail. La guerre de Crimée et les Algériens. Alger, 1908. 56 p.
Poschinger H. Preussens auswärtige Politik 1850 bis 1853. Bd. 1—3. B., 1902.
Puryear V. England, Russia and the Straits question. 1844—1856. Berkeley, university of California press, 1931. XVI, 481 p. (bibl. p. 450—468).
Rambaud A. Français et russes. Moscou et Sébastopol (1812—1854). 5 éd. Nancy et P., 1892 (1 éd.—1877).
Rothan G. La Prusse et son roi pendant la guerre de Crimée. P., 1888. 396 p. (см. статью-рецензию А. С. Трачевского: «Пруссия в Крымскую войну».— «Исторический вестник», 1888, № 5, стр. 335—360; № 6, стр. 585—609; № 7, стр. 45—60).

Schiemann Th. Geschichte Russlands unter Kaiser Nikolaus I. Bd. 4: Kaiser Nikolaus vom Höhenpunkt seiner Macht bis zum Zusammenbruch im Krimkriege, 1840—1855. B. u. Lpz., 1919. XII, 435 S. (Kap. XII — Sir Georg Seymour. Die Sendung Menschikows und die Kriegserklärung; Kap. XIII — Die Isolierung Russlands; Kap. XIV — Das Ende des Kaisers, S. 363 — 435).

Schmidt W. Die Partei Bethmann Hollweg und die Reaktion in Preussen, 1850—1858. B., 1910. 245 S.

Temperley H. W. England and the Near East. Vol. I. The Crimea. L., 1936. 548 p. (см. рец. Тарле Е. В. Английские фальсификации о начале Крымской войны.— «Вопросы истории», 1949, № 3, стр. 119—125.

Valentin V. Bismarcks Reichgründung im Urteil englischer Diplomaten. Amsterdam, 1937.

Vulliamy C. Crimea: the campaign of 1854—1856; with an outline of politics and a study of the royal quartet. L., Cape, [1939]. 368 p.

Widerszal L. Angielska polityka zagraniczna 1830 — 1870. Przegląd literatury z lat 1925—1933.— «Przegląd hist.», t. 12, [1934], s. 273—291.

Wurm Ch. Diplomatische Geschichte der orientalischen Frage. Lpz. 1858. XII, 520 S. (3, Buch: Der grosse orientalische Krieg und der Pariser Frieden, S. 379—512).

III. ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ К ОТДЕЛЬНЫМ ГЛАВАМ

Введение. Экономическое положение перед войной

Энгельс Ф. Армия (статья для Новой американской энциклопедии, появившаяся в 1858 г.).— Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. XI, ч. II, стр. 367—410 (см. стр. 401—403)

Источники

Васильчиков В. Записки. I. О том, почему русское оружие постоянно терпело неудачу и на Дунае и в Крыму в 1853—1855 гг.— «Русский архив», 1891, № 8, стр. 167—175.

Герсеванов Н. О причинах тактического превосходства французов в кампанию 1854—1856 гг. СПб., 1858. 22 стр.

Герсеванов Н. Генерал-майор. Несколько слов о действиях русских войск в Крыму в 1854 и 1855 гг. Париж, изд. Librairie militaire J. Dumaine, 1867. 106 стр.

Бутурлин [С.]. Несколько слов о действиях русских войск в Крыму в 1854 и 1855 гг. Одесса, 1870 (по поводу брошюры Герсеванова).

Герсеванов Н., генерал-майор. Ответ генералу Бутурлину (по поводу брошюры о войне 1854—55 гг.). Одесса, 1870. 13 стр.

Затлер Ф. Замечания на статью, помещенную в 52-м нумере «Русского инвалида» нынешнего года под названием «Содержание войск в Новороссийском краю, основываясь на примерах из минувшей войны». Одесса, 1858. 46 стр.

Затлер Ф. Возражение на статью: «Изнанка Крымской войны и другая сторона». 1859. 128 стр. (см. «Военный сборник», 1859, № 7).

Затлер Ф. Еще объяснение о прошедшей войне с Турцией. (1868). 21 стр. (из № 65 и 66 «Варшавского дневника»).

Шильдер Н. Ф. К. Затлер (1805—1876). СПб., 1877. 40 стр. «Переписка Ф. К. Затлера»: стр. 28—39 (мнения различных лиц о его деятельности во время Восточной войны).

Богданович М. Ф. К. Затлер (1805 — 1876).— «Русская старина», 1877 (т. XX), стр. 132—169.

Сборник сведений по истории и статистике внешней торговли России. Т. I. Хлебная торговля в черноморских и азовских портах южной России. По документам и сведениям Главного статистического комитета Новороссийского края.— «Журнал мин. внутр. дел», 1854, январь.

Ubicini. Lettres sur la Turquie. P., 1851.

Литература

Аратовский В. Обзор распоряжений по продовольствию действующих армий в 1831, 1848 и 1853 гг. СПб., 1871 (2 изд. — 1874). 542 стр.

Зайончковский А., сообщ. Взгляд Н. Н. Муравьева на состояние нашей армии и собственноручные замечания императора Николая Павловича.— «Военный сборник», 1903, № 2, стр. 255—268.

Описание распоряжений по снабжению Крымской армии в войну 1853—1855 гг. продовольственными припасами и огнестрельными и суда над интендантством. Лейпциг, 1877. 489 стр.

Родных А. Краткая история военного воздухоплавания со времен Олега по конец царствования Николая I. Пг., «Летун», 1916. 18 стр. (о предложениях Киреевского в 1843 и 1854 гг. и о практических попытках кап. Мацнева в 1851 — 1854 гг.).

Струмилин С. Промышленные кризисы в России.— «Проблемы экономики», 1939, № 5, стр. 125—144. Русская армия и вопросы ведения войны.

Федоров В. Вооружение русской армии в Крымскую кампанию. СПб.,1904. 206 стр. (с атласом чертежей). Рец. Г. Г. — «Журнал Военно-истор. об-ва», 1911, № 6 (библиогр., стр. 1—5).

Levasseur E. Histoire du commerce de la France. T. 2. P., 1912.

Puryear V. International economics and diplomacy in the Near East. A study of British commercial policy in the Levant, 1834—1853. Stanford U. P., 1936. XIII, 264 p. (bibl., p. 230—256).

Общественные настроения в России в период Крымской войны

Источники

ИРЛИ: архив Аксаковых; фонд Блудовых.

Дневник Веры Сергеевны Аксаковой. Примеч. и ред. Н. Голицына и П. Щеголева. СПб., 1913. VI, 174 стр.

Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. XIII. СПб., 1899.

Валуев П. Дневник 1847—56 гг. — «Русская старина», 1891, № 4—11 (годы войны: № 4, стр. 167—182; № 5, стр. 337—360; № 6, стр. 603 — 616).

Валуев П. Дума русского во второй половине 1855 г.— «Русская старина», 1893, № 9, стр. 503—514.

Вяземский П. Письма русского ветерана 1812 года.— Собр. соч. Т. 6. СПб., 1881.

[Грановский Т. Н.] Т. Н. Грановский и его переписка. Т. II. М., 1897.

Добролюбов Н. А. Полн. собр. соч. Т. IV. М., 1937, стр. 432—452. Из стихотворений, писанных в Крымскую войну.— «Русский архив», 1882, № 3, стр. 155—166.

Лебедев К. Из записок. Крымская война. — «Русский архив», 1888, кн. 2, стр. 0232 — 0243; кн. 3, стр. 0353 — 0366.

Настроение русского общества во время Севастопольской войны. Стихотворения того времени.— «Русский архив», 1905, № 3, стр. 535—542.

Погодин М. П. Письма и записки во время Крымской войны. М., 1874. 358 стр.

Дневник М. Н. Похвиснева (1853).— «Русский архив», 1911, № 2, стр. 189 — 208.

Соловьев С. М. Записки. П., «Прометей», б. г.

Тютчев Ф. И. Письма во время Крымской войны 1855 года.— «Русский архив», 1899, кн. 3.

Усов П. Из воспоминаний.— «Исторический вестник», 1883, № 5, стр. 353—378.

Из эпохи Крымской войны. Из переписки В. и П. Худековых. Сообщ. Б. В. Дамов.— «Труды Ряз. архив. комис.», т. XXII, вып. 1, стр. 61 — 76; вып. 2, стр. 105 — 158.

Чернышевский Н. Г. Рассказ о Крымской войне. М., 1935.

Шелгунов Н. Воспоминания. М.— Л., 1923.

«Шестидесятые годы». М.— Л., 1940.

Литература

Дружинин Н. Москва в годы Крымской войны.— «Вестник АН СССР», 1947, № 6, стр. 49—63.

Линков Я. Крестьянские движения в России во время Крымской войны 1853—1856 гг. МГУ, 1940. 112 стр.

Пигарев К. Ф. Тютчев и проблемы внешней политики России.— «Литературное наследство», № 19—21 (1935), стр. 177—256.

Strakhovsky L. L'empereur Nicolas I et l'esprit national russe. Louvain, 1928. 131 p.

Глава I. Накануне Крымской войны

Маркс К. Письмо Лассалю от 1 июня 1854 г. — Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. XXV, стр. 203—205.

Источники

Англо-русский инцидент со шхуной «Виксен» (1836—1837). Вводная статья проф. С. Бушуева.— «Красный архив», 1940, № 5 (102), стр. 189—238.

Болицын Н. Архив Константинопольского посольства в Московском главном архиве мин. иностр. дел. М., 1890 (дела за 1829—1844 гг., и лишь одна папка относится случайно к 50-м годам).

Герцен А. И. Полное собрание сочинений и писем. Т. III. Пг., 1919.

Автобиография Александра Осиповича Дюгамеля. М., 1885. 278 стр.

Император Николай I и Наполеон III.— «Русская старина», 1901, № 7, стр. 67—76 (из бумаг де Кастельбажака).

Россиев П. сообщ. Перед Крымской войной (из дипломат. переписки).— «Русский архив», 1909, № 5, стр. 134—142 (письмо Нессельроде барону Мантейфелю от 4 февраля 1852 г.).

Соловьев С. М. Записки. П., «Прометей», б. г.

Шестидесятые годы. М. — Л., 1940.

Bernhardi Th. Unter Nikolaus I und Friedrich Wilhelm IV. Briefe und Tagebuchblätter. Lpz., 1893.

Eckstaedt V. K. St. Petersburg and London in the years 1852 — 1864. Vol. I. L., 1887.

Gerlach L. Denkwürdigkeiten. Bd. II. B., 1892.

Stockmar Ch. F. Denkwürdigkeiten. Braunschweig, 1872.

«Portfolio», ed. David Urquhart. (L., 1835—1837, 1843—1845).

Личный архив Давида Уркуорта (шесть больших ящиков, хранящихся у F. F. Urquhart Balliol College, Оксфорд) до сих пор еще никем систематически не обследовался. Материалы о деятельности Уркуорта имеются также в архивах Понсонби и сэра H. Taylor (личного секретаря английского короля Вильгельма IV).

Литература

В. Ф. Восточная политика Николая I.— «Исторический вестник», 1891, № 11, стр. 346—358.

Горяинов С. О тайном соглашении по делам Востока в 1844 г. — «Известия мин. ин. дел», 1912, № 3.

Жомини А. Роль и значение России в Европе перед Крымской войной.— «Наблюдатель», 1885, № 12, стр. 77—112 (вышло также отдельной брошюрой).

Кухарский П. Франко-русские отношения накануне Крымской войны. С пред. акад. Е. В. Тарле. Л., 1941. 190 стр.

Мартенс Ф. Россия и Англия накануне разрыва в 1853—1854 гг. — «Вестник Европы», 1898, № 4, стр. 563—610 (расширенное введение к XII т. «Собрания трактатов»).

Муравьев Н. Русские на Босфоре в 1833 г. М., 1869.

Татищев С. Император Николай и иностранные дворы. Исторические очерки. Приложение: император Вильгельм I о России. СПб., 1889. XXVI, 460 стр.

Татищев С. Внешняя политика Николая I. Введение в историю внешних сношений России в эпоху Севастопольской войны. СПб., 1887. XVII, 639 стр. (по поводу этой книги см. М. П. Н. Восточная политика императора Николая I.— «Русская мысль», 1887, № 6, стр. 15—33, отд. II).

Bolsover G. Great Britain, Russia and the eastern question 1832—1841 (Theses).— «Bulletin of the Institute of Historical Research», 1933, november, p. 129—133.

Bolsover G. David Urquhart and the eastern question, 1833—1837; a study in publicity and diplomacy.— «Journal of modern History», vol. 8, (1936), p. 444—467.

Durrieu. Nicolas I et l'avènement de Napoléon III. Papiers du général de Castelbajac.— «Le carnet historique et littéraire», t. VIII, [1901, april — mai — juin].

Henderson G. The Seymour conversations, 1853.— «History», 1933—1934, (vol. 18), p. 241—247.

Moseley P. Russian diplomacy and the opening of the eastern question in 1838 and 1839. Cambridge, Harvard U. P., 1934. 178 p.

Rain P. Les relations franco-russes sous le second empire.— «Revue des études historiques», 1913, nov.— déc.

Salomon R. Die Anerkennung Napoleons III. Ein Beitrag zur Geschichte der Politik Nikolaus I.— «Zeitschrift für osteurop. Geschichte», Bd. 2, [1912], S. 321—366.

Schiemann Th. Russisch-englische Beziehungen unter Kaiser Nikolaus I. — «Zeitschrift für osteurop. Geschichte», Bd. III (1913), H. 4.

Viderszal L. The British policy in the Western Caucasus 1833 — 1842. (s. d.).

Глава II. Посольство Меншикова и разрыв сношений между Россией и Турцией

Маркс К. и Энгельс Ф. (Ряд статей по Восточному вопросу). Соч., т. IX, стр. 371 — 405 (Соч., 2 изд.,т. 9 — *Ред.*).

Источники

Correspondence respecting the rights and privileges of the Latin and Greek churches in Turkey. Presented to both houses of Parliament, part 1—3. Eastern papers, part 4—15. L., 1854—1855.

L'église grecque orientale. Les réfugiés politiques en Orient. P., 1854. IV, 164 p. (немецкий, голландский, итальянский переводы).

Howard H. (ed.). Lord Cowley on Napoleon III in 1853.— «English Historical Review», 1934, july, p. 503—505.

Leouzon le Duc. La question russe. I. Le prince Menschikoff. II. L'église greco-russe. III. La Russie devant l'Europe. Appendices: origine et famille du prince Menschikoff— Question des lieux saints — Protocole de Vienne. 2-me éd. P., 1853. IV, 332 p.

Veuillot E. L'église, la France et le schisme en Orient. Etudes historiques sur les chrétiens orientals et sur la guerre contre la Russie. P., 1855. 462 p.

Литература

Крылов А. Кн. А. С. Меншиков (1853—1854).— «Русская старина», 1873, июнь, стр. 843—854.

Татищев С. Дипломатический разрыв России с Турцией в 1853 г.— «Исторический вестник», 1892, январь, стр. 153 — 176; февраль, стр. 456—480; март, стр. 720 — 751.

Bourgeois E. Les origines religieuses de la Guerre d'Orient (1839 — 1853).— «Comptes Rendus de l'Académie des sciences morales», 1929, (t. 2), p. 65—84.

Schopoff A. Les réformes et la protection des chrétiens en Turquie, 1873—1904. P., 1904. 645 p.

Temperley H. Stratford de Redcliffe and the origins of the Crimean War.— «English Historical Review», 1933 (vol. 43), p. 601—621; 1934 (vol. 49), p. 265—298.

Глава III. Европейская дипломатия и Россия перед вступлением русских войск в Молдавию и Валахию

Источники

Архив внешней политики России, ф. К., д. 30, 36, 50, 73, 74, 76, 111 — 113, 117.

Материалы для истории Крымской войны и обороны Севастополя. Сборник, издаваемый комитетом по устройству Севастопольского музея под ред. Н. Дубровина. Вып. I. 1871. XII, 320, 241 стр.

Чайковский М. Турецкие анекдоты. М., 1883.

Coningsby (Disraeli). The present crisis or the Russo-Turkish war and its consequences to England and the world. L., 1853 (немецкий — несколько изданий — и голландский переводы).

The eastern question discussed from a south-slavonian point of view. L., 1854. 27 p. (сокращенные с цензурными купюрами, французский, а также немецкий переводы).

Funke G. Oesterreichs welthistorische Mission in seine Herrschaft über die mittleren Donauländer und als Träger der christlich -germanischen

Meldung im Morgenlande. 2-te, in Beziehung auf die orientalische Verhältnisse sehr ermiet. Auflage. Hannover, 1854.
The Eastern question. The substance of a speech delivered in the House of lords, june 19, 1854 by lord Lyndharst. L., 1854. 32 p.
La vérité sur le différend turco-russe. Par M.***. Bruxelles, Gand, 1853. 68 p.
L'occupation de Constantinople; lettre à S. M. l'empereur de toutes les Russies. Par un diplomate russe. L., 1853.
Schuselka F. Das türkische Verhängnis und die Grossmachte. Lpz., 1853. XII, 142 S.
[Tkalac]. Das serbische Volk in seiner Bedeutung für die orientalische Frage und für die europäische Civilisation. Lpz., 1853. 64 S.

Литература

Никитин С. Русская политика на Балканах и начало Восточной войны. — «Вопросы истории», 1946, № 4, стр. 3—29.
Татищев С. Европа накануне Восточной войны 1853—1856 гг. (в сборнике статей того же автора: «Из прошлого русской дипломатии» СПб., 1890, стр. 73—154).
Bapst E. L'Empereur Nicolas I et la deuxième république française. P., 1898. 253 p.
Bapst E. Les origines de la guerre de Crimée, la France et la Russie de 1848 à 1854. P., 1912. 5, 514 p.
Daniels B. Der Ursprung des Krimkrieges.— «Preussische Jahrbücher», Bd. CXXXV, [1909], S. 385—438.
Howard H. Genesis of the Crimean war.— «Bulletin of the Institute of Historical Research», 1933, June, p. 50—53.
Schmitt B. Diplomatic Preliminaries of the Crimean War.— «Amer. Histor. Review», t. XXV, [1919], p. 33—67.

Глава IV. Дунайская кампания 1853 г. Вторжение русских войск в Молдавию и Валахию. Ольтеница и Четати

Маркс К. и Энгельс Ф. (Статьи о Русско-турецкой войне). Соч., т. IX, стр. 549—585. (Соч., 2 изд., тт. 9—10—*Ред.*).

Источники

ГПБ. Рукописное отделение. Бумаги П. К. Менькова.
Архив военного министерства в Париже: note remise par le général Aupick au ministre de la guerre de Turquie en 1849; notes sur les provinces Danubiennes, extraites des ouvrages et mémoires les plus récents pour le service de l'armée par le colonel Blondel.
Алабин П. Четыре войны. Походные записки в 1849 — 53 — 54— 55 гг. и 1877—1878 гг. Ч. 2. Восточная война. М., 1890.
Б. П. Воспоминания офицера о военных действиях на Дунае в 1853 — 54 гг. Из дневника. СПб., 1887 («Русский вестник», 1887, № 4, стр. 565 — 599; № 5, стр. 227 — 266; № 6, стр. 715—779).
Баумгартен А. Дневники 1849, 1853, 1854 и 1855 гг. (пред. и примеч. П. Н. Симанского, с портр., рис., планами, снимками). Дневник 1853—1854 гг.— «Журнал Военно-истор. об-ва», 1910, № 5, стр. 57 —122.
«Войны России с Турцией 1828 — 1829 и 1853 — 1854 гг.»— «Русская старина», 1875 (т. XIV), ноябрь, стр. 380—382; 1876, (т. XVI), стр. 677—708; 1876, (т. XVII), сентябрь, стр. 145 — 170.

Восточная война. Письма кн. И. Ф. Паскевича к кн. М. Д. Горчакову.— «Русская старина», 1876, январь, стр. 163 — 191.

Генрици А. д-р. Воспоминания о Восточной войне.— «Русская старина», 1877, (т. XX), октябрь, стр. 305 — 334.

Затлер Ф. Несколько слов о продовольствии войск в Придунайских княжествах в 1853 и 1854 гг. СПб., 1863. 56 стр.

Камовский А. Под громом Крымской войны (дневник 1853 г.)— «Русский вестник», 1878, № 2, стр. 658—687; № 3, стр. 163—197.

Ковалевский Е. Война с Турцией и разрыв с западными державами в 1853 и 1854 гг. СПб., 1868 (в следующем же году вышел немецкий перевод.).

Меньков П. Записки. Т. I — Дунай и немцы (Восточный вопрос 1853—1855). Т. II — Дневник. СПб., 1898.

Н. К. Л. Воспоминания о Дунайской кампании.—«Военный сборник», 1873, № 1, стр. 169—191; № 2, стр. 367 — 418.

[Подпалов П.]. Воспоминания Прокофия Антоновича Подпалова, участника в Дунайском походе 1853—1854 гг. Киев, 1904.

Поливанов А. Очерк устройства продовольствия русской армии на придунайском театре в кампании 1853—54 и 1877 гг. СПб., 1894. 302 стр. карта (см. стр. 31 — 153).

Симанский П. Бой при Четати.— «Военный сборник», 1904, № 1, стр. 31—60.

Chainoi G. (Ghika J.). Dernière occupation des principautés danubiennes par la Russie. P., 1853. 126 p.

Ficquelmont C. La politique de la Russie et les principautés danubiennes. P., 1854. 154 p. (см. также немецкий и итальянский переводы).

Lévy A. La Russie sur le Danube. Avec la protestation des romains contre l'invasion de leur patrie et la correspondance sur les principautés danubiennes entre Demitri Bratiano et Lord Dudley Stuart. P., 1853. 45 p.

O'Brien A. Journal of a residence in the Danubian principalities in the autumn and winter of 1853. L., 1854. 181 p.

Sturdza D. Recueil de documents relatifs à la liberté de navigation du Danube. B., 1904. XXXIV, 933 p. (документация с 1814 по 1902 гг.).

Wurm Ch. Vier Briefe über die freie Donau-Schiffahrt. Lpz., 1855. 44 S.

Литература

Палаузов С. Румынские господарства в историко-политическом отношении. СПб., 1859. 296 стр.

Петров А. Война России с Турцией. Дунайская кампания 1853 и 1854 гг., т. I (1853 г.). СПб., 1890 VI, 188 стр.

Bibesco G. Roumanies (1845—1859). Règne de Bibesco. P., 1894.

Jorga N. Geschichte des rumänischen Volkes im Rahmen seiner Staatsbildungen. 2 Bd. Gotha, 1905. XIII, 541 S.

Jorga N. Histoire des relations russo-romaines. Jassy, 1917. 368 p.

Knorr W. Die Donau und Meerengefrage. Weimar, 1917. 191 S. (bibl., S. 189—191).

Глава V. Кампания 1853 г. на Кавказе

Библиография

Бегичев К. Систематический каталог библиотеки великого кн. Георгия Александр. в Абастумане. Кавказ и соседние с ним страны. Тифлис, 1898 (V. История с ее вспомогательными науками, стр. 60—139).

Воробьев Н. Указатель статей о черноморском побережье Кавказа (Анапа — турецкая граница). Вып. I. Пг., 1915. XIV, 245 стр. (IV. История; история завоевания, стр. 76—101).
Гизетти А. Библиографический указатель печатанным на русском языке сочинениям и статьям о военных действиях русских войск на Кавказе. СПб., 1901.
Миансаров М. Bibliographica caucasica et transcaucasica. Опыт справочного систематического каталога печатным сочинениям о Кавказе, Закавказье и племенах, эти края населяющих. Т. I, отд. I и II. СПб., 1874 — 1876. XIII, 804 стр. (гл. V. История. IX. Война 1853—1856 годов на Кавказе и в Азиат. Турции, стр. 755—874).

Источники

Архив внешней политики России, ф. К., д. 117.
ЦГАВМФ, ф. 19, Меншикова. Кавказский отдел.
Соллогуб В. Год военных действий за Кавказом 1853—54 гг.— «Библиотека для чтения», 1857, № 3 (отд. II), стр. 1—34; № 6, стр. 105—148; № 7, стр. 6—31; № 8, стр. 113—156.
Ольшевский М. Русско-турецкая война за Кавказом в 1853 и 1854 гг.— «Русская старина», 1884, октябрь, стр. 171—186; ноябрь, стр. 417—432; декабрь, стр. 497—514.

Глава VI. Европейская дипломатия и Россия от начала оккупации дунайских княжеств до синопской победы

Маркс К. и Энгельс Ф. (Статьи по Восточному вопросу.) Соч., т. IX, стр. 398—402. (Соч., 2 изд., т. 9—*Ред.*).

Источники

Архив внешней политики России, ф. К., д. 36, 51, 75, 105, 111—113.
Экштедт Ф. В виду Крымской войны. Заметки дипломата при Петербургском и Лондонском дворах 1852—1855 («Исторический вестник», 1887, май, стр. 442—466). Накануне Крымской войны («Русская старина» 1887, май). Из кн.: *Vitzthum* von *Eckstäedt* K. Erinnerungen. Bd. 1—2. Stuttgart, 1886.
Delcro-Dorcel J. Question d'Orient. Notice sur m-r le comte de Nesselrode. P., 1854. 35 p. (партия Нессельроде, якобы желающая мира, противопоставляется воинственной клике Николая).
Unveröffentliche Dokumente aus dem Nachlasse des Minister-Präsidenten Otto Freiherrn von Manteuffel (1852—1854). B., 1902.

Литература

Тимощук В. Дипломатические переговоры перед Восточной войной 1853—1856 гг.— «Русская старина», 1902, июль, стр. 115—240 (компиляция по книгам Тувенеля, ла Горса и по публикации архива Мантейфеля).
Puryear V. New Lights on the Origins of the Crimean War.— «Journ. of Modern History», vol. 3, [1931], p. 219—234.
Temperley H. The alleged violations of the Straits Convention by Stratford de Redcliffe between june and september 1853.— «English Hist. Review», 1934, p. 657—672.

Thouvenel C. Nicolas I et Napoléon III. P., 1891. 389 p. (использованы бумаги E. A. Thouvenel).
Ср. Безобразов П. — «Русское обозрение», 1891, сентябрь, стр. 425 — 441.

Глава VII. Синопский бой и его ближайшие последствия

1. Общие работы о морских операциях

Источники

Адмирал Нахимов. [Сборник документов]. Пред. акад. Е. В. Тарле. М.— Л., 1945.
Нахимов П. С. Письмо в ответ на поздравление с победой при Синопе.— «Русская старина», 1901, № 5.
Bouët-Willaumez (capitaine de vaisseau). La flotte française en 1852.— «Revue des deux mondes», t. XIV, (1852), p. 74—91.
Prize Ships captured during the Crimean War. 1919. In fol.

Литература

Белавенец П. Адмирал Павел Степанович Нахимов. Севастополь, 1902.
Белавенец П. Материалы по истории русского флота. М., Военмориздат, 1940. 152 стр. (с иллюстр., чертежами и картами). Переиздание вышедшей в 1914 г. книги «Значение флота в истории России».
Горбовский Л. Маркс и Энгельс о морских операциях в Восточную войну 1853—1856 гг.— «Морской сборник», 1934, № 9, стр. 94 — 107; № 10, стр. 130—140.
Дружинин Н. Синопский бой. М.— Л., 1944.
Кузмичев, капитан. Война Франции, Англии и Турции с Россией в 1854 — 55 гг.—«Военный сборник», 1901, № 7, стр. 1—13; № 8, стр. 1—10 (реферат книги Grasset «La Défense des Côtes». P., 1899).
Лебедев А. Русский флот в царствование Николая I.— «История русской армии и флота». Т. 10.
Найда С. Синопская победа русского флота. М., 1949. 32 стр.
Огородников С. История морского министерства. СПб., 1902. (Состояние флота в царствование императора Николая I по сравнению с иностранными флотами, стр. 125—129).
Петров М. Обзор главнейших сражений парового флота. Л., 1927 (гл. II — Крымская война, 1853—1855), стр. 16—54 (*библ.*).
Тарле Е. Нахимов. М., 1948.
Jane F. The imperial russian navy, its past, present and future. With over 160 ill., from sketches and drawings by the author and from photographs. L., 1899. 755 p.
Laird C. The royal navy. A history from the earliest times to the present. L., 1901

2. Черноморский флот и Синоп

Источники

Барятинский В. Из воспоминаний.— «Русский архив», 1906, № 1, стр. 86—108.
Головачев В. Воспоминания по поводу 50-летнего юбилея Синопского сражения.— «Морской сборник», 1903, № 12, стр. 53—61.

Зайончковский А. Последний смотр имп. Николая I Черноморского флота в 1852 г.— «Исторический вестник», 1900, (т. 79), стр. 1034—1059 (из рассказа очевидца).
Из записок севастопольца. Характеристика Нахимова и Корнилова. Синопский бой.— «Русский архив», 1867, № 12, стр. 1579—1637.
Предложение императора Николая относительно морской экспедиции в Босфор и Царьград.— «Русская старина», 1876 (т. XVI), август, 671—708.
Сатин А. Синоп. Из записок черноморского офицера.— «Русский вестник», 1872, № 8, стр. 770—782.
Скаловский М. Воспоминания о Черноморском флоте 1851—1855 гг.— «Морской сборник», 1902, № 1, стр. 35—51.
Bazancourt. L'expédition de Crimée. La marine française dans les mers Noir et Baltique. Vol. 1—2. P., s. a.
Galt E. The camp and the cutter, or a cruise to the Crimea. L., 1856. XII, 240 p. (p. 217—240).
Heath L. Letters from the Black Sea during the Crimean war 1854—1855. L., 1897. XIX, 246 p. (ill.).
Slade A. (Mushaver-pasha), rear-admiral. Turkey and the Crimean war. L., 1867. XXVI, 502 p.

Литература

[Богданович Е.] 18 ноября 1893 г. Синоп — Севастополь. СПб., 1898. XIII, 176 стр. (карты, иллюстр.).
Лихачев Д. Очерк действий Черноморского флота 1853—1854 гг. (с картами).— «Военный сборник», 1902, № 3, стр. 42— 83; № 4, стр. 97—151.
Лихачев И. Роль Черноморского флота в Крымскую войну и затопление наших военных судов в Севастопольской бухте в 1854 г.— «Морской сборник», 1913, № 11, стр. 17 — 24 (статья была запрещена цензурой и напечатана за границей в 1901 г.).
Codman J. An American Transport in Crimean War. N. Y., 1896. 198 p.
Kelly T. From the Fleet of the Fifties. A history of the Crimean War. L., 1902. 460 p.
La Porte F. La guerre de Crimée vue par un officier de marine.— «Revue maritime», t. I, (1929), p. 433—455, 577 — 601.
Wilmot S. Life of vice-admilar Edmond Lyons. L., 1898. 454 p.

Глава VIII. Миссия графа Алексея Орлова к Францу-Иосифу и позиция Австрии перед переходом русских войск через Дунай

Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., 2 изд., т. 10 («Миссия графа Орлова», стр. 50—54; «Русская дипломатия.—Черногория», стр. 62—68).

Источники

Архив внешней политики России, ф. К., л. 159—160.
«Император Николай и освобождение христианского Востока». Сообщ. Н. К. Шильдер.— «Русская старина», 1892, октябрь (т. 76), стр. 37—44 (письмо Николая — Нессельроде от конца 1853 г.).

A l e t h e s. Die Lage der Christen in der Türkei und das russische Protektorat. B., 1854. 118 S.

B e r n h a r d Fr. Die wahre Grundlage des europäischen Friedens in Bezug auf die orientalische Angelegenheit betrachtet. Augsburg, 1854. 70 S.

D a n d o l o A. Quelques mots sur la question d'Orient en 1853. Corfu, (1853). 32, 6 p.

The Eastern question in relation to the restoration of the Greek empire. L., 1853. 35 p.

E i n i g e Worte über die orientalische Frage. Eine Stimme der Mahnung aus Athen. Dresden, 1853. 32 S. (предисловие помечено — июнь 1853).

«Guerres impies des usurpateurs commencées en Orient l'an 1853».

How to settle the Turkish question. L., (1853). 32 p.

P a p a n i c o l a s G. Russia, Turkey or a Greek Empire — the inevitable solution of the Eastern Question. L., 1853. 65 p.

Peter von Meyendorff, ein russischer Diplomat. Bd. 2. B., 1923.

S t e p h a n o p o l i C. Manifeste et protestation des véritables grecs et conservateurs contre les faux droits des russes sur l'ancien empire byzantin. P., 1853. 16 p. (два издания).

Глава IX. Разрыв дипломатических сношений России с Англией и Францией

М а р к с К. Документы о разделе Турции.— М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф. Соч., 2 изд.,т. 10, стр. 137—148; Секретная дипломатическая переписка (там же, стр. 149—164).

И с т о ч н и к и

Архив внешней политики, России, ф. К., д. 76, 83, 105, 113.

А р г а й л ь с к и й, герцог. Ответственность Англии в восточном вопросе. Факты и воспоминания за 40 лет. Пер. с англ. М. К. Брянчаниновой, пред. Ф. Ф. Мартенса. СПб., 1908. XXIV, 180 стр.

[B r u n n o w.] La guerre d'Orient, ses causes et ses conséquences. Par un habitant de l'Europe continentale. Bruxelles, 1854. 170 p. Exposé de la question d'Orient. Memorandum adressé aux ministres et agent diplomatiques de S. M. l'Empereur par le cabinet Impérial de St.-Pétersbourg (Odessa, 1854) (статья из «Journal de St.-Pétersbourg» от 19 февраля 1854 г.)

La France et la Russie. Question d'Orient. P., 1854. 158 p. (documents).

Lettres de l'Empereur Napoléon à l'Empereur de Russie en documents français relatifs aux affaires d'Orient. P., 1854. 124 p.

Памфлеты

а) З а Р о с с и ю

E s t r a m b e r g L. d'(Gust. Grisel). La Russie et ses accusateurs dans la question d'Orient. Neuchâtel, Vienne et Lpz., 1854. 48 p. (петербургское переиздание и немецкий перевод).

Lettre sur l'état de la Turquie et la crise actuelle. P., novembre 1853. XXVI, 160 p.

M. X. La Turquie et la Russie en 1854. Par M... X... P., 1854. 48 p.
M o s e l e y J. Russia in the right or the other side of the Turkish question. L., 1854. 73 p. (немецкий, польский, французский, голландский переводы).
P a c i f i c u s. One word for Russia, and two for ourselves. L., 1853. 16 p. (reprinted—1857).
Das Recht Russlands in orientalischer Frage. Lpz., 1854. 47 S.
S p l e t c h a e f f S. (prince S. Golitzine). Question d'Orient. La vérité quand même. Avril 1854. Bruxelles et Lpz., 1854. 31 p. (немецкий перевод).
[T e g o b o r s k i L.] De la politique anglo-française dans la question d'Orient, par un diplomate retiré du service. Bruxelles, 1854 (начало января). 80 p. (имеются 2-е, петербургское, и два немецких издания).
[T e g o b o r s k i L.] Encore quelques mots sur la question d'Orient. Bruxelles, 1854 (mars.) 86 p. (немецкий перевод).
A word to the British public before entering into hostilities with Russia. L., 1854. 16 p.

б) Французские неофициозные

G e r m a i n Ch. Le danger oriental. Charleroi, 1854. 94 p.

в) Французские бонапартистские

Guerre à la Russie!!! Etat de l'Europe en 1854. P., 1854.
P i e l d e T r o i s m o n t s Ch. La France et la Russie, Napoléon III et le Czar. [P.], 1854. 24 p.

г) Франко-английские за Турцию против России

F a r m a n S. Constantinople in connexion with present war. L., 1855. 48 p.
K u s t e m - E f f e n d i et S e i d - B e y. Réponse à quelques journaux relativement aux affaires de Turquie. Bruxelles, 1853. 45 p. (авторы — турецкие офицеры, прикомандированные к бельгийской миссии).
L i s t e r H. War with Russia. L., 1854. 27 p.
A looker-on. The english government and the Eastern question. L., 1854. 66 p.
Contestation turco-russe, appelée devant la justice humaine par le gouvernement turc. Evreux, 1854. 19 p.
L u r i n o L. Le mannequin russe. Pamphlet. P., 1854.
P o n s o n b y. Private letters on the Eastern question. Brighton, 1854. 26 p. (письма датированы от 17 ноября до 30 декабря 1853).
U r q u h a r t D. The war of ignorance and collusion; its progress and results; prognostication and testimony. L., 1854. 43 p.
U r q u h a r t D. Recent events in the East. Being letters, articles, essays (a reprint of mr. Urquhart's contributions to the «Morning Advertiser»). L., 1854.

д) Английские памфлеты против войны

B r i g h t J. (член палаты общин от Манчестера). La vérité sur la question d'Orient. (Lausanne), 1854. 15 p.
C l a r k e B. The War, and what are we to get by it. A question addressed to the merchants and manufacturers of Great Britain. L., 1854. 48 p.
M a c Q u e e n J. The war; who's to blame or the Eastern question investigated from the official documents. L., 1854. XII, 408 p.
S o u t h g a t e H. The war in the East. 3-d ed. N. Y., 1856. 93 p.

Turkey, Russia and English interference. By the Liverpool Financial Reform Association. Liverpool, (1853, july).

Weston H. A few words upon the war. Birmingham, 1854. 12 p.

Why are we at war with Russia? or Englishmen sacrified to Mahomet. A letter to the right honourable the Earl of Aberdeen. L., 1854. 20 p.

Глава X. Переход русских войск через Дунай и объявление России войны со стороны Англии и Франции

Маркс К. и Энгельс Ф. (О вступлении Англии и Франции в войну.) Соч., т. X, стр. 5—52 (Соч., 2 изд., т. 10).

Маркс К. Письмо Энгельсу от 3 мая 1854 г. — Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. XXII, стр. 28—30.

Источники

Бумаги С. А. Хрулева (рукописи)

Война России с Турцией.— «Русская старина», 1876, (т. XVII), ноябрь, стр. 343—364; декабрь, стр. 811—830.

Восточная война. Письма кн. И. Ф. Паскевича к кн. М. Д. Горчакову.— «Русская старина», 1876, февраль, стр. 388—401.

Henderson G. Problem of neutrality. 1854: documents from the Hamburg Staatsarchiv.— «Journal of modern history», 1938, № 2, June. p. 232 — 241.

а) За нейтралитет Австрии и Германии

Braun J. Berliner Briefe über orientalische Frage. Bonn, 1854. IV, 76 S.

De la neutralité de l'Autriche dans la guerre d'Orient. Par un européen. P., 1854. 156 p.

Warnen Ed. Die orientalische Frage. Wien, 1854. 10 S.

Warum müssen wir neutral bleiben? Ein Wort zur Orientierung über diese Frage und zugleich als Abwehr gegen die Angriffe der englischen Presse B., 1854. 46 S.

б) За союз немцев с западными державами

Aufgabe Deutschlands in der orientalischen Verwicklung. Von einem ehemaligen deutschen Minister. München, 1854. 16 S.

Hagen C. Die östliche Frage mit besonderer Rücksicht auf Deutschland. Frankfurt a. M., 1854. 122 S.

Krieg oder Frieden und Russlands Seemacht. B., 1853 (3 Juni 1853). 20 S.

Der russische Krieg und die deutsche Neutralität. Heidelberg, 1854. 32 S.

Wie muss Preussen sich zu den orientalischen Frage stellen? Von einen alten Staatsmann. Lpz., 1854. 15 S.

в) Современные общие работы о возникновении войны

(Литературу о военных действиях см. в разделе «Источники и литература» к гл. IV).

Источники

Россия и Сербия в конце николаевского царствования — «Русский архив», 1878, № 3, стр. 396 (письмо неизвестного серба в СПб. из Парижа от 12 мая 1853 г. с выражением симпатий России).

Forcade E. Histoire des causes de la guerre d'Orient d'après les documents français et anglais. P., 1854. XI, 293 p. (два итальянских перевода).

Krieg oder Frieden? Lpz., 1854. 29 S.

The unmasked Czar, being the secret and confidential communications between the Emperor of Russia and the government of England, relative to the Ottoman empire. L., 1854. 76 p.

Литература

Попов Н. Россия и Сербия. Исторический очерк русского покровительства Сербии с 1806 по 1856 год. М., 1869.

Феоктистов Е. Россия и Сербия пред последней Восточной войной.— «Русский вестник», 1869, № 12, стр. 461—504 (развернутая рецензия на предшествующую книгу).

Krusemarck C. Würtemburg und der Krimkrieg. Halle, 1932. IX, 113 S.

[Smitten]. Wie war der letzte orientalische Krieg vorbeigfeührt? Eine historische Untersuchung. Lpz., 1863. 194 S.

Tanc M. Histoire diplomatique de la guerre d'Orient en 1854. Son origine et ses causes. P., 1864. 375 p. (p. 339—368; документы Сеймура).

Valentin V. Bismarcksche Reichsgründung im Urteil englischer Diplomaten. Amsterdam, N. Y., 1938. XVI, 559 S.

Глава XI. Осада Силистрии и конец Дунайской кампании

Энгельс Ф. Отступление русских от Калафата. — Соч., 2 изд., т. 10, стр. 132—136.

Энгельс Ф. Письмо Марксу от 23 марта 1854.— Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. XXII, стр. 11—13.

Маркс К. Письмо Энгельсу от 22 июля 1854.— Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. XXII, стр. 44—46.

Источники

Бринкен. Штурм укрепления Араб-Табия под Силистрией в ночь с 16-го на 17-е мая 1854 года. — «Военный сборник», 1872, № 6, стр. 297—302.

Воспоминания о Дунайской кампании 1853—1854 годов.— «Военный сборник», 1873, № 1 и 2.

Воспоминания офицера о военных действиях на Дунае в 1853 — 1854 годах.— «Русский вестник», 1887, № 4 — 6.

Восточная война. Письма кн. И. Ф. Паскевича к кн. М. Д. Горчакову.— «Русская старина», 1876, март, стр. 659—674.

Из переписки по поводу болезни гр. Паскевича-Эриванского. — 1904, № 6.

Крепость Силистрия в 1854 г. (Записки Гафиз-эффенди). — «Военный сборник», 1875, № 12, стр. 488 — 502.

Пестов Г. Из воспоминаний о войне 1854 г. — «Военный сборник», 1873, № 9, стр. 25 — 30.

Стренг А. На Дунае и под Силистриею в 1854 г. — «Русская старина», 1890, № 12, стр. 665 — 678.

Шильдер Н. Заметки о событиях 1853—1855 гг.— «Русская старина», 1875, т. XIII, стр. 636—642.

Шильдер Н. Исход 1853 г. и действия на Дунае в 1854 г. — «Русская старина», 1875, т. XIV, стр. 380—392.

Литература

Карл Андреевич Шильдер.— «Русская старина», 1876, стр. 517—540.

Петров А. Война России с Турцией. Дунайская кампания 1853 и 1854 гг. Т. 2. СПб., 1890. IV, 412 стр. (см. Шильдер Н. О сочинении А. Н. Петрова — «Дунайская кампания». Рецензия. СПб., 1894. 34 стр.).

Belagerung von Silistria 1854 mit ihrem strategischen Untergrunde. — «Oesterreichische militär. Zeitschrift», 1861, H. 11.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

ИЛЛЮСТРАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Тарле
Евгений Викторович
Собрание сочинений, том VIII

Составители:
А. В. Паевская, А. Г. Чернов

*

Редактор издательства *К. А. Гусева*
Технический редактор *Т. И. Поленова*
Художник *Н. А. Седельников*

•

РИСО АН СССР № 29—8В. Сдано в набор 25/V 1959 г.
Подп. к печ. 5/VIII 1959 г. Печ. л. 35,25 + 2 вкл
Уч.-издат. 36,6. Тираж 30 000. Формат бум. 60×92[1]/[16]
Издат. № 3953. Тип. заказ 1716.

Цена 20 р.

Издательство Академии наук СССР
Москва, Б-62, Подсосенский пер., 21

2-я типография Издательства АН СССР,
Москва, Г-99, Шубинский пер., 10

ОПЕЧАТКИ В VII ТОМЕ

Стр.	Строка	Напечатано	Должно быть
215	св. 15 и сн. 9	июня	июля
351	св. 4	голосами	головами
361	св. 11	его	ему
671	сн. 9	языков	Языков